

Д.Н. МАМИН
СИБИРЯК



*ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ*

Д. Н. МАМИН СИБИРЯК



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1955

Д. Н. МАМИН СИБИРЯК



ТОМ СЕДЬМОЙ

ЧЕРТЫ ИЗ ЖИЗНИ ПЕПКО

ХЛЕБ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1955

Подготовка текста и примечания
А. В. РОМАНОВА

ЧЕРТЫ ИЗ ЖИЗНИ ПЕПКО

Роман

I

Стояло хмурое осеннее петербургское утро. Я провел скверную ночь и на лекции не пошел. Во-первых, опоздал, а во-вторых, нужно было доканчивать седьмую главу третьей части первого моего романа. Кто пробовал писать роман, тот поймет, насколько последняя причина была уважительна. Прежде чем приняться за работу, я долго ходил по комнате, обдумывая какую-то сцену и останавливаясь у единственного окна, выходившего на улицу. Это окно было моим пробным пунктом, точно каждая трудная мысль сама останавливалась у него. Может быть, это было инстинктивным тяготением к свету, которого так мало отпущено Петербургу. Окно хотя и выходило на улицу, но открывавшийся из него вид не представлял собой ничего интересного. Просто пустырь, занятый бесконечными грядами капусты. Таких пустырей в глубине Петербургской стороны и сейчас достаточно, а двадцать лет тому назад их было еще больше. Мой пустырь до некоторой степени оживлялся только канатчиком, который, как паук паутину, целые дни вытягивал свои веревки. Я уже привык к этому неизвестному мне человеку и, подходя к окну, прежде всего отыскивал его глазами. У меня плелась своя паутина, а у него — своя.

Обыкновенно моя улица целый день оставалась пустынной — в этом заключалось ее главное достоинство. Но в описываемое утро я был удивлен поднявшимся

на ней движением. Под моим окном раздавался торопливый топот невидимых ног, громкий говор — вообще происходила какая-то суматоха. Дело разъяснилось, когда в дверях моей комнаты показалась голова чухонской девицы Лизы, отвечавшей за горничную и кухарку, и проговорила:

— Она повесилась...

Меня удивило то, что Лиза улыбалась, хотя это и делалось из вежливости к жильцу. Затем, она была так счастлива, что успела первой сообщить мне взволновавшую всю улицу новость.

— Кто повесился?

— Вировка весилась...

Репертуар русских слов у Лизы находился в несоответствии с пожиравшей ее жаждой рассказать мне новость, и свое объяснение она закончила при помощи рук. Я понял, наконец, кто повесился, и успокоенная чухонская девица скрылась. Впрочем, теперь я и без нее мог увидеть собственными глазами эту новость, то есть грязные босые ноги, выставлявшиеся из-под ветхого навеса, в котором канатчик складывал свою паклю и веревки. Толпа прибывала с удивительной быстротой, — откуда только бралось столько народа в пустынной улице. Стремглав летели босоногие «сапожные» мальчишки, портняжки, горничные, какие-то подозрительные бабы, разные «отставные», которыми по преимуществу населена Петербургская сторона, и просто «жильцы». Сначала толпа хлынула было в огород, но явившиеся на место действия два городовых выгнали любопытных обратно на улицу, и благодаря этому обстоятельству я из своего бельэтажа мог отлично видеть нижнюю часть неподвижно висевшего в сарайчике мертвого тела канатчика. Чухонка Лиза уже три раза вихрем пронеслась по улице взад и вперед, собирая на лету последние известия, чтобы сейчас же разнести их с проворством обезьяны по всем трем этажам нашего деревянного домика. Меня всегда возмущало это нахальное любопытство уличной толпы в таких случаях, а теперь в особенности, потому что мне казалось, что канатчик почти принадлежал мне, как собрат по профессии.

Главным неудобством моей комнаты было то, что она отделялась от хозяйской половины очень тонкой дощатой стенкой, и слышно было каждое слово, которое говорилось по обе ее стороны. Благодаря этому обстоятельству я в течение какого-нибудь месяца до тонкости узнал всю жизнь моих хозяев, до мельчайших подробностей. Во-первых, они были люди одинокие — муж и жена, может быть, даже и не муж и не жена, а я хочу сказать, что у них не было детей; во-вторых, они были люди очень небогатые, часто ссорились и вообще вели жизнь мелкого служилого петербургского класса. Он уходил в какую-то канцелярию ровно в одиннадцать часов и возвращался обыкновенно к обеду. Если он запаздывал или приходил навеселе, жена начинала на него ворчать, постепенно усиливая тон. Видимо, у него был прекрасный характер, потому что в таких случаях он начинал оправдываться виноватым голосом, просил прощения и вообще употреблял все средства, чтобы потушить беду домашними средствами. Но все-таки он был большой хитрец. Я это знал по тем пустым словам, какими он старался заговорить жену. Он десятки раз косневшим языком повторял самые нелепые объяснения своего поведения, пока жене не надоедало слушать его глупости. Вся суть этой политики заключалась в том, чтобы выиграть время и не дать жене войти в раж. Впрочем, эти опыты гипнотизма не всегда удавались, и дело доходило до очень громких слов, взаимных укоров, подавленной ругани, швыряния разных предметов домашнего обихода и каких-то подозрительных пауз, которые разрешались сдержанными рыданиями жены. В таких исключительных случаях я считал своим долгом издавать предупредительный кашель, ронял на пол книгу или начинал ходить по комнате, стуча каблуками. Этот маневр моментально производил желанное действие, и сцена заканчивалась сердитым шепотом, тяжелым молчанием и такими движениями, точно кто-то кого-то отталкивал и не мог оттолкнуть. Нужно признаться, что я не злоупотреблял своим влиянием, потому что мое вмеша-

тельство, очевидно, шло в пользу только виноватой стороны, которой являлся всегда муж, а я не хотел быть его тайным сообщником. Накануне разыгралась именно одна из таких семейных бурных сцен, и поэтому утро было молчаливо-тяжелое. Меня интересовало, как сегодня вывернется мой легкомысленный хозяин, который, как мне было известно доподлинно, именно по утрам мучился угрызениями совести. И представьте себе, этот хитрец воспользовался смертью несчастного канатчика, чтобы помириться с женой! Он так громко его жалел, так вздыхал, высказал столько хороших чувств и даже сам сбегал посмотреть на покойника, чтобы удовлетворить разгоревшееся любопытство жены в качестве очевидца. По тону ее голоса я уже слышал, что ей просто лень сердиться и что ради повесившегося канатчика она готова совсем простить своего тирана. Мое предположение скоро подтвердилось: послышался с его стороны ласковый шепот и уговариванье, а потом поцелуй. Одним словом, канатчик точно нарочно повесился именно в это утро, чтобы поссорившиеся накануне супруги помирились...

— И хорошо сделал этот канатчик, черт возьми! — слышался голос мужа.

— А если у него маленькие дети остались?— слезливо отвечала жена.

— Почему непременно дети и почему непременно маленькие?

Меня всегда удивлял тот быстрый переход, который совершался вслед за таким примирением. Муж сразу делался другим человеком — уверенный тон, ответы полусловами, даже походка другая. Так было и теперь. Прощенный грешник, видимо, чувствовал себя прекрасно и даже, кажется, любезно ущипнул жену, потому что она подавленно взвизгнула и засмеялась, но в этот трогательный момент появилось третье лицо, которое вошло в комнату, не раздеваясь в передней. По первым фразам можно было заключить, что это третье лицо было своим человеком и притом, несмотря на сравнительно ранний час, было уже сильно навеселе и плохо владело заплетавшимся

языком. По тону хозяина можно было заключить, что он не был рад неожиданному появлению гостя, который в другое время мог бы явиться спасителем семейного счастья, а сейчас просто не дал довести до конца счастливый момент. Сам гость упорно не желал замечать ничего и добродушнейшим образом что-то сюсюкал, причмокивал языком и топтался на одном месте, как привязанная к столбу лошадь.

Все эти события совершенно вышибли меня из рабочей колеи, и я, вместо того чтобы дописывать свою седьмую главу, глядел в окно и прислушивался ко всему, что делалось на хозяйской половине, совсем не желая этого делать, как это иногда случается.

Дальше я услышал, как хозяин что-то принялся рассказывать гостю, а тот одобрительно мычал.

— Отлично... Одобряю! — повторял пьяный голос. — А я сейчас к нему пойду познакомлюсь... да.

— Пожалуйста, оставьте, Порфир Порфирыч, — проговорила хозяйка. — Какое нам дело до других и какое мы имеем право мешать человеку?.. Наконец, я вас прошу, Порфир Порфирыч... Человек пишет, а вдруг вы ввалитесь, — кому же приятно в самом деле?

— Пишет? Та-ак... — тянул гость и с упрямством пьяного человека добавил: — А я все-таки пойду и познакомлюсь, черт возьми... Что же тут особенного? Ведь я не съем.

Я понял, что разговор шел обо мне и что хозяин своим молчанием поощряет намерение гостя, — проклятый плут за мой счет хотел выдворить непрошенного гостя, докончить прерванную сцену супружеского примирения в окончательной форме. Это меня, наконец, взбесило... Что им нужно от меня? Вот тебе и седьмая глава третьей части! Я приготовился так принять незваного гостя, что он в следующий раз позабудет мой адрес. А тут чухонка Лиза заглянула в мою дверь без всякой причины, ухмыльнулась и скрылась, как крыса, укравшая кусок сала. Как хотите, это было уже слишком: за мой счет готовилось какое-то очень глупое представление.

— Она дома... — послышался предупреждавший шепот Лизы, когда в коридорчике, отделявшем мою комнату от кухни, послышались какие-то шмыгающие шаги, точно чьи-то ноги прилипали к полу.

II

— Можно войти-с? — послышался голос за моей дверью, сопровождаемый пьяным причмокиванием и сдержанным хихиканьем Лизы.

— Войдите...

В дверях показался лысый низенький старичок, одетый в старое, потертое осеннее пальто; на ногах были резиновые калоши, одетые прямо на голую ногу. Обросшие бахромой, вытертые и точно вылощенные штаны служили только дополнением остального костюма, который, говоря откровенно, произвел на меня совсем невыгодное впечатление, и я даже подумал одно мгновение, что это какой-нибудь благородный отец, собирающий пятачки. Но старичок улыбнулся самым веселым образом и даже лукаво подмигнул мне, когда, как-то по-театральному, прочитал мне свою рекомендацию:

— Порфир Порфирыч Селезнев, литератор из мелкотравчатых... Прошу любить и жаловать. Да... Полюбите нас черненькими... хе-хе!. А впрочем, не в этом дело-с... ибо я пришел познакомиться с молодым человеком. Вашу руку...

Бывают такие особенные люди, которые одним видом уничтожают даже приготовленное заранее настроение. Так было и здесь. Разве можно было сердиться на этого пьяного старика? Пока я это думал, мелкотравчатый литератор успел пожать мою руку, сделал преуморительную гримасу и удушливо расхохотался. В следующий момент он указал глазами на свою отставленную с сжатым кулаком левую руку (я подумал, что она у него болит) и проговорил:

— Я — раб, я — царь, я — червь, я — бог...

При последнем слове кулак разжался, и в нем оказалось несколько смятых кредиток.

— Это мой несгораемый шкаф, молодой человек... Хе-хе!.. Сколько вам нужно? Берите десять, пятнадцать...

— Позвольте, мне кажется странным... Одним словом, что вам угодно от меня?..

Порфир Порфирыч посмотрел на меня непонимающим взглядом, быстро опустился на мой стул у письменного стола и торопливо забормотал:

— Понимаю, понимаю... молодая гордость! Понимаю и не обижаюсь: так и должно быть. Это хорошо... Иначе оставалось бы сделать то же, что устроил ваш канатчик. А ведь какой хитрец... а? Я про канатчика... Вы только подумайте: у человека работишка совсем плохая, притом он должен кругом — хозяину за квартиру, в мелочную лавку, в кабак... да. Наконец, беднягу постоянно сосал червячок: эх, опохмелиться бы!.. Ну, и представьте себе, должен он целые дни тянуть эти проклятые веревки, целые дни думать, как ему извернуться, чтобы и голодная жена не ругалась, чтобы и своя голова не трещала и чтобы лавочник поверил в долг... И вот присмотрел он этакий гвоздь в своем сарайчике, приспособил веревочку и — готов. Это, скажу я вам, был истинный философ, который перехитрил все и всех. Понимаете: трах! — и ни долга в лавочку, ни платы за квартиру, ни похмелья, ни этих проклятых веревок, которые ему отравили всю жизнь. Я нахожу это недурным способом «раскланяться с здешним миром», как говорят китайцы. Главное, ремесло такое подлое у человека: вил, вил свои бесконечные веревки, ну, наконец, и соблазнился. На его месте всякий порядочный человек давно бы сделал то же самое...

Слушая эту пьяную болтовню, я рассматривал физиономию Порфира Порфирыча. Ему было за пятьдесят лет. Жиденькие, мягкие, седые, слегка вившиеся волосики оставались только на висках и на затылке; маленькая козлиная бородка и усы тоже были подернуты сединой. Когда-то это лицо было очень красиво — и большой умный лоб, и живые, темные, большие глаза, и правильный нос, и весь профиль. Теперь это лицо от великого пьянства и других причин было обложено густой сетью глубоких морщин, веки

опухли, глаза смотрели воспаленным взглядом, губы блестели тем синеватым отливом, какой бывает только у записных пьяниц. Наконец, эти гримасы, причмокиванья и подмигиванья тоже говорили сами за себя.

Мое первоначальное решение выпроводить гостя без церемоний сменилось раздумьем: зачем гнать пьяного старика — поболтает и сам уйдет.

— Так вы, молодой человек, неужели никогда и ничего не слыхали про Порфира Порфирова Селезнева? — спрашивал старик, доставая берестяную тавлинку и делая самую аппетитную понюшку.

— Ничего не слыхал.

— Значит, и моего «Яблока раздора» не читали?

— Нет...

Старик вытащил из бокового кармана смятый лист уличной газетки и ткнул пальцем на фельетон, где действительно был напечатан рассказ «Яблоко раздора», подписанный П. Селезневым.

— Да-с, а теперь я напишу другой рассказ... — заговорил старик, пряча свой номер в карман. — Опишу молодого человека, который, сидя вот в такой конурке, думал о далекой родине, о своих надеждах и прочее и прочее. Молодому человеку частенько нечем платить за квартиру, и он по ночам пишет, пишет, пишет. Прекрасное средство, которым зараз достигаются две цели: прогоняется нужда и догоняется слава... Поэма в стихах? трагедия? роман?

Я сделал невольное движение, чтобы закрыть книгой роковую седьмую главу третьей части романа, но Порфир Порфирыч поймал мою руку и неожиданно поцеловал ее.

— Люблю, — шептал пьяный старик, не выпуская моей руки. — Ах, люблю... Именно хорош этот молодой стыд... эта невинность и девственность просыпающейся мысли. Голубчик, пьяница Селезнев все понимает... да! А только не забудьте, что канатчик-то все-таки повесился. И какая хитрая штука: тут бытие, вившее свою веревку несколько лет, и тут же небытие, повешенное на этой самой веревке. И притом какая деликатность: пусть теперь другие вьют эту проклятую веревку... хе-хе!

Порфир Порфирыч тяжело раскашлялся, схватившись за надсаженную простудой грудь, и даже выпустил из кулака деньги. Я подал ему стакан воды, и пьяница поблагодарил меня улыбнувшимися глазами. Меня начинала интересовать эта немного дикая сцена.

Собрав деньги с пола, старик разложил их на моем столе, пересчитал и с глубоким вздохом проговорил:

— Двадцать семь рубликов, двадцать семь соколиков... Это я за свое «Яблоко раздора» сцапал. Да... Хо-хо! Нам тоже пальца в рот не клади... Так вы не желаете взять ничего из сих динариев?

— Нет.

— Все равно пропью.

— Зачем пропивать?.. Вот у вас пальто холодное, а скоро наступит зима. Мало ли что можно приобрести на эти деньги?

— Вот вы говорите одно, а думаете-другое: пропьет старый черт. Так? Ну, да не в этом дело-с... Все равно пропью, а потом зубы на полку. К вам же приду двугривенный на похмелье просить... хе-е!.. Дадите?

— Если у самого будут...

— О, юноша, юноша... Ну, да не в этом дело. Д-да... А слыхали вы, юноша, нечто о волчьем хлебе?

— Нет.

— Та-ак-с... А это вот какая история-с, юноша. Возьмите вы теперь волка, настоящего лесного волка, который по лесу бегает и этак зубами с голоду щелкает. Жалованья ему не полагается, определенных занятий не имеет, ну, одним словом, настоящий волк, которому на роду написано голодать. И вдобавок волк-то еще состарился: шерсть у него вылиняла, глаз притупился, на ухо туг, нос заржавел, зубы съел, — ну, ему вдвойне приходится голодать супротив молодых волков. Не идти же ему к дантисту: вставьте, мол, новые зубы и при этом позвольте-с очки... Так? И вдруг этому облезлому, беззубому волчищу этакий кус попадает?.. Хам! Неужели он по частям будет добычу размеривать? Сразу голубчик слопает, а потом опять голодать. Так и в нашем деле... Теперь поняли?.. Ведь это надо на своей коже испытать. А кстати, вот что, пойдемте в одно место злачное?

— Куда?

— Да попросту в трактирное заведение... Чайку напьемся, машину послушаем, ибо душа требует простора, трубных звуков и сладкого забвения. Вы газеты почитаете, а я просияю божественной теплотой. Знаете, как сказано у Гафиза: «Пустыня льву, лес птице и кабак Гафизу»... хе-хе!.. Там уж все наши в сборе. Ведь вы Гришука знаете? Нет? Ну, как вы, юноша, ничего не знаете. И Молодина не знаете? и полковника Фрея? Тэ-тэ... да ведь это такие праведники, без которых несть граду стояния... Одевайтесь и идемте. Все равно сегодня ничего писать не будете... Канатчик-то ведь повесился — вы и будете думать о нем. Вон и ножки болтаются.

На лекции идти было поздно, работа расклеилась, настроение было испорчено, и я согласился. Да и старик все равно не уйдет. Лучше пройтись, а там можно будет всегда бросить компанию. Пока я одевался, Порфир Порфирыч присел на мою кровать, заложил ногу на ногу и старчески дребезжавшим тенорком пропел:

Надо мной певала матушка,
Колыбель мою качаючи:
«Будешь счастлив, Калистратушка!»

Мы вышли. Порфир Порфирыч в порыве восторга ущипнул подвернувшуюся Лизу и за нанесенное оскорбление подарил двугривенный.

— На, чухоночка, где тебе взять... — бормотал старик, шлепая своими калошами.

Лиза проводила нас улыбавшимися глазами и проговорила:

— У ней много денек... бокгатая!..

III

На улице Порфир Порфирыч показался мне таким маленьким и жалким. Приподняв воротник своего пальто, он весь съежился, и я слышал, как у него начали стучать зубы.

— Мы автомедона возьмем... — решил он, изнемогая окончательно. — Эй, извозец, на Симеониевскую, четвертак!

Мы поехали.

— Вы не думайте, юноша, что я везу вас куда-нибудь, — объяснял Порфир Порфирыч, еще сильнее съеживаясь. — Самое избранное общество, и почти все с высшим образованием. Одним словом, газетные гоги и магоги... А меня ваша чухоночка подстроила: «она пишет... день пишет и ночь пишет». Э, думаю, нашего поля ягода... И потом жаль мне вас стало. Наверно, думаю, этакой романище закатил в пяти частях, а самому жрать нечего. Помереть ведь можно над романищем-то. Вы в газетном борзописании не искушались? Э, батенька, сие не обогатит, а кусочек хлеба с маслом даст... Да вот я вас привезу прямо в академию, а там уж научат. Там собаку съели... Научат, как волчий хлеб добывать.

На Троицком мосту нас пронял довольно свежий ветер, и Порфир Порфирыч малодушно спрятался за меня.

— У меня личные неприятности с этим проклятым мостом, — объяснял он. — Сколько флюсов я износил из-за него... И всегда здесь проклятый ветер, точно в форточке. Изнемогаю в непосильной борьбе с враждебными стихиями...

Мы едва дотащились до Симеониевской улицы. Порфир Порфирыч вздохнул свободнее, когда мы очутились за гостеприимной дверью. Трактир из приличных, хотя и средней руки. Пившие чай купцы подозрительно посмотрели на пальто моего спутника и его калоши. Но он уделил им нуль внимания, потому что чувствовал себя здесь как дома.

— Агапычу сто лет... — здоровался он с буфетчиком, перекладывая деньги из правой руки в левую.

— Пожалуйте... — приглашал лакей, забегая перед Порфиром Порфировичем петушком. — Там уж компания-с...

Мы прошли общую залу и вошли в отдельную комнату, где у окна за столиком разместилась компа-

ния неизвестных людей, встретившая появление Порфира Порфирыча гулом одобрения, как театральный народ встречает короля.

— Отцы, позвольте презентовать прежде всего вам юношу, — бормотал Порфир Порфирыч, указывая на меня. — Навозну кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно... Не в этом дело-с. Василий Иванович Попов... Кажется, так?

— Да... — подтвердил я, здороваясь с новыми знакомыми.

Первое впечатление было не в пользу «академии». Ближе всех сидел шестифутовый хохол Гришук, студент лесного института, рядом с ним седой старик с военной выправкой — полковник Фрей, напротив него Молодин, юркий блондин с окладистой бородкой и пенсне. Четвертым оказался худенький господин с веснушчатым лицом и длинным носом.

— Тоже Попов, а попросту — Пепко, — сам отрекомендовался он, протягивая длинную сырую руку.

Мне почему-то показалось, что из всей «академии» только этот Пепко отнесся ко мне с какой-то скрытой враждебностью, и я почувствовал себя неловко. Бывают такие встречи, когда по первому впечатлению почему-то невзлюбишь человека. Как оказалось впоследствии, я не ошибся: Пепко возненавидел меня с первого раза, потому что по природе был ревнив и относился к каждому новому человеку крайне подозрительно. Мне лично он тоже не понравился, начиная с его длинного носа и кончая холодной сырой рукой.

Много прошло лет с этого момента, и из действующих лиц моего рассказа никого уже не осталось в живых, но я всех их вижу, как сейчас. Вот молчаливый Фрей с его английской коротенькой трубочкой. Лицо точно вырублено топором, серые глаза навыкате, опущенные книзу серые усы, серая тужурка; он не любил говорить и умел слушать. Кто он такой, как попал в газетное колесо, почему полковник и почему Фрей — я так и не узнал, хотя имел впоследствии с ним постоянно дело. Хохол Гришук был настоящий хохол — добродушный, ленивый, лукавый по-хохлацки

и очень слабый до горилки. Молодин скоро выбыл из компании, пристроившись секретарем к какому-то дамскому благотворительному комитету, собиравшему тряпки, старые коробки из-под сардин и всякую непутную дрянь. Его видали потом уже в шинели с настоящими бобрами, но он отвертывался, не узнавая членов «академии». Да, я смотрю через призму двадцати лет на сидевшую за столиком компанию и могу только удивляться человеческой непроницательности. В трактир на Симеониевской меня привело простое любопытство, и я не подозревал, что в моей жизни это был самый решительный шаг. Бывают такие роковые дни, когда жизнь поворачивает в новое русло, а человек этого не чувствует, поддаваясь течению. Так было и тут. Предо мной открывалась совершенно новая жизнь, новые люди, новые интересы, и я присел к общему столику с скромною мыслью посидеть немного и уйти.

То же самое могу сказать о людях. Если бы человек мог провидеть будущее хоть немного... Я сейчас смотрю на Пепку и вижу его совсем другим, чем он мне показался с первого раза. Мог ли я себе представить, что именно с этим человеком будет связана целая полоса моей жизни, больше — самое горячее, дорогое время, которое называется молодостью. Вспоминая прошлое, я обобщаю свою молодость именно с Пепкой и иначе не могу думать. Это был мой двойник, мое alter ego. Милый Пепко, молодость, где вы? У меня невольно сжимается сердце, и мысленно я опять проделываю тот тернистый путь, по которому мы шли рука об руку, переживаю те же молодые надежды, испытываю те же муки молодой совести, неудачи и злоключения... И мне хочется пожать эту холодную сырую руку, хочется слышать неровный крикливый голос Пепки, странный смех — он смеялся только нижней частью лица, а верхняя оставалась серьезной; хочется, наконец, видеть себя опять молодым, с единственным капиталом своих двадцати лет. Позвольте, это, кажется, получается маленькое отступление, а Пепко ненавидел лиризм, и я не буду

оскорблять его памяти. В обиходе нашей жизни сентиментальности вообще не полагалось, хотя, говоря между нами, Пепко был самым сентиментальным человеком, какого я только встречал. Но я забегаю вперед.

Порфир Порфирыч торжественно подошел к столу и раскрыл свой несгораемый шкаф. Присутствующие отнеслись к скомканным ассигнациям довольно равнодушно, как люди, привыкшие обращаться с денежными знаками довольно фамильярно.

— Это твое «Яблоко раздора», Порфирыч? — сделал догадку один Гришук.

— Не в этом дело-с, — бормотал Селезнев, продолжая топтаться на месте. — Господа, разгладим чело и предадимся веселию. Ах, да, какой случай сегодня...

Пока «человек» «соображал» водку и закуску, Селезнев рассказал о повесившемся канатчике приблизительно в тех же выражениях, как говорил у меня в комнате.

— Ну, что же из этого? — сурово спросил Фрей, посасывая свою трубочку. — У каждого есть своя веревочка, а все дело только в хронологии...

Всех внимательнее отнесся к судьбе канатчика Пепко. Когда Селезнев кончил, он заметил:

— Что же, рассказец этот рублевиков на двенадцать можно будет вылепить... Главное, название хорошее: «Петля».

— Нет, брат, шалишь! — вступился Селезнев. — Это моя тема... У меня уже все обдумано и название другое: «Веревочка». У тебя скверная привычка, Пепко, воровать чужие темы... Это уже не в первый раз.

— А не болтай... — сказал Пепко. — Никто за язык не тянет. Наконец, можно и на одну тему писать. Все дело в обработке сюжета, в деталях.

Когда была подана водка и закуска, Селезнев обратился ко мне:

— Ну, вот мы и дома... Выпьем, юноша.

— Я не пью.

Мой ответ, видимо, произвел неблагоприятное впечатление, а Пепко сделал какую-то гримасу, отвернулся и фыркнул. Я чувствовал, что начинаю краснеть. Зачем же тогда было идти в трактир, если не пить? Конечно, глупо. Чтобы поправиться, я взял рюмку и выпил, причем поперхнулся и закашлялся. Это уже вышло окончательно глупо, и Пепко имел право расхохотаться, что он и сделал. Мне даже показалось, что он обругал меня телятиной или чем-то в этом роде. Я почувствовал себя среди этих академиков мальчишкой и готов был выпить керосин из лампы, чтобы показаться большим.

— Ничего, ничего, юноша... — успокаивал меня Селезнев. — Всему свое время... А впрочем, не в этом дело-с!..

Поданная водка быстро оживила всю компанию, а Селезнев захмелел быстрее всех. В общей зале давно уже была «поставлена машина», и под звуки этой трактирной музыки старик блаженно улыбался, причмокивал, в такт раскачивал ногой и повторял:

— Да-с, у каждого есть своя веревочка... Верно-с!.. А канатчик-то все-таки повесился... Кончено... finita la commedia...[1] Хе-хе!.. Теперь, брат, шабаш... Не с кого взять. И жена, которая пилила беднягу с утра до ночи, и хозяин из мелочной лавочки, и хозяин дома — все с носом остались. Был канатчик, и нет канатчика, а Порфир Порфирыч напишет рассказ «Веревочка» и получит за оный мзду...

Чтобы поправить свою неловкость с первой рюмкой, я выпил залпом вторую и сразу почувствовал себя как-то необыкновенно легко и почувствовал, что люблю всю «академию» и что меня все любят. Главное, все такие хорошие... А машина продолжала играть, у меня начинала сладко кружиться голова, и я помню только полковника Фрея, который сидел с своей трубочкой на одном месте, точно бронзовый памятник.

— Он пишет роман... — рекомендовал меня Селезнев. — Да, черт возьми! Этакой священный огонь в некотором роде... Хе-хе!..

[1] комедия окончена... *(итал.)*

IV

Дальнейшие события следовали в таком порядке, вернее сказать — в беспорядке. На другой день я проснулся в совершенно незнакомой мне комнате и долго не мог сообразить, где я и как я мог попасть сюда. Ответом послужила только нестерпимая головная боль... Но и эта боль ничто по сравнению с тем стыдом, который меня охватил. Боже мой, где я вчера был? как провел вечер? что делал, что говорил? В голове проносились обрывки чего-то ужасного, безобразного, нелепого... Мне начинало казаться, что весь вчерашний день являлся одним сплошным безобразием. Нечего сказать, хорош будущий романист... Для начала даже совсем недурно.

Немало меня смущало и то обстоятельство, что в комнате я был один. Я лежал на какой-то твердой, как камень, клеенчатой кушетке, а рядом у стены стояла кровать. По смятой подушке и сбитому одеялу я мог сделать предположение, что на ней кто-то спал и вышел, а следовательно, должен вернуться. Кстати у меня мелькнул обрывок вчерашних воспоминаний. Мы вышли из трактира вместе с Пепкой, вышли под руку, как и следует друзьям. Потом Пепко остановился на углу улицы, взял меня за пуговицу и сообщил мне трагическим шепотом:

— Знаете, Попов, я — великая свинья...

Он, очевидно, рассчитывал на эффект этого открытия, а так как такового не получилось, то неожиданно прибавил:

— И все подлецы...

Последняя гипотеза была очень невыгодна для меня, но я почему-то счел неудобным оспаривать ее, кажется, даже подтвердил ее, мысленно выделив только самого себя. Да, да, именно так все было, и я отлично помнил, как Пепко держал меня за пуговицу.

На основании этого маленького эпизода я имел некоторое право догадываться, что нахожусь в квартире Пепки. Комната была большая, но какого-то необыкновенно унылого вида, вероятно благодаря аб-

солютной пустоте, за исключением моей кушетки, кровати, ломберного стола, одного стула и этажерки с книгами. Единственное окно упиралось куда-то в стену. По разложенным на столе литографированным запискам я имел основание заключить, что хозяин — студент, и это значительно меня успокоило. Впрочем, скоро послышался довольно крупный разговор, который окончательно вернул меня к действительности.

— Когда же вы мне деньги-то за квартиру отдадите, Попов? — слышался сердитый женский голос.

— Любезнейшая Федосья Ниловна, как только получу, так и отдам, — уверял мужской голос, старавшийся быть любезным. — Как только получу...

— Я уж это давно слышу. Пьянствовать вы можете, а денег за квартиру нет. Вчера вы в каком виде пришли, да еще какого-то пьяницу с собой привели...

Это, очевидно, относилось по моему адресу. Скверная баба, очевидно, не имела привычки церемониться с своими жильцами.

— Любезнейшая Федосья Ниловна, вы говорите совершенно напрасные женские слова, потому что находитесь не в курсе дела. Да, мы выпили, это верно, но это еще не значит, что у нас были свои деньги...

— Что же, вас даром поили?..

— Не даром, но предположите, что деньги могли быть у третьего лица, совершенно непричастного к настоящему вопросу о квартирной плате. Конечно, нравственная сторона всего дела этим не устраняется: мы были несколько навеселе, это верно. Но мир так прекрасен, Федосья Ниловна, а человек так слаб...

— Пожалуйста, не заговаривайте зубов... О, я вас отлично знаю!..

Где-то послышался сдержанный смех, затем дверь отворилась, и я увидел длинный коридор, в дальнем конце которого стояла средних лет некрасивая женщина, а в ближнем от меня Пепко. В коридор выходило несколько дверей из других комнат, и в каждой торчало по любопытной голове — очевидно, глупый смех принадлежал именно этим головам. Мне лично не понравилась эта сцена, как и все поведение Пепки,

разыгрывавшего шута. Последнее сказывалось главным образом в тоне его голоса.

Он вошел в комнату с сердитым лицом, припер за собой дверь, огляделся и поставил на стол полбутылки водки, две бутылки пива и достал из кармана что-то очень подозрительное, завернутое в довольно грязную бумажку.

— А на закуску-то и не хватило... — резюмировал Пепко тайный ход своих мыслей.

Он еще раз оглядел всю комнату, сердито сплюнул и швырнул свою длиннополую шляпу куда-то на этажерку. Мне показалось, что сегодняшний Пепко был совсем другим человеком, не походившим на вчерашнего.

— Главизна зело трещит? — обратился он ко мне, глядя куда-то в угол. — Нечего сказать, хороши мы были вчера... Одним словом, свинство!.. Нужно корректировать подлую природу...

Он еще раз оглядел всю комнату, еще раз посмотрел на дверь и еще раз плюнул.

— Проклятая баба... — ворчал Пепко, подходя к письменному столу и вынимая из письменного прибора вторую, чистую чернильницу. — Вот из чего придется пить водку. Да... А что касается пива... Позвольте...

Пепко с решительным видом отправился в коридор, и я имел удовольствие слышать, как он потребовал стакан отварной воды для полоскания горла. Очевидно, все дело было в том, чтобы добыть этот стакан, не возбуждая подозрений.

Когда я наотрез отказался опохмелиться, Пепко несколько времени смотрел на меня с недоверчивым изумлением.

— Вообще ничего не пью... — виновато оправдывался я. — Вчерашний случай вышел как-то сам собой, и я даже хорошенько не помню всех обстоятельств.

— И отлично! — согласился Пепко. — Кстати, вы, кажется, и не курите?

— Нет, не курю...

Пепко быстро окинул меня испытующим взором, а потом подошел и молча пожал руку.

— Я могу только позавидовать, — бормотал он, наливая водку в чернильницу. — Да, я глубоко испорченный человек... За ваше здоровье и за наше случайное знакомство. Виноват старый черт Порфирыч...

Две выпитых чернильницы сразу изменили настроение духа Пепки. Он как-то размяк и осовел. Явилась неудачная попытка спеть куплет из «Прекрасной Елены»:

...Но ведь бывают столкновенья,
Когда мы нехотя грешим.

Мне нравилась в Пепке та решительность, которой недоставало мне. Он умел делать с решительным видом самые обыкновенные вещи. И как-то особенно вкусно делал... Например, как он развернул бумажку с подозрительным содержимым, которое оказалось обыкновенным рубцом.

— А знаете, Федосья прекрасная женщина, — говорил он, прожевывая свою жесткую закуску. — Я ее очень люблю... Эх, кабы горчицы, немножко горчицы! Полцарства за горчицу... Тридцать пять с половиной самых лучших египетских фараонов за одну баночку горчицы! Вы знаете, что комнаты, в которых мы сейчас имеем честь разговаривать, называются «Федосьиными покровами». Здесь прошел целый ряд поколений, вернее сказать — здесь голодали поколения... Но это вздор, потому что и голод понятие относительное. Вы не хотите рубца?..

Я великодушно отказался. По лицу Пепки я заметил, что он заподозрил во мне барина и сбавил мне цену. Размягченный водкой, он подсел ко мне на кушетку и заговорил о литературе. Это был опять новый человек. Пепко, видимо, упорно следил за литературой и говорил тоном знатока. Излишняя самоуверенность скрашивалась здесь его молодостью. Мы неожиданно разговорились, как умеют говорить в двадцать лет. Я, несмотря на свой сдержанный характер, как-то невзначай разговорился и поверил Пепке свои самые задушевные планы. Дело в том, что мной

была задумана целая серия романов, на манер «Ругонов» Золя. Пепко выслушал внимательно и отрицательно покачал головой.

— Вздор! — убежденно проговорил он, встряхивая головой. — Предприятие почтенное по замыслу, но, как простое подражание, оно не имеет смысла. Ведь Россия, голубчик, не Франция... Там в самом воздухе висит культура. А нам, то есть каждому начинающему автору, приходится проходить всю теорию словесности собственным горбом, начиная с поучения какого-нибудь Луки Жидяты. Да... До сих пор мы, русские, изобретаем еще часы, швейные машины и прочее, что давно известно. То же самое и в литературе. Прибавьте к этому наше полное незнание жизни и, главное, отсутствие этой жизни. Ну, где она? Всю жизнь мы просиживаем по своим норам и по норам помираем. Где-то там, далеко, люди живут, а мы только облизываемся или носим платье с чужого плеча. Неприятно, а правда... Если вы хотите узнать несколько жизнь, есть прекрасный случай. Вчера даже был разговор об этом.

— Припоминаю... Быть репортером?

— Да... Досыта эта профессия не накормит, ну, и с голоду окончательно не подохнете. Ужо я переговорю с Фреем, и он вас устроит. Это «великий ловец перед господом»... А кстати, переезжайте ко мне в комнату. Отлично бы устроились... Дело в том, что единолично плачу за свою персону восемь рублей, а вдвоем мы могли бы платить, ну, десять рублей, значит, на каждого пришлось бы по пяти. Подумайте... Я серьезно говорю. Я ведь тоже болтаюсь с газетчиками, хотя и живу не этим... Так, между прочим...

Это предложение застало меня совершенно врасплох, так что я решительно не мог ответить ни да, ни нет. Пепко, видимо, огорчился и точно в свое оправдание прибавил:

— А какие у меня соседи: рядом черкес, потом студент-медик, потом горняк... Все отличные ребята.

В этом предложении Пепки для меня заключалось начало моей собственной литературной веревочки.

V

Предложение Пепки переехать к нему в комнату вызвало во мне какое-то смутное чувство нерешимости. С одной стороны, моя комната «очертела» мне до невозможности, как пункт какого-то предварительного заключения, и поэтому, естественно, меня тянуло разделить свое одиночество с другим, подобным мне существом, — это инстинктивное тяготение к дружбе и общению — лучшая характеристика юности; а с другой, — я так же инстинктивно боялся потерять пока свое единственное право — сидеть одному в четырех стенах. Я уже сказал, что мой характер отличался некоторою скрытностью и я почти не имел друзей, а затем у меня была какая-то непонятная костность, почти боязнь переменить место. Являлся почти мистический страх: а если там будет хуже? Эта черта осталась на всю жизнь и принесла мне немало вреда. В данном случае решающим обстоятельством являлся все тот же повесившийся канатчик. Стоило мне подойти к окну и взглянуть на огород с капустой, как сейчас же являлась мысль о канатчике, и я не мог от нее отвязаться. Мне начинало казаться, что тень несчастного канатчика бродит по огороду и все-таки вьет свои веревки, хотя это и происходило главным образом в сумерки. Одним словом, что-то было нарушено в общем настроении, и меня неотступно преследовала эта совершенно вздорная мысль, относительно которой я не решился бы признаться самому близкому человеку.

А там, у Пепки, меня ждало общество и, главное, новые интересы. У меня не выходило из головы высказанное Пепкой предложение заняться репортерством, хотя я относительно этой специальности имел самые смутные представления. Взвешивая за и против все эти обстоятельства, я, наконец, решился оставить свою одинокую комнату. Хозяева отнеслись к моему решению совершенно индиферентно, как настоящие петербургские хозяева, которым все равно, кому бы ни сдавать лишнюю комнату. Кажется, искренне

пожалела меня одна чухонка Лиза, которая крала мой сахар и чай самым добросовестным образом.

— Порфир Порфирыч екал? — догадывалась она, помогая мне вытащить мой тощий чемодан.

— Нет, к товарищу...

— Пьяница? — еще раз сделала она попытку угадать.

— Вы говорите глупости, Лиза...

Я чувствовал, что начинаю краснеть, и еще больше обозлился на проницательную чухонскую девицу. Нечего сказать, недурное напутствие...

Дальше опять следовала неприятность, именно, что Федосья встретила меня почти враждебно. И сам деревянный флигель, нижний этаж которого был занят «Федосьиными покровами», тоже, казалось, не особенно дружелюбно, смотрел на нового жильца своими слезившимися окнами... Вообще хорошего было мало, и я уже раскаивался, когда мой чемодан очутился в комнате Пепки. Ведь этим простым актом, как переезд на новую квартиру, я навсегда терял свою голодную свободу... Кто знает, что было бы, если бы я остался на старой квартире, и делается обидно, из каких ничтожных мелочей складывается то неизвестное, которое называется жизнью.

Пепко был дома и, как мне показалось, тоже был не особенно рад новому сожителю. Вернее сказать, он отнесся ко мне равнодушно, потому что был занят чтением письма. Я уже сказал, что он умел делать все с какой-то особенной солидностью и поэтому, прочитав письмо, самым подробным образом осмотрел конверт, почтовый штемпель, марку, сургучную печать, — конверт был домашней работы и поэтому запечатан, что дало мне полное основание предположить о его далеком провинциальном происхождении.

— Это прямо к тебе относится, — проговорил Пепко, развертывая аккуратно сложенное письмо, — он перешел на «ты» без всяких предисловий. — Вот, слушай... Это пишет моя добрая мать... «А больше всего, Агафоша, остерегайся дурных товарищей...» Понимаешь, не в бровь, а прямо тебе в глаз. Дальше: «...в столицах очень много блеска, но еще больше

дурных примеров и дурных людей, которые совращают неопытных юношей с истинного пути». Неопытный юноша — это я... Какая милая наивность! Моя добрая мать не подумала только одного, что у каждого, даже столичного подлеца должна быть тоже одна добрая мать, которая думает то же самое, что и одна моя добрая мать. Признайся, ты, вероятно, получаешь точно такие же письма с мудрыми предостережениями относительно дурных товарищей?

Мне ничего не оставалось, как признаться, хотя мне писала не «одна добрая мать», а «один добрый отец». У меня лежало только что вчера полученное письмо, в таком же конверте и с такой же печатью, хотя оно пришло из противоположного конца России. И Пепко и я были далекими провинциалами.

Наш первый совместный день сложился под впечатлением этого письма «одной доброй матери» Пепки.

Пообедали мы дома разным «сухоястием», вроде рубца, дрянной колбасы и соленых огурцов. После такого меню необходимо было добыть самовар. Так как я имел неосторожность отдать Федосье деньги за целый месяц вперед, то Пепко принял с ней совершенно другой тон.

— Федосья Ниловна, не пожелаете ли вы водрузить нам самовар? — говорил он совсем другим тоном, точно сам заплатил за квартиру. — И, пожалуйста, поскорее.

Федосья как-то смешно фыркнула себе под нос и молча перенесла нанесенное ей оскорбление. Видимо, они были люди свои и отлично понимали друг друга с полуслова. Я, с своей стороны, отметил в поведении Пепки некоторую дозу нахальства, что мне очень не понравилось. Впрочем, Федосья не осталась в долгу: она так долго ставила свой самовар, что лопнуло бы самое благочестивое терпение. Пепко принимался ругаться раза три.

— Если бы у меня были часы, — повторял он с особою убедительностью, — я показал бы ей, что нельзя ставить самовар целый час. Вот проклятая баба навязалась... Сколько она испортила крови моего

сердца и сока моих нервов! Недаром сказано, что господь создал женщину в минуту гнева... А Федосья — позор натуры и ужас всей природы.

Я заметил, что Пепко под влиянием аффекта мог достигнуть высоких красот истинного красноречия, и впечатление нарушалось только несколько однообразной жестикуляцией, — в распоряжении Пепки был всего один жест: он как-то смешно совал левую руку вперед, как это делают прасолы, когда щупают воз с сеном. Впрочем, священное негодование Пепки сейчас же упало, как только появился на столе кипевший самовар. Может быть, его добродушное старческое ворчанье напоминало Пепке его «одну добрую мать», а может быть, просто истощился запас энергии.

Помню, что спускался уже темный осенний вечер, и Пепко зажег грошовую лампочку под бумажным зеленым абажуром. Наш флигелек стоял на самом берегу Невы, недалеко от Самсониевского моста, и теперь, когда несколько затих дневной шум, с особенной отчетливостью раздавались наводившие тоску свистки финляндских пароходиков, сновавших по Неве в темные ночи, как светляки. На меня эти свистки произвели особенно тяжелое впечатление, как дикие вскрики всполошившейся ночной птицы.

— Как это странно, — говорил Пепко, выпив залпом три стакана, — как странно, что вот мы с тобой сидим и пьем чай...

— Что же тут странного?

— Даже очень странно, как вообще все в жизни. Нужно тебе сказать, что я постоянно удивляюсь тому, что делается кругом меня. Сделаем простое предположение: не будь «медного всадника» на Сенатской площади, и мы никогда бы не встретились. Мало того, не было бы и Петербурга, а лежало бы себе ржавое чухонское болото и «угрюмый пасынок природы» колотил бы свой дырявый челн... А теперь вот мы имеем удовольствие наслаждаться свистками этих подлых финляндских пароходишек. Лично мне затея Петра основать Петербург обошлась уже ровно в сорок рублей с копейками... да. Считай: пять концов по Николаевской железной дороге... Да, так меня удивляет

вот то, что мы сидим и пьем чай: я — уроженец далекого северо-востока, а ты — южанин. Есть даже нечто трогательное в этом сближении, и, выражаясь высоким слогом, можно определить настоящий момент следующей формулой: в недрах «Федосьиных покровов», у кипящего самовара, далекий северо-восток подал руку далекому югу...

Очевидно, у Пепки была слабость к цитатам, чужим выражениям и высокому слогу, в чем я впоследствии мог убедиться уже окончательно. Выражаясь проще, кипевший самовар просто напоминал нам наши далекие гнезда, где, вероятно, тоже теперь пили чай и, быть может, тоже вспоминали отлетевших птенцов.

— А знаешь, что привело нас сюда? — неожиданно обратился ко мне Пепко, делая свой единственный жест. — Ты скажешь: любовь к знанию... жажда образования... Хе-хе!.. Все это слова, хорошие слова, и все-таки слова... Сущность дела гораздо проще: образование образованием, а хорошо и свой кусочек пирога получить. Вот молодой провинциал и едет в Питер... Это настоящая осада, и каждый несет сюда самое лучшее, что только у него есть. Добродушная провинция сваливает сюда свое сырье, а получает обратно уже готовый фабрикат... Мена, во всяком случае, выгодная только фабриканту. Знаешь, у меня есть страсть весной бродить по кладбищам... Вот поучительная картина: сколько тут уложено нашего брата провинциала, который тащится в Петербург с добрыми намерениями вместо багажа. Тут и голод, и холод, и пьянство с голода и холода, и бесконечный ряд неудач, и неудовлетворенная жажда жить по-человечески, — все это доводит до преждевременного конца. А сколько по этим кладбищам гниет не успевших даже проявить себя талантов, сильных людей, может быть, гениев, — смотришь на эти могилы и чувствуешь, что сам идешь по дороге вот этих неудачников-мертвецов, проделываешь те же ошибки, повинуясь простому физическому закону центростремительной силы. И на смену этих мертвецов являются новые батальоны, то есть мы, а на нашу смену гото-

вятся в неведомой провинциальной глуши новые Пети и Коли. Страшно даже подумать, какая масса силы растрачивается совершенно непроизводительно и с каким замечательным самопожертвованием провинция отдает столицам свою лучшую плоть и кровь. Но вместе с тем я не желаю обманывать себя и называю вещи своими именами: я явился сюда с скромной целью протискаться вперед и занять место за столом господ. Одним словом, я хочу жить, а не прозябать...

— Как мне кажется, ты немножко противоречишь себе... Я не думаю, чтобы тебя привела сюда только одна жажда карьеры.

— Э, голубчик, оставим это! Человек, который в течение двух лет получил петербургский катарр желудка и должен питаться рубцами, такой человек имеет право на одно право — быть откровенным с самим собой. Ведь я средний человек, та безразличность, из которой ткется ткань жизни, и поэтому рассуждаю, как нитка в материи...

В этой реплике выступала еще новая черта в характере Пепки, — именно — его склонность к самоpазъедающему анализу, самобичеванию и вообше к всенародному покаянию. Ему вообще хотелось почему-то показаться хуже, чем он был на самом деле, что я понял только впоследствии.

Свой первый вечер мы скоротали как-то незаметно, поддавшись чисто семейным воспоминаниям. В «Федосьиных покровах» раздалась сердечная нота и пахнуло теплом далекой милой провинции. Каждый думал и говорил о своем.

— Моя генеалогия довольно несложная, — объяснял Пепко с иронической ноткой в голосе. — Мои предки принадлежали к завоевателям и обрусителям, говоря проще — просто душили несчастных инородцев... Вообще наша сибирская генеалогия отличается большой скромностью и кончается дедушкой, которого гнали и истребляли, или дедушкой, который сам гнал и истреблял. В том и другом случае молчание является лучшей добродетелью. И у тебя не лучше... Э, да что тут говорить!.. Мы-то видим только ближайших предков, одного доброго папашу и одну добрую

мамашу, которые уже сняли с себя кору ветхого человека.

Из этих рассуждений Пепки для меня ясно выступало только одно, именно — сам Пепко с его оригинальной, немного угловатой психологией, как те камни, которые высились на его далекой родине. Каждая мысль Пепки точно обрастала одним из тех чужеядных, бородатых лишайников, какими в тайге глушились родные ели. А из-под этого хлама выяснялась простая, любящая русская душа, со всеми присущими ей достоинствами и недостатками. Уже лежа в постели, Пепко еще раз перечитал письмо матери и еще раз комментировал его по-своему. В выражении его лица и в самом тоне голоса было столько скрытой теплоты, столько ласки и здорового хорошего чувства.

— Ах, какая забавная эта одна добрая мать, — повторял Пепко, натягивая на себя одеяло. — Она все еще видит во мне ребенка... Хорош ребеночек!.. Кстати, вот что, любезный друг Василий Иваныч: с завтрашнего дня я устраиваю революцию — пьянство прочь, шатанье всякое прочь, вообще беспорядочность. У меня уже составлена такая таблица, некоторый проспект жизни: встаем в семь часов утра, до восьми умыванье, чай и краткая беседа, затем до двух часов лекции, вообще занятия, затем обед...

На последнем слове Пепко запнулся: в проспекте его жизни появлялась неожиданная прореха.

— А, черт, утро вечера мудренее! — ворчал он, закутываясь в одеяло с головой.

Через пять минут Пепко уже храпел, как зарезанный. А я долго не мог уснуть, что случалось со мной на каждом новом месте. В голову лезли какие-то обрывки мыслей, полузабытые воспоминания, анализы сегодняшних разговоров... А невские пароходы, как назло, свистели точно под самым ухом. Где-то хлопали невидимые двери, слышались шаги, говор, хохот — жизнь в «Федосьиных покровах» затихала очень поздно. Я пожалел свое покинутое одиночество еще раз и чувствовал в то же время, что возврата нет, а оставалось одно — идти вперед.

Мне вообще сделалось грустно, а в такие минуты молодая мысль сама собой уносится к далекому родному гнезду. Да, я видел далекие степи, тихие воды, ясные зори, и душа начинала ныть под наплывом какого-то неясного противоречия. Стоило ли ехать сюда, на туманный чухонский север, и не лучше ли было бы оставаться там, откуда прилетают эти письма в самодельных конвертах с сургучными печатями, сохраняя еще в себе как бы теплоту любящей руки?.. Меня начинал пугать преждевременный скептицизм Пепки... Засыпая, я составлял проспект собственной жизни и давал себе слово не отступать от него ни на одну иоту. Странно, что эта добросовестная. работа нарушалась постоянно письмом «одной доброй матери» Пепки, точно протягивалась какая-то рука и вынимала из проспекта самые лучшие параграфы...

VI

Составленный мной, совместно с Пепкой, «проспект жизни» подвергался большим испытаниям и требовал постоянных «коррективов», — Пепко любил мудреные слова, относя их к высокому стилю. Зависело это отчасти от несовершенства человеческой природы вообще, а с другой стороны — от общего строя жизни «Федосьиных покровов».

Вставали мы утром в назначенный час и проделывали все необходимое в установленный срок, а затем уходили на лекции. Это было лучшее наше время. Затем наступал обед... Мой бюджет составляли те шестнадцать рублей, которые я получал от отца аккуратно первого числа. Из них пять рублей шли на квартиру, шесть в кухмистерскую, а остаток на все остальное. Не скажу, что при таком скромном бюджете я особенно бедствовал. Напротив, рядом с Пепкой я чувствовал себя бессовестным богачом: бедняга ниоткуда и ничего не получал, кроме писем «одной доброй матери». Он голодал по целым неделям, молча и гордо, как настоящий спартанец. Я несколько раз

предлагал ему свою посильную помощь, но получал в ответ холодное презрение.

— Вздор... пустяки... — бормотал Пепко и только в крайнем случае позволял позаимствовать гривенник, причем никогда не говорил: «гривенник», а непременно — «десять крейцеров».

В моменты случайной роскоши он вел счет на франки, и по этой терминологии можно было уже судить о состоянии его финансов.

Забота о насущном хлебе в самых скромных размерах являлась для Пепки проклятым вопросом, разрешение которого разбивало вдребезги лучшие параграфы нашего «проспекта жизни». Пепко устраивал всевозможные комбинации, чтобы раздобыть какой-нибудь несчастный рубль, и в большинстве случаев самые трогательные усилия в результате давали круглый нуль.

— Нет, в каком обществе я вращаюсь?— взывал обозленный Пепко, обращаясь к неумолимому року.— Мои добрые знакомые не имеют даже свободного рубля... Говоря между нами, это порядочные идиоты, потому что каждый нормальный человек обязательно должен иметь свободный рубль. Но это частность, а вообще судьба могла бы быть несколько повежливее... Наконец, и моему терпению есть предел, черт возьми!.. Иду давеча мимо Федосьиной комнаты, а она что-то чавкает... Почему она может чавкать, а я должен вкушать от пищи святого Антония? Удивляюсь...

«Федосьины покровы» состояли из пяти комнат и маленькой кухни. Последнюю Федосья занимала сама, а комнаты сдавала жильцам. Самую большую занимали мы с Пепкой, рядом с нами жил «черкес» Горгедзе, студент медицинской академии, дальше другой студент-медик Соловьев, еще дальше студент-горняк Анфалов, и самую последнюю комнату занимала курсистка-медичка Анна Петровна. Общественное и материальное положение всех жильцов было приблизительно одинаково, за исключением студента Соловьева, который существовал игрой на бильярде. Он каждый вечер уходил к Доминику, где пользовался

широкой популярностью и выигрывал порядочные «мазы». В общежитии это был очень скромный молодой человек, по целым дням корпевший над своими лекциями. Больше других голодал, повидимому, черкес Горгедзе, красавец мужчина, на которого было жаль смотреть — лицо зеленело, под глазами образовались темные круги, в глазах являлся злой огонек. Кажется, черкес отличался большим скептицизмом и даже не старался изыскать средств к пропитанию, как делал Пепко, а только по целым часам ходил по комнате, как маятник.

— Черкес голоден, — говорил Пепко, прислушиваясь к этому голодному шаганью. — Этакий лев, и вдруг ни манже, ни буар... Ведь такой зверь съест зараз целого барана, не то что медичка Анна Петровна: поклевала крошечек и сыта.

Курсистка была на особом положении и пользовалась общим вниманием. Федосья считала своей священной обязанностью следить за каждым ее шагом и относилась к ней с совершенно непонятной, какой-то затаенной злобой, как к сопернице по принадлежавшей ей, Федосье, «женской части» по преимуществу. Если Анна Петровна приходила часом позже, Федосья сейчас же сообщала нам об этом преступлении, улыбаясь самым ехидным образом. Ее томила мысль о том мужчине, который должен был быть у курсистки, — иначе Федосья не могла представить себе эту новую опасную часть. Но самые тщательные исследования не могли открыть ни малейшего признака мифического мужчины, и Федосья приходила к логическому заключению, что все курсистки ужасно хитрые. Сама по себе Анна Петровна представляла собой серенькую, скромную девушку лет двадцати, — у нее были и волосы серые, и глаза, и цвет лица, и платье. Жила она монашенкой и по целым дням сидела в своей комнате, как мышь в норе, — ни одного звука. Пепко относился к ней с галантностью настоящего джентльмена и несколько раз предлагал свои маленькие услуги, какие должен оказывать истинный джентльмен каждой женщине. Эти скромные попытки встречали вежливый, но настойчивый отказ, так что

Пепке оставалось только пожимать плечами, и он называл упрямую курсистку «женским вопросом», что, по его соображениям, выходило очень смешным и до известной степени обидным. Анна Петровна не желала ничего замечать и скромно отсиживалась в своей комнате, как настоящая схимница.

— Ей хорошо, — злобствовал Пепко, — водки она не пьет, пива тоже... Этак и я прожил бы отлично. Да... Наконец, женский организм гораздо скромнее относительно питания. И это дьявольское терпение: сидит по целым неделям, как кикимора. Никаких общественных чувств, а еще Аристотель сказал, что человек — общественное животное. Одним словом, женский вопрос... Кстати, почему нет мужского вопроса? Если равноправность, так должен быть и мужской вопрос...

Мой переезд в «Федосьины покровы» совпал с самым трудным временем для Пепки. У него что-то вышло с членами «академии», и поэтому он голодал сугубо. В чем было дело — я не расспрашивал, считая такое любопытство неуместным. Вопрос о моем репортерстве потерялся в каком-то тумане. По вечерам Пепко что-то такое строчил, а потом приносил обратно свои рукописания и с ожесточением рвал их в мелкие клочья. Вообще, видимо, ему не везло, и он мучился вдвойне, потому что считал меня под своим протекторатом.

Да, наступили трудные дни...

Помню темный сентябрьский вечер. По программе мы должны были заниматься литературой. Я писал роман, Пепко тоже что-то строчил за своим столом. Он уже целых два дня ничего не ел, кроме чая с пеклеванным хлебом, и впал в мертвозлобное настроение. Мои средства тоже истощились, так что не оставалось даже десяти крейцеров. В комнате было тихо, и можно было слышать, как скрипели наши перья.

— А, черт... — ворчал Пепко, время от времени делая передышку.

Я боялся, что он попросит у меня несуществующие десять крейцеров, и молчал. Наконец, мучения

Пепки перешли всякие границы, и он проговорил мрачным голосом:

— Есть десять крейцеров?

— Увы, нет...

Пепко заскрипел зубами от молчаливого отчаяния.

Какая это ужасная вещь — голод, особенно в молодые годы, когда организм так настойчиво предъявляет свои права на питание. Средним числом мне пришлось прожить впроголодь около десяти лет, и я отлично понимаю, что значит вечно недоедать. Теперь мне кажется странным, почему нам тогда не пришла самая простая мысль, именно — готовить обед самим... Стоило купить какой-нибудь крупы и заварить великолепную кашу. Питание сухоястием было втрое дороже и не достигало цели. Даже рубец в нашем меню является большой роскошью... Удивительнее всего то, что студенты-медики на голодный желудок изучали свою гигиену, которая так любезно предлагает самые рациональные методы питания, а относительно самой обыкновенной русской каши глухо молчит. Впрочем, мы, как мужчины, могли и не догадаться, а вот почему тут же рядом молчаливо голодали наши медички, тогда как по своей женской части могли обсудить вопросы питания более практическим способом.

Итак, Пепко заскрипел с голода зубами. Он глотал слюну, челюсти Пепки сводила голодная позевота. И все-таки десяти крейцеров не было... Чтобы утишить несколько муки голода, Пепко улегся на кровать и долго лежал с закрытыми глазами. Наконец, его осенила какая-то счастливая идея. Пепко быстро вскочил, нахлобучил свою шляпу, надел пальто и бомбой вылетел из комнаты. Минут через десять он вернулся веселый и счастливый.

— Эврика! — проговорил он, добывая из кармана полфунта ржаного хлеба и полфунта дешевой лавочной колбасы. — Я перехитрил fortunam adversam...[1] Предадимся чревоугодию...

---

[1] невзгоды... *(лат.)*

Пепко съел все с жадностью наголодавшегося волка, облегченно вздохнул и даже расстегнул свой пиджак, причем я убедился в отсутствии жилета.

— Проклятый закладчик дал всего десять крейцеров... — конфузливо проговорил Пепко на мой немой вопрос. — Ну, да это все равно: не в деньгах счастье.

Насытившись, Пепко сейчас же впал в самое радужное настроение. В такие минуты он обыкновенно доставал из своей библиотеки какой-нибудь женский роман и начинал его читать, иронически подчеркивая все особенности женского творчества. Нужно оказать ему справедливость, Пепко читал мастерски, а сегодня в особенности. Я хохотал до слез, поддаваясь его веселому настроению.

— «Он был среднего роста, с тонкой талией, обличавшей серьезную силу и ловкость»... Есть!.. «Но в усталых глазах (почему в усталых?) преждевременно светился недобрый огонек...» Невредно сказано: огонек! «Меланхолическое выражение этих глаз сменялось неопределенно-жесткой улыбкой, эти удивительные глаза улыбались, когда все лицо оставалось спокойным». Вот учись, как пишут...

Мы очень весело провели наш вечерний чай, позанимались еще часа два и, по программе, в девять часов улеглись спать.

— Я чувствую себя в положении боа-констриктора, который только что сожрал целого теленка, — объяснял Пепко, кутаясь в заношенном байковом одеяле. — Да... И вот страдания двадцать первого сентября закончились.

Пепко жестоко ошибся: страданиям не суждено было закончиться.

Мы только что потушили свои лампы и приготовились заснуть, как было назначено в нашей программе, но именно в этот критический момент в коридоре послышались легкие женские шаги, а затем осторожный стук в двери черкеса. «Войдите», — отвечал грубоватый мужской голос, а затем прибавил уже вполголоса совсем другим тоном: «Ах, это вы»...

Дальше послышался сдержанный шепот и что-то вроде поцелуя...

— А, черт... — обругался Пепко в пространство, тяжело ворочаясь на своей кровати.

Благодаря тонкой дощатой стенке, отделявшей нашу комнату от комнаты черкеса, мы сделались настоящими мучениками. Стоявшая мертвая тишина чутко подхватывала малейший шорох, точно наша комната превратилась в громадный резонатор. А шепот продолжался, и ему аккомпанировал смущенно-счастливый смех... Я напрасно прятал голову в подушку, напрасно Пепко прятался с головой под одеяло, — мы были беззащитны. Если бы в соседней комнате кричали и хохотали во все горло, было бы лучше, чем этот раздражавший полушепот, тихий смех и паузы.

— А, черт... — еще раз обругался Пепко, зажигая лампу. — Нет, это невозможно! Эти проклятые восточные человеки думают только о себе...

Обозленный Пепко надел сапоги и в виде демонстрации зашагал по комнате, стуча каблуками. Но и это не помогло... Остановившись и прислушавшись, Пепко поднял высоко плечи и заявил:

— Ведь то же самое было и третьего и четвертого дня, когда ты уходил из дому... Но тогда приходили другие — я в этом убежден. По голосу слышу... О, проклятый черкес!.. Ты только представь себе, что вместо нас в этой комнате жила бы Анна Петровна?..

Пепко принял позу «последнего римлянина» и трагически воздел руки горе. Кстати, в этой позе Пепко видел все свои права на блестящее будущее и гордился ей.

VII

Первые печатные строки... Сколько в этом прозаическом деле скрытой молодой поэзии, какое пробуждение самостоятельной деятельности, какое окрыляющее сознание своей силы! Об этом много было писано, как о самом поэтическом моменте, и эти первые поцелуи остаются навсегда в памяти, как полуистлевшие от времени любовные письма.

— Сегодня ты отправляешься в Энтомологическое общество от «Нашей газеты», — сурово заявил мне Пепко в одно совсем непрекрасное «после-обеда».

— Что же я там буду делать? — откровенно недоумевал я.

— Будешь сидеть в заседании, запишешь доклад и прения, а завтра к утру составишь отчет... Самое простое дело.

— Но ведь я по части энтомологии ни бельмеса не смыслю... Что-то такое о жучках, бабочках, козявках...

— Именно, наука о козявках, мушках и таракашках, а в сущности — вздор и ерунда. Еще лучше, что ты ничего не смыслишь: будет свежее впечатление... А публике нужно только с пылу, горячего.

— Однако что же я буду писать, если незнаком даже с научной терминологией?

— Э, вздор... А впрочем, мне некогда.

Обстоятельства Пепки круто изменились к лучшему, и поэтому он относился свысока и ко мне и к Федосье. Он где-то напечатал свою «Петлю» и, кроме того, какие-то стишки, — последнее для меня было неожиданным открытием. Я не подозревал, что в Пепке самым скромным образом скрывался поэт... У меня даже явилось чувство зависти, когда Пепко принес номер уличного листка и показал мне свое произведение. Есть какое-то мистическое уважение к печатному слову, и я смотрел на стихи Пепки почти с благоговением, как и на его маленькие рассказы. Благодаря нахлынувшему богатству Пепко, во-первых, выкупил свой жилет, во-вторых, отправился в ресторан обедать и по пути напился и, в-третьих, возвращаясь домой, увидел в окне табачной лавочки гитару, которую и приобрел немедленно, как вещь необходимую в эстетическом обиходе «Федосьиных покровов». Оказалось, что Пепко, кроме поэтического жара, владел сладким искусством тренькать на гитаре какие-то ветхозаветные романсы и под аккомпанемент этого треньканья распевал «пшеничным тенорком» очень жалобные и чувствительные строфы.

— Эстетика в жизни все, — объяснял Пепко с авторитетом сытого человека. — Посмотри на цветы, на окраску бабочек, на брачное оперение птиц, на платье любой молоденькой девушки. Недавно я встретил Анну Петровну, смотрю, а у нее голубенький бантик нацеплен, — это тоже эстетика. Это в пределах цветовых впечатлений, то есть в области сравнительно грубой, а за ней открывается царство звуков... Почему соловей поет?..

— Послушай, Пепко, а в чем же я пойду в Энтомологическое общество? — спрашивал я, прерывая эту философию эстетики. — У меня, кроме высоких сапог и пестрой визитки, ничего нет...

— Э, вздор! Можешь надеть мои ботинки и мои штаны. Если тебя смущает твоя пестрая визитка, то пусть другие думают, что ты оригинал: все в черном, а ты не признаешь этого по твоим эстетическим убеждениям. Только и всего...

Это было еще то блаженное время, когда студенты могли ходить в высоких сапогах, и на этом основании я не имел другой, более эстетической обуви. Когда смущавший меня костюмерский вопрос был разрешен предложенным Пепкой компромиссом, я опять повергся в бездну малодушия, сознавая свою полную несостоятельность по части энтомологии. Пепко и тут оказался на высоте призвания: он относился к ученым свысока. Единственным основанием для этого могло служить только то, что он в течение трех лет своего студенчества успел побывать в технологическом институте, в медицинской академии, а сейчас слушал лекции в университете, разом на нескольких факультетах, потому что не мог остановиться окончательно ни на одной специальности. Самый способ слушания лекций у Пепки превращался в жестокую критику профессоров, причем он любил выражаться довольно энергично: «балда», «старая подошва», «прохвост» и т. д. Пепко был вообще строг к ученым людям и, отправляя меня на заседание Энтомологического общества, говорил в назидание:

— Я тебе открою секрет не только репортерского писания, но и всякого художественного творчества:

нужно считать себя умнее всех... Если не можешь поддерживать себя в этом настроении постоянно, то будь умнее всех хотя в то время, пока будешь сидеть за своим письменным столом.

Все это, может быть, было и остроумно и справедливо, но я испытывал гнетущее настроение, отправляясь на свою первую репортерскую экскурсию. Я чувствовал себя прохвостом, который забирается самым нахальным образом прямо в храм чистой науки. Вдобавок шел дождь, и это ничтожное обстоятельство еще больше нагоняло уныние.

Энтомологическое общество заседало у Синего моста, в помещении министерства. Сановитый и представительный швейцар с молчаливым презрением принял мое мокрое верхнее пальто с большим изъяном по части подкладки и молча ткнул пальцем куда-то наверх. Зачем существуют пестрые пиджаки и скверные осенние пальто с продырявленной подкладкой? Ах, сколько незаслуженных неприятностей я перенес именно от этих невиннейших по существу подробностей мужской костюмировки... Памятуя наставления своего друга, я принял вид оригинала, когда взбирался по широкой министерской лестнице во второй этаж. С этим же видом я подошел к какому-то начинающему молодому человеку, фигурировавшему в роли секретаря, и вручил ему свою верительную грамоту от редакции «Нашей газеты». Он так же молча, как швейцар, указал мне на отдельный стол. Как новичок, я забрался слишком рано и в течение целого часа мог любоваться лепным потолком громадной министерской залы, громадным столом, покрытым зеленым сукном, листами белой бумаги, которые были разложены по столу перед каждым стулом, — получалась самая зловещая обстановка готовившегося ученого пиршества. У меня что-то заныло под ложечкой, и я начал чувствовать, что постепенно теряю свою оригинальность, как человек, попавший на холод, теряет постепенно живую теплоту собственного тела.

Прошло с четверть часа, пока я осмотрелся и заметил двух молодых людей, шушукавшихся в углу

залы. Это были, видимо, начинающие ученые, которые забрались в качестве новичков тоже раньше других. Потом явились еще и еще, и я мог наблюдать, как наука росла на моих глазах. Потом явились среднего возраста жрецы науки, которые держали себя уже своими людьми. Они разговаривали громко, фамильярно подавали руку секретарю и вообще проявляли такую развязность, которая заставляла меня только завидовать, как неудавшегося оригинала. Заседание открылось только с прибытием ученой женщины, солидно занявшей главное место. Я не помню, как около моего столика точно из земли вырос какой-то юркий молодой человек в золотых очках, который спросил меня без всяких предисловий:

— Вы от какой газеты? Прежде от «Нашей газеты» приходил сюда Молодин.

Шустрый молодой человек оказался представителем большой распространенной газеты и поэтому держал себя с соответствующим апломбом. Затем явились еще два репортера — один прилизанный, чистенький, точно накрахмаленный, а другой суровый, всклокоченный, с припухшими веками. Это уже было свое общество, и я сразу успокоился.

Не буду описывать ход ученого заседания: секретарь читал протокол предыдущего заседания, потом следовал доклад одного из «наших начинающих молодых ученых» о каких-то жучках, истребивших сосновые леса в Германии, затем прения и т. д. Мне в первый раз пришлось выслушать, какую страшную силу составляют эти ничтожные в отдельности букашки, мошки и таракашки, если они действуют оптом. Впоследствии я постоянно встречал их в жизни и невольно вспоминал доклад в Энтомологическом обществе.

Тут же в первый раз я имел удовольствие видеть специально ученую ложь, уснащенную стереотипными фразами: «беру на себя смелость сделать одно замечание уважаемому докладчику», «наш дорогой Иван Петрович высказал мнение», «не полагаясь на свой авторитет, я решаюсь внести маленькую поправку» и т. д. Меня удивляло это обилие никому не нужных

канцелярских слов и торжественно-похоронное выражение лиц всех этих Иванов Петровичей, фигурировавших здесь в роли столпов науки и отцов отечества. Сколько ненужной лжи и дрянных, ненужных слов, интимной подкладкой которой служило только то, что молодые подающие надежды энтомологи-черви скромно подтачивали старые пни и гнилые колоды родной науки. Приблизительно происходило то же, что с немецким лесом, который был съеден ничтожными жуками.

Записал я все, что происходило, очень плохо, потому что отчасти был занят совершенно посторонними наблюдениями, а отчасти потому, что не умел еще быстро схватывать сущность доклада и прений. Поэтому, возвращаясь домой, я испытывал прилив самого мрачного отчаяния... Какой я репортер для ученых обществ?.. Что я буду писать и о чем? Никто не будет печатать мою галиматью, а если «Наша газета» напечатает, то будет еще хуже, потому что появится возражение. Одним словом, скверно, а всего сквернее то, что я никак не мог вообразить себя умным человеком.

Вернувшись домой, я застал Пепку уже в постели. Он спал сном младенца, и меня это огорчило: мне не с кем было даже поделиться своим отчаянием. Вообще скверно... Я мог только попросить Федосью разбудить меня завтра в шесть часов утра.

Утро было ужасное. Отчет должен был быть готов к восьми часам, и я работал, как приговоренный к смертной казни. Нужно было вылепить из отрывочных замечаний, занесенных в репортерскую книжку, хоть что-нибудь осмысленное и до известной степени целое. Это была жестокая практика... Убивало главным образом то, что нужно было кончить к восьми часам.

Пробило и восемь часов. Отчет был готов.

— Теперь неси его к Фрею, — говорил Пепко. — Его найдешь в трактире у Симеониевского моста... Я сегодня туда не пойду.

Предстояло новое испытание. Мне казалось, что Фрей отнесется ко мне с презрением и засмеется

прямо в лицо. Но Фрей не высказал никаких особливых враждебных чувств, а молча просмотрел мой первый опыт, молча сунул его себе в карман и самым равнодушным тоном проговорил:

— Хорошо...

«Академия» тоже встретила меня равнодушно, точно я всю жизнь только и делал, что писал отчеты о заседаниях Энтомологического общества.

Какой тяжелый день, какая тяжелая ночь! Нет ничего тяжелее и мучительнее ожидания. Я даже во сне видел, как за мной гнались начинающие энтомологи, гикали и указывали на меня пальцами и хохотали, а вся земля состояла из одних жучков...

Наступило утро, холодное, туманное петербургское утро, пропитанное сыростью и болотными миазмами. Конечно, все дело было в том номере «Нашей газеты», в котором должен был появиться мой отчет. Наконец, звонок, Федосья несет этот роковой номер... У меня кружилась голова, когда я развертывал еще не успевшую хорошенько просохнуть газету. Вот политика, телеграммы, хроника, разные известия.

— Напечатан? — спрашивает Пепко.

От волнения я пробегаю мимо своего отчета и только потом его нахожу. «Заседание Энтомологического общества». Да, это моя статья, моя первая статья, мой первородный грех. Читаю и прихожу в ужас, какой, вероятно, испытывает солдат-новобранец, когда его остригут под гребенку. «Лучшие места» были безжалостно выключены, а оставалась сухая реляция, вроде тех докладов, какие делали подающие надежды молодые люди. Пепко разделяет мое волнение и, пробежав отчет, говорит:

— Ничего...

— Как ничего?.. А что скажут господа ученые, о которых я писал? Что скажет публика?.. Мне казалось, что глаза всей Европы устремлены именно на мой несчастный отчет... Весь остальной мир существовал только как прибавление к моему отчету. Роженица, вероятно, чувствует то же, когда в первый раз смотрит на своего ребенка...

— Ничего... — тянул из меня душу Пепко. — Завтра ты отправляешься в университет, на ученый диспут; какой-то черт написал целую диссертацию о греческих придыханиях...

Как же это так, вдруг: вчера жучки, а завтра греческие придыхания? Я только тут в первый раз почувствовал себя литературным солдатом, который не имеет права отказываться даже самым вежливым образом...

VIII

Мое репортерство быстро пошло в ход, и в какой-нибудь месяц я превратился в заурядного газетного сотрудника. Меня уже не смущала больше моя пестрая визитка, потому что были и другие репортеры, которые настойчиво желали быть оригиналами. Громадное неудобство этой работы заключалось в том, что она отнимала ужасно много времени. Приходилось в день заседания уходить из дому часов в семь вечера и возвращаться в час, а затем утром писать отчет и нести его в трактир. Одним словом, уходил почти целый день. Такая работа в результате давала в среднем от рубля до двух за отчет. Считая от десяти до пятнадцати ученых заседаний в месяц, мой заработок колебался между двадцатью и тридцатью рублями. Цифра для меня являлась громадной, особенно принимая во внимание, что это были первые заработки, дававшие известную самостоятельность и даже некоторое уважение к собственной особе. Да, я уже являлся составной частью того живого целого, которое называется ежедневной газетой. Про себя я очень гордился своей первой литературной работой и был рад, что начал службу простым рядовым. Теперь для меня раскрывалась другая сторона газетного дела, которая для обыкновенного газетного читателя не существует, — за этими печатными строчками открывался оригинальный живой мир, органически связанный вот именно с таким печатным листом бумаги. Настоящий газетный сотрудник, в общежитейском смысле, погибший человек, потому что после пяти-

шести лет газетной работы он настолько въедается в свое дело, что теряет всякую способность к другой работе. Я видел настоящих фанатиков газетного дела, как тот же полковник Фрей. Меня поражала прежде всего его изумительная аккуратность — аккуратность настоящего старого газетного солдата, который знал только одно, что «газета не ждет». Мне пришлось проработать с ним вместе около трех лет, и не было случая, когда бы он опоздал хоть на пять минут.

Газетное братство распадалось на целый ряд категорий: передовики, фельетонисты, хроникеры, заведывающие отделами вообще и просто мелкая газетная сошка. В сущности получалось две неравных «половины»: с одной стороны — газетная аристократия, как модные фельетонисты, передовики и «наши уважаемые сотрудники», а с другой — безыменная газетная челядь, ютившаяся на последних страницах, в отделе мелких известий, заметок, слухов и сообщений. Особенно сильная борьба шла именно в этом последнем отделе газетных микроорганизмов, где каждая напечатанная строка являлась синонимом насущного хлеба. Я быстро понял эту газетную философию: каждая напечатанная мной строка отнимала у кого-то его кусок хлеба. Отсюда своя подводная борьба за существование, свои бури в стакане воды, свои интриги, симпатии и антипатии. Типичным человеком в этом отношении являлся полковник Фрей, который со всеми был знаком и доставлял работу. На его голову сыпались самые тяжелые обвинения, его упрекали чуть не в воровстве, ему устраивали неприятные сцены, и он все выносил, оставаясь на своем посту. Лично я с особенным удовольствием вспоминаю о нем, как о человеке, который так просто отнесся ко мне с первого раза и так до конца. И прочие члены «академии» тоже относились хорошо, и мне делается грустно, что их уже нет — последним умер полковник Фрей.

Что же свело их в преждевременную могилу? Ответ довольно грустный: пьянство... Происходило это и от беспорядочности самой работы, и от периодических голодовок, и, может быть, по установившейся го-

дами традиции. Я уже описал свою первую встречу с «академией»; последующие встречи были только повторением. Утром «академия» заседала в трактире Агапыча, а вечером перекочевывала в соседнюю портерную. Здесь раздавалась работа, здесь обсуждались свои газетные дела, здесь проходила вся жизнь под давлением винных паров. Это была самая грустная страница в жизни нашей газетной богемы... Мы с Пепкой не могли избавиться от установившегося режима и время от времени сильно напивались. Происходило это без предварительного намерения, а как-то само собой, как умеет напиваться русский человек в обществе другого хорошего русского человека. Мало-помалу это вошло даже в привычку, особенно в трудную минуту, когда дома есть было нечего, а тут Агапыч открывал маленький кредит и портерная тоже.

После каждого излишества Пепко испытывал припадки самого жестокого раскаяния, хотя и называл каждый случай пьянства «ошибкой» или описательно — «мы немного ошиблись». Было тяжело смотреть на него в эти минуты.

— Смотри и молча презирай меня! — заявлял Пепко, еще лежа утром в постели. — Перед тобой надежда отечества, цвет юношества, будущий знаменитый писатель и... Нет, это невозможно!.. Дай мне орудие, которым я мог бы прекратить свое гнусное существование. Ах, боже мой, боже мой... И это интеллигентные люди? Чему нас учат, к чему примеры лучших людей, мораль, этика, нравственность?..

— Да будет тебе, Пепко! Надоел... Причитаешь, как наемная плакальщица.

— Нет, ты посмотри на мою рожу... Глаза красные, кожа светится пьяным жиром — вообще самый гнусный вид кабацкого пропойцы.

За этим немедленно следовал целый реестр искупающих поступков, как очистительная жертва. Всякое правонарушение требует жертв... Например, придумать и сказать самый гнусный комплимент Федосье, причем недурно поцеловать у нее руку, или не умываться в течение целой недели, или — прочитать

залпом самый большой женский роман и т. д. Странно, чем ярче было такое раскаяние и чем ужаснее придумывались очищающие кары, тем скорее наступала новая «ошибка». В психологии преступности есть своя логика...

Прилив средств и необходимость деловых сношений с «академией» совершенно нарушали всю программу нашей жизни, хотя мы и давали каждый день в одиночку и сообща самые торжественные клятвы, что это последняя «ошибка» и ничего подобного не повторится. Но эти добрые намерения принадлежали, очевидно, к тем, которыми вымощен ад.

— Что же это такое? — взывал Пепко, изнемогая в борьбе с собственною слабостью. — Еще один маленький шаг, и мы превратимся в настоящих трактирных героев... Мутные глаза, сизый нос, развинченные движения, вечный запах перегорелого вина — нет, благодарю покорно! Не согласен... К черту всю «академию»! Я еще молод и могу подавать надежды, даже очень просто... Наконец, благодарное потомство ждет от меня соответствующих поступков, черт возьми!..

Пока Пепко предавался своему унылому самоедству, судьба уже приготовила корректив.

Произошло это совершенно неожиданно, как происходят только серьезные вещи в жизни.

Дело происходило на святках. Ученые общества прекратили свою деятельность, и мы могли воспользоваться по усмотрению своей голодной свободой. Семейных знакомств у нас не было, да и не могло быть благодаря отсутствию приличных костюмов. Все это было очень грустно, особенно в такие семейные праздники, как святки. Все веселились, у всех был свой семейный угол, и мы особенно ярко чувствовали свое унылое одиночество. Пепко с каким-то ожесточением решительно ничего не делал, валялся целые дни на кровати и зудил на гитаре до тошноты, развивая в себе и во мне эстетический вкус. Иногда, достигнув конечного предела одурения, он вскакивал, кого-то ругал в пространство, убегал из дому и через десять минут возвращался с сильным запахом водки.

— А, черт... — ворчал он, хватаясь опять за гитару.

Произошла очень печальная история, которая случается при совместном сожительстве: мы надоели друг другу... Все разговоры были переговорены, интересы исчерпаны, откровения сделаны — оставалось только скучать. Все привычки, недостатки и достоинства были известны взаимно, как платье, физиономии, жесты, интонации голоса и т. д. Незаметно мы старались не видеть друг друга, уходя из дому на целые дни. Это было самое лучшее, что можно было сделать в нашем положении. Именно в один из таких тяжелых дней, когда я скрылся из дому к знакомому студенту-технологу, и произошло то, что перевернуло жизнь Пепки наирадикальнейшим образом.

Как отчетливо я помню этот проклятый зимний день, гнилой, серый, тоскливый! Вместо снега на мостовой лежала какая-то жидкая каша. Я нарочно засиделся у своего знакомого подольше, чтобы вернуться домой, когда Пепко уже спит, — от скуки он в праздники заваливался спать с десяти часов. Я возвращался в самом скверном настроении, проклиная погоду, праздники, собственную молодость. На мостках через Неву меня продуло самым беспощадным образом, точно самые стихии ополчились на беззащитного молодого человека. Наконец, вот и наш дом, наш флигелек. На звонок вышла Федосья и встретила меня загадочной улыбкой, — она умела улыбаться самым глупым образом.

— Что такое случилось, Федосья Ниловна?

Вместо ответа Федосья только фыркнула и мотнула головой по направлению нашей комнаты, откуда раздавались звуки польки-трамблян. Значит, еще Пепко не спал... Отворяю дверь и от изумления превращаюсь в знак вопроса. Представьте себе совершенно невероятную картину: на моей кушетке сидел Пепко с гитарой, приняв какую-то особую позу жуирующего молодого человека, а перед ним... Нет, это нужно писать другим пером и другими чернилами... В нашей комнате кружились две пары самых очаровательных масок: два «турка», цыганка и «Ночь».

«Турки» были своего домашнего приготовления, и не нужно было особенной проницательности, чтобы угадать в них переодетых девушек. Да, это были настоящие маски, тот милый маскарад, который не требовал объяснений. И все-таки я решительно ничего не понимал... На столе, где лежали мои рукописи, стояли три пустых бутылки из-под пива, две тарелки с объедками колбасы и сыра, два веера и перчатки не первой молодости.

— Рекомендую: мой друг, — рекомендовал меня Пепко. — Отличный парень, а главное — замечательный талант.

— В каком смысле? — осведомилась Ночь, подавая мне холодную, длинную и худую руку.

— Во всяком, милая Ночь...

Маски сбились в одну кучку и о чем-то шушукались. Очевидно, мое появление нарушило трогательный семейный праздник. Впрочем, скоро все уладилось само собой. Храбрее всех оказались «турки», которые первыми сняли маски, а их примеру последовала цыганка. В результате этого разоблачения оказались три молодых, довольно миловидных рожицы, улыбавшихся и хихикавших самым задорным образом. Упорнее всех оказалась Ночь, которая ни за что не хотела снимать маску. Пепко пустил в ход какой-то дипломатический подвох, чтобы «обнаружить прелестную незнакомку», которая оказалась девушкой средних лет, с какими-то испуганными темными глазами.

— Ну, вот и отлично! — одобрял Пепко, принимаясь за свою гитару.

— Что это значит? — спросил я, продолжая не понимать.

— Что значит? В нашем репертуаре это будет называться: месть проклятому черкесу... Это те самые милые особы, которые так часто нарушали наш проспект жизни своим шепотом, смехом и поцелуями. Сегодня они вздумали сделать сюрприз своему черкесу и заявились все вместе. Его не оказалось дома, и я пригласил их сюда! Теперь понял? Желал бы я видеть его рожу, когда он вернется домой...

У нас открылся настоящий бал. Появилось новое пиво, а с ним разлилось и новое веселье. Наши маски оказались очень милыми и веселыми созданиями, а Пепко проявил необыкновенную галантность — нечто среднее между турецким пашой и французским маркизом конца грешного восемнадцатого века.

— Гризетки из Латинского квартала, — резюмировал Пепко свои впечатления и как-то особенно глупо захохотал; я его видел в женском обществе в первый раз.

Говоря откровенно, девушки были очень недурны и дурачились так мило, точно разыгравшиеся котята. Мы танцевали кадриль, польки, вальсы — вообще развеселились. Потом начались святочные игры, пение, все те маленькие глупости, которые проделываются молодежью с таким усердием. Пепко проявлял все свои таланты, и наши дамы хохотали над ним до слез. Он сам вошел в свою роль и тоже хохотал.

— Позвольте, однако, mesdames, как вас зовут? — спохватился Пепко немножко поздно.

— Угадайте...

Пепко посмотрел на них и по какому-то наитию проговорил с полной уверенностью:

— Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья-премудрость...

По странной случайности оказалось, что это было именно так, и Пепко, увлекшись своей ролью прорицателя, подошел к Ночи, взял ее за руку и проговорил:

— А ты — Любовь, то есть любовь и в частности и вообще.

IX

— Что такое женщина? — спрашивал Пепко на другой день после нашего импровизированного бала. — За что мы любим эту женщину? Почему, наконец, наша Федосья тоже женщина и тоже, на этом только основании, может вызвать любовную эмоцию?.. Тут, брат, дело поглубже одной физики...

Затем Пепко сделал рукой свой единственный жест, сладко зажмурил глаза и кончил тем, что бросился на свою кровать. Это было непоследовательно, как и дальнейшие внешние проявления собственной Пепкиной эмоции. Он лежал на кровати ничком и болтал ногами; он что-то бормотал, хихикал и прятал лицо в подушку; он проявлял вообще «резвость дитяти».

— Что с тобой, Пепко?

— Со мной? Что со мной?.. Я влюблен в Федосью... Ххе!.. По-моему, она бальзаковская женщина с очень колоритным темпераментом, и я посвящу ей стихи.

Пепко вскочил со своего ложа, остановился посреди комнаты и совершенно неожиданно захохотал, сделав глупое лицо.

— Что такое женщина?.. О, ты не знаешь, что такое женщина!

По всем признакам Пепко мучился желанием рассказать мне что-то очень пикантное и вместе с тем не решался. Я мог сделать довольно основательное предположение по адресу вчерашних масок, — мы их провожали вместе, а потом разлучились; на мою долю досталось провожать двух сестер, Веру и Надежду, а Пепко провожал Ночь и мать, премудрость Софью. Домой вернулся он очень поздно, когда я уже спал, и утром не желал поделиться своими впечатлениями. Настоящий разговор происходил уже после обеда, когда на Пепку напала томящая жажда соткровенничать.

— Если не ошибаюсь, тебя угнетает какая-то тайна? — заметил я, подавая реплику.

— О, ты проник на самое дно моей души, мой друг... Да, величайшая тайна, больше — тайна женщины. А впрочем, подозрение да не коснется жены цезаря!

— Где цезарь, Пепко?

— Цезарь — это я, то есть цезарь пока еще в возможности, in spe. Но я уже на пути к этому высокому сану... Одним словом, я вчера лобзнул Ночь и Ночь лобзнула меня обратно. Привет тебе, счастливый

миг... В нашем лице человечество проявило первую попытку сделать продолжение издания. Ах, какая девушка, какая девушка!..

— По-моему, она очень некрасива...

— А глаза?.. И мир, и любовь, и блаженство... В них для меня повернулась вся наша грешная планетишка, в них отразилась вся небесная сфера, в них мелькнула тень божества... С ней, как говорит Гейне, шла весна, песни, цветы, молодость.

Освободившись от своей тайны, Пепко, кажется, почувствовал некоторое угрызение совести, вернее сказать, ему сделалось жаль меня, как человека, который оставался в самом прозаическом настроении. Чтобы несколько стушевать свою бессовестную радость, Пепко проговорил каким-то фальшивым тоном, каким говорят про «дорогих покойников»:

— А эта белокуренькая Надежда ничего... Этакой пухленький чертенок. Я заметил, как она посматривала на тебя. И ты в свою очередь...

— Нельзя ли меня оставить в покое.

— Гм, твое дело... Если не ошибаюсь, Вера и Надежда — сестры, и, если не ошибаюсь, у них есть мамаша, то есть они живут при мамаше?

— Да, что-то в этом роде... Они приглашали нас к себе как-нибудь в воскресенье. Очень милые девушки вообще...

— Да, милые... А Горгедзе?..

— Он просто знакомый... Бывает у них. Ничего особенного...

— Гм, да... Вещь обыкновенная.

Пепко вдруг замолчал и посмотрел на меня, стиснув зубы. В воздухе пронеслась одна из тех невысказанных мыслей, которые являются иногда при взаимном молчаливом понимании. Пепко даже смутился и еще раз посмотрел на меня уже с затаенной злобой: он во мне начинал ненавидеть свою собственную ошибку, о которой я только догадывался. Эта маленькая сцена без слов выдавала Пепку головой... Пепко уже раскаивался в своей откровенности и в то же время обвинял меня, как главного виновника этой откровенности.

Мне приходится сделать маленькое отступление и вернуться назад. Дело в том, что у Пепки была настоящая тайна, о которой он не говорил, но относительно существования которой я мог догадываться по разным аналогиям и логическим наведениям. Познакомившись с ним ближе, я, во-первых, открыл существование в его инвентаре нескольких вещей, настолько ненужных, что их даже нельзя было заложить, и которые Пепко тщательно прятал: вышитая шелком закладка для книг, таковая же перотерка и т. д.; во-вторых, я сделался невольным свидетелем некоторых поступков, не соответствовавших общему характеру Пепки, и, наконец, в-третьих, время от времени на имя Пепки получались таинственные письма, которые не имели ничего общего с письмами «одной доброй матери» и которые Пепко, не распечатывая, торопливо прятал в карман. Не нужно было особенной проницательности, чтобы догадаться о существовании какой-то невидимой женской руки, протягивавшейся в «Федосьины покровы» прямо к сердцу Пепки. Федосья была убеждена в существовании этой таинственной особы и с ехидством обезьяны каждый раз сама приносила письма Пепке.

— Опять письмо... — говорила она, пожирая глазами Пепку.

— А, черт!.. — ругался Пепко.

Было раз даже так, что Федосья вошла в нашу комнату на цыпочках и проговорила змеиным сипом:

— Вас спрашивает какая-то дама...

Пепко вылетел в коридор, как бомба. Там действительно стояла дама, скрывавшая свое лицо под густой вуалью. Произошел короткий диалог, и дама ушла, а Пепко вернулся взбешенный до последней степени. Его имя компрометировалось пред лицом всех обитателей «Федосьиных покровов».

Именно этот эпизод с таинственной незнакомкой и промелькнул перед нашими внутренними очами после сделанного Пепкой признания о лобзании. Мужчина, обманывающий женщину, вообще гадок, а Пепко еще не был настолько испорченным, чтобы не чувствовать сделанной гадости. Мучила молодая совесть...

Когда Пепко после утренней откровенности вышел, в комнату заявилась Федосья. Она как-то особенно старательно вытирала пыль и кончила тем, что обратилась ко мне с следующим воззванием:

— Самый невероятный Фома!..

— Кто?..

— А сам-то Агафон Павлыч... Разве это хорошо: и даму обманывает и девушку хочет обмануть. Конечно, она глупая девушка...

— Какую даму?

— А та, которая с письмами... Раньше-то Агафон Павлыч у ней комнату снимал, ну, и обманул. Она вдова, живет на пенсии... Еще сама как-то приходила. Дуры эти бабы... Ну, чего лезет и людей смешит? Ошиблась и молчи... А я бы этому Фоме невероятному все глаза выцарапала. Вон каким сахаром к девушке-то подсыпался... Я ее тоже знаю: швейка. Дама-то на Васильевском острове живет, далеко к ней ходить, ну, а эта ближе...

«Фома неверный», переделанный Федосьей в «Фому невероятного», получил специальное значение в смысле вообще неверности. Я выслушал Федосью молча, а потом ответил:

— Меня удивляет, Федосья Ниловна, ваша слабость говорить о том, чего вы не знаете...

— Я-то не знаю?!.

Федосья сделала носом какой-то шипящий звук, взмахнула тряпкой и вышла из комнаты с видом оскорбленной королевы. Я понял только одно, что благодаря Пепке с настоящего дня попал в разряд «Фомы невероятного».

События полетели быстрой чередой. Пепко имел вид заговорщика и в одно прекрасное февральское утро заявил мне, что в следующее воскресенье мы отправимся к Вере и Надежде.

— У этих милых девушек один недостаток: надежда должна быть старше веры, eo ipso[1], а в действительности Вера старше Надежды. Но с этой маленькой хронологической неточностью можно поми-

[1] разумеется, *(лат.)*

риться, потому что она умеет так хорошо улыбаться и смотреть такими светлыми глазками...

— Надеюсь, что твоя Ночь будет там?

— Ну, этого я не знаю, — откровенно соврал Пепко. — Может быть...

Вера и Надежда обитали в глубинах Петербургской стороны. Когда мы шли к ним вечером в воскресенье, Пепко сначала отмалчивался, а потом заговорил, продолжая какую-то тайную мысль:

— Да вообще, ежели рассудить...

— Что рассудить?

— А вот хоть бы то, что мы сейчас идем. Ты думаешь, что все так просто: встретились случайно с какими-то барышнями, получили приглашение на журфикс и пошли... Как бы не так! Мы не сами идем, а нас толкает неумолимый закон... Да, закон, который гласит коротко и ясно: на четырех петербургских мужчин приходится всего одна петербургская женщина. И вот мы идем, повинуясь закону судеб, влекомые наглядной арифметической несообразностью...

— А ты не можешь без философии?

— Самому дороже стоит...

Квартира наших новых знакомых помещалась во втором этаже довольно гнусного флигеля. Первое впечатление получалось довольно невыгодное, начиная с темной передней, где стоял промозглый воздух маленькой тесной квартирки. Дальше следовал небольшой зал, обставленный с убогой роскошью. В ожидании гостей все было прибрано. Нас встретила довольно суровая дама, напоминавшая нашу собственную Федосью. Впоследствии она оказалась матерью Веры и Надежды. Это было, как пишут в афишах, лицо без речей. В зале уже сидел какой-то офицер, то есть не офицер, а интендантский чиновник в военной форме, пожилой, лысый, с ласково бегавшими маслеными глазами.

— Люба обещала прийти... — заметила белокурая Надежда, поглядывая на Пепку улыбавшимися глазками.

— Я не знаю, как ты решилась ее пригласить, — брезгливо ответила Вера, пожимая плечами. — Мы

с ней познакомились в Немецком клубе перед рождеством. Впрочем, я это так...

Мы чувствовали себя не в своей тарелке, пока не подан был самовар; прислуги не было, и «отвечала за кухарку» все та же мамаша. Некоторое оживление внес седой толстый старик фельдшер с золотой цепочкой, который держал себя другом дома. Он называл девиц попросту Верочкой и Наденькой. Они почему-то хихикали, переглядывались и даже толкали смешного старика. Разговор шел о Немецком клубе и неизвестных нам общих знакомых. Я молчал самым глупым образом, а Пепко что-то врал о провинциальных клубах, в которых никогда не бывал. В общем все-таки ничего интересного не получалось. Самая обыкновенная кисленькая чиновничья вечеринка. Пепко уже несколько раз с тоской посматривал на дверь, вызывая улыбку Нади. Она говорила ему глазами: «придет, не беспокойтесь».

Сами по себе барышни были среднего разбора — ни хороши, ни худы, ни особенно молоды. Мне нравилось, что они одевались очень скромно, без всяких претензий и без помощи портнихи. Младшая, Надежда, белокурая и как-то задорно здоровая, мне нравилась больше старшей Веры, которая была красивее, — я не любил брюнеток.

— Ну, братику, мы попали в небольшое, но избранное общество, — шепнул мне Пепко, отводя в сторону. — От скуки челюсти свело... Недостает еще отца дьякона, гитары и домашней наливки, которая пахнет кошкой.

Мне тоже казалось что-то подозрительное во всей обстановке. Чего-то недоставало и что-то было лишнее, как лысая интендантская голова и эта мамаша без слов. К числу действующих лиц нужно еще прибавить ветхозаветное фортепиано красного дерева, которое имело здесь свое самостоятельное значение, — «мамаша без слов» играла за тапера и аккомпанировала Верочке, исполнявшей с большим чувством самые модные романсы. Под это фортепиано мы с Пепкой много танцевали впоследствии, так что я сейчас вспоминаю о нем, как о живом свидетеле

наших хореографических упражнений. Увы! — нынче такие цимбалы исчезли даже в глубинах Петербургской стороны, а с ними исчезло и дешевенькое веселье.

Скучавший Пепко не подозревал, какой сюрприз готовила ему роковая судьба. Он вздрогнул, когда в передней забренчал звонок. Это была она... Надя посмотрела на Пепку улыбавшимися глазами и выскочила встречать гостью. Послышались поцелуи, говор и молодой смех. Она вошла в сопровождении какого-то очень франтоватого молодого человека иудейского происхождения. Он отрекомендовался помощником провизора, и Пепко побледнел, пожираемый муками ревности. А она была сегодня почти красива, что можно было объяснить быстрой ходьбой, а быть может — обществом интересного кавалера. Юркий еврейчик держал себя с большой развязностью, и барышни чувствовали его своим человеком.

— Я его убью... — сообщил мне Пепко по секрету. — Посмотри, какая отвратительная морда!

Ослепленный страстью, Пепко был несправедлив, потому что еврейчик мог сойти за очень красивого молодого человека, а особенно хороши были горячие темные глаза. Общее впечатление портила только эта специально провизорская юркость. Впрочем, Пепко скоро примирился с своею участью, чему отчасти способствовала поданная во-время закуска. Девица Любовь держала себя с большим тактом, и я подозреваю, что она явилась в сопровождении своего кавалера с заранее обдуманным намерением, именно, чтобы подвинтить в Пепке ревнивое чувство.

После ужина последовали танцы, причем Пепко лез из кожи, чтобы затмить проклятого провизора. Танцевал он очень недурно. Потом следовала вокальная часть, — пела Верочка модные, только что вышедшие романсы: «Только станет смеркаться немножко», «Вьется ласточка» и т. д. Фельдшер не пел и не танцевал, а поэтому исполнил свой номер отдельно.

— Илья Самсоныч, пожужжите, — приставала к нему Надя.

Старик поломался, выпил залпом две рюмки водки и принялся жужжать пчелой. Барышни хохотали до слез, да и все остальные почувствовали себя как-то легче. Интендантский чиновник хотя и танцевал, но должен был изображать спящую на диване болонку, что выходило тоже смешно. Это разнообразие талантов возбудило в Пепке зависть.

— Господа, у кого есть пятиалтынный? — спрашивал он.

Пятиалтынный нашелся, и Пепко согнул его двумя пальцами, — у него была страшная сила в руках. Этот фокус привел фельдшера в восторг, и он расцеловал подававшего надежды молодого человека.

— О, вы далеко пойдете! — повторял старик.

Вечер закончился полной победой Пепки: он провожал свою Любовь и этим уже уничтожал провизора. Я никого не провожал, но тоже чувствовал себя недурно, потому что в передней Надя так крепко пожала мою руку и прошептала:

— Вы приходите как-нибудь один...

Странно, что, очутившись на улице, я почувствовал себя очень скверно. Впереди меня шел Пепко под ручку с своею дамой и говорил что-то смешное, потому что дама смеялась до слез. Мне почему-то вспомнилась «одна добрая мать». Бедная старушка, если бы она знала, по какой опасной дороге шел ее Пепко...

X

Мои занятия шли своим чередом. Все свободное время, которое у меня оставалось, шло на писание романа. То была работа Сизифа, потому что приходилось по десяти раз переделывать каждую главу, менять план, вводить новых лиц, вставлять новые описания и т. д. Недоставало прежде всего знания жизни и технической опытности. Я знал, как смотрит на мою работу Пепко, и старался писать, когда его не было. Кстати, теперь он часто исчезал из дому, особенно по вечерам. Сначала он подыскивал какие-нибудь предлоги для этих таинственных путешествий, обманывая

больше всего самого себя, а потом начал пропадать уже без всяких предлогов. Я делал вид, что ничего не замечаю и не интересуюсь его поведением, и продолжал катить свой камень. У этого первого произведения было всего одно достоинство: оно дало привычку к упорному самостоятельному труду. Да, труда было достаточно, а главное — была цель впереди, для которой стоило поработать. Время от времени наступали моменты глухого отчаяния, когда я бросал все. Ну, какой я писатель? Ведь писатель должен быть чутким человеком, впечатлительным, вообще особенным, а я чувствовал себя самым заурядным, средним рабочим — и только. Я перечитывал русских и иностранных классиков и впадал в еще большее уныние. Как у них все просто, хорошо, красиво и, главное, как легко написано, точно взял бы и сам написал то же самое. И как понятно — ведь я то же самое думал и чувствовал, что они писали, а они умели угадать самые сокровенные движения души, самые тайные мысли, всю ложь и неправду жизни. Что же писать после этих избранников, с которыми говорила морская волна и для которых звездная книга была ясна...

Первоначальная форма романа была совершенно особенная, без глав и частей. Кажется, чего проще — разбить поэму на части и главы, а между тем это представляло непреодолимые трудности, — действующие лица никак не укладывались в предполагаемые рамки, и самое действие не поддавалось расчленению. Одним словом, мне приходилось писать так, как будто это был первый роман в свете и до меня еще никто не написал ничего похожего на роман. Действие получалось самое запутанное, так что из каждой главы можно было сделать самостоятельный роман. А затем действующие лица так мало походили на живых людей, начиная с того, что резко разграничивались на два разряда — собственно героев и мерзавцев по преимуществу. Это было то же, если бы в мире было всего два цвета — белый и черный, а спектр не существовал. Настоящая жизнь еще не давала красок. Да и какая это была жизнь: описывать свое родное

гнездо, когда Гоголь уже навеки описал юг, описывать свою школу, студенчество, репортеров, Федосью, Пепку, фельдшера, как он жужжит мухой, пухленькую Надю, — все это было так серо, заурядно и не давало ничего. Вообще было достаточно оснований для отчаяния... Пепко был прав, когда говорил об отсутствии у нас жизни: она шла где-то там, далеко, вне поля нашего зрения. Да и что можно было написать, сидя в своей проклятой мурье? Я начал ненавидеть свою комнату, Федосью, всех квартирантов; это была та стена, которая заслоняла от меня настоящую жизнь. Оставалась надежда на будущее, и я хватался за нее, как утопающий хватается за соломинку.

Впрочем, была одна область, в которой я чувствовал себя до известной степени сильным и даже компетентным: это — описание природы. Ведь я так ее любил и так тосковал по ней, придавленный петербургской слякотью, сыростью и вообще мерзостью. У меня в душе жили и южное солнце, и высокое синее небо, и широкая степь, и роскошный южный лес... Нужно было только перенести все это на бумагу, чтобы и читатель увидел и почувствовал величайшее чудо, которое открывается каждым восходящим солнцем и к которому мы настолько привыкли, что даже не замечаем его. Вот указать на него, раскрыть все тонкости, всю гармонию, все то, что благодаря этой природе отливается в национальные особенности, начиная песней и кончая общим душевным тоном. Свои описания природы я начал с подражаний тем образцам, которые помещены в хрестоматиях, как образцовые. Сначала я писал напыщенно-риторическим стилем à la Гоголь, потом старательно усвоил себе манеру красивых описаний à la Тургенев и только под конец понял, что и гоголевская природа и тургеневская — обе не русские, и под ними может смело подписаться всякая другая природа, за очень немногими исключениями. Настоящая равнинная Русь чувствуется только у Л. Толстого, а горная — у Лермонтова, — эти два автора навсегда остались для меня недосягаемыми образцами. Над выработкой пейзажа я бился больше двух лет, причем мне много помогли русские художники-пейзажисты

нового реального направления. Я не пропускал ни одной выставки, подробно познакомился с галереями Эрмитажа и только здесь понял, как далеко ушли русские пейзажисты по сравнению с литературными описаниями. Они схватили ту затаенную, скромную красоту, которая навевает специально-русскую хорошую тоску на севере; они поняли чарующую прелесть русского юга, того юга, который в конце концов подавляет роскошью своих красок и богатством светотени. И там и тут разливалась специально наша русская поэзия, оригинальная, мощная, безграничная и без конца родная... Красота вообще — вещь слишком условная, а красота типичная — величина определенная. Северные сумерки и рассветы с их шелковым небом, молочной мглой и трепетным полуосвещением, северные белые ночи, кровавые зори, когда в июне утро с вечером сходится, — все это было наше родное, от чего ноет и горит огнем русская душа; бархатные синие южные ночи с золотыми звездами, безбрежная даль южной степи, захватывающий простор синего южного моря — тоже наше и тоже с оттенком какого-то глубоко неудовлетворенного чувства. Бледная северная зелень-скороспелка, бледные северные цветики, контрастирующая траурная окраска вечно зеленого хвойного леса с его молитвенно-строгими готическими линиями, унылая средне-русская равнина с ее врачующим простором, разливы могучих рек, — все это только служило дополнением могучей южной красоты, горевшей тысячью ярких живых красок-цветов, смуглой, кожистой, точно лакированной южной зеленью, круглившимися купами южных деревьев. С каким удовольствием я проверял свои описания природы по лучшим картинам, сравнивал, исправлял и постепенно доходил до понимания этого захватывающего чувства природы. Мне много помогло еще то, что я с детства бродил с ружьем по степи и в лесу и не один десяток ночей провел под открытым небом на охотничьих привалах. Под рукой был необходимый живой материал, и я разрабатывал его с упоением влюбленного, радуясь каждому удачному штриху, каждому удачному эпитету или сравнению.

Работа в газете шла чередом. Я уже привык к ней и относился к печатным строчкам с гонорарной точки зрения. Во всяком случае, работа была интересная и очень полезная, потому что вводила в круг новых знаний и новых людей. Своих товарищей-репортеров я видал очень редко, за исключением неизменного Фрея. «Академия» попрежнему сходилась в трактире Агапыча или в портерной. Прихожу раз утром, незадолго до масленицы, с отчетом в трактир.

— Их нет-с... — заявил Агапыч, осклабляясь.

— Как нет?

— Точно так-с: были да все вышли-с. А промежду прочим вы их найдете в портерном заведении...

Я инстинктивно почувствовал, что случилось что-то особенное, если даже Фрей изменил насиженному месту. Прихожу в портерную и нахожу всю «академию» in corpore[1]. Был налицо даже Порфир Порфирыч, пропадавший бесследно в течение нескольких месяцев. Несмотря на ранний час, все были уже пьяны, и даже Фрей покраснел вместе с шеей. Мое появление вызвало настоящую бурю, потому что все были рады поделиться с новым человеком новостью.

— Ау, братику! — крикнул Гришук, размахивая длинными руками.

— Не в этом дело, юноша... — бормотал Порфир Порфирыч, ухватив меня за руку. — Не в этом дело-с, а впрочем, весьма наплевать...

— Что такое случилось, господа?..

Фрей разъяснил все одной фразой:

— «Наша газета» приказала долго жить... Приостановка на три месяца. Да...

— Почему? как?..

— А мы с одним министерством будировали, ну, нас и по шапке. Дрянь дело, вообще...

Все было ясно «и даже очень просто», как объяснил Порфир Порфирыч, причмокивая и притопывая, — он был специально пьян по случаю закрытия газеты.

— Ох, и мер же я все это время, юноша, — объяснял он мне, подмигивая. — Вот как мер... Даже распух

---

[1] в полном составе *(лат.)*.

с голоду. Работать не мог, все болит, башка пустая — ложись и помирай. А тут хозяйка за квартиру требует, из дому выйти не в чем... Не в этом дело, юноша! Ибо не подох, а жив, и жива душа моя. Учись, о! юноша, житейской философии... Например, некоторый пьяница не хотел умирать с голоду, а посему отправился к некоторому добродетельному гробовщику со слезницей, — «так и так, выручай». Ну, гробовщик осмотрел натуру оного пьяницы и предложил ему преломить хлеб, а затем облек в этакую подлую похоронную хламиду, дал в руки черный фонарь и рек: «Иди факельщиком и получай мзду, даже до двух двугривенных». — «А как же вы, милостивец, другим факельщикам даете по полтине?» — «У других натура выше, а с тебя и сорока копеек достаточно». И пьяница шел по Невскому с фонарем, скрывая свой срам воротником... Это раз. Второе: тот же гробовщик пожалел пьяницу и пристроил его в оперу «народом», и пьяница ходил по сцене с бумажной трубой, изображал ногами морскую бурю, ползал черепахой и паки и паки получал мзду. Да, юноша, труден и тернист путь, а отрада обходится дорого... Но не в этом дело, ибо истинный мудрец смеется над собственными несчастиями, ибо выше их.

Искусственная пьяная бодрость не могла скрыть общего тяжелого настроения. Положение во всяком случае получалось критическое, потому что впереди предстояли три голодных месяца. Было о чем подумать, тем более что все жили одной литературной поденщиной. Рабочая машина остановилась на полном ходу, и все очутились на улице. В других газетах места были, конечно, заняты, и нечего было думать устроиться даже в приблизительной форме. Главным страдающим лицом от приостановки издания являлись именно мы, мелкая сошка. Главари могли выждать три месяца, а нам «кусать» было нечего.

— Скверно! — резюмировал Фрей общее положение дел, как капитан севшего на мель корабля. — Да... Человек, кружку!..

Не получив утром газеты, Пепко тоже прилетел в «академию», чтобы узнать новость из первых рук.

Он был вообще в скверном настроении духа и выругался за всех. Все чувствовали, что нужно что-то такое предпринять, что-то устроить, вообще вывернуться. Фрей сердито кусал свои усы и несколько раз ударял кулаком по столу, точно хотел вышибить из него какую-то упрямую мысль, не дававшуюся добром.

— Молодой человек, ведь вам к экзамену нужно готовиться? — обратился он ко мне. — Скверно... А вот что: у вас есть богатство. Да... Вы его не знаете, как все богатые люди: у вас прекрасный язык. Да... Если бы я мог так писать, то не сидел бы здесь. Языку не выучишься — это дар божий... Да. Так вот-с, пишете вы какой-то роман и подохнете с ним вместе. Я не говорю, что не пишите, а только надо злобу дня иметь в виду. Так вот что: попробуйте вы написать небольшой рассказец.

— Право, я не знаю... Ничего не выйдет.

— А вы попробуйте. Этак в листик печатный что-нибудь настрочите... Если вас смущает сюжет, так возьмите какую-нибудь уголовщину и валяйте. Что-нибудь слышали там, у себя дома. Чтобы этакий couleur locale[1] получился... Есть тут такой журналец, который платит за убийства. Все-таки передышка, пока что...

— Попробую...

— Спасибо после скажете.

Порфир Порфирыч с своей стороны давал советы Пепке. Общее несчастие еще теснее сблизило всех.

— Есть у меня некоторый содержатель хора певиц, — рассказывал старик. — Он такой же запойный, как и я. Ну, в одной трущобе познакомились... У него такая уж зараза: как попала вредная рюмочка — все с себя спустит дотла. А человек талантливый: на музыку кладет цыганские романсы. Ну и предлагает мне написать романс и предлагает по четвертаку за строку... А я двух стихов не слеплю, тем более что тут особенное условие: нужно, чтобы везде ударение приходилось на буквы *а, о* и *е*. Только и всего. Даже

---

[1] местный колорит *(франц.)*.

смысла не нужно, а этакое поэтическое... Ну, да ты пописываешь стишки, так понимаешь. Дело отменное во всяком случае...

Пепко размыслил и изъявил согласие познакомиться с таинственным хормейстером. Он и не подозревал, что этой работой предвосхищает поэзию последующих декадентов.

— А, черт, все равно! — ворчал он, сердито ероша волосы. — Будем писать *а, о* и *е*.

Все наперерыв строили планы нового образа жизни и советовали друг другу что-нибудь. Меньше всего каждый думал, кажется, только о самом себе. Товарищеское великодушие выразилось в самой яркой форме. В портерной стоял шум и говор.

— Ну, а вы что думаете, полковник? — приставали к Фрею.

— Я? А не знаю... Впрочем, кажется, придется обратиться к Спирьке.

— Э, да вон и сам он, легок на помине!

В портерную входил среднего роста улыбавшийся седой старик купеческой складки с каким-то иконописным лицом и сизым носом.

— Про волка промолвка, а волк в хату, — весело заговорил купец, здороваясь. — Каково прыгаете, отцы? Газетину-то порешили... Ну, что же делать, случается и хуже. Услыхал я и думаю: надо поминки устроить упокойнице... хе-хе!..

— Уж пронюхал, Спиридон Иваныч, где жареным пахнет!..

— Жареное-то впереди... К Агапычу, што ли, отцы?..

Решено было справить тризну у Агапыча. Дорогой, когда мы шли из портерной, Спирька взял меня под руку и проговорил:

— Приятно познакомиться, молодой человек, а ежели что касаемо, например, денег... Сколько вам нужно?..

Я отказался и даже обиделся. Но Пепко разъяснил мне на лестнице:

— Денег предлагал Спирька? Не беспокойся, не даст... Этот фокус он проделывает с каждым новичком,

чтобы пофорсить. Вот по части выпивки — другое дело. Хоть обливайся... А денег не даст. Продувная бестия, а впрочем, человек добрый. Выбился в люди из офеней-книгоноош, а теперь имеет лавчонку с книгами, делает издания для народа и состоит при собственном капитале. А сейчас он явился, чтобы воспользоваться приостановкой газеты и устроить дешевку... Ему нужны какие-нибудь книжонки.

Тризна вышла на славу. Мне еще в первый раз приходилось видеть в таком объеме трактирную роскошь. Спирька все время улыбался, похлопывал соседа по плечу и, когда все подвыпили, устроил зараз несколько дел.

— Ты мне, полковник, оборудуй роман, да чтобы заглавие было того, позазвонистее, — говорил Спирька. — А уж насчет цены будь спокоен... Знаешь, я не люблю вперед цену ставить, не видавши товару.

— Ладно, знаю, — сумрачно отвечал полковник. — Опять надуешь...

— Я? надую? Да спроси Порфирыча, сколько он от меня хлеба едал... Я-то надую?.. Ах ты, братец ты мой, полковничек... Потом еще мне нужно поправить два сонника и «Тайны натуры». Понимаешь? Работы всем хватит, а ты: надуешь. Я о вас же хлопочу, отцы... Название-то есть для романа?

— Есть: «Тайны Петербурга».

— Тайны? Ну, оно, пожалуй, начетисто нынче с тайнами-то: у меня уж есть «Тайны Мадрита», «Тайны Варшавы»... А промежду прочим увидим... хе-хе...

XI

Спиридон Иваныч Редкин был типичным дополнением «академии». Он являлся в роли шакала, когда чуял легкую добычу, как в данном случае. Заказывая романы, повести, сборники и мелкие брошюры, он вопрос о гонораре оставлял «впредь до усмотрения». Когда приносили совсем готовую рукопись, Спирька чесал в затылке, морщился и говорил:

— А ведь мне не нужно твоего романа...

— Как не нужно? Ведь вы же заказывали, Спиридон Иваныч...

— Разве заказывал? Как будто и не упомню... Куды мне с твоим романом, когда своего хлама не могу сбыть.

Это было стереотипное вступление, а затем, поломавшись по положению, Спирька говорил:

— Ну, уж для тебя только возьму... На затычку уйдет.

Под рукопись выдавался такой микроскопический аванс, что даже самая скромная бактерия наверно умерла бы с голоду. Остальные деньги следовали «по напечатании» и тоже выдавались аптекарскими дозами, причем Спирька любил платить натурой, то есть предметами первой необходимости, как шуба, пальто, сапоги и другие принадлежности костюма, причем в его пользу оставался известный процент, по соглашению с лавочником. Платить наличными деньгами Спирька терпеть не мог и вытягивал жилы мелкими подачками. И все-таки в минуту жизни трудную Спирька являлся для «академии» якорем спасения, и все его любили. Вот по части угощения Спирька ничего не жалел, и его появление служило синонимом дарового праздника. Спирька систематически спаивал всю «академию».

Меня удивило открытие, что Фрей пишет романы, — я не подозревал за ним этого таланта.

— Ну, это дело особенное, — объяснил Пепко, — Фрей знает три языка... Выберет что-нибудь из бульварной литературы, переставит имена на русский лад, сделает кое-где урезки, кое-где вставки, — и роман готов. За роман в десять листов он получит со Спирьки рублей семьдесят, а то и все сто. Ничего, можно работать на голодные зубы... Все-таки хоть что-нибудь. Это не то, что мои романсы с *а*, *о* и *е*. Вот подлая вещь... И как это в жизни все происходит роковым образом: прижало человека к стене, а тут враг человеческого рода в лице Порфирыча и подкатится горошком. На, продавай себя в размен...

Пепко находился в ожесточенно-мрачном настроении еще раньше закрытия «Нашей газеты». Он угне-

тенно вздыхал, щелкал пальцами, крутил головой и вообще обнаруживал несомненные признаки недовольства собой. Я не спрашивал его о причине, потому что начинал догадываться без его объяснений. Раз вечером он не выдержал и всенародно раскаялся в своих прегрешениях.

— То есть такого подлеца, как я, кажется, еще и свет не производил!.. — объяснял Пепко, ударяя себя в грудь. — Да... Помнишь эту девушку с испуганными глазами?... Ах, какой я мерзавец, какой мерзавец... Она теперь в таком положении, в каком девушке не полагается быть.

— Что же, дело, кажется, очень просто: тебе нужно жениться...

— Жениться? А если я ее не люблю?..

— Об этом следовало, кажется, подумать немного раньше.

— Разве тут думают, несчастный?.. Ах, мерзавец, мерзавец... Помнишь, я говорил тебе о роковой пропорции между количеством мужчин и женщин в Петербурге: перед тобой жертва этой пропорции. По логике вещей, конечно, мне следует жениться... Но что из этого может произойти? Одно сплошное несчастие. Сейчас несчастие временное, а тогда несчастие на всю жизнь... Я возненавижу себя и ее. Все будет отравлено...

Пепко ломал руки и бегал по комнате, как зверь, в первый раз попавшийся в клетку. Мне было и досадно за легкомыслие Пепки, и обидно за него, и жаль несчастной девушки с испуганными глазами.

Пепко волновался целых три дня. Я делал вид, что ничего не замечаю, и это еще больше его смущало. Он, видимо, жаждал какой-нибудь искупительной жертвы за свое грехопадение, а жертвы не было. Я уверен, что он был бы счастлив, если бы кто-нибудь бранил его, оскорблял и особенно если бы кто-нибудь был несправедлив к нему. В последнем случае для него являлась бы некоторая лазейка для самозащиты. Но я хранил упорное молчание, испытывая какое-то болезненное чувство, — пусть Пепко мучится молча и пусть он чувствует, что до его мучений никому нет

дела. Есть вещи, которые творятся только с глазу на глаз.

— А, черт... — повторял Пепко, шагая из угла в угол. — Хоть бы нашелся мерзавец, который задушил бы меня.

Затем настроение Пепки вдруг пало. Случилось это утром, когда Федосья подала газету. Пепко пробежал номер, бросил его на пол и заговорил:

— Какие глупости, ежели разобрать...

— Что разобрать?

— Да все... Ведь земля еще вращается на своей оси, солнце еще светит, — следовательно, нет такого положения, из которого не было бы выхода. Во-первых, нужно принять во внимание время, которое является всеисцеляющим врачом и затем, по итальянской пословице, самым справедливым человеком. Да... Затем, я займусь специально самосозерцанием по буддийскому методу. Это, брат, штука... Во мне вселенная и, следовательно, во мне же вся правда и вся неправда целого мира; а если это во мне, то я могу быть хозяином того и другого. В-третьих, то есть, наконец, всякое настроение можно уравновесить внешними впечатлениями. Это третье является единственным средством, и поэтому...

Пепко поднял газету с полу и прочитал:

— «Прощальный бенефис дивы... Патти уезжает... Идет опера «Динора». Знаменитый дуэт Патти и Николини». Как ты полагаешь относительно этого?

— Ничего я не полагаю, потому что у нас нет ни билетов, ни денег.

— Вздор!.. Все это вещи и понятия относительные. У меня есть два рубля...

— У меня около этого...

— И отлично. Четыре целковых обеспечивают вполне порядочность... Сегодня же мы будем слушать «Динору», черт возьми, или ты наплюй мне в глаза. Чем мы хуже других, то есть людей, которые могут выбрасывать за абонемент сотни рублей? Да, я буду слушать Патти во что бы то ни стало, хоть бы земной шар раскололся на три половины, как говорят институтки.

Психология Пепки отличалась необыкновенно быстрыми переходами от одного настроения к другому, что меня не только поражало, но до известной степени подчиняло. В нем был какой-то дремавший запас энергии, именно то незаменимое качество, когда человек под известным впечатлением может сделать что угодно. Конечно, все зависело от направления этой энергии, как было и в данном случае.

Вечером мы отправились в Большой театр, где играла итальянская труппа. Билетов у нас не было, но мы шли с видом людей, у которых есть абонемент. Прежде всего Пепко отправился в кассу, чтобы получить билет, — расчет был настолько же верный, как возвращение с того света.

— А, черт... — обратился Пепко. — Идем в пятый ярус!

Мы поднялись по бесчисленным лестницам к знаменитой «коробке», где изнывали счастливцы, получившие билеты ценой целонощного стояния в цепи у кассы. Пепко довольно развязно обратился к расшитому капельдинеру.

— Можно-с... — ответил театральный холуй, меряя нас взглядом с ног до головы. — Пять рублей с персоны...

— За что?

— А постоять у двери... Все будет слышно.

У нас было на двоих всего четыре рубля, и поэтому предложение капельдинера не могло быть осуществимо. Пепко заскрипел от ярости зубами, обругал капельдинера, и мы быстро ретировались во избежание дальнейших недоразумений.

— А я все-таки буду в театре, — повторял Пепко, спускаясь по лестнице. — Ведь другие будут же слушать... Затем, два рубля тоже что-нибудь значат.

Спустившись, мы остановились у подъезда и начали наблюдать, как съезжается избранная публика, те счастливцы, у которых были билеты. Большинство являлось в собственных экипажах. Из карет выходили разряженные дамы, офицеры, привилегированные мужчины. Это был совершенно особенный мир, кото-

рый мы могли наблюдать только у подъезда. У них были свои интересы, свои разговоры, даже свои слова.

— Ах, какая красавица... — восхищался Пепко, наблюдая каждую даму.

— Идем домой, Пепко...

— Нет, я должен быть там, в театре...

Мы простояли на подъезде с полчаса, и только с неба могла свалиться возможность попасть в заколдованный круг. И такая возможность пришла в лице простого мужика в нагольном полушубке.

— Вам госпожу Патти желательно посмотреть? — заговорил мужик, обращаясь к нам.

— Да...

— В лучшем виде: полтора целковых с рыла.

— У тебя есть билеты?

— Какие там билеты... Прямо на сцену проведу. Только уговор на берегу, а потом за реку: мы поднимемся в пятый ярус, к самой «коробке»... Там, значит, есть дверь в стене, я в нее, а вы за мной. Чтобы, главное дело, скапельдинеры не пымали... Уж вы надейтесь на дядю Петру. Будьте, значит, благонадежны. Прямо на сцену проведу и эту самую Патти покажу вам, как вот сейчас вы на меня смотрите.

Предложение было более чем соблазнительно, и мы покорно последовали за дядей Петрой опять в пятый ярус.

Второй подъем даже для молодых ног на такую фатальную высоту труден. Но вот и роковой пятый ярус и те же расшитые капельдинеры. Дядя Петра сделал нам знак глазами и, как театральное привидение, исчез в стене. Мы ринулись за ним согласно уговору, причем Пепко чуть не пострадал, — его на лету ухватил один из капельдинеров так, что чуть не оторвал рукав.

— А, черт... Чуть на язык не наступил, — ругался Пепко, шагая в темноте по узкой чердачной лестнице.

Еще одно мгновение, и мы на потолке Большого театра, представлявшем собой громадный сарай размером в хороший манеж. Посредине из широкого отверстия воронкой шел свет от главной люстры. Несколько рабочих толпились около этого отверстия, точно сказочные гномы.

— Теперь, брат, шабаш!.. — заявлял торжествовавший дядя Петра. — Теперь вот скапельдинерам...

Он показал рукой символически-обидную фигуру и хрипло захохотал. «Скапельдинеры» были посрамлены, а мы торжествовали.

— Валяй, братцы, за мной, — командовал дядя Петра, шагая мимо рабочих. — Прямо на колосники предоставлю.

Наше похождение принимало фантастический характер, напоминая бегство из какой-нибудь средневековой тюрьмы. Мы шли по потолку, испытывая странное ощущение: вот сейчас под нашими ногами три тысячи избраннейшей публики, тот «весь Петербург», который пользуется всевозможными привилегиями на существование, любезно предоставляя остальному Петербургу скорлупки безвестного существования. В отверстие спущенной люстры доносился глухой, подавленный гул тысячной толпы, — мы точно шли по крышке котла с начинавшей уже кипеть водой.

— Сюды!.. — кричал дядя Петра, скрываясь в дальнем конце потолка, где было совершенно темно. — Надейтесь на дядю Петру. Левее держи...

Дальнейшее путешествие приняло несколько фантастический характер. Мы очутились на краю какой-то пропасти. Когда глаз несколько привык к темноте, можно было различить целый ряд каких-то балок и дядю Петру, перелезавшего через них.

— Послушай, куда ты нас ведешь? Ведь этак шею можно сломать!

— Держи направо, — слышался голос дяди Петра, — самого его уже не было видно.

Мы ползли в темноте, цепляясь за какие-то бревна, доски и выступы. В некоторых местах приходилось в буквальном смысле ползти на четвереньках.

— А, черт... Коленку ушиб, — ругался Пепко.

— Забирай левее! — командовал дядя Петра.

Наконец, мы увидели сцену, то есть слабое светлое пятно, которое чуть брезжило на дне пропасти. Спуститься в темноте с высоты пятого яруса было делом нелегким и рискованным, но молодость счастлива тем, что не рассуждает в таких случаях.

Через десять минут головоломного путешествия в темноте мы, наконец, достигли «колосников». Это была узкая галерея, которая проходила над сценой сбоку. Кругом нас висел целый лес декораций, деревянные валы, которыми поднимали и опускали эти декорации, и целая сеть веревок, точно на каком-то корабле. Самая сцена была сейчас у нас под ногами. Там происходила ужасная суматоха, потому что устанавливали учениц и учеников театрального училища в красивые группы.

— Сейчас занавес дадут, — объяснял дядя Петра. — Вот он, Адам-то Адамыч бегает... седенький... Это наш машинист. Нет, брат, шалишь: «Динора» эта самая наплевать, а вот когда «Царь Кандавл» идет, ну, тогда уж его воля, Адама Адамыча. В семь потов вгонит... Балеты эти проклятущие, нет их хуже.

Поднялся занавес, заиграл оркестр, хор что-то запел.

— Вот она, Патти, за кулисой сидит... платочком закрывается.

Это была она, знаменитая дива... С высоты колосников можно было видеть маленькую женскую фигурку, кутавшуюся в теплый платок. Ее появление на сцене вызвало настоящую бурю аплодисментов. Говорить о том, как поет Патти, — излишне. Особенно хороши были дуэты с Николини. Увы! нынче уж так не поют...

Мы добились цели и прослушали всю оперу. После спектакля на бесчисленные вызовы Патти исполнила знаменитого «Соловья» и еще какие-то номера.

— Теперь валяй за мной на сцену, — командовал дядя Петра.

Мы повиновались. Спуск с колосников шел по винтовой железной лестнице. В зале буря не смолкала. Мы шли по сцене, прошли к тому месту, где сидела дива. Мы остановились в двух шагах. Худенькая, смуглая, почти некрасивая женщина очень небольшого роста. Рядом с ее стулом стоял представительный господин во фраке.

— Это Патти, — указывал дядя Петра на диву, — а это ейный муж... По-русски ничего не понимают. А поправее-то господин Николини...

Из-за декоративного куста роз мы с Пепкой могли любоваться всей зрительной залой. Да, вот он, этот весь Петербург, те избранники, которые наслаждаются всеми благами жизни. Я посмотрел на Пепку, — у него было самое мрачное выражение, губы стиснуты, брови нахмурены. Для меня было ясно, о чем он думал: мы должны завоевать этот весь Петербург и прорваться в этот круг избранников и баловней судьбы. Я почему-то припомнил старика фельдшера, жужжавшего мухой, бойкого провизора, нашу «академию», «Федосьины покровы», наших новых знакомых девиц, — все это было так мизерно, жалко, ничтожно... В душе шевельнулось нехорошее завистливое чувство, — это была та ржавчина, которая въедается в молодое сердце...

XII

Ввиду надвигавшихся экзаменов мне приходилось серьезно подумать о средствах, чтобы обеспечить себе свободных месяца два. Я ухватился за совет Фрея, хотя при этом приходилось вступить в некоторую сделку с самим собой, даже почти изменить себе, то есть изменить роману. Вместо идейной вещи приходилось писать на заказ, писать из-за куска хлеба. Чтобы успокоить себя до некоторой степени, я закончил вторую часть романа и в этом виде снес рукопись в редакцию одного «толстого» журнала. Нужно сознаться, что я испытывал сильное волнение, отдавая свое детище на нелицеприятный суд редакции. Это совершенно особенное чувство: ведь ничего дурного нет в том, что человек сидит и пишет роман, ничего нет дурного и в том, что он может написать неудачную вещь, — от неудач не гарантированы и опытные писатели, — и все-таки являлось какое-то нехорошее и тяжелое чувство малодушия. Я скрыл от Пепки свой решительный шаг и мучился в одиночку. Что-то будет?.. Вообще нет ничего тяжелее и мучительнее

ожидания, а тут приходилось ждать целый месяц, — редакция была завалена рукописями.

«Э, все равно! — храбрился я про себя. — Не боги горшки обжигают...»

Сделав один решительный шаг, я сейчас же отважился на другой и засел писать рассказ по рецепту Фрея.

— Вот что, молодой человек, — советовал полковник, интересовавшийся моей работой, — я давно болтаюсь около литературы и выработал свою мерку для каждой новой вещи. Возьмите страницу и сосчитайте сколько раз встречаются слова «был» и «который». Ведь в языке — весь автор, а эти два словечка рельефно показывают, какой запас слов в распоряжении данного автора. Языку, конечно, нельзя выучиться, но нужно относиться к нему с крайней осторожностью. Нужна строгая школа, то, что у спортсменов называется тренировкой.

Воспользовавшись фабулой одного уголовного происшествия, я приступил к работе. Пепко опять пропадал, и я работал на свободе. Через три дня рукопись была готова, и я ее понес в указанный Фреем маленький еженедельный журнальчик. Редакция помещалась на Невском, в пятом этаже. Рукописи принимал какой-то ветхозаветный старец, очень подержаный и забитый. Помещение редакции тоже было скромное и какое-то унылое.

— Зайдите через недельку, — проговорил старец каким-то затхлым голосом.

Еще ожидание... Впрочем, терпеть зараз всегда легче, и неделя прошла быстрее, чем я ожидал. Прихожу за ответом. Старец узнал меня, пригласил сесть и сказал:

— Иван Иваныч хотел переговорить с вами.

Иван Иваныч был сам редактор, и у меня екнуло сердце, как у рыбака, когда крупная рыба пошевелит поплавок. Через минуту в редакцию вошел высокий, полный господин лет пятидесяти. Он смерял меня с ног до головы, обратил особое внимание на мои высокие сапоги и проговорил:

— Это ваш рассказец?

— Да, мой...

— Первая вещь, если не ошибаюсь?

— Да...

— Так-с...

Он взял со стола рукопись, как-то презрительно взвесил ее на руке и проговорил:

— У меня материалу, батенька, на три года вперед... Да. Недавно мне одна барыня принесла повестушку... Повестушка-то так себе, а вот название ядовитое: «Поцелуй Иуды». Как это вам нравится? Хе-хе... Вот так барыня!

Взвесив еще раз мое произведение, он проговорил устало-равнодушным тоном:

— Ваша вещица... гм... ничего, уйдет на *затычку;* какие ваши условия?

— Право, не знаю... Как хотите.

Моя беззащитность, видимо, тронула принципала, и он решил:

— Тридцать рублей за печатный лист...

— Хорошо.

У меня колесом вертелась в голове роковая фраза: «на затычку»; я чувствовал, что начинаю краснеть, и поэтому поспешил откланяться.

— Послушайте, господин Попов, — остановил меня редактор. — Дело к празднику идет, вы, наверно, нуждаетесь в деньгах, и я могу вам заплатить вперед... Петр Васильич, подсчитайте.

Ветхозаветный старец быстро принялся считать строки и буквы моей рукописи, слюнявя пальцы.

— Вы студент? Так-с... — занимал меня Иван Иваныч. — Что же, хорошее дело... У меня был один товарищ, вот такой же бедняк, как и вы, а теперь на своей паре серых ездит. Кто знает, вот сейчас вы в высоких сапогах ходите, а может быть...

— Тридцать рублей-с, — прервал старец готовившееся предсказание. — Ровно-с печатный лист...

— Выдайте деньги молодому человеку... Да, так своя пара серых, а был беден, как Иов. Бывает...

Получив деньги, я выскочил из редакции в каком-то чаду. Целых тридцать рублей, первый настоящий литературный гонорар, — я даже простил Ивану Иванычу его «на затычку». Дело происходило за три дня до пасхи, когда весь Петербург охвачен радостной

тревогой. Окна всех магазинов декорированы самыми соблазнительными вещами, публика спешит с разными свертками и коробками, в самом воздухе чувствуется какая-то радость, обидная для тех, кто не может принять в ней участия даже косвенным образом. Именно в таком настроении я шел в редакцию, а возвращался крезом, сжимая в кулаке право на существование. Да здравствует милый Иван Иванович!.. Много прошло времени с этого решительного момента, через мои руки прошло немало денег, но никогда они не были мне так дороги, как именно эти тридцать рублей. Говорят, что первая ласточка не делает весны, — это глубоко несправедливо...

С деньгами я отправился прямо в портерную, где и сообщил «академии» о неожиданно свалившемся счастье.

— Удивительно, как это расступился Иван Иваныч, — заметил сдержанно Фрей. — Говоря между нами, он порядочная собачья жила... А впрочем, хорошо то, что хорошо кончается.

В качестве счастливчика, которому покровительствовала сама судьба, я должен был выставить «академии» целую дюжину пива. Эта жертва была принята с благодарностью. Откуда-то явился Порфир Порфирыч, слышавший верхним чутьем, где пьют.

— Alea jacta est, [1] — проговорил он. — Посвящается раб божий Василий во псаломщика от литературы... Дай бог нашему теляти волка поймати. А впрочем, не в этом дело, юноша... Блюди, юноша, дух прав и сердце смиренно. Одним словом — ура!..

Мне сделалось даже совестно фигурировать в роли именинника, потому что другие сидели без работы; это было черной точкой на моем литературном горизонте.

Воспользовавшись нахлынувшим богатством, я засел за свои лекции и книги. Работа была запущена, и приходилось работать дни и ночи до головокружения. Пепко тоже работал. Он написал для пробы два романса и тоже получил «мзду», так что наши дела были в отличном положении.

---

[1] — Жребий брошен, *(лат.)*

— Продажный поэт... — с горечью карал самого себя Пепко. — Да, продажа священного вдохновения по мелочам... Э, все равно!..

В разгар этой работы истек, наконец, срок моего ожидания ответа «толстой» редакции. Отправился я туда с замирающим сердцем. До некоторой степени все было поставлено на карту. В своем роде «быть или не быть»... В редакции «толстого» журнала происходил прием, и мне пришлось иметь дело с самим редактором. Это был худенький подвижный старичок с необыкновенно живыми глазами. Про него ходила нехорошая молва, как о человеке, который держит сотрудников в ежовых рукавицах. Но меня он принял очень любезно.

— Читал, читал ваш роман... да, — заговорил он, суетливо роняя слова. — Трудно сказать что-нибудь сейчас... да, трудно. Это только первая половина, а когда кончите, тогда и рассмотрим окончательно.

— Мне хотелось бы знать ваше мнение...

— Мое мнение? У вас слишком много описаний... Да, слишком много. Это наша русская манера... Пишите сценами, как делают французы. Мы должны у них учиться... Да, учиться... И чтобы не было этих предварительных вступлений от Адама, эпизодических вставок, и вообще главное достоинство каждого произведения — его краткость. Мы работаем для нашего читателя и не имеем права отнимать у него время напрасно.

Меня этот полуответ мало удовлетворил, и я снес рукопись в другой «толстый» журнал, пользовавшийся репутацией необыкновенной солидности. Через две недели его редактор говорил мне:

— Главный недостаток вашего романа в том, что слишком много сцен и мало описаний...

XIII

— «Выставляется первая рама, и в комнату шум ворвался, — декламировал Пепко, выглядывая в форточку, — и благовест ближнего храма, и говор народа,

и стук колеса»... Есть! «Вон даль голубая видна», то есть, в переводе на прозу, забор. А вообще — тьфу!.. А я все-таки испытываю некоторое томление натуры... Этакое особенное подлое чувство, которое создано только для людей богатых, имеющих возможность переехать куда-нибудь в Павловск, черт возьми!..

По обыкновению, Пепко бравировал, хотя в действительности переживал тревожное состояние, нагоняемое наступившей весной. Да, весна наступала, напоминая нам о далекой родине с особенной яркостью и поднимая такую хорошую молодую тоску. «Федосьины покровы» казались теперь просто отвратительными, и мы искренне ненавидели нашу комнату, которая казалась казематом. Все казалось немилым, а тут еще близились экзамены, заставлявшие просиживать дни и ночи за лекциями.

— Знаешь что? Мы сегодня будем дышать свежим воздухом, — заявил Пепко раз вечером с таким видом, точно хотел выстрелить. — Да, будем дышать, и все тут. Судьба нас загнала в подлую конуру, а мы назло ей вот как надышимся! Всю гигиену выправим в лучшем виде.

— Куда же мы пойдем? В Александровский парк?..

— Тоже хватил: в парк! Нет, я на этом не помирюсь. Закатим прямо на острова... Вообще будем вести себя, как прилично порядочным молодым людям. Теперь самое модное место — pointe[1] на Елагином; ну, туда и отправимся посмотреть, как будет садиться *наше* солнце, ибо сегодня оно будет принадлежать нам по праву захвата и труда. Мы заработаем собственными ногами наш закат... Кстати, у тебя не найдется ли несколько крейцеров на конку? Нет? Ну, наплевать... Я где-то читал в газетине, что теперь мода совершать прогулки пешком; значит, будем жить по последней моде. У меня есть священный пятачок, который я сберегу на бутылку квасу... Все порядочные люди пьют изысканные напитки, а мы прикинемся славянофилами и будем отдуваться квасом принци-

---

[1] стрелка *(франц.)*.

пиально. У меня в каждом деле принцип на первом месте...

Мы отправились по Каменноостровскому проспекту, который по вечерам в конце апреля имеет какой-то особенно задорный и бойкий вид. Мчится целая вереница щегольских экипажей, летят кавалькады, гремят конки, выбиваются из сил извозчичьи лошади, — все движется, живет и торопится жить. В самом воздухе есть что-то бодрое, оживляющее, подающее какую-то смутную надежду. Мы были совершенно счастливы, что могли двигаться вместе с другими, хотя и с меньшей инерцией. Важна цель, а средства для ее достижения в данном случае имели совершенно условное значение. Пепко принял беззаботный вид гуляющего человека и шел, помахивая дешевенькой тросточкой, приобретенной в табачном магазине в минуту безумной роскоши.

— Я дышу, следовательно — я существую, — говорил он, когда мы шагали по Крестовскому острову. — Ах, как хорошо, Вася!.. Мы будем каждый день делать такую прогулку. Положим себе за правило...

— Это не предусмотрено проспектом нашей жизни, Пепко.

— К черту всякие проспекты! Зачем добровольно стеснять собственную свободу, когда и без того до усов всякой неволи? Я хочу быть вольным, как птица...

В доказательство этой последней мысли Пепко галантно раскланялся с двумя шикарными дамами, катившими полулежа в шикарном «ланде». Они даже не повернули головы в нашу сторону, приняв нас, вероятно, за оборванцев, и быстро исчезли в облачке пыли, гнавшемся за ними. Пепко глухо расхохотался.

— Впрочем, они имеют полное право меня презирать и не отвечать на мой поклон, — резонировал он, — гусь свинье не товарищ... да. Посмотрим, что они скажут, когда я сам поеду в собственном ландо.

— А когда это будет?

— Знаешь поговорку: кто не женится до тридцати лет и кто не наживет миллиона до сорока лет, тот никогда не женится и никогда ничего не будет иметь.

— Я все-таки не понимаю, для чего тебе именно ландо?

— Как для чего? А вот показать *им* всем, что и я могу ездить, как они все, и что это ничего не стоит. Да... Вот я теперь иду пешком, а тогда развалюсь так же, закурю этакую регалию... «Эх, птица тройка! Неситесь, кони»... Впрочем, это из другой оперы, да и я сейчас еще не решил, на чем остановиться: ландо, открытая коляска или этакого английского черта купить.

Увы! Пепко так и не разрешил этого мудреного вопроса. Его кровные рысаки носились в области юношеской болтливости, а верх благополучия совпал с ездой на самой обыкновенной извозчичьей кляче.

Мы долго любовались красавицей Невой. Как она здесь хороша, эта чудная река, такая спокойная, могучая и всегда красивая! Водная гладь только кой-где рябилась, стрелой неслись финляндские пароходики, чертили воду десятки лодок, — одним словом, жизнь кипела. Деревья стояли еще голые, и только пушились одни ивняки, да кой-где высыпала яркозеленая весенняя травка. В воздухе чувствовался смолистый горьковатый аромат назревших почек, особенно когда неизвестно откуда точно дохнет прямо в лицо теплый весенний ветерок.

На point'е набралось уже столько публики, что мы не нашли свободного места на скамейках. Дорога была загромождена экипажами, и прибывали все новые. Мы очутились в лучшем обществе, которое видели зимой в итальянской опере. Да, этот богатый, жуирующий, пресыщенный Петербург был здесь налицо, рядом с нами и вместе с тем как он был неизмеримо далек от нас! «Наше солнце» уже близилось к горизонту багровым раскаленным шаром, точно невидимая рука хотела опустить его в Финский залив, чтобы охладить немного. Раскинувшаяся морская гладь манила и звала, навевая приятную тоску — это был, так сказать, аппетит воли, простора и движения. В крайнем случае получался контраст с нашим забором, ревниво заслонявшим от наших глаз все перспективы и даже нижнюю часть неба. А как красиво летели по заливу маленькие яхточки, окрыленные косыми пару-

сами — настоящие птицы... С моря потягивало свежим воздухом, где-то в камышах морская волна тихо сосала иловатый берег, на самом горизонте тянулись дымки невидимых морских пароходов, а еще дальше чуть брезжился Кронштадт своими шпицами и колокольнями...

Меня удивило, что Пепко отнесся совершенно безучастно к закату «нашего солнца», а занят был главным образом рассмотрением пуантовой «зоологии». По крепко сжатым губам и нахмуренным бровям было видно, что он серьезно думал о чем-то.

— Да, они живут... — как-то вздохнул он, точно просыпаясь. — И стоит жить, черт возьми!.. Жизнь хороша, если брать ее, а не поддаваться ей... И знаешь, для чего стоит жить?

— Для истины, добра и красоты!

— Э, вздор, старая эстетика! Вот для чего стоит жить, — проговорил он, указывая на красивую даму, полулежавшую в коляске. — Для такой женщины стоит жить... Ведь это совсем другая зоологическая разновидность, особенно по сравнению с теми дамами, с которыми нам приходится иметь дело. Это особенный мир, где на первом месте стоит кровь и порода. Сравни извозчичью клячу и кровного рысака — так и тут.

— Послушай, Пепко, это довольно забавный юнкерский аристократизм, цель которого — любовь аристократки.

— Нет, не то... Положим, я простой дворняга, но это мне не мешает чувствовать красоту вот таких гордых, холодных и красиво-недоступных патрицианок. Ведь это высшая форма полового подбора...

— Ты это серьезно?

— Совершенно серьезно... Ведь это только кажется, что у них такие же руки и ноги, такие же глаза и носы, такие же слова и мысли, как и у нас с тобой. Нет, я буду жить только для того, чтобы такие глаза смотрели на меня, чтобы такие руки обнимали меня, чтобы такие ножки бежали ко мне навстречу. Я не могу всего высказать и мог бы выразить свое настроение только музыкой.

Пепко даже поник грустно головой, а потом прибавил совершенно другим тоном:

— А знаешь, как образовалась эта высшая порода людей? Я об этом думал, когда смотрел со сцены итальянского театра на «весь Петербург», вызывавший Патти... Сколько нужно чужих слез, чтобы вот такая патрицианка выехала в собственном «ланде», на кровных рысаках. Зло, как ассигнация, потеряло всякую личную окраску, а является только подкупающе-красивой формой. Да, я знаю все это и ненавижу себя, что меня чаруют вот эти патрицианки... Я их люблю, хотя и издали. Я люблю себя в них...

— Вот что, Пепко, пойдем-ка домой, пока ты окончательно не зарапортовался. Я что-то плохо начал понимать тебя...

Пепко только вздохнул и уныло поплелся за мной. Солнце уже давно закатилось, патрицианки разъехались по своим палаццо, а на Неве замигали красные огоньки сновавших там и сям пароходов и яликов. Мягкий весенний сумрак окутывал голые деревья; где-то шарахнулся сонный грач; неприятно-резкий свист парохода разрезал засыпавший воздух, точно удар бича. Мы шли долго молча, и я думал о том, какой странный человек мой друг Пепко, это олицетворение всевозможных противоречий. Последним номером в скале этих странностей явился апофеоз патрицианства и стремление к нему. Положим, что все это были одни разговоры, но, проверяя себя, я не мог скрыть, что Пепко до известной степени прав. Я думал о наших знакомых дамах, и это сравнение было не в их пользу. С другой стороны, меня возмущала откровенность Пепки, и я спросил, чтобы поязвить его:

— Кстати, что твоя любовь?

— В каком смысле любовь? В прямом или переносном?

— И в том и в другом...

Пепко махнул рукой и засмеялся.

— Это была просто глупость, — проговорил он. — Вернее сказать, фальсификация...

— Однако ты говорил, что эта девушка...

— То есть это она меня уверяла, а в действительности ничего не оказалось. Я поставил уже точку...

— Кажется, даже двоеточие?

— А, черт!.. Терпеть не могу баб, которые прилипают, как пластырь. «Ах, ох, я навеки твоя»... Мне достаточно подметить эту черту, чтобы такая женщина опротивела навеки. Разве таких женщин можно любить? Женщина должна быть горда своей хорошей женской гордостью. У таких женщин каждую ласку нужно завоевывать и поэтому таких только женщин и стоит любить.

— Да, все это патрицианская философия, а нужно спросить, что чувствует та девушка, которая, может быть, любит тебя...

— Послушай, что ты привязался ко мне? Это, понимаешь, скучно... Ты идеализируешь женщин, а я — простой человек и на вещи смотрю просто. Что такое — любить?.. Если действительно человек любит, то для любимого человека готов пожертвовать всем и прежде всего своей личностью, то есть в данном случае во имя любви откажется от собственного чувства, если оно не получает ответа.

— Это софизм и очень даже некрасивый софизм...

— Отстань!

В наших голосах послышалось раздражение, и мы остальную часть пути сделали молча, позабыв даже о бутылке квасу, которою должен был завершиться наш пикник. Когда мы подходили уже к своему Симеониевскому мосту, Пепко неожиданно заявил:

— А мы после экзаменов переезжаем на дачу...

— Это очень интересно, но как и куда?

— Э, вздор!.. Свет не клином сошелся.

У меня оставалось легкое раздражение по отношению к Пепке, и поэтому мы опять замолчали. Это же молчание мы принесли в свою конуру, молча разделись и молча улеглись спать.

— Какое прекрасное изобретение сон, говорил Санхо Панчо! — сонным голосом бормотал Пепко, поворачиваясь лицом к стене.

У меня вдруг мелькнула мысль, которая разогнала охватывавшую дремоту.

— Пепко, ты спишь?

— Мм... а?..

— А я не поеду с тобой на дачу, потому что это... это замаскированное бегство с твоей стороны. Я отлично понимаю... Ты хочешь скрыться на лето от этой несчастной девушки и рассчитываешь на время, которое поправит все.

Пепко тяжело повернулся на своей кровати и проворчал:

— Представь себе, милый мой мальчик, что ты угадал... Покойной ночи, милейший!..

XIV

Я мечтал летом пробраться в свои степи; это повторялось каждую весну, и каждую весну эта надежда разбивалась о главное препятствие: не было денег на поездку. Таким образом, мне пришлось провести два ужасных лета в Петербурге, и я утешал себя только расчетами на третье. Но — увы! — и этой мечте не суждено было сбыться... Как раз перед последним экзаменом я получил письмо от отца, в котором было так много хороших советов и не было денег на поездку. Деньги, проклятые деньги! они отнимают у нас даже родное небо, родное солнце, ласки любимых людей,— одним словом, все хорошее и самое дорогое. Я очень любил и уважал отца. Это был простой и добрый, но строгий человек, смотревший на жизнь серьезно. «Перебейся как-нибудь лето в Питере, — писал он, — конечно, это тебе покажется скучным, но нужно примириться... Сколько есть людей, которые всю жизнь мечтают попасть в Петербург, чтобы посмотреть своими глазами на его чудеса, да так и остаются в своей глуши. Пользуйся случаем... Кончишь курс, поступишь в провинцию на службу, и еще неизвестно, удастся ли тебе в другой раз видеть знаменитую столицу». Милый старик, как он мило ошибался... Чудеса Петербурга — верх наивности. С какой радостью я послал бы к черту эти чудеса, чтобы умчаться туда, на дорогую родину.

— Ну, что пишет старик? — угрюмо спрашивал Пепко, не поднимая головы от своих лекций.

— Ничего особенного... Кстати, ты как-то говорил о даче. Если бы...

Пепко поднял голову, посмотрел на меня и проговорил с решительным видом:

— Дача должна быть... Ведь живут же другие люди на дачах, следовательно, и мы должны жить.

— Все это — отвлеченные рассуждения, Пепко.

— Рассуждения? Ты не знаешь простой истины, что человеку только стоит захотеть, и он все может сделать. Решительно все... Вот тебе пример: человека посадят в тюрьму, запрут железной дверью, поставят к двери часового. Стены толстые, каменные, окошко маленькое, с железной решеткой, пол каменный, — одним словом, каменный мешок. И все-таки люди уходят из тюрьмы... А почему? Потому что умеют сосредоточить свое внимание на одном пункте. Сидит человек год, два, три и все думает об одном, и уйдет в конце концов, потому что у него явится такая комбинация, которая не снилась во сне ни архитектору, строившему тюрьму, ни бдительному начальству, стерегущему ее, ни одному черту на свете. Кстати, в этом вся психология творчества, — именно, чтобы уметь сосредоточить свое внимание на одной точке до того, чтобы вызвать живые образы... Да, так это я так, à part[1]. А дело в том, что если арестанты могут убегать из тюрем, то сколь проще и естественнее найти себе дачу и устроиться на ней, подобно другим дачным человекам. Я сказал: дача будет, она должна быть...

Милый Пепко, как он иногда бывал остроумен, сам не замечая этого. В эти моменты какого-то душевного просветления я так любил его, и мне даже казалось, что он очень красив и что женщины должны его любить. Сколько в нем захватывающей энергии, усыпанной блестками неподдельного остроумия. Во всяком случае, это был незаурядный человек, хотя и с большими поправками. Много было лишнего, многого

---

[1] про себя *(франц.)*.

недоставало, а в конце концов все-таки настоящий живой человек, каких немного.

Да здравствует весна, любовь и... и Третье Парголово!.. Недавно я был там, почти через двадцать лет, и не узнал когда-то знакомых мест. Со мной вместе шли мои сорок лет, и через их дымку я видел только старые лица, старых знакомых, давно минувшие события, сцены, мысли и чувства. Да, я нес с собой воспоминания и чувствовал себя пришлецом из другого мира. И никому-никому не было дела до моих старческих воспоминаний... Я почувствовал себя чужим, и сорокалетнее сердце сжалось от тоски, какую нагоняет солнечный закат. Да, они уже не вернутся, эти молодые грезы, иллюзии, надежды, улыбки, взгляды молодых глаз, беззаботный смех, молодые лица... Где они? Пепко прав, что жизнь — ужасная вещь, и, бродя по нынешнему Третьему Парголову, я больше всего думал о нем, моем alter ego, точно и сам я умер, а смеется, надеется, думает, любит и ненавидит кто-то другой... Да, эти другие уже пришли на смену, я видел их и в их глазах прочитал собственный смертный приговор. И они правы, потому что жизнь принадлежит им, хотя и течет по руслу, вырытому покойниками. Какая это ужасная мысль, что мир управляется именно покойниками, которые заставляют нас жить определенным образом, оставляют нам свои правила морали, свои стремления, чувства, мысли и даже покрой платья. Мы бессильны стряхнуть с себя это иго мертвых... Вон, например, дачная девушка в летнем светлом платье; как она счастлива своими семнадцатью годами, румянцем, блеском глаз, счастлива мыслью, что живет только она одна, а другие существуют только так, для декорации; счастлива, наконец, тем, что ей еще далеко до психологии старых пней и сломанных бурей деревьев. Милые девушки, вы убеждены, что вам будет всегда семнадцать лет, потому что вы еще не испытали долгих-долгих бессонных ночей, когда к бессонному изголовью сходятся призраки прошлого и когда начинают точить заживо «господа черви»...

Светлый весенний майский день. Петербургская природа долго и добросовестно делала усилие, чтобы показаться весенней. В результате получилась улыбка больного, которому переменяют лекарство, а с переменой дают и некоторую надежду. Но эта немного больная петербургская весна была скрашена двадцатью годами, и молодые глаза дополняли недочеты действительности некоторой игрой воображения. С каким решительным видом ходил Пепко по Финляндскому вокзалу, как развязно заглядывал он на молоденьких женщин и, наконец, резюмировал свое настроение:

— Знаешь что, мне так хочется жить, что даже совестно... Я бы любил вот всех этих женщин, обнял бы всех железнодорожных чухонцев и, наконец, выпил и съел бы весь буфет первого класса, то есть что там можно выпить и съесть. Во мне какая-то безумная алчность проглотить зараз всю огромность жизни...

Я удивляюсь одному, как это раньше мне не пришла мысль о даче. Просидеть два лета в Петербурге, слоняясь по паркам и островам, когда одна такая поездка уже чего стоит. Мне нравился и вокзал, и суетившаяся на нем публика, и чистенькие чухонские вагоны. Поезд летит, мелькают какие-то огороды, вправо остается возвышенность Лесного, Поклонная гора, покрытая сосновым лесом, а влево ровнем-гладнем стелется к «синему морю» проклятое богом чухонское болото. Вот и первые дачи с своим убогим кокетством, чахлыми садиками и скромным желанием казаться безмятежным приютом легкого дачного счастья. А мне они нравятся, вот эти дачи, кое-как слепленные из барочного леса и напоминающие собой скворечницы, как дачники напоминают скворцов, а больше всех такими скворцами являемся мы с Пепкой.

— Вот и девятая верста, — ворчит Пепко, когда мы остановились на Удельной. — Милости просим, пожалуйте... «Вы на чем изволили повихнуться? Ах да, вы испанский король Фердинанд, у которого украли маймисты сивую лошадь. Пожалуйте»... Гм... Все там будем, братику, и это только вопрос времени.

Трагическое настроение, накатившее на Пепку, сейчас же сменилось удивительным легкомыслием. Он надул грудь, приосанился, закрутил усы, которые в «академии» назывались лучистой теплотой, и даже толкнул меня локтем. По «сумасшедшей» платформе проходила очень красивая и представительная дама, искавшая кого-то глазами. Пепко млел и изнывал при виде каждой «рельефной» дамы, а тут с ним сделался чуть не столбняк.

— Ах, какая красавица!.. — шептал он, набирая воздуха. — Я сейчас положу к ее ножкам свое многогрешное сердце. Не поедем дальше... Ей-богу!.. Отправимся в больницу и заявим, что мы дорогой сошли с ума. Вот тебе и даровая дача... Ведь это одна из тех идей, которые имеют полное римское право называться счастливыми. Ах, какая дама, какая дама... Я, кажется, съел бы ее вместе со шляпкой и зонтиком! А муж у нее наверно этакий дохленький петербургский мерзавец... Знаешь, есть самый скверный сорт мерзавцев: такие чистенькие, приличненькие, с тонким ароматцем дорогих заграничных духов, с перстеньками на ручке. Вот у нее такой муж... Ах, какая женщина!..

Пепко всегда жил какими-то взрывами, и мне пришлось серьезно его удерживать, чтобы, чего доброго, действительно не остался в Удельной.

— Ты — несчастная проза, а я наполняю весь мир своими тремя буквами *а*, *о* и *е!* — резюмировал Пепко эту сцену. — А на даму и на ее собственного мерзавца наплевать... Мы еще не таких найдем.

Станция Третьего Парголова имела довольно мизерный вид, как и сейчас. Мы вышли с особенной торопливостью, как люди, достигшие цели или по меньшей мере отчего дома. Пепко сделал предварительную обсервацию дачного места и одобрительно промычал. Здесь уже высились круглые глинистые холмы с глубокими промоинами, а по ним так приветливо лепились крестьянские избенки и дачки-скворечницы. Кое-где зелеными пятнами расплывались редкие садики. Вообще недурно для первого раза, а главное, целых сорок сажен над уровнем «синего моря».

— Сие благопотребно, — решил Пепко, шагая по узенькой тропинке, взбиравшейся желтой лентой по дну одной из промоин. — Возвысимся малую толику...

Тогдашнее Третье Парголово не было так безобразно застроено и не заросло так садами, как нынешнее. Тогда был у него еще вид простой деревни, хотя и сильно попорченной дачными постройками самой нелепой архитектуры. Главное, были еще самые простые деревенские избы, напоминавшие деревню. Мы прошли деревню из конца в конец и нашли сразу то, о чем даже не смели мечтать, — именно, наняли крошечную избушку на курьих ножках за десять рублей за все лето. Это была феноменальная дешевизна даже для того времени, и мы торжествовали, не смея выдать даже своего торжества перед хозяином дачи, здоровенным мужиком.

— Вот тебе задаток... — заявил Пепко, отдавая три рубля с небрежностью настоящего барина.

— Покорно благодарим, господин хороший.

Собственно наша дача состояла из крошечной комнаты с двумя крошечными оконцами и огромной русской печью. Нечего было и думать о таких удобствах, как кровать, но зато были холодные сени, где можно было спасаться от летних жаров. Вообще мы были довольны и лучшего ничего не желали. Впечатление испортила только жена хозяина, которая догнала нас на улице и принялась жаловаться:

— Зачем вы отдали деньги Алексею? Пропьет их севодни же... А у меня двое ребятишек... Цельное лето ведь я должна с ними биться в хлеву.

— Ты права, женщина, и вот тебе в утешение еще рупь...

Это была наша первая встреча с типичным дачным мужиком.

— У меня такое желание, точно взял бы да чтонибудь изломал, — говорил Пепко, когда мы направились в Шуваловский парк, чтобы провести остаток ins Grüne. [1] — А все я... Видишь, как важна определенная идея, в данном случае идея дачи. Виктория!..

---

[1] на лоне природы *(нем.)*

За четыре месяца мы заплатили бы Федосье сорок рублей, а тут всего десять. Ничего больше не остается, как пропить остальные деньги. У меня целых десять франков... В сущности говоря, это до того безумно огромная сумма, что ее можно привести в норму только безумным кутежом.

— А тебе не жаль Федосьи, у которой наша комната останется пустой на все лето?

— Что же, мы должны задыхаться для ее удовольствия? Да и эти квартирные первоорганизмы отличаются необыкновенной живучестью, и я подозреваю, что они появляются на свет таинственным самозарождением, как разная плесень и прочая дрянь.

Мы направились в парк через Второе Парголово, имевшее уже тогда дачный вид. Там и сям красовались настоящие дачи, и мы имели удовольствие любоваться настоящими живыми дачниками, копавшими землю под клумбы, что-то тащившими и вообще усиленно приготовлявшимися к встрече настоящего лета. Еще раз, хорошо жить на белом свете если не богачам, то просто людям, которые завтра не рискуют умереть с голода.

— Буржуа, филистеры, вообще сквалыги! — ругался Пепко, почувствовавший себя радикалом благодаря нанятой лачуге. — Счастье жизни не в какой-нибудь дурацкой даче, а в моем *я*, в моем самосознании, в моем внутреннем мире...

Шуваловский парк привел нас в немой восторг. Настоящие деревья, настоящая трава, настоящая вода, настоящее небо, наконец... Мы обошли все аллеи, полюбовались видом с Парнаса, отыскали несколько совсем глухих, нетронутых уголков и еще раз пришли в восторг. Над нашими головами ласково и строго шумели ели и сосны, мы могли ходить по зеленой траве, и невольно являлось то невинное чувство, которое заставляет выпущенного в поле теленка брыкаться.

— Мне этот парк напоминает XVIII век, — фантазировал Пепко. — Да... Если бы сюда пустить с полдюжины хотя подержанных маркизов да, черт возьми,

штучек десять маркиз и столько же пастушек... Го-го! Тсс!..

Пепко издал предупредительное шипенье. Из боковой аллеи прямо на нас вывернулась влюбленная парочка. *Она* заметно смутилась и задержала ход, *он* явил пример мужества и повел свою даму прямо на нас: счастливые люди смелы. Пепко пропустил их, оглянулся и проговорил:

— Благословляю вас, mes enfants...[1]

Мы закончили наш первый дачный день в «остерии», как назвал Пепко маленький ресторанчик, приютившийся совсем в лесу. Безумный кутеж состоял из яичницы с ветчиной и шести бутылок пива. Подавала нам какая-то очень миловидная девушка в белом переднике, — она получила двойное название — доброй лесной феи и ундины. Последнее название было присвоено ей благодаря недалекому озеру.

— Mademoiselle, позвольте выпить за ваше здоровье!.. — галантно предлагал Пепко тост.

Миловидная девушка только улыбнулась, а с ней вместе улыбнулось и все остальное — и парк, и озеро, и даже наша лачуга в Третьем Парголове.

XV

Переезд на дачу составлял дело одного дня. Два чемодана, две подушки, два одеяла, две лампы и гитара. Наши сборы закончились комическим эпизодом: когда Федосья узнала, что мы едем на дачу, то расхохоталась до слез.

— Ах, Агафон Павлыч, Агафон Павлыч, перестаньте вы добрых-то людей смешить! — повторяла она, хватаясь за бока. — Туда же, на дачу... ха-ха!..

— Да, на дачу, достоуважаемая...

— Курятник какой-нибудь наняли?

— А вот и не курятник... да-с.

— А небель у вас где?.. Вы бы ломового наняли, дачники! Ха-ха.

---

[1] дети мои... *(франц.)*

Дело дошло без малого до драки, так что я должен был удерживать Пепку. Он впал в бешенство и наговорил Федосье дерзостей. Та, конечно, не осталась в долгу и «надерзила» в свою очередь.

— Если бы вы не были дамой... да, дамой, так я бы показал вам... да, показал! — задыхаясь, повторял Пепко.

— Туда же, аника-воин, распустил перья-то! Знаю я вас, дачников...

На мою долю выпала самая неблагодарная роль доброго гения, которую я и выполнил настолько добросовестно, что, наконец, Пепко и Федосья распрощались самым трогательным образом.

— Приезжайте к нам чай пить... — приглашал успокоившийся Пепко. — Вот и увидите, какие дачи бывают.

— И то как-нибудь соберусь, Агафон Павлыч, — с изысканной вежливостью отвечала Федосья. — Конешно, мне обидно, што вам моя квартира не угодила... Уж, кажется, я ли не старалась! Ну, да бог с вами.

— Приезжайте непременно...

Экзамены были сданы, и мы переезжали на дачу с легким сердцем людей, исполнивших свой долг. Скромные размеры нашего движимого имущества произвели невыгодное впечатление на нашего нового хозяина, который, видимо, усомнился в нашей принадлежности к касте господ. Впрочем, он успокоился, когда узнал, что мы «скубенты». Во всяком случае, мы потеряли в его глазах по крайней мере процентов на двадцать. Другое неприятное открытие для нас заключалось в том, что под самыми окнами у нас оказался городовой.

— Вот тебе и идиллия... — ворчал Пепко. — Дача с городовым... О, проклятая цивилизация, ты меня преследуешь даже на лоне природы!.. Я жажду невинных и чистых восторгов, а тут вдруг городовой.

Нанимая дачу, мы совсем не заметили этого блюстителя порядка, а теперь он будет торчать перед глазами целые дни. Впрочем, городовой оказался очень

милым малым, и Пепко, проходя мимо, раскланивался с «верным стражем отечества».

Устройство на даче заняло у нас ровно час времени.

— Теперь остается только выработать программу жизни на лето, — говорил Пепко, когда все кончилось. — Нельзя же без программы... Нужно провести определенную идею и решить коренной вопрос, чему отдать преимущество: телу или духу.

— Не лучше ли без программы, Пепко? У нас уже был опыт...

— Составим комиссию, а так как tres faciunt collegium[1], то пригласим в председатели верного стража отечества. Он, несомненно, предпочтет дух...

— Это еще вопрос, Пепко. Сначала отдохнем с недельку так, а потом увидим, что и как.

Первые минуты дачной свободы даже стесняли нас. Определенный городской хомут остался там, далеко, а сейчас нужно было делать что-то новое. Собака, сорвавшаяся с цепи, переживает именно такой нерешительный момент и некоторое время не доверяет собственной свободе.

— Что будем делать? — спрашивал Пепко, отвечая на мой немой вопрос. — А первым делом отправимся гулять... Все порядочные дачники гуляют. Надо и людей посмотреть и себя показать, черт возьми!..

Когда мы вышли из своей «дачи», нас встретил какой-то длинноносый мужик с белыми волосами.

— С приездом, господа хорошие...

— Спасибо.

Мужик взмахнул волосами, подмигнул и довольно нахально заявил:

— Не будет ли на чаек с вашей милости?

— За что на чаек?

— А как же, суседи будем... Я вот тут рядом сейчас живу. У меня третий год Иван Павлыч квартирует... Вот господин так господин. Ах, какой господин... Прямо говорит: «Васька, можешь ты мне соответствовать?» Завсегда могу, Иван Павлыч... Уж

[1] коллегию составляют трое, *(лат.)*

Васька потрафит, Васька все может срукoводствовать. Не будет ли на чаек с вашей милости?

Я совершенно не понимаю, почему Пепко расщедрился и выдал дачному оголтелому мужику целый двугривенный. Васька зажал монету в кулаке и помчался через дорогу прямо в кабак. Он был в одной рубахе и портах, без шапки и сапог. Бывший свидетелем этой сцены городовой неодобрительно покачал только головой и передернул плечи. Этот двугривенный послужил впоследствии источником многих неприятностей, потому что Васька начал просто одолевать нас. Одним словом, Пепко допустил бестактность.

Наступил уже вечер, мягкий и теплый. Откуда-то так и несло ароматом распускавшейся зелени и свежей травы. Казавшиеся днем пустыми, теперь все дачи оживились. Этому способствовали вернувшиеся из города со службы дачные «отцы». На импровизированных террасах, в которые превращались крыльца деревенских изб, расположились оживленные группы. Главным действующим лицом являлся самовар. Желавшие насладиться природой, en plein air [1] пили чай прямо в садиках. Вся жизнь была на виду, и это придавало дачному кочевью совершенно особенный колорит. Должен сознаться, что эта мирная картина произвела на меня очень сильное впечатление. Чем-то таким добродушным, домашним веяло от этой дачной простоты. Петербургский чиновник превращался в дачника, то есть в совершенно другое существо, точно он вместе с вицмундиром снимал с себя и петербургскую деловитость. На петербургские дачи вообще много ходит совершенно напрасных нареканий. Право, они не так уж дурны, как могут показаться на первый раз. Я говорю специально о маленьких дачах, в которых находят себе летний приют небогатые люди. Да, великолепие не особенно велико, — под носом пыльное шоссе, садики еще все в будущем, — но, право, недурно отдохнуть вот именно в такой даче, особенно у кого есть маленькие дети. Там и сям светлыми пятнами выделялись платья молоденьких дачниц. Такие

[1] Здесь — на свежем воздухе *(франц.)*.

же платья гуляли мимо дач, и Пепко уже несколько раз толкнул меня локтем, отмечая этим движением смазливые личики. Попались две-три совсем хорошеньких.

— Что же, жить еще можно, — говорил Пепко, закручивая ус. — Заметил блондинку в барежевом платье? Ничего, невредная девица...

Мысль о женщинах теперь неотступно преследовала Пепку, являясь его больным местом. Мне начинало не нравиться это исключительное направление Пепкиных помыслов, и я не поддерживал его восторгов.

Мы сделали самый подробный обзор всего Парголова и имели случай видеть целый ряд сцен дачной жизни. В нескольких местах винтили, на одной даче слышались звуки рояля и доносился певший женский голос, на самом краю составилась партия в рюхи, причем играли гимназисты, два интендантских чиновника и дьякон. У Пепки чесались руки принять участие в последнем невинном удовольствии, но он не решился быть навязчивым.

— Что же, отлично, — говорил Пепко. — А главное, все так просто: барышня распевает чувствительные романсы, папахен винтит, мутерхен пьет чай, а дьякон играет в рюхи.

Движимые любопытством, мы даже зашли в мелочную лавочку и купили папирос. Пепко познакомился с лавочником и узнал, что поет дочь какого-то немца-аптекаря.

— Ну, я немок не люблю, ваше степенство, хотя и среди них попадаются аппетитные шмандкухены...

Когда мы возвращались домой, Пепко сделал неприятное открытие.

— Отлично было бы теперь чайку напиться, братику, только вот самовара у нас с тобой нет... Да и вообще, где мы будем утолять голод и жажду?

Вопрос был тем серьезнее, что раньше мы о нем как-то не подумали. Все наше хозяйство заключалось в гитаре.

— Постой, эврика... — думал вслух Пепко. — Видел давеча вывеску: ресторан «Роза»? Очевидно, сама судьба позаботилась о нас... Идем. Я жажду...

Ресторан «Роза» занимал место в самом центре. При ресторане был недурной садик с отдельными деревянными будочками. Даже был бильярд и порядочная общая зала с эстрадой. Вообще полное трактирное великолепие, подкрашенное дачной обстановкой. В садике пахло акациями и распускавшимися сиренями.

— Бутылку пива!.. — командовал Пепко тоном трактирного завсегдатая.

«Человек» молча сделал налево кругом и, взмахнув салфеткой, удалился. Существование этого дачного ресторана навело меня на грустные размышления. Опять трактир и трактирная жизнь... Почему-то мне сделалось грустно. Зато Пепко торжествовал. Он чувствовал себя, как рыба в воде. Выпив бутылку пива, он впал в блаженное состояние.

— А право, не дурно, — говорил Пепко, — и садик, и фонарики, и акации...

Эти мысли вслух были прерваны появлением двух особ. Это были женщины на пути к подозрению. Они появились точно из-под земли. Подведенные глаза, увядшие лица, убогая роскошь нарядов говорили в их пользу. Пепко взглянул вопросительно на меня и издал «неопределенный звук», как говорится в излюбленных им женских романах.

— Що се таке? — спросил он почему-то на хохлацком жаргоне. — Во всяком случае это интересно...

Становилось уже темно, и сад осветился разноцветными фонариками. «Особы» продолжали гулять, не обращая на нас никакого внимания. Пепко прошел по аллее, чтобы встретиться с ними, — опять никакого внимания.

— Что они тут делают? Что они такое сами по себе, наконец?.. Меня этот женский вопрос интересует...

Мы отправились в залу и там встретили еще несколько таких же подозрительных дам, разгуливавших парочками. У одного столика сидел — вернее, лежал — какой-то подозрительный мужчина. Он уронил голову на стол и спал в самой неудобной позе.

— Ба! да ведь это Карлуша, Карл Иваныч Гамм, — изумился Пепко, разводя руками. — Вот так штука! А это — его хор, другими словами — олицетворение моих кормилиц букв: *а, о* и *е.*

Пепко без церемонии растолкал спавшего хормейстера, который с трудом поднял отяжелевшую голову и долго не мог прийти в себя.

— Румочку водки... — проговорил он, наконец.

— Что вы тут делаете, мейн герр?

— Доннер веттер, я ничего не делай... Доннер веттер, всего одна румочка водки, герр Поп.

— А зельтерской хотите, Карл Иваныч?

— Швамдрюбер... Я честный человек и не хочу зельтер.

Видимо, Карл Иваныч находился в последнем периоде жесточайшего запоя и ничего не мог понять, кроме своей «эйн румочки».

— Милейший немец этот Карл Иваныч, — объяснял Пепко, оставив в покое хормейстера. — Только ужасно пьет... И талантливый человек при этом. Хор принадлежит его жене, то есть даже не жене, а какому-то третьему подставному лицу. Черт их разберет... Кстати, я еще не слыхал, как исполняются на сцене мои сладкие звуки. Интересно во всяком случае... Одним словом, сюрприз. Вот тебе и дача и невинные забавы детства. Я могу про себя воскликнуть словами Карамзина: «Бедная Лиза, где твоя невинность»... Гм... да... вообще... Одним словом, свинство. Я это уже чувствую...

Проходившая мимо очень хорошенькая хористка подтвердила последнюю мысль Пепки своей очаровательной улыбкой.

— Друг, я погибаю... — трагически прошептал Пепко, порываясь идти за ней. — О ты, которая цветка весеннего свежей и которой черных глаз глубина превратила меня в чернила... «Гафиз убит, а что его сгубило? Дитя, свой черный глаз бы ты спросила»... Я теперь в положении священной римской империи, которая мало-помалу, не вдруг, постепенно, шаг за шагом падала, падала и, наконец, совсем разрушилась. О, моя юность, о, мое неопытное сердце...

К моему удивлению, Карл Иваныч не дольше как через час сидел за роялем и аккомпанировал своему хору. Прельстившая Пепку хористка оказалась недурной солисткой. Мы с Пепкой представляли собой «благородную публику». Показались в дверях залы две фуражки с красным околышем и скрылись. Очевидно, дачная публика стеснялась.

— Браво! — кричал Пепко, аплодируя хору. — Да, мы должны поощрять искусство... Человек, бутылку пива!

Последующие события нашего первого дачного дня были подернуты дымкой. За нашим столиком оказались и Карл Иваныч, и очаровательная солистка, и какой-то чахоточный бас.

— Меня зовут Мелюдэ, — рекомендовалась красавица.

Когда я проснулся на следующий день, на полу нашей дачи врастяжку спал Карл Иваныч Гамм. Пепко спал совсем одетый на лавке, подложив связку лекций вместо подушки. Меня охватило какое-то жуткое чувство: и стыдно, и гадко, и хотелось убежать от самого себя.

Через полчаса происходила такая трогательная сцена:

— Эй ты, погибшее, но милое создание! — будил Пепко гостя. — Вставай, немец...

— Доннер веттер... румочку...

Когда Карл Иваныч сел, Пепко подошел к нему, присел на корточки и проговорил:

— Послушай, Карлуша, ты — одна добрая, хорошая, немецкая свинья, а я — просто русская свинья. Вместе мы составляем свинство.

XVI

В течение какой-нибудь недели мы совершенно «определились», как дачники. Мы уже приспособились к новым условиям существования и сделались нераздельной, живой, органической частью дачного целого. Когда мы с Пепкой гуляли, дачные барышни смотрели

на нас с чувством собственности. «Наши тронулись», как говорил Пепко про других дачников. Благодаря некоторым вольностям дачного существования мы знали всю подноготную не только наших соседей, но и всех вообще: кто и где служит, сколько членов семьи, какой порядок жизни, даже какие добродетели и недостатки. Пепко завел послужной список дачных девиц и выставлял им баллы в поведении.

— Интересно, что из этого выйдет к осени, — соображал он, делая в уме какие-то таинственные математические комбинации. — Аптекарской дочери я уже поставил четыре в поведении, потому что она на вокзале делала глазки тятенькину провизору... Не полагается это одной доброй дочери... Вот не знаю, как быть с одной жидовочкой... Общая мерка не годится, потому что нужно принять во внимание темперамент, расу и термометр Реомюра. Я заметил, что главное влияние на нее оказывает именно температура: при двенадцати градусах тепла она скромна, при пятнадцати градусах являются признаки смутного девичьего беспокойства, при восемнадцати она сама смотрит на мужчин. Интересно, что с ней будет при температуре в тридцать градусов? Я сильно опасаюсь, что она в июле бросится на шею первому чухонцу... Да, цифры безжалостны.

У нас быстро сформировались свои дачные привычки. Я, например, любил вставать очень рано и отправлялся гулять. Это был интересный момент. Все дачи еще спали. Исключение представляла дачная детвора, которую в это время кормили и поили мамки, бонны и няньки. Молодое дачное поколение пользовалось в эти часы неограниченной свободой действия и костюмов. Мамаши еще спали, а малые дети не превращались еще в жертвы нарядных детских костюмчиков. Эта трагическая метаморфоза происходила только часам к двенадцати, когда маленькие мученики и мученицы показывались во всеоружии белых передников, летних платьиц и дальнейших подробностей, каковые не полагалось пачкать, мять и рвать.

А как хорошо было ранним утром в парке, где так и обдавало застоявшимся смолистым ароматом и ночной свежестью. Обыкновенно, я по целым часам

бродил по аллеям совершенно один и на свободе обдумывал свой бесконечный роман. Я не мог не удивляться, что дачники самое лучшее время дня просыпали самым бессовестным образом. Только раз я встретил Карла Иваныча, который наслаждался природой в одиночестве, как и я. Он находился в периоде выздоровления и поэтому выглядел философски-уныло.

— Как поживаете, Карл Иваныч?

— О благодарим к вам: очень карошо. А где герр Поп? Бессовестельник, просыпывает лючшую дню...

Я возвращался домой только к чаю, который устраивала мне старуха, мать Алексея. Мы пользовались хозяйским самоваром на условии «сколько положите». Пепко спал в сенях и просыпался только к десяти часам, поэтому мне приходилось наслаждаться одному. Я открывал окно и делался свидетелем все одной и той же сцены. Напротив нас была большая дача, населенная многочисленным семейством. В этот час утра, пока еще все спали, родоначальница немецкого гнезда, очень почтенная и красивая старуха, выходила на улицу и садилась на скамью. Она делала это методически, с немецкой аккуратностью, и целые часы оставалась неподвижной, как статуя, наблюдая закипавшую дачную жизнь. По шоссе катились чухонские таратайки, мимо дач сновали булочники, разносчики, медленно проезжал от дачи к даче мясник, летели на всех парах в мелочную лавочку развязные дачные горничные и кухарки. Одним словом, дачная жизнь закипала. Вероятно, старухе немке был прописан свежий воздух, и она дышала самым добросовестным образом определенное количество времени, как было предписано. Это скромное занятие обыкновенно нарушалось появлением дачного мужика Васьки. Он вывертывался откуда-то из-за угла, выходил на шоссе, оглядывался и начинал монолог приблизительно в такой форме:

— Дачники... ххе!.. А наплевать, вот тебе и дачники!.. Выйдет какая-нибудь немецкая кикимора, оденет на себя банты да фанты и сидит идолом... тьфу!.. Вот взял бы да своими руками удавил... Сидела бы в городе, а туда же, на дачи тащится!

Васька принимал угрожающе-свирепый вид. Вероятно, с похмелья у него трещала башка. Нужно было куда-нибудь поместить накипевшую пьяную злость, и Васька начинал травить немецкую бабушку. Отставив одну ногу вперед, Васька визгливым голосом неожиданно выкрикивал самое неприличное ругательство, от которого у бедной немки встряхивались все бантики на безукоризненно белом чепце.

— Дачники... Да я вас всех распатроню! Зачем сюда наехали? Какие-такие особенные дела?..

Опять ругательство, и опять ленты немецкого чепца возмущаются. Ваську бесит то, что немка продолжает сидеть, не то что русская барыня, которая сейчас бы убежала и даже дверь за собой затворила бы на крючок. Ваське остается только выдерживать характер, и он начинает ругаться залпами, не обращаясь ни к кому, а так, в пространство, как лает пес. Крахмальный чепчик в такт этих залпов вздрагивает, как осиновый лист, и Ваську это еще больше злит.

Я два раза делал попытку прекратить это безобразие, но добился как раз обратных результатов. Васька только ждал реплики и обрушил все негодование на меня.

— Вот я ужо доберусь до вас, скубенты... Произведу в лучшем виде. Вот как расчешу... да.

Нашим спасителем являлся городовой, который выходил на свой пост к восьми часам. Завидев верного стража отечества, Васька удирал куда-то за угол и уже из-под прикрытия посылал по нашему адресу несколько заключительных проклятий. Городовой делал вид, что гонится за ним, и наступал желанный мир. Один раз, впрочем, Васька попался, как кур во щи. Ему пришла дикая фантазия забраться на крышу своей избушки и оттуда громить дачников. Городовой воспользовался этим обстоятельством и устроил форменную осаду при помощи старосты и четырех мужиков.

— Слезай-ка, Вася, будет тебе баловать, — уговаривал городовой.

— А ты кто есть таков человек? — ревел Васька с крыши. — Да я из тебя лучины нащеплю... Ну-ка, полезай сюда, обалдуй!..

— В самом деле, Васька, слезай... — усовещивал староста, хмурый и важный мужик. — Будет тебе фигуры-то показывать, а то ведь мы и того...

— В карц поведете? — сомневался Васька. — Посидите-ка сами в карцу... Покорно благодарю.

— Будет тебе, шалая голова. Сказано — слезай...

Начались формальные переговоры, причем Васька выговорил себе свободное отступление. Но только он слез с крыши, как неприятель нарушил все условия, — и староста и городовой точно впились в Ваську и нещадно поволокли в карц.

— Это-таки не модель!.. — орал Васька, упираясь. — По какому-такому закону живого человека по шее?

Подвиги Васьки вообще нарушали весь мирный строй дачной жизни. Они достигли апогея, когда «закурил» его таинственный жилец, какой-то Иван Павлыч. Раз ночью они вдвоем напугали всю улицу. Мы уже ложились с Пепкой спать, когда послышалось похоронное пение.

— Кто-то из дачников умер, — сделал предположение Пепко.

Но дачник умер бы у себя на даче, а пение доносилось с улицы. Мы оделись и попали к месту действия одними из первых. Прямо на шоссе, в пыли, лежал Васька, скрестив по-покойницки руки на груди. Над ним стоял какой-то среднего роста господин в военном мундире и хриплым басом читал:

— О бла-женн-ном ус-пе-нии веч-ный по-кой пода-а-аждь, господи... Вновь преставленному рабу твоему Василию... И сотвори ему ве-е-ечную па-амять!..

— Господин, так невозможно, — уговаривал городовой, — Иван Павлыч, невозможно-с... Помилуйте, этакое, можно сказать, безобразие. Васька, вставай... Вот я тебя, кудлатого, как начну обихаживать. Иван Павлыч, голубчик, терпленья нет.

— Па-азвольте... — азартно отвечал Иван Павлыч, наступая на городового. — А ежели он, Васька, хочет принять христианскую кончину? Невозможно?

— Иван Павлыч, то есть никак невозможно... Васька, вставай!

Произошла целая история. Сбежались дачники и приняли участие. Кто-то уговорил Ивана Павлыча уйти в ресторан, а Васька попал в руки городового. Он защищался отчаянно, пока не обессилел.

— Н-на, получай... — хрипел Васька, отдавая свою особу в руки правосудия. — Только не подавись, смотри.

— Ты у меня разговаривать, идол?

— А ты зачем по скуле?.. Разве это порядок? Да я тебя...

За вычетом этих маленьких неудобств, как озорничество дачного мужика Васьки, дачная жизнь катилась тихо и мирно. Удобства для наблюдения этой жизни были на каждом шагу, и я любил бродить около дач, особенно в дальних уголках, как деревушки Кабаловка и Заманиловка. Там были такие милые дачки, прятавшиеся в лесу. И, должно быть, там жилось хорошо. По крайней мере мне так казалось... Я часто встречал импровизированные кавалькады, возвращение с веселых пикников, просто прогулки и втайне завидовал этим счастливым людям, особенно сравнивая свое собственное положение. Оставшаяся в Петербурге «академия» и наши знакомые швеи здесь заменились пьяницей-немцем и хористками, — обмен не особенно выгодный. Меня начинала мучить какая-то смутная жажда жизни, и я презирал обстановку и людей, среди которых приходилось вращаться. В самом деле, что это за жизнь и что за люди — стыдно сказать. А время проходит, те лучшие годы, о которых говорит поэт. От природы я был всегда склонен к мечтательности, а здесь для этих упражнений материал представлялся кругом. Я ставил себя в разные геройские положения, создавал целые сцены и романы и даже удивлялся своей собственной находчивости, остроумию и непобедимости. Природная скромность и застенчивость сменялись противоположными качествами. О, я хотел жить за всех, чтобы все испытать и все перечувствовать. Ведь так мало одной своей жизни, да и та проходит черт знает как. Очень незавид-

ное существование бедняка-студента, заброшенного среди чужих людей. Можно было, конечно, познакомиться с приличным обществом, но тут являлось неразрешимое препятствие: не было подходящего костюма, а появиться где-нибудь в зверином образе — смешно. Оставалось продолжать роль «оригинала», которая делалась тяжелой именно теперь, когда просто хотелось жить, как жили все другие, не оригиналы.

Иногда на меня находило какое-то глухое отчаяние. Ведь вся жизнь так пройдет, меж пальцев, все только будешь собираться жить и думать, что настоящее гнусное положение только пока, так, а завтра начнется уже суть жизни. Я знал, как много людей изживают всю жизнь с этой дешевенькой философией и получают счастливые завтра только там, после смерти. Ведь так страшно жить, наконец, да и не стоит. За этим унылым настроением наступала реакция, и я говорил себе: «Нет, постойте, я еще буду жить и добьюсь своего... Все вы, которые сейчас наслаждаетесь жизнью в полную меру, будете мне завидовать... Да... да, и еще раз да!» Основанием для таких гордых мыслей служил мой роман: вот напишу, и тогда вы узнаете, какой есть человек Василий Попов... Средство было самое верное, а остальное — вопрос времени. Мое мечтательное настроение переходило почти в галлюцинации, до того я видел живо себя тем другим человеком, которого так упорно не хотели замечать другие. Наша дачная лачуга и общий склад существования заставляли думать об иной жизни.

Кстати, Пепко начал пропадать в «Розе» и часто возвращался под хмельком в обществе Карла Иваныча. Немец отличался голубиной незлобивостью и никому не мешал. У него была удивительная черта: музыку он писал по утрам, именно с похмелья, точно хотел в мире звуков получать просветление и очищение. Стихи Пепки аранжировались иногда очень удачно, и немец говорил с гордостью, ударяя себя кулаком в грудь:

— О, это большой человек писал... Настоящий большой!.. А маленький человек — пьяница...

Раз Пепко вернулся из «Розы» мрачнее ночи и улегся спать с жестикуляцией самоубийцы. Я, по обыкновению, не расспрашивал его, в чем дело, потому что утром он сам все расскажет. Действительно, на другой день за утренним чаем он раскрыл свою душу, продолжая оставаться самоубийцей.

— Поздравляю: к нам переезжают Верочка и Наденька...

— Куда к нам?

— А сюда, в Парголово... Ты, конечно, будешь рад, потому что ухаживал за этой индюшкой Наденькой. А, черт...

— Где ты их встретил?

— Да в «Розе»... Сижу с немцем за столиком, пью пиво, и вдруг вваливается этот старый дурак, который жужжал тогда мухой, а под ручку с ним Верочка и Наденька. Одним словом, семейная радость... «Ах, какой сюрприз, Агафон Павлыч! Как мы рады вас видеть... А вы совсем бессовестный человек: даже не пришли проститься перед отъездом». Тьфу!..

— Я не понимаю, чем они тебе мешают? — удивлялся я, хотя и понимал истинную причину его недовольства: он боялся, что появится в pendant [1] девица Любовь.

— А, черт... — ругался Пепко. — Ведь пришла же фантазия этим дуракам нанять дачу именно в Парголове, точно не стало других мест. Уж именно чертовы куклы!.. Тьфу!..

Пепко волновался целый день и с горя напился жесточайшим образом. Его скромное исчезновение из Петербурга уже не было тайной...

XVII

Я продолжал мечтать, пополняя недочеты и прорехи действительности игрой воображения. Мое настроение принимало болезненный характер, граничивший с помешательством. Мысль о последнем

[1] Здесь — в дополнение *(франц.)*.

приходила мне не раз, и, чтобы проверить себя, я сообщал свои мечты Пепке. Нужно отдать полную справедливость моему другу, который обладал одной из величайших добродетелей, именно — уменьем слушать.

— Так жить нельзя, Пепко, как мы живем... Это — жалкое прозябание, нищета, несчастье. Возьмем хоть твой «женский вопрос»... Ты так легко к нему относишься, а между тем здесь похоронена целая трагедия. В известном возрасте мужчина испытывает мучительную потребность в любви и реализует ее в подавляющем большинстве случаев самым неудачным образом. Взять, например, хоть тебя...

— Ну, меня-то можно оставить в покое.

— Нет, просто как пример. Ведь ты любишь женщин?

— О!..

— А между тем это только иллюзия. Разбери свое поведение и свои отношения к женщинам. Ты размениваешься на мелкую монету и удовлетворяешься более или менее печальными суррогатами, включительно до Мелюдэ.

— Я — погибший развратник!

— И этого нет, потому что и в пороках есть своя обязательная хронология. Я не хочу сказать, что именно я лучше — все одинаковы. Но ведь это страшно, когда человек сознательно толкает себя в пропасть... И чистота чувства, и нетронутость сил, и весь духовный ансамбль — куда это все уходит? Нельзя безнаказанно подвергать природу такому насилию.

— Интересно, продолжай. Из тебя вышел бы недурной проповедник для старых дев...

— Нет, я не имею намерения заниматься твоим исправлением, а говорю вообще и главным образом о себе. Ты обратил внимание на дачу напротив, где живут немцы?

— Эге, тихоня... Вот оно куда дело пошло! Там есть некоторая белокурая Гретхен или Маргарита. Ну что же, желаю успеха, ибо не завистлив...

— Я недавно встретил эту девушку на вокзале и со стороны полюбовался ею. Какая она вся чистенькая, именно чистенькая, — это сказывается в каждом движении, в каждом взгляде. Она чистенькой ложится спать, чистенькой встает и чистенькой проводит целый день.

— Прибавь к этому, что она выйдет замуж за самого прозаического Карла Иваныча, который будет курить дешевые сигары, дуть пиво и наплодит целую дюжину новых Гретхен и Карлов. Я вообще не люблю немок, потому что они по натуре — кухарки... Твой выбор неудачен.

— А между тем ты ошибаешься, и жестоко ошибаешься... Я с ней познакомился и могу тебя разуверить.

— Ты? Познакомился? Однако ты того, вообще порядочный плут...

— Совершенно случайно познакомился...

— То-то тебя благочестие начало заедать... Понимаю!..

— Нет, ты слушай... Я раз гулял вечером. Навстречу идет стадо коров. Она шла передо мной и страшно перепугалась. Конечно, я воспользовался случаем и предложил ей руку. Она так мило стеснялась, но страх сделал свое дело...

— Мне это нравится: коровы в качестве доброго гения. Для начала недурно...

— Не перебивай, пожалуйста... Она шла гулять, и мы отправились вместе. Она быстро привыкла ко мне и очень мило болтала все время. Представь себе, что она давно уже наблюдает нас и составила представление о русском студенте, как о чем-то ужасном. Она знает о наших путешествиях в «Розу», знает, что пьяный Карл Иваныч спит у нас, знает, что мы большие неряхи и вообще что не умеем жить.

— Позволь, ей-то какое дело до нас?..

— Дачное право... Потом она говорила, что ей нас бывает жаль. Как это было мило высказано...

— Воображаю!..

Пепко даже озлился и фукнул носом, как старый кот, на которого брызнули холодной водой.

— Потом она рассказывала о себе, как училась в пансионе, как получила конфирмацию, как занимается теперь чтением немецких классиков, немножко музыкой (Пепко сморщил нос), любит цветы, немножко поет (Пепко закрыл рот, чтобы не расхохотаться, — поющая немка, это превосходно!), учит братишек, ухаживает за бабушкой... Одним словом, это целый мир, и весь ее день занят с утра до ночи. Представь себе, она очень развитая девушка и, главное, такая умненькая... Как раз навстречу попался нам ее дядя; он служит где-то инспектором. Она еще раз мило смутилась, а немецкий дядя посмотрел на меня довольно подозрительно.

— Я его как-то видел — самая отвратительная морда.

— Нет, не морда... Напротив, самый добродушный немец, хотя немного и поврежденный мыслью о всесокрушающем величии Германии. Он меня пригласил к себе, и я... я был у них уже два раза. Очень милое семейство... Мы уговорились как-нибудь в воскресенье отправиться в Юкки.

— Partie de plaisir [1] с бутербродами? Очень мило... Что же ты молчал до сих пор?

— Вольно же тебе пропадать в «Розе»...

— Воображаю, как ты меня аттестовал... Ведь это закон природы, что истинные друзья выстраивают свою репутацию самым скромным образом на очернении своих истинных друзей — единственный верный путь. Да, превосходно... После поездки в Юкки твоя Гретхен примет православие, а ты будешь целовать руку у этой старой фрау с бантами... Что же, все в порядке вещей. Жаль только одного, что ты плох по части немецкого языка. Впрочем, это отличный предлог — она будет давать тебе уроки, старая фрау будет вязать чулок, а ты будешь пожимать маленькие немецкие ручки под столом...

— Ты угадал: я уже беру уроки... Какая она милая, эта Гретхен, если бы ты знал. И какая веселая... Смеется, как русалка...

---

[1] — Увеселительная прогулка *(франц.)*.

— Русалка из картофеля?

Дальше я признался, что действительно увлекся этой немочкой, и представил целый ряд доказательств, что брак есть лотерея и что самые безошибочные впечатления — те, которые получаются первыми, а следовательно...

— Поздравляю! — ядовито заявил Пепко. — Значит, Исаия ликуй...

— В том-то и дело, что есть одно препятствие... гм... да... У Гретхен есть мать, больная женщина...

— У которой тридцать лет болят зубы?

— Нет, какой-то ревматизм... Да, и представь себе, эта мать возненавидела меня с первого раза. Прихожу третьего дня на урок, у Гретхен заплаканные глаза... Что-то такое вообще случилось. Когда бабушка вывернулась из комнаты, она мне откровенно рассказала все и даже просила извинения за родительскую несправедливость. Гм... Знаешь, эта мутерхен принесла мне большую пользу, и Гретхен так горячо жала мне руку на прощанье.

— Ага!.. Одобряю вполне эту немецкую одну добрую мать, которой мешают только ревматизмы выгнать тебя в три шеи. А что же папахен?

— Отец какой-то странный человек, ни во что не вступается и держится дома гостем... Кажется, дядя имеет больше влияния. Я подозреваю, что тут кроется некоторый конфликт, — именно, что бедный немчик женился на богатой немочке и теперь несет добровольное иго.

— Дурак немецкий, говоря проще.

— Право же, он очень милый человек, хотя и со странностями.

Свой рассказ я закончил мечтами о будущем, напирая главным образом на то, что устойчивая немецкая кровь в следующем поколении исправит неровности и всполохи русской. Студенчество я брошу, а буду заниматься сотрудничеством в газетах, поступлю на службу куда-нибудь в контору и т. д. У нас будет маленькая своя квартира, цветы на окнах, рояль, и Пепко будет приходить пить чай. Все это я рассказывал с таким убеждением, что Пепко мне поверил на

добрую половину. Такой опыт меня поощрял к дальнейшим фантазиям. Через неделю я рассказал Пепке, что благодаря проискам немецкой матери мой роман кончился и что в довершение всего явился какой-то двоюродный брат — студент из дерптских буршей. Я ревновал, мучился и решился покончить все разом. Бог с ними, с немцами...

— А! испугался, что немецкий бурш тебе зеркало души наковыряет? — злорадствовал Пепко, воспользовавшись случаем.

— Нет, не совсем так... Бурш глуп до святости, а дело в том... как это тебе сказать?... У них бывает одна знакомая русская девушка. Знаешь, дачка во Втором Парголове с качелями? Да, так я познакомился с ней и только по сравнении оценил все достоинства нашей собственной славянской женщины. Одним словом, я, на поверку оказалось, совсем не любил Гретхен, а только обманывал самого себя. Что может быть лучше русской девушки? Какая жизненная сила, какая дорогая простота! Недаром сказал какой-то француз, что будущее цивилизации висит на губах славянской женщины.

Действительно, такая русская девушка существовала, действительно жила во Втором Парголове на даче с качелями и действительно произвела на меня сильное впечатление. Случилось последнее утром часов в одиннадцать, когда я с своими мечтами возвращался из длинной прогулки по парку. Я шел задумавшись. Заставил меня остановиться и поднять голову чей-то звонкий смех. Как раз это была дача с качелями, а на качелях сидела *она* в белом летнем платье, перехваченном красной широкой лентой вместо пояса. Ей на вид было не больше шестнадцати лет, но она выглядела сформировавшейся девушкой. И какое лицо — красивое, свежее, полное жизни. Серые большие глаза смотрели с такой милой серьезностью, на спине трепалась целая волна слегка вившихся русых шелковистых волос, концы красной ленты развевались по воздуху, широкополая соломенная шляпа валялась на песке... Мне показалось, что незнакомка смотрит прямо мне в сердце, и я весь застыл в одной позе.

Девушка сидела на качели, ухватившись руками за веревки, причем можно было видеть эти чудные руки до самого плеча. Было еще действующее лицо, горбун, который за длинную веревку раскачивал хохотавшую шалунью. Мое появление точно погасило смех. Горбун оглянулся в мою сторону и, как мне показалось, посмотрел на меня такими злыми глазами, точно по меньшей мере хотел меня проглотить живьем. Я смутился, даже покраснел и пошел своей дорогой, унося в душе чудное виденье. Эту живую картину я потом реализовал в своих мистификациях Пепке, а по утрам нарочно проходил мимо дачи с качелями, чтобы хотя издали полюбоваться чудной девушкой в белом платье. По справкам оказалось, что она дочь какого-то инженера и живет с отцом, а горбун — дальний родственник. Как я завидовал этому горбуну, который осмеливался смотреть на нее, говорить с ней, дышать одним воздухом с ней!

В моих рассказах теперь приняли самое деятельное и живое участие отец инженер, безумно любивший свою красавицу дочь, и по-сказочному злой горбун, оберегавший это живое сокровище. Отец не отличался большим характером и баловал свою красавицу. Девушка в белом платье была и капризна, и эгоистка, и пустовата, как все избалованные дети. Она не понимала отца и не могла ему платить той же монетой; и он это чувствовал, мучился и не мог переделать самого себя. Впереди девушку в белом платье ожидала незавидная участь. Я слишком поторопился, предупреждая события и давая каждый день по новой главе, — Пепко догадался, но сделал вид, что верит, как раньше, и охотно присоединился к моим фантазиям, развивая основную тему. Ему больше всего нравилась психология горбуна, как проверка нормального среднего человека.

— А знаешь что, братику, — проговорил Пепко однажды, когда мы импровизировали свою «историю девушки в белом платье», — ведь это и есть то, что называется психологией творчества. Да, да... Именно уметь сосредоточить свое внимание так, чтобы получались живые люди, которых можно видеть, с кото-

рыми можно разговаривать, как с живыми людьми. Но вопрос в том, *как* сосредоточить внимание именно таким образом? Путь один: *неудовлетворенное чувство*... да. Ты представь себе голодного человека, сильно голодного — ведь все мысли и чувства у него сосредоточены на еде, и он лучше всякого завзятого гастронома представляет целую съедобную оперу. Он видит эти кушанья, ощущает их запах, вообще создает... Вот где тайна всякого творчества. А так как любовь составляет центральный пункт в нашей жизни, то естественно, что только отсюда должно проистекать все остальное. Желание желаний, так называет Шопенгауэр любовь, заставляет поэта писать стихи, музыканта создавать гармонические звуковые комбинации, живописца писать картину, певца петь, — все идет от этого желания желаний и все к нему же возвращается. Возьми литературу, которая существует несколько столетий, и везде и все основано именно на этом, и так же будет, когда и нас с тобой не будет. Одним словом, я бы издал закон, чтобы поэтам, беллетристам и вообще художникам показывать красивых женщин только издали, и тогда наступил бы золотой век искусства.

— Но ведь это жестоко по меньшей мере.

— Нисколько, потому что все эти господа художники жили бы удесятеренной жизнью в своих произведениях. Да, да... Это верно.

XVIII

Белые ночи... Что может быть лучше петербургской белой ночи? Зачем я лишен дара писать стихи, а то я непременно описал бы эти ночи в звучных рифмах. Пепко пишет стихи, но у него нет «чувства природы». Несчастный предпочитает простое газовое освещение и уверяет, что только лунатики могут восхищаться белыми ночами.

— Прежде всего, луна — предрассудок, — уверяет он серьезным образом.

— Тогда все небо нужно считать предрассудком?

— И все небо предрассудок, вернее — блестящая ложь. Достаточно сказать, что свет от ближайшей к земле звезды доходит до нас только через восемь тысяч лет, а от дальних звезд через сотни тысяч... Значит, я вижу не настоящее небо, а только его призрак. А луну я прямо ненавижу, как самую лукавую планетишку, которая и светит-то краденым светом. Поэтому, вероятно, и большинство краж совершается именно ночью... Вообще ночь располагает к гнусным поступкам, и луна может служить эмблемой воровства. Вот солнце — это вполне порядочное светило, которое светит своим собственным светом, и я уважаю его, как порядочного человека. Когда ты будешь делать описания небесного свода, рекомендую тебе одно сравнение, которое, кажется, еще не встречалось в изящной литературе: небо — это голубая шелковая ткань, усыпанная серебряными пятачками, гривенниками, пятиалтынными и двугривенными.

— Можно даже сказать: крейцерами и франками?

— Отчего же не сказать и так... В таких сравнениях самое главное — приятная неожиданность, чтобы у читателя защекотало в носу. Ты даже можешь вперед уплатить мне за вышеприведенное блестящее сравнение... Например, бытулка пива в «Розе»? Это меня поощрит к дальнейшим сравнениям.

Пепко был неисправим, и спорить с ним было бесполезно.

А мне так нравились эти чудные белые ночи. От них веяло какой-то сказочно-меланхолической красотой... В воздухе точно взвешена серебристая пыль. Все краски выцветали и покрывались серебристым налетом, как будто весь земной шар опустили в гальванопластическую ванну и высеребрили. Впрочем, это дрожавшее и переливавшееся живое серебро, заставлявшее чувствовать притаившиеся под ним краски, принимало выцветшие гобеленовские тона и нежность акварели. Я сравнил бы день с картиной, написанной грубыми масляными красками, а ночь — с той же картиной, повторенной акварелью. Кажется, это сравнение принадлежит мне, и я не обязан поощрять

Пепку новой бутылкой пива. Да, хороши белые ночи... Они нагоняли на меня и тоску, и жажду жизни, и то неопределенно-хорошее настроение, которое может передать только музыкальный аккорд. Я не мог спать в такую ночь и бродил мимо дач, где тоже не спали, любуясь красотою чудного освещения. Мне было приятно сознание, что есть еще другие лунатики и что они смутно переживают то же самое, что носил я в себе.

Как это иногда случается в жизни, самые тонкие ощущения и самые изящные эмоции помещались рядом с грубыми проявлениями человеческой натуры. Достаточно сказать, что прямо от наслаждений белой ночью я попадал в кабак, то есть в ресторан «Розу», где Пепко культивировался довольно прочно. Общество арфисток, пьяного тапера, интенданта Летучего и К°, — одним словом, проза в самой обидной форме. Пепко обладал удивительной способностью необыкновенно быстро ассимилироваться везде и сделался в «Розе» своим человеком. Арфистки советовались с ним, поверяли какие-то тайны; Пепко дошел до того, что даже лечил одну из этих несчастных созданий.

— Как тебе не стыдно! — укорял я легкомысленного друга. — Ведь это шарлатанство...

— Во-первых, я не виноват, что Мелюдэ такая хорошенькая, а во-вторых, мое шарлатанство отличается от докторского только тем, что я не беру за него гонорара...

Мелюдэ — кличка хорошенькой пациентки по хору. Это было очень изящное и миленькое создание, почти красавица, в стиле немецкой Гретхен. Из живой рамы белокурых волос глядело такое изящное, тонкое личико, с красиво очерченным носиком, детски-свежим ротиком, с какой-то особенной грацией каждой линии и голубыми детскими глазами. Ей было всего восемнадцать лет, но эти детские глаза уже смотрели мертвым взглядом, отражая в себе бессонные пьяные ночи, бродяжничество в качестве арфистки по кабакам и вообще улицу. Оставалась одна внешняя оболочка красивой и свежей девушки, прикрывавшая собой полное нравственное падение. Я испытывал каждый раз

какое-то жуткое чувство, когда Мелюдэ протягивала мне свою изящную тонкую ручку и смотрела прямо в лицо немигающими наивно открытыми глазами, — получалось такое же ощущение, какое испытываешь, здороваясь с теми больными, которые еще двигаются на ногах, имеют здоровый вид и про которых знаешь, что они бесповоротно приговорены к смерти. Пепко, кажется, был другого мнения и вел какие-то таинственные и длинные беседы с этим падшим ангелом. Раз я сделался невольным свидетелем одного трагического финала. Пепко тоном проповедника приглашал Мелюдэ бросить трактирную жизнь и сделаться порядочной женщиной.

— Ведь стоит только захотеть, — повторял он, делая ударение на последнем слове.

Она посмотрела на него своими детскими глазами и расхохоталась прямо в лицо. Пепко ужасно сконфузился и почувствовал себя мальчишкой, а красивое чудовище продолжало хохотать.

— Ты забыл только одно, Пепко: все вы, мужчины, подлецы... — говорила Мелюдэ, задыхаясь от хохота.— Особенно мне нравятся вот такие проповедники, как ты. Ведь хорошие слова так дешево стоят...

Пепко со всем хором был на «ты».

Когда мы возвращались на свою дачу, Пепко встряхивал головой, как собака, проглотившая муху, что-то мычал и, наконец, проговорил:

— А ведь она права...

— Кто?

— Мелюдэ... Физиологи делают такой опыт: вырезают у голубя одну половину мозга, и голубь начинает кружиться в одну сторону, пока не подохнет. И Мелюдэ тоже кружится... А затем она очень хорошо сказала относительно подлецов: ведь в каждом из нас притаился неисправимый подлец, которого мы так тщательно скрываем всю нашу жизнь, — вернее, вся наша жизнь заключается в этом скромном занятии. Из вежливости я говорю только о мужчинах... Впрочем, я, кажется, впадаю в философию, а в большом количестве это скучно.

Проживая в своей избушке самым мирным образом, мы и не предчувствовали, что стоим накануне событий, выражаясь газетным стилем. Я уже сказал, что наши знакомые, сестры Глазковы, тоже переселились на лето в наше Третье Парголово. У них была нанята такая же дача, как у нас, то есть простая деревенская изба. Разница была в величине и в том, что женские руки сумели убрать ее и прикрасить благодаря дешевеньким дачным обоям, драпировкам из дешевого ситца и цветам. Мы встречались с ними, но прежнее знакомство как-то плохо вязалось. Главным препятствием являлась здесь невидимо присутствовавшая тень девицы Любочки, о которой Пепко не желал вспоминать. Он не без основания предполагал, что Наденька или Верочка где-нибудь случайно ее встретят и, конечно, не преминут открыть его убежище. Девицы тоже относились к Пепко немного подозрительно и не упускали случая сделать более или менее ядовитый намек по адресу Любочки. Одним словом, получалось то, что называется натянутыми отношениями.

Как-то уже вошло в обычай, что даже капитальные события начинаются с пустяков и мелочей. В данном случае началом события послужила приклеенная к гостеприимным дверям «Розы» простая белая бумажка, на которой было начертано: «Сего 17 июня имеет быть дан инструментально-вокально-музыкально-танцевальный семейный вечер с плату 20 к. на персона. А дитя пускают весма даром». Очевидно, это безграмотное объявление было составлено пьяным тапером, оказавшимся единственным грамотным человеком во всем хоре. Это невинно-безграмотное объявление сделало то, что в первое же воскресенье в «Розе» появились сестры Глазковы в сопровождении жужжавшего мухой толстяка. Пепко питал слабость к хореографии и танцевал с барышнями до ожесточения. На объявление пришли еще кое-какие дачники, и дешевенькое веселье оформилось. Набралось человек двадцать. Вообще время провели недурно, и только под конец вечера Пепко едва не подрался с каким-то служащим на финляндской железной дороге. Собственно, это было лингви-

стическое недоразумение: Пепко не говорил по-шведски, а чухонец не желал понимать по-русски. Стороны хотели разрешить это взаимное непонимание при помощи венских стульев и пустых бутылок из-под пива, и, вероятно, произошло бы настоящее побоище, если бы в дело не вмешалась Мелюдэ, из-за которой, собственно, и вышла вся история. Она отлично знала трактирную психологию и потушила бурю одним движением: схватила два стакана пива и подала врагам, — каждый из них имел полное основание думать, что пиво от чистого сердца подано именно ему, а другому только для отвода глаз. По крайней мере Пепко давал впоследствии такое толкование в свою пользу.

— Я вообще не понимаю, за что меня так любят женщины, — хвастался он. — А чухонец-то в каких дураках остался...

Между прочим, Пепко страдал особого рода манией мужского величия и был убежден, что все женщины безнадежно влюблены в него. Иногда это проявлялось в таких явных формах, что он из скромности утаивал имена. Я плохо верил в эти бескровные победы, но успех был несомненный. Мелюдэ в этом мартирологе являлась последней жертвой, хотя впоследствии интендант Летучий и уверял, что видел собственными глазами, как ранним утром из окна комнаты Мелюдэ выпрыгнул не кто другой, как глупый железнодорожный чухонец.

Эти невинные развлечения были неожиданно прерваны. Как теперь помню роковое воскресенье, когда мы с Пепкой отправились в «Розу» вечером. Оба находились в самом хорошем настроени, как и следует людям, приготовившимся повеселиться. Когда я у кассы брал входной билет, меня кто-то тронул за руку. Оглядываюсь — Наденька Глазкова, которая улыбалась с какой-то особенной таинственностью. Молчит и улыбается с вызывающим кокетством. Я инстинктивно обернулся и встретился лицом к лицу с высокой, удивительно красивой девушкой, которая тоже смотрела на меня чуть-чуть прищуренными глазами и чуть-чуть улыбалась.

— Извините... — пробормотал я ни к селу ни к городу.

— Шура, позволь тебе представить Василия Иваныча, — рекомендовала меня Наденька, продолжая улыбаться... — Он сочиняет большой роман... Да.

Лицо Шуры вдруг приняло серьезное выражение, и она почти торжественно протянула мне свою руку. Я еще больше смутился и готов был наговорить Наденьке дерзостей, потому что она своей рекомендацией ставила меня в самое нелепое положение. Но вместо дерзостей я проговорил каким-то не своим голосом:

— Позвольте быть вашим кавалером.

Она просто и серьезно подала мне руку, и я торжественно ввел в залу своих дам. Вся эта немногосложная и ничтожная по содержанию сцена произошла на расстоянии каких-нибудь двух минут, но мне показалось, что это была сама вечность, что я уже не я, что все люди превратились в каких-то жалких букашек, что общая зала «Розы» ужасная мерзость, что со мной под руку идет все прошедшее, настоящее и будущее, что пол под ногами немного колеблется, что пахнет какими-то удивительными духами, что ножки Шуры отбивают пульс моего собственного сердца. Да, такие минуты не повторяются, как сама молодость. А Наденька Глазкова заглядывала мне в лицо и улыбалась. Я, должно быть, тоже улыбался и, должно быть, очень глупо улыбался... Но женщины умеют читать между строк, и Наденька отлично понимала, что делается у меня на душе. О, я готов был идти вот с этой незнакомкой Шурой под руку целую жизнь и чувствовал, как сердце замирает в груди от наплыва неизведанного чувства. Это была она, та первая любовь, которая приходит, как пожар, и не оставляет камня на камне. И теперь, через много лет, в воображении проносятся знакомые черты чудного девичьего лица, и какая-то запоздалая тоска охватывает уставшее сердце. Да, это было чудное лицо, серьезное и наивное, с большими серыми глазами, удивительным цветом кожи, с строгими линиями, с выражением какой-то детской доверчивости. Темные волнистые

волосы были собраны в одну косу, а на лбу зачесаны гладко, без противных кудряшек. Одета была первая любовь в черное шелковое платье и черную накидку; черная шляпа, черные перчатки и черный зонтик дополняли этот костюм не по сезону. Именно черный цвет всего больше шел к ней, и она была так хороша, что не нуждалась в сезонных костюмах. Высокий рост придавал ей вид королевы, которая только что сошла с престола и милостиво вмешалась в толпу обыкновенных людишек.

— Меня зовут Александра Васильевна, — говорила она, усаживаясь к нашему столику.

XIX

Весь вечер пронесся в каком-то тумане. Я не помню, о чем шел разговор, что я сам говорил, — я даже не заметил, что Пепко куда-то исчез, и был очень удивлен, когда лакей подошел и сказал, что он меня вызывает в буфет. Пепко имел жалкий и таинственный вид. Он стоял у буфета с рюмкой водки в руках.

— Что такое случилось, Пепко?

— Очень приятная история... Сейчас еду в Петербург и задушу эту гадину Федосью.

Пепко был бледен, губы дрожали, и мне показалось, что он сошел с ума. При чем этот трагический тон, рюмка водки, удушение Федосьи? Машинально выпив рюмку и позабыв закусить, Пепко отвел меня в сторону и прошептал:

— *Она* здесь... понимаешь? Захожу давеча в сад, чтобы увидеть Мелюдэ, а там на скамеечке сидит *она*.

— Да кто *она?*

— Ах, какой ты... ну, она, Любочка. Сейчас меня за рукав, слезы, упреки, — одним словом, полный репертуар. И вот все время мучила... Это ее проклятая Федосья подвела, то есть сказала мой адрес. Я с ней рассчитаюсь...

— Да ведь Любочка могла достать наш адрес и помимо Федосьи?

— Нет, уж я это знаю... оставь. Теперь одно спасенье — бежать. Все великие люди в подобных случаях так делали... Только дело в том, что и для трагедии нужны деньги, а у меня, кроме нескольких крейцеров и кредита в буфете, ничего нет.

Я с своей стороны мог бы прибавить, что и для любви тоже нужны деньги, но трагедия пересилила, и половина моих крейцеров перешла к Пепке. Он как-то особенно конфузливо взял деньги и проговорил:

— Я знаю, что ты будешь меня презирать... Я сам презираю себя. Да... Прощай. Если *она* придет к нам на дачу, скажи, что я утонул. Во всяком случае, я совсем не гожусь на амплуа белошвейного предмета... Ты только вникни: предмет... тьфу!

Признаться сказать, я совершенно безучастно отнесся к трагическому положению приятеля и мысленно соображал, хватит ли моих крейцеров, в случае, если Александра Васильевна захочет поужинать. Никогда еще я так не презирал свою бедность... Каких-нибудь десять рублей могли меня сделать счастливым, потому что нельзя же было угощать богиню пивом и бутербродами.

— Прощай, Вася!

— Прощай, Пепко!

Я сейчас же забыл о Пепкиной трагедии и вспомнил о ней только в антракте, когда гулял под руку с Александрой Васильевной в трактирном садике. Любочка сидела на скамейке и ждала... Я узнал ее, но по малодушию сделал вид, что не узнаю, и прошел мимо. Это было бесцельно-глупо, и потом мне было совестно. Бедная девушка, вероятно, страдала, ожидая возвращения коварного «предмета». Александра Васильевна крепко опиралась на мою руку и в коротких словах рассказала свою биографию.

— Мама живет на Песках... Она получает небольшую пенсию. Раньше я работала на магазин... Когда будете в Петербурге, непременно заверните к нам. Слышите: непременно...

Эта просьба походила на то, если бы начали упрашивать землю вращаться около своей оси, и я великодушно обещал быть на Песках непременно. Потом мне

удалось сказать что-то остроумное, и Александра Васильевна тихо засмеялась. Она удивительно хорошо смеялась и делалась еще красивее. Этот смех меня ободрил, и я уже начинал придумывать смешное, а девушка опять смеялась, смеялась больше потому, что стояла такая дивная белая ночь, что ей, девушке, было всего восемнадцать лет, что кавалер делал героические усилия быть остроумным, что вообще при таких обстоятельствах ничего не остается, как только смеяться.

Вечер промелькнул с какой-то сумасшедшей быстротой. Был один трагический момент, когда я предложил Александре Васильевне поужинать в одной из садовых беседок, — я даже теперь, через двадцать лет, не могу себе представить, чем бы я мог заплатить за эту безумную роскошь. Но ведь моя богиня хотела есть, и я заметил, что она с жадностью посмотрела на соседний столик, где были поданы цыплята. Меня выручила Наденька Глазкова.

— Нет, мы не будем ужинать в ресторане, — заявила она с решительным видом, — и подадут грязно, и масло прогорклое... Вообще здесь не стоит ужинать, и мы это устроим лучше у нас дома. Не правда ли, Шура?

Ответом был голодный взгляд, обращенный на соседнего цыпленка. Бедная богиня очень хотела кушать... А я готов был расцеловать мою спасительницу Наденьку. Вообще это была замечательно милая девушка, которая в течение целого вечера упорно жертвовала собой, — больше того, она старалась оставаться незаметной, на что решатся очень немногие женщины. Я питал к ней благодарное чувство, которое было испорчено только одним эпизодом. Ресторан закрывался, и нам следовало уходить. Я вспомнил про несчастную Любочку, скитавшуюся скорбной тенью в саду, и сообщил об этом Наденьке.

— Я ее видела... — равнодушно ответила девушка.

— Видели? Вы с ней здоровались?

— Нет...

Меня больше всего поразил самый тон, которым Наденька говорила. А, вероятно, Любочка страшно

наскучалась и хочет тоже есть... Отчего бы ее не пригласить поужинать вместе с нами?

Наденька ответила на мой немой вопрос одной фразой:

— Она может уехать с последним поездом... Я вообще не понимаю, зачем она притащилась сюда и зачем прячется в саду. Вообще глупо...

Это была специально женская жестокость, которая в то время меня очень удивляла, а в данном случае как-то уже совсем не вязалась с проявленными в течение вечера Наденькой благородными качествами души и сердца.

Половина разноцветных фонариков в саду погасла сама, другую половину гасил сторож. В зале было уже совсем темно. Меня охватило какое-то жуткое чувство, точно что оборвалось в груди.

— Я имею дурную привычку крепко опираться на руку своего кавалера, — объяснила Александра Васильевна, когда мы выходили из «Розы».

— О, пожалуйста...

Наденька опять впала в самопожертвенное настроение, отказалась от моей другой руки и быстро пошла вперед одна, оставив нас tête-à-tête [1]. Впрочем, этот невинный маневр имел и свое специальное значение — именно, девушка, вероятно, хотела предупредить относительно ужина свою одну добрую мать без слов. Когда я остался один с Александрой Васильевной, первое чувство, которое неожиданно охватило меня, был страх, страх за собственное ничтожество, осмелившееся служить опорой совершенству. В довершение всего меня совершенно оставило остроумное настроение, и я решительно не мог ничего придумать, чем занять даму. Впрочем, она шагала такой усталой походкой, что не спасло бы никакое остроумие. Мы дошли до места почти молча, и Александра Васильевна только из вежливости удерживала голодную зевоту. Эта маленькая неудача служила только введением к следующей: одна добрая мать без слов встретила нас так сурово, что мысль о домашнем ужине могла пока-

[1] наедине *(франц.)*.

заться чуть не святотатством. По лицу Наденьки я заметил, что у нее только что вышло бурное объяснение с матерью, и она даже готова заплакать. Я удивился, где эта милая девушка взяла силы сказать мне:

— Вы, конечно, Василий Иваныч, останетесь поужинать с нами...

Милая Наденька жертвовала собой еще раз, и можно себе представить ее положение, если бы я взял да и остался. Но я этого, конечно, не сделал и начал прощаться. Наденька понимала, как мне больно уходить в свою нору, и с особой выразительностью пожала мне руку.

— Приходите завтра! — крикнула она мне вслед.— Я Шуру не отпущу...

Это было наградой за мою проницательность, — женщины ничего так не ценят, как это понимание без слов.

Я возвращался домой в каком-то чаду, напрасно стараясь связать в одно целое впечатления этого рокового вечера. Прежде всего, я ужасно досадовал на свою ненаходчивость при возвращении из «Розы». А между тем как мне много хотелось сказать Шуре, мучительно хотелось. И все какие хорошие вещи... О, только она одна в целом мире могла понять меня, а я шел рядом с ней болван-болваном! Зато теперь — какие остроумные диалоги я вел с ней, как был красноречив, находчив и как непринужденно предъявлял ее вниманию сокровища своего ума. Было просто жаль, что Александра Васильевна лишена возможности видеть меня во всем блеске. Наверно, она составила себе не особенно лестное понятие о моей особе и даже, может быть, считает меня просто болваном... Но есть завтра — слышите, Шура? — есть солнце, которое взойдет завтра с специальной целью показать вам вашего покорного слугу совершенно в ином свете. Да, вы будете приятно изумлены, Шура, потому что еще никогда не встречали такого удивительного молодого человека. Завтра, завтра, завтра...

Мне хотелось петь, хотелось думать стихами, хотелось разбудить все Третье Парголово и сказать всем,

что Шура красавица и что она завтра останется на весь день.

— Шура, Шура... — повторял я вслух, точно в этом имени скрыто было какое-то заклинание.

Странно, что первое, что обратило на себя мое внимание при возвращении в свою избушку, были... сапоги. Да, те высокие студенческие сапоги, в которых я обыкновенно ходил. Мне показалось, что они, эти сапоги, являлись оскорблением изящных прюнелевых ботинок, черных лайковых перчаток, черного зонтика, черной шляпы и особенно черного шелкового платья. Ведь это было нахальством, что такие нелепые сапожищи осмелились шагать рядом с прюнелевыми крошечными ботинками. А завтра... Позвольте, Пепко уехал в моих штиблетах, и я целый день должен буду оставаться «оригиналом». Свои штиблеты Пепко отдал в починку, надел мои и уехал... Что же это будет? Полцарства за самые скромные штиблеты... И как мне это давеча в голову не пришло, когда Пепко собрался удрать? Ах, изверг естества... Эта маленькая подробность привела меня в отчаяние и нагнала целый рой каких-то уже совсем бессвязных мыслей. Например, припоминая разговор с Александрой Васильевной в саду, я точно открыл трещину в том, что еще час назад было и естественно, и понятно, и просто — именно: одна добрая мать, получающая *маленькую* пенсию, адрес *Пески,* работа *на магазин,* и тут же шелковое платье, зонтик, перчатки и т. д. Мне вдруг захотелось вернуться на дачу Глазковых, вызвать Наденьку и спросить ее, что это значит. Да, узнать все сейчас же, разъяснить... Я весь задрожал при той мысли, что на мой вопрос Наденька только пожмет плечами и улыбнется, как улыбнулась давеча. Нет, это ужасно, это бесчеловечно, это... этому нет названия. Смертный приговор рядом с этим является милой шуткой...

Потом я сразу успокоился. Доказательство нелепости предыдущих сомнений было под рукой: стоило только закрыть глаза и представить себе это дивное лицо... Разве этот чистый взгляд осмелится омрачить хотя одна нечистая мысль? Она — совершенство, а все

остальное пустяки. По естественной ассоциации идей я логически перешел к собственной особе. Во-первых, красив я или «немного лучше черта», как большинство мужчин? Как-то раньше я мало обращал внимания на свою наружность, а теперь испытывал мучительную потребность быть именно красивым, красивым только для того, чтобы иметь право думать о ней. Кажется, у меня выразительные глаза, правильный нос, хороший для мужчины рост, небольшие руки; но ведь это еще очень немного, больше, чем немного. У нас с Пепкой даже не было зеркала, и я не мог сейчас же проверить свои физические достоинства. Впрочем, для мужчины наружность — вещь не первой важности, и ее можно с успехом заменить громким именем, успехом, известностью; женщины летят на эти пустяки, как мотыльки на огонь. Да, я буду знаменит, черт возьми, и не для себя, а для нее... Она будет гордиться тем, что первая открыла во мне будущую знаменитость, когда остальной мир оставался еще в возмутительном неведении. Нет, вы все меня признаете, будете завидовать, а я буду думать о ней, жить для нее, дышать ею...

Одним словом, в моей голове несся какой-то ураган, и мысли летели вперед с страшной быстротой, как те английские скакуны, которые берут одно препятствие за другим с такой красивой энергией. В моей голове тоже происходила скачка на дорогой приз, какого еще не видал мир.

Эта внутренняя работа мысли и чувства делалась просто невыносимой благодаря тому, что не могла ничем проявиться во внешних формах. Бежавший позорно Пепко подвергался большой опасности выслушать целую исповедь первой любви... У меня явилось даже подозрение, что не бежал ли он вместе и от меня, заподозрив двойную опасность. Вообще я к нему относился сейчас враждебно. Не угодно ли: человек убежал ни раньше, ни после, как именно сегодня, — убежал человек, испытывавший мое терпение своими исповедями самым бессовестным образом. Нет, как хотите, а это нехорошо, бессовестно, подло... Одним словом, не по-товарищески.

Я десять раз укладывался спать, и из этого ничего не выходило. Сон бежал от моих глаз, как выражался Пепко высоким слогом. Вдобавок в нашей избушке ужасно душно... Этот низкий потолок просто давил меня. Измучившись окончательно, я поднялся с своей постели, подошел к окну и открыл его. Вдруг мне показалось... Нет, это, вероятно, была тень. После некоторого колебания я взглянул в окно и увидел... Нет, я не увидел, а почувствовал как-то всем телом, что это она, несчастная Любочка, которая сидела на скамейке у нашей калитки. Какая она маленькая в этой позе... Настоящий ребенок. И поза такая беспомощная, как у замерзающего человека. У меня явилось давешнее малодушное желание не заметить ее, но я преодолел себя и тихо спросил:

— Это вы, Любочка?..

Она вскочила, сделала движение убежать, но только закрыла лицо руками и бессильно опустилась на свою скамейку. О, какой ты мерзавец, Пепко!..

XX

Одеться было делом одной минуты. Я торопился точно на пожар, а Любочка и не думала уходить. Она сидела попрежнему на лавочке, в прежней убитой позе. Белая ночь придавала ее бледному лицу какой-то нехороший пепельный оттенок.

— Любочка, что вы тут делаете? — спрашивал я, выходя в калитку.

Она подняла на меня свои кроткие большие глаза с опухшими от слез веками. Меня охватила какая-то невыразимая жалость. Мне вдруг захотелось ее обнять, приласкать, наговорить тех слов, от которых делается тепло на душе. Помню, что больше всего меня подкупала в ней эта детская покорность и беззащитность.

— Любочка, вам холодно?

— Нет...

— Вы хотите есть?

— Нет...

— Вы устали?

— Нет... Если вам не трудно, дайте мне стакан воды.

Это была трогательная просьба. Только воды, и больше ничего. Она выпила залпом два стакана, и я чувствовал, как она дрожит. Да, нужно было предпринять что-то энергичное, решительное, что-то сделать, что-то сказать, а я думал о том, как давеча нехорошо поступил, сделав вид, что не узнал ее в саду. Кто знает, какие страшные мысли роятся в этой девичьей голове...

— Знаете что, Любочка, идите спать в нашу избушку, а я пойду гулять в парк. Мне все равно не спится, а до утра осталось немного... Потом мы поговорим серьезно.

Это предложение точно испугало ее. Любочка опять сделала такое движение, как человек, у которого единственное спасение в бегстве. Я понял, что это значило, и еще раз возненавидел Пепку: она не решалась переночевать в нашей избушке потому, что боялась возбудить ревнивые подозрения в моем друге. Мне сделалось обидно от такой постановки вопроса, точно я имел в виду воспользоваться ее беззащитным положением. «Она глупа до святости», — мелькнула у меня мысль в голове.

— Мне решительно ничего не нужно, — прошептала она в ответ на мои обидные мысли. — Ничего... Только, ради бога, не гоните меня.

— Послушайте, Любочка, ведь это сумасшествие! Да, настоящее сумасшествие... Ведь вы знаете, что Пепко уехал, вернее сказать — бежал?..

— Да, знаю...

— Зачем же вы остались в таком случае?

Она посмотрела на меня и совершенно серьезно ответила:

— Не знаю... Да мне и некуда идти... Я ничего не знаю.

— Послушайте, нужно же иметь хотя маленькое самолюбие: человек бегает от вас самым позорным образом, ведет себя, как... как... ну, как негодяй, если хотите знать.

— Что вы, что вы?! — испугалась еще раз Любочка, вскакивая. — Это я сама виновата... Да, сама, а Агафон Павлыч хороший.

— Хороший?.. ха-ха!

Меня начала душить бессильная злость. Что вы будете тут делать или говорить?.. У Любочки, очевидно, голова была не в порядке. А она смотрела на меня полными ненависти глазами и тяжело дышала. «Он хороший, хороший, хороший»... говорили эти покорные глаза и вся ее фигура.

Наступила неловкая и тяжелая пауза. Небо сделалось серым, — близился солнцевосход. Где-то в дачном садике чирикнула первая птичка. Белая ночь кончалась. Любочка опять впала в свое полузабытье. В сущности я только теперь хорошенько рассмотрел ее. Она была почти красива, вернее сказать — миловидна. Эти большие испуганные глаза смотрели с такой затаенной скорбью. Меня, между прочим, поразила одна особенность — современный женский костюм совсем не приспособлен для таких положений, в каком находилась сейчас Любочка. Шерстяная юбка была некрасиво смята, шляпа съехала набок, летняя накидка висела какой-то тряпкой, сложенный зонтик походил на сломанное крыло птицы; одним словом, все это не годилось для трагической обстановки, напоминая будничную дешевенькую суету.

— Нужно же что-нибудь делать, Любочка, — заговорил я, набираясь сил. — Так нельзя...

— Что нельзя?

— Да вот сидеть так...

— Идите спать... А я посижу здесь... Может быть, я вас компрометирую?

— А вы боитесь скомпрометировать себя, если пойдете и уснете в нашей избушке? Что может подумать о вашем поведении Пепко!.. Как это страшно...

— Вы его не любите...

— И даже очень не люблю...

Она закрыла лицо руками и зарыдала. Теперь уж я сделал движение в ожидании истерики.

— Я... я его так люблю... — шептала Любочка, не отнимая рук. — А вас ненавижу... Да, ненавижу, нена-

вижу, ненавижу!.. Вы его не любите и расстраиваете... Не от меня он убежал, а от вас.

— От меня?

— Да, вы, вы... Вы думаете, что я совсем дура и ничего не понимаю? Ха-ха!.. Вы нарочно увезли его и на дачу, чтобы спрятать от меня. Я все знаю... и ненавижу вас... всех...

Разговор принял совсем неожиданный оборот, и я немного растерялся в качестве опытного заговорщика и предателя.

— Вот что, Любочка... Идемте гулять?

— Не хочу... Я останусь здесь и дождусь его. Ведь когда-нибудь он вернется из города... Вот назло вам всем и буду сидеть.

Это, очевидно, был бред сумасшедшего. Я молча взял Любочку за руку и молча повел гулять. Она сначала отчаянно сопротивлялась, бранила меня, а потом вдруг стихла и покорилась. В сущности она от усталости едва держалась на ногах, и я боялся, что она повалится, как сноп. Положение не из красивых, и в душе я проклинал Пепку в тысячу первый раз. Да, прекрасная логика: *он* во всем обвинял Федосью, *она* во всем обвиняла меня, — мне оставалось только пожать руку Федосье, как товарищу по человеческой несправедливости.

— Куда вы меня тащите? — взмолилась Любочка, изнемогая.

— Не знаю... Войдите и в мое положение: что я буду делать с вами? Оставить вас я не могу, как это делают некоторые... Утешать — бесполезно.

Мы прошли два раза все Третье Парголово и остановились, наконец, на пустой горке, мимо которой спускалась тропинка на вокзал. Нашлась спасительная скамейка, на которую мы могли присесть. Солнце уже поднималось, — солнце холодное, без лучей. Перед нашими глазами разлеглось чухонское болото, перерезанное Финляндской железной дорогой; налево в пыльной мгле едва брезжился Петербург. Моя дама сидела безмолвно, как тень. Глаза у нее слипались, но она продолжала бороться со сном. Был момент, когда ей хотелось расплакаться, — я это видел по дрожавшим

губам, — но дневной свет, видимо, действовал на нее отрезвляющим образом.

— Бедный, где-то *он* провел ночь... — думала она вслух.

— Да, бедный... Черт бы его побрал!..

Она посмотрела на меня и улыбнулась.

— Воображаю, как вы меня проклинаете в душе,— проговорила она, продолжая улыбаться. — Целую ночь нянчитесь... Я вас, кажется, бранила?

— Да... Вернее сказать, вы сами не знали, что говорили.

— Миленький, простите... Я так страдала, так измучилась... Идите, голубчик, спать, а я посижу здесь. С первым поездом уеду в Петербург... Кланяйтесь Агафону Павлычу и скажите, что он напрасно считает меня такой... такой нехорошей. Ведь только от дурных женщин бегают и скрываются...

На мой немой вопрос она сама ответила:

— Вы боитесь, что я опять приеду? Конечно, приеду, но на этот раз буду умнее и не буду лезть к нему на глаза... Хотя издали посмотреть... только посмотреть... Ведь я ничего не требую... Идите.

— Нет... Я все равно сегодня не буду спать.

— Почему?

— Я влюблен...

— Вы? Когда это случилось?

— Вчера, в восемь часов вечера...

— В Надю?

— Нет.

— Ах, да, эта высокая, с которой вы гуляли в саду. Она очень хорошенькая... Если бы я была такая, Агафон Павлыч не уехал бы в Петербург. Вы на ней женитесь? Да? Вы о ней думали все время? Как приятно думать о любимом человеке... Точно сам лучше делаешься... Как-то немножко и стыдно, и хорошо, и хочется плакать. Вчера я долго бродила мимо дач... Везде огоньки, все счастливы, у всех свой угол... Как им всем хорошо, а я должна была бродить одна, как собака, которую выгнали из кухни. И я все время думала...

— О чем?

— Ведь и мы могли бы так же жить на даче с Агафоном Павлычем... Я так бы ждала его каждый день, когда он вернется из города. Он приезжает со службы усталый, сердитый, а у меня все чисто, прибрано, обед вкусный... У нас была бы маленькая девочка, которую он обожает. Тихо, хорошо... Потом мы состарились бы, девочка уже замужем, и вдруг... Нет, это страшно! Мне представилось, что Агафон Павлыч умер раньше меня, и я хожу в трауре... Знаете, такая длинная-длинная вуаль из крепа... Переезжаю жить к дочери и все плачу, плачу... Каждый день хожу к нему на могилу, приношу цветов и опять плачу. Ведь никто не знает, какой он был хороший, добрый, как любил меня... Вы не смейтесь надо мной, Василий Иваныч. Если вы действительно любите ту девушку, так все поймете...

— Я не смеюсь.

— И вдруг ничего нет... и мне жаль себя, ту девочку, которой никогда не будет... За что? Мне самой хочется умереть... Может быть, тогда Агафон Павлыч пожалеет меня, хорошо пожалеет... А я уж ничего не буду понимать, не буду мучиться... Вы думали когда-нибудь о смерти?

— Нет, как-то не случалось.

— Значит, вы еще не любите. Если человек любит, он все понимает, решительно все, и обо всем думает... Я целые дни сижу и думаю и не боюсь смерти, потому что люблю Агафона Павлыча. Он хороший...

Мне опять сделалось жаль Любочку, в которой мучительно умирал целый мир и все будущее. Она была права: любовь делала ее почти умной, и она многое понимала так, как в нормальном состоянии никогда не понимала. Ее наивная философия навеяла на меня невольную грусть. В самом деле, от каких случайностей зависит иногда вся жизнь: не будь у нас соседа по комнатам «черкеса», мы никогда не познакомились бы с Любочкой, и сейчас эта Любочка не тосковала бы о «хорошем» Пепке. По аналогии я повторил про себя свою вчерашнюю встречу с Александрой Васильевной — тоже случайность и тоже... Дальше я старался ничего не думать, потому что мое солнце уже

поднялось и решительный день наступил. А она, наверное, спит молодым, крепким сном и давно забыла о моем существовании...

Мы просидели на горке до первого поезда, отходившего в Петербург в восемь часов утра. Любочка заметно успокоилась, — вернее, она до того устала, что не могла даже горевать. Я проводил ее на вокзал.

— Желаю вам счастья... много счастья! — шепнула она, выглядывая из окна вагона.

Домой я вернулся, пошатываясь от усталости. Представьте мое изумление, когда в сенях я увидел спавшего мертвым сном Пепку. Он и не думал уезжать в Петербург и, как я догадывался, весело проводил время в обществе Мелюдэ и пьяного Гамма, пока я отваживался с Любочкой. Зачем нужно было обманывать еще меня? Мне ужасно хотелось пнуть его ногой, обругать, приколотить... Меня больше всего возмущало то, что человек спал спокойно после всех тех гадостей, какие наделал в течение одного вечера, — спрятался от обманутой девушки, обманул лучшего друга... Воображаю, как Пепко хохотал и дурачился с Мелюдэ, пропивая взятые у меня крейцеры.

— Пепко!

Пепко не шевелился, но я видел, что он проснулся и притворяется спящим. Это была последняя ложь...

— Пепко, я тебя презираю...

Мне показалось, что, когда я отвернулся, Пепко сдержанно хихикнул. Это животное было способно на все...

Я заснул, не раздеваясь. Это был даже не сон, а какая-то тяжесть, раздавившая меня. Меня разбудил осторожный стук в окно, — в окне мелькал черный зонтик, точно о переплет рамы билась крылом черная птица.

— Как вам не стыдно! — слышался голос Наденьки. — Вставайте и догоняйте нас с Шурой. Мы идем в парк.

Из-за косяка дверей выглядывала измятая рожа Пепки и самым нахальным образом подмигивала мне по адресу черного зонтика.

— Мало-помалу, не вдруг, постепенно, шаг за шагом падала... падала священная римская империя и совсем развалилась... — бормотал он, ухмыляясь.

Я ответил ему молчаливым презрением.

XXI

Я так торопился, что даже забыл о штиблетах и вспомнил об этом обстоятельстве только на улице, догоняя девушек. Я несся точно на крыльях. Помню, что я догнал их как раз напротив той дачи с качелями, на которой мы с Пепкой разыгрывали наш «роман девушки в белом платье». Эта девушка как раз была налицо, — она тихо раскачивалась на своей качели с книгой в руках. Мне показалось, что она с каким-то укором подняла на меня свои чудные глаза, точно я изменял ей каждым своим шагом. Но разве могло быть какое-нибудь сравнение этого ребенка с настоящей женской красотой, живым олицетворением которой являлась она, Александра Васильевна. При дневном свете она показалась мне еще лучше. Как она грациозно шла, какой рост, какое выражение лица... «Она покоится стыдливо в красе торжественной своей», мелькнули у меня в голове стихи Пушкина, а бедная девушка в белом платье все бледнела и бледнела, пока не растаяла, как снегурочка.

— Вы остаетесь на целый день? — говорил я, здороваясь с своей дамой сердца.

— Надя этого хочет... — наивно ответила она и улыбнулась, посмотрев на подругу. — Я уеду вечером, с девятичасовым поездом.

Я чуть не вскрикнул: целый день счастья! Меня эта мысль точно испугала... Целый день — это побольше вечности. Мне почему-то припомнился вычитанный где-то Пепкой анекдот о Гете, скромно признавшемся перед смертью, что он был счастлив в жизни всего четверть часа. А я буду счастлив целый день, целую вечность... Самая обыкновенная прогулка по Шуваловскому парку для меня являлась мировым событием, перед которым бледнело все остальное. Это

было торжественное шествие царицы, для которой светило солнце, цветы лили свой аромат, благоговейно шептали деревья, а воздух окружал светлым облаком... Я мог только удивляться слепоте встречавшихся на дороге людей, которые упорно не хотели замечать проходившего мимо них совершенства. Несчастные, они ничего не понимали, а между тем все кричало: гряди, голубица!..

Мы долго гуляли по всему парку, и мне казалось, что он принадлежит мне, и я показываю его своей избраннице. Наденька продолжала свою вчерашнюю политику и разными способами устраняла себя, предоставляя нам полную свободу. Наденька любила рвать цветы, хотя это и было строго воспрещено аншлагами; Наденька любила дурачиться, как козочка, и пряталась за деревьями; Наденька уставала и садилась на каждую скамейку отдыхать... А я опять шел под руку с Александрой Васильевной, опять чувствовал, как она опирается на мою руку, опять что-то рассказывал, и опять она так хорошо и доверчиво улыбалась.

— Скажите, пожалуйста, как пишут романы?.. — спрашивала она. — Я люблю читать романы... Ведь этого нельзя придумать, и где-нибудь все это было. Я всегда хотела познакомиться с романистом.

Наденька поусердствовала, и я должен был фигурировать в качестве реализовавшегося романиста. Это была ложь, но в данный момент я так верил в себя, что маленькая хронологическая неточность ничего не значила, — пока я печатал только рассказики у Ивана Иваныча «на затычку», но скоро, очень скоро все узнают, какие капитальные вещи я представлю удивленному миру. Положим, я забегал немного вперед своей славе, но важно верить в себя, в свою миссию, в свои идеалы. Одним словом, я разыгрывал роль романиста самым бессовестным образом и между прочим сейчас же воспользовался разработанным совместно с Пепкой романом девушки в белом платье, поставив героиней Александру Васильевну и изменив начало. Я прямо взял нашу вчерашнюю встречу и к ней приделал роман нашей девушки в белом платье. На мою

долю выпадала выигрышная роль героя, преодолевающего очень серьезные препятствия. В сущности я делал самый бессовестный плагиат и нисколько не стеснялся. Мой герой, то есть я, высказывал Александре Васильевне все то, что я чувствовал и переживал сам. Кроме того, я не пощадил своего друга и для контраста провел параллель несчастного романа Любочки и кое-что кстати позаимствовал из беседы с ней. Под конец я сам удивлялся самому себе, то есть своей находчивости, — ведь это было целое и обстоятельное объяснение в любви, замаскированное романической фабулой.

— И вы все это написали? — наивно удивлялась Александра Васильевна, окончательно убеждаясь в моем призвании романиста.

— Да... то есть еще не кончил. Необходимо кое-что исправить, кое-что дополнить, вообще — докончить.

— Ах, как это интересно, Василий Иваныч...

— Когда выйдет моя книга, я преподнесу ее вам первой...

— Мне? О, я очень благодарна...

Видимо, она не догадывалась, в чем заключается суть моего будущего романа, и не узнавала себя в нарисованной мной героине. Конечно, она немножко наивна... да. Даже — как это выразиться повежливее? — почти глупа той красивой и милой глупостью, которую самые умные и самые строгие мужчины так охотно прощают хорошеньким женщинам. Увы! она никогда не получила романа девушки в белом платье, потому что он так и остался в отделе неосуществившихся добрых намерений, хотя в данном случае и сослужил мне хорошую службу. Неужели Пепко прав, уверяя, что наши лучшие намерения никогда не осуществляются и каждый автор должен умереть, не исполнив того, что он считает лучшей частью самого себя? Только золотая посредственность довольна собой, а настоящий автор вечно мучится роковым сознанием, что мог бы сделать лучше, да и нет такой вещи, лучше которой нельзя было бы представить. Всякая

форма — только жалкое приближение к авторскому замыслу...

Как это хорошо, когда чувствуешь, что *она* тебе верит и сам веришь себе... Именно так и было в данном случае. Александра Васильевна сама разболталась и так мило рассказывала мне разные мелочи из своей жизни.

— Вы только не смейтесь надо мной, — упрашивала она кокетливо.

— Почему вы думаете, что я буду смеяться над вами?

Она сделала серьезное лицо, посмотрела на меня и ответила с самой милой наивностью:

— Вы такой умный...

Мне оставалось только расписаться в собственной гениальности, что я сделал молчанием, хотя и смутился от собственного величия. Кажется, это уж немножко много, а главное — преждевременно. Впрочем, я так далеко зашел, что действительность совершенно тонула в целом мире вымыслов и галлюцинаций. Я уже был знаменит по той простой причине, что *она* шла рядом со мной и так доверчиво опиралась на мою руку. Ведь я ее вел к такому светлому будущему и вперед отдавал ей всю свою славу, всю жизнь. И вековые деревья соглашались со мной, и плывшие в небе облака, и бродившие между деревьями тени...

Наденьке, наконец, надоело разыгрывать роль доброго гения, и она заявила без церемоний:

— Господа, я хочу есть... Голодна до бессовестности.

— Что же, отлично... Мы позавтракаем в ресторанчике доброй лесной феи, она же и ундина, — согласился я. — Это отсюда в двух шагах...

У меня в кармане был всего один рубль, и я колебался, как устроиться с ним: предложить дамам катанье на лодке или «легкий» завтрак. Наденька разрешила мои сомнения.

Мы весело отправились к доброй лесной фее, и я вперед рисовал себе этот уютный лесной уголок, который послужит приютом нашей любви, — в моем воображении она уже любила меня, и я говорил «мы».

Я вперед любил этот приют и добрую лесную фею. Небольшая дачка совсем пряталась под столетними соснами.

— Вот и приют доброй лесной феи, — торжественно провозгласил я, вводя своих дам в палатку маленького садика.

Наденька уже раскрыла рот, чтобы рассмеяться, но взглянула на один из столиков, задрапированных акациями, и превратилась в немой вопрос. За столиком сидели Пепко и Любочка... Встреча была настолько неожиданна, что мы оба смутились и даже церемонно раскланялись, как дальние родственники. Любочка смотрела на меня торжествующими злыми глазами и улыбалась. Я ничего не понимал. Это был какой-то нелепый сон, и я с облаков упал прямо на землю. Пепко по присущей ему бессовестности подошел к Наденьке и попросил представить его «прелестной незнакомке», а я подошел к Любочке.

— Вы удивлены, да? — спрашивала она, подавая мне два пальца, и прибавила, сверкая глазами: — Ловко вы меня обманывали целую ночь, а я оказалась умнее вас. Доехала до Шувалова и сообразила все... Конечно, Агафон Павлыч должен быть дома, и вы меня все время водили за нос. Дождалась обратного поезда и вернулась... Ха-ха! Я видела, как вы погнались за своими дамами, и накрыла Агафона Павлыча. Он и не думал никуда уезжать... Я вам этого никогда, никогда не прощу!.. Вы бессовестный человек... Я даже не могла себе представить, что такие люди вообще могут быть. Вы — чудовище...

Мне ничего не оставалось, как только поднять плечи и сделать большие глаза. Я понял, что Пепко продал меня самым бессовестным образом и за мой счет вышел сух из воды.

— Вот и отлично, — повторял Пепко, потирая руки. — Мы тут позавтракаем совсем по-семейному...

Это бессовестное животное, кажется, рассчитывало на мой несчастный рубль, сохраняя за собой престиж любезного кавалера. Меня это окончательно возмутило. Вся прогулка была испорчена. В довершение всего Пепко смотрел на Александру Васильевну

такими глазами, что мне хотелось «дать ему на морда», как говорил Гамм. А Пепко ничего не хотел замечать и даже подмигнул мне: дескать, знаем, что знаем. Мои дамы были недовольны обществом Любочки, к которой отнеслись почти враждебно. Недавняя непринужденность исчезла разом, и скромный завтрак прошел совсем скучно. Торжествовала одна Любочка и сама первая взяла Пепку за руку, когда мы поднялись.

Эта встреча отравила мне остальную часть дня, потому что Пепко не хотел отставать от нас со своей дамой и довел свою дерзость до того, что забрался на дачу к Глазковым и выкупил свое вторжение какой-то лестью одной доброй матери без слов. Последняя вообще благоволила к нему и оказывала некоторые знаки внимания. А мне нельзя было даже переговорить с Александрой Васильевной наедине, чтоб досказать конец моего романа.

Да, вторая часть дня совершенно пропала для меня... Дорогие минуты летели, как птицы, а солнце не хотело останавливаться. Вечер наступал с ужасающей быстротой. Моя любовь уже покрывалась холодными тенями и тяжелым предчувствием близившейся темноты.

— Вы меня проводите на вокзал... — устало проговорила Александра Васильевна, когда вечерний чай кончился и кое-где на дачах замелькали огоньки. — Мне пора домой...

О, милая, как она была хороша, завоевывая себе несколько свободных минут. Наденька не пошла провожать, сославшись на головную боль. Она же задержала Любочку под каким-то предлогом... Мы отправились вдвоем. Я нарочно замедлял шаги, чтобы опоздать на поезд и выгадать лишний час. Мы медленно спускались с горы, болтая о каких-то пустяках, а я испытывал жуткое чувство, точно расставался с своей дамой навсегда. Бывают пророческие сны и роковые предчувствия... В то же время я чувствовал, что сегодняшний день имеет решающее значение и что он не вернется никогда, что совершилось что-то такое огромное и подавляющее и что я уже не могу вернуться к своему прошлому. А маленькие ножки все

шли вперед, к тому неизвестному будущему, которое должно было разлучить нас навсегда... Мне вдруг сделалось жаль себя, жаль за серенькое существование, за неизжитую молодость, за неудовлетворенный проблеск счастья. Ведь с ней уходила моя первая любовь, целый светлый мир, все будущее... Вот остается жить только маленькое расстояние, отделяющее нас от вокзала. Кто знает, что могло бы быть, если бы поезд опоздал, но поезда опаздывают совсем не тогда, когда это нужно. Он подошел к станции как раз в момент, когда подходили мы, так что я едва успел купить билет. Это уж второй раз сегодня я провожаю: там я рад был избавиться, а здесь готов был удержать поезд руками. У меня даже мелькнула мысль ехать провожать в город, но — увы! — в кармане оставался всего один пятачок.

— До свидания... — говорила Александра Васильевна, появляясь в окне вагона. — Не забудьте, я вас буду ждать. Непременно...

Она что-то хотела еще сказать, но поезд уже тронулся, и сказанная ею фраза улетела на воздух.

Я возвращался домой в самом мрачном настроении, как человек, который нашел сокровище и сейчас же его потерял. Я почему-то припомнил психологию творчества, которую развивал Пепко, и горько усмехнулся. Она уже начиналась.

XXII

— Пепко, ты большой негодяй.

— Гм... Пожалуй, я не буду спорить. Но негодяй создан негодяем и не виноват, что природа создала его именно негодяем, а нехорошо то, когда люди порядочные, то есть те, которые считают себя порядочными, знаются с негодяями. Скажи мне, кто твои друзья, и так далее.

— Это игра слов, а я говорю серьезно. Самое скверное то, что ты утратил всякий аппетит порядочности. Да... Ты еще можешь смеяться над собственными безобразиями, а это признак окончательного

падения. Глухой не слышит звуков, слепой не видит света, а ты не чувствуешь тех гадостей, которые проделываешь. Одним словом, ты должен жениться на Любочке...

Заключение было так неожиданно, что Пепко сел на своем девственном ложе, как он называл матрац, посмотрел на меня удивленными глазами и расхохотался. Ничто меня так не выводило из себя, как этот дурацкий хохот. Я ненавидел Пепку в эти моменты и не скупился на дерзости. Его поведение в последнее время возмущало меня до глубины души, а теперь в особенности, потому что я весь был полон самыми возвышенными чувствами. Александра Васильевна являлась для меня мерой всех вещей, и, обличая Пепку, я думал о ней. Я был уверен, что она сказала бы то же самое, что говорил сейчас я сам.

— Послушай, время пророков миновало, — отвечал Пепко, успокоившись от хохота. — Да... Например, явись Исаия или Иеремия и начни обличать прогрессирующую современность — им бы пришлось не сладко... Да и самое слово в наше время потеряло всякую цену, мы не верим словам, потому что берем их напрокат. Слово ветхого человека было полно крови, оно составляло его органическое продолжение, поэтому оно и имело громадное значение. Какой смысл твоего обличения? Ведь обличать имеет право только тот, кто сам не сделал ничего дурного, а ты сделаешь хуже, чем я. Если не сделал, то еще сделаешь. Вся разница между нами только в том, что я избалован женщинами... Разве я виноват?

— Женщинами? Ха-ха!.. Мелюдэ и Любочка...

— Гм... Совершенства на земле, к сожалению, нет, и опять-таки я в этом не виноват.

— Нет, уж извини: есть совершенство. Понимаешь: есть!..

Мой ответ был высказан с таким азартом, что Пепко посмотрел на меня испытующим оком, издал носовой свист и проговорил успокоенным тоном:

— По-ни-ма-ю.... Мы влюблены. Что же, священная римская империя тоже была разрушена...

— Молчи, несчастный!..

Эта глупая по своему существу сцена заставила меня задуматься. Мне казалось, что Пепко был прав относительно моей предполагаемой преступности. Я даже немного покраснел, когда он высказал свою мысль, точно он видел мои собственные сомнения. Дело было так. Проходя мимо дачи с качелями, я машинально засмотрелся на девушку в белом платье, — она была как-то особенно хороша в этот роковой момент, хороша, как весеннее утро, когда ликует один свет и нет ни одной тени. Мне показалось, что и она тоже смотрит на меня, и я почувствовал какую-то сладкую истому. Потом у меня мелькнула в голове страшная мысль: я изменял Александре Васильевне... Разве я имел право смотреть на других женщин? Продолжая мысль Пепки о моей непроявившейся преступности, я пришел в недоумение. А если бы эта девушка в белом платье полюбила меня? По-настоящему полюбила... Ведь я по своей испорченности могу думать об этом, следовательно, допускаю такую возможность. И мне не было бы неприятно... О, какое чудовище я вынашивал в собственной груди! Пепко по крайней мере действует откровенно, как откровенно лесной зверь рвет другого зверя. Он — человек минуты и растворяется без остатка в настоящем, как брошенная в стакан воды крупинка соли. Я начинал чувствовать себя погибшим человеком и чувствовал, что единственное спасение — это увидать Александру Васильевну, — один ее взгляд разогнал бы угнетавшие меня призраки.

Тут явилось непреодолимое препятствие, испортившее все. Ведь не мог же я явиться к ней в своих высоких сапогах... Сделав осмотр своего сборного репортерского костюма, я пришел к печальному заключению, что он удовлетворяет еще меньше, чем сапоги. Оставался компромисс, именно — добыть чужой костюм. Гардероб Пепки находился в положении излюбленной им разрушавшейся священной римской империи и заставлял желать многого. Студенты-товарищи разъехались по домам. Одним словом, скверно, как только может быть скверно. На меня напало отчаяние. В самом деле, судьба могла бы быть немного повежливее...

Я поверил свое горе Пепке, и он отнесся к нему с большим сочувствием, чем тронул меня.

— Нет, в этих сапожищах невозможно, — размышлял он, оглядывая меня. — Слава и женщины не любят, когда к ним подходят в скверных сапогах. Да... Это, так сказать, мировой вопрос. Я даже подозреваю, что и священная римская империя разрушилась главным образом потому, что римляне не додумались до сапог.

— Отвяжись ты с своей римской империей!

— А она, значит, приглашала тебя к себе? Гм... Для начала недурно. Пикантная штучка...

— Не смей так говорить...

— Если взять за бока академию... — вслух думал Пепко. — Гришук выше тебя ростом, Фрей толще, Порфирыч санкюлот... гм... Ничего не выйдет, как ни верти. Молодин куда-то пропал... Да и неловко с такими франтиками амикошонствовать... Знаешь что, Вася...

Пепко повертел пальцем около лба и проговорил с авторитетом старшины присяжных заседателей:

— Тебе ничего не остается, как только кончить твой роман. Получишь деньги и тогда даже мне можешь оказать протекцию по части костюма!.. Мысль!.. Единственный выход... Одна нужда искусством двигала от века и побуждала человека на бремя тяжкое труда, как сказал Вильям Шекспир.

Пепко вторично угадал мою мысль. Я уже думал об этом, хотя не с экономической точки зрения. У меня явилась потребность именно в такой работе, которая открывала необъятный простор фантазии. Вот единственный случай, когда можно излить на бумагу все свои чувства, все свои мысли и заставить других чувствовать и думать то же самое. Это будет замаскированная исповедь, то, чего нельзя создать никаким трудом, никакой добросовестностью. Мне припомнилась аллегорическая картина, изображавшая происхождение живописи. Южная лунная ночь. У стены стоит молодой человек и молодая девушка. Он углем вычерчивает на стене абрис ее головки. Ах, как это справедливо и верно... Ведь и я буду делать

то же, но только не в области живописи, которую Гейне называет плоской ложью, а создам чудный женский образ словом. Все остальное будет только фоном, подробностями, светотенью, а главное — она, которая выйдет в ореоле царицы.

— О, ты все это прочтешь и поймешь, какой человек тебя любит, — повторил я самому себе, принимаясь за работу с ожесточением. — Я буду достоин тебя...

Но этот порыв привел к целому ряду самых печальных открытий. Перечитав свои рукописи, я пришел к грустному заключению, что все написанное мной решительно никуда не годится, как плохая выдумка неопытного лгуна. Не было жизни, потому что не было знания жизни, и мои действующие лица походили на манекенов из папье-маше. Я только теперь понял, что придумывать жизнь нельзя, как нельзя довольствоваться фотографиями. За внешними абрисами, линиями и красками должны стоять живые люди, нужно их видеть именно живыми, чтобы писать. Это самый таинственный процесс в психологии творчества, еще более таинственный, чем зарождение какого-нибудь реально живого существа. В самом деле, какая страшная сила заложена в произведения, созданные две тысячи лет назад и вызывающие у нас слезы на глазах сейчас. Это такая неизмеримо-громадная задача, перед которой цепенел ум. Нужно было быть избранником, солью земли, чтобы набраться решимости приступить к такой задаче. И, представьте себе, то, что называется классической литературой, самые выдающиеся произведения были написаны за много лет раньше, чем явилась критика с своим аршином. При чем тут эта критика, и как она бедна... Я много читал и нигде не нашел того, что сейчас раскрывалось перед моими глазами. Нет, неправда: в исповеди Ж.-Ж. Руссо есть одно место, где он близко подходил к истине, объясняя процесс зарождения своих произведений. Кстати, я припомнил афоризм Любочки, что влюбленный человек понимает все, как я сейчас понимал все. Да, все... Это смело сказано и может вызвать снисходительную улыбку, но это правда, и я еще раз обращаюсь к сравнению: любовь — это молния, которая всполохом

выхватывает громадную картину жизни, и вы видите эту картину в мельчайших подробностях, ускользающих от внимания в обыкновенное время.

Бывают такие моменты, когда человек начинает проверять себя, спускаясь в душевную глубину. Ведь себя нельзя обмануть, и нет суровее суда, как тот, который человек производит молча над самим собой. Эта психологическая анатомия не оставляет камня на камне. В такие только минуты мы делаемся искренними вполне. Проверяя самого себя, я пришел к выводам и заключениям самого неутешительного характера и внутренно обличил себя. Прежде всего, недоставало высокой нравственной чистоты, той чистоты, которую можно сравнить только с чистотой драгоценного металла, гарантированного природой от опасности окисления. Эту чистоту заменяла условная порядочность и самая обыкновенная нравственная чистоплотность. На этом скромном основании не могло развиваться в полную величину ни одно чувство, и оно появлялось на свет уже тронутым и саморазлагающимся, как новый лист растения, который развертывается из почки с роковыми пятнами начинающегося гниения. Гнилостное заражение происходило еще в зародыше. Как видите, я нисколько не обманывал себя относительно собственной особы и меньше всего верил в так называемые молодые порывы. Эта беспощадная критика имела тот смысл, что таким душевным тоном среднего человека нельзя писать, потому что все исходит из таинственных глубин нашего чувства. Мой роман сейчас меня приводит в отчаяние, как величайшая нелепость, вылепленная с грехом пополам по чужому шаблону. Я в отчаянии швырнул свою рукопись в угол.

— Ты это что? — удивился Пепко, никогда не терявший присутствия духа и лишенный способности приходить в отчаяние. — Малодушие?.. Разочарование в собственной особе?

Я молчал и только смотрел на него злыми глазами. Эта самодовольная посредственность не могла ничего понять, так что слова были излишни. В Пепке я ненавидел сейчас самого себя.

— Мы желали быть великими... гм...— думал вслух Пепко, начиная шагать по конуре.— Желание по своему существу довольно скромное, как всякое стремление к совершенству, прогрессу и еще черт знает к чему-то зазвонистому, сногсшибательному. Хе-хе... Прежде чем человек что-нибудь сделал, он разрешает вопрос о своей правоспособности на таковое величие и геройство. Очень недурно и даже мило... Настоящий большой талант вне всякой условной меры, вернее — он сам мера самому себе. Все эти рамочки, шаблоны и трафареты существуют только для жалкой посредственности... Настоящий большой человек никогда не будет думать, есть у него талант или нет, как не думает об этом река, когда в весеннее половодье выступает из берегов, как не думает соловей, который поет свою любовь. Вышло одно, именно — это томящая потребность выложить свою душу, охватить мир, подняться вверх... Даже самая добродетель теряет здесь всякую цену, потому что она никому не нужна, а нужны творчество, вдохновенье, высокий порыв.

— Река, берущая начало из нечистого источника, не может быть чистой, то есть утолять жажду.

— Все это прописная мораль, батенька... Если уж на то пошло, то посмотри на меня: перед тобой стоит великий человек, который напишет «песни смерти». А ведь ты этого не замечал... Живешь вместе со мной и ничего не видишь... Я расплачусь за свои недостатки и пороки золотой монетой...

— Твое величие совершенно недоступно... невооруженному глазу.

— В тебе говорит зависть, мой друг, но ты еще можешь проторить себе путь к бессмертию, если впоследствии напишешь свои воспоминания о моей бурной юности. У всех великих людей были такие друзья, которые нагревали свои руки около огня их славы... Dixi [1]. Да, «песня смерти» — это вся философия жизни, потому что смерть — все, а жизнь — нуль.

---

[1] Я кончил *(лат.)*.

XXIII

Мое отчаяние продолжалось целую неделю, потом оно мне надоело, потом я окончательно махнул рукой на литературу. Не всякому быть писателем... Я старался не думать о писаной бумаге, хоть было и не легко расставаться с мыслью о грядущем величии. Началась опять будничная серенькая жизнь, походившая на дождливый день. Расспрощавшись навсегда с собственным величием, я обратился к настоящему, а это настоящее, в лице редактора Ивана Ивановича, говорило:

— Что вы пишете мелочи, молодой человек? Вы написали бы нам вещицу побольше... Да-с. Главное — название. Что там ни говори, а название — все... Французы это отлично, батенька, понимают: «Огненная женщина», «Руки, полные крови, роз и золота». Можно подпустить что-нибудь таинственное в названии, чтобы у читателя заперло дух от одной обложки...

Первый месяц своей дачной жизни мы с Пепкой как-то совсем порвали и с «академией» и с Петербургом. Но «необходимость жевать» напомнила нам о том и о другом. Буквы *а, е* и *о,* которые Пепко называл своими кормилицами, давали ничтожный заработок, репортерской работы летом не было, вообще приходилось серьезно подумать о том, что и как жевать. А тут еще Любочка, которая начала систематически донимать Пепку. Она являлась ровно через день, как на службу, и теперь уже не стеснялась моим присутствием, чтобы разыгрывать сцены ревности, истерики и даже обмороки. Пепко только скрипел зубами от подавленной ярости, но ничего не мог поделать. При появлении Любочки я обыкновенно уходил, коварно предоставляя друга его собственной судьбе. Возвращаясь, я заставал самую мирную картину: Пепко обладал секретом успокаивать Любочку. Мне казалось, что он пускал в ход тот же маневр, как хозяин моей первой квартиры. Он заговаривал Любочку пустыми словами. Она была счастлива, как поденка, и уезжала

домой с улыбкой на лице. Пепко провожал ее тоже с улыбкой, а когда поезд отходил, впадал в моментальную ярость и начинал ругаться даже по-чухонски.

— Она из меня все жилы вытянула... Что я буду делать? Отчего я не турецкий султан и не могу бросить ее в воду, зашив предварительно в мешок? Отчего я не могу ее заточить куда-нибудь в монастырь, как делалось в доброе старое время? Проклятие вам, все женщины, все, все... Я чувствую, что меня оставляют последние силы, и я могу только воскликнуть с милашкой Нероном: какой великий артист погибает!.. Проклятие... и еще раз проклятие... О, я знаю, что такое женщина: это живая ложь, это притворство, это мертвая петля, это отрава...

— Послушай, ты говоришь, как старинный византийский хронограф...

— Женщина — это воплощение всяческой неправды и греха. Она создана на нашу погибель, вот эта самая милая женщина... И ведь какими детскими средствами они нас пугают — смешно сказать. Любочка твердит одно: утоплюсь, отравлюсь, брошусь под поезд. Нарочно читает газеты, вырезывает из них подходящие случаи самоубийства и преподносит их мне в назидание. Как это тебе понравится? И ведь знаю, отлично знаю, что не отравится и не утопится, а все-таки как-то жутко... Черт ее знает, что ей взбредет в башку! Благодарю покорно... Оставит еще записку: «Умираю от несчастной любви к такому-то студенту». Все газеты перепечатают, потом носа никуда нельзя будет показать... О, женщины, проклятие вам! Недаром в Китае считается верхом неприличия спросить почтенного человека о его жене или дочерях...

— Послушай, Пепко, ведь это прекрасная тема...

— Тема? Тьфу... Знаешь, чем все кончится: я убегу в Америку и осную там секту ненавистников женщин. В члены будут приниматься только те, кто даст клятву не говорить ни слова с женщиной, не смотреть на женщину и не думать о женщине.

— Бедные женщины!.. А я все-таки воспользуюсь твоей темой и даже название придумал: «Роман Любочки».

— А, черт, все равно... Катай Ивану Иванычу. Только название нужно другое... Что-нибудь этакое, понимаешь, забористое: «На волосок от погибели», «Бури сердца», «Тигр в юбке». Иван Иваныч с руками оторвет...

— Да, но... гм... Как-то претит, Пепко...

— Э, вздор! Печатаясь у Ивана Иваныча, никто не мешает тебе сделаться Шекспиром... Это даже полезно, потому что расширяет горизонт. Необходимо пройти школу...

Пепко умел возвышаться до настоящего красноречия, как я уже говорил, но в данном случае его слова для меня были пустым звуком. Конечно, я писал кое-какие мелочи для Ивана Иваныча, но здесь шел вопрос о «большой вещице», а это уже совсем другое дело. У меня уже составился целый план настоящего романа во вкусе Ивана Иваныча, и оставалось только осуществить его. Но даже в замысле мне все это казалось жалким предательством, почти изменой, потому что все это было только сделкой и подлаживаньем. Писать для настоящего большого журнала и писать для Ивана Иваныча — вещи несоизмеримые, и я вперед чувствовал давление невидимой руки. С этой именно точки зрения забракованный мною собственный роман показался мне особенно милым. Да, он выдуман, он вместо живых лиц дает манекенов, он не художественное произведение вообще, но зато он писался вполне свободно, писался для избранной публики, писался вообще с тем подъемом духа, который только и делает автора. А от Ивана Иваныча веяло спертым воздухом мелочной лавочки и ремесленничеством, которое сводится на угождение публике. Тут не до идей и высоких помыслов... Я вперед предвидел, как от такой работы будет понижаться мой собственный душевный уровень, как я потеряю чуткость, язык, оригинальность и разменяюсь на мелочи. Вообще скверно. И это с самого начала, а что же будет потом?

Я опять перечитывал свой роман и начинал находить в нем некоторые достоинства, как описания природы, две-три удачных сцены, две-три характеристики. Есть авторы, которые выступают сразу в своем

настоящем амплуа, и есть другие авторы, которые поднимаются к этому амплуа точно по лесенке. Вдумываясь в свое сомнительное детище, я отнес себя к последнему разряду. Да, впереди предстоял целый ряд неудач, разочарований и ошибок, и только этим путем я мог достигнуть цели. Я нисколько не обманывал себя и видел вперед этот тернистый путь. Что же, у всякого своя дорога... Ведь музыкант, прежде чем перейти к композиторству, должен пройти громадную школу, художник тоже, и одна теория ни тому, ни другому не дает еще ничего, кроме знания. Автору приходится сразу выступать композитором, и в этом громадная разница. Конечно, и у автора есть свой подражательный период, который только постепенно сменяется тем *своим,* что одно только и делает автора. В этом *своем,* как бы оно мало ни было, заключается весь автор; разница только в степени. Есть свои рядовые, офицеры, генералы и даже фельдфебеля и унтер-офицеры.

Все эти мысли и чувства проходили у меня довольно бессвязно, путались, сбивали друг друга и производили тот хаос, в котором трудно разобраться. А нужно было жить, нужно было работать... Ждать было нечего. Скрепя сердце я принялся за работу для Ивана Иваныча. Помню, как мне было совестно писать: «Роман в трех частях». Название пока еще не выяснилось, вернее — было несколько названий. Я старался писать потихоньку от Пепки, когда он пропадал в «Розе» или отправлялся с Любочкой гулять в парк. Стоял уже июль. Погода была жаркая, и работа туго подвигалась вперед. Мне все казалось, что я пишу не то, что следует, и начинаю торговать собой. Это было мучительное сознание, которое отравляло всю работу. Предо мной неотступно стоял Иван Иваныч с своей жирной улыбочкой и поощрительно говорил: «Ничего, уйдет на затычку»... А за ним стояла громадная толпа, которая требовала закрученной темы, кровавых эпизодов, экстравагантной завязки. Я начинал ненавидеть и эту толпу и самого Ивана Иваныча, которые совместно давили меня. Ведь, кажется, можно было написать хорошую «вещицу» и для этой толпы, о которой

автор мог и не думать, но это только казалось, а в действительности получалось совсем не то: еще ни одно выдающееся произведение не появлялось на страницах изданий таких Иванов Иванычей, как причудливая орхидея не появится где-нибудь около забора. Всякому овощу свое место и свое время.

Раз я сидел и писал в особенно унылом настроении, как пловец, от которого бежит желанный берег все дальше и дальше. Мне опротивела моя работа, и я продолжал ее только из упрямства. Все равно нужно было кончать так или иначе. У меня в характере было именно упрямство, а не выдержка характера, как у Пепки. Отсюда проистекали неисчислимые последствия, о которых после.

Итак, я сидел за своей работой. В раскрытое окно так и дышало летним зноем. Пепко проводил эти часы в «Розе», где проходил курс бильярдной игры или гулял в тени акаций и черемух с Мелюдэ. Где-то сонно жужжала муха, где-то слышалась ленивая перебранка наших милых хозяев, в окно летела пыль с шоссе.

— О юноша, который пренебрег радостями земли и предался сладкому труду, — раздался в окне знакомый голос.

Поднимаю голову и вижу улыбающееся и подмигивающее лицо Порфира Порфирыча. Он был, по обыкновению, навеселе, причмокивал и топтался на месте. Из-за его спины заглядывали в мое окно лица остальных членов «академии». Они были все тут налицо, и даже сам Спирька с его красным носом.

— Господа, пожалуйте... — приглашал я, пряча свою рукопись.

Компания ввалилась в нашу хибарку и наполнила все пространство, так что нечем сделалось дышать.

— Ото дворюга... — хрипло басил Гришук, который чуть не доставал головой потолка. — А где Пепко, сучий сын? Уехал и адреса не оставил, а мы же сами нашли.

— Не в этом дело... — бормотал Селезнев. — Мы хотели подышать свежим воздухом, как это делают теперь все порядочные люди, и сделать вам сюрприз. Адрес-то я разыскал... Зашел к Федосье и разыскал.

Там еще познакомился с некоторой ученой девицей, которая тоже собирается к вам в гости. Говорит, что ее приглашал Пепко. А впрочем, не в этом дело...

Селезнев протянул сжатый кулак, и я понял, что у него есть деньги и что он опять предлагает мне братски разделить их.

— Что же мы будем здесь сидеть зря? — заговорил Спирька, вытирая свою рожу шелковым платком. — Мы ведь приехали подышать воздухом... Где у вас здесь воздух-то полагается?

Можно себе представить приятное изумление Пепки, когда вся «академия» ввалилась в садик «Розы». Он действительно гулял с Мелюдэ, которая при виде незнакомых мужчин вдруг почувствовала себя женщиной, взвизгнула и убежала.

— Это что? — спрашивал Спирька, провожая глазами убегавшую даму. — Ах, нехорошо, молодой человек, и даже весьма вредно... Ужо вот маменьке напишу, какую вы здесь тень наводите.

Дальнейшие события последовали в обычном порядке. Явился «человек» с салфеткой, явилась бутылка водки, бутерброды, солянка, ботвинья и т. д. Фрей был, по обыкновению, молчалив, молча пил рюмку за рюмкой и молча сосал свою трубочку. Спирька раскраснелся, хлопал всех по плечу и предлагал всем денег. Гришук впал в тяжелое настроение, которое им овладевало после десятой рюмки. Селезнев причмокивал, бормотал, подмигивал и все носился с своим кулаком, в котором оказалась зажатой «красная бумага», то есть десять рублей. Пепко был на высоте призвания и распоряжался в качестве тароватого хозяина. Все равно Спирька заплатит за всех. У меня так шумело в голове, и я был рад, что опять вижу «академию». Люди в сущности очень хорошие... Настоящее веселье началось с появлением Гамма, которого Пепко отрекомендовал как своего лучшего друга.

— Ну, немецкая фигура, показывай свой воздух... — заплетавшимся языком приставал к нему Спирька. — Тут была эта штучка... Ах, развей горе веревочкой!..

День промелькнул незаметно, а там загорелись разноцветные фонарики, и таинственная мгла покрыла «Розу». Гремел хор, пьяный Спирька плясал вприсядку с Мелюдэ, целовал Гамма и вообще развернулся по-купечески. Пьяный Гришук спал в саду. Бодрствовал один Фрей, попрежнему пил и попрежнему сосал свою трубочку. Была уже полночь, когда Спирька бросил на пол хору двадцать пять рублей, обругал ни за что Гамма и заявил, что хочет дышать воздухом.

— Жена спросит... где был? Ну, а я скажу... ежели я дышал...

«Роза» уже закрывалась, когда мы очутились на улице, то есть на шоссе. Подняли даже Гришука, который только мотал головой. Пепко повел компанию через Второе Парголово. Мы шли по шоссе одной гурьбой. Кто-то затянул песню, кто-то подхватил, и мирные обители огласились неистовым ревом. Впереди шел Селезнев, выкидывая какие-то артикулы, как тамбур-мажор. Помню, как мы поровнялись с дачей, где жила «девушка в белом платье». В мезонине распахнулось окно, в нем показалось испуганное девичье лицо и сейчас же скрылось...

«Роман девушки в белом платье» был кончен.

XXIV

Эту главу я мог бы назвать: «Пробуждение льва», как Пепко называл тот момент, когда просыпался утром.

— Мне кажется, что я только что родился, — уверял он, валяясь в постели. — Да... Ведь каждый день вечность, по крайней мере целый век. А когда я засыпаю, мне кажется, что я умираю. Каждое утро — это новое рождение, и только наше неисправимое легкомыслие скрывает от нас его великое значение и внутренний смысл. Я радуюсь, когда просыпаюсь, потому что чувствую каждой каплей крови, что живу и хочу жить... Ведь так немного дней отпущено нам на долю. Одним словом, пробуждение льва...

Рассуждения, несомненно, прекрасные; но то утро,

которое я сейчас буду описывать, являлось ярким опровержением Пепкиной философии. Начать с того, что в собственном смысле утра уже не было, потому что солнце уже стояло над головой — значит, был летний полдень. Я проснулся от легкого стука в окно и сейчас же заснул. Стук повторился. Я с трудом поднял тяжелую вчерашним похмельем голову и увидал заглядывавшее в стекло женское лицо. Первая мысль была та, что это явилась Любочка.

— Пепко, вставай... К тебе.

— К черту... — мычал Пепко.

Он лежал на полу в самой растерзанной позе, как птица, которую раздавило колесом.

— Пепко, это свинство.

Пепко сел, покачал похмельной головой и, взглянув в окно, только развел руками. Он узнал медичку Анну Петровну. Я вчера совершенно забыл предупредить его, что она собирается к нам.

— Голубушка, Анна Петровна, подождите сущую малость, — взмолился Пепко, вскакивая горошком. — Вот так фунт!..

Я тоже поднялся. Трагичность нашего положения, кроме жестокого похмелья, заключалась главным образом в том, что даже войти в нашу избушку не было возможности: сени были забаррикадированы мертвыми телами «академии». Окончание вчерашнего дня пронеслось в очень смутных сценах, и я мог только удивляться, как попал к нам немец Гамм, которого Спирька хотел бить и который теперь спал, положив свою немецкую голову на русское брюхо Спирьки.

— Господа, вставайте... — сделал я попытку разбудить.

Ответил только один голос Спирьки, проговорив в изнеможении:

— Испить бы... Все нутро горит.

Потом голос прибавил умоляющим тоном:

— Где я?

В сенях было темно, и Спирька успокоился только тогда, когда при падавшем через дверь свете увидел спавшего Фрея, Гришука и Порфира Порфирыча. Все спали, как зарезанные. Пепко сделал попытку разбу-

дить, но из этого ничего не вышло, и он трагически поднял руки кверху.

— Что я буду делать? О, что я буду делать?.. Это какой-то свиной хлев, а не жилище порядочных людей. Нечего сказать, товарищи...

— Ты иди сейчас с Анной Петровной гулять в парк, — советовал я, — а я тем временем все устрою. Ты потом найдешь нас в «Розе»...

— Но ведь у меня башка трещит, как у черта... Я ничего не понимаю, наконец. О, несчастный юноша!..

— Ничего, на свежем воздухе оправишься...

— Я чувствую себя свиньей, винной бочкой... Нет ли хоть нашатырного спирта?

— Ступай, ступай... Анна Петровна ждет. Оказывается, что ты сам приглашал ее в гости...

Бо̀льшего наказания для Пепки нельзя было придумать. Я в окно поздоровался с гостьей и сказал, что Пепко сейчас выйдет. Анна Петровна сегодня выглядела свежее обыкновенного и казалась такой миловидной. В виде уступки летнему сезону на черной касторовой шляпе у нее был неумело прицеплен какой-то сиреневый бант. Вот посмеялась бы Наденька над этим наивным украшением, — она была великая мастерица по части дамских туалетов.

— К нам сейчас нельзя войти... — сбивчиво объяснял я. — Дача у нас крошечная, а вчера к нам приехали из города гости...

— А, понимаю, — протянула Анна Петровна одним звуком, и потрепанный черный зонтик в ее руке сделал нетерпеливое движение. — Я приехала, кажется, не во-время.

— Вы не можете приехать не во-время, — галантно заявил Пепко, показываясь в калитке. — Я вас давно поджидал... погода стоит отличная...

Анна Петровна с печальной улыбкой посмотрела на его измятое лицо, на опухшие красные глаза и как-то брезгливо подала свою маленькую худую ручку.

— Пока мы пройдемся по парку, Анна Петровна...

— Отлично... Я так давно не дышала свежим воздухом.

Пепко подошел ко мне и прошептал:

— Кажется, нам теперь лучше не ходить по Второму Парголову после вчерашнего концерта?

— Ступай в парк Третьим Парголовым... Нам теперь вход во Второе Парголово закрыт навсегда.

Этот вопрос Пепки поднял в моей памяти яркую картину нашего вчерашнего безобразия. Это было не теоретическое свинство, а настоящее, реальное. Да, теперь со Вторым Парголовым все кончено... Что подумала вчера о нас эта милая девушка в белом платье? Нет, это ужасно... Идет орава пьяных людей и горланит песни. Так могли сделать пьяные дворники, дачный мужик, чухонцы, возвращающиеся из города... И в числе этих забулдыг и трактирных завсегдатаев идет будущий русский писатель? О, он никогда не будет писателем... Слышите, девушка в белом платье: никогда! Меня охватило такое отчаяние, что я готов был расплакаться, как ребенок. Неужели это был я? Где же разум, характер, совесть, где самая простая порядочность? Достаточно было приехать пьяному купцу, книжнику, чтобы мы все напились, как сапожники. Обидно, возмутительно, несправедливо... И как должна нас презирать вот эта серая девушка Анна Петровна, вся такая чистенькая, светлая и как-то печально-серьезная. Она явилась живой совестью нашего безобразного поведения... Об Александре Васильевне я старался не думать: это было святотатством.

— Послушайте, а где моя красная бумага? — умоляюще спрашивал хриплым голосом проснувшийся Селезнев.

Он шарил около себя руками и приходил в отчаяние: деньги были потеряны во время ночной прогулки. Этот случай рассмешил Спирьку до слез.

— Ах, Порфирыч, жаль мне тебя... Вот тебе и несгораемый шкап! Ошибку давал...

Старик вскочил, оделся и побежал в парк разыскивать потерянные деньги, а Спирька лежал и хохотал.

— Говорил вчера: отдай мне на сохранение... Ах, прокурат, прокурат!.. Ну, да деньги дело наживное: не радуйся — нашел, не тужи — потерял.

Через час вся компания сидела опять в садике «Розы», и опять стояла бутылка водки, окруженная

разной трактирной снедью. Все опохмелялись с каким-то молчаливым ожесточением, хлопая рюмку за рюмкой. Исключение представлял только один я, потому что не мог даже видеть, как другие пьют. Особенно усердствовал вернувшийся с безуспешных поисков Порфир Порфирыч и сейчас же захмелел. Спирька продолжал над ним потешаться и придумывал разные сентенции.

— Может быть, бедный человек нашел твои десять целковых, ну, богу помолится за тебя... Все же одним грехом меньше.

— Не в этом дело... гм... последние были.

— А я так делаю: постоянно молю бога, чтобы самому кого не обидеть, а ежели меня кто обидит — мне же лучше. Так-то, малиновая голова...

Гришук и Фрей упорно молчали, как люди, которые шли на что-то с отчаянной решимостью.

— Эй ты, зебра полосатая, еще ейн фляш! — приказывал Спирька трактирному человеку и хохотал: слово «зебра» ему казалось очень смешным.

«Академия» была уже на первом взводе, когда появился Пепко в сопровождении своей дамы. Меня удивила решимость его привести ее в этот вертеп и отрекомендовать «друзьям». По глазам девушки я заметил, что Пепко успел наговорить ей про «академиков» невесть что, и она отнеслась ко всем с особенным почтением, потому что видела в них литераторов.

— Зачем ты затащил ее сюда? — журил я Пепку.

— Во-первых, дома у нас нет ни чаю, ни сахару, во-вторых, у меня башка трещит с похмелья, а дома ни одной капли водки, и в-третьих... да, в-третьих...

Пепко прищурил один глаз, покривил лицо и проговорил с особенной таинственностью, точно сообщил секрет величайшей важности:

— Я — несчастный человек, и больше ничего...

— Анна Петровна влюблена в тебя? — предупредил я исповедь.

— И даже очень... Три раза сказала, что скучает, потом начала обращать меня на путь истины... Трогательно! Точно с младенцем говорит... Одним словом, мне нельзя сказать с молоденькой женщиной двух

слов, и я просто боялся остаться с ней дольше с глазу на глаз.

— Боялся, что она бросится к тебе на шею? Ах ты, шут гороховый...

Воображаю, как вознегодовала бы Анна Петровна, если бы только подозревала мысли Пепки. Мне вчуже было совестно за нее.

— Вы уж нас извините, барышня, — оправдывался Спирька за всех. — Человек не камень, в другой раз и опохмелиться захочет... Вышла у нас вчера небольшая ошибочка. Я так полагаю, что это не иначе, как от свежего воздуху. Ошибет человека, ну, он и закурит...

Девушка наскоро выпила стакан чаю и начала прощаться. Она поняла, кажется, в какое милое общество попала, особенно когда появилась Мелюдэ. Интересно было видеть, как встретились эти две девушки, представлявшие крайние полюсы своего женского рода. Мелюдэ с нахальством трактирной гетеры сделала вид, что не замечает Анны Петровны. Я постарался увести медичку.

— Я в первый раз вижу так близко этого сорта женщину... — говорила Анна Петровна с своей больной улыбкой. — Какая она красивая... Мне очень было интересно посмотреть на нее. Зачем вы меня увели?

— Нет, Анна Петровна, это не годится... Да и интересного мало. Лучше я вам расскажу...

Анна Петровна вздохнула и оглянулась, точно за ней по пятам гналась красивая тень этой жертвы общественного темперамента.

Появление «академии» имело роковое значение в нашем летнем сезоне, потому что послужило поворотным пунктом. Приходилось отсиживаться в своей избушке. На прогулки я выходил или ранним утром, или поздним вечером. Мне казалось, что все указывают на нас пальцами. Ничего не оставалось, как углубиться в роман для Ивана Иваныча, что я и делал. Правда, что эта роль падшего ангела доставалась нелегко, но человек может привыкнуть ко всему. Вообще было скверно и гадко на душе, и я долго не мог

забыть нашей дикой прогулки по Второму Парголову. Специально для Пепки этот день принес некоторые специальные огорчения. Оказалось, что Анна Петровна приезжала с специальной миссией завести переговоры с Пепкой относительно Любочки, о положении которой она знала от Федосьи. Первая неудача не остановила медичку, и она явилась к нам вторично, но на этот раз вместо «академии» столкнулась с самой Любочкой, встретившей ее крайне враждебно, как явную соперницу. Произошла пренелепая сцена, причем Пепко очутился в положении свиньи, которую палят на огне со всех сторон.

— Вас кто просил заступаться за меня? — наступала Любочка на Анну Петровну с каким-то бабьим азартом. — Это мое дело...

— Да ведь я в ваших же интересах хотела поговорить с Агафоном Павловичем...

— Покорно благодарю... Знаю я, какие у вас интересы. Отбить хотите у меня Агафона Павловича, вот и весь сказ... Меня не проведете. А еще студентка!..

— Послушайте, вы забываетесь...

— Нет, это вы забываетесь и считаете меня круглой дурой. Не беспокойтесь, живая не дамся в руки. Не таковская... Самой дороже стоит. Я ведь не посмотрю, что вы ученая, и прямо глаза выцарапаю... да. Я в ваши дела не мешаюсь: любите, кого хотите, а меня оставьте.

Дальше последовала непритворная истерика, угрозы по неизвестному адресу и вообще скандал в благородном семействе. Положение Пепки было самое отчаянное, и он молча скрежетал зубами.

— Значит, мне остается только уходить? — закончила сцену Анна Петровна, обращаясь к Пепке. — Я вступилась в это дело именно потому, что имею несчастие принадлежать к одной с вами корпорации, и могу только пожалеть...

— И уходите, и не нужно!... — голосила Любочка. — Жениха вы себе ищете, вот что... Да не туда попали. Адрес не тот...

В сущности своим неистовым поведением Любочка спасла Пепку в глазах Анны Петровны.

— Это ужасно... ужасно... — повторяла она, когда я провожал ее на вокзал.

— Да, и не совсем красиво...

— И вы можете так спокойно говорить об этом? — возмущалась Анна Петровна уже по моему адресу. — Какая испорченность...

— Будемте справедливы, Анна Петровна: при чем же я-то тут? Поставьте себя на мое место. Вообще самая грустная ошибка.

— Хороша ошибка!.. И такая женщина... Нет, скажите мне, что могло их связать?

При всем желании дать основательный ответ на этот наивный вопрос, я только должен был пожать плечами. Мы говорили на двух разных языках.

XXV

Наш летний сезон закончился «историей серого человека», о которой я и расскажу здесь, хотя и приходится несколько забежать вперед.

Вторая половина нашего дачного сезона прошла довольно скучно. Мы редко показывались из дома и вели жизнь отшельников. Не думаю, что этим мы исправили свою репутацию, которую, как известно, достаточно потерять всего один раз. Пепко был особенно мрачен и отдыхал только в «Розе». Даже периодические нападения Любочки уже потеряли свой острый характер и, кажется, начинали надоедать ей самой. Она теперь ревновала Пепку к Анне Петровне, упорно и несправедливо, как это умеют делать только безнадежно влюбленные женщины.

— Черт возьми, она наводит на меня дурные мысли! — ругался Пепко, напрасно стараясь рассердиться. — Так я и в самом деле могу влюбиться в Анну Петровну... Она мне даже начинает нравиться. Я так не люблю, когда женщина первая начинает подавать реплики... Это мое несчастье, что женщины не могут видеть меня равнодушно...

— У тебя просто расстроенное воображение, Пепко. Могу тебя уверить, что твоя единственная победа — это Любочка...

Я начинал вообще замечать какую-то перемену в настроении Пепки. Отдавая должную дань концу лета, он часто принимал задумчивый вид и мурлыкал про себя:

...От ликующих,
Праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви.

Мне лично было как-то странно слышать эти слова именно от Пепки с его рафинированным индиферентизмом и органическим недоверием к каждому большому слову. В нем это недоверие прикрывалось целым фейерверком каких-то бурных парадоксов, афоризмов и полумыслей, потому что Пепко всегда держал камень за пазухой и относился с презрением как к другим, так и к самому себе.

Начались дождливые дни. Дунул холодный ветер. Пожелтевшие листья засыпали аллеи парка. По усвоенному маршруту я почти ежедневно обходил все те места, которые казались мне освященными невидимым присутствием Александры Васильевны. Да, она проходила здесь, садилась отдохнуть, а сейчас холодный ветер точно отпевал промелькнувшее короткое счастье. Да и было ли оно, это счастье? Оно начинало казаться мне мифом, выдумкой, плодом воображения... Но вот эти сосны и ели, которые видели ее, — значит, счастье было. Мое паломничество заканчивалось обыкновенно приютом доброй феи, она же и ундина. Помню, как мы подходили с Пепкой к этому приюту в дождливый и холодный осенний день. Ставни дачи были закрыты, в садике неизвестно откуда появились кучи сора, и на калитке была прилеплена бумажка с надписью: «ресторан закрыт». Пепко перечитал несколько раз эту бумажку, вздохнул и проговорил:

— Это нам повестка: пора удирать с дачи. На днях Мелюдэ тоже уезжает... Как будто даже чего-то жаль.

Этакое, знаешь, подлое, слезливое чувство, а в сущности наплевать...

Я молчал, испытывая такое же подлое и слезливое чувство, — оно появилось с первым желтым листом.

Кстати, вместе с сезоном кончен был и мой роман. Получилась «объемистая» рукопись, которую я повез в город вместе с остальным скарбом. Свою работу я тщательно скрывал от Пепки, а он делал вид, что ничего не подозревает. «Федосьины покровы» мне показались особенно мрачными после летнего приволья.

— Это же удивительно, что на всем земном шаре нигде не нашлось места подлее, — ворчал Пепко. — Где-то синеет южное небо, где-то плещет голубая морская волна, где-то растут пальмы и лотосы, а мы должны пропадать в этой подлой дыре... И ведь это только так кажется, что все это пока, так, до поры до времени, а настоящее еще будет там, впереди, — ничего не будет, кроме деликатной перемены одной дыры на другую. Тьфу! Я вообще чувствую себя заживо погребенным, вроде шильонского узника. О, проклятие несправедливой судьбе!

Федосья встретила нас довольно холодно, а потом начала таинственно ухмыляться, поглядывая на Пепку. Анна Петровна попрежнему жила в своей каморке и попрежнему умела оставаться незаметной. Остальной состав жильцов возобновился почти в прежнем виде, за исключением Горгедзе, который кончил курс и уехал к себе на Кавказ. Да, все было попрежнему, как это умеет делать только скучное, бесцветное и вялое, — всякая энергия выражается переменами в том или другом смысле. «Федосьины покровы» таким образом являлись мерой своих обитателей. Все эти грустные мысли являлись в невольной связи с открывавшимся из нашего окна ландшафтом забора, осенним дождем и каким-то унынием, висевшим в самом воздухе.

В одно непрекрасное утро я свернул в трубочку свой роман и отправился к Ивану Иванычу. Та же контора, тот же старичок секретарь и то же стереотипное приглашение зайти за ответом «недельки через две». Я был уверен в успехе и не волновался особенно. «Недельки» прошли быстро. Ответ я получил лично

от самого Ивана Иваныча. Он вынес «объемистую рукопись», по привычке, как купец, взвесил ее на руке и изрек:

— А ведь вещица-то не годится, молодой человек...

— Как не годится, Иван Иваныч!..

— А так... Вы знаете, что по существу дела мы не обязаны отвечать, а просто не подходит, и все тут. У вас удачнее маленькие рассказики...

У меня как-то вдруг закружилась голова от этого ответа. Пропадало около четырехсот рублей, распланированных вперед с особенной тщательностью. Ответ Ивана Иваныча прежде всего лишал возможности костюмироваться прилично, то есть иметь приятную возможность отправиться с визитом к Александре Васильевне. В первую минуту я даже как-то не поверил своим ушам.

— Да, не годится, — добродушно тянул Иван Иваныч, как хирург, который по всем правилам науки отрезывает голову живому человеку. — Приносите маленькую вещицу — напечатаю с удовольствием.

Это был вообще страшный удар. С возвращенной рукописью я отправился прямо в портерную, где заседала «академия». Налицо оказался один Фрей. Он молча выслушал меня и, не выпуская трубки, решил:

— Что-нибудь неспроста... Я разузнаю... Хотите пива?

Я чувствовал только одно, что вполне заслужил такой афронт: сама судьба карала за допущенный компромисс. Да, есть что-то такое, что справедливее нас.

Через несколько дней Фрей мне сообщил все «неспроста».

— У вас есть враг... Он передал Ивану Иванычу, что вы где-то говорили, что получаете с него по десяти рублей за каждого убитого человека. Он обиделся, и я его понимаю... Но вы не унывайте, мы устроим ваш роман где-нибудь в другом месте. Свет не клином сошелся.

— Ах, делайте, что хотите! Мне решительно все равно...

Это равнодушие, кажется, понравилось Фрею, хотя он по привычке и не высказал своих чувств. Он вообще напоминал одного из тех лоцманов, которые всю

жизнь проводят чужие суда в самых опасных местах и настолько свыкаются с своим ответственным и рискованным делом, что даже не чувствуют этого.

Итак, с романом было все кончено. Впереди оставалось прежнее репортерство, мыканье по ученым обществам, вообще мелкий и малопроизводительный труд. А главное, оставалась связь с «академией», тем более что срок запрещения «Нашей газеты» истек, и машина пошла прежним ходом.

Мысль об Александре Васильевне не оставляла меня все время. Я с ней ложился и с ней вставал. Весь вопрос опять сводился на то, как явиться к ней «оригиналом». Я готов был продать душу черту, чтобы достать приличный костюм, и делал отчаянные попытки в этом направлении, которые, к сожалению, не привели ни к чему. Подходящего костюма не нашлось ни у одного из товарищей, то есть отдельные подробности находились, но из них еще не получалось приличного целого. Положение, во всяком случае, получалось трагикомическое, и я не поверил своей тайны даже Пепке. Все равно он ничего бы не понял...

Здесь именно мне приходится забежать вперед, к февралю месяцу, когда в клубе художников, существовавшем в Троицком переулке, устраивался студенческий бал. У меня в этот вечер было заседание в Техническом обществе, но я предпочел отправиться на бал, надеясь встретить кого-нибудь из знакомых репортеров и от них позаимствовать что-нибудь для отчета. Вопрос о костюме разрешился тем, что я достал у одного из товарищей летнюю серую пару. Никогда я не забуду этого костюма... Ничтожное по своей сущности стремление быть одетым, как другие, отравило мне весь вечер. Мне казалось, что трехтысячная толпа смотрит на одного меня, и все улыбаются, поглядывая на «серого человека». Чувство жуткое и неприятное, особенно когда все одеты во фраки и сюртуки. Я уныло бродил из залы в залу, тщетно отыскивая другого «серого человека». Как назло, такого alter ego не оказалось, и я опять чувствовал, что все смотрят на меня. Глупое чувство, нелепое, но оно меня мучило... В довершение всего встречаю Александру Васильевну,

которая шла под руку с каким-то франтиком во фраке. Она сейчас же оставила его руку и обратилась ко мне с упреком:

— И вам не совестно? Нисколько?.. А я-то ждала вас...

— Александра Васильевна, я был серьезно болен, — соврал я с самым серьезным лицом.

— А как же Надя мне говорила, что вы здоровы и просто не хотите быть у меня?... Вы просто бессовестный человек..

Она, кажется, еще никогда не была так красива, как сейчас. И опять в неизменном черном шелковом платье, еще сильнее вытенявшем матовую белизну кожи. Она так просто взяла под руку «серого человека» и пошла по залам. Это уже было геройство, и я чувствовал себя на седьмом небе. Да, она была красива, настолько красива, что толпа почтительно расступалась перед ней, провожая нас почтительным шепотом. «Серый человек» шел под руку с признанной царицей бала и позабыл все на свете... Она о чем-то расспрашивала, он что-то отвечал, сознавая только одно, что она опять около него, цветущая, красивая, чудная, восхитительная, как греза поэта. Она опять смеялась, а «серый человек» держал себя с таким непринужденным видом, точно ему было все равно, или, вернее сказать, вся трехтысячная толпа превратилась в таких же серых человеков. Свою смелость «серый человек» довел до того, что пригласил даму на кадриль, каковая и была исполнена визави с Пепкой, танцевавшим с Анной Петровной.

— Трогательная картина, — шепнул мне Пепко, выделывая solo во второй фигуре. — Похоже на семейную радость.

Анна Петровна с каким-то печальным изумлением смотрела на мою даму и участливо улыбалась мне.

— Какая красавица... — проговорила она, когда в шестой фигуре перешла в мои объятия. — Это даже несправедливо!..

После танцев Александра Васильевна захотела пить, и я был счастлив, что имел возможность предложить ей порцию мороженого. Мы сидели за мрамор-

ным столиком и болтали всякий вздор, который в передаче является уже полной бессмыслицей. Ее кавалер демонстративно прошел мимо нас уже три раза, но Александра Васильевна умышленно не замечала его, точно отвоевывала себе каждую четверть часа. Наконец, кончилось и мороженое. Она поднялась, подавая руку, и устало проговорила:

— Проводите меня в следующую комнату, где сидит мой... кавалер.

Последнее слово она выговорила с заметным усилием, а потом улыбнулась и прибавила:

— А вы все-таки бессовестный... Я жду вас.

— О, конечно. Я буду так счастлив видеть вас...

Сколько таких обещаний не выполняется никогда, гораздо больше, чем не сбывается снов. Но я верил в свои слова, отводя свою даму к ее компании. Я даже не посмотрел, кто там сидел, а отправился прямо в «мертвецкую», где сейчас же напился с горя и почувствовал себя «серым человеком» с новой силой. Откуда-то появился Пепко, освободившийся от дамы. Он тоже был мрачен. Опьяняла вся обстановка: шум голосов, пение, табачный дым. Когда я вышел в зал, публики оставалось едва одна половина. К моему удивлению, я заметил другого серого человека, который внимательно наблюдал меня. Я вдруг почувствовал облегчение, точно встретил родного брата. Такой же точно летний костюм, такой же рост, и даже лицом походит на меня. Я пошел к нему, он двинулся навстречу мне. Потом... потом оказалось, что это было отражение в стенном зеркале моей собственной персоны. «Серый человек» так и остался в одиночестве.

XXVI

В предыдущем очерке я забежал вперед, чтобы закончить историю «серого человека», а сейчас возвращусь к моменту, когда Фрей взял у меня рукопись романа. Через три дня он мне объявил:

— С января будет издаваться новый журнал «Кошница», материала у них нет, и они с удовольствием

напечатают ваш роман. Только, чур, условие: не следует дешевить.

— Постараюсь...

— Да, да... Не забывайте, что не вы один, не следует сбивать цен.

Разговор происходил в трактире Агапыча, где мы снова водворились вместе с восстановлением деятельности «Нашей газеты». Притягательной силой являлись привычка к своему насиженному углу и некоторый кредит, который открывал Агапыч своим завсегдатаям. Вообще мы здесь чувствовали себя по-домашнему, как богатые люди в своих клубах. Прислуга давно уже выделила нас из остальной, случайной публики и относилась к нам по-родственному, чему немало способствовало и то, что в глазах этого трактирного человечества мы являлись представителями литературы. Лакеи с салфетками подмышкой являлись той благосклонной публикой, которая уже служила для каждого автора живым фоном. Литературные имена котировались на этой читательской бирже. Тут были уже твердые, установившиеся фирмы, как Порфир Порфирыч, рассказы которого лакеи читали взасос. К моему удивлению, я убедился, что тоже начинаю приобретать некоторое имя, хотя и нахожусь еще в периоде искуса. Седой лакей Степаныч как-то по-отечески шепнул мне:

— Помилуйте-с, читали мы ваши рассказы... Ничего-с, форменно, хоша супротив Порфира Порфирыча еще и не дошли-с. У них искра-с...

Это были первые пары той несчастной литературной славы, которая окутывает автора, как дым фабрику. Не скрою, что мне было приятно слышать отзыв Степаныча: искаженная, искалеченная и изувеченная условиями мелкого литературного рынка мысль неведомыми путями проникала к читателю, и еще более неведомыми путями возникала там писательская физиономия. Невыгодное для меня сравнение с Порфиром Порфирычем нисколько не было обидно: он писал не бог знает как хорошо, но у него была своя публика, с которой он умел говорить ее языком, ее радостями и

горем, заботами и злобами дня. Принципиально великих людей нет, как принципиально нет холода; величие создается только нашим эгоизмом. Нивелирующей силой здесь является только одно чувство. С другой стороны, меня в отзыве Степаныча поразило то привилегированное положение, которое занимают по отношению к читателю беллетристы. Например, тот же Степаныч ценил и уважал Фрея, как «серьезного газетчика», но его симпатии были на стороне Порфира Порфирыча: «Они, Порфир Порфирыч, конечно, имеют свою большую неустойку, значит, прямо сказать, слабость, а промежду прочим, завернут такое тепленькое словечко в другой раз, что самого буфетчика Агапыча слезой прошибут-с»... Да, у нас уже была своя маленькая публика, которая делала нас общественным достоянием.

Кстати, во время моего разговора с Фреем относительно «Кошницы» из остальных членов «академии» присутствовал один Порфир Порфирыч. Он сидел в кресле и дремал. За последнее время старик сильно изменился и даже не мог пить. Жаль было смотреть на это осунувшееся пожелтевшее лицо с умными и такими жалкими глазами. Многолетнее искусственное возбуждение напитками сменилось теперь страдальчеством завзятого алкоголика. Притупленные и проржавевшие нервы возбуждались только по инерции, по привычке к знакомым словам: есть своя профессиональная энергия, которая переживает всего человека. Так сейчас, когда Фрей заговорил о «новом журнале», Порфир Порфирыч точно проснулся, причмокнул и даже подмигнул в пространство. Ага, новый журнал! Так-с... Отлично. «Кошница»? Превосходно, хотя название и с претензией!

— Весьма одобряю... — тихо проговорил старик, улыбаясь, и прибавил с грустной улыбкой: — Сколько будет новых журналов, когда нас уже и на свете не будет! И литератор будет другой... Народится этакой чистоплюй и захватит литературу. Хе-хе... И еще горьким смехом посмеется над нами, своими предками, ибо мы были покрыты грязью и несовершенствами. Да, посмеется... А того не будет знать, через какие

трущобы мы брели, какие тернии рвали нашу душу и как нас обманывали на каждом шагу блуждающие огоньки, делавшие ночь еще темней. Чистоплюй он, и по своему чистоплюйству будет доволен всем, потому что будет думать только о себе. Вон название то какое: «Кошница»... Этак как будто и славянофильством попахивает и о присовокуплении чего-то говорит... А впрочем, не в этом дело-то, о юноша!

Старик закашлялся, схватившись за натруженную грудь, и долго не мог прийти в себя.

— Да, «Кошница»... — шептал он, вытирая слезы, выступившие от натуги. — Отчего не «Цевница»? А впрочем, юноша, не в этом дело... да. Мы в потемках кончим дни своего странствия в сей юдоли, а вы помните... да, помните, что литература священна. Еще седмь тысящ мужей не преклоняло колен пред Ваалом... Ты написал печатный лист; чтобы его прочесть, нужно minimum четверть часа, а если ты автор, которого будет публика читать нарасхват, то нужно считать, что каждым таким листом ты отнимаешь у нее сто тысяч четвертей часа, или двадцать пять тысяч часов. Это составит... составит около тысячи дней, или около трех лет... Уже этот механический расчет представляет все величие твоего призвания, а посему гори правдой, не лукавствуй и не давай камень вместо хлеба. Не формальная правда нужна, не чистоплюйство, а та правда, которая там живет, в сердце... Маленький у тебя талантик, крошечный, а ты еще пуще береги эту искорку, ибо она священна. Величайшая тайна — человеческое слово... Будь жрецом.

Отвлеченные рассуждения сделались теперь слабостью Порфира Порфирыча, точно он торопился высказать все, что наболело в душе. Трезвый он был совсем другой, и мне каждый раз делалось его жаль. За что пропал человек? Потом я знал, чем кончались эти старческие излияния: Порфир Порфирыч брал меня под руку, отводил в сторону и, оглядевшись, говорил шепотом:

— Помните... тогда... на даче? Ведь вы видели у меня тогда красную бумагу? И вдруг нет ничего... Нет — и кончено, все кончено.

— Послушайте, Порфир Порфирыч, не стоит даже говорить об этом... Вы заработаете десять таких красных бумаг, если захотите.

— Не стоит? Хе-хе... А почему же именно я должен был потерять деньги, а не кто-нибудь другой, третий, пятый, десятый? Конечно, десять рублей пустяки, но в них заключалась плата за квартиру, пища, одежда и пропой. Я теперь даже писать не могу... ей-богу! Как начну, так мне и полезет в башку эта красная бумага: ведь я должен снова заработать эти десять рублей, и у меня опускаются руки. И мне начинает казаться, что я их никогда не отработаю... Сколько бы ни написал, а красная бумага все-таки останется.

Бедняга начинал заговариваться. «Красная бумага» являлась для него роковым «пунктиком», и он постоянно возвращался к этой теме, как магнитная стрелка к северу. Все члены «академии» были посвящены им в эту тайну и решили, что у Порфирыча заяц в голове, как выражался Пепко. Потом Порфир Порфирыч скрылся с нашего горизонта; потом прошел слух, что он серьезно болен и лежит где-то в больнице, а потом в уличном листке, в котором он работал, появилось коротенькое известие о его смерти. Некролог, написанный дружеской рукой, в теплых выражениях вспоминал заслуги покойного, его незлобивость и даже «роковую слабость», которая взяла у литературы столько жертв. Между прочим, явился в газетке и посмертный рассказ старика «Бедный Иорик». Рассказ был слаб, вымучен, и от него уже веяло тлением, — внутренний человек умер раньше. Я припомнил, как Порфир Порфирыч, подмигивая и причмокивая, говорил:

— Эге, а мы, литераторы, умеем сводить концы... Разве собака умирает дома? И мы тоже...

На моих глазах это была еще первая литературная смерть, которая произвела сильное впечатление. В самом деле, какими неведомыми путями создается вот этот русский писатель, откуда он приходит, какая роковая сила выталкивает его на литературную ниву? Положим, что писатель Селезнев был маленький

писатель, но здесь не в величине дело, как в одной ткани толщина и длина отдельных ниток теряется в общем. Есть роковые силы, которые заставляют человека делаться тем или другим, и я уверен, что никакой преступник не думает о скамье подсудимых, а тюремщик, который своим ключом замыкает ему весь вольный белый свет, никогда не думал быть тюремщиком.

«Академия» жалела Порфира Порфирыча и даже устроила по нем тризну, на которой главным образом обсуждались «теплые слова» некролога.

— Умер человек, так нет, и мертвому не дают покоя, — ворчал Фрей. — К чему эта похоронная ложь, и кому она нужна?..

— А все-таки... — спорил пьяный Гришук, — чтобы другие чувствовали... да.

— А ты пошел на похороны? Ты навестил его в больнице?

Вся «академия» была смущена этими простыми вопросами, и каждый постарался представить какое-нибудь доказательство своей невинности.

Меня удивило, что всех больше поражен был смертью Порфира Порфирыча мой друг Пепко.

— Да, вообще.... — бормотал он виновато. — Черт знает, что такое, если разобрать!.. Помнишь его рассказ про «веревочку»? Собственно, благодаря ему мы и познакомились, а то, вероятно, никогда бы и не встретились. Да, странная вещь эта наша жизнь...

Как свежую могилу покрывает трава, так жизнь заставляет забывать недавние потери благодаря тем тысячам мелких забот и хлопот, которыми опутан человек. Поговорили о Порфире Порфирыче, пожалели старика — и забыли, уносимые вперед своими маленькими делами, соображениями и расчетами. Так, мне пришлось «устраивать» свой роман в «Кошнице». Ответ был получен сравнительно скоро, и Фрей сказал:

— Вот видите, у них нет материала... Да и где его взять по нынешним временам...

Я отправился в редакцию «Кошницы», которая помещалась в Троицком переулке. Бельэтаж. Двери от-

ворил лакей, в переднюю выбежали два ирландских сеттера — вообще совсем другое, чем у Ивана Иваныча. Редакция помещалась в квартире издателя, который и принял меня. Это был господин под тридцать лет, южного типа, безукоризненно одетый и сиявший брильянтами.

— Это ваш роман? Он уже печатается... Кстати, ваши условия?

Я с некоторой робостью выговорил цифру, — лист был гораздо меньше, чем у Ивана Иваныча, и я назначил ту же цену, выгадывая на разнице.

— Что же, хорошо... — согласился сияющий господин. — Кстати, я только издатель, а редакцией заведует...

Он назвал фамилию редактора, сообщил его адрес и посмотрел на меня такими глазами, когда желают покойной ночи.

От издателя я полетел к редактору, который жил у Таврического сада. Это был очень милый и очень образованный человек в каком-то мундире.

— Очень рад с вами познакомиться... Вы уже видели нашего издателя? Очень хорошо... Я *только* редактор. — В этот момент я не придал особенного значения этим словам, потому что был слишком счастлив, как, вероятно, счастлива та женщина, которую так мило обманывает любимый человек. Есть и такое счастье...

Роман принят, роман печатается не в газете, а в журнале «Кошница», — от этого хоть у кого закружится голова. Домой я вернулся в каком-то тумане и заключил Пепку в свои объятия, — дольше скрываться было невозможно.

— Пепко, мой роман печатается... Да, печатается! Понимаешь?..

— И ты рад? И я тоже рад... Значит, мы оба рады. На всякий случай поздравляю...

Изверг даже не спросил, где печатается мой роман, но я ему прощал вперед, потому что, очевидно, Пепко ревновал меня к моему первому успеху. Конечно, теперь все мне завидовали, весь земной шар...

XXVII

С Пепкой что-то случилось, начиная с того, что он теперь отсиживался дома и выходил только утром на лекции. Федосья уже несколько раз иносказательно давала мне понять, что он влюблен в Анну Петровну. Единственным основанием для такого заключения было то, что Пепко по вечерам пил чай у Анны Петровны и таким образом осуществлял того «мужчину», который, по соображениям Федосьи, должен был быть у каждой женщины, как бывают детские болезни. Кстати, Федосья наносила Пепке систематический вред, и я только мог удивляться его терпению. Дело в том, что летом Федосья подружилась с Любочкой, и теперь Любочка почти каждый день приходила к ней. Они о чем-то вечно шептались, и Пепко жил в ожидании какого-нибудь скандала. С другой стороны, он не хотел уступать и казаться малодушным, а поэтому продолжал свои вечерние чаи у Анны Петровны. Часто случалось так, что Пепко сидит у медички, а Любочка — у Федосьи. Я не понимал в данном случае поведения Анны Петровны, которая раз уже имела крупную неприятность от Любочки. Впрочем, может быть, здесь объяснением могло служить то, что медичка считала себя выше всяких подозрений и тоже не желала уступать. Так или иначе, но скандал все-таки разыгрался; Любочка подкараулила вечером Анну Петровну на улице, бросилась на нее и, кажется, хотела откусить нос. К счастью, никого не было поблизости, и дело обошлось семейным образом. Любочка вбежала с воплями и причитаниями к Федосье и проявила большие наклонности к буйству, так что потребовалось вмешательство Пепки.

— Если вы еще раз явитесь сюда, я... я... — задыхаясь и сжимая кулаки, кричал Пепко. — Да, я...

Он схватил Любочку за плечи и вытолкнул на улицу. Получилась сцена, до последней степени возмутительная, так что мне пришлось вмешаться.

— Пепко, это гадость...

Пепко тяжело дышал и только смотрел на меня обезумевшими глазами. Он был бледен как полотно, и

побелевшие губы шевелились беззвучно, как у китайской куклы. Сцена происходила в коридоре, и единственной свидетельницей была Федосья, наслаждавшаяся готовым вспыхнуть ратоборством. Обезумевший Пепко уже сделал шаг ко мне, лицо искривилось улыбкой, правая рука протянулась вперед, — вероятно, его бешенство обрушилось бы на меня, и мне, вероятно, пришлось бы разделить участь Любочки, но в этот трагический момент появилась в дверях Анна Петровна. Еще момент — и протянутая рука Пепки опустилась. Анна Петровна взяла его за плечо, повернула и втолкнула к себе в комнату, как напроказившего ребенка. Он повиновался, и я заметил, как у него дрожали губы.

Распорядившись с Пепкой, Анна Петровна обратила теперь свое благосклонное внимание на меня.

— Вы... вы... вы... — шептала она хрипло. — Я вас ненавижу... да. Сейчас разыгралась дикая и нелепая сцена, но вы хуже в тысячу раз *его* с вашей бессильной добродетелью... У вас не хватит силенки даже на маленькое зло. Вы — ничтожность, приличная ничтожность... Да, да, да...

Это было повторением сцены с Любочкой ночью в Парголове, и я только рассмеялся. Моя улыбка окончательно взбесила Анну Петровну.

— И вы еще можете смеяться, несчастный? Наконец... наконец, если вы хотите знать... да, хотите... я *его* люблю... Он в тысячу раз лучше вас всех, да, лучше.

— Я могу только поздравить вас с счастливым приобретением...

— Вы — циник!!.

Признаюсь, я тоже был взбешен. Если Любочка могла себе позволить неистовство, то она на это имела «полное римское право», как говорила Федосья. Поженски Любочка была вполне последовательна, потому что она была только женщиной и ничем другим. Но Анна Петровна совсем другое, — у нее должны были существовать некоторые задерживающие центры. Я подошел к двери в комнату Анны Петровны и крикнул:

— Эй ты, трус, выходи!.. Я имею сказать тебе несколько теплых слов, которые поднимут твою храбрость на приличную высоту!

За дверью послышалось рычание Пепки, а затем он одним прыжком был в дверях. Анна Петровна не растерялась и захлопнула у него дверь под носом, а мне величественным жестом показала на дверь моей комнаты. Я поклонился и пошел в противоположный конец коридора, к выходу. У меня горела голова, в висках стучала кровь, и я почему-то повторял про себя: «Нет, погодите, господа... да, погодите, черт возьми!» Я вышел на лестницу и нашел там Любочку, которая сидела на ступеньке, схватившись руками за голову. Это была живая статуя страдания.

— Любочка, идите домой. Вам нечего здесь делать, если не хотите, чтобы вас били... Нужно иметь хоть какую-нибудь гордость...

Любочка только глухо всхлипывала. Я насильно отнял от лица ее руку, — рука была холодна, как лед.

— Любочка, вы простудитесь... Стоит ли рисковать своим здоровьем из-за какого-то негодяя.

— Он не виноват... — простонала Любочка. — Он хороший...

На меня напала непонятная жестокость... Я молча повернулся, хлопнул дверью и ушел к себе в комнату. Делать я ничего не мог. Голова точно была набита какой-то кашей. Походив по комнате, как зверь в клетке, я улегся на кушетке и пролежал так битый час. Кругом стояла мертвая тишина, точно «Федосьины покровы» вымерли поголовно и живым человеком остался я один.

«Нет, погодите, господа...» — повторял я про себя давешнюю бессмысленную фразу.

В самом деле, я-то тут при чем? Благодарю покорно... Режьтесь, отравляйтесь, деритесь, — я ничего больше знать не хочу и не разогну для вас пальца. Да-с, так и знайте... Свое негодование с Пепки я, по логике рассерженного человека, перенес на Анну Петровну... Вот вы какая, Анна Петровна! Отлично... Кто мог подумать про вас что-нибудь подобное! И какая энергия... Очень недурно, как в плохом театре, где

комики говорят трагическим тоном, а трагики вызывают неудержимый смех. А потом, как это мило: полное повторение того, что говорила летом Любочка. О, женщины!.. как сказал Шекспир.

Сильные волнения у меня всегда заканчивались бессовестно-крепким сном, — вернейший признак посредственности, что меня сильно огорчало. Так было и в данном случае: я неожиданно заснул, продолжая давешнюю сцену, причем во сне оказался гораздо более находчивым и остроумным, чем в действительности. Вероятно, я так бы и проспал до утра, если бы меня не разбудил осторожный стук в дверь.

— Войдите...

Дверь скрипнула, зашуршало платье, и незнакомый женский голос проговорил:

— Да у вас совсем темно.

— Виноват... Я сейчас зажгу лампу.

Зажигая лампу, я чувствовал, что незнакомка пристально рассматривает меня.

— Вы, вероятно, удивлены, молодой человек, что к вам в одиннадцать часов ночи врывается совершенно незнакомая дама...

Голос был молодой и приятный, но его обладательница имела уже блеклый вид в той мере, в какой он нравится совсем неопытным юношам. На мой немой вопрос она объяснила:

— Я к вам по делу... Позвольте представиться: сестра Анны Петровны. Зовут меня Аграфеной... Вы, вероятно, догадываетесь о цели моего посещения?

— Ах, да... почти... Садитесь, пожалуйста.

Я только теперь рассмотрел ее хорошенько: шатенка, среднего роста, в коричневом платье не первой молодости, которое не скрывало очень солидных форм. Серые глаза, чуть-чуть подведенные, смотрели с веселой дерзостью. Меня поразили густые волосы, сложенные на затылке тяжелым узлом. Она медленно оглядела комнату, оглядела ветхий стул, который ей я подал, а потом села и спокойно перевела глаза на меня.

— Послушайте, молодой человек...

— Меня зовут Василием Ивановичем...

— Виновата, Василий Иваныч... Скажите, пожалуйста, вам не совестно? Нисколько?

— Странный вопрос...

— Вы понимаете, о чем я говорю. По крайней мере вы должны испытывать неловкость, что заставили замужнюю женщину прийти к вам с объяснениями довольно интимного характера. Это не по-джентельменски...

— Я могу только удивляться, Аграфена Петровна, — именно, что вам за охота вмешиваться в чужие дела?..

— Как чужие? Ведь Анна Петровна — моя сестра, родная сестра. Положим, мы видимся очень редко, но все-таки сестра... У вас нет сестры-девушки? О, это очень ответственный пост... Она делает глупость, — я это сказала ей в глаза. Да... Она вас оскорбила давеча совершенно напрасно, — я ей это тоже высказала. Вы согласны? Ну, значит, вам нужно идти к ней и извиниться.

— ?

— Вы забываете, что сестра моя женщина, больше — девушка, и мужчина виноват всегда, особенно если выведет ее из себя.

Это была оригинальная логика, и серые глаза весело улыбнулись. Сделав небольшую паузу, она проговорила с расстановкой:

— Агафон Павлыч ваш друг? Моя бедная сестра имела несчастье его полюбить, а в этом состоянии женщина делается эгоисткой до жестокости. Я знаю историю этой несчастной Любочки и, представьте себе, жалею ее от души... Да, жалею, вернее сказать — жалела. Но сейчас мне ее нисколько не жаль... Может быть, я несправедлива, может быть, я ошибаюсь, но... но... Одним словом, что она может сделать, если он ее не любит, то есть Любочку?

Я засмеялся. Разве Пепко мог кого-нибудь любить? Этот ответ, видимо, обидел моего парламентера.

— Аграфена Петровна, я все-таки не понимаю, что вам нужно от меня?

— Я уже сказала вам... А затем моя сестра надеется исправить вашего друга. Я подозреваю, что эта

миссия именно и увлекает ее. Что делать, мы, женщины, все страдаем неизлечимой доверчивостью. Многое она приписывает вашему дурному влиянию.

Это уже было слишком, и я расхохотался. Моя собеседница закусила губы и вызывающе посмотрела на меня. Потом она точно передумала и опять улыбнулась.

— Все-таки вы сделаете по-моему, пойдете и извинитесь... да. Это вы сделаете для меня... Скажу больше, — вы меня проводите, потому что уже поздно. Вы этому рады, конечно, потому что избавляетесь от меня...

— Хорошо. Я согласен... Но только извинюсь не сегодня.

— О, это решительно все равно...

У нее явилось усталое выражение, и она с трудом сдержала зевоту.

Я отправился ее провожать. Стояла холодная зимняя ночь, но она отказалась от извозчика и пошла пешком. Нужно было идти на Выборгскую сторону, куда-то на Сампсониевский проспект. Она сама меня взяла под руку и дорогой рассказала, что у нее есть муж, который постоянно ее обманывает (как все мужчины), что, кроме того, есть дочь, девочка лет восьми, что ей вообще скучно и что она, наконец, презирает всех мужчин.

— Не стоит жить, — закончила она свою исповедь. — А сегодня у меня какая-то особенная тоска... К сестре я попала совершенно случайно — и вдруг попадаю на эту глупую историю. Я серьезно против ее увлечения...

Мы остановились у подъезда. Внутренно я был рад, что и моя миссия закончилась. Моя дама что-то медлила и устало проговорила:

— Муж возвращается только в два часа ночи... девочка давно спит...

Она с тоской посмотрела на меня, крепко пожала мою руку и молодым движением скрылась в дверях. Я стоял на тротуаре и думал: какая странная дама, по крайней мере для первой встречи. Тогда еще не было изобретено всеобъясняющее слово «психопатка».

Когда я вернулся домой, Пепко спал на своей кровати невинным сном грудного младенца. Меня это даже не возмутило... Что же, счастлив тот, кто может спать так крепко.

XXVIII

Первая книжка нового журнала «Кошница» должна была выйти первого января, но этому благочестивому намерению помешали разные непредвиденные обстоятельства, и книжка вышла только в конце января. Понятно, что я ждал с нетерпением этого события: это был первый опыт моего журнального «тиснения»...

Объявление о выходе «Кошницы» я прочел в газете. Первое, что мне бросилось в глаза, это то, что у моего романа было изменено заглавие — вместо «Больной совести» получились «Удары судьбы». В новом названии чувствовалось какое-то роковое пророчество. Мало этого, роман был подписан просто инициалами, а неизвестная рука мне приделала псевдоним «Запорожец», что выходило и крикливо и помпезно. Пепко, прочитав объявление, расхохотался и проговорил:

— «Для начала недурно», как сказал турок, посаженный на кол... Да, не вредно, господин Запорожец, а удары судьбы были провиденциальным назначением каждого доброго запорожца... На всякий случай поздравляю «с полем», как говорят охотники, когда убита первая дичь.

Мне была совершенно понятна затаенная ревность Пепки: он печатался только в газетах, а тут настоящий журнал, хотя и «Кошница». Собственно, и к названию и к псевдониму Пепко был совершенно равнодушен, но, кроме начинающейся славы, он провидел и другую сторону — получение гонорара «кучкой», ибо «причиталось» по приблизительному расчету мне получить около ста рублей. У меня никогда не бывало ста рублей, и эта цифра точно жгла мой мозг, и мне делалось даже совестно, что я из богемы делаю скачок прямо в заколдованный круг Ротшильдов.

— Невинные восторги первого авторства погибают в неравной борьбе с томящей жаждой получить первый гонорар, — резюмировал Пепко мое настроение: — тут тебе и святое искусство, и служение истине, добру и красоте, и призвание, и лучшие идеи века, и вклад во всемирную сокровищницу своей скромной лепты вдовицы, и тут же душевный вопль: «Подайте мне мой двугривенный!» Я уверен, что литература упала, — это факт, не требующий доказательств, — от двух причин: перевелись на белом свете меценаты, которые авторам давали случаи понюхать, чем пахнет жареное, а с другой — авторы нынешние не нюхают табака. Ты не смейся, — это гораздо серьезнее, чем ты думаешь, и упадок современной поэзии находится в прямой зависимости от брошенной привычки набивать себе нос табаком. Вот прекрасная тема для диссертации...

— А как же классические поэты?

— О, я убежден, что и они нюхали табак, а потом человечество на целую тысячу лет забыло об этом, пока Колумб снова не открыл табак уже в Америке. Да, так что́ было бы в доброе старое время? Ты написал свои «Удары судьбы», несешь их меценату... Меценат дает их читать своему любимому арапу, а потом жертвует тебе золотую табакерку, кафтан с своего меценатского плеча, сапоги, штанишки и отпускает корм с своей кухни. По торжественным дням ты сочиняешь ему оды и получаешь новую мзду не за обычай. Но ты уже получаешь известность... Выступает женщина — чудная женщина доброго старого времени, богомольная безбожница, суеверная, ласковая, красивая — да, всегда красивая. Она уже заметила тебя, пролила слезу и вытащит тебя за ушко в люди. А теперь что: отправишься ты в свою «Кошницу», получишь свой двугривенный, — и все тут. Публика совсем не интересуется тобой, как не интересуется клоуном, который на ее благосклонных глазах сорвался с трапеции и проломил себе башку.

— Это, кажется, относится ближе к твоим «Песням смерти», чем к моей скромной прозе.

— Ты прав, против собственного желания... Да, теперь время скверной прозы, а священный огонь поэзии обрекает на самую подлую нищету. Живой пример у тебя на глазах... Я не виноват, что родился слишком поздно. Представь себе, лежит этакий восточный деспотище, который даже не может ничего желать, — до того он пресыщен всем... Сегодня он отрубил уши тридцати тысячам человек, которые имели дерзость защищать свое отечество, вчера он превратил в пепел цветущую страну, третьего дня избил младенцев в собственном государстве; у него дремлет в смертельной истоме целый сад красавиц, ожидающих его ласки, как трава в зной ждет капли дождя, а деспотище уже ничего не может и для развлечения кромсает придворную челядь! И вдруг является посланец богов — поэт, то есть я... Да, это я вхожу к деспотищу в своем вретище и подношу ему несколько чудных газелей, где воспевается любовь, молодость, красота... Я — сладчайший Фирдуси, я — Гафиз. У деспотища от моих стихов защипало в носу, деспотище проливает слезу... И посланник богов получает мзду в виде целого стада верблюдов, другого стада гаремных красавиц, достигших предельного возраста, и еще, и еще. Или: Луишка Каторз заскучал... Лик короля-солнца покрыт зловещими морщинами, и вдруг опять я с напудренным, вспененным и наркотизированным стихом — и морщины на челе Луишки Каторза разглаживаются, а глаза делают безмолвно знак какому-нибудь маршалу осчастливить меня на всю жизнь. Я скромно целую руку у последней королевской метрессы, делаю реверанс и удаляюсь к благополучию. Или: русский вельможа... Он все съел, все выпил и страдает одышкой. У него тяжелые ночи, как у страсбургского гуся, у которого вся жизнь сосредоточивается в одной печенке. И вдруг является поэт, который пишет оду на смерть российского Цинцинната. Да, вот что *я* такое... А сейчас я должен питаться всего тремя буквами, да и те вынужден тащить на улицу, в кабак.

— Да, ты потерял много времени совершенно напрасно...

— И мне ничего не остается, как купить табакерку на свой собственный счет и открыть новую эру в поэзии. Діхі.

Действительность не оправдала тех надежд, с какими я шел в первый раз в редакцию «Кошницы». Во-первых, издателя не оказалось дома, и «человек» не мог сказать, когда он бывает дома.

— Да ведь бывает же он когда-нибудь дома? — приставал я, охваченный первой тенью сомнения.

— Сегодня были-с...

— А завтра?

— Не могу знать-с... Иногда они уезжают из дому дня на три.

Я чувствовал, что издатель дома и что меня просто-напросто «не принимают». Кстати, я в первый раз даже не заметил фамилии издателя и прочитал ее в первый раз на обертке журнала: С. Я. Райский. Пепко видел в ней залог несомненного блаженства, что для первого раза не оправдалось.

Пришлось уйти не солоно хлебавши. Признаюсь, меня охватило мрачное предчувствие, что дело как будто неладно. Вдобавок, в надежде на получение гонорара, я издержал последние гроши и сейчас не имел денег даже на конку. Пришлось шагать пешком к Таврическому саду. «Только редактор» оказался дома и принял меня с изысканной любезностью.

— Поздравляю... Это ваш первый опыт, кажется?

— Да, первый...

— Вы, конечно, понимаете, что он мог бы быть и лучше, но первому блину многое прощается...

Эта развязность «только редактора» немного кольнула меня, и я без предисловий перешел к вопросу о гонораре.

— Я уже вас предупреждал, что я только редактор и в хозяйственную часть журнала не вмешиваюсь. Я такой же сотрудник, как и вы...

— Послушайте, от кого же я могу получить сведения о сроке получения гонорара? Для меня это очень важный вопрос... При редакции полагается обыкновенно контора.

— Да, да... Но у нас дело новое, и пока никакой конторы не существует, а ее совмещает в себе Райский. Он немножко легкомысленный человек и не признает никаких сроков...

Одним словом, я вернулся ни с чем, кроме тяжелого предчувствия, что мой первый блин выйдет комом. Мое положение было до того скверное, что я даже не мог ничего говорить, когда в трактире Агапыча встретил «академию». Пепко так и сверлил меня глазами, изнемогая от любопытства. Он даже заглядывал мне в карманы, точно я по меньшей мере спрятал Голконду. Меня это взорвало, и я его обругал.

— Ты глуп до святости, мой друг.

— Послушай, это не по-товарищески — скрывать сокровище.

— Убирайся к черту!..

Пепко почувствовал, что стряслась какая-то беда, и в качестве истинного друга тайно торжествовал. Фрей хмурился и старался не смотреть на меня. Это было скверным знаком... Наконец, он отвел меня в сторону и конфиденциально сообщил:

— А знаете, этот Райский просто мазурик, из мелких клубных шулеров. Я слишком поздно узнал... Необходимо действовать энергично.

Я рассказал свой первый «опыт», и брови Фрея приняли угрожающее положение, а трубочка захрипела.

На следующий день я, конечно, опять не застал Райского; то же было и еще на следующий день. Отворявший дверь лакей смотрел на меня с полным равнодушием человека, привыкшего и не к таким видам. Эта скотина с каждым разом приобретала все более и более замороженный вид. Я оставил издателю письмо и в течение целой недели мучился ожиданием ответа, но его не последовало.

— Возьмите рукопись, и ну их к черту! — советовал Фрей.

— Это неудобно: может быть, и заплатят!

Брови Фрея сильно сомневались в возможности такого исхода, а мне в утешение оставалась только вера, — не хотелось расстаться с блестящей иллюзией.

«Только редактор» был постоянно дома и вечно что-то такое строчил. Он старался успокоить меня разными остроумными предположениями, не забывая выгораживать свою личную неприкосновенность.

— Да, мы разделяем общую участь, — повторял он. — Вы видите, что я постоянно работаю. Одних рукописей сколько приходится перечитывать, а потом поправлять их.

— А как вы думаете, Райский заплатит что-нибудь?

Этот вопрос заставил руки «только редактора» раскинуться в такой форме, точно я пригвождал его ко кресту.

— Могу сказать только про себя и о себе, что я... Знаете французскую поговорку: «La plus jolie fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a» [1].

Поговорку я слышал в первый раз, и она стоила мне около пятисот рублей.

«Только редактор» для меня лично навсегда остался неразрешимой загадкой, как шестой палец. Он имел специальное образование, знал три языка, где-то служил и кончил тем, что сделался редактором сомнительного журнала «Кошница». Можно проследить даже периоды появления таких никому не нужных журналов, которые разделяют печальную участь писем, отправленных без адреса. Какими путями зарождается мысль о таких журналах, как они осуществляются и как находятся люди, которые решаются отдавать им и деньги, и труд, и энергию? Впоследствии я встречал много таких людей, которые как-то бочком всю жизнь проведут «около литературы». Замечательно то, что именно эти люди с особенной беззаветностью преданы литературе и для нее готовы пожертвовать всем. Впрочем, есть целая категория так называемых «друзей артистов», и к ней примыкают «друзья литературы». В этой пестрой и оригинальной среде много лишнего, и подчас сюда вторгаются даже совсем нежелательные элементы, как издатель Райский.

---

[1] «Даже самая красивая девушка не может дать больше того, чем она располагает» *(франц.)*.

Опыт с «Кошницей» имел для меня только то значение, что послужил предостережением не делать таких опытов в другой раз.

XXIX

Сгоряча я было махнул рукой на свои «Удары судьбы», но Фрей смотрел на дело иначе.

— Нет, так нельзя, — упрямо повторял он. — С какой стати каким-то прохвостам бросать пятьсот рублей? Мы испортим им характер...

— Что же делать?

— А к мировому!

— Знаете, как-то неудобно начинать литературную деятельность с прошения к мировому.

— Вздор! Я сам пойду за вас... Так нельзя, государь мой! Это грабеж на большой дороге...

Мне было тяжело и обидно даже думать о таком обороте дела, и я употреблял все усилия, чтобы кончить дело миром. Опять начались бесплодные хождения к «только редактору», который ударял себя в грудь и говорил:

— Посмотрите на меня: я работаю больше вас и тоже ничего не получаю.

— Это, во-первых, дело вкуса, а во-вторых — плохое утешение для меня.

— Нет, извините, чужие несчастия — наше лучшее утешение. Мы — друзья по несчастию.

Когда я намекнул относительно вчинения иска законным порядком, «только редактор», видимо, струсил и вручил мне двадцать пять рублей.

— Ага, я говорил!... — торжествовал Фрей. — Впрочем, первая ласточка еще не делает весны... И мы все-таки вчиним иск, черт меня побери!..

Мне дорого обошлась эта «первая ласточка». Если бы я слушал Фрея и вчинил иск немедленно, то получил бы деньги, как это было с другими сотрудниками, о чем я узнал позже; но я надеялся на уверения «только редактора» и затянул дело. Потом я получил еще двадцать пять рублей, итого — пятьдесят. Кстати,

это — все, что я получил за роман в семнадцать печатных листов, изданный вдобавок отдельно без моего согласия.

А жизнь шла своим чередом, загромождая путь к славе бесплодным камением и евангельскими терниями. В неудаче с первым романом я начинал видеть достойную кару за сделку с совестью. А не пиши романов для сомнительных изданий, не имей дела с сомнительными людьми... Человек, наделавший ошибок и глупостей, с трогательной настойчивостью предается отыскиванию истинного виновника, а в данном случае он был налицо, это — я сам. Следующим моментом этой философии впавшего в ошибку человека является скромное желание искупить ее деянием противоположного характера, покрывающего содеянное прегрешение. Да, нужно было искупление, нужна очистительная жертва... А она была тут, налицо. Я добыл заброшенные рукописи и принялся их перечитывать с жадностью. Да, в них было и чистое и хорошее, то, для чего сто̀ит жить, а главное — нет принижающего подлаживанья к кому-то и чему-то. Много незрелого, вымученного, придуманного и все-таки хорошего. Я с какой-то жадностью перечитывал свой первый роман, потерпевший фиаско уже в двух редакциях, и невольно пришел к заключению, что ко мне там были несправедливы. Один редактор «толстого журнала» говорил, что слишком много описаний и мало сцен, а другой — что описаний мало. Где же правда? Кстати, я припомнил Пепку, который серьезно верил в мой талант и предсказывал даже литературную будущность. Милый Пепко... Он пока один ценил меня... Что же, другие потом убедятся, как они ошибались, то есть даже не ошибались, а просто не заметили, какой умный человек замешался среди них. И умный и талантливый... Да, работать, работать, работать! К черту все сомнения!.. Хотя, с другой стороны, если подумать, что в России сто миллионов населения, что интеллигенции наберется около миллиона, что из этого миллиона в течение десяти лет выдвинется всего одно или, много, два литературных дарования, — нет, эта комбинация приводила меня в отчаяние, потому что приходилось

самого себя считать избранником, солью земли, тем счастливым номером, на который падает выигрыш в двести тысяч. Нет, выиграть двести тысяч даже легче (два раза в год можно выиграть), чем сделаться писателем. А сколько тысяч неудачников, ожесточенных самолюбий, озлобленных умов и неудовлетворенных самомнений на этом тернистом пути — настоящий дремучий лес! А какая масса растрачивается никому не нужного труда, энергии, лучших чувств, просто физической силы, чтобы получалась вся эта мякина и шелуха!

Эти предварительные родовые схватки творческих мук доводили меня до отчаяния. Я хватался за перо и начинал писать, чтобы потом уничтожить написанное. Выступала другая сторона дела: существует русская литература, немецкая, французская, итальянская, английская, классическая, целый ряд восточных, — о чем не было писано, какие вопросы не были затронуты, какие изгибы души и самые сокровенные движения чувства не были трактованы на все лады! Я перебирал классические произведения и приходил к печальному заключению, что все уже написано и что я родился немного поздно. Что можно было сказать нового на этом пире избранников? Какое новое слово можно принести в этот мир князей мысли? Наконец, каждый человек является продуктом своего времени, своих обстоятельств, условий своей жизни... Да, хорошо писать заграничному автору, когда там жизнь бьет ключом, когда он родится на свет уже культурным, когда в самом воздухе висит эта культурная тонкость понимания, — одним словом, этот заграничный автор несет в себе громадное культурное наследство, а мы рядом с ним нищие, те жалкие нищие, которые прячут в тряпки собранные по грошикам чужие двугривенные. Много ли у нас своего? Ведь лучшие наши произведения — только подражания, более или менее удачные, лучшим заграничным образцам... Да иначе и не могло быть, потому что у нас, собственно, и жизни нет. Автор должен ее придумывать, прикрашивать, сдабривать вот эту несуществующую жизнь... Я прикинул свое собственное «поле зрения» и пришел в ужас.

Да разве можно быть автором, заживо похоронив себя в каких-нибудь «Федосьиных покровах»? Здесь можно только задыхаться, и ни одна здоровая мысль не пробьется в эту проклятую дыру, а чувства должны атрофироваться, как атрофируются глаза рыб, попавших в подземные озера.

Позвольте, да и это все уже давно сказано лучшими русскими людьми, сказано талантливо, убедительно, красиво! Неужели ново только то, что хорошо позабыто? «Несовершенство» нашей русской жизни — избитый конек всех русских авторов, но ведь это только отрицательная сторона, а должна быть и положительная. Иначе нельзя было бы и жить, дышать, думать... Где эта жизнь? Где эти таинственные родники, из которых сочилась многострадальная русская история? Где те пути-дороженьки и роковые росстани (направо поедешь — сам сыт, конь голоден, налево — конь сыт, сам голоден, а прямо поедешь — не видать ни коня, ни головы), по которым ездили могучие родные богатыри? Нет, жизнь есть, она должна быть...

Я писал, перечитывал написанное и рвал.

Действительность выражалась в редком хождении на лекции и в репортерстве. Тут еще ярче выступала печальная истина, что мы плетемся в хвосте Европы и питаемся от крох, падающих со стола европейской науки. Наши ученые имена не шли дальше добросовестных компиляций, связанных с грехом пополам собственной отсебятиной. Исключений было так мало, а остальное подавляющее большинство представляло ту жалкую посредственность, которая заклеймена в Вагнере у Гете. Мое репортерство открывало мне изнанку этой русской науки и тех лилипутов, которые присосались к ней с незапамятных времен. По своим обязанностям репортера я попал на самые боевые пункты этой ученой трагикомедии и был au courant[1] русской доброй науки. Свои отчеты я попрежнему приносил в трактир Агапыча, где попрежнему священнодействовал Фрей. Я искренне полюбил этого фанатика газетного дела, — только такими людьми и держится

[1] в курсе *(франц.)*.

мир. Кроме газеты, для него ничего не существовало, и он всегда был на своем посту.

— А, черт... — ругался однажды Фрей, просматривая телеграммы.

— Что такое случилось?

— А вот, полюбуйтесь...

Фрей ткнул пальцем на телеграммы о герцеговинском восстании. Я не понял его негодования.

— Что же тут дурного, полковник? Люди хотят освободиться от ига... Турецкие зверства, наконец...

— Э, батенька, стара штука... А скверно то, что вот из таких пустяков загораются большие события. Да... Там этих братушек сколько угодно: сербы, болгары, Македония. Ну, мы заступимся за них, загорится война — вот вам, то есть нам, репортерам, и мат. Кто будет читать наши ученые общества и разные известия о пожарах, убийствах, банковых крахах и юбилеях? Ложись и умирай... Публику хлебом не корми, а только подавай войну. Вот на этом самом теперь все газетчики и наигрывают, кроме «Нашей газеты». Одним словом, дрянь дело. Порохом пахнет...

Фрей предсказал войну, хотя знал об истинном положении дел на Балканском полуострове не больше других, то есть ровно ничего. Русско-турецкая война открыла нам и Сербию и Болгарию, о которых мы знали столько же, сколько о китайских делах. Русское общество ухватилось за славян с особенным азартом, потому что нужен же был какой-нибудь интерес. Сразу выплыли какие-то никому не известные деятели, ораторы, радетели и просто жалобные люди, взасос читавшие последние известия о новых турецких зверствах.

Фрей находился в каком-то ожесточенном настроении и с особенным удовольствием ухватился за мое дело, как я ни уговаривал его бросить.

— Нет, постой, так нельзя... — мрачно говорил он, запрятывая в карман полученную от меня доверенность. — Этак с живого человека будут кожу драть, а он будет «покорно благодарю» говорить.

Подано было прошение мировому судье, и к делу приобщены три книжки «Кошницы», в которых печа-

тался мой роман. Я был в камере только публикой. Со стороны Райского никто не явился, и мировой судья присудил Василию Попову четыреста пятьдесят шесть рублей. Это решение было обжаловано Райским, и дело перешло в съезд мировых судей. Дальше мне было совестно беспокоить Фрея; через две недели я выступил в съезде уже лично. Съезд утвердил решение мирового судьи, потому что противная сторона опять не явилась, и я получил исполнительный лист.

— Так-то будет лучше, — торжествовал Фрей, перечитывая этот ценный документ. — Мы им покажем.

Однако нам так и не удалось «им показать», потому что Райский скрылся из Петербурга неизвестно куда, а имущество журнала находилось в типографии. Судебный пристав отказал производить взыскание, так как не было ни редакции, ни конторы, ни склада изданий... В течение восьми недель я ходил в съезд с своим исполнительным листом, чтобы разрешить вопрос, но непременные члены только пожимали плечами и просили зайти еще. Наконец, нашелся один добрый человек, который вошел в мое положение.

— Вы давно ходите к нам с этим исполнительным листом?

— Да вот уже два месяца...

— Да? Знаете, что я вам посоветую: бросьте это дело... Все равно ничего не выйдет.

— Я сам начинаю об этом догадываться...

— Да, да...

Фрей даже зарычал, когда я предложил свой исполнительный лист ему на память. Он хотел еще куда-то жаловаться, искать местожительство Райского и т. д., но я его уговорил бросить всю эту комедию.

— Послушайте, я считал вас умнее, Попов...

— Что делать: таков уродился.

Пепко, узнавший об исходе дела, остался совершенно равнодушен и даже по своему коварству, кажется, тайно торжествовал. У нас вообще установились крайне неловкие отношения, выход из которых был один — разойтись. Мы не говорили между собой по целым неделям. Очевидно, Пепко находился под

влиянием Анны Петровны, продолжавшей меня ненавидеть с женской последовательностью. Нет ничего хуже таких отношений, особенно когда связан необходимостью прозябать в одной конуре.

— Послушай, ты должен быть мне благодарен, — заметил Пепко, принимая какой-то великодушный вид. — Да, благодарен. Ведь я мог бы тебе сказать, что все это можно бы предвидеть и что именно я это предвидел и так далее. Но я этого не делаю, и ты чувствуй.

XXX

Все эти треволнения, усиленная работа и не менее усиленное пьянство привели меня к естественному концу. Кстати, о пьянстве. Может быть, я начал именно с того, чем должен кончить русский писатель. Я уже говорил выше об условиях работы и образе нашей жизни. С семи часов вечера я обыкновенно уходил на работу, то есть в заседание какого-нибудь общества. Домой возвращаться приходилось уже поздно, в полночь. Затем Федосья будила меня в шесть часов утра. Нужно было написать отчет к восьми часам и немедленно снести в редакцию, то есть трактир Агапыча. В своей специальности я уже набил руку и вполне усвоил репортерскую привычку писать о совершенно незнакомых вещах с развязностью завзятого специалиста. Обвинять же репортерское незнание, пожалуй, несправедливо, потому что поневоле приходится репортеру писать обо всем, а маленькая газетная кляча не обязана быть Гумбольдтом.

Итак, мы работали, работали и пили. Приходишь к Агапычу, Фрей на своем посту и кто-нибудь из членов «академии». Такое деловое утро начиналось обыкновенно с водки. Трактирный «человек» даже не спрашивал, что нужно, а без предупреждения подавал графинчик водки. Фрей методически выпивал две рюмки, закусывал водку соленым огурцом, нюхал корочку черного хлеба и делался нормальным Фреем. Я водки с утра не мог пить, а спрашивал себе бутылку пива. Это быстро вошло в привычку. Начинал сосать пьяный

червячок, если не выпьешь своей порции. Выпитое натощак пиво быстро дурманило, и вместе с тем чувствовалось какое-то облегчение, — совершенно особенное чувство, какое испытывается при прекращении зубной боли. В первый момент не верится, что эта боль утихла, и как-то повторяешь ее про себя и только потом привыкнешь быть попрежнему здоровым. Так и при пьянстве: количество выпитого не играет здесь особенной роли, потому что большая или меньшая «приемность» слишком субъективна. Выпив свою бутылку пива, я всегда испытывал приятное возбуждение, точно снимал с себя какую-то тяжесть. Затем этого заряда энергии начало недоставать, и пришлось пить другую бутылку. И так изо дня в день. Мысль о выпивке являлась с раннего утра. Я сознавал, что это нехорошо, что это вредно, глупо, и все-таки повторял свои порции. Молодой организм быстро поддается излишествам. Вечером являлась выпивка уже не в счет и в неопределенных размерах. Если не было заседания, я все чаще и чаще возвращался домой сильно под хмельком.

Настоящей многолетней привычки еще не могло быть, но пьянство было. Про себя я утешался рассуждением каждого пьяницы, что вот возьму и брошу, а сегодня это только так, пока. Сколько людей на Руси гибнет от жестокого пьянства, а между тем, чего, кажется, проще отказаться от *одной* рюмки, всего от одной. Я быстро пошел по избитой дорожке и усвоил эту пьяную логику. К моему счастью, явился протест со стороны организма, что меня и спасло от окончательного падения. Началось с простого недомогания, бессонницы, плохого аппетита и лихорадки. Я не обращал на такие пустяки внимания и старался избавиться от них усиленной дозой напитков. Наконец, все завершилось кризисом, и в одно прекрасное утро я почувствовал, что серьезно болен и что продолжать прежний образ жизни невозможно. Это было органическое темное чувство, вызывавшее страшную тяжесть, апатию и неспособность к какой бы то ни было работе.

Странная вещь болезни вообще, и у них есть своя философия. По крайней мере это было верно лично

для меня. Сколько передумаешь, перечувствуешь и переживешь в течение какого-нибудь одного дня. Первым ощущением у меня являлось то, как будто какая-то невидимая рука взяла тебя и вывела из круга здоровых людей. С каждым ударом сердца эта отчужденность усиливалась, и с роковой быстротой увеличивалось расстояние, отделявшее тебя от жизни. Теперь все сосредоточивалось где-то там, внутри, где незримо работала какая-то разрушительная сила. Еще вчера был здоров и не думал о здоровье, а сегодня уже пронеслась в воздухе грозная мысль об уничтожении, о смерти, о собственной ничтожности. Все, что делал, к чему стремился, о чем заботился, все это теперь являлось в совершенно другом свете. В самом деле, какое ничтожество каждый отдельный человек, взятый только сам по себе, и как мало дела всем остальным ничтожествам, если одним ничтожеством сделается меньше. От больных не сторонятся только из вежливости, из вежливости выслушивают их жалобы и очень рады, когда могут опять вернуться в общество своих здоровых людей. Все это я с особенной яркостью видел на моем друге Пепке и не обвинял его, потому что сам, вероятно, сделал бы то же самое.

Да, я лежал на своей кушетке, считал лихорадочный пульс, обливался холодным потом и думал о смерти. Кажется, Некрасов сказал, что хорошо молодым умереть. Я с этим не мог согласиться и как-то весь затаился, как прячется подстреленная птица. Да и к кому было идти с своей болью, когда всякому только до себя! А как страшно сознавать, что каждый день все ближе и ближе подвигает тебя к роковой развязке, к тому огромному неизвестному, о котором здоровые люди думают меньше всего.

Но я ошибался. За мной следила смешная и нелепая по существу женщина Федосья. Мы с ней периодически враждовали и ссорились, но сейчас она видела во мне больного и отнеслась с чисто женским участием. Получалась трогательная картина, когда она приносила то чашку бульона, то какие-то сухари, то кусок жареной говядины.

— Что вы все лежите, Попов?.. — ворчала она. — Пошли бы прогуляться, а то одурь возьмет... Вон ночью как сегодня кашляли!

— Ничего, пройдет...

— А отчего вы в клинику не хотите сходить?

— Незачем...

К клинике Федосья возвращалась с особенной настойчивостью, и это меня начинало злить.

— Вам хочется избавиться от меня, — заметил я ей довольно грубым тоном. — Боитесь, что я умру у вас...

Федосья что-то прибирала в нашей комнате, остановилась и с удивлением посмотрела на меня. Она не обиделась, а только удивилась. Я ей платил черной неблагодарностью за ее женскую доброту. В другое время она ответила бы соответствующей же грубостью, но сейчас только посмотрела на меня такими жалеющими добрыми глазами. Мне сделалось совестно, и я в первый раз подумал, что вот живу у Федосьи скоро два года, а ни разу даже не подумал, что это и хорошая и, главное, добрая женщина. Да... А когда я умру, она, может быть, одна проводит меня на кладбище, искренне поплачет над могилой и будет по-женски хорошо жалеть. Она и сейчас жалела, хотя и надоедала своей клиникой. Да, мне сделалось совестно, и я посмотрел на эту смешную Федосью совсем другими глазами.

Убедившись, что с клиникой ничего не поделаешь, Федосья обратилась к другим средствам. Она недолюбливала жиличку Анну Петровну, в которой ревновала женщину, но для меня примирилась с ней. Я это сразу понял, когда в одно непрекрасное февральское утро Анна Петровна постучала в дверь моей комнаты и попросила позволения войти.

— Пожалуйста...

Девушка вошла с немного сконфуженным видом, вероятно, припоминая нашу ссору из-за Любочки.

— Вы больны, Попов?

— Да, что-то нездоровится... Так, пустяки.

— Какие же пустяки... Вы ничего не будете иметь, если я вас выслушаю?

— Вы, кажется, начинаете смотреть на меня, как на медицинский препарат?

Медичка строго сложила губы и сделала вид, что не расслышала моего ответа.

— Впрочем, как хотите... — поправился я. — Вам полезно поупражняться в перкуссии...

— Да, да, именно полезно.

Я отдался в ее распоряжение и стал вслушиваться в постукиванье молотка, который разыгрывал на моей груди оригинальную мелодию. Левое легкое было благополучно, нижняя часть правого тоже, а в верхушке его послышался характерный тупой звук, точно там не было хозяина дома и все было заперто. Анна Петровна припала ухом к пойманному очагу и не выдержала, вскрикнув с какой-то радостью:

— *Взвизгивает*... да, совершенно ясно *взвизгивает!*..

Она радовалась, как охотник, выследивший интересную дичь, и совершенно забыла обо мне. Я отлично понимал, что означает этот медицинский термин, и почувствовал, как у меня перед глазами заходили темные круги и «Федосьины покровы» точно пошатнулись. Я очнулся от легкого обморока только благодаря холодной воде, которой меня отпаивала Анна Петровна.

— Ничего... это бывает... — бормотала она смущенно. — Если уехать в Крым и взять там весну...

— Еще лучше, если уехать в Ментону... да. У меня притупление правого легкого?

— Да...

— Приятное открытие...

— Проклятый петербургский климат...

— И многое другое... Впрочем, очень благодарен вам.

— Необходимо урегулировать питание... хорошее вино... легкий моцион...

— Послушайте, не будем говорить об этом, Анна Петровна... У меня в кармане ровно двугривенный, а работать сейчас я не могу. Впрочем, все это пустяки...

Притупление легкого — это начало форменной чахотки. Из ста случаев один шанс остаться в живых, особенно когда в кармане двугривенный. Вот когда пригодились бы пропавшие за Райским деньги. Да, это

был почти смертный приговор, а остальное все придет само собой в свое время. И время стояло проклятое: конец февраля. До петербургской кислой весны было еще далеко. Меня охватило вполне понятное отчаяние... Благодаря занятиям в медицинской академии я отлично знал, как систематически пойдет весь процесс, пока из живого человека не получится cadaver [1]. Неужели все кончено и нет спасения? Я носил уже смерть в собственной груди, и будущее заключалось только в постепенном разложении живого тела. Молодой неокрепший организм так быстро реагирует в таких случаях, и пламя жизни потухает, как те светильники, в которые евангельские девы позабыли налить масла.

О, как я помню эту ужасную ночь!.. Это была ночь итога, ночь нравственной сводки всего сделанного и мук за несделанное, непережитое, неосуществленное. Прежде всего больная мысль унесла меня на родной благодатный юг, под родную кровлю. Да, там еще ничего не знают, да и не должны ничего знать, пока все не разрешится в ту или другую сторону. Бедная мать... Как она будет плакать и убиваться, как убивались и плакали те матери, детьми которых вымощены петербургские кладбища. Приехать домой больным и отравить себе последние дни видом чужих страданий — нет, это невозможно. Тем более что во всем виноват я сам, и только я сам. Моя болезнь — только результат беспутной, нехорошей жизни, а я не имею права огорчать других, получая достойную кару за свое недостойное поведение.

Да, я по косточкам разобрал всю свою недолгую жизнь и пришел к убеждению, что еще раз виноват сам. Одно пьянство чего стоило и другие излишества! Если бы можно было начать жить снова... Неужели нет спасенья и со мной умрет все будущее? По скрытой ассоциации идей я припомнил Александру Васильевну, какой я видел ее на балу. Ведь это было так недавно, чуть не на днях... Да, она такая молодая, свежая, полная сил... На меня смотрели эти чудные

---

[1] труп (*лат.*).

девичьи глаза, а в них смотрело счастье, любовь и целый ряд детских глаз — да, глаза тех наших детей, в которых мы должны были продолжиться и которых мы никогда-никогда не увидим. Мне безумно захотелось видеть ее и сказать, как я ее любил, как мы были бы счастливы, как прошли бы всю жизнь рука об руку... Разве написать ей? Может быть, она приедет...

А кругом стояла немая ночь. В коридоре почикивали дешевенькие стенные часы. Кругом темнота. Такая же ночь и на душе, а вместо дешевеньких часов отбивает такт измученное сердце. Я садился на своей кушетке и смотрел в темное пространство, из которого выступал целый ряд картин. Голые ноги повесившегося канатчика, пьяная улыбка Порфира Порфирыча, заплаканные глаза Любочки... Меня охватывала мучительная жажда жизни, именно — жажда. Я не хочу умирать... слышите?.. Я хочу жить, любить, работать, давать жизнь другим. Не правда ли, я ведь еще так молод, и это было бы величайшей несправедливостью — умереть на рассвете жизни. Я, наконец, не настолько испорченный человек, чтобы не мог исправиться. Ведь живут же никому не нужные старики и старухи, калеки и нищие, разбойники и просто негодяи, безнадежные пьяницы и совсем лишние люди? Зачем именно я должен умереть?..

XXXI

Болезнь с неудержимой быстротой шла вперед. Я уже решил, что все кончено. Что же, другие умирают, а теперь моя очередь, — и только. Вещь по своему существу не только обыкновенная, но даже прозаичная. Конечно, жаль, но все равно ничего не поделаешь. Человек, который, провожая знакомых, случайно остался в вагоне и едет совсем не туда, куда ему нужно, — вот то ощущение, которое меня преследовало неотступно.

Но я не был один. Федосья зорко следила за мной и не оставляла своими заботами. Мне пришлось тяжелым личным опытом убедиться, сколько настоящей

хорошей доброты заложила природа в это неуклюжее и ворчливое существо. Да, это была добрая женщина, не головной добротой, а так, просто, потому что другой она не умела и не могла быть.

— А я вам парного молока добыла... — как-то конфузливо-сурово сообщала Федосья, глядя куда-нибудь в сторону. — У дворника есть курицы, так тоже скоро нестись будут. Свежее яичко хорошо скушать. Вот если бы красного вина добыть...

На последнем пункте политическая экономия Федосьи делала остановку. Бутылка вина на худой конец стоила рубль, а где его взять... Мои ресурсы были плохи. Оставалась надежда на родных, — как было ни тяжело, но мне пришлось просить у них денег. За последние полтора года я не получал «из дома» ни гроша и решился просить помощи, только вынужденный крайностью. Отец и мать, конечно, догадаются, что случилась какая-то беда, но обойти этот роковой вопрос не было никакой возможности.

Кроме физической стороны, Федосью занимала и психология болезни. Она решила про себя, что мне вредно оставаться одному, с неотвязной мыслью о своей болезни, и старалась развлекать меня, что оказалось труднее вопросов питания. По вечерам Федосья приходила в мою комнату, становилась у двери и рассказывала какой-нибудь интересный случай из своей жизни: как ее три раза обкрадывали, как она лежала больная в клинике, как ее ударил на улице пьяный мастеровой, как она чуть не утонула в Неве, как за нее сватался пьянчуга-чиновник и т. д. О себе она говорила, как о постороннем человеке, и все эти воспоминания сводились обязательно на что-нибудь неприятное. Вся жизнь Федосьи составляла одну сплошную неприятность. Когда этот личный материал исчерпался, Федосья перешла к жильцам, и я мог только удивляться ее наблюдательности. Она, как оказалось, отлично понимала бедствовавшую в ее конурах молодость и делала меткие характеристики. Впрочем, чужие злоключения и ошибки Федосья понимала по личному горькому опыту.

Раз Федосья заявилась с бутылкой дешевенького красного вина. Заметив мой недовольный взгляд, она поспешила оправдаться:

— Не мое вино-то... И бутылка почата... Это муж у Аграфены Петровны был именинник, так вино-то и осталось. Все равно так же бы слопали... Я как-то забежала к ней, ну, разговорились, ну, она мне сама и сует бутылку. А я не просила... Ей-богу, не просила. Она добрая...

Мне было совестно пользоваться любезностью почти совсем незнакомой женщины, тем более что у меня явилось подозрение относительно правдивости Федосьи. Наверно, она просила, а это являлось уже чуть не милостыней.

— Не хочу я вина... — решительно заявил я. — Не хочу, — и все тут.

Федосья отличалась большим упрямством и повела дело другим путем. В этот же день явилась ко мне сама Аграфена Петровна.

— Вы это что капризничаете? — напустилась она на меня без всяких предисловий. — Это я *сама* послала вам вино... Все равно испортилось бы. Я не пью, а мужу вредно пить. Одним словом, вздор...

Она осмотрела комнату и только покачала головой. На окне не было шторы, по углам пыль, мебель жалкая, — одним словом, одна мерзость. Мое девственное ложе тоже возбудило негодование Аграфены Петровны. Результатом этой ревизии явилось совершенно неожиданное заключение:

— Мы с вами будем играть в карты...

— Я не умею.

— А я научу. Будем играть в рамс... Я ужасно люблю. А вам необходимо развлечься немного, чтобы не думать о болезни. Сегодня у нас что? Да, равноденствие... Скоро весна, на дачу поедем, а пока в картишки поиграем. Мне одной-то тоже не весело. Сидишь-сидишь, и одурь возьмет. Баб я терпеть не могу, а одной скучно... Я вас живо выучу. Как жаль, что сегодня карт не захватила с собой, а еще думала... Этакая тетеря...

Аграфена Петровна была немного странная женщина и поражала неожиданными фантазиями. Одна из таких фантазий — ухаживать за «больным студентом». Хорошо было то, что она все делала как-то заразительно просто, с вечной улыбкой. На меня действовала больше всего именно эта простота. Так и пахнуло каким-то домашним теплом, уютным спокойствием и улыбающейся добротой. Каждое появление Аграфены Петровны сопровождалось какой-нибудь реформой: один раз переставлен был письменный стол, в другой — моя кушетка, в третий — стулья. Свою ненависть к Пепке она переносила и на его вещи и говорила: «Ну, этот и так живет»...

Вечера за картами проходили действительно веселые. Аграфена Петровна ужасно волновалась и доходила до обвинения меня в подтасовке. Кажется, в репертуар развлечения больного входили и карточные ссоры. В антракты Аграфена Петровна прилаживалась к столу, по-бабьи подпирала щеку одной рукой и говорила:

— Ну, рассказывайте что-нибудь... Вы ведь были влюблены в эту пухлявку Наденьку. Не отпирайтесь, пожалуйста, я все знаю... Рассказывайте. Я люблю, когда рассказывают про любовь... Ведь вы были влюблены? да?

— Да, но только не в Наденьку.

— А в кого? Хотите, я сама съезжу к ней с письмом?.. Она, наверно, не знает, что вы больны. О, как это хорошо — любить!.. Особенно когда весна, цветы, соловей... Вы любите луну? Когда я смотрю на луну, мне почему-то хочется плакать.

Эти разговоры вызвали во мне желание поделиться своей тайной. Все равно умру, и никто не узнает. Аграфена Петровна выслушала мою исповедь с широко раскрытыми глазами и в такт рассказа качала головой.

— И только? — удивилась она, когда я кончил.

— Что же вам еще нужно?

— Как что? Даже ни разу не поцеловать хорошенькой девушки? Да вы просто мямля и тюфяк... Вас никогда женщины не будут любить. Не может же

девушка первая броситься на шею к мужчине... Первый шаг должен сделать он.

— Я не хотел повторять историю с Любочкой...

— Что же, она сама виновата, если позволила себе слишком много. Есть известная граница... да. Не забывайте, что жизнь так и пройдет меж пальцев, а спохватитесь — уже поздно. Я вашего Пепку презираю, но он не теряет напрасно времени. Он — настоящий мужчина.

— Извините меня, но я вас не понимаю...

— А вы — мямля... Что же будет, если молодые люди не будут целовать девушек?.. Всё книжки да книжки, а когда же жить?.. Хотите, я съезжу к этой Александре Васильевне и привезу ее сюда? Адрес узнаю в адресном столе или у Наденьки.

— Нет, нет...

— Ну, это другое дело: значит, вы ее не любили по-настоящему. Если она любит, то приедет... Пешком придет и меня еще благодарить будет.

Мое здоровье ухудшалось с каждым днем. Особенно донимал холодный пот. Сидишь — и вдруг всего точно обольет холодной водой, а потом сейчас же наступало страшное бессилие. Я чувствовал, как жизнь выходила всеми порами и уничтожение близилось. Особенно тяжелы были бессонные ночи... Чего-чего не передумаешь в такую ночь! Обидно было то, что наступала весна, все готовились к ней, в газетах появились объявления о дачах... А там, на юге, уже совсем хорошо. Скоро тронутся реки, высыплет первая зеленая травка, весело запестреют первые цветы. Мысль о доме все чаще и чаще посещала меня, подрывая нежелание огорчать родную семью своей смертью на глазах у всех. Кажется, я решился бы уехать на юг, если бы не Аграфена Петровна.

Она явилась раз с известием, что наняла дачу.

— Будем вместе жить, — решила она за меня. — Я буду ухаживать за вами... У вас будет своя комната; я сама готовлю обед и откормлю вас. Все зависит от еды, а лекарства — пустяки...

— А где вы наняли дачу?

— В Третьем Парголове... Там отлично. Один Шуваловский парк чего стоит... Кстати, у вас там есть свои приятные воспоминания. Одним словом, все отлично...

Мне оставалось только благодарить за внимание. Оставалась надежда на чистый воздух начинавшейся Финляндской возвышенности. Да, там хорошо...

Я плохо помню, как время дотянулось до конца апреля. Взглянув на себя в зеркало, я даже испугался: это был какой-то живой скелет.

Мой друг Пепко совершенно забыл обо мне, предоставив меня своей участи. Это было жестоко, но молодость склонна думать только о самой себе, — ведь мир существует только для нее и принадлежит ей. Мы почти не говорили. Пепко изредка справлялся о моем здоровье и издавал неопределенный носовой звук, выражавший его неудовольствие:

— Да... Гм...

Он почти все время проводил в комнате у Анны Петровны и был счастлив.

Накануне отъезда Аграфена Петровна пришла собрать мои вещи и уложила все в чемодан. Вещей было так немного, а место еще оставалось. Она так посмотрела кругом, что мне показалось, что она и меня с удовольствием тоже уложила бы в чемодан. Я невольно засмеялся.

— Вы это чему смеетесь, мямля?

Она присела ко мне на кушетку, пощупала мой лоб, покачала головой, а потом быстро наклонилась и поцеловала прямо в губы с энергией, излишней для больных. Через ее плечо я видел, как в дверях показалась фигура Пепки и благочестиво скрылась.

XXXII

Перед самым отъездом на дачу ко мне завернула Любочка. Она имела самый несчастный вид: исхудала, пожелтела и не обращала даже внимания на свой костюм, — последняя степень женского отчаяния. Она даже не знала, зачем пришла, что ей нужно было

сказать и что делать. Это была тень живого человека. У меня сжалось сердце при виде убитой девушки. Все что-то делали, куда-то стремились, чего-то желали и на что-то надеялись; одна она была выкинута из этого живого круга, обреченная на специально женскую муку мученическую. Зашла в мою комнату, огляделась кругом с каким-то детским удивлением и присела на стул, позабыв даже поздороваться с хозяином.

— Как поживаете, Любочка?

— Я? не стоит говорить...

Она даже улыбнулась какой-то больной улыбкой. Я не знал, что говорить и что делать с ней. Ее безмолвное присутствие начинало меня тяготить. Есть известная граница, до которой чужое горе нас трогает, а дальше этой границы оно начинает раздражать, как плач или крик. Именно так и я посмотрел на Любочку. Что же в самом деле, ведь нельзя же заставить человека полюбить насильно! Я не оправдывал Пепку, но, с другой стороны, и Любочка разыгрывала трагедию не по нашему серенькому времени. Что такое любовь? Разве может быть любовь без взаимности? Представление об этом чувстве у меня, признаюсь, было довольно смутное, и я не мог понять, как это люди теряют голову и всякое самообладание. Опять является вопрос о границах... Потом мне было как-то совестно за Анну Петровну, являвшуюся в роли злой разлучницы. Как будто и нехорошо... Возникал неразрешимый вопрос о женском соперничестве, не предусмотренный никакими кодексами и сводами законов. Для меня ясно было одно, — именно, что Анна Петровна, охваченная эгоизмом собственного чувства, устраняла Любочку без всякого сожаления, и поэтому я смотрел на настоящую живую Любочку, сидевшую передо мной, с тем сожалением, на какое она имела право рассчитывать.

— Вам что-нибудь нужно, Любочка?

— Мне? Нет, ничего не нужно... Ах, нет, очень, очень нужно...

Любочка поднялась и кинулась мне в ноги.

— Уговорите Агафона Павлыча... Он вас послушает... — шептала она, заливаясь слезами. — Вы все знаете... Скажите ему...

— Любочка, встаньте...

— Не встану, если вы не пообещаете. Умру вот здесь... у вас... Ну, что вам стоит? Вы мне дайте честное слово, самое честное слово...

Несчастная ничего не понимала и ничего не желала понимать. Я ее насильно поднял, усадил и дал воды. У меня от слабости кружилась голова и дрожали ноги. Затем я, по логике всякой слабости, возненавидел Любочку. Что она ко мне-то пристает, когда я сам едва дышу? Довольно этой комедии. Ничего знать не хочу. До свидания... Любочка смотрела на меня широко раскрытыми глазами и только теперь заметила, как я хорош, — краше в гроб кладут.

— Я больше не буду, Василий Иваныч... — как-то по-детски покорно проговорила она, поднимаясь со стула. — Я уйду сейчас... Вы больны.

— Да, да, болен, черт возьми! Умираю, а вы ко мне лезете с вашими пустяками... Какое мне дело до вас? Зачем вы пришли ко мне?

Когда Любочка вышла, не простившись со мной, у меня начался пароксизм жестокой лихорадки. И опять этот пот... В последнее время начали появляться признаки апатии. Э, не все ли равно, когда ни умереть? Да и стоит ли жить вообще, когда столько гадостей кругом и когда в самом тебе эти же гадости таятся в зачаточном состоянии, потому что не выпало еще подходящего случая им реализоваться. И что такое смерть сама по себе? Во-первых — абсолютный покой, во-вторых — вопрос моей личной хронологии. Ведь все равно умирать когда-нибудь придется, сколько ни живи, и только одна иллюзия, что мне не нужно умирать и не нужно умирать именно сейчас, в данный момент. В болезнях есть своя философия.

На дачу я готовился переезжать в очень дурном настроении. Мне все казалось, что этого не следовало делать. К чему тревожить и себя и других, когда все уже решено. Мне казалось, что еду не я, а только тень того, что составляло мое *я*. Будет обидно видеть столько здоровых, цветущих людей, которые ехали на дачу не умирать, а жить. У них счастливые номера, а мой вышел в погашение.

Мой добрый гений Аграфена Петровна сама уложила мои вещи, покачивая головой над их скудным репертуаром. Она вообще относилась ко мне, как к ребенку, что подавало повод к довольно забавным сценам. Мне даже нравилось подчиняться чужой воле, чтобы только самому ничего не решать и ни о чем не думать. Это был эгоизм безнадежно больного человека. Ухаживая за мной, Аграфена Петровна постоянно повторяла:

— Андрей Иваныч всегда так делает... Андрей Иваныч это любит... Андрей Иваныч терпеть не может, чтобы кто-нибудь подходил к его письменному столу.

Одним словом, этот неизвестный мне Андрей Иваныч, казалось, наполнял всю вселенную и для Аграфены Петровны являлся чем-то вроде той атмосферы, которая окружает земной шар. Выражаясь фигурально, можно было подумать, что она дышала им. Я понимал только одно, что дома этот всеобъемлющий и всенаполняющий Андрей Иваныч являлся только дорогим гостем, а делала всю «домашность» одна Аграфена Петровна: она и дачу нанимала, и все укладывала, и перевозила на дачу весь скарб, и там все приводила в новый порядок, и делала все так, чтобы Андрею Иванычу было и удобно, и беззаботно, и хорошо. Разве Андрей Иваныч понимает что-нибудь в этих домашних дрязгах? Он лампы не умеет зажечь. Я почему-то вперед возненавидел этого трутня, который потерял всякий облик мужчины, как главы дома. Да, мужчина должен строить свое гнездо, оберегать и защищать его, а не сваливать всю работу на женские плечи. Меня возмущало это добровольное рабство Аграфены Петровны, и я понял, что в медичке Анне Петровне есть родственные черты: она точно так же ухаживала за своим Пепкой и так же его баловала. Одним словом, обе сестры принадлежали к типу тех женщин, которые создают культ мужчины и всю жизнь служат кому-нибудь. Несчастная Любочка принадлежала к этому же типу, хотя ей и выпал дурной номер...

Пепку я видел совсем мало. Между нами установились какие-то глупые, натянутые отношения. Я чувствовал, что он меня ненавидит, и понимал, что един-

ственным основанием этой ненависти было только то, что я все-таки оставался живым свидетелем его истории с Любочкой. Он видел во мне какой-то упрек себе и помеху своему счастью, и я уверен, что был бы рад моей смерти. О, Пепко был величайший эгоист, который думал, что мир скромно существует только для него! Перед моим отъездом он соблаговолил сказать мне несколько теплых слов:

— Всего лучшего, collega... Надеюсь, что ты не будешь терять даром своего маленького дачного времени. Аграфена Петровна такая добрая... Желаю успеха.

Это был намек на тот поцелуй, свидетелем которого невольно сделался Пепко. Он по своей испорченности самые чистые движения женской души объяснял какой-нибудь гнусностью, и я жалел только об одном, что был настолько слаб, что не имел силы проломить Пепкину башку. Я мог только краснеть остатками крови и молча скрежетал зубами.

— А ты куда помещаешь свою особу на лето? — спросил я, чтобы сказать что-нибудь.

— Не знаю еще хорошенько: в Павловск или в Ораниенбаум.

У Пепки были совершенно необъяснимые движения души, как в данном случае. Для чего он важничал и врал прямо в глаза? Павловск и Ораниенбаум были так же далеки от Пепки, как Голконда и те белые медведи, которые должны были превратиться в ковры для Пепкиных ног. По-моему, Пепко был просто маниак. Раз он мне совершенно серьезно сказал:

— Ты обратил внимание на мой профиль? Это профиль человека, который ездит на резине, имеет свои собственные дома, дачу в Крыму, лакея, который докладывает каждый день о состоянии погоды, — одним словом, живет порядочным человеком. По-моему, все зависит от профиля... Возьми историю Греции и Рима — вся сила заключалась только в профиле.

Забавнее всего было то, что профиль Пепки требовал серьезных поправок и даже снисхождения, но он серьезно гордился им и при разговоре часто поворачивал голову в три четверти, как настоящий актер.

Аграфена Петровна уехала на дачу раньше, чтобы окончательно все там приготовить. Я должен был тронуться с места только через два дня. Помню, как свежий весенний воздух пьянил меня и как моя голова кружилась в смертельной истоме. Я едва доехал до Финляндского вокзала, хотя до него было рукой подать. Весенняя дачная суета раздражала меня. Куда они все торопятся, о чем хлопочут, чему радуются, когда нужно только одно — чтобы не кружилась голова и не ныла зловеще грудь? Мне казалось, что вокзал — это моя собственная голова и что в этой собственной голове торопятся, бегут и кружатся все эти пассажиры. Я чувствовал, как все куда-то плывет, сливаясь в одну мутную полосу. Из этого забытья меня выводил какой-то неугомонный пассажир, жужжавший около меня, как осенняя муха. Это был мужчина в критическом возрасте, в котелке и золотом пенсне. Сначала он потерял свои вещи, потом свою даму в синей вуали, потом еще что-то — вообще он ужасно суетился, представляя своей особой типичный образчик дачного мужа. Дама в синей вуали, видимо, капризничала и говорила несчастному очень обидные и ядовитые вещи, потому что он делал умоляющее лицо и начинал виновато улыбаться, как только что наказанная собака. Чтобы искупить свои прегрешения, он пускался на отчаянное средство: навешивал на себя все картонки, узелки, пакеты и свертки, брал в руки саквояжи, подмышки два дамских зонтика и превращался в одного из тех фокусников, которые вытаскивают все эти вещи из собственного носа и с торжеством удаляются со сцены, нагруженные, как верблюды. Этот маневр бедняге удавался, и дама в синей вуали улыбалась. Мне эта немая сцена семейного дачного счастья порядочно надоела, и я хотел переменить место, чтобы избавиться от дачного мужа, начинавшего уже поглядывать на меня с заискивающей улыбкой человека, который вот-вот любезно заговорит с вами о погоде. Но мой маневр не удался. Я только что поднялся, как дачный муж остановил меня.

— Извините, пожалуйста... — бормотал он. — Если я не ошибаюсь, вы Василий Иваныч Попов?

— К вашим услугам...

— Представьте себе, я узнал вас по описанию жены... Ведь вы едете в Третье Парголово? Ваши вещи отправлены раньше? Видите, как я все знаю...

Мне оставалось только удивляться догадливости дачного мужа, который взял меня под локоть, таинственно отвел меня в сторону и проговорил шепотом:

— Имею честь представиться: Андрей Иваныч... Слышали?.. Хе-хе... До некоторой степени ваш хозяин, то есть я-то тут ни при чем, а все Агриппина, да. Так вот видите ли... гм... да... Я провожаю в Шувалово одну даму... да... моя дальняя родственница... да... Так вы того... В случае, зайдет разговор, ради бога не проболтайтесь Агриппине... Она такая нервная... Одним словом, вы понимаете мое положение.

— О, совершенно понимаю...

Дачный муж схватил меня за руку и крепко пожал ее, точно давал взятку.

— Мне сорок лет, и в эти года показаться смешным — смерть... — бормотал он, заискивающе улыбаясь. — Вы меня понимаете, одним словом...

Дама в синей вуали сделала демонстративное движение, и Андрей Иваныч бросился к ней с такой поспешностью, как бегут вытаскивать из воды утопающего.

Для начала встреча вышла недурная. Знаменитый Андрей Иваныч, не умевший зажечь лампы, проявлял настоящий талант вьючного животного. Эта чета повторяла с небольшими вариациями моих первых квартирных хозяев.

XXXIII

Я опять в Третьем Парголове. У нас исправляет обязанность дачи простая деревенская изба, оклеенная внутри дешевенькими дачными обоями... Мое помещение вверху, на чердаке, — летняя комната, — ужасно напоминает большой гроб, потому что потолок сделан именно гробовой крышкой. Ничего, скверно, особенно в холодные дни. Вся жизнь семьи Андрея Иваныча

выяснилась до мельчайших подробностей в несколько дней, как жизнь большинства петербургских чиновничьих семей. Дома Андрей Иваныч изображал из себя божка-мужчину и пользовался всеми привилегиями своего божественного состояния. Доходило до того, что «Агриппина» знала все его похождения и снисходила. Это унижение меня возмущало.

— Да ведь он мужчина? — удивлялась в свою очередь Агриппина. — У него каждый год новая привязанность... Но я совершенно спокойна, потому что знаю, что он никуда от меня не уйдет...

— Действительно, счастье большое, — иронически соглашался я.

— А как бы вы думали? О, вы совсем не знаете жизни... Потом, он ни одной ночи не провел вне дома. Где бы ни был, а домой все-таки вернется... Это много значит. Теперь он ухаживает за этой старой девой... Не делает чести его вкусу — и только.

Сам Андрей Иваныч в шутливом тоне очень любил поговорить о своей новой привязанности и даже требовал внимания Агриппины к ней. В одно прекрасное утро незнакомка в синей вуали сидела у нас на балконе и кисло улыбалась. Я только теперь хорошенько рассмотрел ее. Блондинка, с грязноватым цветом волос, лицо маленькое, покрытое веснушками, детская картавость и претензии на манеры женщины «из общества». Звали ее Анжеликой Карловной. Меня лично она возмущала, как живое воплощение всевозможной кислоты. Очевидно, желание познакомиться с Агриппиной было ее капризом, и Андрей Иваныч крутился, как береста на огне. Терпимость Аграфены Петровны меня тоже возмущала.

— О, у Агриппины своя политика! — объяснял мне конфиденциально Андрей Иваныч. — Ей нравится, что я нравлюсь женщинам... А это главное. Хе-хе... Анжелика в меня влюблена, как кошка.

Это было повторением мании Пепки, что все женщины влюблены в него. Но за Пепкой была молодость и острый ум, а тут ровно ничего. Мне лично было жаль дочери Андрея Иваныча, семилетней Любочки, которая должна быть свидетельницей мамашиного терпения и

папашиных успехов. Детские глаза смотрели так чисто и так доверчиво, и мне вчуже делалось совестно за бессовестного петербургского чиновника.

Мое здоровье быстро начало поправляться. Это было настоящее чудо, которому я был обязан только начинавшемуся финляндскому предгорию. Целые дни я проводил в Шуваловском парке, где дышал озонированным воздухом финляндского леса. Может быть, молодость брала свое, но я свое исцеление приписываю только парку. Да, я приехал сюда умирающим, а через две недели почувствовал уже облегчение и первый прилив сил: пораженная верхушка легкого начала рубцеваться. Я не верил, что спокойно начинаю спать, что у меня явился аппетит, что весь мир точно изменился сразу, а главное — на душе было так хорошо и радостно. Нужно иметь свою привычку даже к здоровью, как я убедился по личному опыту. Просыпаясь утром, я задавал себе целый экзамен и упорно подыскивал какие-нибудь признаки болезни. Но их не было, кроме слабости. Аграфена Петровна ухаживала за мной, как мать, и торжествовала. Я чувствовал постоянно на себе ее пристальный взгляд, и это внимание доставляло мне удовольствие. Иногда Аграфена Петровна начинала тревожиться и производила мне свой собственный экзамен: на первом плане аппетит, потом сон, потом настроение духа.

— Все болезни бывают от огорчений, — уверяла она совершенно серьезно. — Уж это верно... Как у человека неприятность, так он и заболевает. Я это знаю по себе.

Утром, напившись парного молока, я уходил в Шуваловский парк и гулял здесь часа три, вспоминая прошлое лето и отдаваясь тем юношеским мечтам, которые несутся в голове, как весенние облачка. И жутко, и хорошо, и какая-то смутная тоска охватывает... Я вспоминал Александру Васильевну, — где-то она теперь, бедная? — мне именно казалось, что она бедная и что я почему-то должен ее жалеть. Потом мне хотелось ее от чего-то защищать, утешить, приласкать — просто унести в какой-то неведомый край, где и светло, и хорошо, и цветут сказочные цветы, и поют

удивительные птицы, и поэтически журчат фонтаны, и гуляет «девушка в белом платье», такая чудная и свежая, как только что распустившийся цветок. Нет, хорошо жить! Мысль о смерти, как грозовая туча, унеслась далеко-далеко. Да, мы будем жить, девушка в белом платье, и вы живите, и все пусть живут, и пусть все любят друг друга. Не нужно слез, горя, нужды, неправды... Это радостное и восторженное настроение нарушалось только воспоминанием о бедном Порфире Порфирыче, — я именно теперь почему-то часто думал о нем и тоже жалел бедного старика, как Александру Васильевну. Вот он уже не увидит больше ни этого солнца, ни этой небесной синевы, ни зелени, ни цветов... Мысль о смерти теперь придавала особенно интенсивную окраску всему живому. Как коротка жизнь, как мало у каждого осталось впереди дней и как нужно ими пользоваться, чтобы не прожить даром. Я мечтал с открытыми глазами, подавленный этой жаждой жизни. Повторялись прошлогодние муки творчества, и мне иногда казалось, что я начинаю сходить с ума. Меня окружала уже целая толпа моих будущих героев и героинь, которым я дам жизнь. Я их уже чувствовал и почти видел, то есть видел опять самого себя в разных положениях. Я любил всех этих женщин, я им всем говорил такие хорошие слова, я объяснял им самих себя, и они отвечали мне такими благодарными улыбками, влюбленными взглядами, — да, они будут любить меня, ловить каждое мое слово и будут счастливы.

Переложить этот бред на бумагу, конечно, не было никакой физической возможности, и я ограничивался тем, что заносил отдельные сцены, характеристики и описания в свою записную книжку. Может быть, все это было смешно, но мне доставляло громадное наслаждение быть таким смешным мечтателем. Я идеализировал встречавшихся в парке дачников и в них продолжал свои мечты. Неужели можно удовлетвориться одной своей жизнью? Нет, жить тысячью жизней, страдать и радоваться тысячью сердец — вот где настоящая жизнь и настоящее счастье! В порыве такого

отождествления я раз машинально забрел на чужую дачу и очень сконфузился, увидев реальных людей.

Это возвышенное настроение совпадало с твердым намерением начать новую жизнь. Да, все старое кончено и никогда больше не повторится. Прощай, милая «академия», прощай, о ты, коварный друг Пепко!.. Я с ужасом припоминал последние два года, проведенные в этом милом обществе. Взять хоть прошлое пьяное лето с кутежами в «Розе» и разными дурацкими похождениями до пьяного безобразия включительно. Кончено, все кончено... Будем жить по-новому, по-другому. Я даже ни разу не прошел мимо своей прошлогодней избушки, не заглянул в «Розу», не полюбопытствовал, как живет во Втором Парголове «девушка в белом платье».

Раз я гулял в парке, занятый планом какой-то фантастической легенды, — мне было уже тесно в рамках обыкновенного существования обыкновенных смертных, — как меня окликнул знакомый голос. Я оглянулся и остолбенел: меня догонял Пепко. Он был в летнем порванном пальто и с газетой в руках, — признак недурной...

— Вася, постой...

— Пепко, ты ли это? Ведь ты живешь в Павловске?

— Как ты легкомыслен, мой друг... Кто живет в Павловске? Разжиревшая буржуазия, гнусные аристократы, бюрократы, гвардейцы, а я — мыслящий пролетариат. Представь себе, что я живу в двух шагах от тебя, — знаешь Заманиловку? Это по дороге к доброй фее... Я, брат, нынче шабаш: ни-ни. Запрещено все.

Пепко тревожно посмотрел в соседнюю аллею, где на скамейке виднелась женская фигура, и сбавил шагу.

— Я тоже шабаш, — признался я.

— Ты-то с какой стати? — укоризненно заметил Пепко и сделал неодобрительное движение головой. — Впрочем, всякий дурак по-своему с ума сходит.

Потом он остановился, трагическим жестом указал на скамью с женской фигурой и трагически проговорил:

— Видишь — скамья? Кажется, просто... На скамье сидит дама — кажется, еще проще? Да... А между тем это не скамья и не дама, а мое несчастье, моя погибель, моя могила. Да, да, да... Она, то есть дама, а не скамья, довела меня до того, что я разорвал самые священные узы дружбы, я готов был отречься даже от своей одной доброй матери... Она стоит над моей душой и сторожит каждую мысль, — одним словом, это самое ужасное из всех рабств... Вот сейчас я разговариваю с тобой, а сам трепещу... А чего боюсь? Боюсь, голубчик, этих слез, этих немых упреков, этого вечного домашнего сыска... Я больше не принадлежу себе, как не принадлежит самой себе какая-нибудь вещь домашнего обихода. Боже мой, как я завидую тебе, то есть твоей свободе! Я когда увидел тебя, первой мыслью было броситься, догнать и сказать: «Милый, родной, беги от женщины»... О, я знаю, что такое женщина! И знаешь, что в женщинах самое ужасное: они все напоминают друг друга, как дождевые капли. Образованная Анна Петровна делает то же самое, что делала глупенькая Любочка... Она меня ревнует даже к неодушевленным предметам, к моим тайным мыслям. А самое скверное то, мой друг, что Анна Петровна — умная, развитая, хорошая женщина... О, от этой, брат, никуда не уйдешь! Она, брат, все видит... Она создаст из жизни такую пытку, что позавидовал бы сам святой отец Игнатий Лойола. Знаешь, иногда я мечтаю, — потихоньку от нее мечтаю, — отчего я не женился на Федосье? Чтобы она, Федосья, была старая и рябая, и чтобы у нее был любовник, скверный солдат, и чтобы этот скверный солдат меня бил...

— Пепко, ты по своей привычке преувеличиваешь... Вероятно, какая-нибудь самая обыкновенная семейная ссоришка.

Пепко захохотал, а потом спохватился, закрыл рот рукой и даже спрятался за меня. Потом он взял меня за руку и повел назад.

— Пусть *она* там злится, а я хочу быть свободным хоть на один миг. Да, всего на один миг. Кажется, самое скромное желание? Ты думаешь, она нас не видит?.. О, все видит! Потом будет проникать мне в

душу — понимаешь, прямо в душу. Ну, все равно... Сядем вот здесь. Я хочу себя чувствовать тем Пепкой, каким ты меня знал тогда...

Мы сели. Пепко развернул свою газету, поискал что-то глазами и расхохотался, как это с ним случалось, — расхохотался без всякой видимой причины.

— На, читай... — ткнул он мне газету, отмечая ногтем столбец.

Газета трактовала о герцеговинском восстании и что-то такое о Сербии. Я за время своей болезни отстал от печатной бумаги и никак не мог понять, что могло интересовать Пепку.

— Ты не понимаешь? — удивлялся Пепко.

— Ровно ничего не понимаю...

— А независимость Сербии? Зверства турок? Первые добровольцы? И теперь не понимаешь? Ха-ха!.. Так я тебе скажу: это мое спасение, мой последний ход... Ты видишь, вон там сидит на скамейке дама и злится, а человек, на которого она злится, возьмет да и уйдет добровольцем освобождать братьев славян от турецкого зверства. Ведь это, голубчик, целая идеища... Я даже во сне вижу этих турок. Во мне просыпается наша славянская стихийная тяга на Восток...

— Ну, это будет не совсем на Восток.

— Э, не все ли равно!..

— Анна Петровна знает твои намерения?

— В том-то и дело, что ничего не знает... ха-ха!.. Хочу умереть за братьев и хоть этим искупить свои прегрешения. Да... Серьезно тебе говорю... У меня это клином засело в башку. Ты только представь себе картину: порабощенная страна, с одной стороны, а с другой — наш исторический враг... Сколько там пролито русской крови, сколько положено голов, а идея все-таки не достигнута. Умереть со знаменем в руках, умереть за святое дело — да разве может быть счастье выше?

— Однако Анна Петровна...

— Вот, вот... Что мне может сказать Анна Петровна, когда я в одно прекрасное утро объявлюсь пред ней добровольцем? Ведь умные-то книжки все за меня, а тут я еще поеду корреспондентом от «Нашей

газеты». Ха-ха... Ради бога, все это между нами. Величайший секрет... Я хотел сказать тебе... хотел...

Пепко как-то сразу сорвался с места и, не простившись со мной, бросился догонять уходившую Анну Петровну. Пепко был неисправим....

XXXIV

Славянский патриотизм Пепки мне показался для первого раза просто мальчишеской выходкой, одной из тех смешных штук, какие он любил выделывать время от времени. Но вышло гораздо серьезнее. Он дня через два после нашей встречи зашел ко мне и потащил в «Розу».

— Зачем идти в трактир? — слабо протестовал я. — Напились бы чаю у меня и потолковали...

— Нет, не могу, Вася. Мне нужен этот трактирный воздух... И чтобы трактир был такой, с грязцой: салфетки коробом, заржавленные, у лакеев фраки в пятнах, посуда разномастная, у буфетчика красный нос, — одним словом, полное великолепие. Да... Я ведь, кроме чая, ни-ни.

Последнему я позволил себе не поверить.

— Стакан чаю, — приказал Пепко грязному лакею и посмотрел на него таким вызывающим взглядом, точно спросил яду.

Мне доктор советовал для восстановления сил пить пиво, и стоицизм Пепки подвергался серьезному искусу. Но он выдержал свое «отчаяние» с полной бодростью духа, потому что страдал жаждой высказаться и поделиться своим настроением. На него нападала временем неудержимая общительность. Прихлебывая чай, Пепко начал говорить с торопливостью человека, за которым кто-то гонится и вот-вот сейчас схватит.

— Видишь ли, Вася... я много думал... Ночи даже не сплю. В самом деле, если разобрать: какая наша жизнь? Одно сплошное свинство... Мы даже любить не умеем, а только тянем один из другого жилы... Да... Мне просто опротивело жить, есть, дышать, смотреть.

Понимаешь: не хочу. Для чего я сейчас хлебаю вот это пойло? Неизвестно, а пойло негодное и ненужное. И все так... Мы всю жизнь именно делаем то, что нам не нужно. Я дошел до того, что эту ложь вижу даже в неодушевленных предметах: вот возьми хоть этот трактирный садишко — ведь деревья только притворяются деревьями, а в сущности это зеленые лакеи, которые должны прикрывать своей тенью пьяниц, влюбленные парочки и всякую остальную трактирную гадость. Понимаешь, я не верю вот этим зеленым листьям — они тоже лгут, потому что в сущности не листья, а черт знает что. Разве услужающий, буфетчик, тапер — люди? Мне кажется, что и стулья притворяются стульями, столы — столами, салфетки — салфетками и что больше всех притворяюсь я, сидящий на этих стульях и утирающий свою морду этими салфетками. Ты меня понимаешь?

— Порыв раскаяния в национальном стиле. Остается только выйти куда-нибудь на Красную площадь, подняться на высокое место лобное и оттуда раскланяться на все четыре стороны: «Прости, народ православный».

— Да, да, именно. Так делал Иван Грозный, Стенька Разин, Емелька Пугачев... Это наше. Ни Мария Антуанетта, ни Луишка Сез так не делали, когда их привели к гильотине. Да, это наше... И за этим, знаешь, что стоит: мучительнейшая жажда подвига, искупления. Ведь в каждом русском человеке сидит именно такой подвижник. Я нынче читаю жития русских угодников и вижу, что они в себе воплотили нашу исконную русскую покаянно-подвижническую черту. Это стихийная сила, с которой даже невозможно считаться. Они, подвижники, тоже ушли от окружавшего их свинства и мучительным подвигом достигли желаемого просветления, то есть настоящего, того, для чего только и стоит жить. И мне надоело жить, и я тоже мучительно ищу подвига, искупления...

— Одним словом, желаешь быть добровольцем?

— Да, да... Ты представь себе, что и другие тоже мучатся, как я, и тоже ищут подвига. Мы не знаем друг друга, но уже вперед делаемся братьями по душе.

— Извини, я сделаю одно замечание: большую роль в данном случае играет декоративная сторона. Каждый вперед воображает себя уже героем, который жертвует собой за любовь к ближнему, — эта мысль красиво окутывается пороховым дымом, освещается блеском выстрелов, а ухо слышит мольбы угнетенных братьев, стоны раненых, рыдания женщин и детей. Ты, вероятно, встречал охотников бегать на пожары? Тоже декоративная слабость...

— Ну, уж извини, пожалуйста. Тоже русская черта: по всякому поводу предаваться дешевенькому скептицизму. Ничего ты не понимаешь, Вася, и мне просто жаль, этак просто, по-хорошему жаль... Да, я могу ошибиться, я преувеличиваю, идеализирую, — все, что хочешь, но все-таки я переживаю известный подъем духа и делаюсь лучше.

В доказательство Пепко достал из кармана целую пачку вырезок из газет, в которых описывались всевозможные турецкие зверства над беззащитными. По свойственному Пепке деспотизму он заставил меня выслушать весь этот материал, рассортированный с величайшей аккуратностью: зверства над мужчинами, зверства над женщинами, зверства над детьми и зверства вообще. В нужных местах Пепко делал трагические паузы и вызывающе смотрел на меня, точно я только что приготовился к совершению какого-нибудь турецкого зверства.

— Вася, пойдем вместе, — закончил Пепко, бережно укладывая драгоценные материалы. — Ей-богу... А то ведь исподличаешься, очерствеешь, заржавеешь.

— Ты забываешь, что я только что начал поправляться. Кстати, что Анна Петровна?

— Пока она ничего не знает... Я ей который день читаю о зверствах. Знаешь, нужно подготовить постепенно. Только, кажется, она не из тех, которые способны признавать чужие горести. Она эгоистка, как ты и как все вы. Она, во всяком случае, не понимает моего настроения, а настроение — все.

— Еще один нескромный вопрос: что Любочка? Она перед отъездом на дачу приходила ко мне...

— Она, конечно, разыскала меня в Заманиловке и устраивает мне скандалы. Придет к даче, сядет на лавочку и сидит целый день... Знаешь, это хуже всего. Моя Анна Петровна пилит-пилит меня... А при чем же я тут?.. Могу сказать, что женщины в нравственном отношении слишком специализируются. Да и какая это нравственность...

— И вдруг ты уезжаешь добровольцем, избавляясь разом от двух бед: не будет сидеть Любочка против дачи, и не будет пилить Анна Петровна... Это недурно...

— К сожалению, ты прав... Подводная часть мужской храбрости всегда заготовляется у себя дома. Эти милые женщины кого угодно доведут до геройства, которому человечество потом удивляется, разиня рот. О, как я теперь ненавижу всех женщин!.. Представь себе, что у тебя жестоко болит зуб, — вот что такое женщина, с той разницей, что от зубной боли есть лекарство, больной зуб, наконец, можно выдернуть.

Пепко начал просто одолевать меня своим добровольческим настроением, и не проходило двух дней, чтоб он не тащил меня в «Розу» поделиться новыми зверствами. Дома Андрей Иваныч тоже читал жене о зверствах, так что я сам готов был превратиться в башибузука. Дело дошло до того, что Пепко и Андрей Иваныч соединились и принялись вместе устраивать в Шувалове какие-то герцеговинские вечера. Нужно заметить, что Аграфена Петровна относилась к Пепке как-то подозрительно и до сих пор не могла примириться с его ролью зятя. Для меня это было задачей. В последнее время Пепко начал приходить к нам, но старался не попадаться Аграфене Петровне на глаза.

— Ты ее боишься? — спросил я его однажды.

— Агриппины? О да... Недостает, чтобы еще она бросилась мне на шею. Будет. Довольно... Я презираю всех женщин.

Относительно герцеговинских вечеров Аграфена Петровна составила себе сейчас же свое собственное мнение.

— Два дурака сошлись, — коротко объяснила она. — Еще мой-то Андрей Иваныч поумнее будет... Он хлопочет для Анжелики, чтобы ее на публику выставить билетершей или благотворительной продавщицей. А Пепко сам не знает, чего хочет. Удивляюсь я сестре Анюте...

Аграфена Петровна обыкновенно не договаривала, чему она удивляется, и только строго подбирала губы. Вообще это была странная женщина. Как-то ни с того ни с сего развеселится, потом так же ни с того ни с сего по-бабьи пригорюнится. К Андрею Иванычу она относилась, как к младенцу, и даже входила в его любовные горести, когда Андрей Иваныч начинал, например, ревновать Анжелику к какому-то офицеру.

— Это она тебя подвинчивает, — объясняла Аграфена Петровна. — Все женщины так делают, когда начинают сомневаться в мужчине... Значит, Анжелика дорожит тобой.

— Ты в этом уверена, Агриппина?

— Спроси кого угодно... Даже Василий Иваныч понимает, а тебе-то стыдно не знать таких пустяков.

Относительно моей невинности Аграфена Петровна любила иногда прогуляться, и я чувствовал, что начинаю превращаться в младенца номер второй. В манере держать себя у нее было что-то мягкое и ласково-угнетающее, и мне это не нравилось. Еще больше мне не нравилось любопытство Аграфены Петровны. По некоторым намекам я догадался, что она читает мои письма и мои рукописи. Это уже было слишком, и я раз откровенно ей заметил, что нехорошо простирать свое любопытство так далеко. Она вся вспыхнула и отреклась от всего начисто, как отпираются иногда дети.

— За кого вы меня принимаете, Василий Иваныч? — повторяла она, напрасно стараясь попасть в тон несправедливо обиженного человека. — И, наконец, какое мне дело...

— Я так, к слову...

В конце концов я сам уверился, что она права, и даже попросил извинения. Этого было достаточно, чтобы Аграфена Петровна расхохоталась и заявила:

— Читала, все читала... Не могла никак удержаться. И даже плакала над одной главой... Женское любопытство одолело. А вы сами виноваты, зачем не прячете того, чего я не должна читать. Не могу... Пойду убирать комнату, так меня и потянет взглянуть хоть одним глазком, что он такое пишет. Ах, если бы я умела писать...

— Сейчас бы Андрея Иваныча описали?

— Нет, другое...

У Аграфены Петровны явилось серьезное лицо, и она с печальной улыбкой проговорила:

— Я написала бы, что думает и чувствует одинокая женщина... Ведь все женщины в конце концов остаются одинокими. Вот вы этого-то, главного, и не понимаете, Василий Иваныч...

Вместе с выздоровлением у меня явилась неудержимая потребность к творчеству. Я еще раз перебрал все свои бумаги, еще раз проверил написанное и еще раз убедился, что вся эта писаная бумага никуда не годится. Пережитая болезнь открыла мне глаза на многое, чего я раньше не понимал и не замечал. Приходилось начинать с новых опытов. Это была увлекательная работа, тем более что я уже не думал ни о редакциях, ни о публике, ни о критике, — не все ли равно, как там или здесь отнесутся к моей работе? Важно одно, именно, чтобы она до известной степени удовлетворяла самого автора и служила выражением его внутреннего человека. В этом все, а остальное пустяки. Журналы могут не печатать, публика не читать, критики разносить, — все это может быть одной случайностью, а важно только одно, именно, что у автора есть свое собственное содержание, свое *я*. Конечно, до известной степени он явится подражателем кого-нибудь из своих любимых авторов-предшественников, — это неизбежно, как детские болезни, — но автор начинается только там, где начинает проявлять *свое* я, где внесет *свое* новое, маленькое новое, но все-таки свое. До сих пор я дальше Ивана Иваныча и «Кошницы» не мог пойти именно потому, что только бессознательно кому-то подражал, что писал о людях понаслышке, придумывал и высиживал жизнь.

Плодом этого нового подъема моего творчества явилась небольшая повесть «Межеумок», которую я потихоньку свез в Петербург и передал в знаменитую редакцию самого влиятельного журнала. Домашняя уверенность и литературная храбрость сразу оставили меня, когда я очутился в редакционной приемной. Мне казалось, что здесь еще слышатся шаги тех знаменитостей, которые когда-то работали здесь, а нынешние знаменитости проходят вот этой же дверью, садятся на эти стулья, дышат этим же воздухом. Меня еще никогда не охватывало такое сознание собственной ничтожности... Принимал статьи высокий представительный старик с удивительно добрыми глазами. Он был так изысканно вежлив, так предупредительно внимателен, что я ушел из знаменитой редакции со спокойным сердцем.

Ответ по обычаю через две недели. Иду, имея в виду встретить того же любвеобильного старичка европейца. Увы, его не оказалось в редакции, а его место заступил какой-то улыбающийся черненький молодой человечек с живыми темными глазами. Он юркнул в соседнюю дверь, а на его место появился взъерошенный пожилой господин с выпуклыми остановившимися глазами. В его руках была моя рукопись. Он посмотрел на меня через очки и хриплым голосом проговорил:

— Мы таких вещей не принимаем...

Я вылетел из редакции бомбой, даже забыл в передней свои калоши. Это было незаслуженное оскорбление... И от кого? Я *его* узнал по портретам. Это был громадный литературный человек, а в его ответе для меня заключалось еще восемь лет неудач.

XXXV

Неудача «Межеумка» сильно меня обескуражила, хотя я и готовился вперед ко всевозможным неудачам. Уж слишком резкий отказ, а фраза знаменитого человека несколько дней стояла у меня в ушах. Это почти смертный приговор. Вероятно, у меня был очень не-

красивый вид, потому что даже Пепко заметил и с участием спросил:

— Опять обзатылили?

— Да и еще как...

Я рассказал свою «дерзость» и результаты оной, до уничтожающей фразы включительно.

— «Мы таких статей не принимаем»? — повторил Пепко ответ знаменитого человека, видимо, его смакуя. — Ну, а ты что же?

— Я? Кажется, я походил на собаку, которая хотела проникнуть в кухню и вместо кости получила палку... Вообще подлое чувство. День полного отчаяния, день отчаяния половинного, день просто сомнения в самом себе и в заключение такой вывод: он прав по-своему...

— Ах ты, мякиш!

— Не, не мякиш... Я буду *там* печататься и добьюсь своего. Эти неудачи меня только ободряют... Немного передохну — и опять за работу...

— История первого портного? Что же, не вредно... Могу только сочувствовать. Да... У нас вон тоже неудача: кассирша сбежала. А мы с Андреем Иванычем все-таки не унываем... да.

— Нашли занятие...

— И прекрасное занятие. Мы уже отправили триста рублей в славянский комитет. Лепта вдовицы по размерам, а все-таки лепта. Если бы каждый мог внести столько.

Пепко, как известно из предыдущего, жил взрывами, переходя с сумасшедшей быстротой от одного настроения к другому. Теперь он почему-то занялся мной и моими делами. Этот прилив дружеской нежности дошел до того, что раз Пепко явился ко мне в час ночи, разбудил меня, уселся ко мне на кровать и, тяжело дыша, заговорил:

— Знаешь, я все время думаю...

— Постой, который теперь час?

— Два... то есть второй.

— Да ты с ума сошел, Пепко... Что такое случилось?

— Мне нужно серьезно поговорить с тобой о «Межеумке». Я прочитал рукопись и отправлюсь с ней в редакцию для некоторых объяснений. Видишь ли, *он* тебя оскорбил... Это нехорошо, очень нехорошо. *Он* слишком большой человек, а ты сущая литературная ничтожность. Да... Значит, он должен быть вежлив прежде всего. Это minimum... Допустим, что ты написал неудачную статью, — это еще не беда и ни для кого не обидно. Даже опытный автор может написать неудачную статью... Занятие, во всяком случае, скромное. Я приду к *нему* и скажу: «Милостивый государь, я вас очень люблю, уважаю и ценю, и это мне дает право прийти к вам и сказать, что мне больно, — да, больно видеть ваши отношения к начинающим авторам»... О, я ему все скажу! Я буду красноречив... Ведь *он* нанес тебе оскорбление.

— Послушай, ты, кажется, рехнулся?.. С какой стати ты полезешь объясняться?.. Оскорбителен был тон, — да, но ты прими во внимание, сколько тысяч рукописей ему приходится перечитывать; поневоле человек озлобится на нашего брата, неудачников. На его месте ты, вероятно, стал бы кусаться...

— Нет, нет, этого дела так нельзя оставлять. Я скажу *ему* несколько теплых слов.

— Редакции не обязаны мотивировать свои отказы и отвечать по существу дела: для этого не хватило бы времени. Если каждый отвергнутый автор полезет с объяснениями, когда же *он* сам будет писать?.. Нет, это дело нужно оставить.

Мне стоило большого труда успокоить Пепку. Он кончил тем, что принялся ругать меня, колотил в стену кулаками и вообще проявил формальное бешенство.

— Вася, ты глуп... о, как ты глуп! С каким удовольствием я сейчас вздул бы тебя...

— Ты сядь, Пепко... Странно, что твои добрые намерения заканчиваются непременно мордобитием.

— Дерево деревянное!.. Ветчина!.. олух!..

За этим пароксизмом последовал быстрый упадок сил. Пепко сел на пол и умолк. В единственное окно моего гроба глядело уже летнее утро. Какой-то нере-

шительный свет бродил по дешевеньким обоям, по расщелявшемуся деревянному полу, по гробовой крышке-потолку, точно чего-то искал и не находил. Пепко сидел, презрительно мотал головой и, взглядывая на меня, еще более презрительно фыркал. Потом он достал из кармана несколько написанных листов и, бросив их мне в физиономию, проворчал:

— На, черт тебя возьми...

— Что это такое?

— А вот, читай... Целую неделю корпел. Знаешь, я открыл, наконец, секрет сделаться великим писателем. Да... И как видишь, это совсем не так трудно. Когда ты прочтешь, то сейчас же превратишься в мудреца. Посмотрим тогда, что *он* скажет... Ха-ха!.. Да, будем посмотреть...

Просматривая Пепкину работу, я несколько раз вопросительно смотрел на автора, — кажется, мой бедный друг серьезно тронулся. Всех листов было шесть, и у каждого свое заглавие: «Старосветские помещики», «Ермолай и Валетка», «Максим Максимыч» и т. д. Дальше следовало что-то вроде счета из ресторана: с одной стороны шли рубрики, а с другой — цифры.

— Пепко, извини, это выше моего понимания...

— Ага!.. Я взял у каждого знаменитого автора по рассказу и произвел самый точный химический анализ, вернее — анатомическое вскрытие. Вот не угодно ли: вступление — двадцать три строки, вводная сцена — сорок семь строк, описание летнего утра — семнадцать строк, вывод главного действующего лица — тридцать две строки, завязка — пятнадцать строк, размышления автора — пятьдесят девять строк, сцена действия — сто строк, описание природы, лирическое отступление, две параллельные сцены — у меня все высчитано, голубчик. И посмотри, что из этого выходит... Лист шестой: сравнительный анализ — у Гоголя столько-то строк занимают описания природы, столько-то характеристики, столько-то сцены, столько-то лирические отступления; у Лермонтова — столько-то, у Тургенева — столько-то, у Льва Толстого — столько-то. Затем сравнительный порядок, в котором расположены

эти отдельные части у каждого автора, — одним словом, решительно все. Еще ни одна бестия-критик не додумался до подобного *точного* метода исследования, а в этом весь секрет упадка нашей критики, что уже не составляет ни для кого тайны.

— Пепко, да ведь здесь недостает только масштаба... Ты авторов меряешь аршином.

— А ты слушай: я анатомировал твоего «Межеумка» и убедился, что ты ближе всего подходишь к Гоголю. Да... Ведь это целое открытие, и тебе только остается им воспользоваться. Прежде чем писать что-нибудь, сделай сценарий: тут описание природы столько-то строк, тут выход героини, там любовная сцена, — одним словом, все как на ладони. Знаешь, я хотел высчитать, сколько каждый автор употребил имен существительных, прилагательных, глаголов, наречий, затем, сколько у него главных предложений и придаточных, многоточий, знаков восклицаний и т. д. Не хватило терпения, да и сделать это может только какой-нибудь немец. Нашелся такой подлец Карл Иваныч, который высчитал, сколько раз у Цицерона встречается союз ut во всех его сочинениях.

Мне показалось, что Пепко серьезно рехнулся, и я в тот же день отправился к нему на дачу. Это был мой первый визит. Анна Петровна, как все молодые жены, ревновала мужа больше всего к его старым друзьям, служившим для нее олицетворением тех пороков, какими страдал муж; ведь сам он, конечно, хороший, милый, чудесный, если бы не проклятые друзья. История известная, и я до сих пор старался не отягощать Анну Петровну своим присутствием, да и роль олицетворенного порока мне не нравилась. К моему счастью, Анны Петровны не оказалось дома, а Пепко шагал по дачному садику в гимназическом ранце. Оказалось, что ранец был набит камнями, и он вперед приучал себя к трудностям предстоявшей боевой жизни.

— Я уж теперь могу сделать пять тысяч шагов без одышки, — объяснял он. — Впрочем, зависит от питания... Ведь я уже целый месяц питаюсь солдатским

пайком. Труднее всего перелезать в роще через забор...

— Это еще что такое?

— А видишь ли, забор для меня заменяет горы... Сначала я мог перелезать всего сорок раз, а сейчас уже достиг до сотни. Вот, не хочешь ли попробовать?

— Нет, благодарю. Я ведь не собираюсь поступать в герои...

Пепко огляделся, подмигнул мне и шепотом сообщил:

— Я сделал чудное открытие, Вася... Ха-ха!.. Знаешь, я раньше очень страдал... ну, в семейной жизни это случается. Серьезно страдал... да. А теперь, брат, шалишь... Например, Анюта меня оскорбит... понимаешь? Мне обидно... Раньше я дня на два терял расположение духа, а теперь надену ранец — и в парк. При легких огорчениях достаточно сделать две тысячи шагов, при серьезных тысячи четыре — и все как рукой снимет. Дело в том, что нужно создать физический противовес внутренней душевной тяжести — и равновесие восстановляется. Не правда ли, как это удобно? Анюта, например, говорит: «ты — негодяй», — это стоит двести шагов; «ты испортил мне всю жизнь», — ну, это триста пятьдесят, даже все четыреста; «ты — пьяница и умрешь под забором», — это всего пятьдесят шагов, а когда она начинает плакать, — тут уж прямо тысяча. У меня есть таблицы, где я веду строгую отчетность и даже высчитываю те ошибки, которые у астрономов подводятся под личное уравнение. У меня, братику, все по счету, ибо цифра составляет душу мира, как говорили еще пифагорейцы.

Пепко опять был мил, как ребенок, и я чувствовал, что опять начинаю его любить. В нем была эта проклятая черта русского характера, за которую можно простить человеку все... Он меня заразил даже своим славянским патриотизмом, особенно когда вспыхнуло сербское восстание. Где-то далеко-далеко рубили лес, и щепки долетали до нас... На вокзале я встретил уже несколько братушек в расшитых куртках, в каких-то шапочках и шароварах. Откуда они взялись? В газетах

шел набат, — Фрей был прав. Общество было охвачено движением. Все радовались чему-то. Чувствовался подъем и мысли и чувства. Теперь, почти через двадцать лет, трудно об этом судить, но движение было, и такое хорошее движение, заражавшее всех, от гимназиста до седовласого старца.

Мы раз отправились с Аграфеной Петровной в Шувалово на вечер, устроенный Пепкой и Андреем Иванычем уже в пользу сербов. Публики было много. На каждом шагу — возбужденные лица. У буфета кто-то кричал: живио!.. Хор любителей пел сербские песни, оркестр играл сербские мотивы. Вообще в самом воздухе стояло что-то захватывающее, возбуждающее и хорошее. Сейчас это движение осмеяно и подвергнуто беспощадной критике, а тогда было хорошо. Я даже начинал завидовать Пепке, который даже в мелочах проявлял такую кипучую деятельность. Одна Аграфена Петровна смотрела на оживленную публику грустными глазами и потихоньку вздыхала. Мне казалось, что она жалела, что не может накормить всех этих угнетенных герцеговинцев, сербов и болгар, — кормить кого-нибудь было ее слабостью. Она была слишком женщина...

— Живио! — кричал Пепко, подбегая к нам.

— Вот танцевать-то как будто нехорошо, Агафон Павлыч, — оговорила его Аграфена Петровна. — Там зверства, а вы танцуете...

Из Шувалова мы возвращались с Аграфеной Петровной вдвоем; дорога парком в летнюю теплую ночь была чудная. Я находился под впечатлением сербского вечера и еще раз завидовал Пепке. Мы шли пешком и даже немного заблудились.

— Присядемте... Я устала.

Садовая скамейка была к нашим услугам. Аграфена Петровна села и долго молчала, выводя на песке зонтиком какие-то фигуры. Через зеленую листву, точно опыленную серебристым лунным светом, глядела на нас бездонная синева ночного неба. Я замечтался и очнулся только от тихих всхлипываний моей дамы, — она плакала с открытыми глазами, и крупные слезы падали прямо на песок.

— Аграфена Петровна, что с вами?

Заплаканные глаза смотрели на меня, а потом голова Аграфены Петровны очутилась на моем плече.

— Милый, милый, как я... я счастлива.

Когда женщина первая делает признание в любви, мужчина попадает в крайне неловкое положение. Я помню, что поцеловал ее в лоб, что потом это горячее заплаканное лицо прижалось к моему лицу, что... Прежние романисты ставили на этом пункте целую страницу точек, а я ограничусь тремя.

XXXVI

Что может быть хуже обмана, особенно обмана в той интимной области, где все должно освещаться искренним чувством... И я шел по этой торной дороге лжи и обмана, усыпленный первой женской лаской, первыми признаниями и поцелуями. Давно ли я обличал Пепку, а теперь делал то же, нет — гораздо хуже. Не скрою, что мне временами делалось ужасно совестно, я начинал презирать себя, но ласковый женский шепот тушил эти последние проблески. Разве вся история — не обман? И герой и нищий одинаковы, особенно когда дело касается собственности, которая сама идет к своему вору с ласками и поцелуями. И все-таки я презирал себя, молча и сосредоточенно, как иногда презирал Аграфену Петровну, Андрея Иваныча, Пепку и весь род людской вообще, точно все были виноваты моей собственной виной. Мне было обидно, что так нелепо поместились мои первые восторги; ведь я даже не любил Аграфены Петровны, а отдавался простому физическому влечению. Где же идеалы, где та светлая и чистая, которая носилась в тумане юношеских грез? Меня охватывало чувство позора и стыда.

— Вы, кажется, предаетесь угрызениям совести? — заметила однажды Аграфена Петровна с улыбкой. — Успокойтесь, мой милый... Мы с Андреем Иванычем только играем в мужа и жену, по старой памяти.

— Тем хуже... Я-то при чем тут?

Меня удивляло ее спокойствие. Она решительно ничем не выдавала себя и оставалась такой же, какой была раньше. Я был уверен, что ее даже совесть не мучила. Она просто шла своей дорогой, полная сегодняшним днем, как это умеют делать женщины. Впрочем, должен сознаться, что трудно ее и винить: будь другой муж — и ничего бы не было. К самому себе я всегда был строг и называл вещи их собственными именами, хотя гораздо удобнее ненавидеть и прощать свои собственные пороки и недостатки, когда их находишь в других людях. До этого я еще не дошел. Да, я пил из отравленного источника и, как пьяница, хотел пить и пить без конца. К Андрею Иванычу у меня было смешанное чувство ненависти, презрения и ревности; ведь никто так не ревнует, как любовник. Меня, конечно, главным образом волновали картины прошлого счастья Андрея Иваныча. В душу закрадывалось то подлое чувство собственности, которое из мужчины делает самца.

Пепку я старался совсем не встречать и даже избегал его. Впрочем, ему было не до меня. События разгорались. Уже весь Балканский полуостров был охвачен могучей мыслью о национальной независимости.

— Представьте себе, этот сумасшедший Пепко едет на войну, — заявила однажды Аграфена Петровна (она говорила «сумашедчий», как горничная). — Анюта прибегала ко мне...

— Неужели едет? — удивлялся я самым бессовестным образом.

— Да, да... В добровольцы поступает. И Анюта тоже сумашедчая... Как же, помилуйте, и она туда же за ним!.. И что она только нашла в нем... Удивляюсь, удивляюсь!..

Я расхохотался внутренно. Мечты Пепки хотя на время избавиться от жены рушились самым позорным образом. Жена ехала вместе с ним... Это уже входило в область комедии. То-то он в последнее время совсем глаз не показывает. Тоже есть кое-какая совесть. Ловко, Анна Петровна... Я про себя злорадствовал по адресу своего друга, точно желал выместить

на нем свое собственное свинство. Я даже с нетерпением ждал случая, когда, наконец, увижу женатого добровольца. Как-то все геройство Пепки уничтожалось одним этим словом: жена. Получалась обидная нелепость идти на войну с женой. Одним словом, только Пепко мог очутиться в таком дурацком положении.

— Анюта едет фельдшерицей, — объяснила Аграфена Петровна. — Что же, оно, может, и хорошо, а притом и муж все-таки на глазах. Мало ли что на войне может случиться... Эти лупоглазые турчанки как раз изведут добра молодца.

Движимая родственным патриотизмом, Аграфена Петровна усиленно что-то шила, проявляя сестринскую любовь. Она даже раза два всплакнула над работой, так, по-бабьи всплакнула, потому что и глаза на мокром месте и война — страшное слово.

Наступил день отъезда. Пепко не завернул даже проститься, а написал коротенькую записку с просьбой приехать на Варшавский вокзал.

— Что же, надо проводить, — решила Аграфена Петровна. — Все-таки родственники...

Она ходила уже целых два дня с заплаканными глазами, и, как мне казалось, ей самой нравилось это родственное горе и то, что она может поплакать на определенную тему. Кстати, она заготовила целую корзину съестного, — голодные они *там*, так пусть покушают.

Варшавский вокзал имел необычно оживленный вид. Зала и платформа были битком набиты. Большинство составляла провожающая публика. Все лица имели возбужденно-торжественный вид. Толпу охватило то хорошее общественное чувство, которое из будней делает праздник. И барин, и мужик, и мещанин, и купец — все точно приподнялись. Да, совершалось что-то необычно хорошее, трогательное и братское. Это было написано у всех в глазах, в движениях, в тоне голоса. Это движение впоследствии было осмеяно, а сами добровольцы сделались притчей во языцех, но это просто несправедливо, вернее сказать — дурная русская привычка обращать все в позорище.

Как сейчас вижу эту разношерстную и разномастную толпу добровольцев, состоявшую главным образом из отставных солдат. Как-то странно было видеть самые обыкновенные лица, которые сделались необыкновенными. Положим, что в массе эти кучки добровольцев были плодом газетного поджиганья, патриотических речей, таких же разговоров и главным образом того, что дома уж очень тошно жилось. Но были и другие сюжеты. Я невольно полюбовался двумя братьями-добровольцами — старший с офицерской выправкой, а младший просто хороший юнец. Оба такие славные и серьезные. Их никто не провожал, и они держались в сторонке от общей волны. Трогательно было смотреть, как старший брат ухаживал за красавцем младшим. Эти знали, куда идут и зачем идут.

Я боялся за Пепку, именно боялся за его настроение, которое могло испортить общий тон. Но он оказался на высоте задачи. Ничего театрального и деланого. Я его еще никогда не видал таким простым. Немного резала глаза только зеленая веточка, пришпиленная, как у всех добровольцев, к шапке. Около Пепки уже юлил какой-то доброволец из отставных солдат, заглядывавший ему в лицо и повторявший без всякого повода:

— Ах, ваше благородие, мне бы хучь одного турку прикончить... Неужто господь-батюшка не приведет?.. Уж я бы... ах ты, братец ты мой...

Пепко уже успел заручиться ординарцем, и солдат таскал его вещи, суетился и повеличивал «вашим благородием». У Пепки вообще было что-то привлекающее к себе. Когда Пепко сконфузился немного при виде корзины с съестным, которую Аграфена Петровна привезла на вокзал, выручил солдат.

— Позвольте, сударыня... У нас все уйдеть... Как же можно, ваше высокоблагородие. Можно сказать: дар божий. Уйдеть... Тут еще, ваше высокоблагородие, одна женщина, желающая нащет провианту.

— Какая женщина?

Притиснутая толпой, стояла наша Федосья. Она протягивала молча какой-то узелок.

— Проводить пришла, Агафон Павлыч, — виновато повторяла она, точно оправдывалась за свою смелость. — Бывало, ссорились... так уж вы того...

Растроганный этой лептой вдовицы, Пепко заключил в свои объятия Федосью и по-русски расцеловал ее из щеки в щеку. Эта ничтожная сцена произвела на всех впечатление: Аграфена Петровна отвернулась и начала сморкаться, Анна Петровна плотно сжала губы и моргала, стараясь подавить просившиеся слезы, у меня тоже сдавило горло, точно прихлынула какая-то теплая волна. Потом толпа нас разъединила, и я почувствовал, как Федосья тянет меня куда-то за рукав. Я пошел за ней. В самом дальнем уголке вокзала сидела Любочка, одетая в черное. Она казалась девочкой. Худенькое бледное личико совсем вытянулось и глядело такими трогательно-напуганными глазами.

— В сестры в милосердные записалась... — объяснила Федосья.

— Здравствуйте, Любочка... И вы на войну?

— Не знаю... Куда повезут, Василий Иваныч. Не поминайте лихом...

Пепкин солдат очутился опять около нас и куда-то потащил Любочкин багаж.

— Ты это куда поволок? — уцепилась за него Федосья.

— А как же? — удивился и обиделся солдат. — Вместях все едем... Одна компания. Значит, у их благородия супруга на манер милосердной сестры, и вот они в том же роде... Уж я потрафлю, не беспокойтесь, только бы привел господь сокрушить хучь в одном роде это самое турецкое челмо... а-ах, боже мой!..

Солдат являлся в роли той роковой судьбы, от которой не уйдешь. Любочка только опустила глаза. Я уверен, что она сейчас не думала о Пепке. Ей просто нужно было куда-нибудь поместить свое изболевшее чувство, — она тоже искала своего бабьего подвига и была так хороша своей кроткой простотой.

— И что только будет... — шептала Федосья, покачивая головой. — Откуда взялся этот проклятущий солдатишко... Люба, а ты не сумлевайся, потому как

теперь не об *этом* следовает думать. Записалась в сестры — ну, значит, конец.

Хлопотавшие с отправкой добровольцев члены Славянского общества усаживали свою беспокойную публику в вагоны. Из залы публика хлынула на платформу. Безучастными оставались одни буфетные человеки и фрачные лакеи, — их трудно было прошибить. Пепко разыскал меня, отвел в сторону и торопливо заговорил:

— Мне давно хотелось сказать тебе, Вася... да, сказать... ах, нехорошо, Вася!.. Мне больно тебе это говорить...

— Да ты о чем?

— А ты не знаешь, о чем? Перестань... ах, нехорошо!.. Может быть, не увидимся, Вася... все равно... Одним словом, мне жаль тебя. Нельзя так... Где твои идеалы? Ты только представь себе, что это кто-нибудь другой сделал... Лучше бы уж тебе ехать вместе с нами добровольцем. Вообще скверное предисловие к той настоящей жизни, о которой мы когда-то вместе мечтали.

Я чувствовал, как вся кровь хлынула мне в голову и как все у меня завертелось пред глазами, точно кто меня ударил. Было даже это ощущение физической боли.

— Мне странно слышать это именно от тебя, Пепко... — бормотал я и неожиданно прибавил: — А ты видел Любочку?

— Да, она едет вместе с нами... Я говорил с ней. Только ты ошибаешься: это совсем другое. Тут была хоть тень чувства и увлечения, а не одно холодное свинство...

— Послушай, ты говоришь о том, чего не знаешь, и позволяешь себе слишком много... да.

Мне вдруг захотелось сказать Пепке что-нибудь такое обидное и несправедливое, но раздался уже второй звонок, и мы расстались совершенно холодно.

Помню, как я стоял в толпе чужим человеком. Обидные слезы душили меня, и в то же время мне хотелось во всем обвинить Пепку. Вот рассаженные по вагонам добровольцы запели «Спаси, господи, люди

твоя», и толпа, как один человек, обнажила головы. Все были охвачены одним жутким чувством. Рядом со мной стоял купец, толстый и бородастый, и плакал какими-то детскими слезами... У меня тоже катились слезы. А знакомый с детства церковный мотив разрастался и широкой волной покрыл всю платформу, — пел стоявший рядом купец, пел официант с салфеткой подмышкой, пела Федосья... Подступала одна общая волна, которая была сильнее того пара, который должен был сейчас унести горсть добровольцев.

Трогательный момент был нарушен только Пепкиным солдатом. Он как-то кубарем выскочил без шапки из вагона и кинулся к члену Славянского общества.

— Вашескородие, шапку украли... Что же это такое?.. Можно сказать, душу полагать готов, а они, подлецы, например, шапку... Каким же манером, я, например, в Сербию? Все в шапках, а я один оглашенный...

Солдата едва успокоили и как-то засунули обратно в вагон. Поезд тронулся, а за ним поплыл и торжественный церковный мотив...

XXXVII

Осенью, когда я с дачи вернулся в гостеприимные недра «Федосьиных покровов», на мое имя было получено толстое письмо с заграничным штемпелем. Это было первое заграничное письмо для меня, и я сейчас же узнал руку Пепки. Мое сердце невольно забилось, когда я разрывал конверт. Как хотите, а в молодые годы узы дружбы составляют все. Мелким почерком Пепки было написано целых пять листов.

«Белград, военный госпиталь (потихоньку от жены, которая следит за мной, как рыба за червяком, извивающимся на крючке), койка № 37. Милый, дорогой друг... Извини, что я так давно не писал тебе, то есть не писал совсем. Главной причиной этому было то, что, уезжая в Сербию, я ненавидел тебя самым благородным манером, как сорок тысяч благородных братьев, возведенные в квадрат. Да... Потом — это уж

роковая черта всякой истинной дружбы — я совсем позабыл о твоем существовании. Итак, я не писал тебе и сейчас пишу только потому, что лежу в госпитале уже второй месяц и скучаю, как, вероятно, будут скучать только будущие читатели твоих будущих произведений. Потом — я ненавижу проклятых братушек и всю эту опереточную войну... Еще потом — моя любезная супруга не отходит от меня, и я ненавижу ее больше того, если бы сложить Сербию и Болгарию вместе и помножить эти прелестные страны на Герцеговину, Боснию и Черногорию. Одним словом, ты уже предчувствуешь излитие священной эссенции дружбы и с мужеством еще нераненого добровольца пускаешься в чащу дружеских признаний и конфесьенов. Милый друг, представь себе самую смешную картину: раненый Пепко лежит в военном госпитале в Белграде... Он сейчас походит на одну из тех восковых фигур, какие показываются на ярмарочных балаганах, это — смешной, выцветший и захватанный руками дрянной манекен, к которому нельзя дотронуться, чтобы не нарушить семейного счастья какой-нибудь добродетельной моли. Я иногда думаю, что для полноты картины недостает только твоей раненой персоны... Вдвоем оно все-таки веселее — поругались бы хоть для развлечения. Постой, главное-то, почему я пишу тебе, я и забыл сказать — пишу сие, братику... да, пишу... Помнишь романс:

Не говори, что молодость сгубила,
Ты ревностью истерзана моей...
Не говори: близка моя могила,
А ты цветка весеннего свежей.

Помнишь, еще провизор пел тогда у Наденьки? Нейдет он у меня из башки вторую неделю — лежу и повторяю его про себя. Повторял, повторял, да и додумался: ведь это про меня сказано, да и про тебя тоже. Ты раскинь умом, вникни, и восчувствуешь некоторую подлую тоску... Я свое настроение скрыл даже от своей любезной супруги, которая любит ковыряться у меня в душе и, как кошка, выцарапывает самые тайные мысли. У женщин, братику, на это есть

какой-то чертовский нюх... Прямо носом чуют, где жареным пахнет. Как-то у нас в лагерях появилась одна сербочка-маркитантка... Мордашка у нее, я тебе скажу, как у котенка, и в глазенках этакая приглашающая пожарная тревога, — одним словом, фрукт. Ты знаешь мое несчастие: женщины не могут меня видеть равнодушно. Ну, и тут альте гешихте: сколько было офицеров, а она в меня влюбилась — сразу врезалась. Время военное, сегодня жив, а завтра неизвестно, — ну, я, признаюсь, немного того... Приходит она ко мне этак в палатку, рубашечка на ней в сборочках, расшитая курточка, а я ее этак за рукав и начинаю курточку расстегивать... Жмется, хихикает, а тельце у нее такое смугленькое, на верхней губе усики... Расстегиваю я эти национальные пуговки, как вдруг кто-то меня сзади бац: в самое ухо. Супружница... Таблю. Побежала сейчас же к Черняеву развод просить, — ну, а он, натурально, говорит, что это не его дело и что в наказание пошлет меня в секрет на линию. Одним словом, спас меня генерал... И как же был я рад, когда так дешево отделался. Как видишь, политические события иногда зависят черт знает от чего, от каких-то серебряных пуговок... Кстати, увы! — сербочки моей уж нет — фюить! сбежала с каким-то казачьим офицером в Расею. До сих пор жаль... фруктик был правильный и все в порядке. А я разве виноват, что она сама первая мне на шею бросается, да еще в военное время?.. Тсс... Грядет *сама*, и я прячу свои грешные конфесьены, как улитка рога...»

Письмо было скомкано. Пепко, вероятно, прятал его куда-нибудь под подушку, когда показалась *сама*, то есть Анна Петровна. Следующий лист был написан уже другими чернилами — тоже результат семейной инквизиции. Мне очень понравился беспорядочный тон этого удивительного послания, — Пепко не думал, а гонялся за мыслями, как выпущенная в первый раз в поле молодая собака. Милый Пепко, как я его опять любил, и он опять был весь на этих смятых исписанных листах. Он вежливо предоставлял мне право восстановлять связь между отдельными частями

его письма и отыскивать смысл. Следующий лист начинался так:

«Извини за невольный перерыв: семейное счастье всегда идет скачками... Возвращаюсь к прерванному повествованию. Позволь сначала отрекомендоваться: я — герой, я делал всеобщую историю, пролитая мною кровь послужит Иловайскому материалом для самоновейшей истории, я — ординарец при генерале Черняеве, я, то есть моя персона, покрыта ранами (жаль, что милые турки ранили меня довольно невежливо, ибо я не могу даже показать публике своих почетных шрамов и рубцов), наконец, я в скором времени кавалер сербского ордена Такова... И вдруг герой, то есть я, влопался в гросс шкандал с сербочкой, и моя супруга сжила бы меня со свету, если бы не любезность милых турок. Между нами, братику: все эти братушки решительно дрянь, а в турок я влюблен. Чудный народ... И, знаешь, я решил, что остаюсь в Турции. Да, остаюсь, и со временем натурализируюсь, как делают немцы. Чудный народ, одним словом, и я влюблен в каждого турка. Сколько в них природного благородства, храбрости, вежливости — просто даже обидно за свое холуйство. Представь себе, что у них нет самых величайших наших зол, как пьянство и проституция... Затем у них нет старых дев. Я презираю нашу фальшивую цивилизацию и сделаюсь турком. Феска очень идет к моей фотографии... Раз на рекогносцировке я попал в турецкую деревушку, захожу в один дом, чтобы напиться, — вижу, сидит на полу на ковре старый-старый турок с седой длинной бородой и читает коран. Вся деревня бежала, а старик остался. Никогда не забуду, как он посмотрел на меня... Мне вдруг сделалось стыдно. Я прочитал в его глазах глубокое и справедливое презрение к моей персоне, к моему военному мундиру, к выражению лица, к торопливым движениям. Старик не боялся смерти, и я походил на собаку, которая неожиданно наскочила на волка и поджала хвост. Кстати, этого старика потом нашли убитым, и кто бы, ты думал, убил его? Помнишь солдата-добровольца, который при нашем отъезде из Петербурга устроил скандал с шапкой? Он

его и убил... Впоследствии сам мне сознался. Впрочем, я забегаю вперед. Начинаю с начала. Как я уже писал выше, после скандала с сербочкой Черняев отправил меня на линию. Я давно вызывался в охотничью команду, ну, и получил. С позиции нас отправили в секрет человек пять. Хорошо. Со мной был и тот солдат, который скандалил из-за шапки. Засели мы в кукурузе на две ночи. Трудно это здоровому человеку вылежать двое суток без признаков жизни, а тут еще и курить нельзя. Начался холодище, зуб на зуб не попадает. Сидели-сидели, тощища... Я даже рассердился: какая это война? Так, черт знает что такое... Только тут я понял, как-то всем телом понял, какая колоссальная бессмыслица эта война. Только и развлечения, что смотришь, как снаряды над головой летают. Тррах-тррах!.. Кто-то кого-то желает уничтожить, одним словом. И представь себе, какая бессмыслица: ведь я их люблю, этих милых турок, а они в меня палят... Сначала я трусил, а потом надоело бояться — очень уж скучно было сидеть в этой проклятой кукурузе. И потом этакие жалобные мысли в башку лезут... А вдруг убьют? Даже этак вперед жалеешь самого себя: а там родина, родной угол, одна добрая мать — всего надумаешься. Вообще не советую тебе, братику, поступать в герои, потому что это, во-первых, во-вторых и в-третьих, скучно... Посадят в кукурузу — и сиди дураком. А между тем нужно, кому-нибудь сидеть нужно, чтобы кто-то кого-то убивал... И какое это геройство: прячешься, как заяц в капусте. Меня утешал только мой солдат, который трусил еще больше меня... Вот он тут мне и признался про турка, которого убил. Было это ночью. Сидим и дремлем. Солдат как схватит меня за руку: «Ваше благородие, *ён*...» — «Кто он?» — спрашиваю, а у самого мороз по коже. — «Да тот, седой турок, которого я тогда изничтожил... Вот сейчас провалиться: в кукурузе прошел и этак меня перстом поманил. Ох, не к добру это, ваше благородие!» Я его обругал, а потом оказалось, что солдат был прав. Утром турецкие аванпосты выдвинулись, началась перестрелка; братушки, конечно, бежали, как зайцы, а мы были

обойдены левым флангом. Даже бежать было некуда... Нас выручила разорвавшаяся над нашими головами шрапнель: мой солдат был убит наповал, а я очнулся только в госпитале. Видишь, как скучно делается всемирная история: не будь серебряных пуговок у сербочки, не сидел бы я два дня героем в кукурузе и не был бы ранен шальной шрапнелью. А затем не лежал бы я в лазарете и не пришел бы к печальному выводу, что — увы! — молодость прошла... Меня это открытие сильно озадачило, и я...»

Дальше следовал перерыв, а продолжение написано на новой бумаге и новыми чернилами.

«Братику, мне кажется, что я никогда не кончу своего письма — в самый интересный момент ворвалась моя дражайшая... Ох, как я ненавижу всех женщин, начиная с праматери Евы, благодаря маленькой любезности которой появился весь род людской. Да, я ненавижу, потому что женщины всегда мешали мне в самый интересный момент. Милый братику, думал ли ты о старости? О, она теперь сидит у моего изголовья и любуется новой жертвой... Братику, миленький, мне страшно, когда я думаю о старости. Где рой тех чудных красавиц, которые должны были целовать меня? где те виллы, в которых я должен был жить? где те подвиги, которые передали бы мое имя благодарному потомству? Червь, ничтожество, эссенция праха... Я и раньше частенько задумывался над этим, говорил на эту тему, но впереди все-таки оставалось что-то вроде слабой надежды, а сейчас я чувствую всей своей грешной плотью, что ничего не будет и что остается только скромно тянуть до благополучного отбытия в небытие... Боже мой, где же вы, молодые грезы? где мечты о счастье? где ты, молодая дерзость?.. Я лежу на своей койке № 37 и жалею себя... Да, жалею себя и тебя тоже жалею. Кто-то *другой* взял все лучшее в жизни, этого *другого* любили те красавицы, о которых мы мечтали в бессонные ночи, *другой* пил полной чашей от радости жизни, наслаждался чудесами святого искусства, — я ненавижу этого *другого,* потому что всю молодость просидел в кукурузе... У меня сейчас слезы на глазах, милый, и

мне стыдно их, стыдно, и хочется, чтобы ты пожалел меня. Я часто думал о тебе, даже там, когда сидел в кукурузе, составил новую теорию словесности. Жаль, что не было с собой карандаша и бумаги, а то я осчастливил бы человечество. Да... И вот к такому человеку подкралась злодейка старость, и я чувствую ее холодное дыхание. Отдайте мне мои двадцать лет, отдайте мою молодость, мои мечты, мое веселье... Я ведь еще даже не начинал жить и страстно хочу жить — жить не своей одной жизнью, а тысячью других жизней, любить, плакать и смеяться. Знаешь, кто мне это говорил? Любочка... Кстати... да... гм... Она потихоньку приходит ко мне в госпиталь, присядет на кровать и смотрит — не глазами смотрит, а вся смотрит. Лицо у нее бледное, строгое, глубокое... И как она умеет любить! Недавно сидела-сидела, легонько вздохнула и говорит: «А вы пожалеете, Агафон Павлыч, что *тогда* оттолкнули меня... Дело прошлое, я уж теперь перемучилась, а все-таки пожалеете». И сказала правду, братику... Ты испытал чувство ненависти? Я ненавижу свою жену... Ненавижу ее голос, походку, самоуверенную улыбку, порядочность — все, все, все. Хуже: я ее боюсь!.. Это последняя степень мужского падения. О, отдайте мне мои двадцать лет... Чувствую, что никогда не кончу, а поэтому лобзаю тебя, мой товарищ по несчастию, — и твоя юность тоже сделалась достоянием всепожирающего времени. Твой друг и кавалер ордена Такова — Пепко».

В постскриптуме стояла лаконическая фраза:

«Приезжай в Белград, и перейдем в турки, — это единственный исход из нашей бесшабашной жизни».

XXXVIII

Письмо Пепки для меня было ударом. Да, он был прав, милый Пепко... Не молодость прошла, а юность, и особенно скверно прошла она для меня. Пепко по крайней мере утешался тем, что не было еще женщины, которая отнеслась бы к нему равнодушно, мог, наконец, ненавидеть женщин, причинявших ему столько

неприятностей, а я даже не мог сказать и этого. Моя жизнь складывалась уже совсем кисло. Даже своим романом с Аграфеной Петровной я не мог похвастаться, потому что она во мне любила не меня даже, а собственное неудовлетворенное чувство. Я это отлично понимал. Сама по себе она была очень хорошая женщина, с здоровыми инстинктами и честная — не головной честностью, а по натуре. В ней была только одна порабощающая черта — это та женская покорность, которая делает из мужчины раба. Ей никогда и ничего не было нужно, она ничего не требовала и была счастлива сознанием, что ее тоже любят — так, немножко, а все-таки любят. Меня эта покорность часто возмущала. Потом, у нас не было будущего, и мы о нем никогда не говорили, как не говорят в присутствии труднобольного о смерти. А самое ужасное — над нами висел длящийся обман. Вообще положение было самое скверное, особенно принимая во внимание, что в него отлилась моя юность. Письмо Пепки только иллюстрировало эту скверность. Я его разорвал в клочья, как собственный обвинительный акт, и пролежал на своей кушетке в молчаливом отчаянии целый день.

— Молодость прошла — отлично... — злобно повторял я про себя. — Значит, она никому не нужна; значит, выпал скверный номер; значит, вообще наплевать. Пусть *другие* живут, наслаждаются, радуются... Черт с ними, с этими другими. Все равно и жирный король и тощий нищий в конце концов сделаются достоянием господ червей, как сказал Шекспир, а в том числе и *другие*.

Мрачные мысли Пепки ответили на то настроение, которое я скрывал от самого себя. Мне было и обидно и больно, и в то же время я не мог не согласиться с Пепкой. Да, мой друг был прав, тысячу раз прав, хотя от этой правды ни ему, ни мне и не было легче. Приходилось ставить крест на грустный опыт первых двадцати пяти лет, вернее — на последние семь-восемь годов. Вместо жизни получался неясный призрак, что-то вроде тех китайских теней, какие показывают детям. Где же настоящая жизнь? когда она наступит?

Боже мой, ведь ни один день не вернется... Как отлично понимал я обуревавшую Пепку жажду жизни — я страдал еще сильнее.

Итак, я лежал у себя на кушетке и предавался самому отчаянному самоедству. Не хотелось ничего делать, читать, работать, двигаться, просто смотреть. На улице трещали экипажи, с Невы доносились свистки пароходов: это *другой* торопился по своим счастливым делам, *другой* ехал куда-то мимо, одни «Федосьины покровы» незыблемо оставались на месте, а я сидел в них и точил самого себя, как могильный червь. Меня не интересовало больше, кто живет за перегородкой рядом, где жил «черкес», кто другие жильцы, — не все ли равно? Федосья держалась со мной как-то странно. Она, конечно, пронюхала про мои отношения к Аграфене Петровне и делала благочестивое лицо, когда та изредка приходила навестить меня.

— Ну, уж... — говорила Федосья, оставляя весь свет в неизвестности, что она хотела сказать этими словами.

Аграфена Петровна из женской деликатности всегда являлась под каким-нибудь предлогом, одним из которых были письма от сестры Анюты из Сербии.

— А ведь он совсем порядочный, ваш Пепко, — удивлялась Аграфена Петровна, перечитывая мне вслух письма сестры. — Кто бы мог ожидать... Анюта совершенно счастлива. Глупая она, хоть и образованная. Нашла в кого влюбиться... Удивляюсь я этим образованным девицам, как они ничего не понимают.

К другим Аграфена Петровна относилась, как все женщины, очень строго, забывая свой собственный грустный опыт. Меня больше всего интересовала политика Анны Петровны, не желавшей даже сестре выдать свои семейные тайны. Я, конечно, молчал, оставляя Аграфену Петровну в счастливой уверенности, что все обстоит благополучно. Вероятно, и Аграфена Петровна писала про себя сестре то же самое. В сущности говоря, сестры обманывали друг друга самым трога-

тельным образом. Я был невольным свидетелем этого обмана и думал, что ведь самое счастье не есть ли обман? И как немного нужно этого обмана, чтобы человек почувствовал себя счастливым...

Для меня лично эти «счастливые» письма Анны Петровны имели специально дурные последствия. Дело в том, что после каждого такого письма Аграфена Петровна испытывала известный упадок духа, потихоньку вздыхала и поднимала разные грустные темы.

— Удивительно это, Василий Иваныч, отчего одним счастье, а другим так, сумерки какие-то, — говорила она задумчиво. — Ну, подумайте, за что?

— Право, не знаю, — отвечал я совершенно серьезно.

— И что обидно: это ни от кого не зависит... Будь ты хоть разумница, будь раскрасавица, принцесса, королевская дочь — все равно...

— Ведь и мужчины то же самое.

— Нет, мужчины совсем наоборот... Взять вот хоть вас. Вот сейчас сидим мы с вами, разговариваем, а где-нибудь растет девушка, которую вы полюбите, и женитесь, заведете деток... Я это к слову говорю, а не из ревности. Я даже рада буду вашему счастью... Дай бог всего хорошего и вам и вашей девушке. А под окошечком у вас все-таки пройду...

— Аграфена Петровна, как это вам хочется говорить глупости...

— Нет, в самом деле пройду... У вас будет огонек гореть; а я по тротуару и пройду. Вам-то хорошо, а я... Что же, у всякого своя судьба, и я буду рада, что вы счастливы. Может быть, когда-нибудь и меня вспомните в такой вечерок. Жена-то, конечно, ничего не знает — молодые ничего не понимают, а у вас свои мысли в голове.

У Аграфены Петровны появлялись даже слезы на глазах от этих чувствительных размышлений, и она вперед ревновала меня к своей неизвестной счастливой сопернице.

— Ежели разобрать, так что я для вас, Василий Иваныч? Так, игрушка... Мало ли нашего брата,

дур-баб. А оно все-таки как-то обидно... И ваше дело молодое, жить захотите... да. Оно уж все так на свете делается... Скучно вам со мной, ведь я вижу.

Меня убивали не эти разговоры, а то, как Аграфена Петровна смотрела на меня, — так смотрят только на дорогих покойников. Удивительно, сколько может передать такой взгляд... И слов никаких не нужно, да и слов-то таких нет. От таких чувствительных разговоров у меня делалось ужасно скверно на душе, до того скверно, что и не расскажешь. Да, скверно... И вместе с тем являлась вперед какая-то жалость вот к этой самой Аграфене Петровне. Ведь в самом деле она пойдет под окошечком, а я буду сидеть и думать о ней. Ко всем этим приятным вещам нужно прибавить еще мужа Аграфены Петровны, который в течение лета совсем сжился со мной и во время приступов откровенности блудного мужа поверял мне свои тайны. Сначала я его презирал, потом ревновал и, наконец, начал смотреть на него, как на своего alter ego. В нем жила эта неуловимая жажда разнообразия, удовлетворявшаяся маленьким настоящим. Я заметил, что он прежде всего идеализировал тех женщин, за которыми ухаживал, — ведь и герцогини так же устроены.

— Вы рассмотрите-ка под микроскопом каждую женщину и найдите разницу, — предлагал он. — Эту разницу мы любим только в себе, в своих ощущениях, и счастливы, если данный номер вызывает в нас эти эмоции. В нас — все, а женщины — случайность, вернее — маленькая подробность... Почему нам нравится, когда в наших руках сладко трепещет молодое женское тело, а глаза смотрят испуганно и доверчиво? Мы хотим пережить сами этот сладкий испуг пробудившейся страсти, эти первые восторги, эту доверчивость к неизведанной силе...

Мне приходилось еще в первый раз встречать развратника pur sang [1], и меня радовало, что я сам не такой и не буду таким. Ах, я мог делать ошибки, глупости, но никогда не дойду до того; чтобы

---

[1] чистокровного, *(франц.)*

наслаждаться «трепетом молодого женского тела», — одна терминология чего стоит! Я еще мог любить в женщине человека, а не одну самку. Откровенные беседы с этим откровенным мужем поднимали меня в собственном мнении. Это было какое-то отребье человечества... Ничто живое уже не могло поднять душу. О нет, я не такой! С другой стороны, являлась мысль, что ведь и он, этот замотавшийся петербургский чиновник, родился тоже не таким, а дошел до своего настоящего длинным путем и что я, повидимому, иду именно по этому пути. Вот тут и выплывал вопрос об alter ego.

Раз мы сидели в трактире, и он задумчиво спросил:

— Вам сколько лет?

— Двадцать пять...

— О, еще успеете все пройти.

Он так гадко засмеялся, точно радовался, что отыскал во мне родственные черты. Неужели я буду когда-нибудь таким? Уж лучше тогда умереть...

В общем я проходил тяжелый житейский опыт и не пожелал бы его никому другому. Письмо Пепки только рельефнее объяснило мне ту степень, до какой я дошел. Мое отчаяние было вполне понятно.

Теперь я выходил из дому только по вечерам и любил долго бродить по улицам. Обыкновенно я уходил с своей ненавистной Петербургской стороны в город. Сколько здесь было богатых домов, какие великолепные экипажи неслись мимо, и я наслаждался собственным ничтожеством, останавливаясь перед окнами богатых магазинов, у ярко освещенных подъездов, в местах, где скоплялась глазеющая праздная публика. Времени у меня было достаточно, и я бродил до мертвой усталости, а потом отправлялся в трактир Агапыча, где заседали остававшиеся члены распадавшейся «академии». Здесь все было по-старому. Я возненавидел трактир, трактирных завсегдатаев и все, что носило на себе проклятую печать трактира.

— Где это вы пропадаете? — спросил меня раз Фрей, остававшийся на своем посту.

— А так... Сам не умею хорошенько сказать. Скучно...

Фрей издал неопределенный звук, засосал свою трубочку и не стал больше расспрашивать. У него было достаточно своей собственной работы. Хроника падала. Публика рвала нарасхват только известия с театра войны, относясь ко всему остальному совершенно равнодушно. Да и что могла интересного дать наша русская жизнь? Заседания ученых обществ, пожары, убийства и только на закуску какой-нибудь крупный скандал, вроде расхищения банковской кассы. Да и самые скандалы скоро приелись, потому что устраивались по общему шаблону. Одним словом, мат... Фрей предчувствовал, что дело пойдет дальше и не ограничится одной сербской войной.

Меня лично теперь ничто не интересовало. Война так война... Что же из этого? В сущности это была громадная комедия, в которой стороны совершенно не понимали друг друга. Наживался один юркий газетчик — неужели для этого стоило воевать? Мной вообще овладел пессимизм, и пессимизм нехороший, потому что он развивался на подкладке личных неудач. Я думал только о себе и этой меркой мерял все остальное.

Не знаю почему, но это бродяжничество по улицам меня успокаивало, и я возвращался домой с аппетитом жизни, — есть желание жить, как есть желание питаться. Меня начинало пугать развивавшаяся старческая апатия — это уже была смерть заживо. Глядя на других, я начинал точно приходить в себя. Являлось то, что называется самочувствием. Выздоравливающие хорошо знают этот переход от апатии к самочувствию и аппетиту жизни.

Репортерская работа шла своим чередом и почти совсем меня не интересовала, как всякое ремесло. Я уже пережил острый период первых опытов, когда волновала каждая печатная строчка. Точно так же я относился к сотрудничеству у Ивана Иваныча: написал рассказ, получил деньги, — и конец. Наше недоразумение, вызванное романом, давно было забыто. Одним словом, я шаг за шагом превращался в настоя-

щую газетную крысу и под руководством такого фанатика, как Фрей, вероятно, сделался бы хроникером. Я уже входил во вкус беспорядочной газетной работы и, главное, начинал чувствовать себя дома, — это большое чувство в каждой профессии.

XXXIX

Мое стремление к большой литературе на время как-то совсем заглохло. Я старался даже не думать об этом больном месте. Целый ворох рукописей лежал одной связкой в уголке, и я не решался к ним прикоснуться, как больной боится разбередить свою рану. Получалось что-то вроде литературной летаргии. К прежнему репертуару заражавших меня чувств прибавилась озлобленность неудачника. И тут были *другие,* не только составлявшие себе к двадцати пяти годам имя, но уже умиравшие, свершив в литературе все земное. Я, конечно, знал наперечет всех настоящих русских беллетристов и особенно следил за начинающей фракцией. Относительно последних я проявлял положительное зверство, третируя их, как мальчишек и выскочек. Если бы представить схему моих мыслей и разговоров на эту тему, получалось бы следующее.

Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Гончаров, Достоевский, Лев Толстой... Лев Толстой, Достоевский, Гончаров, Тургенев, Гоголь, Лермонтов, Пушкин.

Этим синодиком все исчерпывалось, а остальное шло на затычку... Для окончательного растерзания нового автора я имел два самых страшных слова: Белинский и Добролюбов. Тут уж конец всему начинающему, и я злобно торжествовал. Ну-тка, вы, нынешние, попробуйте перелезть через этот забор? Лучше и не пробуйте, господа, потому что Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Гончаров, Достоевский, Лев Толстой все сказали, не оставив вам даже объедков. Я злился и торжествовал, изливая накипевший яд систематического неудачника на своих воображаемых конкурентов. Впрочем, себя я выделял на особую полочку и верил, что, сложись обстоятельства чуть-

чуть иначе, из меня выработался бы настоящий автор. Да-с, настоящий... Я вошел во вкус этого всеуничтожающего настроения и даже начинал подумывать, не кроется ли во мне таланта литературного критика, просто злобного, а может быть, даже и мертвозлобного. Уж я бы задал всей этой мелюзге, да и из признанных корифеев повыдергал бы красное перо. Конечно, это нужно сделать складно, а не так, как делал увлекавшийся Писарев. Черт с ней, с беллетристикой, лучше самому взять палку, чем подставлять спину. Да и прием готов вперед: все эти начинающие мерзавцы...

Итак, я лежал и злобствовал. Занятия в университете были брошены, да и раньше я относился к ним спустя рукава. Сейчас я посвящал себя служению родной литературе в окончательной форме. Если не выйдет беллетрист, то наверно уж получится критик, в достаточной мере злобный. В видах подготовления к этому ответственному посту я серьезно занялся пробелами своего образования, причем открыл целые пропасти самого возмутительного неведения. В сущности, говоря между нами, я не знал основательно ничего, а только бросался на все, хватал вершки, усваивал с грехом пополам терминологию, кое-какие теоремы и летел дальше. Это были жалкие лохмотья знания, а критику сие не полагается. Я записался в две библиотеки, натащил самых мудреных книг и углубился в бездну знания. Это было что-то вроде запоя. Книги читались систематически, со множеством выписок, чтобы впоследствии блеснуть эрудицией! Французы это называют брать быка за рога...

Раз утром я был особенно злобно настроен. Начинались уже заморозки. Единственное окно моей комнаты отпотело. Чувствовалась болотная сырость, заползавшая сквозь ветхие, прогнившие насквозь стены. Комната имела при таком освещении очень некрасивый вид, и невольно являлась мысль, что ведь есть же в Петербурге хорошие, светлые, сухие и теплые комнаты. Да, есть, как есть несколько миллионов светлых больших окон, за которыми сидят эти *другие*... Я серьезно раздумался на эту благодарную тему и даже чувствовал какое-то приятное ожесточение: и

живите в светлых, высоких, теплых и сухих комнатах, смотрите в большие светлые окна, а я буду отсиживаться в своей конуре, как цепная собака, которая когда-нибудь да сорвется с своей цепи.

— Попов, вас спрашивает какой-то жандарм... — прервала мои размышления Федосья, ворвавшаяся в комнату с побелевшим лицом.

— Какой жандарм?

— Какие бывают жандармы: синий...

Я отворил дверь и пригласил «синего» жандарма войти, — это был Пепко в синем сербском мундире. Со страху Федосья видела только один синий цвет, а не разобрала, что Пепко был не в мундире русского покроя, а в сербской куцой курточке. Можно себе представить ее удивление, когда жандарм бросился ко мне на шею и принялся горячо целовать, а потом проделал то же самое с ней.

— Ох, Агафон Павлыч, вот напугал-то... А я как взглянула, так и обомлела: весь синий... жандарм...

— О женщина, ты видишь перед собой героя, — заявлял немного сконфуженный этой маленькой комедией Пепко. — Жалею, что не могу тебе представить в виде доказательства свои раны... Да, настоящий герой, хотя и синий.

Федосья прислонилась к косяку и заплакала. Она еще раньше оплакивала много раз геройство Пепки, особенно когда Аграфена Петровна читала ей письма сестры, а теперь Пепко стоял перед ней цел и невредим. Меня, признаться, эта вступительная сцена рассмешила до слез. Злейший враг не мог бы придумать Пепке более скверного эффекта, какой устроила Федосья в простоте сердца. Ведь он целую дорогу лелеял мысль о том, как явится в «Федосьины покровы» в своем добровольческом мундире. И вдруг все попорчено испугавшейся глупой бабой... Он в смущении отстегнул свою боевую саблю и повесил на гвоздь, на котором раньше висела гитара.

— Моя старшая дочь будет с гордостью указывать на нее своим детям, — объяснил он совершенно серьезно.

— Le sabre de mon père?[1] — съязвил я. — Кстати, разве у тебя в виду имеется приращение семейства?

— Ну, до этого мы еще не дошли с Анной Петровной, но теоретически у всякого индивидуума в интересах продолжения вида должна быть старшая дочь... Я даже люблю эту теоретическую старшую дочь.

Пепко расстегнул свою военную курточку, сел на стул, как-то особенно широко расставив ноги, и сделал паузу, ожидая от меня знаков восторга. Увы! он их не дождался, а даже, наоборот, почувствовал, что мы сейчас были гораздо дальше друг от друга, чем до его отъезда в Сербию. Достаточно сказать, что я даже не ответил ему на его белградское письмо. Вид у него был прежний, с заметной военной выправкой, — он точно постоянно хотел сделать налево кругом. Подстриженные усы придавали вид сторожа при клинике.

Пока Анна Петровна поселилась у сестры, а Пепко остался у меня. Очевидно, это было последствие какой-нибудь дорожной размолвки, которую оба тщательно скрывали. Пепко повесил свою амуницию на стенку, облекся в один из моих костюмов и предался сладкому ничегонеделанию. Он по целым дням валялся на кровати и говорил в пространство.

— Как ты глуп, господин Василий Попов, — ораторствовал он, болтая ногами. — Да, глуп, ибо не понимаешь величайшего счастья быть самим собой и только самим собой. Дорого бы я дал за собственную свободу, чтоб опять поселиться в этой дыре и опять мыслить и страдать. Сладчайший ширазский шейх Саади, нет — персидский Гейне, Гафиз, сказал: «назначен птице лес, пустыня льву, духан Гафизу», а нам с тобой «Федосьины покровы». Ты не понимаешь собственного счастья, как здоровый не ценит своего здоровья, а между тем именно такая комната — идеал для всякого будущего знаменитого человека... Не в чертогах, не в виллах и палатах задумывались великие мысли, а вот в таких язвинах и тараканьих

---

[1] — Сабля моего отца? *(франц.)*

щелях. Тебя давит потолок — мечтай о высоких палатах; тебе мало свету — воображай залитую солнцем страну; тебя пробирает цыганская дрожь — лети на благословенный юг; ты заключен в четырех стенах, как мышь в мышеловке, — мечтай о свободе, и так далее. Только голодный мечтает об изысканных кушаньях, а пресыщенный богач отвертывается от них в бессильной ярости. Кажется, я выражаюсь достаточно ясно? Это, милый мой идиот, величайший из законов, закон контрастов; на нем выстроен весь наш многогрешный мир, а не на трех китах, как думает достопочтенная Федосья.

— Ну, а когда ты в турка будешь превращаться?

— Это дело серьезное, братику... Сперва-наперво я съезжу в Сибирь повидаться с одной доброй матерью, потом разведусь с женой и потом уже сделаюсь правоверным.

— Да ведь для этого нужны деньги?

— Деньги будут... Это вздор. Устрою приличный гаремец, — я не выношу единоженства. Гораздо приличнее, когда четыре жены... Там я буду чувствовать себя господином, а не стреноженным мужем своей жены. Да-с... И женщина на Востоке, несмотря на кажущееся рабство, в тысячу раз счастливее. Возьмем хоть нашу Федосью... Я покупаю, например, ее на невольничьем рынке за несколько лир. Хорошо. Сейчас полагается ей соответствующий костюм, харч и почетная должность главной надзирательницы моего гарема. Целый министерский пост, и ее жизнь полна. Здесь она только прозябала, а там будет чувствовать себя человеком. Ты, конечно, тоже пойдешь в правоверные?

— Нет... я, кажется, сделаюсь критиком.

— Э, братику, стара штука. Ты эту мысль у меня украл... да.

— Ну, уж извини, пожалуйста... Своим умом дошел.

— А я раньше тебя об этом думал и могу представить тебе письменные тому доказательства. Положим, что я тщательно скрывал это...

— Ты, кажется, вообще намерен скрыть от публики все свои таланты...

— Нет, кроме шуток, ей-богу, думал запузыривать по критике. Ведь это очень легко... Это не то, что самому писать, а только ругай направо и налево. И потом: власть, братику, а у меня деспотический характер. Автор-то помалчивает да почесывается, а я его накаливаю, я его накаливаю...

— А если тебя самого примется накаливать другой критик?

— Голубчик, да ведь это и есть хлеб насущный: и я ему не пирогами буду откладывать, а пропишу такую вселенскую смазь, что благосклонный читатель только ахнет. Я даже сам буду себя ругать, конечно, под другим псевдонимом, а публике и любопытно посмотреть, как два критика друг друга за волосы таскают и в морду друг другу плюют. Зрелище весьма поучительное... Да, думал, да раздумал. Не стоит... Хочу кончить дни своего странствия турецким джентльменом. Теперь много англичан переходят в турки... Ты только представь себе этакого пашу, Пепко-паша, эффенди Пепко — и фамилия готова...

Меня возмущало, что Пепко говорил глупости серьезным тоном. А в сущности он занят был совершенно другим. Отдохнув с неделю, он засел готовиться на кандидата прав. Юридическими науками он занимался и раньше, во время своих кочевок с одного факультета на другой, и теперь принялся восстановлять приобретенные когда-то знания. У него была удивительно счастливая память, а потом дьявольское терпение.

— К рождеству я отваляю всю юриспруденцию, — коротко объяснил он мне. — Я двух зайцев ловлю: во-первых, получаю кандидатский диплом, а во-вторых — избавляюсь на целых три месяца от семейной неволи... Под предлогом подготовки к экзамену я опять буду жить с тобой, и да будете благословенны вы, Федосьины покровы. Под вашей сенью я упьюсь сладким медом науки...

С войны Пепко вывез целый словарь пышных восточных сравнений и любил теперь употреблять их

к месту и не к месту. Углубившись в права, Пепко решительно позабыл целый мир и с утра до ночи зубрил, наполняя воздух цитатами, статьями закона, датами, ссылками, распространенными толкованиями и определениями. Получалось что-то вроде мельницы, беспощадно моловшей булыжник и зерно науки. Он приводил меня в отчаяние своим зубрением.

Действительно, к рождеству все было кончено, и Пепко получил кандидата прав. Вернувшись с экзамена, он швырнул все учебники и заявил:

— Я еще никогда не был в таком глупом положении, как сейчас... У меня и морда сделалась глупа.

Только вынесши этот искус, Пепко отправился в трактир Агапыча и пьянствовал без просыпа три дня и три ночи, пока не очутился в участке. Он был последователен... Анна Петровна обвинила, конечно, меня, что я развращаю ее мужа. Из-за этого даже возникло некоторое крупное недоразумение между сестрами, потому что Аграфена Петровна обвиняла Пепку как раз в том же по отношению ко мне.

XL

В течение всего времени, как Пепко жил у меня по возвращении из Сербии, у нас не было сказано ни одного слова о его белградском письме. Мы точно боялись заключавшейся в нем печальной правды, вернее — боялись затронуть вопрос о глупо потраченной юности. Вместе с тем и Пепке и мне очень хотелось поговорить на эту тему, и в то же время оба сдерживались и откладывали день за днем, как это делают хронические больные, которые откладывают визит к доктору, чтобы хоть еще немного оттянуть роковой диагноз.

— Какую величайшую глупость я сделал! — в отчаянии заявил Пепко, когда проснулся после трехдневного кутежа в моей комнате.

— Кажется, это не должно бы тебя удивлять.

— Нет, серьезно, Вася.

Пепко сел на кровати, покрутил головой и начал думать вслух:

— Я, говоря между нами, свалял дурака... да. На кой черт я сдавал на кандидата прав? Ну, на что мне это кандидатство?.. Все юридические науки основаны на определении прав сильного; все законы написаны победителями и насильниками, чтобы не затруднять себя приисканием какой-нибудь формулировки для каждой новой несправедливости. Поэтому лучшими юристами навсегда останутся римляне, как первостатейные хищники. Потом писал законы феодал, военный диктатор, крепостник, а впоследствии будет писать капитал, в котором рафинировались все виды рабства. Он, биржевик, потребует санкционирования этих прав, своего рода канонизации, и будет прав, потому что все остальные права основаны на том же единственном праве — праве сильного.

— Чем же, наконец, ты хотел бы быть?

— Профессором монгольских наречий... Это дало бы мне право ежегодно отправляться куда-нибудь в экспедицию. Слава богу, Азия велика, а у меня к ней влеченье, род недуга... Подозреваю, что во мне притаился тот самый татарин, о котором говорил Наполеон. Да... Теперь бы уж я делал приготовления к экспедиции, газеты трубили бы о «смелом молодом путешественнике», а там пустыня, тигры, опасности, голодовки и чудесные спасения. Потом возвращение из экспедиции, доклады по ученым обществам, лекции, статьи в журналах и овации. Женщины бегали бы за мной, как за итальянским тенором...

— Прибавь, что благодаря такой славной экспедиции ты удрал бы от собственной жены по крайней мере на год...

— И это имеет свою тайную прелесть.

— Ну, а теперь ты как думаешь устраиваться?

— Да я уж устроился... Разве я тебе не говорил? Имею честь рекомендоваться: вольнослушатель технологического института. Да... Я люблю математику вообще, как единственную чистую науку, которая по самой природе не допускает лѐни, а затем наш век — век по преимуществу техники. Не юрист, не воин, не

философ перестроит весь строй нашей жизни, а техник... Да, в этом задача нашего века, и я хочу деятельно участвовать в ее разрешении. Будущая всеобщая история уже приготовляется в мастерских, выковывается под паровым молотом, блестит яркой звездочкой в электрическом фонаре и скоро полетит по воздуху. Да, здесь бьется главный пульс и здесь центр жизни...

Как я ни привык ко всевозможным выходкам Пепки, но меня все-таки удивляли его странные отношения к жене. Он изредка навещал ее и возвращался в «Федосьины покровы» злой. Что за сцены происходили у этой оригинальной четы, я не знал и не желал знать. Аграфена Петровна стеснялась теперь приходить ко мне запросто, и мы виделись тоже редко. О сестре она не любила говорить.

Так наступила зима и прошли святки. В нашей жизни никаких особенных перемен не случилось, и мы так же скучали. Я опять писал повесть для толстого журнала и опять мучился. Раз вечером сижу, работаю, вдруг отворяется дверь, и Пепко вводит какого-то низенького старичка с окладистой седой бородой.

— Вот он... — указал на меня Пепко.

Старец смотрел на меня темными глазами и протягивал руку.

Что-то знакомое было в этом лице, в глазах, в самой манере подавать руку. Я как-то сконфузился и пробормотал:

— Извините, не имею чести знать...

— Не признали, Вася... то есть Василий Иваныч?

Именно звук голоса перенес меня через ряд лет в далекий край, к раннему детству, под родное небо. Старец был старинный знакомый нашей семьи и когда-то носил меня на руках. Я уже окончательно сконфузился, точно вор, пойманный с поличным.

— Никифор Евграфыч...

— Он самый... Давненько не видались, Василий Иваныч. А я адрец-то ваш затерял и на память искал по Санкт-Петербургу. Да вот, на счастье, они встретились, Агафон Павлыч...

— Представь себе, Вася, какая случайность,— объяснял Пепко. — Иду по улице и вижу: идет предо мной старичок и номера у домов читает. Я так сразу и подумал: наверно, провинциал. Обогнал его и оглянулся... А он ко мне. «Извините, говорит, не знаете ли господина Попова?» — «К вашим услугам: Попов»... Вышло, что Федот, да не тот... Ну, разговорились. Оказалось, что он тебя разыскивает.

— Поистине, гора с горой только не сходится... — философствовал старец, оглядывая с любопытством провинциала нашу убогую обстановку. — А квартирка-то, Василий Иваныч, того...

— Не красна изба углами, а пирогами, — объяснил Пепко.

Пепко вообще почему-то ухаживал за старичком и всячески старался ему угодить. Появился самовар, полбутылка водки, колбаса в бумажке, несколько пирожков из ближайшего трактира и две бутылки пива. Старичок сидел на кушетке и рассказывал далекие новости.

— Анна-то Ивановна, аптекарша, померла от родов... Двое ребятишек осталось. Полицеймейстер у нас новый, барон Краус... Помните деревянные ряды, где о Николине дне торжок был? Сгорели еще в позапрошлом году... Теперь церковь новую строим. Не знаю уж, как господь поможет... Дядюшка-то ваш, Гаврила Павлыч, ножку себе сломали... Очень уж они любили лошадей диких объезжать, ну, а тут им и попадись не лошадь, а прямо сказать — зверь. Замертво принесли домой дядюшку-то... Архирея нам нового обещают, а старой-то, Мисаил, на покой выпросился. Хороший был архирей... В третьем году купца убили. Это еще до чугунки, — теперь ведь под нас чугунку подвели.

Пепко накинулся на старца с какой-то непонятной для меня жадностью и засыпал его вопросами. Ему все было нужно знать, до судьбы моих тетушек включительно.

— Хорошо у вас там, на юге, а? — резюмировал он свой допрос.

— Уж на что лучше, Агафон Павлыч... Так хорошо, что помирать не надо. Я в первый раз в Питере, так даже страшно с непривычки. Все куда-то бегут, торопятся, точно на пожар... Тесненько живете. Вот бы Василью Иванычу домой съездить, стариков проведать. То есть в самый бы раз... Давненько не бывали в наших палестинах.

— Конечно, Васька поедет, — решил за меня Пепко. — Я ему давно это говорю... Всего три дня дороги.

— Вот, вот... Отдохнули бы у родителев. И родителям приятно... Не чужие люди.

— Я тоже домой поеду, к себе в Сибирь, — объяснял Пепко. — У меня мамаша... Славная такая старушенция.

— Так, так... Родителев завсегда нужно уважать, Агафон Павлыч.

Появление старичка нагнало на Пепку целый строй новых мыслей и чувств. Он просто бредил наяву и не дал мне спать целую ночь.

— В самом деле, Вася, поезжай домой. Право, лучше будет... Разве мы здесь живем? Так, призрак какой-то, кошмар... Там придешь в себя и будешь работать по-настоящему. Столицы только берут все от провинции, а сами ничего не дают. Это несправедливо... А провинция, брат, — все. Помнишь былину об Илье Муромце: как упадет на землю, так в нем силы и прибавится. В этом, брат, сказалась глубокая народная мудрость: вся сила из родной земли прет. Так-то! — Подумав немного, Пепко неожиданно даже для себя прибавил: — А что, если бы у этого иконописного старца занять рупь серебра?

Дня через два старичок опять пришел. Он был озабочен какими-то делами, и Пепко в качестве юриста дал ему несколько хороших советов. Это их сблизило окончательно. Меня удивляло только одно, что Пепко хлопотал больше всего о моем отъезде. Меня это, наконец, возмущало. Какая ему в самом деле забота обо мне? Пусть едет сам, если нравится. С другой стороны, мысль о поездке занимала меня все больше и больше. Потянуло на родину... В течение последних

трех лет я как-то редко думал на эту тему и все откладывал. Теперь уже нечего было ждать.

— В самом деле, Василий Иваныч, вот как махнем, — соблазнял меня старичок. — В лучшем виде... А как тятенька с маменькой обрадуются! Курса вы, положим, не кончили, а на службу можете поступить. Молодой человек, все впереди... А там устроитесь — и о другом можно подумать. Разыщем этакую жар-птицу... Хе-хе!.. По человечеству будем думать...

Еще накануне отъезда я не знал, уеду или останусь. Вопрос заключался в Аграфене Петровне. Она уже знала через сестру о моем намерении и первая одобрила этот план.

— Поезжайте, голубчик... — с твердостью уговаривала она. — Нужно все это кончить. Скучно будет, а все-таки лучше...

Что может быть грустнее таких прощальных разговоров? Я, кажется, еще никогда не чувствовал себя так скверно. Но нужно было решиться.

— Я всего на две недели, — говорил я, не знаю для чего. — Что я буду делать там, в провинции?

— Все-таки поезжайте... с богом.

Дебаркадер Николаевского вокзала. Паровоз уже пускает клубы черного дыма. Мой старичок ужасно хлопочет, как все непривычные путешественники. Меня провожают Пепко, Аграфена Петровна и Фрей. Пепко по случаю проводов сильно навеселе и коснеющим языком повторяет:

— Ты, землячок, поскорее к нашим полям возвратись... легче дышать... поклонись храмам селенья родного. О, я и сам уеду... Все к черту! Фрей, едем вместе в Сибирь... да...

Второй звонок. Пепко отвел меня в сторону.

— Вот что, Вася... — заговорил он торопливо. — Помнишь, я тебе из Белграда тогда писал? Кончено, брат... Молодость кончена. Э, плевать... Я, брат, на себя крест поставил.

Третий звонок. У меня глаза затуманивает слезой, но я сдерживаюсь. У Пепки глаза тоже красные. Меня почему-то начинает разбирать злость.

Обер-кондуктор дает свисток. Я смотрю в окно вагона. Платформа точно дрогнула и поплыла назад, унося с собой Фрея, Пепку и Аграфену Петровну.

— Живио! — крикнул Пепко ни к селу ни к городу.

— Слава тебе, господи... — вслух молится мой старичок, откладывая кресты. — Донес бы господь живыми...

Скоро Петербург остался назади, а с ним осталась назади и «светлая юность»... Я думал о Пепке и чувствовал, как его люблю. Его дальнейшую историю расскажу как-нибудь потом.

ХЛЕБ

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

— А ты откедова взялся-то, дедко?

— А божий я...

— Божий, обшит кожей?.. Знаем мы вашего брата, таких-то божьих... Говори уж пряменько: бродяга?

— Случалось... От сумы да от тюрьмы не отказывайся, миленький. Из-под Нерчинска убег, с рудников.

— Так-то вот ладнее будет... Каторжный, значит?

— Как есть каторжный: ни днем, ни ночью покая не знаю.

— Ну, мы тебя упокоим... К начальству предоставим, а там на высидку определят пока што.

Толпа мужиков обступила старика и с удивлением его рассматривала. Да и было чему подивиться. Сгорбленный, худенький, он постоянно улыбался, моргал глазами и отвечал зараз на все вопросы. И одет был тоже как-то несообразно: длинная из синей пестрядины рубаха спускалась ниже колен, а под ней как есть ничего. На ногах были надеты шерстяные бабьи чулки и сибирские коты. Поверх рубахи пониток, а на голове валеная крестьянская белая шляпа. За плечами у старика болталась небольшая котомка. В одной руке он держал берестяный бурачок, а в другой длинную черемуховую палку. Одним словом, необычный человек.

— Бурачок-то у тебя зачем, дедко?

— Бурачок?.. А это хитрая штука. Секрет... Он, бурачок-то, меня из неволи выкупил.

— Он и то с бурачком-то ворожил в курье,— вступился молодой парень с рябым лицом. — Мы, значит, косили, а с угору и видно, как по осокам он ходит... Этак из-под руки приглянет на реку, а потом присядет и в бурачок себе опять глядит. Ну, мы его и взяли, потому... не прост человек. А в бурачке у него вода...

— Ты чего, дедко, на нашу-то реку обзарился?

— А больно хороша река, вот и глядел... ах, хороша!.. Другой такой, пожалуй, и не найти... Сердце радуется.

Старик оглянул мужиков своими моргавшими глазками, улыбнулся и прибавил:

— Я старичок, у меня бурачок, а кто меня слушает — дурачок... Хи-хи!.. Ну-ка, отгадайте загадку: сам гол, а рубашка за пазухой. Всею деревней не угадать... Ах, дурачки, дурачки!.. Поймали птицу, а как зовут — и не знаете. Оно и выходит, что птица не к рукам...

— Да што с ним разговоры-то разговаривать! — загалдело несколько голосов разом. — Сади его в темную, а там Флегонт Василич все разберет... Не совсем умом-то старичонко...

— Больно занятный!,— вмешались другие голоса. — На словах-то, как гусь на воде... А блаженненьким он прикидывается, старый хрен!

Описываемая сцена происходила на улице, у крыльца суслонского волостного правления. Летний вечер был на исходе, и возвращавшийся с покосов народ не останавливался около волости: наработавшиеся за день рады были месту. Старика окружили только те мужики, которые привели его с покоса, да несколько других, страдавших неизлечимым любопытством. Село было громадное, дворов в пятьсот, как все сибирские села, но в страду оно безлюдело.

— Отпустить его, чего взять со старика? — заметил кто-то в толпе. — Много ли он и наживет? Еле душа держится...

— Не пущайте, дурачки! — засмеялся старик. — Обеими руками держитесь за меня... А отпустите — больше и не увидите.

— Нет, надо Флегонта Василича обождать, робя!.. Уж как он вырешит это самое дело, а пока мы его Вахрушке сдадим.

Волостной сторож Вахрушка сидел все время на крылечке, слушал галденье мужиков и равнодушно посасывал коротенькую солдатскую трубочку-носогрейку. Когда состоялось решение посадить неизвестного человека в темную, он молча поднялся, молча взял старика за ворот и молча повел его на крыльцо. Это был вообще мрачный человек, делавший дело с обиженным видом. В момент, когда расщелявшаяся дверь волостного правления готова была проглотить свою жертву, послышался грохот колес и к волости подкатили длинные дроги. Мужики сняли свои шапки. На дрогах, на подстилке из свежего сена, сидели все важные лица: впереди всех сам волостной писарь Флегонт Васильевич Замараев, плечистый и рябой мужчина в плисовых шароварах, шелковой канаусовой рубахе и мягкой серой поярковой шляпе; рядом с ним, как сморчок, прижался суслонский поп Макар, худенький, загорелый и длинноносый, а позади всех мельник Ермилыч, рослый и пухлый мужик с белобрысым ленивым лицом. Писарь только взглянул на стоявшего на крыльце старика с котомкой и сразу понял, в чем дело.

— Бродягу поймали? — коротко спросил он.

— Был такой грех, Флегонт Василич... В том роде, как утенок попался: робята с покоса привели. Главная причина — не прост человек. Мало ли бродяжек в лето-то пройдет по Ключевой; все они на один покрой, а этот какой-то мудреный и нас всех дурачками зовет...

— Ну-ка, ты, умник, подойди сюда! — приказал писарь.

Старик подошел к дрогам и пристально посмотрел на сидевшую знать своими моргавшими глазками.

— Умник, а порядка не знаешь! — крикнул писарь, сшибая кнутовищем с головы старика шляпу. — С кем ты разговариваешь-то, варнак?

— Пока ни с кем... — дерзко ответил старик. — Да моей пестрядине с твоим плисом и разговаривать-то не рука.

— Што за человек? Как звать? — грянул писарь.

— Прежде Михеем звали...

— А фамилия как?

— Человек божий...

— Непомнящий родства?

— Где же упомнить, миленький? Давненько ведь я родился...

— Да што с ним разговаривать-то! — лениво заметил мельник Ермилыч, позевывая. — Вели его в темную, Флегонт Василич, а завтра разберешь... Вот мы с отцом Макаром о чае соскучились. Мало ли бродяжек шляющих по нашим местам...

— А какой ты веры будешь, старичок? — спросил о. Макар.

— Веры я христианской, батюшка.

— Православной?

— Около того.

— И видно, што православный. Не то тавро...

— Уж какое есть.

— Из ваших, — смиренно заметил о. Макар, обращаясь к мельнику Ермилычу. — Имеет большую дерзость в ответах, а, между прочим, человек неизвестный.

— Да ну его к ляду! — лениво протянул мельник. — Охота вам с ним разговаривать... Чаю до смерти охота...

Писарь сделал Вахрушке выразительный знак, и неизвестный человек исчез в дверях волости. Мужики все время стояли без шапок, даже когда дроги исчезли, подняв облако пыли. Они постояли еще несколько времени, погалдели и разбрелись по домам, благо уже солнце закатилось и с реки потянуло сыростью. Кое-где в избах мелькали огоньки. С ревом и блеяньем прошло стадо, возвращавшееся с поля. Трудовой крестьянский день кончался.

Темная находилась рядом со сторожкой, в которой жил Вахрушка. Это была низкая и душная каморка с соломой на полу. Когда Вахрушка толкнул в нее неизвестного бродягу, тот долго не мог оглядеться. Крошечное оконце, обрешеченное железом, почти не давало света. Старик сгрудил солому в уголок, снял свою котомку и расположился, как у себя дома.

— Вот бог и квартиру послал... — бормотал он, покряхтывая. — Что же, квартира отменная.

Вахрушка в это время запер входную дверь, закурил свою трубочку и улегся с ней на лавке у печки. Он рассчитывал, по обыкновению, сейчас же заснуть.

— Эй, служба, спишь? — послышался голос из темной.

— Сплю, а тебе какая печаль?

— Ты в солдатах служил?

— Случалось... А ты у меня поговори!..

Молчание. Вахрушка вздыхает. И куда эти бродяги только идут? В год-то их близко сотни в темной пересидит. Только настоящие бродяги приходят объявляться поздно осенью, когда ударят заморозки, а этот какой-то оглашенный. Лежит Вахрушка и думает, а старик в темной затянул:

— Се жених грядет во полунощи и блажен раб, его же обрящет бдяща...

— Эй, будет тебе, выворотень! — крикнул Вахрушка. — Нашел время горло драть...

— Да я духовное, служба... А ты послушай: «И блажен раб, его же обрящет бдяща», а ты дрыхнешь. Это тебе раз... А второе: «Недостоин, его же обрящет унывающа»... Понимаешь?

— Вот навязался-то! — ворчал Вахрушка.

Опять молчание. Слышно, как по улице грузно покатилась телега. Где-то далеко, точно под землей, лают неугомонные деревенские собаки.

— Ты не здешний? — спрашивает старик, укладываясь на соломе.

— А ты как знаешь?

— Да видно по обличью-то... Здесь все пшеничники живут, богатеи, а у тебя скула не по-богатому: может, и хлеб с хрустом ел да с мякиной.

— Я чердынский... Это верно. Убогие у нас места, земля холодная, неродимая. И дошлый же ты старичонко, как я погляжу на тебя!

— Дошлый, да про себя... А поп у вас богатый?

— Богатимый поп... Коней одних у него с тридцать будет, больше сотни десятин запахивает. Опять хлеба у попа не в проворот: по три года хлеб в кладях лежит.

— А писарь?

— И писарь богатимый... Не разберешь, кто кого богаче. Не житье им здесь, а масленица... Мужики богатые, а земля — шуба шубой. Этого и званья нет, штобы навоз вывозить на пашню: земля-матушка сама родит. Вот какие места здесь... Крестьяны государственные, наделы у них большие, — одним словом, пшеничники. Рожь сеют только на продажу... Да тебе-то какая печаль? Вот привязался человек!

— А мельник у вас плут: на руку нечист.

— Да ты почем знаешь, что он мельник?

— А по сапогам вижу: бус[1] на сапогах, значит мельник.

Вахрушка даже сел на своем конике, пораженный наблюдательностью неизвестного бродяги. Вот так старичонко задался: на два аршина под землей все видит. Вахрушка в конце концов рассердился:

— Да ты што допытываешь-то меня, окаянная твоя душа? Вот завтра тебе Флегонт Василич покажет... Он тебя произведет. Вишь, какой дошлый выискался!

— Страшен сон, да милостив бог, служба. Я тебе загадку загадаю: сидит баба на грядке, вся в заплатках, кто на нее взглянет, тот и заплачет. Ну-ка, угадай?

— Капуста.

— Ах, дурачок, дурачок, и этого не знаешь! Лук, дурашка... Ну, а теперь спи: утро вечера мудренее.

— Да ты што ругаешься-то в самом деле? — зарычал Вахрушка, вскакивая.

---

[1] Бус — хлебная пыль, которая летит при размолке зерна. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

— Полюбил я тебя, как середа пятницу... Как увидал, так и полюбил. Сроду не видались, а увиделись — и сказать нечего. Понял?.. Хи-хи!.. А картошку любишь? Опять не понял, служба... Хи-хи!.. Спи, дурачок.

II

Утром писарь Замараев еще спал, когда пришел к нему волостной сторож Вахрушка.

— Гости у нас вечор засиделись, — объясняла ему стряпка. — Ну, выпили малость с отцом Макаром да с мельником. У них ведь компания до белого свету. Люты пить... Пельмени заказали рыбные, — ну, и компанились. Мельник Ермилыч с радостей и ночевать у нас остался.

Вахрушка был настроен необыкновенно мрачно. Он присел на порог и молча наблюдал, как стряпка возилась у топившейся печи. Время от времени он тяжело вздыхал, как загнанный коренник.

— Сказывают, вечор наши суслонские ребята бродяжку в курье поймали? — тараторила стряпуха, громыхая ухватами.

— А тебе какая забота? — озлился Вахрушка.

Молва говорила, что у Вахрушки с писарскою стряпкой Матреной дело нечисто. Главным доказательством служили те пироги, которые из писарской кухни попадали неведомыми никому путями в волостную сторожку. Впрочем, Матрена была вдова, хотя и в годках, а про вдову только ленивый не наплетет всякой всячины. Писарский пятистенный дом, окруженный крепкими хозяйственными постройками, был тем, что называется полною чашей. Недаром Флегонт Васильевич целых двадцать пять лет выслужил писарем в Суслоне. На всю округу славился суслонский писарь и вторую жену себе взял городскую, из Заполья, а запольские невесты по всему Уралу славятся — богачки и модницы. К своему богатству Замараев прибавил еще женино приданое и жил теперь в Суслоне князь князем.

— Ах, пес! — обругался неожиданно Вахрушка, вскакивая с порога. — Вот он к чему про картошку-то меня спрашивал, старый черт... Ну, и задался человечек, нечего сказать!

Когда писарь, наконец, проснулся, Вахрушка вошел в горницу и, остановившись на пороге, заявил:

— Как хошь, Флегонт Василич, а я боюсь.

— Кого испугался-то? — удивился не прочухавшийся хорошенько после вчерашних пельменей писарь.

— А этого самого бродяги. В тоску меня вогнал своими словами. Я всю ночь, почитай, не спал. И все загадки загадывает. «А картошку, грит, любишь?» Уж я думал, думал, к чему это он молвил, едва догадался. Он это про бунт словечко закинул.

— Про картофельный бунт? — вскипел вдруг писарь. — Ах, мошенник! Да я его в три дуги согну!.. Я...

— Колдун какой-то, я так полагаю.

— Ну, это пустяки! Я ему покажу... Ступай теперь в волость, а я приду, только вот чаю напьюсь.

— А ежели он што надо мной сделает, Флегонт Василич? Боюсь я его.

— Ступай, дурак!

Вахрушка почесал в затылке и почтительно выпятился в двери. Через минуту мимо окон мелькнула его вытянутая солдатская фигура.

Село Суслон, одно из богатейших зауральских сел, красиво разлеглось на высоком правом берегу реки Ключевой. Ряды изб, по сибирскому обычаю, выходили к реке не лицом, а огородами, что имело хозяйственное значение: скотину поить ближе, а бабам за водой ходить. На самом берегу красовалась одна белая каменная церковь, лучшая во всей округе. От церкви открывался вид и на все село, и на красавицу реку, и на неоглядные поля, занявшие весь горизонт, и на соседние деревни, лепившиеся по обоим берегам Ключевой почти сплошь: Роньжа, Заево, Бакланиха. Вдали, вниз по течению Ключевой, грязным пятном засела на Жулановском плесе мельница-раструска Ермилыча, а за ней свечой белела колокольня села Чуракова. Вверх по течению Ключевой владения

суслонских мужиков от смежных деревень отделяла Шеинская курья, в которой поймали вчера мудреного бродягу. Повыше этой курьи река была точно сжата крутыми берегами, — это был Прорыв. Летом можно было залюбоваться окрестностями Суслона.

В сороковых годах Суслон сделался центром странного «картофельного бунта». Дело вышло из-за министерского указа об обязательном посеве картофеля. Запольский уезд населен исключительно государственными крестьянами, объяснившими обязательный посев картофеля как меру обращения в крепостную зависимость. Темная крестьянская масса всколыхнулась почти на расстоянии всего уезда, и волнение особенно сильно отразилось в Суслоне, где толпа мужиков поймала молодого еще тогда писаря Замараева и на веревке повела топить к Ключевой как главного виновника всей беды, потому что писаря и попы скрыли настоящий царский указ. В этот критический момент, когда смерть была на носу, писарь пустился на отчаянную штуку.

— Ведите меня в волость, я все покажу! — смело заявил он.

Когда тысячная толпа привела писаря в волость, он юркнул за свой стол, обложился книгами и еще смелее заявил:

— Ну-ка, возьмите меня *через закон.* Вот он, закон-то, весь тут.

Мужики совершенно растерялись, что им делать с увертливым писарем. Погалдели, поругались и начали осаживать к двери.

— Робята, пойдем домой! — послышался первый голос, и вся толпа отхлынула от волости, как морская волна.

Находчивость неизвестного писарька составила ему карьеру и своего рода имя. Так он и остался в Суслоне. Вот именно этот неприятный эпизод и напомнил ему Вахрушка своею картошкой.

Напившись на скорую руку чаю и опохмелившись с гостем рюмкой настойки на березовой почке, он отправился в волость. Ермилыч пошел за ним.

— Надо его проучить, — советовал мельник, когда они подходили к волости.

У волости уже ждали писаря несколько мужиков и стояла запряженная крестьянская телега. Волостных дел в Суслоне было по горло. Писарь принимал всегда важный вид, когда подходил к волости, точно полководец на поле сражения. Мужиков он держал в ежовых рукавицах, и даже Ермилыч проникался к нему невольным страхом, когда завертывал в волость по какому-нибудь делу. Когда писарь входил в волость, из темной донеслось старческое пение:

Тяжело душеньке с телом расставатися,
Тяжелее душеньке во грехах оставатися.

— Вон он, идол, какую обедню развел, — жаловался Вахрушка.

Писарь Замараев занял с приличною важностью свое место за волостным столом, а мельник Ермилыч поместился в качестве публики на обсиженной скамеечке у печки. Ермилыч, как бывший крестьянин, сохранял ко всякой власти подобострастное уважение и участенно вздыхал, любуясь властными приемами дружка писаря.

— Ну-ка, приведи сюда эту ворону! — лениво сказал Замараев, для пущей важности перелистывая книгу входящих бумаг.

Вахрушка молодцевато подтянулся и сделал налево кругом. Таинственный бродяга появился во всем своем великолепии, в длинной рубахе, с котомочкой за плечами, с бурачком в одной руке и палкой в другой.

Писарь сделал вид, что не замечает его, продолжая перелистывать журнал, а потом быстро поднял глаза и довольно сурово спросил:

— Бродяга? Непомнящий родства? Так... А прозвище?

— Колобок, — смело ответил старик, с улыбочкой поглядывая на мельника. — Божий человек, значит.

— Слыхали, — протянул писарь. — Много вас, таких-то божьих людей, кажное лето по Ключевой идет.

Достаточно известны. Ну, а дальше што можешь объяснить? Паспорт есть?

— По сусекам метён, по закромам скребён, — вот тебе и весь паспорт.

Писарь ударил кулаком по столу и закричал:

— Ты петли-то не выметывай, ворона желторотая! Говори толком, когда спрашивают!

— Не кричи ты на меня, пужлив я... Ох, напужал!

Бродяга скорчил такую рожу, что Ермилыч невольно фыркнул и сейчас же испугался, закрыв пасть ладонью. Писарь сурово скосил на него глаза и как-то вдруг зарычал, так что отдельных слов нельзя было разобрать. Это был настоящий поток привычной стереотипной ругани.

— Да я тебя заморю! сгною! изотру в порошок!.. Да я... я... я...

Ермилыч даже закрыл глаза, когда задыхавшийся под напором бешенства писарь ударил кулаком по столу. Бродяга тоже съежился и только мигал своими красными веками. Писарь выскочил из-за стола, подбежал к нему, погрозил кулаком, но не ударил, а израсходовал вспыхнувшую энергию на окно, которое распахнул с треском, так что жалобно зазвенели стекла. Сохранял невозмутимое спокойствие один Вахрушка, привыкший к настоящему обращению всякого начальства.

— Ну, что ты молчишь, а? — ревел писарь, усаживаясь на место и приготовляя бумагу, чтобы записать дерзкого бродягу. — Откуда ползешь?

— Все мы из одних местов. Я от бабки ушел, я от дедки ушел и от тебя, писарь, уйду, — спокойно ответил бродяга, переминаясь с ноги на ногу.

— Ах, ты... да я... я...

Писарь только хотел выскочить из-за стола, но бродяга его предупредил и одним прыжком точно нырнул в раскрытое окно, только мелькнули голые ноги.

— Держи его, подлеца! Лови! — орал Замараев, подбегая к окну.

Сидевшие на крыльце мужики видели, как из окна волости шлепнулся бродяга на землю, быстро под-

нялся на ноги и, размахивая своею палкой, быстро побежал по самой средине улицы дробною, мелкою рысцой, точно заяц.

— Держи его! Лови! — кричал Замараев, выставляясь из окна. — Эй вы, челдоны, чего вы смотрите?

Какой-то белобрысый парень «пал» на телегу и быстро погнался за бродягой, который уже был далеко. На ходу бродяга оглядывался и, заметив погоню, прибавил ходу.

— Ловко щекотит, — заметил какой-то голос из толпы. — Ай да бродяга, настоящий скороход!

Бродяга действительно оказал удивительную легкость на ногу и своим дробным шагом летел впереди догонявшей его телеги. Крестьянская лошаденка, лохматая и пузатая, с трудом поспевала за ним, делая отчаянные усилия догнать. Белобрысый парень неистово лупил ее вожжами и что-то такое орал. Кое-где из окон деревенских изб показывались бабьи головы в платках, игравшие на улице ребятишки сторонились, а старичок все бежал, размахивая своею палочкой. Так он добежал до последних худеньких избенок и заметно сбавил шагу. Телега стала его догонять. Попались какие-то мужики, которые пробовали заградить дорогу беглецу, но старичок прошел мимо них невредимо и еще обругал:

— Эх, дурачки, куда вам ловить Колобка!

За селением он опять прибавил шагу. У поскотины[1], где стояли ворота, показались встречные мужики, ехавшие в Суслон. Белобрысый парень неистово закричал им:

— Держи варнака! Держи!

Бродяга на мгновение остановился, смерил глазами расстояние и тихою рысцой, как травленый волк, побежал в сторону реки. Телега осталась на дороге, а за ним теперь погнался какой-то рыжий мужик на захомутанной рыжей лошади. Он был без шапки и отчаянно болтал локтями. Бродяга опять остановился, потому что рыжий мужик летел к нему наперерез, а по-

---

[1] Поскотина — изгородь, которой отделяется выгон. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

том усиленною рысью побежал к недалекой поскотине. Здесь рыжий мужик чуть-чуть его не догнал, но бродяга одним прыжком перескочил через изгородь и остановился. Теперь он был в полной безопасности, потому что дальше начинался тощий лесок, спускавшийся к реке.

— Эй, дурачки, кланяйтесь своему писарю! — крикнул варнак бежавшим к нему мужикам и, не торопясь, скрылся в лесу.

Погоня сбилась в одну кучку у поскотины. Мужики ошалелыми глазами глядели друг на друга.

— Вот так старичонко! В том роде, как виноходец[1]. Так и стелет, так и стелет.

— Оборотень какой-то, надо полагать.

Подъехавший на телеге белобрысый парень и рыжий мужик на рыжей лошади служили теперь общим посмешищем и поэтому усиленно ругались.

— Ужо вот задаст вам Флегонт-то Василич!

III

Часов десять утра. Широкий двор, утрамбованный желтым песком, походит на гуменный ток. На него с одной стороны глядит большими окнами двухэтажный нештукатуренный каменный дом с террасой, а с другой — расположился плотный ряд хозяйственных пристроек: амбары, конюшни, каретники, сеновалы. Вся постройка крепкая, хозяйственная, как умеют строить только купцы. В углу у деревянной конуры дремлет киргизский желтый волкодав. В середине двора стоят два кучера и держат под уздцы горбоносого и вислозадого киргиза-иноходца, который шарашится, храпит, поводит поротыми ушами и выворачивает белки глаз.

— Эй вы, челдоны, держите крепче! — визгливо кричит с террасы седой толстый старик в шелковом халате.

---

[1] Виноходец — иноходец. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

— Да черт его удержит, Храпуна, — отвечает старший кучер Никита, степенный мужик с окладистой бородой. — Задавить его, вот и весь разговор.

Другой кучер, башкир Ахметка, скуластый молодой парень с лоснящимся жирным лицом, молча смотрит на лошадь, точно впился в нее своими черными глазами.

— Дайте ей поводок! — кричит старик с террасы.

Кучера отпускают повод, и лошадь делает отчаянный курбет, поднимая Ахметку на воздух. Никита крепко держит волосяной чумбур, откинув назад свой корпус.

— Тпрру!.. Черт кыргыцкой!

— Держите крепче! — кричит старик, размахивая руками. — Ах, галманы!

Лошадь делает отчаянную попытку освободиться от своих мучителей, бьет задними ногами, дрожит и раздувает ноздри.

— Тпрру, анафема!

Старик в халате точно скатывается с террасы по внутренней лесенке и кубарем вылетает на двор. Подобрав полы халата, он заходит сзади лошади и начинает на нее махать руками.

— Спусти чумбур, Никита... Дай поводок... Сперва на корде прогоним. Ахметка, свиное ухо, ты чего глаза-то вытаращил?

Калитка отворяется, и во двор въезжает верхом на вороной высокой лошади молодой человек в черкеске, папахе и с серебряным большим кинжалом на поясе. Великолепная вороная лошадь-степняк, покачиваясь на тонких сухих ногах, грациозно подходит на середину двора и останавливается. Молодой человек с опухшим красным лицом и мутными глазами сонно смотрит на старика в халате.

— Лиодорка, откуда черт принес? — крикливо спрашивает старик, прищуривая свои желтые глазки.

— Где был, там ничего не осталось, — хрипло отвечает молодой человек и по пути вытягивает нагайкой Ахмета по спине.

— Ай-яяй! — взвизгивает башкир, хватаясь за спину. — Ай, бачка!..

— Разве так лошадей выводят? — кричит молодой человек, спешиваясь и выхватывая у Ахметки повод. — Родитель, ты ее сзаду пугай... Да не бойся. Ахметка, а ты чего стоишь?

Все четверо начинают гонять пугливого иноходца на корде, но он постоянно срывает и затягивает повод. Кончается это представление тем, что иноходец останавливается, храпит и затягивает шею до того, что из ноздрей показывается кровь.

— Бей его!.. Валяй! — визжит старик, привскакивая на месте.

Никита откинулся всем корпусом назад, удерживая натянувшийся, как струна, волосяной чумбур, а Лиодор и Ахметка жарят ошалевшую лошадь в два кнута.

— Ой, батюшки, до смерти забьют! — вскрикивает в кухне толстая стряпка Аграфена, высовываясь из окна.

Кухня в подвале, и ей приходится налегать своим жирным телом на тощего старичка странника, который уже давно лежит на подоконнике и наблюдает, что делается во дворе.

— Тетка, этак и задавить можно живого человека! — ворчит странник, напрасно стараясь высвободить свое тощее старое тело из-под навалившегося на него бабьего жира.

— Ох ты, некошной! — ругается стряпка. — Шел бы, миленький, своею дорогой... Поел, отдохнул, надо и честь знать.

Стряпка Аграфена ужасно любит лошадей и страшно мучается, когда на дворе начинают тиранить какую-нибудь новокупку, как сейчас. Главное, воротился Лиодор на грех: забьет он виноходца, когда расстервенится. Не одну лошадь уходил, безголовый.

Странник слез с окна, поправил длинную синюю рубаху, надел котомку, взял в руки берестяной бурачок и длинную палку и певуче проговорил:

— Спасибо, Аграфенушка, за хлеб, за соль...

Это был тот самый бродяга, который убежал из суслонского волостного правления. Нахлобучив свою валеную шляпу на самые глаза, он вышел на двор.

На террасе в это время показались три разодетых барышни. Они что-то кричали старику в халате, взвизгивали и прятались одна за другую, точно взбесившаяся лошадь могла прыгнуть к ним на террасу.

— Папенька!.. Папенька, не бейте лошадку!

— Лиодор, иди сюда, завтрак готов!

Бродяга внимательно посмотрел на визжавших барышень и подошел к Лиодору.

— Дай-ка мне повод-то, хозяин, — заговорил он, протягивая руку.

Лиодор оглянулся и, презрительно смерив бродягу с ног до головы, толкнул его локтем.

— Дай, тебе говорят!

У Лиодора мелькнула мысль: пусть Храпун утешит старичонку. Он молча передал ему повод и сделал знак Никите выпустить чумбур. Все разом бросились в стороны. Посреди двора остались лошадь и бродяга. Старик отпустил повод, смело подошел к лошади, потрепал ее по шее, растянул душивший ее чумбур, еще раз потрепал и спокойно пошел вперед, а лошадь покорно пошла за ним, точно за настоящим хозяином. Подведя успокоенного Храпуна к террасе, бродяга проговорил:

— Вот как учат лошадей, сударыни-барышни!

Барышни весело рассмеялись и забили в ладоши, а бродяга отвел лошадь под навес и привязал к столбу.

— Да ты откуда взялся-то, ярыга-мученик? — визгливо спрашивал старик в халате, подступая к бродяге. — Сейчас видно зазнамого конокрада.

— Стоило бы што воровать, Харитон Артемич. Аль не узнал!

— Где всех прощелыг вызнаешь.

— Ну, так я уж сам скажусь: про Михея Зотыча Колобова слыхал? Видно, он самый... В гости пришел, а ты меня прощелыгой да конокрадом навеличиваешь. Полтораста верст пешком шел.

— Вот так фунт! — ахнул Харитон Артемьич, не вполне доверяя словам странного человека. — Слыхивал я про твои чудеса, Михей Зотыч, а все-таки оно тово...

— Ладно... Мне с тобой надо о деле поговорить.

— Пойдем в горницы... Ну, удивил!.. Еще как Лиодорка тебе шею не накостылял: прост он у меня на этакие дела.

— Кормильца вырастил, — ядовито заметил Колобов, поглядывая на снявшего папаху Лиодорку. — Вон какой нарядный: у шутов хлеб отбивает.

— Ох, и не говори!.. Один он у меня, как смертный грех. Один, да дурак, хуже этого не придумаешь.

— Один сын — не сын, два сына — полсына, а три сына — сын... Так старинные люди сказывали, Харитон Артемьич. Зато вот у тебя три дочери.

— Наградил господь... Ох, наградил! — как-то застонал Харитон Артемьич, запахивая халат. — Как их ни считай, все три девки выходят... Давай поменяемся: у тебя три сына, а у меня три дочери, — ухо на ухо сменяем, да Лиодорку прикину впридачу.

Теперь все с удивлением оглядывали странного гостя: кучера, стряпка, Лиодор, девицы с террасы. Всех удивляло, куда это тятенька ведет этого бродягу.

— Как он сказался по фамилии-то? — спрашивал Лиодор кучера.

— Коробов али Колобов, — не разобрал хорошенько.

— Вот так фунт! — удивился в свою очередь Лиодор. — Это, значит, родитель женихов-то, которые наезжали на той неделе... Богатеющий старичонко!

Стряпка Аграфена услыхала это открытие и стрелой ринулась наверх, чтобы предупредить «самое» и девиц. Она едва могла перевести дух, когда ворвалась на террасу, где собрались девицы.

— Барышни... родные... Ведь этот странник-то... странник-то... — бормотала она, делая отчаянные жесты.

— Да вон он с тятенькой у крыльца остановился... Сестрицы, тятенька сюда его ведет!

— Барышни... ох, задохлась! Да ведь это женихов отец... Два брата-то наезжали на той неделе, так ихний родитель. Сам себя обозначил.

Все девицы взвизгнули и стайкой унеслись в горницы, а толстуха Аграфена заковыляла за ними.

«Сама» после утреннего чая прилегла отдохнуть в гостиной и долго не могла ничего понять, когда к ней влетели дочери всем выводком. Когда-то красивая женщина, сейчас Анфуса Гавриловна представляла собой типичную купчиху, совсем заплывшую жиром. Она сидела в ситцевом «холодае» и смотрела испуганными глазами то на дочерей, то на стряпку Аграфену, перебивавших друг друга.

— Женихов отец, мамынька, приехал... Колобов старик.

— Не приехал, а пешком пришел. С палочкой идет по улице, я сама видела, а за плечами котомка.

— Дайте мне словечушко вымолвить, — хрипела Аграфена, делая умоляющие жесты. — Красавицы вы мои, дайте...

— Молчите вы, девицы! — окликнула дочерей «сама». — А ты говори, Аграфена, да поскорее.

— Ох, задохлась!.. Стряпаю я это даве утром у печки, оглянулась, а *он* и сидит на лавочке... Уж отколь он взялся, не могу сказать, точно вот из земли вырос. Я его за странного человека приняла... Ну, лепешки у нас к чаю были, — я ему лепешку подала. Ей-богу!.. Прикушал и спасибо сказал. Потом Никита с Ахметкой вертелись в куфне и с ним што-то болтали, а уж мне не до них было. Ну, потом кучера ушли виноходца нового выводить, а *он* в куфне остался. Подсел к окошечку и глядит на двор, как виноходец артачится... Я еще чуть не задавила его: он в окошке-то, значит, прилег на подоконник, а я забыла о нем, да тоже хотела поглядеть на двор-то, да на него и навалилась всем туловом.

— Ах, батюшки! — застонала Анфуса Гавриловна, хватаясь за голову. — Да ведь ты, Аграфенушка, без ножа всех зарезала... Навалилась, говоришь?.. Ах, грех какой!..

— Мамынька, зачем же он в куфню забрался? — заметила старшая дочь Серафима. — Ты только посмотри на него, каков он из себя-то. На улице встретишь — копеечку подашь.

— В том роде, как бродяга али странник, — объясняла Аграфена в свое оправдание. — Рубаха на нем

изгребная, синяя, на ногах коты... Кабы знатье, так разе бы я стала его лепешкой кормить али наваливаться?

— Ну, ну, ладно! — оборвала ее Анфуса Гавриловна. — Девицы, вы приоденьтесь к обеду-то. Не то штоб уж совсем на отличку, а как порядок требовает. Ты, Харитинушка, барежево платье одень, а ты, Серафимушка, шелковое, канаусовое, которое тебе отец из Ирбитской ярманки привез... Ох, Аграфена, сняла ты с меня голову!.. Ну, надо ли было дурище наваливаться на такого человека, а?.. Растерзать тебя мало...

Младшие девицы, Агния и Харитина, особенно не тревожились, потому что все дело было в старшей Серафиме: ее черед выходить замуж. Всех красивее и бойчее была Харитина, любимица отца; средняя, Агния, была толстая и белая, вся в мать, а старшая, Серафима, вступила уже в годы, да и лицо у нее было попорчено веснушками. Глядя на дочерей, Анфуса Гавриловна ругала про себя хитрого старичонка гостя: не застань он их врасплох, не показала бы она Харитины, а бери из любых Серафиму или Агнию. Уж не первому жениху Харитина заперла дорогу, а выдавать младшую раньше старших не приходится.

IV

— Я тебе наперво домишко свой покажу, Михей Зотыч, — говорил старик Малыгин не без самодовольства, когда они по узкой лесенке поднимались на террасу. — В прошлом году только отстроился. Раньше-то некогда было. Семью на ноги поднимал, а меня господь-таки благословил: целый огород девок. Трех с рук сбыл, а трое сидят еще на гряде.

— Ваши-то запольские невесты на слуху, — поддакивал гость. — Богатые да щеголихи. Далеко слава-то прошла. По другим местам девки сидят да завидуют запольским невестам.

— Уж это што говорить: извелись на модах вконец!.. Матери-то в сарафанах еще ходят, а дочкам фигли-мигли подавай... Одно разоренье с ними. Тяже-

ленько с дочерями, Михей Зотыч, а с зятьями-то вдвое... Меня-таки прямо наказал господь. Неудачлив я на зятьев.

Гость ничего не отвечал, а только поджал свои тонкие губы и прищурился, причем его сморщенное обветрелое лицо получило неприятное выражение. Ему не понравился разговор о зятьях своею бестактностью. Когда они очутились на террасе, хозяин с видимым удовольствием оглянул свой двор и все хозяйственные пристройки.

— Хорош дворик, — вслух полюбовался гость. — А што в амбарах-то держишь?

— А разное, Михай Зотыч: и семя льняное, и кудельку, и масло.

— Вот это ты напрасно, Харитон Артемьич. Все такой припас, што хуже пороху. Грешным делом, огонек пыхнет, так костер костром, — к слову говорю, а не беду накликаю.

— Покедова бог хранил. У нас у всех так заведено. Да и дом каменный, устоит. Да ты, Михей Зотыч, сними хоть котомку-то. Вот сюда ее и положим, вместе с бурачком и палочкой.

Гость охотно исполнил это желание и накрыл свои пожитки шляпой. В своей синей рубахе, понитке и котах он походил не то на богомольца, не то на бродягу, и хозяин еще раз пожал плечами, оглядывая его с ног до головы. Юродивый какой-то.

— Што, на меня любуешься? — пошутил Колобов, оправляя пониток. — Уж каков есть: весь тут. Привык по-домашнему ходить, да и дорожка выпала не близкая. Всю Ключевую, почитай, пешком прошел. Верст с двести будет... Так оно по-модному-то и неспособно.

— Шутки шутишь, Михей Зотыч, — усомнился хозяин. — Какая тебе нужда пешком-то было идти столько места?

— А привык я. Все пешком больше хожу: которое место пешком пройдешь, так оно памятливее. В Суслоне чуть было не загостился у твоего зятя, у писаря... Хороший мужик.

Одно имя суслонского писаря заставило хозяина даже подпрыгнуть на месте. Хороший мужик суслонский писарь? Да это прямой разбойник, только ему нож в руки дать... Живодер и христопродавец такой, каких белый свет не видывал. Харитон Артемьич раскраснелся, закашлялся и замахал своими запухшими красными руками.

— И как он обманул меня тогда дочерью-то, когда, значит, женился на Анне, ума не приложу! — упавшим голосом прибавил он, выпустив весь запас ругательств. — Дела тогда у меня повихнулись немножко, караван с салом затонул, ну, он и подсыпался, писарь. А дочь Анна была старшая и в годках, за ней целый мост их, девок, — ну, он и обманул. Прямой разбойник... Еще и сейчас с меня приданое свое справляет и даже судом грозил. Я бы ему на свои деньги веревку купил, только бы повесился... Вот какие у меня зятья! Да и низко мне с писарями родню-то разводить. Што такое писарь? Приехал становой: «А ну-ка, ты, такой-сякой...» И сейчас в скулу. А я в первой гильдии.

— Всякие и писаря бывают.

— Да стыдно мне, Михей Зотыч, и говорить-то о нем: всему роду-племени покор. Ты вот только помянул про него, а мне хуже ножа... У нас Анна-то и за дочь не считается и хуже чужой.

— Это уж напрасно, Харитон Артемьич. Горденек ты, как я погляжу. И птица перо в перо не родится, а где же зятьев набрать под одну шерсть?

Взглянув на двор, по которому ехал Лиодор верхом на своей лошади, старик подбежал к перилам и, свесившись, закричал:

— Ты это опять куды наклался-то, непутевая голова?.. Который это день музыку-то разводишь? Я до тебя доберусь!.. Я тебе покажу!..

— К Булыгиным, — коротко ответил Лиодор, свешиваясь в седле по-татарски, на один бок.

— Ах, аспид! ах, погубитель! — застонал старик. — Видел, Михей Зотыч? Гибель моя, а не сын... Мы с Булыгиным на ножах, а он, слышь, к Булыгиным. Уж я его, головореза, три раза проклинал и на

смирение посылал в степь, и своими руками терзал — ничего не берет. У других отцов сыновья — замена, а мне нож вострый. Сколько я денег за него переплатил!

— В годы войдет — образумится.

Харитон Артемьич спохватился, что сгоряча сболтнул лишнее, и торопливо повел мудреного гостя в горницы. Весь второй этаж был устроен на отличку: зал, гостиная, кабинет, столовая, спальня, — все по-богатому, как в первых купеческих домах. Стены везде были оклеены бархатными дорогими обоями, потолки лепные, мебель крыта шелком и трипом. Один только недостаток чувствовался в этой богатой обстановке: от нее веяло нежилым. Вся семья жалась в нижнем этаже, в маленьких, низких комнатах, а парадный верх служил только для приемов. Летом еще девицы получали дозволение проходить на террасу.

— Одна мебель чего мне стоила, — хвастался старик, хлопая рукой по дивану. — Вот за эту орехову плачено триста рубликов... Кругленькую копеечку стоило обзаведенье, а нельзя супротив других ниже себя оказать. У нас в Заполье по-богатому все дома налажены, так оно и совестно свиньей быть.

Гость внимательно все осмотрел, поддакивая хозяину, а потом проговорил:

— Наладил ты себе, Харитон Артемьич, не дом, а пряменько сказать — трактир.

Это замечание поставило хозяина в тупик: обидеться или поворотить на шутку? Вспомнив про дочерей, он только замычал. Ответил бы Харитон Артемьич, — ох, как тепленько бы ответил! — да лиха беда, по рукам и ногам связан. Провел он дорогого гостя в столовую, где уже был накрыт стол, уставленный винами и закусками.

— Ну-ка, Михей Зотыч, огорчимся для первоначалу.

Гость пожевал сухими губами, прищурился и быстро ответил:

— Не принимаю я огорчения-то, Харитон Артемьич. И скусу не знаю в вине, какое оно такое есть. Не приводилось отведывать смолоду, а теперь уж года ушли учиться.

«Вот гостя господь послал: знакомому черту подарить, так назад отдаст, — подумал хозяин, ошеломленный таким неожиданным ответом. — Вот тебе и сват, Ни с которого краю к нему не подойдешь. То ли бы дело выпили, разговорились, — оно все само бы и наладилось, а теперь разводи бобы всухую. Ну, и сват, как кривое полено: не уложишь ни в какую поленницу».

Пришлось «огорчиться» одному. Налил себе Харитон Артемьич самую большую рюмку, «протодьяконскую», хлопнул и, не закусывая, повторил.

— У нас между первой и второй не дышат, — объяснил он. — Это по-сибирски выходит. У нас все в Заполье не дураки выпить. Лишнее в другой раз переложим, а в компании нельзя. Вот я и стар, а компании не порчу... Все бросить собираюсь.

Дальше хозяин уже не знал, что ему и говорить. Но на выручку появилась Анфуса Гавриловна в своем новом тяжелом шелковом платье, стоявшем коробом, и в купеческой косынке-головке. Она степенно поклонилась гостю. За ней показались девицы. Они жеманно переглянулись, оглядев гостя с ног до головы. Все невесты на подбор: любую бери. Старшая имела скучающий вид, потому что ей уже надоела эта церемония «смотрин», да она плохо и рассчитывала на «судьбу», когда на глазах вертится Харитина. Анфуса Гавриловна с первого раза заметила, что отец успел «хлопнуть» прежде времени, а гость и не притронулся ни к чему.

— Ну-ка, как *он* теперь откажется, ежели хозяйка угощать будет? — заметил хозяин, глупо хихикнув. — Фуса, ну и гость: ни единой капли...

— Что же, не всем пить, — заметила политично хозяйка, подбирая губы оборочкой. — Честь честью, а неволить не можем.

— Это ты правильно, хозяюшка, — весело ответил гость. — Необычен я, да и стар. В черном теле прожил всю жизнь, не до питья было.

Хозяин, воспользовавшись случаем, что при госте жена постеснится его оговорить, налил себе третью «протодьяконскую». Анфуса Гавриловна даже отвер-

нулась, предчувствуя скандал. Старшая дочь Серафима нахмурила брови и вопросительно посмотрела на мать. В это время Аграфена внесла миску со щами.

— Садитесь, Михей Зотыч, — приглашала хозяйка. — Не обессудьте на угощении.

— Вот што, милая, — обратился гость к стряпке, — принеси-ка ты мне ломтик ржаного хлебца черствого да соли крупной, штобы с хрустом... У вас, Анфуса Гавриловна, соль на дворянскую руку: мелкая, а я привык по-крестьянски солить.

— Вот это я люблю! — поддержал его хозяин. — Я сам, брат, не люблю все эти трень-брень, а все бабы моду придумывают. Нет лучше закуски, как ржаная корочка с сольцой да еще с огурчиком.

Серафима была посажена напротив гостя, чтобы вся была на виду. На ней лежала сейчас нелегкая обязанность показать себя в лучшем виде, какой только полагается для девиц. Впрочем, она была опытной в подобных делах и нисколько не стеснялась, тем более что и будущий свекор ничего страшного не представлял своею особой. Мать взглянула на нее всего один раз, и Серафима отлично поняла этот взгляд: «Притворяется старичонко, держи ухо востро, Сима». Когда хозяйка налила гостю тарелку щей, он сделал смешное лицо и сказал еще смешнее:

— Матушка, а ведь я обожгусь серебряною-то ложкой. Мне бы деревянную.

Бойкая Харитина сразу сорвалась с места и опрометью бросилась в кухню за ложкой, — эта догадливость не по разуму дорого обошлась ей потом, когда обед кончился. Должна была подать ложку Серафима.

— Стрела, а не девка! — еще больше некстати похвалил ее захмелевший домовладыка. — Вот посмотри, Михей Зотыч, она и мне ложку деревянную приволокет: знает мой карахтер. Еще не успеешь подумать, а она уж сделала.

Харитина действительно вернулась с двумя ложками, сияющая своею раннею молодостью, веселая, улыбающаяся. Взглянув на мать, она поняла, какую глупость сделала, и раскраснелась еще сильнее — и

стала еще красивее. Серафима ела выскочку глазами, и только одна Агния оставалась безучастной ко всему и внимательно рассматривала лысую голову мудреного гостя. Анфуса Гавриловна завела политичный разговор о погоде, о соборном протопопе, об ярмарке и т. д. Она несколько раз давала случай Серафиме вставить словечко, — не прежнее время, когда девки сидели, набравши воды в рот, как немые. Одним словом, Анфуса Гавриловна оказалась настоящим полководцем, хотя гость уже давно про себя «прикинул в уме» всех трех сестер: младшая хоть и взяла и красотой и удалью, а еще невитое сено, икона и лопата из нее будет; средняя в самый раз, да только ленива, а растолстеет — рожать будет трудно; старшая, пожалуй, подходящее всех будет, хоть и жидковата из себя и модничает лишнее. Ну, в годы войдет и раздобреет, а главное, у ней в глазу огонек есть, — упрямо таково взглянет. По матери девицы издались, нечего напрасно хаять.

Хозяйку огорчало главным образом то, что гость почти ничего не ел, а только пробовал. Все свои ржаные корочки сосет да похваливает. Зато хозяин не терял времени и за жарким переехал на херес, — значит, все было кончено, и Анфуса Гавриловна перестала обращать на него внимание. Все равно не послушает после третьей рюмки и устроит штуку. Он и устроил, как только она успела подумать.

— Михей Зотыч, вот мои невесты: любую выбирай, — брякнул хозяин без обиняков. — Нет, врешь, Харитину не отдам! Самому дороже стоит!

— Харитон Артемьич, перестань ты непутевые речи говорить, только девиц конфузишь, — попробовала оговорить мужа Анфуса Гавриловна.

— Я?!. Ты меня учить?..

Гость остановил хозяйский кулак, готовившийся ударить по столу.

— Полюбился ты мне с первого раза, Харитон Артемьич, — проговорил он ласково. — Душа нараспашку... Лишнее скажешь: слышим — не слышим. Вы не беспокойтесь, Анфуса Гавриловна. Дело житейское.

Вспыхнувшая пьяная энергия сразу сменилась слезливым настроением, и Харитон Артемьич принялся жаловаться на сына Лиодора, который от рук отбился и на него, отца, бросился как-то с ножом. Потом он повторил начатый еще давеча разговор о зятьях.

— Первого зятя ты у меня видел, — говорил Харитон Артемьич, откладывая один палец. — Он у меня из счету вон, потому как нам низко с писарями родство разводить. Вторая дочь Татьяна вышла за Пашку Булыгина: с моим-то Лиодоркой два сапога пара. Тоже такой зятек, не обрадуешься... Как-то обещался своими руками меня задавить, ежели попадусь. Ну, дурак, а у дурака дурацкий и разговор... А третий зять у меня немец Штофф, — это как, по-твоему? Мы его полуштофом зовем, потому как ростом маленько не дошел... Евлампию дочь у меня этот самый полуштоф сманул, и мне никакого уважения. Хоть бы богатый был, а то шантрапа немец. Одно у него: крещеный по нашему православному закону. Вот какие все патреты вышли!.. Трех дочерей отдал замуж, а доведись — и пообедать ни у одного зятя не пообедаешь: у писаря мне низко обедать, Пашка Булыгин еще побьет, а немец мой сам глядит, где бы пообедать. А теперь вот этих трех надо замуж выдать. Тоже еще неизвестно, каких зятьев господь пошлет... Только вперед тебе скажу: Харитину не отдам. Ни-ни...

— Харитон Артемьич, будет тебе, — со слезами в голосе молила Анфуса Гавриловна. — Голову ты с дочерей снял.

— Не отдам Харитину! — кричал старик. — Нет, брат, шалишь!.. Самому дороже стоит!

— Дело божье, Харитон Артемьич, — политично ответил гость, собирая свои корочки в сторону. — А девицам не пристало слушать наши с тобой речи. Пожалуй, и лишнее скажем.

Девушки посмотрели на мать и все разом поднялись. Харитон Артемьич понял свою оплошку и только засопел носом, как давешний иноходец. К довершению скандала, он через пять минут заснул.

— Уж вы не обессудьте на нашем невежестве, — умоляюще проговорила Анфуса Гавриловна, поднимаясь.

— Что же, дело житейское, — наставительно ответил гость и вздохнул. — А кто осудит, тот и грех на себя примет, Анфуса Гавриловна.

— Ах, замаялась я, Михей Зотыч!..

— Главная причина: добрый человек, а от доброго человека и потерпеть можно. Слабенек Харитон Артемьич к винцу... Ах, житейское дело! Веселенько у вас поживают в Заполье, слыхивал я. А не осужу, никого не осужу... И ты напрасно огорчаешься, мать.

Это простое приветливое слово сразу ободрило Анфусу Гавриловну, и она посмотрела на гостя, как на своего домашнего человека, который сору из избы не вынесет. И так у него все просто, по-хорошему. Старик полюбился ей сразу.

На прощание Михей Зотыч потрепал хозяюшку по плечу и проговорил:

— Хороши твои девушки, хороши красные... Которую и брать, не знаю, а начинают с краю. Серафима Харитоновна, видно, богоданной дочкой будет... Галактиона-то моего видела? Любимый сын мне будет, хоша мы не ладим с ним... Ну, вот и быть за ним Серафиме. По рукам, сватья...

Анфуса Гавриловна расплакалась. Очень уж дело выходило большое, и как-то сразу все обернулось. Да и жаль Серафиму, точно она ее избывала.

V

Про Заполье далеко шла слава, как про город бойкий, богатый и оборотистый. Он залег в низовьях реки Ключевой, главной артерии благословенного Зауралья, — в самом горле, как говорили старожилы. Река была главною кормилицей. Другим важным обстоятельством было то, что Заполье занимало границу, отделявшую собственно Зауралье от начинавшейся за ним степи, или, как говорили мужики, «орды». В сущности настоящая степь была далеко, но

это название сохранялось за тою смешанною полосою, где русская селитьба мешалась с башкирской и казачьими землями. Весь бассейн Ключевой представлял собой настоящее золотое дно, потому что здесь осело крепкое хлебопашественное население, и благодатный зауральский чернозем давал баснословные урожаи, не нуждаясь в удобрении. С другой стороны, степь давала богатое степное сырье — сало, кожи, конский волос, гурты курдючных баранов и степных быков, косяки степных лошадей и целый ряд бухарских товаров. Бывший пограничный городок захватил в свои руки всю хлебную торговлю и все операции со степным сырьем. Условия были самые благоприятные. Скупленный в Зауралье хлеб доставлялся запольскими купцами на все уральские горные заводы и уходил далеко на север, на холодную Печору, а в засушливые годы сбывался в степь. Заполье пользовалось и степною засухой и дождливыми годами: когда выдавалось сырое лето, хлеб родился хорошо в степи, и этот дешевый ордынский хлеб запольские купцы сбывали в Зауралье и на север, в сухое лето хлеб родился хорошо в полосе, прилегавшей к Уральским горам, где влага задерживалась лесами, и запольские купцы везли его в степь, обменивая на степное сырье. Все шло на пользу начетистому запольскому купцу — и засуха и дождливые годы. Он получал свою выгоду и от дешевого и от дорогого хлеба, а больше всего от тех темных операций в безграмотной простоватой орде, благодаря которым составилось не одно крупное состояние.

Ко всему этому нужно прибавить еще одно благоприятное условие, именно, что ни Зауралье, населенное наполовину башкирами, наполовину государственными крестьянами, ни степь, ни казачьи земли совсем не знали крепостного права, и экономическая жизнь громадного края шла и развивалась вполне естественным путем, минуя всякую опеку и вмешательство. Поэтому и объявленная воля не произвела здесь никаких коренных изменений в общем укладе, а только получилась некоторая разница в названиях. Наш рассказ относится именно к этому периоду, к первой половине

шестидесятых годов, когда Заполье находилось в зените своей славы, как главный хлебный рынок и посредник между степью и собственно Россией.

По внешнему виду Заполье ничего особенного из себя не представляло: маленький уездный городок с пятнадцатью тысячами жителей, и больше ничего. Купечество составляло здесь все, и в целом уезде не было ни одного дворянского имения. В Заполье из дворян проживало человек десять, не больше, да и те все были наперечет, начиная с знаменитого исправника Полуянова и кончая приблудным русским немцем Штоффом, явившимся неизвестно откуда и еще более неизвестно зачем. Остальные дворяне были тоже сомнительного свойства, больше из сибирских выходцев — семинаристы, дослужившиеся до Владимира, отставные казачьи офицеры и потомки каких-то мифических сибирских князцев. Сообразно этому купеческому складу устроился и весь город. Купец сказывался во всем. Самым живым местом являлся старый гостиный двор, а затем Хлебная улица, усаженная крепкими купеческими хороминами, — два порядка этой улицы со своими каменными белыми домами походили на две гигантских челюсти, жевавших каменными зубами благосостояние Зауралья и прилегавшей к нему «орды». Все эти купеческие дома строились по одному плану: верх составлял парадную половину, пустовавшую от одних именин до других, а нижний этаж делился на две половины, из которых в одной помещался мучной лабаз, а в другой ютилась вся купеческая семья. Все богатое, именитое в Заполье сбилось именно на Хлебной улице и частью на Хлебном рынке, которым она заканчивалась, точно переходила в громадный желудок. Совершенно отдельно стояли дома купцов-степняков, то есть торговавших степным сырьем, как Малыгин. Они большею частью проживали по своим салотопенным заимкам, приютившимся на реке Ключевой выше и ниже города. Река Ключевая должна была бы составлять главную красоту города, но этого не вышло, — городскую стройку отделяло от реки топкое болото в целую версту. Церквей было не особенно много — зеленый

собор в честь сибирского святого Прокопия, память которого празднуется всею Сибирью 8 июля, затем еще три церкви, и только. Этим Заполье резко отличалось от коренных российских городов. Сибирь вообще не богомольна, а затем половина запольского купечества держалась старой веры или считалась единоверцами. Остальные улицы были заняты мещанскою стройкой и домами разночинцев. Все это были деревянные домики, в один этаж, с целым рядом служб. И мещанину и разночинцу жилось в Заполье хорошо, благо работы всем было по горло.

— Правильный город, — вслух думал старик Колобов, выходя на Хлебную улицу. — Нечего сказать, хороший город.

День уже склонялся к вечеру, и где-то звонили к вечерне. Летом Хлебная улица пустовала, и у лавок без дела слонялись только приказчики да подрушные. От безделья они с утра до вечера жарили в шашки или с хлыстами в руках гонялись за голубями, смело забиравшимися прямо в лавки, где в открытых сусеках ссыпаны были разные крупы, овес и горох. Народ был все рослый, краснорожий, как и следует быть запольским приказчикам. Старик Колобов остановился у одной лавки, где шла ожесточенная игра, сопровождавшаяся веселым ржаньем, прибаутками и тычками, посмотрел на молодцов и только покачал головой.

— Тебе что понадобилось, дедко?

— А вчерашний день потерял, миленькие...

— Проваливай в палевом, приходи в голубом...

Старик шел не торопясь. Он читал вывески, пока не нашел то, что ему нужно. На большом каменном доме он нашел громадную синюю вывеску, гласившую большими золотыми буквами: «Хлебная торговля Т. С. Луковникова». Это и было ему нужно. В лавке дремал благообразный старый приказчик. Подняв голову, когда вошел странник, он машинально взял из деревянной чашки на прилавке копеечку и, подавая, сказал:

— Прими, старичок.

— Спасибо, миленький... — отказался странник. — Мне бы Тараса Семеныча повидать.

— Тараса Семеныча? Ступай-ка своей дорогой... Ежели каждый полезет к Тарасу Семенычу, так ему и пообедать некогда будет.

— Может, он почивает?

— Нет, какой теперь сон, когда еще восьмой час на дворе?

— Ну, так я его подожду здесь. Доложи, што некоторый человек очень желает его видеть по некоторому делу.

— Да я тебе мальчик дался?

— Ты-то не мальчик, а послать можешь... Очень бы хотел его повидать.

Прочухавшийся приказчик еще раз смерил странного человека с ног до головы, что-то сообразил и крикнул подрушного. Откуда-то из-за мешков с мукой выскочил молодец, выслушал приказ и полетел с докладом к хозяину. Через минуту он вернулся и объявил, что сам придет сейчас. Действительно, послышались тяжелые шаги, и в лавку заднею дверью вошел высокий седой старик в котиковом картузе. Он посмотрел на странного человека через старинные серебряные очки и проговорил не торопясь:

— Это ты меня спрашивал?

— Видно, я... Аль не узнаешь, Тарас Семеныч?

Старик приподнял голову, еще раз внимательно рассмотрел мудреного человека и с прежним спокойствием проговорил:

— Пойдем в горницы, Михей Зотыч.

Михей Зотыч был один, и торговому дому Луковникова приходилось иметь с ним немалые дела, поэтому приказчик сразу вытянулся в струнку, точно по нему выстрелили. Молодец тоже был удивлен и во все глаза смотрел то на хозяина, то на приказчика. А хозяин шел, как ни в чем не бывало, обходя бунты мешков, а потом маленькою дверцей провел гостя к себе в низенькие горницы, устроенные по-старинному.

— Ну, здравствуй, дорогой гостенек, — поздоровался он, наконец. — Али на богомолье куда наклался?

— Нет, по-дорожному, Тарас Семеныч... Почитай всю Ключевую пешком прошел. Да вот и завернул тебя проведать...

— Так, так... Заходил ко мне Галактион-то, поклончик от тебя сказывал. Да... Невесту высматривать приехали у Малыгиных.

— Есть и такой грех, Тарас Семеныч. Житейское дело... Надо обженить Галактиона-то, пока не избаловался.

— Так, так.

Хозяин что-то хотел сказать, но только посмотрел на гостя своими темными близорукими глазами. Гость понял этот немой вопрос и ответил:

— Сам-то Харитон Артемьич не совсем, а кровь хорошая... Хорошая кровь, нечего хаять.

— Которую выбрал?

— А с краешку, значит, Серафиму. Малость жидковата, а такие-то живущее... Закинул я даве словечко с самой-то. Правильная женщина, обстоятельная...

— Еще бы, из старинного рода Анфуса-то Гавриловна. В свойстве мы с ней, хотя и небольшая родня.

Горницы у Тараса Семеныча были устроены по-старинному, низенькие, с небольшими оконцами, запиравшимися на ночь ставнями, с самодельными ковриками из старого тряпья, с кисейными занавесками, горками с посудой и самым простеньким письменным столом, приткнутым в гостиной. Были еще две маленьких комнаты, в одной из которых стояла кровать хозяина и несгораемый шкаф, а в другой жила дочь Устинька с старухой нянькой. Даже на неприхотливый взгляд Михея Зотыча горницы были малы для такого человека, как Тарас Семеныч.

— Ты ведь нынче в больших тысячах, — заговорил гость после длинной паузы. — Надо бы наверх перебраться.

— Ладно и здесь, Михей Зотыч. Как-то обжился, а там пусто, наверху-то. Вот, когда гости наберутся, так наверх зову.

— Другие-то вон как у вас поживают в Заполье. Недалеко ходить, взять хоть того же Харитона Артемьича. Одним словом, светленько живут.

— Другие и пусть живут по-другому, а нам и так ладно. Кому надо, так и моих маленьких горниц не обегают. Нет, ничего, хорошие люди не брезгуют... Много у нас в Заполье этих других-то развелось. Модники... Смотреть-то на них тошно, Михей Зотыч. А все через баб... Испотачили бабешек, вот и мутят: подавай им все по-модному.

— Денежки у вас дикие, вот они петухами и поют.

— Есть и такой грех. Не пожалуемся на дела, нечего бога гневить. Взысканы через число... Только опять и то сказать, купца к купцу тоже не применишь. Старинного-то, кондового купечества немного осталось, а развелся теперь разный мусор. Взять вот хоть этих степняков, — все они с бору да с сосенки набрались. Один приказчиком был, хозяина обворовал и на воровские деньги в люди вышел.

— Это ты насчет Малыгина?

— Не один он такой-то... Другие в орде темным делом капитал приобрели, как Харитошка Булыгин. Известное дело, как там капиталы наживают. Недаром говорится: орда слепая. Какими деньгами рассчитываются в орде? Ордынец возьмет бумажку, посмотрит и просит дать другую, чтобы «тавро поятнее».

— Фальшивой работы бумажки?

— И своей фальшивой и привозные. Как-то наезжал ко мне по зиме один такой-то хахаль, предлагал купить по триста рублей тысячу. «У вас, говорит, уйдут в степь за настоящие»... Ну, я его, конечно, прогнал. Ступай, говорю, к степнякам, а мы этим самым товаром не торгуем... Есть, конечно, и из мучников всякие. А только деньги дело наживное: как пришли так и ушли. Чего же это мы с тобой в сухую-то тарыбары разводим? Пьешь чай-то?

— Ох, пью, миленький... И грешно, а пью. Великий соблазн, а пью... По нашей-то вере это даже вот как нехорошо.

— Пустяки это все... Чай — злак божий и создан он на потребу человеку. А потом, не сквернит человека входящее во уста, а исходящее из уст... Эй, Матрена!

В дверях показалась старуха няня, из-за которой выглядывала детская русая головка.

— Наставь-ка нам самоварчик, честна̀я мать. Гость у меня... А ты, Устюша, иди сюда. Да не бойся, глупая.

Старик должен был сам подойти к девочке и вывел ее за руку. Устюше было всего восемь лет. Это была прехорошенькая девочка с русыми волосами, голубыми глазками и пухлым розовым ротиком. Простое ситцевое розовое платьице делало ее такою милою куколкой. У Тараса Семеныча сразу изменился весь вид, когда он заговорил с дочерью, — и лицо сделалось такое доброе, и голос ласковый.

— Да ты не бойся, Устюша, — уговаривал он дичившуюся маленькую хозяйку. — Михей Зотыч, вот и моя хозяйка. Прошу любить да жаловать... Вот ты не дождался нас, а то мы бы как раз твоему Галактиону в самую пору. Любишь чужого дедушку, Устюша?

— Не-е-т, — недоверчиво протянула девочка. — Он беззубый.

— Ну, это пустяки: мы ему зубы молодые вставим.

— А я тебе гостинца привезу в другой раз, — пробовал задобрить гость упрямившуюся маленькую хозяйку. — Любишь пряники?

— Подымай выше, — засмеялся счастливый отец. — Нам пряники нипочем, а подавай фрукты.

— Набалуешь дочь, Тарас Семеныч.

— Пока мала, и пусть побалуется, а когда в разум войдет, мы и строгость покажем. Одна ведь она у меня, как перст... Только и свету в окне.

Колобов совсем отвык от маленьких детей и не знал, как ему разговаривать с Устюшей. Впрочем, девочка недолго оставалась у отца и убежала в кухню к няне.

— Вот ращу дочь, а у самого кошки на душе скребут, — заметил Тарас Семеныч, провожая глазами убегавшую девочку. — Сам-то стар становлюсь, а с кем она жить-то будет?.. Вот нынче какой народ пошел: козырь на козыре. Конечно, капитал будет, а

только деньгами зятя не купишь, и через золото большие слезы льются.

За самоваром старики разговорились. Михей Зотыч снял свою сермяжку и остался в одной синей рубахе.

— Ты это что добрых-то людей пугаешь? — еще раз удивился хозяин улыбаясь. — Бродяга не бродяга, а около этого.

— Да так нужно было, Тарас Семеныч... Ведь я не одну невесту для Галактиона смотреть пришел, а и себя не забыл. Тоже жениться хочу.

— Хорош жених!

— А то как же... И невесту уж высмотрел. Хорошая невеста, а женихов не было. Ну, вот я и пришел... На вашей Ключевой женюсь.

— Н-но-о?

— Верно тебе говорю... Заводы бросаю и всю семью вывожу на Ключевую. Всем работы хватит... И местечко приглядел, повыше Суслона, где малыгинский зять писарит. Ах, хорошо местечко!.. Ужо меленку поставлю.

— А свою бросаешь?

— Жаль, а приходится бросать. Тоже ведь на Ключевой стоит. Своя река-то... Ну, пока мы к заводам обязанные были, так оно некуда было деться, а теперь совсем другое. О сынах надо позаботиться... Дела там мало, в горах. Много ли там хлеба сеют, а здесь у вас приволье. Вот я всю Ключевую наскрось и прошел... Не река, а угодница. Два города стоят, три завода, а сколько фабрик, заимок, мельниц — и не пересчитаешь... Иду и дивлюсь. Верст с триста прошел, а все в виду селенья. Другой такой реки и в Расее с огнем не сыщешь. Ах, хороша речка!

— Большую мельницу-то думаешь строить?

— А уж это как бог приведет... Вот еще как мои-то помощники. Емельян-то, значит, большак, из воли не выходит, а на Галактиона как будто и не надеюсь. Мудреный он у меня.

— Знаю, знаю, что любимый сын... Сам виноват, что набаловал.

— Нет, не то... Особенный он, умственный. Всякое дело рассудит... А то упрется на чем, так точно на пень наехал.

— Постой, Михей Зотыч, а ведь ты неправильно говоришь: наклался ты сына середняка женить, а как же большак-то неженатый останется? Не порядок это.

Гость немного замялся и только потом объяснил:

— Особенное тут дело выходит, Тарас Семеныч. Да... Не спросился Емельян-то, видно, родителя. Грех тут большой вышел... Там еще, на заводе, познакомился он с одною девицей... Ну, а она не нашей веры, и жениться ему нельзя, потому как или ему в православные идти, или ей в девках сидеть. Так это самое дело и затянулось: ни взад ни вперед.

— И хорошая девушка?

— Ему, значит, хороша, а я не видал.

Луковников был православный, хотя и дружил по торговым делам со староверами. Этот случай его возмутил, и он откровенно высказал свое мнение, именно, что ничего Емельяну не остается, как только принять православие.

— Ведь вот вы все такие, — карал он гостя. — Послушать, так все у вас как по-писаному, как следует быть... Ведь вот сидим вместе, пьем чай, разговариваем, а не съели друг друга. И дела раньше делали... Чего же Емельяну поперек дороги вставать? Православной-то уж ходу никуда нет... Ежели уж такое дело случилось, так надо по человечеству рассудить.

— И то я их жалею, про себя жалею. И Емельян-то уж в годах. Сам не маленький... Ну, вижу, помутился он, тоскует... Ну, я ему раз и говорю: «Емельян, когда я помру, делай, как хочешь. Я с тебя воли не снимаю». Так и сказал. А при себе не могу дозволить.

Хозяин только развел руками. Вот тут и толкуй с упрямым старичонкой. Не угодно ли дожидаться, когда он умрет, а Емельяну уж под сорок. Скоро седой волос прошибет.

— Однако я у тебя закалякался, — объявил гость, поднимаясь. — Мне и спать пора... Я ведь, как воробей, поднимаюсь вместе с зарей.

— Да где ты остановился-то, Михей Зотыч?

— А сам еще не знаю где, миленький. Где бог приведет... На постоялый двор куда-нибудь заверну.

— Оставайся у меня. Место найдем.

— Место-то найдется, да я не люблю себя стеснять... А там я сам большой, сам маленький, и никому до меня дела нет.

— Ну, с тобой каши не сваришь. Заходи как-нибудь.

Уходя от Тараса Семеныча, Колобов тяжело вздохнул. Говорили по душе, а главного-то он все-таки не сказал. Что болтать прежде времени? Он шел опять по Хлебной улице и думал о том, как здесь все переменится через несколько лет и что главною причиной перемены будет он, Михей Зотыч Колобов.

VI

Старик Колобов зажился в Заполье. Он точно обыскивал весь город. Все-то ему нужно было видеть, со всеми поговорить, везде побывать. Сначала все дивились чудному старику, а потом привыкли. Город нравился Колобову, а еще больше нравилась река Ключевая. По утрам он почти каждый день уходил купаться, а потом садился на бережок и проводил целые часы в каком-то созерцательном настроении. Ах, хороша река, настоящая кормилица.

— А вы неладно с городом-то устроились, — говорил Колобов мучникам, жарившим в шашки у своих лавок. — Ох, неладно!

— А чем мы провинились, дедко?

— Да так... Грешным делом, огонек пыхнет, вы за водой, да в болоте и завязнете. Верно говорю... Не беду накликаю, а к примеру.

Все соглашались с ним, но никто не хотел ничего делать. Слава богу, отцы и деды жили, чего же им иначить? Конечно, подъезд к реке надо бы вымостить, это уж верно, — ну, да как-нибудь...

Колобов поджидал сыновей, уезжавших по делам на заводы. Они должны были вернуться давно, да

что-то замешкались. Старику пришлось проболтаться в Заполье целых две недели, пока они вернулись. Приехали двое старших, Емельян и Галактион. Они одевались уже по-новому, в пиджаки и сюртуки, как следует быть новым людям. Емельяну уже было под сорок, и на макушке у него просвечивала порядочная лысина. Это был молчаливый человек, занятый какими-то своими мыслями. Много-много, если взглянет на кого, а то и так сойдет. Окладистая русая борода и строгие серые глаза придавали ему вообще довольно суровый вид. Галактион был моложе на целых пятнадцать лет. Это был высокий статный молодец с типичным русским лицом, только что опушенным небольшою бородкой. Ласковые темные глаза постоянно улыбались. У старика Колобова все надежды заключались в Галактионе, — очень уж умный паренек издался. За что ни возьмется, всякая работа горит в руках. Он и механик, и мельник, и бухгалтер, и все, что хочешь. Никакое дело от рук не отобьется.

— Высмотрел я место себе под мельницу, — объяснял старик сыновьям. — Всю Ключевую прошел — лучше не сыскать. Под Суслоном, где Прорыв.

— Что же, будем строиться, — согласился Галактион. — Мы проезжали мимо Суслона. Место подходящее... А только я бы лучше на устье Ключевой поставил мельницу.

— Далеконько отбилось устье-то, почитай в самой орде, — сказал старик, — а Суслон в самом горле... Кругом, как полная чаша.

Пораздумавшись, старик решил, что нужно съездить на устье Ключевой, до которого от Заполья не больше верст шестидесяти.

— Посмотрим, — бормотал он, поглядывая на Галактиона. — Только ведь в устье-то вода будет по весне долить. Сила не возьмет... Одна другую реки будут подпирать.

Емельян, по обыкновению, молчал, точно его кто на ключ запер. Ему было все равно: Суслон так Суслон, а хорошо и на устье. Вот Галактион другое, — у того что-то было на уме, хотя старик и не выпытывал прежде времени.

Поездка на устье Ключевой являлась одной прогулкой, — так было все хорошо кругом. Сначала старик не соглашался ехать на лошадях и непременно хотел идти пешком, но Галактион его уломал. Дорога шла правым степным берегом, где зеленым ковром расстилались поемные луга, а за ним разлеглась уже степь, запаханная только наполовину. И селитьба здесь пошла редкая. Похаять места, конечно, нельзя, а все-таки не то, что под Суслоном. Быстрою сибирскою ездой шестьдесят верст сделали в пять часов: выехали пораньше утром, а к десяти часам были уже на месте.

— Вот это так место! — проговорил Галактион, когда дорожный коробок остановился на мысу.

Действительно, картина была замечательная. Глубокий Тобол шел по степи «в трубе», точно в нарочно прорытой канаве. Ключевая впадала с левой стороны, огибая отлогий мыс, известный под названием Городища, потому что на нем еще сохранились следы старых земляных валов и глубоких рвов. Место слияния двух рек образовало громадное плесо, в котором вода сейчас стояла, как зеркало. Михей Зотыч долго ходил по берегу, присматривая открывавшуюся даль из-под руки. Он что-то бормотал себе под нос, крутил головой и, наконец, вырешил все дело:

— Какое же это место? Тут надо какую плотину — страшно вымолвить... Да и весной вода вон куда поднимается.

Он показал размывы берега, где черта водяного весеннего уровня была налицо.

— Тут надо каменную плотину налаживать, да и ту прорвет, — ворчал старик, тыкая своею черемуховою палкой в водороины.

— А я бы так не ушел отсюда, — думал вслух Галактион, любуясь местом. — Ведь что только можно здесь сделать, родитель!

— Ну-ка, што? — поддразнил старик.

— Пароходную пристань вот тут, а повыше буян для склада всяких товаров... Вот что!

— А пароходы где?

— За пароходом дело не встанет... По другим-то местам везде пароходы, а мы все гужом волокем. Отсюда во все стороны дорога: под Семипалатинск, в степь, на Обь к рыбным промыслам... Работы хватит.

Галактион даже закрыл глаза, рисуя себе заманчивую картину будущего пароходства. Михей Зотыч понял, куда гнул любимый сын, и нахмурился. Не о пустяках надо было сейчас думать, а у него вон что на уме: пароходы... Тоже придумает.

— Ну, уж ты сам езди на своих пароходах, — ворчал он, размахивая палкой, — а мы на берегу посидим.

— Одно другому не мешает, родитель.

— А вот и мешает! За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь... Надо выкинуть дурь-то из головы. Я вот покажу тебе такой пароход...

Повернувшись к Галактиону, старик неожиданно проговорил:

— Я тебе невесту высватал, дураку, а у тебя пароходы на уме. Благодарить будешь.

Галактион ничего не ответил отцу, а только опустил глаза. Он даже не спросил, кто невеста. Это последнее окончательно возмутило старика, и он накинулся на своего любимца с неожиданною яростью:

— Да ты што молчишь-то, пень березовый?.. Я для него убиваюсь, хлопочу, а он хоть бы словечко.

— Что же мне говорить? — замялся Галактион. — Из твоей воли я не выхожу. Не перечу... Ну, высватал, значит так тому делу и быть.

— А для кого я хлопотал-то, дерево ты стоеросовое?.. Ты что должен сделать, идол каменный? В ноги мне должен кланяться, потому как я тебе судьбу устраиваю. Ты вот считаешь себя умником, а для меня ты вроде дурака... Да. Ты бы хоть спросил, какая невеста-то?.. Ах, бесчувственный ты истукан!

— Знаю, какая-такая невеста, — уже спокойно ответил Галактион, поднимая глаза на отца. — Что же, девушка хорошая... Немножко в годках, ну, да это ничего.

— Ну, а еще-то што? Ну, договаривай.

— А еще то, родитель, что ту же бы девушку взять да самому, так оно, пожалуй, и лучше бы было. Это я так, к слову... А вообще Серафима Харитоновна девица вполне правильная.

— Вот как ты со мной разговариваешь, Галактион! Над родным отцом выкомуриваешь!.. Хорошо, я тогда с тобой иначе буду говорить.

Эта сцена более всего отозвалась на молчавшем Емельяне. Большак понимал, что это он виноват, что отец самовольно хочет женить Галактиона на немилой, как делывалось в старину. Боится старик, чтобы Галактион не выкинул такую же штуку, как он, Емельян. Вот и торопится... Совестно стало большаку, что из-за него заедают чужой век. И что это накатилось на старика? А Галактион выдержал до конца и ничем не выдал своего настроения.

Упрямый старик сердился всю дорогу и все поглядывал на Галактиона, который не проронил ни слова. Подъезжая к Заполью, Михей Зотыч проговорил:

— Думал я, по осени сыграем свадьбу... По-хорошему, думал, все дельце пойдет. А теперь другое... Да. Через две недели теперь свадьба будет.

— А по мне все равно, — проворчал Галактион. — Хоть завтра.

— Ты у меня поговори, Галактион!.. Вот сынка бог послал!.. Я о нем же забочусь, а у него пароходы на уме. Вот тебе и пароход!.. Сам виноват, сам довел меня. Ох, согрешил я с вами: один умнее отца захотел быть и другой туда же... Нет, шабаш! Будет веревки-то из меня вить... Я и тебя, Емельян, женю по пути. За один раз терпеть-то от вас. Для кого я хлопочу-то, галманы вы этакие? Вот на старости лет в новое дело впутываюсь, петлю себе на шею надеваю, а вы...

Михей Зотыч ужасно волновался и несколько раз ссылался на покойную жену, которая еще не так бы поступила с ослушниками отцовской воли.

— Она не посмотрела бы, что такие лбы выросли... Да!.. — выкрикивал старик, хотя сыновья и не думали спорить. — Ведь мы так же поженились, да прожили век не хуже других.

Братья нисколько не сомневались, что отец не будет шутить и сдержит свое слово. Не такой человек, чтобы болтать напрасно. Впрочем, Галактион ничем не обнаруживал своего волнения и относился к своей судьбе, как к делу самому обыкновенному.

Вообще вся колобовская семья была какая-то странная, что объясняется отчасти их генеалогией. Первым объявился на Урале дедушка Колобок; он был из сибирских беглых. Пробираясь из Сибири в Расею, он застрял на одном из горных уральских заводов, женился, да так и остался навсегда. Откуда он был родом и кто такой — никто не знал, даже единственный сын Михей Зотыч. Дед не любил говорить о своем прошлом. Известно было только одно, что он был «по старой вере». На заводах в то время очень нуждались в живой рабочей силе и охотно держали бродяг, скрывая их по рудникам и отдаленным куреням и приискам. Дед так и прожил «колобком» до самой смерти, а сын, Михей Зотыч, уже был приписан к заводским людям, наравне с другими детьми. Этому «заводскому сыну» пришлось пройти очень тяжелую школу, пока он выбился в люди, то есть достиг известной самостоятельности. Время было крепостное, суровое, а на заводах царили порядки доброго каторжного времени. Михей Зотыч проходил «механический цех», потом попал к паровым котлам, потом на медный рудник к штанговой машине, откачивавшей из шахты воду, потом к лесным поставкам, — одним словом, прошел сложный и тяжелый путь. Его спасли так называемые отрядные работы, которые сдавались своим же заводским рабочим с торгов. Тут впервые сказалась вся сметка и находчивость недавнего простого рабочего. Он быстро выдвинулся вперед и начал копить деньгу. Так продолжалось лет десять. В это время Михей Зотыч успел жениться и обзавелся своим домком. Одно оставалось у него на душе — и при деньгах он оставался подневольным человеком, неся отцовское иго. Добиться воли, сбросив с себя отцовский плен, сделалось заветною мечтой настойчивого и предприимчивого человека. Но выкупиться богатому подрядчику из заводской неволи было немыс-

лимо: заводы не нуждались в деньгах, как помещики, а отпускать от себя богатого человека невыгодно, то есть богатого по своей крепостной заводской арифметике. Но тут спас Михея Зотыча счастливый случай. Нужно было соединить каналом одну горную речку с заводским прудом. Русские инженеры, делавшие промеры, решили, что это невозможно. Их сменил какой-то французский инженер и подтвердил то же самое. Тогда Михей Зотыч «прошел линию» с своим бурачком с водой и заявил, что проведет канал, если ему дадут вольную. Работы по приблизительным сметам равнялись тридцати тысячам рублей. Счет шел на ассигнации, но эти крепостные ассигнации стоили дороже вольных серебряных рублей. Заводоуправление согласилось, — вероятно, в виде курьеза, — и через три года работы канал был готов и самым блестящим образом оправдал все расчеты самоучки-инженера.

Получив вольную (действие происходило в сороковых годах), Михей Зотыч остался на заводах. Он арендовал у заводовладельца мельницу в верховьях Ключевой и зажил на ней совсем вольным человеком. Нужно было снова нажить капитал, чтобы выступить на другом поприще. И этот последний шаг Михей Зотыч делал сейчас.

VII

Дело со свадьбой быстро пошло вперед. Двухнедельный срок, данный Михеем Зотычем, поднял малыгинский дом вверх дном. Анфуса Гавриловна просто сбилась с ног с своими бабьими хлопотами. Оказалось, как всегда бывает в таких случаях, что и того нет, и этого недостает, и третьего не хватает, а о четвертом и совсем позабыли. И в то же время нужно было сделать все по-настоящему, чтобы не осрамиться перед другими и не запереть ход оставшимся невестам. Чужие-то люди все заметят и зубы во рту у невесты пересчитают, и Анфуса Гавриловна готова была вылезти из кожи, чтобы не осрамить своей репутации. А тут еще наехали разные тетки, свояченицы и дальние родственницы, и каждая чем-нибудь расстраивала.

— Женишок, нечего хаять, хорош, а только капитал у них сумнительный, да и делить его придется промежду тремя братьями, — говорила тетка со стороны мужа. — На запольских-то невест всякий позарится, кому и не надо.

— Ну, капитал дело наживное, — спорила другая тетка, — не с деньгами жить... А вот карахтером-то ежели в тятеньку родимого женишок издастся, так уж оно не того... Михей-то Зотыч, сказывают, двух жен в гроб заколотил. Аспид настоящий, а не человек. Да еще сказывают, что у Галактиона-то Михеича уж была своя невеста на примете, любовным делом, ну, вот старик-то и торопит, чтобы огласки какой не вышло.

Анфуса Гавриловна все это слышала из пятого в десятое, но только отмахивалась обеими руками: она хорошо знала цену этим расстройным свадебным речам. Не одно хорошее дело рассыпалось вот из-за таких бабьих шепотов. Лично ей жених очень нравился, хотя она многого и не понимала в его поведении. А главное, очень уж пришелся он по душе невесте. Чего же еще надо? Серафимочка точно помолодела лет на пять и была совершенно счастлива.

— Высидела жениха, — шептали бедные родственницы, не могшие простить этого счастия и подыскивавшие что-нибудь неприятное. — Ну, да ему, голенькому, как раз по зубам невеста-перестарок.

Теперь весь верх малыгинского дома был занят женщинами, хлопотавшими около невестина приданого. Особенно хорошо было по вечерам, когда наезжали со всего Заполья подруги невесты и все комнаты наполнялись беззаботным девичьим смехом, молодыми голосами и старинными свадебными песнями. Сколько тут было хорошеньких девичьих лиц, блестевших молодостью глаз и того беспричинного веселья, которое приходит и уходит вместе с молодостью. Выворочены были из кладовых старинные сундуки с заготовленным уже раньше приданым, по столам везде разложены всевозможные новые материи, — одним словом, работа шла вовсю. Делалось все это, между прочим, и с тою целью, чтобы все видели, как Малыгины выдают дочь замуж. Из всех девушек веселилась,

главным образом, Харитина, на которую теперь мать почему-то особенно ворчала и не давала прохода.

— И что ты хвостом-то повертываешь, бессовестная? — ворчала Анфуса Гавриловна. — Ты у меня смотри, я до тебя доберусь!

— Мамынька, да что вы в самом-то деле привязываетесь ко мне?

— Погоди, я тебе покажу, вертихвостка!

Особенно доставалось Харитине, когда приезжал жених. Анфуса Гавриловна не спускала глаз с нее. Дело доходило до подзатыльников и слез.

— А не лезь на глаза, не представляйся! — как-то по-змеиному шипела Анфуса Гавриловна. — Вон другие-то девушки прячутся от мужчин, а ты все на выставку, все на выставку!

— Мамынька, да, право же, ей-богу, я ничего... Я тоже буду прятаться.

Жених держал себя с большим достоинством и знал все порядки по свадебному делу. Он приезжал каждый день и проводил с невестой как раз столько времени, сколько нужно — ни больше, ни меньше. И остальных девушек не забывал: для каждой у него было свое словечко. Все невестины подруги полюбили Галактиона Михеича, а старухи шептали по углам:

— Ну, этот из молодых да ранний! Пожалуй, другим-то зятьям и пикнуть не даст.

Нравился девушкам и другой брат, Емельян. Придет на девичник, сядет в уголок и молчит, как пришитый. Сначала все девушки как-то боялись его, а потом привыкли и насмелились до того, что сами начали приставать к нему и свои девичьи шутки шутить.

— Емельян Михеич, расскажите сказочку! Емельян Михеич, спойте песенку!

А Емельян Михеич сидит и только молча улыбается. Самые смелые девушки кончали тем, что стали примеривать на него невестины наряды, надевали на него чепцы и шляпы и хохотали до слез. Одно появление Емельяна уже вызывало общее веселье, и девушки нападали на него всею гурьбой, как осиное гнездо. А он все молчал и только улыбался. При нем

не стеснялись и болтали все, что взбредет в голову, его же тащили во все девичьи игры и шалости, теребили за бороду, целовали и проделывали всякие дурачества, особенно когда старухи уходили после обеда отдохнуть. С другими мужчинами не смели и сотой доли того сделать, а жениха даже побаивались, хотя на вид он и казался ласковее. Все чувствовали, что жених только старается быть вежливым и что его совсем не интересуют девичьи шутки и забавы.

И действительно, Галактион интересовался, главным образом, мужским обществом. И тут он умел себя поставить и просто и солидно: старикам — уважение, а с другими на равной ноге. Всего лучше Галактион держал себя с будущим тестем, который закрутил с самого первого дня и мог говорить только всего одно слово: «Выпьем!» Будущий зять оказывал старику внимание и делал такой вид, что совсем не замечает его беспросыпного пьянства.

— Богоданный тятенька, вы бы на террасе посидели... Оно на свежем воздухе приятнее.

Такое поведение, конечно, больше всего нравилось Анфусе Гавриловне, ужасно стеснявшейся сначала перед женихом за пьяного мужа, а теперь жених-то в одну руку с ней все делал и даже сам укладывал спать окончательно захмелевшего тестя. Другим ужасом для Анфусы Гавриловны был сын Лиодор, от которого она прямо откупалась: даст денег, и Лиодор пропадет на день, на два. Когда он показывался гденибудь на дворе, девушки сбивались, как овечье стадо, в одну комнату и запирались на ключ.

Раз все-таки Лиодор неожиданно для всех прорвался в девичью и схватил в охапку первую попавшуюся девушку. Поднялся отчаянный визг, и все бросились врассыпную. Но на выручку явился точно из-под земли Емельян Михеич. Он молча взял за плечо Лиодора и так его повернул, что у того кости затрещали, — у великого молчальника была железная сила.

— Да ты, черт, не очень того! — бормотал потерявшийся Лиодор. — Мы и сами с усами. Мелкими можем расчет дать!

Емельян только показал глазами на окошко, а потом вытолкал Лиодора в дверь. Девушки не знали, как и благодарить великодушного силача, который опять молча улыбался.

Появилась в малыгинском доме и Евлампия Харитоновна, или, по-домашнему, «полуштофова жена». Прямой ссоры с зятем-немцем у Малыгиных не было, но и родственной близости не выходило. Видались больше по праздникам да на именинах. Евлампия была большая модница и щеголяла напропалую. И на свадьбу она явилась в таком платье, что все ахнули. Все удивлялись только одному, откуда хитрый немец берет деньги, чтобы так наряжать жену: ни торговли, ни службы, ни определенных занятий, ни капитала, а живет на широкую ногу. Познакомившись с женихом, Евлампия сделала презрительное движение плечами и только заметила:

— Не большого бобра убили, мамынька!

— Какого еще тебе жениха нужно, Евлампия? — обиделась Анфуса Гавриловна. — Все завидуют... Пожалуй, почище твоего-то немца будет.

— Ну, моего немца вы оставьте, мамынька. Вы ему теперь цены еще не знаете.

— То-то он что-то уж очень скрывает свою цену, — ядовито заметила Анфуса Гавриловна. — Как будто и другие тоже ничего не замечают.

Вечерком заглянула и Татьяна Харитоновна, бывшая за Булыгиным. Она урвалась из дому тайком, чтобы хоть одним глазком взглянуть на Серафимина жениха. Не красно жилось Татьяне, похудела она, как щепка, под глазами синие круги. Болело о ней сердце у Анфусы Гавриловны, постоянно болело, а помочь было нечем. Такая уж неудача родилась. Она посмотрела на жениха из другой комнаты, похвалила и незаметно ушла домой, точно боялась своим присутствием нарушить веселье в отцовском доме. Анфуса Гавриловна даже всплакнула потихоньку, — очень уж жаль ей было Татьяны. Кажется, всех бы дочерей собрала под свое материнское крыло и никому не дала бы в обиду. Вот и Анны, писаревой жены, тоже нет на свадьбе, и мать не раз о ней вспомнила. Так, ни за

грош девку загубили... Отец и слышать ничего не хотел о суслонском писаре.

— Ну что, каков жених? — спрашивала Анфуса Гавриловна, провожая Татьяну по черной лестнице.

— Женихи-то все хороши, мамынька, — уклончиво ответила Татьяна. — Ничего, хороший. Женихов-то, как гусей, по осени считают. Что-то очень уж ласковый. Я это так, к слову.

— Не буян бы да не пьяница, Татьянушка! А наша Серафима прямо ума решилась. Горит вся.

— Дай бог, мамынька.

— Ох, Татьянушка, болит у меня сердце за всех вас! Вот как болит! Хотела выписать Анну из Суслона, да отец сразу поднялся на дыбы: слышать не хочет.

В Заполье еще сохранились старинные свадебные обряды, хотя они и перемешались с новыми модными обычаями. Колобовская свадьба благодаря спеху прошла кое-как в этом отношении, и старухи, собравшиеся на свадьбу, сильно пеняли на старика Колобова. Куда ускорился старичонко, подумаешь, а дело не таковское. Блох ловить торопятся, а жену берут честь-честью. Не было настоящего сватовства, не было рукобитья, а прямо начали с девичников, точно на пожар погнали. Опытные старушки ничего хорошего в этом спехе не видели и сулили молодым незадачу. Конечно, все это говорилось по углам, а не в глаза мужниной и жениной родне. Ломался старый вековой обычай, а это не к добру. Сам-то Михей Зотыч небось и глаз не казал на свадьбу, а отсиживался у себя на постоялом дворе да на берегу Ключевой. Все обсудили старушки, все вызнали и по-своему рассудили дело: неправильная свадьба и все равно проку не будет. Вон и жених уж сейчас туманный ходит.

Веселилась и радовалась одна невеста, Серафима Харитоновна. Очень уж по сердцу пришелся ей молодой жених, и она видела только его одного. Скорее бы только все кончилось... С нею он был сдержанно-ласков, точно боялся проявить свою жениховскую любовь. Только раз Галактион Михеич сказал невесте:

— Вы доброю волею за меня идете, Серафима Харитоновна? Пожалуйста, не обижайтесь на меня: может быть, у вас был кто-нибудь другой на примете?

— Что вы, Галактион Михеич, — смущенно ответила невеста. — Никого у меня не было и никого мне не нужно. Я вся тут. Сами видите, кого берете. Как вы, а я всей душой...

Галактиону Михеичу вдруг сделалось совестно, потому что он не мог ответить невесте так же искренне и просто. Собственно невеста ему и нравилась, ему хотелось иногда ее приласкать, сказать ласковое словечко, но все как-то не выходило, да и свадебные гости мешали. Жениху с невестой не приходилось оставаться с глазу на глаз.

Однажды вечером на девичнике, когда девушки запели старинную песню:

Расступитеся, люди добрые,
Дайте-ко мне путь-дороженьку,
Что на все на четыре стороны!
Мне идти к родному батюшке!... —

у жениха вдруг упало сердце, точно он делал что-то нехорошее и кого-то обманывал, у него даже мелькнула мысль, что ведь можно еще отказаться, время не ушло, а впереди целая жизнь с нелюбимой женой. Но это было только проявление минутной слабости. Ничего не оставалось, как идти до конца. Взглянув на пригорюнившегося брата Емельяна, Галактион понял, что они оба охвачены одним сомнением, оба думали одну думу и оба приходили к одному заключению. Да, суженой-ряженой, видно, на коне не объедешь.

VIII

На свадьбе Галактион перезнакомился со всем Запольем, потому что теперь в малыгинский дом валили званый и незваный. Это тоже старинный обычай, и чем больше гостей, тем больше почету невестину дому. Даже старые недруги могли приходить, и старое зло на время забывалось. Из приходивших в

малыгинский дом большинство были купцы средней руки. Знать составляли такие именитые люди, как старик Луковников и запольский богач Евграф Огибенин. Огибенинский купеческий род пользовался громадною популярностью во всем округе, центр которого составляло Заполье. Еще деды вели здесь торговлю и завязывали первые узлы. Нынешний Евграф Огибенин являлся последним словом купеческого прогресса, потому что держал себя совсем на господскую ногу: одевался по последней моде, волосы стриг под гребенку, бороду брил, усы завивал и в довершение всего остался старым холостяком, чего не случалось в купечестве, как стояло Заполье.

— Пошел род на перевод, — говорил старик Луковников, особенно недолюбливавший Евграфа.

Другие называли Огибенина просто «Еграшкой модником». Анфуса Гавриловна была взята из огибенинского дома, хотя и состояла в нем на положении племянницы. Поэтому на малыгинскую свадьбу Огибенин явился с большим апломбом, как один из ближайших родственников. Он относился ко всем свысока, как к дикарям, и чувствовал себя на одной ноге только с Евлампией Харитоновной.

Из всей этой малыгинской родни и сборных гостей Галактиону ближе всех пришелся по душе будущий родственник, немец Штофф. Это был небольшого роста господин, немного припадавший на левую ногу. Лицо у немца было совсем русское и даже обросло по-русски какою-то мочальною бороденкой. Знакомство состоялось как-то сразу, и будущие зятья полюбились друг другу.

— Я здесь совсем чужой, — откровенно объяснял Штофф. — Да и вы тоже не совсем свой... Впрочем, ничего, привыкнете со временем. Первое время мне приходилось довольно-таки тяжеленько, а теперь ничего, обтерпелся.

В разговоре немец постоянно улыбался и немного подмигивал правым глазом, точно этот глаз у него тоже прихрамывал, как левая нога.

— И знаете, на чем я сошелся с ними? — объяснял он. — На водке... У меня счастливый желудок, а

это здесь считается величайшим достоинством. Мне это много помогло.

Немец жил в Заполье лет пять и знал всех наперечет, а также знал и все торговые дела.

— Зачем вы здесь живете, Карл Карлыч? — спрашивал Галактион в том же откровенном тоне, в каком начал немец.

— Зачем? — удивился Штофф. — О, батенька, здесь можно сделать большие дела!.. Да, очень большие! Важно поймать момент... Все дело в этом. Край благодатный, и кто пользуется его богатствами? Смешно сказать... Вы посмотрите на них: никто дальше насиженного мелкого плутовства не пошел, или скромно орудует на родительские капиталы, тоже нажитые плутовством. О, здесь можно развернуться!.. Только нужно людей, надежных людей. Моя вся беда в том, что я русский немец... да!

Этим Штофф открывал свои карты, и Галактион понял, почему немец так льнет к нему. Лично он ему очень нравится, как человек обстоятельный и энергичный. Что же, в свое время хитрый русский немец мог пригодиться.

Свадебное дело близко шло к развязке. Гостей набиралось все больше и больше. Появились какие-то совсем неизвестные люди, которых знал по своим степным делам один Харитон Артемьич, но сейчас открещивался от них обеими руками. Это были купцы из глухих пограничных степных городков. Народ все рослый и совсем дикий. Из них запольские купцы признали только одного, известного степного богатыря Сашку Горохова, крестившегося четырехпудовою гирей. Этот Сашка Горохов быстро сделался настоящим героем дня, потому что никто не мог его перепить, даже немец Штофф. И вид у него был какой-то несообразный, как у старинного бронзового памятника какому-нибудь герою, — бычья шея, маленькая голова, невероятной величины руки и ноги. Эту фундаментальную структуру степного богатыря портила только сильная сутуловатость. К довершению курьеза Сашка говорил какою-то жалобною тоненькою фистулой и шепелявил, как младенец. Харитон Артемьич впился

в него, как клещ, и не отходил. Сам уж он допился до того, что не мог отличить водки от воды, чем и пользовались, а зато любовался подвигами Сашки, получившего сразу кличку «луженого брюха».

— Саша, выпей!

Саша молча наливал чайный стакан водки и молча его выпивал, точно выливал в какое-то подполье.

— А еще можешь, Саша?

— Могу-с, — слащаво пищал Саша и выпивал второй стакан.

Около этого богатыря собиралась целая толпа поклонников, следивших за каждым его движением, как следят все поклонники за своими любимцами. Разве это не артист, который мог выпивать каждый день по четверти ведра водки? И хоть бы пошатнулся. Таким образом, Сашка являлся главным развлечением мужской компании.

Появились и другие неизвестные люди. Их привел неизвестно откуда Штофф. Во-первых, вихлястый худой немец с бритою верхней губой, — он говорил только вопросами: «Что вы думаете? как вы сказали?» Штофф отрекомендовал его своим самым старым другом, который попал в Заполье случайно, проездом в Сибирь. Фамилия нового немца была Драке, Федор Федорыч.

— О, это большой человек! — по секрету сообщал Штофф жениху. — Настоящий большой человек!

А большой немец как-то особенно глупо хлопал глазами, вытягивал тонкую гусиную шею, сосал какие-то лепешки и спрашивал с удивлением:

— Зачем они женятся? Что? Разве это необходимо для каждого русского купца? А впрочем, может быть, я плохо понимаю по-русску?

Не получая ответа на такие вопросы, немец принимал сонный вид и начинал сосать свои лепешки.

Этот потешный немец сделался жертвой знаменитого запольского исправника Полуянова, только что вернувшегося из уезда. Имя Полуянова гремело далеко и наводило панику своим зверством, особенно с купцами. Это был плечистый, среднего роста мужчина, с каким-то дубленым загаром энергичного лица, —

он выбился в исправники из знаменитых сибирских фельдъегерей. Ходил Полуянов всегда в военной тужурке, заложив руки в карманы. В компании он был милейшим человеком — забавник, балагур, питух, песенник, бабий угодник, — на все руки. Но стоило ему только оставить веселую компанию, как сейчас же он превращался в зверя. Тяжелая была рука у Ильи Фирсыча Полуянова, и недаром его называли дантистом. Сейчас Полуянов старался наверстать пропущенное время и успевал напиваться по три раза в день. В светлые промежутки он занимался травлей нового немца, потешая почтенную публику разными выходками. Лучшим номером в этом репертуаре был тот, когда Полуянов незаметно усаживал рядом с Драке только что приехавшего богатого степного татарина Шахму.

— Шалтай-балтай, поговори с немцем, — упрашивал Полуянов. — В ножки поклонюся твоей татарской образине.

— Мало-мало калякаем немца... — бормотал Шахма, грузно подсаживаясь к Драке. — Эй, знаком, карта гуляешь?

— Зачем карта?

— Э-э... Шахма любит карта... Один карта на левой нога, другой карта на правой нога. Купца много смеял, а Шахма много платил... Исправник любит деньга Шахма... Шахма любит исправник.

Этот Шахма был известная степная продувная бестия; он любил водить компанию с купцами и разным начальством. О его богатстве ходили невероятные слухи, потому что в один вечер Шахма иногда проигрывал по нескольку тысяч, которые платил с чисто восточным спокойствием. По наружности это был типичный жирный татарин, совсем без шеи, с заплывшими узкими глазами. В своей степи он делал большие дела, и купцы-степняки не могли обойти его власти. Он приехал на свадьбу за триста верст.

— Да разве я тебя звал? — удивлялся Харитон Артемьич, продирая глаза. — Виделись-то еще в прошлом году.

— Ну, тогда и звал, — невозмутимо отвечал Шахма. — Сама говорил: девка буду пропивать, приезжай, Шахма. Вот я и гулял на твой свадьба.

— А водку не выучился пить?

— Закон Шахме не велит... Карта гулял, деньга платил, а водка тебе оставлял.

Полуянов значительно оживил свадебное торжество. Он отлично пел, еще лучше плясал и вообще был везде душой компании. Скучавшие девушки сразу ожили, и веселье полилось широкою рекой, так что стоном стон стоял. На улице собиралась целая толпа любопытных, желавшая хоть издали послушать, как тешится Илья Фирсыч. С женихом он сейчас же перешел на «ты» и несколько раз принимался целовать его без всякой видимой причины.

— Мы ведь тут, каналья ты этакая, живем одною семьей, а я у них, как посаженый отец на свадьбе... Ты, ангел мой, еще не знаешь исправника Полупьянова. За глаза меня так навеличивают. Хорош мальчик, да хвалить некому... А впрочем, не попадайся, ежели что — освежую... А русскую хорошо пляшешь? Не умеешь? Ах ты, пентюх!.. А вот постой, мы Харитину в круг выведем. Вот так девка: развей горе веревочкой!

Устраивался круг, и Полуянов пускался в пляс. Харитина действительно плясала русскую мастерски, и мать только удивлялась, где она могла научиться разным вывертам. Такая пляска заканчивалась каким-нибудь неистовым коленом разудалого исправника: он начинал ходить колесом, кувыркался через голову и т. д.

Последними уже к большому столу явились два новых гостя. Один был известный поляк из ссыльных, Май-Стабровский, а другой — розовый, улыбавшийся красавец, еврей Ечкин. Оба они были из дальних сибиряков и оба попали на свадьбу проездом, как знакомые Полуянова. Стабровский, средних лет господин, держал себя с большим достоинством. Ечкин поразил всех своими бриллиантами, которые у него горели везде, где только можно было их посадить.

— Вот так штука: жид на свадьбе проявился! — дивились добродушные запольские купцы и видели в этом новую дурную примету.

Но Полуянов всех успокоил. Он знал обоих еще по своей службе в Томске, где пировал на свадьбе Май-Стабровского. Эта свадьба едва не закончилась катастрофой. Когда молодых после венца усадили в коляску, лошади чего-то испугались и понесли. Плохо пришлось бы молодым, если бы не выручил Полуянов: он бросился к взбесившимся лошадям и остановил их на всем скаку, причем у него пострадал только казенный мундир.

— Мои сибирские дружки, — хвалился Полуянов, представляя незваных гостей. — Захотят — купят и продадут все наше Заполье и еще сдачи дадут.

Штофф отвел таинственно жениха в сторону, огляделся и сообщил:

— Вы ничего не слыхали про Ечкина, Бориса Яковлича Ечкина?

— Нет, не слыхал.

Штофф приподнял плечи, повертел у своего лба пальцем и торжественно проговорил:

— Это, голубчик, гениальнейший человек, и другого такого нет, не было и не будет. Да... Положим, он сейчас ничего не имеет и бриллианты поддельные, но я отдал бы ему все, что имею. Стабровский тоже хорош, только это уж другое: тех же щей, да пожиже влей. Они там, в Сибири, большие дела обделывали.

Галактион с особенным вниманием посмотрел на Ечкина и еще раз удивился: решительно ничего особенного в нем не было. Просто какой-то приказчик из магазина с золотыми вещами. И улыбается глупо и глазами шмыгает. А впрочем, кто их знает, — Штофф зря не будет говорить. Курьезнее всего вышло то, как напыжился Евграф Огибенин на новых гостей, затмивших его и костюмами и галантерейностью обращения. Особенно проклятый жид его возмущал, — со всеми перезнакомился, всем успел сказать что-нибудь приятное и сейчас же уселся с Шахмой за карточный стол. Нечего сказать, увертливый жид, а держит себя в размашку, как будто уж совсем не по-жидовски.

Дамы находили тоже, что сибирский жид скорее походит на ярославского лихого коробейника.

Венчание молодых происходило, по старому обряду, в старинной раскольничьей моленной. Провожавшие молодых все оделись по старинке: мужчины в длиннополые кафтаны, а женщины в сарафаны. Невеста в этом наряде была совсем хороша, и жених ею невольно полюбовался. Замечательный этот женский русский костюм, он ко всякой идет — к красивой и некрасивой, к молодой и старой. Но Галактион просто ахнул, когда среди провожавших невесту он увидел Харитину: это была такая красавица, что у него на душе захолонуло. В детстве он испытывал подобное же чувство, когда на качелях подкидывало вверх. Да, она стояла перед ним, сама красота, и жгла-палила своими девичьими глазами его сердце... Эта встреча произошла уже в моленной, куда жених уехал вперед и там ожидал невесту. У него все завертелось перед глазами, и во время самого обряда венчания он не мог избавиться от преступной теперь мысли о другой девушке. Да и обряд венчания по старинным уставам, с крюковыми напевами, ничего веселого не имел, и Галактиону казалось, что он уже умер и его хоронят. Ему сделалось страшно, страшно за себя, за ту девушку, которая сегодня сделается его подругой на всю жизнь... Не скрылось это настроение жениха от следивших за каждым его шагом женских глаз, и зашушукали сдержанные голоса, точно шуршала шелковая материя.

Дома оставались купцы из православных, как старик Луковников, привезший почти насильно упрямившегося Михея Зотыча, да игроки в карты. Метал банк сначала Ечкин и проигрался. Понтировавший ему Евграф Огибенин с особенным удовольствием положил в свой бумажник несколько сторублевых ассигнаций, — игра шла, ввиду малого времени, крупными цифрами. Ечкина сменил Стабровский и тоже проигрался. Выигрывали Огибенин и Шахма. Последний задыхался от радости и спускал выигранные деньги куда-то за пазуху, точно в подвал. Кончилось тем, что начал метать Огибенин и в несколько талий проиграл

не только все, что выиграл раньше, но и все деньги, какие были при нем, и деньги Шахмы. Все выиграл Стабровский и даже не моргнул глазом.

— Ах ты, шайтан! — ругался Шахма, ощупывая опустевшую пазуху и делая гримасы. — Ну, шайтан!.. Левая нога, правая нога, и нет ничего, а старый Шахма дурак.

— Дома еще осталось, — успокаивал его Стабровский, подавая на чай подручному, подававшему карты, десятирублевую ассигнацию.

Большой послесвадебный стол представлял собой оригинальную по пестроте картину. В главной зале, где сидели молодые, были размещены ближайшие родственники и самые почетные гости. В последнее число попали исправник Полуянов, Евграф Огибенин, Май-Стабровский, Шахма и даже Драке. Старик Луковников, как самый почетный гость, сидел рядом с Михеем Зотычем, казавшимся каким-то грязным пятном среди окружавшей его роскоши, — он ни за что не согласился переменить свою изгребную синюю рубаху и дорожную сермяжку. Из дам выделялись своим нарядом красавица жена Полуянова, а потом Евлампия Харитоновна, явившаяся в довольно смелом декольте, что немало смущало благочестивых древних старушек.

— Ох, стыдобушка головушке глядеть-то на полуштофову жену!... У, срамница!.. Вся заголилась, точно в баню собралась идти...

В других комнатах были рассажены остальные гости, причем самые неважные были переведены вниз.

Свадебное веселье пошло своим чередом, увеличиваясь с каждою минутой, как катившийся с горы ком снега. Впрочем, все шло благополучно вплоть до того момента, когда начали поздравлять молодых шампанским. Гости сбились в одной комнате. Сашка Горохов стоял с своим бокалом за спиной Огибенина и довольно терпеливо ждал своей очереди чокнуться с молодыми, но потом ему надоело ждать, он взглянул направо и увидал декольтированные женские плечи Евлампии Харитоновны. Она сидела к нему спиной, и он видел только разрез платья сзади, открывавший белую

налитую спину, уходившую желобом под корсет. У Сашки моментально мелькнула счастливая мысль, и он весь свой бокал вылил за спину «полуштофовой жене». Поднялся визг, гвалт, хохот. Взбешенный Штофф кинулся с кулаками на обидчика, все повскочили с своих мест, — одним словом, весь стол рушился. Но этим скандал еще не кончился. Благодаря происходившей суматохе наверх незаметно пробрались два новых гостя: сын Лиодор и зять Булыгин, оба пьяные, с каким-то определенным намерением.

— Тут жиды да немцы радуются, а родному сыну да зятю и места нет! — гаркнул Лиодор. — Пашка, валяй жидов, а я немцев молотить начну!

Толпа расступилась, и новые гости предстали во всей красе. Лиодор был, по обыкновению, в черкеске и папахе. Женщины завизжали, а «полуштофова жена» забралась под стол, где ее потом едва нашли. Выручил всех Сашка Горохов, стоявший к Лиодору ближе других. Он бросился на смутьянов, схватил их в охапку и торжественно вынес из залы, не обращая внимания, как его молотили четыре кулака, четыре ноги, а Лиодор в бешенстве даже вцепился зубами в плечо. На лестнице догнал Полуянов и собственноручно спустил гостей вниз, так что затрещали деревянные ступени.

Одним словом, большой стол закончился крупным скандалом. Когда все немного успокоились и все пришло в порядок, хватились Михея Зотыча, но его и след простыл.

IX

Колобовская свадьба отозвалась в Суслоне далеким эхом. Особенно волновались в писарском доме, куда вести собирались со всех сторон.

— Хорошую роденьку бог послал, — ворчал писарь Флегонт Васильич. — Оборотни какие-то... Счастье нам с тобой, Анна Харитоновна, на родню. Зятья-то на подбор, один лучше другого, да и родитель Харитон Артемьич хорош. Брезгует суслонским зятем.

— Погордилась сестрица Серафима Харитоновна, — соображала писарская жена Анна Харитоновна, — очень погордилась.

— И мамынька тоже хороша: про родную дочь забыла. Сказывают, на свадьбе-то какие-то жиды да татары радовались.

— Не будет добра, Флегонт Васильич. Все говорят, что неправильная свадьба. Куда торопились-то? Точно на пожар погнали. Так-то выдают невест с заминочкой... А все этот старичонко виноват. От него все...

— Уж этот мне старичонко! — рычал писарь, вспоминая нанесенный бродягой конфуз. — Колдун какой-то!

В писарском доме теперь собирались гости почти каждый день. То поп Макар с попадьей, то мельник Ермилыч. Было о чем поговорить. Поп Макар как раз был во время свадьбы в Заполье и привез самые свежие вести.

— Сбежал от большого стола старичок-то, женихов отец, — рассказывал он. — Бой у них вышел промежду гостей, ну, оглянулись, а свекра-то и нет. Словно в воду канул...

— Ох, неспроста это, отец Макар!.. Не таковский он человек.

— Бродяга какой-то, вот и бегает.

Раз, когда так вечерком гости разговаривали разговоры, писарская стряпка Матрена вошла в горницу, вызвала Анну Харитоновну и заявила:

— Тут он, сродственник-то.

— Какой сродственник?

— Ну, а этот... старичонко с палочкой... Еще который сына женил в Заполье на твоей сестре.

— Да где он?

— А в кухне сидит у меня... Я пельмени делаю, оглянулась, а он сидит на лавочке. Точно из земли вырос, как гриб-дождевик.

Можно себе представить общее удивление. Писарь настолько потерялся, что некоторое время не мог выговорить ни одного слова. Да и все другие точно

онемели. Вот так гостя бог послал!.. Не успели все опомниться, а мудреный гость уже в дверях.

— Флегонту Васильичу, родственнику, наше почтение и всей честной компании.

— Здравствуйте, Михей Зотыч, — здоровался хозяин. — Будет вам шутки-то шутить над нами... И то осрамили тогда на всю округу. Садитесь, гостем будете.

— От свадьбы убежал... да... А у меня дельце до тебя, Флегонт Васильич, и не маленькое дельце.

— Утро вечера мудренее, Михей Зотыч... Завтра о деле-то поговорим. Да, пожалуй, я тебе вперед сам загадку загадаю.

Отведя гостя в сторону, писарь сказал на ухо:

— Меленку хотите у нас оборудовать? Я-то уж потом догадался и вперед с мужичками насчет земли словечка два закинул.

— Вот умница! — похвалил гость. — Это и мне так впору догадаться... Ай да молодец писарь, хоть на свадьбу и не звали!.. Не тужи, потом позовут, да сам не пойдешь: низко будет.

Появление старика Колобова в Суслоне было целым событием. Теперь уж все поняли, зачем птица прилетела. Всех больше волновался мельник Ермилыч, под рукой распускавший нехорошие слухи про старика Колобова. Он боялся сильного конкурента. Но Колобов сам пришел к нему на мельницу в гости, осмотрел все и сказал:

— А ты не беспокойся, мельник, тесно не будет... Я ведь крупчатку буду ставить. Ты мели да помалывай серячок, а мы белую мучку будем делать, даст бог.

Потом старик побывал у попа Макара и тоже осмотрел все поповское хозяйство. Осмотрел и похвалил:

— Ничего, светленько живете, отец Макар... Дай бог так-то всякому. Ничего, светленько... Вот и я вырос на ржаном хлебце, все зубы съел на нем, а под старость захотел пшенички. Много ли нужно мне, старику?

— Что же, нам не жаль... — уклончиво отвечал отец Макар, отнесшийся к гостю довольно подозрительно. — Чем бог послал, тем и рады. У бога всего много.

— Бог-то бог, да и сам не будь плох. Хорошо у вас, отец Макар... Приволье кругом. Вы-то уж привыкли и не замечаете, а мне в диковинку... Одним словом, пшеничники.

— Мельницу хочешь строить? — спрашивал поп Макар, слегка прищуривая один глаз.

— Не знаю, что выйдет, а охота есть.

От новых знакомых получалось одно впечатление; все жили по-богатому — и писарь, и мельник, и поп,— не в пример прочим народам. И мужики тоже не бедовали. Рожь сеяли только на продажу, а сами ели пшеничку. И хороша была эта ключевская пшеничка, хоть насквозь смотри. Смолотая на раструске пшеничная мука была хоть и серая, но такая душистая и вкусная. Суслонские бабы отлично пекли свой пшеничный хлеб, а ржаного и в заводе не было. Так уж велось исстари, как было поставлено еще при дедах. От всего веяло тугим хорошим достатком. И народ был все рослый и крепкий — недаром этих «пшеничников» узнавали везде.

Раз ночью писарский дом был поднят весь на ноги. Около часу к воротам подкатила почтовая тройка.

— Здесь живет писарь Замараев? — спрашивал в темноте сильный мужской голос.

Писарь растворил окно и довольно грубо ответил:

— Он самый.

— Запольские молодые приехали. Можно остановиться?

— Ах, милости просим!.. Это вы, Галактион Михеич?

— Да, да.

Большой сибирский тарантас тяжело вкатился на двор, а писарь выскочил на крыльцо со свечой в руках.

— Вот не ожидали-то, дорогие гости!

— Просим любить и жаловать, Флегонт Васильич.

Зятья оглядели друг друга и расцеловались. Моло-

дая не выходила из экипажа, сладко потягиваясь. Она ужасно хотела спать. Когда вышла хозяйка, она с ленивою улыбкой, наконец, вылезла из тарантаса. Сестры тоже расцеловались.

— Давно мы с тобой не видались, Сима, — повторяла Анна Харитоновна, продолжая рассматривать сестру. — Какая-то ты совсем другая стала.

— Уж какая есть, Анюта. Мамаша тебе наказала кланяться и не велела сердиться.

— Хорошо, хорошо. Еще поговорим... А муж у тебя молодец, Сима. Красивый.

— Разве?

Серафима Харитоновна тихо засмеялась и еще раз поцеловала сестру. Когда вошли в комнату и Серафима рассмотрела суслонскую писаршу, то невольно подумала: «Какая деревенщина стала наша Анна! Неужели и я такая буду!» Анна действительно сильно опустилась, обрюзгла и одевалась чуть не по-деревенски. Рядом с ней Серафима казалась барыней. Ловко сшитое дорожное платье сидело на ней, как перчатка.

— Вы нас извините, — говорил Галактион, — не во-время побеспокоили... Ночь, да и остановиться негде.

— Ну, что за счеты между родственниками! — политично отвечал писарь. — Тятенька-то ваш здесь, в Суслоне... Только у нас не хочет жить. Карахтерный старичок.

— Папаша, вероятно, опять пешком пришли? — осведомилась Серафима. — Они все по-своему... на особицу.

Галактион очень понравился и писарю и жене. Настоящий молодец, хоть куда поверни. На отца-то и не походит совсем. И обращение самое политичное.

— Ну, этот из молодых, да ранний, — задумчиво говорил писарь, укладываясь на кровать с женой. — Далеко пойдет.

— А Симка-то так ему в глаза и заглядывает, как собачка.

— Что же, насиделась она в девках. Тоже любопытно... Известная ваша женская слабость. Какого еще прынца нужно?

— Здесь, говорит, жить будут.

— Отлично. Нам веселее... Только вот старичонко-то того... Я его просто боюся. Того гляди, какую-нибудь штуку отколет. Блаженный не блаженный, а около этого. Такие-то вот странники больше по папертям стоят с ручкой.

Молодой Колобов понравился всем в Суслоне: и учен, и прост, и ловок. Зато молодая не пришлась по вкусу, начиная с сестры Анны. Очень уж модная и на все фыркает.

— Неужто мы здесь будем жить? — капризно спрашивала она мужа.

— А то где же?

— Да здесь с тоски пропадешь.

— Некогда будет тосковать.

Серафима даже всплакнула с горя. С сестрой она успела поссориться на другой же день и обозвала ее неотесаной деревенщиной, а потом сама же обиделась и расплакалась.

— Вы на нее не обращайте внимания, Анна Харитоновна, — спокойно заметил Галактион и строго посмотрел на жену.

Этого было достаточно, чтобы Серафима сейчас же притихла и даже попросила у Анны прощения.

Вот с отцом у Галактиона вышел с первого раза крупный разговор. Старик стоял за место для будущей мельницы на Шеинской курье, где его взяли тогда суслонские мужики, а Галактион хотел непременно ставить мельницу в так называемом Прорыве, выше Шеинской курьи версты на три, где Ключевая точно была сдавлена каменными утесами.

— Нельзя на курье строиться, — авторитетно говорил Галактион. — По весне вода широко будет разливаться, затопит пашни, и не оберешься хлопот с подтопами.

— А у Ермилыча поставлена мельница на Жулановском плесе? — спросил Михей Зотыч.

— Во-первых, родитель, у Ермилыча мельница-раструска и воды требует вдвое меньше, а потом Ермилыч вечно судится с чураковскими мужиками из-за подтопов. Нам это не рука. Здешний народ бедовый, не

вдруг уломаешь. В Прорыве вода идет трубой, только косою плотиной ее поджать.

— На берегу места мало.

— Ничего, родитель: в тесноте, да не в обиде.

— Тебя разве переспоришь?

— А ежели я дело говорю?

Теперь роли переменились. Женившись, Галактион сделался совершенно другим человеком. Свою покорность отцу он теперь выкупал вызывающею самостоятельностью, и старик покорился, хотя и не вдруг. Это была серьезная борьба. Михей Зотыч сердился больше всего на то, что Галактион начал относиться к нему свысока, как к младенцу, — выслушает из вежливости, а потом все сделает по-своему.

— Ты у меня смотри! — пригрозился раз старик.— Я не посмотрю, что ты женатый... да!

Галактион только улыбнулся. Ушло время учить да свою волю родительскую показывать. Женился изпод палки, — чего же еще нужно?

X

Дело с постройкой мельницы закипело благодаря все той же энергии Галактиона. Старик чуть не испортил всего, когда пришлось заключать договор с суслонскими мужиками по аренде Прорыва. «Накатился упрямый стих», как говорил писарь. Мужики стояли на своем, Михей Зотыч на своем, а спор шел из-за каких-то несчастных двадцати пяти рублей.

— Эх, родитель, родитель! — корил Галактион. — Двадцать пять рублей до́роги, а время нипочем... Мы еще с осени выложим фундамент, а за зиму выстроимся. Время-то дороже денег. Дай я переговорю с мужиками-то.

— А ты, щучий сын, умнее отца хочешь быть?

— Постой, родитель... Знаешь, как большую рыбу из воды вытаскивают: дадут ей поводок, она и ходит, а притомилась — ее на берег.

С мужиками Галактион говорил, как свой брат, и живо повернул все дело. Обе стороны остались до-

вольны. Контракт был подписан, и Галактион принялся за работу. План мельницы был составлен им еще раньше. Теперь нужно было торопиться с постройками. Стояла осень, и рабочих на месте нельзя было достать ни за какие деньги, пока не кончится уборка хлеба. И это предвидел Галактион и раньше нанял артель вятских плотников в сорок человек да другую артель каменщиков. Деревенские мужики понастоящему не умели и топора в руки взять. Будет с них и того, если привезут бревна да камень наломают.

У Прорыва в несколько дней вырос настоящий лагерь. Больше сотни рабочих принялись за дело опытною рукою. С плотничьей артелью вышел брат Емельян и сделался правою рукою Галактиона. Братья всегда жили дружно.

Галактион задался целью непременно выстроить жилой дом к заморозкам, чтобы переселиться с женой на место работы. Жизнь у писаря его тяготила, да и ездить было тяжело. На счастье ему попался в Баклановой пустовавший поповский дом, который он и купил на снос. Оставалось только перевезти его да заложить фундамент. Галактиону везде везло, — такой уж удачливый зародился. Даже поп Макар одобрял за «благопоспешность». Больше всего Галактион был доволен, что отец уехал на заводы заканчивать там свои дела и не мешался в дело. Старик был умный, да только очень уж упрям.

Постройка новой мельницы отозвалась в Суслоне заметным оживлением, особенно по праздникам, когда гуляли здесь обе вятские артели. Чувствовалось, что делалось какое-то большое дело, и все ждали чего-то особенного. Были и свои скептики, которые сомневались, выдержит ли старый Колобов, — очень уж большой капитал требовался сразу. В качестве опытного человека и родственника писарь Замараев с большими предосторожностями завел об этом речь с Галактионом.

— Нет, у отца больших денег нет, — откровенно объяснил тот.

— Так-с... да. А как же, например, с закупкой хлеба, Галактион Михеич? Ведь большие тысячи нужны будут.

— Добудем. Ту же мельницу в банк заложим.

— Это как же так: в банк?

Галактион объяснил, и писарь только развел руками. Да, хитрая штучка, и без денег и с деньгами. Видно, не старые времена, когда деньги в землю закапывали да по подпольям прятали. Вообще умственно. Писарь начинал смотреть теперь на Галактиона с особенным уважением, как на человека, который из ничего сделает, что захочет. Ловкий мужик, нечего сказать.

— А мы-то тут живем дураки дураками,— со вздохом говорил писарь. — У нас все по старинке... На гроши считаем.

— Ничего, выучитесь.

Утром Галактион вставал в четыре часа, уезжал на работу и возвращался домой только вечером, когда стемнеет. Эта энергия приводила всех в невольное смущение. В Суслоне не привыкли к такой работе.

— А что будет, если я буду чаи распивать да выеду на работу в восемь часов? — объяснял Галактион. — Я раньше всех должен быть на месте и уйти последним. Рабочие-то по хозяину бывают.

— Уж это что говорить... Правильно. Какая это работа, ежели с чаями проклажаться?

Писарь давно обленился, отстал от всякой работы и теперь казнился, поглядывая на молодого зятя, как тот поворачивал всякое дело. Заразившись его энергией, писарь начал заводить строгие порядки у себя в доме, а потом в волости. Эта домашняя революция закончилась ссорой с женой, а в волости взбунтовался сторож Вахрушка.

— Что я тебе каторжный дался? — заявил сторож. — Нет, брат, будет мудрить! Шабаш!

— Што-о?!. Да как ты смеешь, кислая шерсть?

— А вот и смею... Не те времена. Подавайте жалованье, и конец тому делу. Будет мне терпеть.

Писарь выгнал Вахрушку с позором, а когда вернулся домой, узнал, что и стряпка Матрена отошла. Вот тебе и новые порядки! Писарь уехал на мельницу к Ермилычу и с горя кутил там целых три дня.

Сестры в течение двух месяцев совместной жизни успели перессориться и помириться несколько раз,

стараясь не доводить своих размолвок до Галактиона. Обе побаивались его, хотя он никогда не сказал ни одного грубого слова.

— Высидела ты себе мужа, Сима, — корила Анна сестру. — Пожалуй, и не по чину тебе достался. Вон какой орел!

— А тебе завидно? Не чета твоему писарю.

— Смотри, матушка, не прохвались. Боек уж очень.

Счастье влюбленной в мужа Серафимы кололо глаза засидевшейся в деревне Анне. Вместе росли, а судьба разная. Анна начинала теперь придираться к мужу и на каждом шагу ставила ему в пример Галактиона.

— Ты посмотри на себя-то, — поговаривала Анна, — тебе водку пить с Ермилычем да с попом Макаром, а настоящего-то ничего и нет. Ну, каков ты есть человек, ежели тебя разобрать? Вон глаза-то заплыли как от пьянства... Небойсь Галактион компании не ломает, а всегда в своем виде.

— Отстань, смола! Галактион, Галактион, — дался вам этот Галактион! Еще посмотрим: летать летает, да где сядет.

— У вас с Ермилычем не спросит.

— Молчать! Ты вот лучше училась бы у сестры Серафимы, как следует уважать мужа... да! И по домашности тоже все запустила... Вон стряпка Матрена ушла.

— Все из-за тебя же, изверг. Ты прогнал Вахрушку, а он сманил Матрену. У них уж давно промежду себя узоры разные идут. Все ты же виноват.

Писарь Замараев про себя отлично сознавал недосягаемые совершенства нового родственника, но удивлялся ему про себя, не желая покориться жене. Ну что же, хорош — и пусть будет хорош, а мы и в шубе навыворот проживем.

Слухи о новой мельнице в Прорыве разошлись по всей Ключевой и подняли на ноги всех старых мельников, работавших на своих раструсочных мельницах. Положим, новая мельница будет молоть крупчатку, а все-таки страшно. Это была еще первая круп-

чатка на Ключевой, и все инстинктивно чего-то боялись.

— О девяти поставах будет мельница-то, — жаловался Ермилыч. — Ежели она, напримерно, ахнет в сутки пятьсот мешков? Съест она нас всех и с потрохами. Где хлеба набраться на такую прорву?

— Были бы деньги, а хлеба навезут.

Чтобы отвести душу, Ермилыч и писарь сходились у попа Макара и тут судачили вволю, благо никто не мог подслушать. Писарь отстаивал новую мельницу, как хорошее дело, а отец Макар задумчиво качал головой и повторял:

— Увидим, увидим, братие... Все увидим.

— Нечего и смотреть: дело ясное, — сказал писарь.

— Первое, не есть удобно то, что Колобовы староверы... да. А второе, жили мы без них, благодаря бога и не мудрствуя лукаво. У всех был свой кусок хлеба, а впредь неведомо, что и как.

— И ведать нечего, отец, — уныло повторял Ермилыч. — Раздавят нас, как лягушек. Разговор короткий. Одним словом — силища.

— А вы того не соображаете, что крупчатка хлеб даст народам? — спросил писарь. — Теперь на одной постройке сколько народу орудует, а дальше — больше. У которых мужичков хлеб-то по три года лежит, мышь его ест и прочее, а тут на, получай наличные денежки. Мужичок-то и оборотится с деньгами и опять хлебца подвезет.

— Деньги — весьма сомнительный и даже опасный предмет, — мягко не уступал поп Макар. — Во-первых, деньги тоже к рукам идут, а во-вторых, в них сокрыт великий соблазн. На что мужику деньги, когда у него все свое есть: и домишко, и землица, и скотинка, и всякое хозяйственное обзаведение? Только и надо деньги, что на подати.

— А ежели у нас темнота? Будут деньги, будет и торговля. Надо же и купцу чем-нибудь жить. Вот и тебе, отец Макар, за требы прибавка выйдет, и мне, писарю. У хлеба не без крох.

— Вот главное, чтобы хлеб-то был, во-первых, а во-вторых, будущее неизвестно. С деньгами-то надобно тоже умеючи, а зря ничего не поделаешь. Нет, я сомневаюсь, поколику дело не выяснится.

А Галактион точно не хотел ничего замечать и продолжал свою работу. Если бы все те, которые теперь судили и пересуживали его крупчатку, могли видеть, что он думал! Начать с того, что мельницу он считал делом так себе, пока, а настоящее было не здесь. Сколько хлопот с мельницей, а дело все-таки мертвое. Пришит к своему месту, как пуговица, и никуда не двинешься. Его тянуло дальше, на широкий простор. Наблюдая работы, он часто вспоминал свой разговор с немцем Штоффом и крепко задумывался. Умен и оборотист немец, вообще — ловкач. Выжидает, выжидает, да к настоящему делу и приспособится. Немало огорчало Галактиона и то, что не с кем ему было в Суслоне даже поговорить по душе. Всем им и мельница-крупчатка в диковину.

«Эх, если бы не отец! — с какою-то злобой иногда думал Галактион. — А то сиди в Суслоне».

К жене Галактион относился попрежнему с сдержанною ласковостью. Он даже начинал ее любить за ее безответность и за страстную любовь. Правда, иногда ему делалось совестно, что он по-настоящему не может ответить на ее робкие ласки, но в нем накипало и крепло хорошее чувство к ней. Молодость брала свое, а потом сознание, что сделанного не переделаешь. Не раз, глядя на нее, он вспоминал красавицу Харитину, — у той все бы вышло не так. Странно, что безответная Серафима каким-то чутьем слышала эти его тайные мысли, стихала и точно делалась меньше. Такая несчастная вся, и ему вдруг станет ее жаль. Чем же она виновата, что так судьба вышла? А вот с Харитиной он мог бы и поговорить по душе, и посоветоваться, и все пополам разделить. Разве она стала бы скучать, как Серафима? Небойсь нашла бы дело и всех бы постановила.

Впрочем, Галактион упорно отгонял от себя все эти мысли. Так, глупость молодая, и больше ничего. Стерпится — слюбится. Иногда Серафима пробовала

с ним заговаривать о серьезных делах, и он видел только одно, что она ровно ничего не понимает. Старается подладиться к нему и не умеет.

— Ты уж лучше молчи, Сима, — ласково шутил он.

— Может, привыкну и буду понимать, Глаша. Все девицы сначала ничего не понимают, а потом замужем и выучатся.

Ему не нравилось, что она зовет его Глашей, — какое-то бабье имя.

Но все эти сомнения и недосказанные мысли разрешились сами собой, когда Серафима, краснея и заикаясь, призналась, что она беременна. Муж посмотрел на нее непонимающими глазами, а потом так хорошо и любовно обнял и горячо поцеловал... еще в первый раз поцеловал.

— Милая... Милая!..

— Ты меня любишь, да? Немножечко? — шептала она, сгорая от нахлынувшего на нее счастия.

Потом она расплакалась, как плачут дети, а он взял ее на руки и носил по комнате, как ребенка.

— Милая... Милая!..

XI

Пропавший на время из Суслона Михей Зотыч был совсем близко, о чем никто не подозревал. Он успел устроить кое-какие дела у себя на заводе и вернулся на Ключевую, по обыкновению, в своем бродяжническом костюме. Он переходил из деревни в деревню, из села в село, все высматривал, обо всем разузнавал и везде сохранял самое строгое incognito. Это уже была такая крепостная привычка делать все исподтишка, украдом. Никто не знал, что старик Колобов был в Суслоне и виделся со старым благоприятелем Вахрушкой, которого и сманил к себе на службу.

— За битого семь небитых дают, — шутил он, по обыкновению. — Тебя в солдатчине били, а меня на заводской работе. И вышло — два сапога пара. Поступай ко мне на службу: будешь доволен.

— А какое твое жалованье, Михей Зотыч?

— Вот и вышел дурачок, а еще солдат: жалованье по жалованью. Что заслужишь, то и получишь.

— А ежели ты меня омманешь?

— А ты старайся.

Вахрушка почесал в затылке от таких выгодных условий, но, сообразив, согласился. Богатый человек Михей Зотыч, и не стать ему обижать старого солдата.

— Поглянулся ты мне, вот главная причина, — шутил Михей Зотыч. — А есть одна у тебя провинка.

— Ну, говори, какая?

— А такая, дурачок. Били тебя на службе, били, а ты все-таки не знаешь, в какой день пятница бывает.

— Ну, пошел огород городить... Так не омманешь?

— Сказано: будешь доволен. Главное, скула мне у тебя нравится: на ржаной хлеб скула.

Сказано — сделано, и старики ударили по рукам. Согласно уговору Михей Зотыч должен был ожидать верного слугу в Баклановой, где уже вперед купил себе лошадь и телегу. Вахрушка скоро разделался с писарем и на другой день ехал уже в одной телеге с Михеем Зотычем.

— Ах, служба, служба: бит небитого везет! — смеялся мудреный хозяин, похлопывая Вахрушку по плечу. — Будем жить, как передняя нога с задней, как грива с хвостом.

— Страсть это я не люблю, как ты зачнешь свои загадки загадывать, Михей Зотыч. Даже мутит... ей-богу... Ну, и скажи прямо, а то прямо ударь.

— А ты головой, дурашка, головой добивайся, умишком раскинь, обмозгуй... хе-хе!..

Эти хозяйские шуточки нагоняли на Вахрушку настоящую тоску, и он начинал угрюмо молчать. В корень изводил его хитрый старичонко, точно песку в башку насыплет.

— Ты вот что, хозяин, — заявил Вахрушка на другой день своей службы, — ты не мудри, а то...

— Ну, ну, испугай!

— Уйду!.. Вот тебе и весь сказ!

— Это ты загадку загадываешь, мил человек? Ах, дурашка, дурашка! Никуда ты не уйдешь, потому как я на тебя зарок положил великий, и при этом задаток четыре недели на месяц ты уж получил вперед сполна...

Цель старика Колобова была объехать тот хлебный район, который должен был поставлять пшеницу на будущую мельницу. Ему хотелось на месте познакомиться с будущими производителями и поставщиками сырья. Пусть мельницу строит Галактион — ему и книги в руки, а Михей Зотыч объезжал теперь свое будущее царство. Нужно было создать целый рынок и вперед сообразить все условия. Это было поважнее постройки мельницы, и он не мог доверить такого ответственного труда даже Галактиону. Молод еще и ничего не понимает, да и яйца курицу не учат.

В лице Вахрушки хитрый старик приобрел очень хорошего сотрудника. Вахрушка был человек бывалый, насмотрелся всячины, да и свою округу знал как пять пальцев. Потом он был с бедной приуральской стороны и знал цену окружавшему хлебному богатству, как никто другой.

— Вахрушка, ты у меня в том роде, как главнокомандующий!

— Похоже, Михей Зотыч, ежели считать по заплаткам.

— Ну, вот, вот... Выговорил-таки хоть одно умное слово.

Приезжая куда-нибудь в село, Михей Зотыч сказывался работником, а Вахрушку навеличивал хозяином. Эта комедия была только продолжением предыдущего шутовства, и Вахрушка скоро привык. «Что ж, хозяин так хозяин!» По пути они скупали у баб коноплю, лен и дешевые деревенские харчи, а эта купля служила только предлогом для подробных расспросов — что и как. Чем дальше они таким образом ехали, тем ярче выступала картина зауральского крестьянского богатства. Хорошо здесь жил народ, запасливо, и не боялся черного дня.

Всего больше приводил в восторг Михея Зотыча аршинный зауральский чернозем.

— Вот так земля! — восхищался старик. — Овчина овчиной!

— Уж я тебе говорил, што удобрять здесь землю и не слыхивали, — объяснил Вахрушка. — Сама земля родит.

А какие попадались деревни и села — одно загляденье. Хоть картину пиши. Справно жил народ, с тугим крестьянским достатком. Всего было вволю — и земли, и хлеба, и скотины. Правда, мужик-пшеничник сильно поленивался, но от достатка и вор не ворует. У большинства крестьян были запасы на год, на два вперед. Сбывали только столько, сколько было нужно на подати, а остальное все шло впрок. Так хозяйство ставилось еще отцами и дедами, отнимавшими благодатный край у неумытой орды. Башкирские волости раздвинулись как-то по краям и не имели никакого экономического значения в общем хозяйстве богатейшего края.

В Вахрушке, по мере того как они удалялись вглубь бассейна Ключевой, все сильнее сказывался похороненный солдатчиной коренной русский пахарь. Он то и дело соскакивал с телеги, тыкал кнутовищем в распаханную землю и начинал ругаться.

— Разе это работа, Михей Зотыч? На два вершка в глубину пашут... Тьфу! Помажут кое-как сверху — вот и вся работа. У нас в Чердынском уезде земелька-то по четыре рублика ренды за десятину ходит, — ну, ее и холят. Да и какая земля — глина да песок. А здесь одна божецкая благодать... Ох, бить их некому, пшеничников!

Путешественники несколько раз ночевали в поле, чтобы не тратиться на постой. Михей Зотыч был скуп, как кощей, и держал солдата впроголодь. Зачем напрасно деньги травить? Все равно — такого старого черта не откормишь. Сначала солдат роптал и даже ругался.

— Ах ты, дурашка, брюхо-то не зеркало, да и мы с тобой на ржаной муке замешаны. Есть корочка черного хлебца, и слава богу... Как тебя будет разжигать аппетит, ты богу молись, чревоугодник!

Солдат никак не мог примириться с этой теорией спасения души, но покорялся по солдатской привычке, — все равно нужно же кому-нибудь служить. Он очень скоро подпал под влияние своего нового хозяина, который расшевелил его крестьянские мысли. И как ловко старичонко умел наговаривать, так одно слово к другому и лепит, да так складно.

Хорошо было со стариком ночевать у огонька. Осенние ночи такие темные, огонек горит так весело.

— Земля — все, понимаешь? — говорил Михей Зотыч. — А остальное пустяки... И заводы, и фабрики, и машины.

— Это ты правильно.

— А почему земля все? Потому, что она дает хлеб насущный... Поднялся хлебец в цене на пятачок — красный товар у купцов встал, еще на пятачок — бакалея разная остановилась, а еще на пятачок — и все остальное село. Никому не нужно ни твоей фабрики, ни твоего завода, ни твоей машины... Все от хлебца-батюшки. Урожай — девки, как блохи, замуж поскакали, неурожай — посиживай у окошечка да поглядывай на голодных женихов. Так я говорю, дурашка?

— Тоже вот и насчет водки, Михей Зотыч... Солдату плепорция казенная, а отставному где взять в голодный-то год?

Иногда на Михея Зотыча находило какое-то детское умиление, и он готов был целовать благодатную землю, точно еврей после переселения в обетованную землю. Уж очень хорошо было кругом. Народ жил полною чашей, — любо посмотреть. Этакого-то угодного места по всей Расее не сыщешь с огнем. Народ еще не «испотачился» и жил по-божески. Все свое, домашнее, — вот и достаток, потому что как все от матушки-земли жили и не гнались на городскую руку моды заводить. Прикидывая в уме хлебный район по одной Ключевой, Михей Зотыч видел, что сырья здесь хватит на двадцать таких крупчаток, какую он строил в Прорыве.

— Всем хватит, Вахрушка, и еще от нас останется, да.

— Как не хватить, Михей Зотыч?

Другой вопрос, который интересовал старого мельника, был тот, где устроить рынок. Не покупать же хлеб в Заполье, где сейчас сосредоточивались все хлебные операции. Один провоз съест. Мелкие торжки, положим, кое-где были, но нужно было выбрать из них новый пункт. Вот в Баклановой по воскресеньям бывал подвоз хлеба, и в других деревнях.

— Эх, повернуть бы торжок в Суслон! — мечтал старик.

Он прикинул еще раньше центральное положение, какое занимал Суслон в бассейне Ключевой, — со всех сторон близко, и хлеб сам придет. Было бы кому покупать. Этак, пожалуй, и Заполью плохо придется. Мысль о повороте торжка сильно волновала Михея Зотыча, потому что в этом заключалась смерть запольским толстосумам: копеечка с пуда подешевле от провоза — и конец. Вот этого-то он и не сказал тогда старику Луковникову.

Это путешествие чуть не закончилось катастрофой. Старики уже возвращались домой. Дело происходило ночью, недалеко от мельницы Ермилыча. Лошадь шла шагом, нога за ногу. Старики дремали, прикорнув в телеге. Вдруг Вахрушка вздрогнул, как строевая лошадь, заслышавшая трубу.

— Михей Зотыч, родимый, не ладно!

— А! Что? — бормотал спросонья хозяин.

— Слышишь?

Где-то вдали тонко прозвонили дорожные колокольчики и замерли, точно порвалась струна.

— Исправник навстречу гонит! — в ужасе прошептал Вахрушка, проникнутый смертным страхом ко всякому начальству.

— Ну, и пусть гонит. Мы ему не мешаем.

— Ах, ты какой, право!.. Лучше бы своротить с дороги. Неровен час... Ежели пьяный, так оно лучше не попадаться ему на глаза.

— Давай сюда вожжи, дурашка.

Вахрушка так и замер от страха. А колокольчики так и заливаются. Ближе, ближе, — вот уж совсем близко.

— Михей Зотыч, своротим от греха, — молил Вахрушка.

— Молчи, дурашка.

Ночь была темная, и съехались носом к носу.

— Эй, кто там дорогу загородил? — рявкнул голос из исправничьего экипажа.

— Черт с репой! — спокойно ответил Михей Зотыч.

— Сворачивай с дороги, каналья!

— Ты сворачивай, порожнем на тройке едешь, а я с возом на одной!

Кто-то соскочил с козел исправничьего экипажа и накинулся с неистовым ревом на непокорную телегу. В воздухе свистнула нагайка.

— Бей каналью! — кричал сам Полуянов, сидя в экипаже.

— Илья Фирсыч, да ты никак с ума спятил! — крикнул Колобов, ловко защищаясь кнутиком от казачьей нагайки. — Креста на тебе нет... Аль не узнал?

— Да кто там? — сердился исправник.

— Сказано: черт с репой! Бит небитого везет.

— Тьфу! Дурак какой-то... Ну, подойди сюда.

— Ох, не подходи! — в ужасе шептал Вахрушка, ухватывая хозяина за рукав.

Но Колобов смело подошел к экипажу. Полуянов чиркнул спичку и с удивлением смотрел на бродягу.

— Не признаешь? Хе-хе. А еще на свадьбе вместе пировали в Заполье.

— Да это ты, Михей Зотыч? Тьфу, окаянный человек! — засмеялся грозный исправник. — Эк тебя носит нелегкая! Хочешь коньяку? Нет? Ну, я скоро в гости к тебе на мельницу приеду.

— Милости просим.

Когда исправничий экипаж покатил дальше, Вахрушка снял шапку и перекрестился. Он еще долго потом оглядывался и встряхивал головой. С этого момента он проникся безграничным удивлением к смелости Михея Зотыча: уж если исправника Полуянова не испугался, так чего же ему бояться больше?

XII

Как Галактион сказал, так и вышло: жилой дом на Прорыве был кончен к первопутку, то есть кончен настолько, что можно было переехать в него молодым. Серафима торжествовала. Ей так надоело жить в чужих людях, у всех на виду, а тут был свой угол, свое гнездо. Она больше не робела перед мужем и с затаенною радостью чувствовала, что он начинает ее любить. Это высказывалось в тысяче тех обыденных мелочей, которые в отдельности даже назвать трудно. Муж теперь предупреждал ее малейшие желания и следил за каждым шагом. Но ей решительно ничего было не нужно. Боже мой, как она была счастлива, а новый дом на Прорыве казался ей раем.

— У нас теперь свое гнездо, — повторяла она, ласкаясь к мужу. — И никто, никто не смеет его тронуть. Да, Глаша?

— Кому же это нужно, Сима?

— Нет, я так, к примеру. Мне иногда делается страшно. Сама не знаю отчего, а только страшно, страшно, точно вот я падаю куда-то в пропасть. И плакать хочется, и точно обидно за что-то. Ведь ты сначала меня не любил. Ну, признайся.

— Перестань болтать глупости!

— Как же ты мог любить, когда совсем не знал меня? Да я тебе и не нравилась. Тебе больше нравилась Харитина. Не отпирайся, пожалуйста, я все видела, а только мне было тогда почти все равно. Очень уж надоело в девицах сидеть. Тоска какая-то, все не мило. Я даже злая сделалась, и мамаша плакала от меня. А теперь я всех люблю.

Это счастливое настроение заражало и Галактиона, и он находил жену такою хорошей и даже красивой. От девичьей угловатости не осталось и следа, а ее сменила чарующая женская мягкость. Галактиону доставляло удовольствие ухаживать за женой.

Серафиме нравилось и самое место, выбранное Галактионом под мельницу. Ключевая была здесь такая быстрая да глубокая, а напротив каменным

гребнем поднималась большая гора. Из-за горы, вниз по Ключевой, виднелась Шеинская курья, а за ней белою свечой поднималась церковь в Суслоне. Место под мельницу было выбрано на левом берегу, на каменном мысу, вдававшемся в Ключевую. Правда, уже теперь чувствовалась некоторая теснота, но когда будут кончены постройки, сделается совсем свободно. Серафима по-своему мечтала о будущем этого клочка земли: у них будет свой маленький садик, где она будет гулять с ребенком, потом она заведет полное хозяйство, чтобы дома все было свое, на мельничном пруду будет плавать пара лебедей и т. д. Эти лебеди снились Серафиме даже во сне, как символ семейного счастия. Да, она была счастлива и чувствовала, что все ее любят, даже старик Михей Зотыч. Она понимала, что он любит собственно не ее, а тех будущих внучат, которых она подарит ему.

— Так, невестушка, так, милая... — повторял старик, глядя на нее любящими глазами. — Внучка мне нужно.

— Будет внучек, папаша.

— То-то, смотри, Серафима Харитоновна, не осрамись, да и меня не подведи.

Такие откровенные разговоры заставляли Серафиму вспыхивать ярким румянцем, хотя она и сама была уверена, что родится именно мальчик. Даже молчаливый Емельян теперь как-то особенно подолгу заглядывался на невестку и начинал ухмыляться. Ему тоже нравилась ласковая и старавшаяся всем угодить сноха. Приехал и третий брат, Симон, совсем еще молодой человек, состоявший в семье на положении мальчика. Он был самый красивый и походил на мать, но отец как-то недолюбливал его за недостаток характера. Мальчик был такой ласковый, и Серафима полюбила его с первого раза, как родного брата.

— У нас вся семья сердитая, — потихоньку рассказывал мальчик. — И я всех боюсь.

Это была первая женщина, которую Симон видел совсем близко, и эта близость поднимала в нем всю кровь, так что ему делалось даже совестно, особенно когда Серафима целовала его по-родственному. Он

потихоньку обожал ее и боялся выдать свое чувство. Эта тайная любовь тоже волновала Серафиму, и она напрасно старалась держаться с мальчиком строго, — у ней строгость как-то не выходила, а потом ей делалось жаль славного мальчугана.

— Симон, не смотри на меня так! — строго говорила она.

— Я... я ничего.

— Если Галактион увидит, он тебе задаст.

Вообще в новом доме всем жилось хорошо, хотя и было тесновато. Две комнаты занимали молодые, в одной жили Емельян и Симон, в четвертой — Михей Зотыч, а пятая носила громкое название конторы, и пока в ней поселился Вахрушка. Стряпка Матрена поступила к молодым, что послужило предметом серьезной ссоры между сестрами.

— Жили-жили, да в благодарность и стряпку сманили, — корила жена писаря.

— Никто и не думал сманивать, — оправдывалась Серафима. — Сама пришла и живет. Мы тут ни при чем. Скажешь, что и солдата тоже мы сманили?

— И солдата... Умны уж очень.

Между зятьями временно пробежала черная кошка, и недоразумения возникали из-за всяких пустяков. Впрочем, они скоро помирились благодаря политике Галактиона. По первопутку приехал в гости дорогой тестюшка Харитон Артемьевич вместе с любимой дочерью Харитиной, — вернее сказать, не приехал, а его привезла Харитина. Старик с самой свадьбы не переставал кутить и начал заговариваться. Анфуса Гавриловна решительно ничего не могла с ним поделать и отправила на поправку к новому зятю, на которого надеялась теперь, как на каменную стену. Очень уж умный и почтительный зять и все устроит. Из писем Серафимы Анфуса Гавриловна знала их жизнь и заочно восторгалась новым зятем. Галактион воспользовался появлением гостей, чтоб устроить новоселье, как того требовали деревенские порядки. Был приглашен в первую голову писарь Замараев.

— Да ты с ума сошел, Галактион? — удивилась даже смелая на все Харитина.

— Нисколько. Он такой же зять, как и я. Родне не приходится считаться. Нечего нам делить.

— А тятенька?

— Ничего и тятенька. В гостях воля хозяйская.

Поведение Галактиона навсегда примирило Анну с добрым и умным новым зятем. Писарь тоже не мог не согласиться, что Галактион все по-умному делает.

Были приглашены также мельник Ермилыч и поп Макар. Последний долго не соглашался ехать к староверам, пока писарь не уговорил его. К самому новоселью подоспел и исправник Полуянов, который обладал каким-то чутьем попадать на такие праздники. Одним словом, собралась большая и веселая компания. Как-то все выходило весело, начиная с того, что Харитон Артемьевич никак не мог узнать зятя-писаря и все спрашивал:

— Да ты кто таков, человек, будешь?

— Не чужой человек, тятенька. Прежде зятем считали.

— Зятем? Тьфу!.. Тоже и скажет человек. Разе у меня такие зятья? Ах ты, капустный зверь!

Молодая хозяйка была счастлива, как никогда, и сияла своим молодым счастьем. Она походя обнимала Харитину и целовала ее от избытка радости. Бойкая и взбалмошная Харитина против обыкновения держала себя как-то особенно солидно и казалась даже грустной. Ее только забавляли преследовавшие ее глаза Симона. Мальчик совсем увлекся, увлекся сразу и ничего больше не видел, кроме запольской красавицы с ее поджигающим смехом, вызывающею улыбкою и бойкою речью. Он так ел ее глазами, что даже заметил Галактион и сказал жене:

— Ты скажи Симону, что так нельзя... Мне самому неловко сказать. Совсем дурак мальчишка.

— Что же тут мудреного? Харитину как увидят, так и влюбятся. Уж такая уродилась... Она у меня сколько женихов отбила. И ты тоже женился бы на ней, если бы не отец.

— Перестань болтать глупости! Как тебе не стыдно?

— Я ведь не ревную, а так, к слову сказала.

Веселье продолжалось целых три дня, так что Полуянов тоже перестал узнавать гостей и всех спрашивал, по какому делу вызваны. Он очувствовался только тогда, когда его свозили в Суслон и выпарили в бане. Михей Зотыч, по обыкновению, незаметно исчез из дому и скрывался неизвестно где.

Больше всего доставлял хлопот дорогой тестюшка, с которым никто не мог управиться, кроме Галактиона. Старших дочерей он совсем не признавал, да и любимицу Харитину тоже. Раз ночью с ним сделалось совсем дурно. Стерегший гостя Вахрушка только махал руками.

— Я боюсь, — заявила Серафима разбуженному мужу. — Иди ты... Ах, господи, вот согрешенье-то!.. Мамаша тоже послала гостя.

Галактион накинул халат и отправился в контору, где временно помещен был Харитон Артемьич. Он сидел на кровати с посиневшим лицом и страшно выкаченными глазами. Около него была одна Харитина. Она тоже только что успела соскочить с постели и была в одной юбке. Плечи были прикрыты шалью, из-под которой выбивалась шелковая волна чудных волос. Она была бледна и в упор посмотрела на Галактиона.

— Пошли скорее Вахрушку за нашатырным спиртом, — тихо и повелительно приказала она. — Да чтобы живо. Потом принеси снегу и воды.

Девушка знала, как нужно отваживаться с пьяницей-отцом, и распоряжалась, как у себя дома. Старик сидел попрежнему на кровати и тяжело хрипел. Временами из его груди вырывалось неопределенное мычание, которое понимала только одна Харитина.

— Ммм... моч... рю... ку... ррюмочку.

— Подожди, будет и рюмочка, — сурово говорила Харитина, щупая голову ошалевшего родителя. — Вот до чего себя довел.

— Мм... не ббуду... не ббуду...

Лицо его искривилось, глаза страшно выкатились, и он повалился на постель. В этот момент вбежал Галактион со снегом и водой. Холодные компрессы сделали свое дело, а поданная рюмка водки на время

успокоила пьяницу. Он теперь лежал на постели с закрытыми глазами, опухший, налитый пьяным жиром, а над ним наклонилась Харитина, такая цветущая, молодая, строгая. Днем у нее глаза были серые, а ночью темнели, как у кошки; золотистые волосы обрамляли бледное лицо точно сиянием. Галактион стоял в изголовье кровати и невольно любовался ею, любовался не так, как прежде, а как мужчина, полный сил, который видит красивую женщину. Все эти дни он почти совсем не обращал на нее внимания и даже не замечал, хотя они и были по-родственному на «ты» и даже целовались, тоже по-родственному. В комнате горела одна сальная свечка, и при ее красноватом свете Харитина походила на русалку. Она не смотрела на Галактиона, но чувствовала на себе его пристальный взгляд и машинально поправила под шалью спустившийся рукав рубашки. Потом она смело посмотрела прямо в лицо Галактиону, посмотрела почти с ненавистью, плотно сжав губы. Потом он видел, как она медленно и спокойно подошла к нему, обняла его своими голыми руками и безмолвно прильнула к его лицу горевшими губами.

— Харитина, опомнись!.. Харитина, что ты делаешь? — шептал он, напрасно стараясь освободиться из ее объятий. — Харитина!..

Белые руки распались сами собой, и она засмеялась нехорошим смехом.

— Не любишь? забыл? — шептала она, отступая. — Другую полюбил? А эта другая рохля и плакса. Разве тебе такую было нужно жену? Ах, Галактион Михеич! А вот я так не забыла, как ты на своей свадьбе смотрел на меня... ничего не забыла. Сокол посмотрел, и нет девушки... и не стыдно мне нисколько.

Она опять обняла его и целовала, вернее — душила своими поцелуями, лицо, шею, даже руки целовала. Галактион чувствовал только, как у него вся комната завертелась перед глазами, а эти золотые волосы щекотали ему лицо и шею.

— Милый, милый! — шептала она в исступлении,

закрывая глаза. — Только один раз. Разве та, другая, умеет любить? А я-то тосковала по нем, я-то убивалась!

— Харитина!..

— Нет здесь никакой Харитины. Харитина там, где ее любят.

Эта дикая сцена была прекращена появлением Вахрушки, который успел вернуться из Суслона со спиртом.

— Ты меня будешь помнить, — повторила несколько раз Харитина, давая отцу нюхать спирт. — Я не шутки с тобой шутила. О, как я тебя люблю, несчастный!

Когда Галактион проснулся на другой день, все случившееся ночью ему показалось тяжелым кошмаром. Он даже посомневался, было ли все это на самом деле. Харитина вышла к чаю, как всегда. На ней была та же шаль, что и ночью, и это кольнуло Галактиона. Она ему хотела показать, что ставит его ни во что. Припоминая подробности вчерашней сцены, Галактион отчетливо знал только одно, именно, что он растерялся, как мальчишка, и все время держал себя дураком. Нужно было сделать решительный шаг в ту или другую сторону, а теперь оставалось делать такой вид, что он все принял за глупую выходку и не придает ничему серьезного значения.

— Мы с папашей сегодня едем домой, — заявила Харитина усталым голосом. — Видно, чем ушибся, тем и лечись. Кстати, нас проводит Илья Фирсыч. Ему тоже пора домой.

Полуянов даже стал на колени и принялся целовать руки капризной красавицы.

— О, богиня, я могу только повиноваться, как слабый смертный!

Симон, бывший свидетелем этой глупой сцены, бледнел и краснел, до крови кусая губы. Бедный мальчуган страстно ревновал запольскую красавицу даже, кажется, к ее шали, а когда на прощанье Харитина по-родственному поцеловала его, он не вытерпел и убежал.

— Что ты делаешь с мальчиком? — упрекнула ее Серафима, находившаяся в лениво-спокойном настроении беременной женщины.

— Я? Ничего, — резко ответила Харитина. — Кто меня полюбит, тот несчастный человек навек.

Галактион все время молчал и старался не смотреть на нее. Она поцеловалась с ним, опустив глаза.

— Желаю тебе быть паинькой, — пошутила над ним Харитина, усаживаясь в экипаж. — Пряничка дадут.

В этот момент Галактион ненавидел ее и был счастлив, что ночью был дураком.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Прошло пять лет.

Все Заполье переживало тревожное время. Кажется, в самом воздухе висела мысль, что жить по-старинному, как жили отцы и деды, нельзя. Доказательств этому было достаточно, и самых убедительных, потому что все они били запольских купцов прямо по карману. Достаточно было уже одного того, что благодаря новой мельнице старика Колобова в Суслоне открылся новый хлебный рынок, обещавший в недалеком будущем сделаться серьезным конкурентом Заполью. Это была первая повестка.

— Нет, брат, шабаш, — повторяли запольские купцы. — По-старому, брат, не проживешь. Сегодня у тебя пшеницу отнимут, завтра куделю и льняное семя, а там и до степного сала доберутся. Что же у нас-то останется? Да, конечно. Надо все по-полированному делать, чтобы как в других прочих местах.

Запас сведений об этих другух прочих местах оказался самым ограниченным, вернее сказать — запольские купцы ничего не знали, кроме своего родного Заполья. Молодые купцы были бы и рады устраиваться по-новому, да не умели, а старики артачились и не хотели ничего знать. Вообще разговоров и пересудов

было достаточно, а какая-то невидимая беда надвигалась все ближе и ближе.

В собственном смысле событий за эти пять лет не случилось. Было три пожара, потом открыли новую городскую думу, причем старик Луковников был избран первым городским головой, потом Малыгины выдали младшую дочь Харитину раньше старшей и т. д. Харитина вышла замуж чуть не убегом, против воли родителей, и теперь была исправницей Полуяновой. Жена у Полуянова умерла через год после свадьбы Серафимы, а через год он с пьяных глаз женился на красавице Харитине, вернее сказать — она сама высватала его. Свадьба была сыграна еще скорее, чем у Серафимы, потому что жених вдовец. Анфуса Гавриловна на коленях умоляла дочь не делать этого, но Харитина твердила одно:

— Мамаша, я хочу быть благородной. Очень мне интересно выходить замуж за какого-нибудь сиволапого купца! Насмотрелась я на своих сестриц, как они в темноте живут.

— Поглядим мы на твое пьяное да старое благородство!

— Исправницей буду, мамаша. Чаем губернатора буду угощать, а он у меня руку будет целовать. В благородных домах везде такой порядок. В карете буду ездить.

— Дура ты, Харитинка, и больше ничего.

— Не виновата, что такая родилась, мамаша.

В сущности Харитина вышла очертя голову за Полуянова только потому, что желала хотя этим путем досадить Галактиону. На, полюбуйся, как мне ничего не жаль! Из-за тебя гибну. Но Галактион, кажется, не почувствовал этой мести и даже не приехал на свадьбу, а послал вместо себя жену с братом Симоном. Харитина удовольствовалась тем, что заставила мужа выписать карету, и разъезжала в ней по магазинам целые дни. Пусть все смотрят и завидуют, как молодая исправница катается.

Если запольские купцы не знали, что им нужно, то отлично это знали люди посторонние, которые всё набивались в город. Кто они такие, откуда, чего домо-

гаются — никто не знал. У Штоффа уже давно жил безыменный немец Драке, потом приехал и поселился Май-Стабровский. Он занял лучшую квартиру в городе, завел выездных лошадей, целый штат прислуги и зажил на широкую ногу. В Заполье и во сне не видали такой роскоши, и молодая исправница сгорала от зависти. Впрочем, она была принята у Стабровских, и сам старик ухаживал за ней с чисто польским джентльменством. Потом поселился подозрительный еврей Ечкин. Впрочем, он сам мало жил в Заполье, а все где-то разъезжал. Около этих новых людей жалась целая кучка безыменных и прожорливых панов, немцев и евреев. Они все чего-то искали, куда-то ездили по каким-то никому не известным делам и вообще ужасно торопились. Не было, кажется, такого угла, которого они не обнюхали бы и не обыскали. Одним словом, что-то готовилось, и запольские купцы вперед чувствовали, как их забирает страх.

— А все это проклятый Полуштоф, — ругались они за спиной. — Все от него пошло. Дай лисе хвост просунуть, она и вся залезет. А у немцев так уж заведено: у одного крючок, у другого петля — друг за дружкой и волокутся.

Доставалось на орехи и «полуштофову тестю», то есть Харитону Артемьичу. Он первый призрел голого немца, да еще дочь за него замуж выдал. Вот теперь все и расхлебывай. Да и другой зять, Галактион, тоже хорош: всем мельникам запер ход, да еще рынок увел к себе в Суслон.

Сами по себе новые люди были все очень милые, вежливые и веселые. Везде сами бывали, всех принимали у себя и умели товар лицом показать. На другой же год в Заполье открылся клуб, учреждение невиданное. Старики не пошли, а молодежь была рада. В Заполье до сих пор не было ни одного веселого приюта. По зимам проворные немцы начали устраивать в клубе семейные вечера с танцами, благотворительные «лотереи-аллегри», а главное, напропалую дулись в карты. Это выходило гораздо удобнее, чем у себя дома. И хлопот никаких, и удовольствие получай, какое хочешь. Май-Стабровский и Ечкин повели настоящую

большую игру, особенно когда приехал Шахма, этот степной крез, о котором составлялись настоящие легенды. Играл в большую Еграшка Огибенин, исправник Полуянов и даже аккуратный немец Штофф. Одним словом, зажили по-настоящему, как в других прочих местах, особенно когда появились два адвоката, Мышников и Черевинский, забившие сразу местных доморощенных ходатаев и дельцов. Впрочем, Мышников был свой запольский. Он происходил из разорившейся купеческой семьи и кончил курс в университете.

Этот прилив новых людей закончился нотариусом Меридиановым, тоже своим человеком, — он был сын запольского соборного протопопа, — и двумя следователями. Говорили уже о земстве, которое не сегодня-завтра должно было открыться. Все эти новые люди устраивались по-своему и не хотели знать старых порядков, когда всем заправлял один исправник Полуянов да два ветхозаветных заседателя.

Больше всех суетился и хлопотал немец Штофф, как человек, достаточно освоившийся с положением местных дел. Он брал какие-то подряды, хлопотал об открытии местной женской прогимназии и реального училища, открыл какое-то таинственное «депо земледельческих усовершенствованных машин», и так далее, без конца. Время от времени он тоже исчезал из города и шнырял по уезду, выискивая какие-то новые дела. Впрочем, его деятельность скоро обнаружилась, когда Май-Стабровский купил в уезде упраздненный винокуренный казенный завод и назначил его своим главным управляющим. Были и свои винокуры, но это был народ все мелкий, работавший с грехом пополам для местного потребления, а Стабровский затевал громадное, миллионное дело и повел его сильною рукой. Все устраивалось по последнему слову винокуренной науки. От Заполья до нового завода было верст сто, и туда отхлынула вся польская челядь, окружавшая Стабровского. Запольские купцы только смотрели и ожигались. Их «старинка» оставалась позади, а вперед лезли новые люди, удивлявшие своею пробойностью и прожорливостью. По старинке считали на

тысячи и много-много на десятки тысяч, а тут сразу счет пошел на сотни тысяч.

— Что же это будет? — удивлялись недавние запольские богачи. — Что же нам-то останется? Все немцы забирают.

Винокуренный завод Стабровского находился всего в двадцати верстах от Суслона, и это сразу придало совершенно другое значение новому хлебному рынку. Для этого завода ежегодно имелось в виду скупать до миллиона пудов ржи, а это что-нибудь значило. Старик Колобов только ахнул, когда услышал про новую затею.

— Съест нас всех Стабровский, — говорил он, качая головой. — Мы тут мышей ловим, а он прямо на медведя пошел.

Новая крупчатая мельница действительно являлась ничтожеством по сравнению с грандиозным заводом. Было тут о чем подумать. Хлопотавший по постройке завода Штофф раза два завертывал в Прорыв и ночевал.

— Ты это что же затеваешь-то? — ворчал Михей Зотыч. — Мы тут вот мучку мелем, а ты хлеб собираешься изводить на проклятое зелье.

— Ничего, ничего, старичок. Всем хлеба хватит... Мы ведь себе только рожь берем, а вам всю пшеницу оставляем. Друг другу не будем мешать, старичок.

— Да я не о том, немецкая душа: дело-то ваше неправильное... да. Божий дар будете переводить да черта тешить. Мы-то с молитвой, а вам наплевать... тьфу!..

— Да ведь народу же деньги-то пойдут, старичок? Ах, какой ты!.. Теперь хлеб напрасно пропадает, а тогда на, получай наличными. Все будут довольны... Так-то!

— Богу вы все ответите за свои выдумки! — грозил Михей Зотыч. — Да и какой у вас бог? Ни бога, ни черта... Про совесть-то слыхал, Карл Карлыч?

— У нас сколько угодно совести, старичок.

— Так вы ее, совесть-то свою, в процент отдавайте... А я тебе скажу пряменько, немец: не о чем нам

с тобой разговоры разговаривать... так, попусту, языком болтать...

Штофф только улыбнулся. Он никогда не оскорблялся и славился своим хладнокровием. Его еще никто не мог вывести из себя, хотя случаев для этого было достаточно. Михей Зотыч от всей души возненавидел этого увертливого немца и считал его главною причиной всех грядущих зол.

— Послушай, старичок, поговорим откровенно, — приставал Штофф. — Ты живой человек, и я живой человек; ты хочешь кусочек хлеба с маслом, и я тоже хочу... Так? И все другие хотят, да не знают, как его взять.

— Ну, заговаривай зубы, заговаривай, змей!

— А я понимаю одно: я имею свою пользу и должен дать пользу другим... Так?

— Уж ты дашь, что говорить... Даже вот как дашь... Не обрадуешься твоей-то пользе.

— Все зависит от того, как смотреть на вещи.

Хитрый немец проник даже к попу Макару. Едва ли он сам знал, зачем есть поп Макар, но и он тоже ест свой кусочек хлеба с маслом и может пригодиться. Поп Макар был очень недоверчивый человек и отнесся к немцу почти враждебно.

— Во-первых, я живу здесь уже двадцать лет и никого не касаюсь, — объяснил он откровенно, — и во-вторых, я ничего не понимаю.

— Да ведь мне, батюшка, ничего от вас и не нужно, — объяснил Штофф, не сморгнув глазом. — Просто, счел долгом познакомиться с вами, так как будем жить в соседях.

— Оно, конечно, милостивый государь... Коль скоро человек отметает от себя всяческую суету, потолику он принадлежит самому себе, во-первых, а во-вторых...

— Послушайте, батюшка, вы ведете громадное хозяйство, у вас накопляется одной ржи до пяти тысяч пудов, я говорю примерно. Вам приходится хлопотать с ее продажей, а тут я приеду, и мы покончим без всяких хлопот. Это я говорю к примеру.

— Позвольте, во-первых, какая ваша будет цена, милостивый государь?

— На одну восьмую копейки с пуда больше, чем на рынке... Это... это составит за пять тысяч пудов ровно шесть рублей двадцать пять копеек. Кажется, я выражаюсь ясно? Ведь деньги не валяются на дороге?

Штофф попал в самое больное место скуповатого деревенского батюшки. Он жил бездетным, вдвоем с женой, и всю любовь сосредоточил на скромном стяжании, — его интересовали не столько сами по себе деньги, а главным образом процесс их приобретения, как своего рода спорт.

II

Старшему сыну Серафимы было уже четыре года, его звали Сережей. За ним следовали еще две девочки-погодки, то есть родившиеся через год одна после другой. Старшую звали Милочкой, младшую Катей. Как Серафима ни любила мужа, но трехлетняя, почти без перерыва, беременность возмутила и ее.

— Я хочу и сама пожить, — заявила она с наивностью намучившегося человека. — Будет с нас детей.

— И я то же думаю, — соглашался Галактион.

Тот красивый подъем всех сил, который Серафима переживала сейчас после замужества, давно миновал, сменившись нормальным существованием. Первые радости материнства тоже прошли, и Серафима иногда испытывала приступы беспричинной скуки. Пять лет выжили в деревне. Довольно. Особенно сильно повлияла на Серафиму поездка в Заполье на свадьбу Харитины. В городе все жили и веселились, а в деревне только со скуки пропадай.

— Переедем в город, — все чаще и чаще повторяла Серафима мужу, — а то совсем деревенские мужики будем.

Эти слова каждый раз волновали Галактиона. Деревня тоже давно надоела ему, да и делать здесь было нечего, — и без него отец с Емельяном управятся.

Собственно удерживало Галактиона последнее предприятие: он хотел открыть дорогу зауральской крупчатке туда, на Волгу, чтоб обеспечить сбыт надолго. Нужно было только предупредить других, чтобы снять сливки.

Дела по мельнице установились окончательно и шли прекрасно. В первую зиму свежую крупчатку возили в Ирбит, на ярмарку, на тройках. Ее брали нарасхват. Происходила конкуренция с дорогою казанскою крупчаткой. За эти четыре года мельница не только окупилась, но и дала большой доход. Теперь пшеница заготовлялась вперед за год и покупалась на наличные деньги. Вообще дела шли отлично. Мысль открыть сбыт своей крупчатке в «Расею» очень понравилась Михею Зотычу, и он с большим удовольствием отпустил Галактиона съездить в Казань, Рыбинск, Саратов и Нижний, чтобы на месте познакомиться с делами. Галактион проездил все лето и вернулся уже по окончании Нижегородской ярмарки. Эта поездка имела для него решающее значение.

— Ну что, как там у них? — спрашивал Михей Зотыч.

— Ах, папаша, даже рассказывать стыдно, то есть за себя стыдно. Там настоящие дела делают, а мы только мух здесь ловим. Там уж вальцовые мельницы строят... Мы на гроши считаем, а там счет идет на миллионы.

— С большим-то счетом и запутаться можно, Галактион.

— В лес ходить — не бояться волков, а делать дело, так по-настоящему.

— Ну, с меня будет и этого, а когда я помру, как знаете.

Бойкая жизнь Поволжья просто ошеломила Галактиона. Вот это, называется, живут вовсю. Какими капиталами ворочают, какие дела делают!.. А здесь и развернуться нельзя: все гужом идет. Не ускачешь далеко. А там и чугунка и пароходы. Все во-время, на срок. Главное, не ест перевозка, — нет месячных распутиц, весенних и осенних, нет летнего ненастья и зимних вьюг, — везде скатертью дорога.

— А какие там люди, Сима, — рассказывал жене Галактион, — смелые да умные! Пальца в рот не клади... И все дело ведется в кредит. Капитал — это вздор. Только бы умный да надежный человек был, а денег сколько хочешь. Все дело в обороте. У нас здесь и капитал-то у кого есть, так и с ним некуда деться. Переваливай его с боку на бок, как дохлую лошадь. Все от оборота.

Серафима слушала мужа только из вежливости. В делах она попрежнему ничего не понимала. Да и муж как-то не умел с нею разговаривать. Вот, другое дело, приедет Карл Карлыч, тот все умеет понятно рассказать. Он вот и жене все наряды покупает и даже в шляпах знает больше толку, чем любая настоящая дама. Сестра Евлампия никакой заботы не знает с мужем, даром, что немец, и щеголяет напропалую.

Заезжая на мельницу в Прорыв, хитрый немец никогда не забывал захватить и ребятишкам игрушек и невестке какой-нибудь пустяковый подарочек. Себя в убыток не введет и другим удовольствие доставит.

В последнюю зиму, когда строился у Стабровского завод, немец начал бывать у Колобовых совсем часто. Дело было зимой, и нужно было закупать хлеб на будущий год, а главный рынок устраивался в Суслоне.

— Это нам Михей Зотыч дорожку проторил, — похваливал немец хмурившегося старика, — мы на готовое-то, как на чужую кашу со своей ложкой приходим.

— Только не подавитесь, — ворчал Михей Зотыч. — Ложка-то у вас больно велика. Пожалуй, и каши не хватит.

— Всем, дедушка, хватит, которые ежели с умом.

Главный подвоз хлеба происходил в ноябре, когда устанавливался крепкий санный путь. Штофф прожил целую неделю в Суслоне у писаря, изучая складывавшийся новый хлебный рынок. Галактион тоже приезжал делать закупки, и они вместе провели всю неделю. Приходилось вставать ранним утром, задолго до свету, часа в четыре. Широкая суслонская улица с обеих сторон была уставлена бесконечными возами. Скупщики

ходили от воза к возу с фонарями, и рынок получал какой-то фантастический характер. Народное богатство лежало тут, на виду, прикрытое домашней работы пологами. Галактиона уже знали, и он ставил цену. Остальные только прикупали, как Ермилыч и небольшие мельники.

— По-деревенски живем, Карл Карлыч, — иронически говорил Галактион про самого себя. — Из-за хлеба на квас.

— Ну, а вы-то пожаловаться не можете.

— Да и радоваться нечему. Из маленького дела не выскочишь. Мне, собственно, и делать на мельнице больше нечего.

— А вы приезжайте к нам в Заполье. Может быть, и дельце найдем. Люди нужны, а их нет.

Немец чего-то не договаривал, а Галактион не желал выпытывать. Нужно, так и сам скажет. Впрочем, раз ночью они разговорились случайно совсем по душам. Обоим что-то не спалось. Ночевали они в писарском доме, и разговор происходил в темноте. Собственно, говорил больше немец, а Галактион только слушал.

— Видите ли, в чем дело, Галактион Михеич... Будемте рассуждать математически, так сказать. В природе ничто не должно пропадать, ни один атом. Так, да? Каждый человек представляет собой известную силу, а сила — только тогда сила, когда она находит свое приложение. Да? С одной стороны, вот мы с вами, как сила, ищущая своего приложения, а с другой — благодатный край, переполненный сырьем. Наше приложение в том, чтобы дать оборот этим богатствам. Не правда ли? Ум — самая страшная из всех сил. Вы вот умный человек и понимаете совершенно верно, что с мельницей у вас лет через пять будет все кончено. Значит, нужно пристроиться к другому делу.

— Я и сам это думаю, Карл Карлыч. Давненько думаю.

Немец сделал паузу. Где-то тяжело тикали старинные часы.

— У вас есть деньги? — спросил Штофф уже совершенно другим тоном, продолжая какую-то свою мысль.

— То есть как деньги?

— Ну, тысяч тридцать — сорок.

— Карл Карлыч, ведь вы знаете, что у меня своих и сорока копеек нет.

— Но у вас есть обычай выделять сыновей. Наконец, вы получили кое-что за женой.

— Женины деньги меня не касаются, а что касается выдела, едва ли отец согласится. Вы знаете, какой у него характер.

— А вы имейте свой характер. Требуйте свою часть.

— Он меня просто выгонит вон.

Немец подумал, что-то прикинул в уме и проговорил убежденно:

— И то для вас будет выгоднее, чем сидеть здесь и ждать у моря погоды. Поверьте мне. А я вас устрою.

— Вы теперь так говорите, а когда отец прогонит, вы можете заговорить другое.

— Поверьте, что нет, Галактион Михеич. Это мой прямой интерес, и я вам скажу сейчас, в чем дело. Да. Вот у вас мельница, и вы в зависимости от урожая, от рынка, от конкуренции, да? Я теперь управляющий Стабровского и завишу от него. Дело громадное и будет зависеть от тысячи случайностей, начиная с самой жестокой конкуренции, какая существует только в нашем водочном деле. Не правда ли? Возьмите всякое другое коммерческое дело — везде риск, везде опасность, везде сомнения. А есть такое дело, которое ничего не боится, скажу больше: ему все на пользу — и урожай и неурожай, и разорение и богатство, и даже конкуренция. Это моя заветная мечта.

Галактион сел на кровати и проговорил:

— Банк? Вы хотите, чтобы в числе учредителей стояло мое русское имя?

— Да. Прибавьте к этому, что русских имен мы найдем сколько угодно, а нам нужны работники, хорошие, энергичные работники. Признаюсь, я вас изучал в течение пяти лет и знаю вас больше, чем вы сами себя знаете. Извините за нескромное любопытство... У вас есть размах, есть кровь, а это главное. Придется много работать и ставить все на карту. Потом у вас

есть уменье иметь дело с людьми. Пример: скажу я — и мне не поверят, скажете вы то же самое — и вам поверят. Это величайший секрет науки, называемой психология. Мне скажут: «У! немец хитрит!» Я это в глазах читаю, и мне делается обидно, хотя я и хладнокровный человек. А вам поверят, все поверят, — о, как поверят!.. Да, у вас сейчас нет денег, но умрет отец, — будемте говорить откровенно, — у вас сто тысяч верных. Значит, вы сейчас стоите эти сто тысяч и можете иметь кредит.

— Банк будет в Заполье?

— Да... Коммерческий Зауральский банк. Главные учредители: Стабровский, Ечкин, Шахма, Драке и я. Видите, все иностранцы, то есть не русские фамилии, а это неудобно. Нам необходимо привлечь Луковникова, Огибенина и еще человека три-четыре. У нас устав уже написан, и Ечкин выхлопочет его утверждение. О, этот человек может сделать решительно все на свете!.. Знаете, говоря между нами, я считаю его гениальным человеком. Да. Представьте себе, у него решительно ничего нет, а он всегда имеет такой вид, точно у него в бумажнике чек на пятьсот тысяч. Стабровский умен и тоже гениальный человек, но до Ечкина ему далеко, как до звезды небесной... И Стабровский это сам знает.

— Что же я буду делать в Заполье, пока ваш банк не откроется?

— Э, дела найдем!... Во-первых, мы можем предоставить вам некоторые подряды, а потом... Вы знаете, что дом Харитона Артемьича на жену, — ну, она передаст его вам: вот ценз. Вы на соответствующую сумму выдадите Анфусе Гавриловне векселей и дом... Кроме того, у вас уже сейчас в коммерческом мире есть свое имя, как дельного человека, а это большой ход. Вас знают и в Заполье и в трех уездах... О, известность — тоже капитал!

Галактион так и не мог заснуть всю ночь. У него горела голова, и мысли в голове толклись, как в жаркий летний день толкутся комары над болотом. Хитрый немец умело и ловко затронул его самое больное место, именно то, о чем он мечтал только про себя.

Правда, предстояло сделать решительный шаг; но все равно его нужно было когда-нибудь сделать. От этого зависело все. Одно только нагоняло на Галактиона сомнение: он не доверял хитрому немцу. Продаст и надует при случае за какой-нибудь «кусочек хлеба с маслом». От таких людей нужно ожидать всего.

Галактиону делалось обидно, что ему не с кем даже посоветоваться. Жена ничего не понимает, отец будет против, Емельян согласится со всем, Симон молод, — делай, как знаешь.

Перед отъездом из Суслона Штофф имел более подробный разговор с Галактионом и откровенно высказался:

— Я знаю, что вы не доверяете мне... Это отлично. Никому не нужно верить, даже самому себе, потому что каждый человек может ошибаться. Да. А можно верить только одному — делу. Вы только подумайте: вот сейчас мы все хлопочем, бьемся, бегаем за производителем и потребителем, угождаем какому-нибудь хозяину, вообще зависим направо и налево, а тогда другие будут от нас зависеть. У нас всегда будет урожай на нашей ниве... Расчет самый простой: по вкладам мы будем платить семь процентов, а по ссудам будем получать до двадцати. Капитал будет... Вы только сообразите, сколько пропадает теперь мертвого капитала у попов, писарей, купцов, а из этих мелочей составится страшная сила, как из мелких речонок наливается море.

III

Решительный разговор с отцом Галактион думал повести не раньше, как предварительно съездив в Заполье и устроив там все. Но вышло совершенно наоборот.

После отъезда Штоффа Галактион целых три недели ходил точно в тумане. И сон плохой и аппетита нет. Даже Серафима заметила, что с мужем творится что-то неладное.

— Тебе нездоровится, Глаша?

— Мне? Нет, ничего.

Такой ответ совершенно удовлетворял простоватую Серафиму, и это возмущало Галактиона. Другая жена допыталась бы, в чем дело, и не успокоилась бы, пока не вызнала бы всего. Теперь во время бессонницы Галактион по ночам уходил на мельницу и бродил там из одного этажа в другой, как тень. Мельница работала зимой полным ходом. Рабочих было очень немного. Они, засыпанные мучным бусом, походили на каких-то мертвецов, бродивших бесшумно из одного отделения в другое. Обыкновенно по ночам обходил мельницу Емельян, как холостой человек, или сам Михей Зотыч. Рабочие удивлялись, встречая теперь Галактиона. Раз ночью у жернова Галактион встретил отца. Старик как-то по-заячьи прислушивался к грузному движению верхнего камня, припадавшего одним краем.

— А, это ты! — удивился старик. — Вот и отлично. Жернов у нас что-то того, припадает краем.

— Нужно поставить запасный.

— Остановка выйдет.

— Ничего не поделаешь.

Они вместе прошли по всем отделениям. Везде все было в порядке.

— Если бы еще пять поставов прибавить, так работы хватило бы, — задумчиво говорил Галактион, когда они очутились в мельничной конторке, занесенной бусом, точно инеем.

— Воды не хватит.

— Можно паровую машину поставить, родитель.

— Ни за что! Спалить хочешь все обзаведение?

Мельница давно уже не справлялась с работой, и Галактион несколько раз поднимал вопрос о паровой машине, но старик и слышать ничего не хотел, ссылаясь на страх пожара. Конечно, это была только одна отговорка, что Галактион понимал отлично.

— Вот ты про машину толкуешь, а лучше поставить другую мельницу, — заговорил Михей Зотыч, не глядя на сына, точно говорил так, между прочим.

Галактион отлично понял его. Значит, отец хочет запрячь его в новую работу и посадить опять в деревню года на три. На готовом деле он рассчитывал упра-

виться с Емельяном и Симоном. Это было слишком очевидно.

— Нет, я не согласен, — спокойно ответил Галактион.

— Как не согласен? Что не согласен? Да как ты смеешь разговаривать так с отцом, щенок?

— Вторую мельницу строить не буду, — твердо ответил Галактион. — Будет с вас и одной. Да и дело не стоящее. Вон запольские купцы три мельницы-крупчатки строят, потом Шахма затевает, — будете не зерно молоть, а друг друга есть. Верно говорю... Лет пять еще поработаешь, а потом хоть замок весь на свою крупчатку. Вот сам увидишь.

— Да ты понимаешь, что говоришь-то?

— Да очень понимаю... Делать мне нечего здесь, вот и весь разговор. Осталось только что в Расею крупчатку отправлять... И это я устроил.

— Ну, а потом?

— А потом вы сами по себе, а я сам по себе.

— Как же это так будет, напримерно?

— Да уж так, как случится. Дадите мне что в отдел — спасибо, не дадите — тоже спасибо.

— Так, так, миленький... Своим умом хочешь жить.

Старик пожевал губами, посмотрел на сына прищуренными глазами и совершенно спокойно проговорил:

— Ничего ты от меня, миленький, не получишь... Ни одного грошика, как есть. Вот, что на себе имеешь, то и твое.

— Покорно благодарю, родитель.

Больше отец и сын не проговорили ни одного слова. Для обоих было все ясно, как день. Галактион, впрочем, этого ожидал и вперед приготовился ко всему. Он настолько владел собой, что просмотрел с отцом все книги, отсчитался по разным статьям и дал несколько советов относительно мельницы.

— Завтра, то есть сегодня, я уеду, — прибавил он в заключение. — Если что вам понадобится, так напишите. Жена пока у вас поживет... ну, с неделю.

— А кто же ее кормить будет?

— Я пришлю денег из Суслона на прокорм, а за квартиру потом рассчитаюсь.

— За пять лет, миленький. Не забудь... По три целковых в месяц — сто восемьдесят рубликов.

— И это заплачу. Сейчас у меня ничего нет, а вышлю, как пришлю подводу за семьей.

Когда Галактион вышел, Михей Зотыч вздохнул и улыбнулся. Вот это так сын... Правильно пословица говорится: один сын — не сын, два сына — полсына, а три сына — сын. Так оно и выходит, как по-писаному. Да, хорош Галактион. Другого такого-то и не сыщешь.

«А денег я тебе все-таки не дам, — думал старик. — Сам наживай — не маленький!.. Помру, вам же все достанется. Ох, миленькие, с собой ничего не возьму!»

Вернувшись домой, Галактион почувствовал себя чужим в стенах, которые сам строил. О себе и о жене он не беспокоился, а вот что будет с детишками? У него даже сердце защемило при мысли о детях. Он больше других любил первую дочь Милочку, а старший сын был баловнем матери и дедушки. Младшая Катя росла как-то сама по себе, и никто не обращал на нее внимания.

— Ну, Серафима, собирайся в дорогу, — коротко объяснил Галактион жене. — Через неделю я за тобой пришлю. Переезжаем в Заполье.

— Совсем?

— Совсем.

Серафима даже заплакала от радости и бросилась к мужу на шею. Ее заветною мечтой было переехать в Заполье, и эта мечта осуществилась. Она даже не спросила, почему они переезжают, как все здесь останется, — только бы уехать из деревни. Городская жизнь рисовалась ей в самых радужных красках.

Только на прощанье с отцом Галактион не выдержал. Он достал бумажник и все, что в нем было, передал отцу, а затем всю мелочь из кошелька. Михей Зотыч не поморщился и все взял, даже пересчитал все до копеечки.

— Денежка счет любит, — бормотал старик.

У жены Галактион тоже не взял ни копейки, а заехал в Суслон к писарю и у него занял десять рублей. С этими деньгами он отправился начинать новую

жизнь. На отца Галактион не сердился, потому что этого нужно было ожидать.

Анфуса Гавриловна обрадовалась и испугалась, когда увидала зятя. Она совсем не ждала гостя.

— Надолго ли, Галактион? — спрашивала расхлопотавшаяся старушка.

— А совсем, мамаша.

— Как совсем?

Галактион любил тещу, как родную мать, и рассказал ей все. Анфуса Гавриловна расплакалась, а потом обрадовалась, что зять будет жить вместе с ними. Главное — внучата будут тут же.

— Поживите пока с нами, а там видно будет, — говорила она, успокоившись после первых излияний. — Слава богу, свет не клином сошелся. Не пропадешь и без отцовских капиталов. Ох, через золото много напрасных слез льется! Тоже видывали достаточно всячины!

Харитона Артемьевича не было дома, — он уехал куда-то по делам в степь. Агния уже третий день гостила у Харитины. К вечеру она вернулась, и Галактион удивился, как она постарела за каких-нибудь два года. После выхода замуж Харитины у нее не осталось никакой надежды, — в Заполье редко старшие сестры выходили замуж после младших. Такой уж установился обычай. Агния, кажется, примирилась с своею участью христовой невесты и мало обращала на себя внимания. Не для кого было рядиться.

— Ну, а что зелье-то наше? — сурово спросила ее Анфуса Гавриловна, — она все больше и больше не любила Харитину.

— Ничего... Два новых платья заказала да соболий воротник велела переделать.

— Наказал меня господь дочкой, — жаловалась Анфуса Гавриловна зятю. — Полуштофова жена модница, а эта всех превзошла. Ох, плохо дело, Галактион!.. Не кончит она добром.

Вечером, когда уже подали самовар, неожиданно приехала Харитина. Она вошла, не раздеваясь, прямо в столовую, чтобы показать матери новый воротник. Галактион давно уже не видал ее и теперь был

поражен. Харитина сделалась еще красивее, а в лице ее появилось такое уверенное, почти нахальное выражение.

— А, деревенская родня приехала! — здоровалась Харитина с гостем, по своему обыкновению глядя прямо ему в лицо. — Надолго ли?

— Не знаю, как поживется.

— Оставайся на святки. Будем веселиться напропалую.

— Это у тебя веселье только на уме, — оговорила мать. — У других на уме дело, а у тебя пустяки.

— Что же, мамаша, не всем умным быть.

— Да ты сядь, не таранти. Ох, не люблю я вот таких-то верченых! Точно сорока на колу.

— Что же, я и разденусь. Хотела только показать вам, мамаша, новый воротник. Триста рублей всего стоит.

Харитину задело за живое то равнодушие, с каким отнесся к ней Галактион. Она уже привыкла, чтобы все ухаживали за ней. Снимая шубку, она попросила его помочь.

— Не умеешь помочь раздеться, увалень! — пошутила она. — Привык с деревенскими бабами обращаться!

На Галактиона так и пахнуло душистою волной, когда он подошел к Харитине. Она была в шерстяном синем платье, красиво облегавшем ее точеную фигуру. Она нарочно подняла руки, делая вид, что поправляет волосы, и все время не спускала с Галактиона своих дерзких улыбавшихся глаз.

— Что, хороша? — сказала она и засмеялась.

— Перестань ты, бесстыдница! — заворчала Анфуса Гавриловна. — Хоть и зять, а все-таки мужчина. Что руки-то задираешь, срамница?

— Я в корсете, мамаша.

Галактион опустил глаза, чувствуя, как начинает краснеть. Ему как-то вся кровь бросилась в голову. Агния смотрела на него добрыми глазами и печально улыбалась. Она достаточно насмотрелась на все штуки сестрицы Харитины.

— Ну, а что твоя деревенская баба? — спрашивала

Харитина, подсаживаясь к Галактиону с чашкой чая. — Толстеет? Каждый год рожает ребят?.. Ха-ха! Делать вам там нечего, вот и плодите ребятишек. Мамаша, какой милый этот следователь Куковин!.. Он так смешно ухаживает за мной.

— Да будет тебе! — сердито крикнула Анфуса Гавриловна. — Не пристало нам твои-то гадости слушать... Постыдилась бы хоть Галактиона.

— Что мне его стыдиться, мамаша? Дело прошлое: я была в него сама влюблена. Даже отравиться хотела. И он...

— Будет! Перестань, срамница!

Анфуса Гавриловна была рада, когда Харитина начала собираться. Ей нужно было еще заехать к портнихе, в два магазина, потом к сестре Евлампии, потом еще в два места. Когда Галактион надевал ей шубку, Харитина успела ему шепнуть:

— А помнишь, дурачок, как я тебя целовала? Я тебя все еще немножко люблю... Приезжай ко мне с визитом. Поговорим.

Никогда еще Галактион не был так несчастлив, как в эту первую ночь в Заполье. Ему было как-то особенно больно и обидно. Что будет? Как он будет жить? А тут еще Харитина! Эта встреча была последнею каплей в чаше испытаний. Разве она такая была? Да, она сейчас красивее, в полном расцвете молодости, а ему было больно на нее смотреть. Какое у нее сделалось нахальное лицо, как она смотрит, какие движения, какие слова! И не стыдно... Галактион с каким-то ужасом думал об этой погибшей душе, припоминая свое минутное увлечение. Да, она тогда была другая, — такая чистая, нетронутая, красивая именно этою своею чистотою. А теперь кто ее окружает? Какие разговоры она слышит? Что ее интересует? Если б она знала, что у него сейчас на душе и как ему больно за нее! О ее выходке тогда на мельнице, у кровати больного отца, он как-то даже забыл и не придавал этому особенного значения. Так, молодая глупость. Кровь молодая расходилась. А теперь уже совсем другое...

Галактион лежал и думал о Харитине, думал и сердился, что думает именно о ней, а не о своих детях.

IV

Отправляясь в первый раз с визитом к своему другу Штоффу, Галактион испытывал тяжелое чувство. Ему еще не случалось фигурировать в роли просителя, и он испытывал большое смущение. А вдруг Штофф сделает вид, что не помнит своих разговоров на мельнице? Все может быть.

Штофф был дома и принял гостя с распростертыми объятиями. Он по-русски расцеловался с Галактионом из щеки в щеку.

— Слышал, слышал, голубчик, — повторил он. — Этим и должно было кончиться... Чем скорее, тем лучше.

— Откуда вы узнали, Карл Карлыч? — удивился Галактион.

— А сорока на хвосте принесла... Право, отлично. Одобряю.

Штофф занимал очень скромную квартирку. Теперь небольшой деревянный домик принадлежал уже ему, потому что был нужен для ценза по городским выборам. Откуда взял немец денег на покупку дома и вообще откуда добывал средства — было покрыто мраком неизвестности. Галактион сразу почувствовал себя легче в этих уютных маленьких комнатах, — у него гора свалилась с плеч.

— Будем устраиваться... да... — повторял Штофф, расхаживая по комнате и потирая руки. — Я уже кое-что подготовил на всякий случай. Ведь вы знаете Луковникова? О, это большая сила!.. Он знает вас. Да... Ничего, помаленьку устроимся. Знаете, нужно жить, как кошка: откуда ее ни бросьте, она всегда на все четыре ноги встанет.

Было часов одиннадцать, и Евлампия Харитоновна еще спала, чему Галактион был рад. Он не любил эту модницу больше всех сестер. Такая противная бабенка, и ее мог выносить только один Штофф.

— Одного у нас нет, — проговорил хозяин, заметив, как гость оглядывает обстановку. — Недостает деточек... А я так люблю детей. Да... Вот у вас целых трое.

— Заботы много с детьми.

— А для чего же тогда жить?

Взглянув на часы, Штофф прибавил совсем другим тоном:

— Скоро двенадцать. Поедемте в думу. Там сразу со всеми перезнакомитесь.

— Да я, кажется, и без того всех знаю.

— Нет, то другое... Мало ли кого можно встретить на свадьбе, — это в счет у нас нейдет.

У Штоффа была уже своя выездная лошадь, на которой они и отправились в думу. Галактион опять начал испытывать смущение. С чего он-то едет в думу? Там все свои соберутся, а он для всех чужой. Оставалось положиться на опытность Штоффа. Новая дума помещалась рядом с полицией. Это было новое двухэтажное здание, еще не оштукатуренное. У подъезда стояло несколько хозяйских экипажей.

— Здесь вы всех найдете, — объяснял Штофф, здороваясь с представительным швейцаром. — Тарас Семеныч здесь?

— Точно так-с, — вытянувшись по-солдатски, ответил швейцар.

Поднявшись по лестнице во второй этаж, они прошли куда-то направо, откуда доносился гул споривших голосов. Большая комната, затянутая табачным дымом, с длинным столом посредине, походила на железнодорожный буфет. На столе кипело два самовара, стояла чайная посуда, а кругом стола разместились представители местного самоуправления.

— Господа, я привел к вам дорогого гостя! — громко отрекомендовал Штофф своего спутника. — Прошу любить и жаловать!

Подхватив Галактиона под руку, Штофф повел его вокруг стола, рекомендуя всем:

— Тараса Семеныча вы знаете? А это два купца Ивановых... три купца Поповых... старший городской врач Кацман, а это его помощник, доктор медицины Кочетов... член управы Голяшкин.

— Ба, ба! — крикнул знакомый голос.

Это был Полуянов. Он обнял Галактиона и расцеловал.

— Слышал, батенька... как же! Вчера жена что-то такое рассказывала про тебя и еще жаловалась, что шубы не умеешь дамам подавать. Ничего, выучим... У нас, батенька, все попросту. Живем одною семьей.

Член управы Голяшкин, рослый и краснощекий детина, все время смотрел на Галактиона какими-то маслеными глазами и сладко улыбался. Он ужасно походил на вербного херувима, хотя и простой работы. Выждав, когда все перездоровались, Голяшкин подошел к Галактиону, крепко пожал ему руку и каким-то сладким голосом проговорил:

— Очень, очень рады, Галактион Михеич. Мы здесь все попросту. Да... Одною семьей.

Херувим страдал манией повторять чужие слова, точно эхо. Проделав свою партию, он подсел к столу и широко вздохнул. Рядом с ним сидел доктор Кочетов, красивый черноволосый мужчина лет тридцати. Молодое лицо доктора носило явные следы усиленного пьянства — кожа на лице была красная, потная, глаза опухли и слезились, нос просвечивал синими жилками. Галактион почему-то обратил особенное внимание на эту типичную пару. Впрочем, и вся остальная компания не напоминала праведников, за исключением Луковникова, резко выделявшегося своею степенностью и благообразною старостью.

— Ну, что родитель, каково прыгает? — спросил он Галактиона, улыбаясь одними глазами. — Завязали вы нам узелок с вашей мельницей... да.

— Так уж вышло, Тарас Семеныч, — оправдывался Галактион смущаясь. — Обижать никого не хотели.

— Что же, дело житейское, — проговорил старик и вздохнул. — К тестю в гости приехал, Галактион Михеич?

— Да... Может быть, вам говорил что-нибудь Карл Карлыч?

— Ах, да, да!.. Ндравный старик. Ничего, как-нибудь устроимся. Заходи ко мне, — потолкуем.

Солидный старик очень понравился Галактиону. Не то, что тятенька Михей Зотыч. Мысль об отце у Галактиона являлась теперь в какой-то обидной форме.

Ему казалось, что Тарас Семеныч смотрит на него с сожалением.

Чай продолжался довольно долго, и Галактион заметил, что в его стакане все больше и больше прибавляется рому. Набравшаяся здесь публика произвела на него хорошее впечатление своей простотой и откровенностью. Рядом с Галактионом оказался какой-то ласковый седенький старичок, с утиным носом, прилизанными волосами на височках и жалобно моргавшими выцветшими глазками. Он все заглядывал ему в лицо и повторял:

— Очень мы рады... Да, рады.

— Господа, что мы тут напрасно время теряем? — провозгласил захмелевший Полуянов. — Едем!

Все разом поднялись, как по команде, и, не прощаясь друг с другом, повалили к двери. Галактион догнал Штоффа уже на лестнице и начал прощаться.

— Ну, это дудки! — заявил немец. — У нас так не играют!.. Едем!

— Куда?

— А вот увидите.

От думы они поехали на Соборную площадь, а потом на главную Московскую улицу. Летом здесь стояла непролазная грязь, как и на главных улицах, не говоря уже о предместьях, как Теребиловка, Дрекольная, Ерзовка и Сибирка. Миновали зеленый кафедральный собор, старый гостиный двор и остановились у какого-то двухэтажного каменного дома. Хозяином оказался Голяшкин. Он каждого гостя встречал внизу, подхватывал под руку, поднимал наверх и передавал с рук на руки жене, испитой болезненной женщине с испуганным лицом.

— Милости просим, господа! — повторял хозяин. — У нас все попросту!.. Пожалуйте!

Галактиона удивило, что вся компания, пившая чай в думе, была уже здесь — и двое Ивановых, и трое Поповых, и Полуянов, и старичок с утиным носом, и доктор Кочетов. Галактион подумал, что здесь именины, но оказалось, что никаких именин нет. Просто так, приехали — и делу конец. В большой столовой во всю стену был поставлен громадный стол, а на нем

десятки бутылок и десятки тарелок с закусками, — у хозяина был собственный ренсковый погреб и бакалейная торговля.

— Вот теперь мы добрались и до настоящего фундамента, — повторял Полуянов, расхаживая по комнате с видом человека, вернувшегося домой. — Галактион, выпьем.

— Да я не пью, Илья Фирсыч... Так разве, одну рюмочку.

— Э-э! у нас между первою и второю рюмкой не дышат... У нас попросту.

Выпитые две рюмки водки с непривычки сильно подействовали на Галактиона. Он как-то вдруг почувствовал себя и тепло и легко, точно он всегда жил в Заполье и попал в родную семью. Все пили и ели, как в трактире, не обращая на хозяина никакого внимания. Ласковый старичок опять был около Галактиона и опять заглядывал ему в лицо своими выцветшими глазами.

— А я ведь знавал Михея-то Зотыча, — говорил он, подвигая стул ближе к Галактиону. — Еще там, на заводах... Как же! У него три сына было, три молодца.

Дальше события немножко перепутались. Галактион помнил только, что поднимался опять куда-то во второй этаж вместе с Полуяновым и что шубы с них снимала красивая горничная, которую Полуянов пребольно щипнул. Потом их встретила красивая белокурая дама в сером шелковом платье. Кругом были все те же люди, что и в думе, и Голяшкин обнимал при всех белокурую даму и говорил:

— А вот эта сестрица Пашенька. У нас все попросту. Давайте, Пашенька, поцелуемтесь.

Брат и сестра громко расцеловались. Потом Пашенька очутилась около Галактиона и ласково говорила:

— А вы забыли, как я на вашей свадьбе была? Как же, мы тогда еще с Харитиной русскую отплясывали. Какие мы тогда глупые были: ничего-то, ничего не понимали. Совсем девчонки.

Кругом все пили, хлопая рюмку за рюмкой. Вместе с другими пил и Галактион, то есть заставляла его

пить Пашенька. Он видел ее белые, точно налитые молоком руки, и эти руки подавали ему одну рюмку за другой. Пашенька смеялась и садилась так близко к гостю, что своим плечом касалась его. Что-то такое горячее прилило к самому сердцу Галактиона, ему вдруг захотелось веселиться и называть хозяйку тоже Пашенькой, как Голяшкин, но в самый интересный момент опять появился старичок с утиным носом и помешал. Галактион рассердился и чуть не наговорил дерзостей. Пашенька во-время отвела его в сторону и прошептала на самое ухо с милой интимностью:

— Будьте осторожны... Это наш миллионер Нагибин. У него единственная дочь невеста, и он выискивает ей женихов. Вероятно, он не знает, что вы женаты. Постойте, я ему скажу.

Она действительно что-то поговорила старичку, и тот моментально исчез, точно в воду канул. Потом Галактион поймал маленькую теплую руку Пашеньки и крепко пожал ее. У Пашеньки даже слезы выступили на глазах от боли, но она стерпела и продолжала улыбаться.

— У нас попросту... да... — проговорил Голяшкин над самым ухом Галактиона и захохотал. — Пашенька, поцелуемся.

Пашенька вскочила и убежала.

Потом Галактион что-то говорил с доктором, а тот его привел куда-то в дальнюю комнату, в которой лежал на диване опухший человек средних лет. Он обрадовался гостям и попросил рюмочку водки.

— Это муж Прасковьи Ивановны, — рекомендовал доктор, считая пульс у больного. — Вот что делает водочка, а какой был богатырь!

— Рюмочку, — мычал больной.

В этот момент в комнату ворвалась Пашенька, и больной закрыл голову подушкой. Она обругала доктора и увела Галактиона за руку.

Дальше, кажется, был обед. Пашенька опять сидела рядом с Галактионом и угощала его виноградом, выбирая самые крупные ягоды своими розовыми пальчиками.

V

Странное было пробуждение Галактиона. Он с трудом открыл глаза. Голова была точно налита свинцом. Он с удивлением посмотрел кругом. Комната совершенно незнакомая, слабо освещенная одною свечой под зеленым абажуром. Он лежал на широком кожаном диване. Над его головой на стене было развешано всевозможное оружие.

— Где я? — вслух подумал Галактион, не узнавая собственного голоса.

Он напрасно старался припомнить последовательный ход событий, — они обрывались Пашенькой, а что было дальше, он не помнит, как не помнит, как попал в эту комнату. Э, все равно!.. Галактион хотел опять заснуть, но почувствовал, что ему что-то мешает. Это была не головная боль, а что-то внешнее, что-то такое, что было вот в этой комнате. Он приподнялся на локоть и стал внимательно осматривать комнату. Вдруг он вздрогнул — у дальнего конца письменного стола, совсем в тени, в глубоком кресле сидела неподвижная женская фигура. Ему сделалось страшно. Лица ее нельзя было рассмотреть, но он узнал ее, потому что чувствовал, как она пристально смотрит на него.

— Харитина, это ты?

Она молчала.

— Харитина!

Фигура поднялась, с трудом перешла комнату и села к нему на диван, так, чтобы свет не падал на лицо. Он заметил, что лицо было заплакано и глаза опущены. Она взяла его за руку и опять точно застыла.

— Харитина, я был пьян, как скотина... в первый раз в жизни. Я себя презираю... и ты... и все...

— Что же тут особенного? — с раздражением ответила она. — Здесь все пьют. Сколько раз меня пьяную привозили домой. И тоже ничего не помнила. И мне это нравится. Понимаешь: вдруг ничего нет, никого, и даже самой себя. Я люблю кутить.

— Перестань говорить глупости! Ты прикидываешься такой, а сама совсем не такая.

— А какая я?

Она подвинулась совсем близко к его лицу и, заглядывая в глаза, с нетерпением спрашивала:

— Ну, говори... говори, какая я?

— Ты?

Галактион с трудом перекатил голову на подушке, закрыл глаза и ответил шепотом:

— Хорошая... вся хорошая.

Она закрыла лицо руками и тихо заплакала. Он видел только, как вздрагивала эта высокая лебединая грудь, видел эти удивительные руки, чудные русалочьи волосы и чувствовал, что с ним делается что-то такое большое, грешное, бесповоротное и чудное. О, только один миг счастья, тень счастья! Он уже протянул к ней руки, чтоб схватить это гибкое и упругое молодое тело, как она испуганно отскочила от него.

— Галактион, не нужно!.. Галактион, оставь!.. Этого не нужно, не нужно, не нужно!

— Ну, иди, глупая, сюда... Не бойся, не трону.

— Я сейчас...

Она своею грациозною, легкою походкой вышла и через минуту вернулась с мокрым полотенцем, бутылкой сельтерской воды и склянкой нашатырного спирта. Когда он с жадностью выпил воду, она велела ему опять лечь, положила мокрое полотенце на голову и дала понюхать спирта. Он сразу отрезвел и безмолвно смотрел на нее. Она так хорошо и любовно ухаживала за ним, как сестра, и все выходило у нее так красиво, каждое движение.

— Не смотри на меня так, Галактион... Не хорошо.

— Не буду.

Он закрыл глаза и слышал, как она села опять к нему. Он чувствовал близость этого молодого, цветущего тела, точно окруженного благоухающим облаком, слышал, как она порывисто дышала, и не мог только разобрать, чье это сердце так сильно бьется — его или ее. Это был его ангел-хранитель.

— Харитина, помнишь мою свадьбу? — заговорил он, не открывая глаз, — ему страстно хотелось исповедаться. — Тогда в моленной... У меня голова закружилась... и потом весь вечер я видел только тебя. Это

грешно... я мучился... да. А потом все прошло... я привык к жене... дети пошли... Помнишь, как ты меня целовала тогда на мельнице?

Она сделала нетерпеливое движение.

— Подожди, — говорил он. — Я знаю, что это пустяки... Тебе просто нужно было кого-нибудь любить, а тут я подвернулся...

— Скажи одно: ты думал когда-нибудь обо мне?

— О, часто!.. Было совестно, а все-таки думал. Где-то она? что-то она делает? что думает? Поэтому и на свадьбу к тебе не приехал... Зачем растравлять и тебя и себя? А вчера... ах, как мне было вчера тяжело! Разве такая была Харитина! Ты нарочно травила меня, — я знаю, что ты не такая. И мне так было жаль тебя и себя вместе, — я как-то всегда вместе думаю о нас обоих.

— А жена?

Он опять сделал движение, она опять отскочила.

— Я уйду совсем, если ты не будешь лежать смирно... Вытяни руку вот так. Ну, будь теперь паинькой.

Она опять села около него и заговорила, быстро роняя слова, точно боялась, что не успеет высказать всего.

— Тогда я была девчонкой и не знала, что такое значит любить... да. А теперь я... я тебя не люблю...

Он схватил ее и привлек к себе. Она не сопротивлялась и только смотрела на него своими темными большими глазами. Галактион почувствовал, что это молодое тело не отвечает на его безумный порыв ни одним движением, и его руки распустились сами собой.

— Не люблю... не люблю, — повторяла она и даже засмеялась, как русалка. — Ты сильнее меня, а я все-таки не люблю... Милый, не обижайся: нельзя насильно полюбить. Ах, Галактион, Галактион!.. Ничего ты не понимаешь!.. Вот ты меня готов был задушить, а не спросишь, как я живу, хорошо ли мне? Если бы ты действительно любил, так первым бы делом спросил, приласкал, утешил, разговорил... Тошно мне, Галактион... вот и сейчас тошно.

Галактион слушал эту странную исповедь и сознавал, что Харитина права. Да, он отнесся к ней по-звериному и, как настоящий зверь, схватил ее давеча. Ему сделалось ужасно совестно. Женатый человек, у самого две дочери на руках, и вдруг кто-нибудь будет так-то по-звериному хватать его Милочку... У Галактиона даже пошла дрожь по спине при одной мысли о такой возможности. А чем же Харитина хуже других? Дома не у чего было жить, вот и выскочила замуж за первого встречного. Всегда так бывает.

— Харитина, у тебя есть муж... — вдруг проговорил Галактион.

— Муж? — повторила она и горько засмеялась. — Я его по неделям не вижу... Вот и сейчас закатился в клуб и проиграет там до пяти часов утра, а завтра в уезд отправится. Только и видела... Сидишь-сидишь одна, и одурь возьмет. Тоже живой человек... Если б еще дети были... Ну, да что об этом говорить!.. Не стоит!

Потом она прибавила совсем другим тоном:

— Ступай умойся да приходи в столовую чай пить.

От этих разговоров и холодной воды Галактион совсем отрезвился. Ему теперь было совестно вообще, потому что он в первый раз попал к Харитине в таком виде.

Обстановка в квартире Полуянова была устроена на господскую руку. Не было той трактирной роскоши, как у Малыгиных, а все по-своему. Какие-то мудреные столики, кушетки, картины, альбомы, даже рояль в зале. Столовая тоже отличалась и громадным буфетом, походившим на орган в католической церкви, и неудобными, но дорогими резными стульями, и мудреною сервировкой. Харитина необыкновенно скоро вошла во вкус новой обстановки и устраивала все, как у других, то есть главным образом как у Стабровских. Она показала Галактиону свою спальню, поразившую его своею роскошью: две кровати красного дерева стояли под каким-то балдахином, занавеси на окнах были из розового шелка, потом великолепный мраморный умывальник, дорогой персидский ковер во весь пол, а туалет походил на целый магазин.

— Муж откупается от меня вот этими пустяками, — объясняла Харитина. — Ни одной вещи в доме не осталось от его первой жены... У нас все новое. Нравится тебе?

— Право, не знаю... К чему все это нагорожено?

— Как к чему?.. Ах ты, глупый! Посмотрел бы ты, как все устроено у Стабровских... Мне и во сне не видать такой роскоши. Что стоит им, миллионерам...

Когда они вошли в столовую, Харитина проговорила уже другим тоном:

— А знаешь, кто тебя привез сюда?

— Илья Фирсыч, конечно.

— А вот и нет... Сама Прасковья Ивановна. Да... Мы с ней большие приятельницы. У ней муж горький пьяница и у меня около того, — вот и дружим... Довезла тебя до подъезда, вызвала меня и говорит: «На, получай свое сокровище!» Я ей рассказывала, что любила тебя в девицах. Ух! умная баба!.. Огонь. Смотри, не запутайся... Тут не ты один голову оставил.

— То у меня и на уме... Тоже и сказала.

— Мало ли у кого что на уме, а выходит совсем наоборот. На словах-то все города берут.

Потом Харитина вдруг замолчала, пригорюнилась и начала смотреть на Галактиона такими глазами, точно видела его в первый раз. Гость пил чай и думал, какая она славная, вот эта Харитина. Эх, если б ей другого мужа!.. И понимает все и со всяким обойтись умеет, и развеселится, так любо смотреть.

— А муж тебя любит?

— Очень... Раза два колотил.

— Как колотил?

— Да так, как бьют жен. Все это знают... Ревнует он меня до смерти, — ну, такие и побои не в обиду. Прислуга разболтала по всему городу.

— И ты так говоришь об этом?

Она засмеялась.

— Не беспокойся, в долгу не останусь... ха-ха! Не знал, за что бить-то.

— Что ты говоришь, Харитина?

— А мне что!.. Какая есть... Старая буду, грехи буду замаливать... Ну, да не стоит о наших бабьих

грехах толковать: у всех у нас один грех. У хорошего мужа и жена хорошая, Галактион. Это уж всегда так.

Еще вчера Галактион мог бы сказать ей, как все это нехорошо и как нужно жить по-настоящему, а сегодня должен был слушать и молчать.

— Муж-то побьет, а мил-сердечный друг приласкает, да приголубит, да пожалеет... Без побоев тоже и совестно, а тут оно и сойдет за настоящее. Так-то вот.

Галактион перевел разговор на другое. Он по-купечески оценил всю их обстановку и прикинул в уме, что им стоило жить. Откуда у исправника могут такие деньги взяться? Ведь не щепки, на дороге не подымешь.

— Уж это не мое дело, — равнодушно ответила Харитина. — Когда на молоденьких женятся, так о деньгах не думают.

— Может, раньше скопил?

— Не знаю и не хочу знать.

— А ежели он попадется и место потеряет, тогда как?

— Тоже не знаю... Да и все равно мне. Ох, как все равно!

Этот первый визит оставил в Галактионе неизгладимое впечатление. Что-то новое хлынуло на него, совсем другая жизнь, о какой он знал только понаслышке. Харитина откачнулась от своего купечества и жила уже совсем по-другому. Это новое уже было в Заполье, вот тут, совсем близко.

Домой Галактион вернулся поздно. В столовой его ждала Анфуса Гавриловна. Старушка не могла заснуть, поджидая зятя.

— Ты это что же, Галактион Михеич? — с тихим упреком проговорила она.

— Мамаша, ничего не говорите: в первый и последний раз.

— Да я не про то, что ты с канпанией канпанился, — без этого мужчине нельзя. Вот у Харитины-то что ты столько времени делал? Муж в клубе, а у жены чуть не всю ночь гость сидит. Я уж раз с пять Аграфену посылала узнавать про тебя. Ох, уж эта мне Харитина!..

VI

Штофф не дремал. Он отлично помнил все, что говорил Галактиону на мельнице, и на первое время пристроил его к «бубновскому конкурсу». Пьянствовавший запольский коммерсант отчаяннейшим образом запустил всю свою коммерцию и в заключение отказался платить кредиторам. Пришлось назначить конкурс, председателем которого был старик Луковников, а членами адвокат Мышников и несколько купцов. Вот на помощь этому конкурсу Луковников и пригласил Галактиона, потому что купцы не желали работать, а Мышников не понимал практики коммерческих запольских тонкостей.

— Молодой человек, постарайся, — наставительно говорил Луковников покровительствовавший Галактиону, — а там видно будет... Ежели в отца пойдешь, так без хлеба не останешься.

С своей стороны Штофф предупредил Галактиона, чтобы он обратил особенное внимание на Мышникова.

— Этот далеко пойдет... да. Ухо с ним надо востро держать... А впрочем, мужик умный и серьезный.

Видимо, Штофф побаивался быстро возраставшей репутации своего купеческого адвоката, который быстро шел в гору и забирал большую силу. Главное, купечество верило ему. По наружности Мышников остался таким же купцом, как и другие, с тою разницей, что носил золотые очки. Говорил он с рассчитанною грубоватою простотой и вообще старался держать себя непринужденно и с большим гонором. К Галактиону он отнесся подозрительно и с первого раза заявил:

— Решительно не понимаю, что вы тут будете делать, Галактион Михеич. Нам и без вас делать нечего.

А между тем в тот же день Галактиону был прислан целый ворох всевозможных торговых книг для проверки. Одной этой работы хватило бы на месяц. Затем предстояла сложная поверка наличности с поездками в разные концы уезда. Обрадовавшийся первой работе Галактион схватился за дело с медвежьим усердием и просиживал над ним ночи. Это усердие не

по разуму встревожило самого Мышникова. Он под каким-то предлогом затащил к себе Галактиона и за стаканом чая, как бы между прочим, заметил:

— Вы что это, батенька, надрываетесь над конкурсом?

— Да так... Надобно привести все в известность, Павел Степаныч. Что же тянуть?

— Да тут и тянуть нечего: дело ясно как день. В сущности никакой и несостоятельности нет, а одно бубновское беспросыпное пьянство.

— Тем более...

— Ну, торопятся только блох ловить, — загадочно ответил Мышников и посмотрел на Галактиона через очки.

Галактион только теперь понял, в чем дело. Конкурс Бубнова составлял статью постоянного дохода, и чем дольше он будет тянуться, тем выгоднее для членов конкурса, получавших определенное жалованье и, кроме того, известный процент с «конкурсной массы»...

— Да, дело совершенно верное, — тянул Мышников. — И даже очень глупое... А у Прасковьи Ивановны свой отдельный капитал. Притом дни самого Бубнова уже сочтены... Мне говорил доктор... ну, этот сахар, как его... Кочетов. Он тут что-то этакое вообще... Да, нам положительно некуда так торопиться.

Жил Мышников очень просто, на чиновничью ногу. Он не был женат, хотя его уютная квартира и говорила о семейных наклонностях хозяина.

Галактион понял только одно, что производилось разорение спившегося купца на самом законном основании, а затем, что деньги можно получать совершенно даром. Он мог уже существовать с семьей только на жалованье с конкурса. В первый еще раз Галактиону пришлось столкнуться с нечистым делом, и он поколебался, продолжать его или бросить в самом начале. Но ведь не он, так на его место найдется десяток других охотников, притом во главе конкурса стоял такой почтенный человек, как старик Луковников; наконец, ему не из чего было выбирать, а жить было нужно. Чтобы оправить себя в своих собственных глазах, Галактион решил, что будет участвовать в конкурсе

пока, до приискания настоящего дела. Он именно жаждал этого настоящего дела, а не темной наживы.

— А ты, брат, не сомневайся, — уговаривал его Штофф, — он уже был с Галактионом на «ты». — Как нажиты были бубновские капиталы? Тятенька был приказчиком и ограбил хозяина, пустив троих сирот по миру. Тут, брат, нечего церемониться... Еще темнее это винокуренное дело. Обрати внимание.

Винокуренный завод интересовал Галактиона и без этих указаний. Главное затруднение при выяснении дела заключалось в том, что завод принадлежал Бубнову наполовину с Евграфом Огибениным, давно уже пользовавшимся невменяемостью своего компаньона и ловко хоронившим концы. Потом оказалось, что и сам хитроумный Штофф тоже был тут причем-то и потому усиленно юлил перед Галактионом. Все-таки свой человек и, в случае чего, не продаст. Завод был небольшой, но давал солидные средства до сих пор.

По конкурсным делам Галактиону теперь пришлось бывать в бубновском доме довольно часто. Сам Бубнов по болезни не мог являться в конкурс для дачи необходимых объяснений, да и дома от него трудно было чего-нибудь добиться. На выручку мужа являлась обыкновенно сама Прасковья Ивановна, всякое объяснение начинавшая с фразы:

— У меня свой капитал, и я ничего не понимаю в делах.

Но это была только одна отговорка. Она отлично понимала всякие дела, хотя и относилась к конкурсу совершенно равнодушно.

— Она ждет не дождется, когда муж умрет, чтобы выйти замуж за Мышникова, — объяснила Харитина эту политику. — Понимаешь, влюблена в Мышникова, как кошка. У ней есть свои деньги, и ей наплевать на мужнины капиталы. Все равно прахом пойдут.

С Галактионом Прасковья Ивановна держалась на деловую ногу, хотя и не прочь была пококетничать слегка. Все-таки нужный человек и может пригодиться. Галактион отлично понимал только одно, что она находится под каким-то странным влиянием своего двою-

родного брата Голяшкина и все делает по его совету. В конкурсной массе были явные следы хозяйничанья этого сладкого братца, и Галактион сильно его подозревал в больших плутнях. Вообще, чем дальше в лес, тем больше дров. Братец умильно старался ухаживать за Галактионом, хотя и не знал, с какой стороны к нему подступиться. Он что-то не договаривал и только воровато шмыгал глазами. Галактион почему-то чувствовал уже себя неловко, когда появлялся этот братец. Да и появлялся он всегда как-то неожиданно, точно вырастал из земли.

Главное действующее лицо всех этих происков, вожделений и тайных желаний не принимало никакого участия в общей суматохе. Больной обыкновенно лежал в своем кабинете на широком клеенчатом диване и бессмысленно смотрел куда-нибудь в одну точку. Когда к нему входил Галактион, он сначала смотрел на него испуганными глазами, напрасно стараясь припомнить, кто это такой. Как он страдал, этот несчастный пропойца!.. Лицо получало какой-то зеленоватый трупный оттенок, на лбу выступал холодный пот, кулаки судорожно сжимались, лицо кривилось ужасною улыбкой.

— Мн... мадерцы, — хрипел он.

Бубнов пил только мадеру и без нее не мог ни двигаться, ни говорить. Шелест женина платья попрежнему его пугал, и больной делал над собой страшное усилие, чтобы куда-нибудь не спрятаться. Для дела он был совершенно бесполезен, и Галактион являлся к нему только для проформы. Раз Бубнов отвел его в сторону и со слезами на глазах проговорил:

— Вы сделаете для меня?

— Что такое сделать?

— Нет, вы скажите: сделаете?

— Ну хорошо, сделаю.

Больной подвел его к какому-то угловому шкафику и шепотом проговорил:

— Голубчик, поймайте *его*... *Он* там всегда прячется.

— Кто он?

— А чертик... такой зелененький!

Что было тут говорить? Больной несколько раз избавлялся от своих галлюцинаций, а потом начиналась та же история.

В бубновском доме Галактион часто встречал доктора Кочетова, который, кажется, чувствовал себя здесь своим человеком. Он проводил свои визиты больше с Прасковьей Ивановной, причем обязательно подавалась бутылка мадеры. Раз, встретив выходившего из кабинета Галактиона, он с улыбкой заметил:

— Что вы мучите напрасно Ефима Назарыча?

— Такое уж дело, доктор... Не для собственного удовольствия.

— Ха-ха! Мне нравится этот вежливый способ грабежа. Да... Не только ограбят, но еще спросят, с которого конца. Все по закону, главное... Ах, милые люди!

Галактион вспыхнул и готов был наговорить доктору дерзостей, но выручила Прасковья Ивановна.

— Да ведь и вы, доктора, тоже хороши, — азартно вступилась она. — Тоже по закону морите живых людей... Прежде человек сам умирал, а нынче еще заплати доктору за удовольствие помереть.

— Что же, вы правы, — равнодушно согласился доктор, позабыв о Галактионе. — И мы тоже... да. Ну, что лечить, например, вашего супруга, который представляет собой пустую бочку из-под мадеры? А вы приглашаете, и я еду, прописываю разную дрянь и не имею права отказаться. Тоже комедия на законном основании.

Провожая Галактиона в переднюю, Прасковья Ивановна с милою интимностью проговорила:

— Доктор очень милый человек, но он сегодня немного того... понимаете? Ну, просто пьян! Вы на него не обижайтесь.

— Да я, кажется, ничего не сказал. Вы сами можете подумать то же самое.

— Я-то? Ах, мне решительно все равно!

Эта первая неудачная встреча не помешала следующим, и доктор даже понравился Галактиону, как человек совершенно другого, неизвестного ему мира. Доктор постоянно был под хмельком и любил погово-

рить на разные темы, забывая на другой день, о чем говорилось вчера.

— А у вас все Мышников орудует? — спрашивал доктор почти при каждой встрече. — О, у него громадный аппетит!.. Он вас всех слопает.

Доктор почему-то ненавидел этого адвоката. Прасковья Ивановна пользовалась, чтобы поддразнить его.

— Вы просто ревнуете Павла Степаныча, доктор. Вам завидно, что он тоже образованный. Да, из нашего, из купеческого звания и образованный... Умница.

— Вот посмотрим, что вы заговорите, когда он вас оберет, как липку.

— Да я сама бы ему с радостью все отдала: на, милый, ничего не жаль. И деньги, доктор, к рукам.

Эти разговоры кончались обыкновенно тем, что доктор выходил из себя и начинал ругать Мышникова, а если был трезв, то брал шапку и уходил. Прасковья Ивановна провожала его улыбавшимися глазами и только качала своею белокурою головкой.

Раз доктор приехал сильно навеселе. Прасковьи Ивановны не было дома.

— Вы все еще жилы тянете из моего пациента? — спросил он Галактиона сильно заплетавшимся языком. — И я тоже... С двух сторон накаливаем. Да?

— Вы это так говорите, доктор, без толку.

— Нет, с толком, ваше степенство. Вы нигде не учились, Галактион Михеич?

— Нет, нигде. Раскольничья своя мастерица кое-как грамоте обучила.

— Это ваше счастие... да... Вот вы теперь будете рвать по частям, потому что боитесь влопаться, а тогда, то есть если бы были выучены, начали бы глотать большими кусками, как этот ваш Мышников... Я знаю несколько таких полированных купчиков, и все на одну колодку... да. Хоть ты его в семи водах мой, а этой вашей купеческой жадности не отмыть.

— Это тоже глядя по человеку, доктор. Разные и купцы бывают.

— Разные-то разные, а жадность одна. Вот вас взять... Молодой, неглупый человек... отлично знаете, как наживаются все купеческие капиталы... Ну, и вы

хотите свою долю урвать? Ведь хотите, признайтесь? Меня вот это и удивляет, что в вас во всех никакой совести нет.

— Вы это правильно, а только суди на волка, суди и по волку, — так пословица говорится, доктор. Видали мы и настоящих господ, и господ иностранцев, какие они узоры-то выводят? Еще нас поучат.

— Да, бывает... Все бывает. Слопаете все отечество, а благодарных потомков пустите по миру... И на это есть закон, и, может быть, самый страшный: борьба за существование. Оберете вы все Зауралье, ваше степенство.

Слушая ожесточенные выходки доктора, Галактион понимал только одно, что он действительно полный неуч и даже не знает настоящих образованных слов.

VII

Старик Луковников, сделавшись городским головой, ни на волос не изменил образа своей жизни. Он попрежнему жил в нижнем этаже в своих маленьких каморках, а наверху принимал только гостей в торжественные дни именин и годовых праздников. Крепкий был старик и крепко жил, не в пример другим прочим. Устеньке было уже двенадцать лет, и у отца с ней вместе росла большая забота. Сам-то вот прожил век по старинке, а дочери уж как будто и не приходится. Требовалось что-то новое, чтобы потом не стыдно было в люди показать. Вот у протопопа обе дочери в гимназии учатся в Екатеринбурге, потом из чиновничьих дочерей тоже не отстают. Мельком Луковников видал этих новых птиц, и они ему нравились. И платьица такие скромненькие, коричневенькие, и переднички беленькие, и волосики гладко-гладко причесаны, и разговор по-образованному, и еще на фортепьянах наигрывают, — куда же купеческим девицам против них? Тем и отличаются от деревенских девок, что шляпки носят да рядятся, а так-то дуры дурами.

Умный старик понимал, что попрежнему девушку воспитывать нельзя, а отпустить ее в гимназию не

было сил. Ведь только и свету было в окне, что одна Устенька. Да и она тосковать будет в чужом городе. Думал-думал старик, и ничего не выходило; советовался кое с кем из посторонних — тоже не лучше. Один совет — отправить Устеньку в гимназию. Легко сказать, когда до Екатеринбурга больше четырехсот верст! Выручил старика из затруднения неожиданный и странный случай.

«Вот уж поистине, что не знаешь, где потеряешь, где найдешь», — удивлялся он сам.

Дело вышло как-то само собой. Повадился к Луковникову ездить Ечкин. Очень он не нравился старику, но, нечего делать, принимал его скрепя сердце. Сначала Ечкин бывал только наверху, в парадной половине, а потом пробрался и в жилые комнаты. Да ведь как пробрался: приезжает Луковников из думы обедать, а у него в кабинете сидит Ечкин и с Устенькой разговаривает.

— Уж вы меня извините, Тарас Семеныч.

— Пожалуйста, Борис Яковлич... Только мне принимать-то вас здесь как будто и совестно... Ну, я-то привык, а вы в хороминах живете.

— По необходимости, Тарас Семеныч, по необходимости... А сам я больше всего простоту люблю. Отдохнул у вас... Вот и с Устенькой вашей познакомился. Какая милая девочка!

— Хороша дочка Аннушка, только хвалит мать да бабушка.

— Нет, я серьезно... Мы с ней сразу друзьями сделались.

Старика покоробило от этой дружбы, но ничего не поделаешь. Как это Ечкин мог только пробраться в домашние горницы? — удивления достойно! Чего старуха нянька смотрела? Как бы изумился и вознегодовал Тарас Семеныч, если б узнал правду: бывая наверху. Ечкин каждый раз давал старухе по три рубля на чай и купил ее этим простым путем. Полюбился старухе ласковый да тароватый барин, и она ни за что не хотела верить, что он «из жидов». Жиды скупущие, сами с других деньги берут, а этот так и сыплет бумажками. Не может этого и быть, чтобы «из жидов». Да и

собой мужчина красавец, так соколом и выглядывает. Какой же это жид? Одним словом, старуха была куплена и провела гостя в жилые горницы.

— Сняла ты с меня голову, — корил ее потом Луковников. — Из настоящих он жидов и даже некрещеный.

Старуха так и не поверила, а потом рассердилась на хозяина: «Татарина Шахму, кобылятника, принимает, а этот чем хуже? Тот десять раз был и как-то пятак медный отвалил, да и тот с дырой оказался».

И сам Луковников, хотя и испытывал предубеждение относительно «жида», но под конец сдался. Человек как человек, ничем не хуже других народов, а только умнее. Поговорить с ним даже приятно, — все-то он знает, везде-то бывал и всякое дело понимает. Любопытный вообще человек. Приедет и всегда вежливый такой. Устеньке непременно подарочек привезет и даже старуху няньку не забудет, — как-то на два платья ситцу привез. Нечего сказать, увертлив и ловок. Конечно, недаром он к нему ездит, хочет что-нибудь вытянуть, но и то надо сказать, что волка ноги кормят. Один раз Ечкин чуть не потерял своего реноме зараз: приехал и просит пять тысяч на три дня. Смутила эта просьба Луковникова, но точно на него что нашло — пошел и дал деньги. Однако Ечкин оправдал себя и вернул деньги из минуты в минуту.

— Послушайте, Тарас Семеныч, я знаю, что вы мне не доверяете, — откровенно говорил Ечкин. — И даже есть полное основание для этого... Действительно, мы, евреи, пользуемся не совсем лестной репутацией. Что делать? Такая уж судьба! Да... Но все-таки это несправедливо. Ну, согласитесь: когда человек родится, разве он виноват, что родится именно евреем?

— Это, конечно, Борис Яковлич. От необразования больше.

— А между тем обидно, Тарас Семеныч. Поставьте себя на мое место. Ведь еврей такой же человек. Среди евреев есть и дураки и хорошие люди. Одним словом, предрассудок. А что верно, так это то, что мы люди рабочие и из ничего создаем капиталы. Опять-таки: ни-

кто не мешает работать другим. А если вы не хотите брать богатства, которое лежит вот тут, под носом... Упорно не хотите. И средства есть и энергия, а только не хотите.

— Послушайте, кто же себе враг, Борис Яковлич? От денег никто еще не отказывался.

— Да вы первый. Вот возьмите хотя ваше хлебное дело: ведь оно, говоря откровенно, ушло от вас. Вы упустили удобный момент, и какой-нибудь старик Колобов отбил целый хлебный рынок. Теперь другие потянутся за ним, а Заполье будет падать, то есть ваша хлебная торговля. А все отчего? Колобов высмотрел центральное место для рынка и воспользовался этим. Постройте вы крупчатные мельницы раньше его, и ему бы ничего не поделать... да. Упущен был момент.

— Это вы действительно верно изволите рассуждать. Кто же его знал?.. Еще приятель мой. И небогатый человек, главное... Сказывают, недавно целую партию своей крупчатки в Расею отправил.

— Из этого ничего не выйдет, пока не проведут Уральскую железную дорогу. Все барыши перевозка съест.

— Так я, по-вашему, должен был крупчатку выстроить?

— И даже не одну, а несколько, и рынок остался бы в ваших руках. Впрочем, и теперь можно поправить дело.

— Именно?

— Вальцовую мельницу выстроить. Ведь для одной такой мельницы нужно миллион пудов пшеницы. Извольте-ка конкурировать с таким зверем.

— Необычное это дело, Борис Яковлич, и больших тысяч стоит.

— Я говорю к примеру... Мало ли есть других дел, Тарас Семеныч? Только нужны люди и деньги... да.

— Что же деньги — и деньгами отца с матерью не купишь.

Для Ечкина это было совсем не убедительно. Он развил широкий план нового хлебного дела, как оно ведется в Америке. Тут были и элеватор, и подъездные пути, и скорый кредит, и заграничный экспорт, и

интенсивная культура, — одним словом, все, что уже существовало там, на Западе. Луковников слушал и мог только удивляться. Ему начинало казаться, что это какой-то сон и что Ечкин просто его морочит.

— Да вы это так все говорите, Борис Яковлич? Конечно, мы люди темные и прожили век, как тараканы за печкой... Темные люди, одним словом.

— Все видел своими глазами, — уверял Ечкин. — Да, все это существует. Скажу больше: будет и у нас, то есть здесь. Это только вопрос времени.

Впрочем, у него было несколько других проектов, не менее блестящих, чем хлебное дело на новых основаниях.

— Вот хоть бы взять ваше сальное дело, Тарас Семеныч: его песенка тоже спета, то есть в настоящем его виде. Вот у вас горит керосиновая лампа — вот где смерть салу. Теперь керосин все: из него будут добывать все смазочные масла; остатки пойдут на топливо. Одним словом, громаднейшее дело. И все-таки есть выход... Нужно основать стеариновую фабрику с попутным производством разных химических продуктов, маргариновый завод. И всего-то будет стоить около миллиона. Хотите, я сейчас подсчитаю?

— Мы этим делом совсем не занимаемся. Это уж вы степнякам объясняйте.

— А как вы думаете относительно сибирской рыбы? У меня уже арендованы пески на Оби в трех местах. Тоже дело хорошее и верное. Не хотите? Ну, тогда у меня есть пять золотых приисков в оренбургских казачьих землях... Тут уж дело вернее смерти. И это не нравится? Тогда, хотите, получим концессию на устройство подъездного пути от строящейся Уральской железной дороги в Заполье? Через пять лет вы не узнали бы своего Заполья: и банки, и гимназия, и театр, и фабрики кругом. Только нужны люди и деньги.

— Вот что, Борис Яковлич, со мной вы напрасно хорошие слова только теряете, а идите-ка вы лучше к Евграфу Огибенину. Он у нас модник и, наверное, польстится на новое.

— Я уже был у него. Кажется, у нас устраивается одно дельце.

— Ну, в добрый час!

Для Луковникова ясно было одно, что новые умные люди подбираются к их старозаветному сырью и к залежавшимся купеческим капиталам, и подбираются настойчиво. Ему делалось даже страшно за то будущее, о котором Ечкин говорил с такою уверенностью. Да, приходил конец всякой старинке и старинным людям. Как хочешь, приспособляйся по-новому. Да, страшно будет жить простому человеку.

К Ечкину старик понемногу привык, даже больше — он начал уважать в нем его удивительный ум и еще более удивительную энергию. Таким людям и на свете жить. Только в глубине души все-таки оставалось какое-то органическое недоверие именно к «жиду», и с этим Тарас Семеныч никак не мог совладеть. Будь Ечкин кровный русак, совсем бы другое дело.

Но и тут Ечкин купил упрямого старика, да еще как ловко купил — со всем потрохом. Лучше и не бывает.

Завернул как-то Ечкин по пути, — он вечно был занят по горло и вечно куда-нибудь торопился.

— Вот что, Тарас Семеныч, я недавно ехал из Екатеринбурга и все думал о вас... да. Знаете, вы делаете одну величайшую несправедливость. Вас это удивляет? А между тем это так... Сами вы можете жить, как хотите, — дело ваше, — а зачем же молодым запирать дорогу? Вот у вас девочка растет, мы с ней большие друзья, и вы о ней не хотите позаботиться.

— То есть это как же не хочу?

— Да нельзя ее оставлять так, чумичкой. Вы уж меня извините за откровенность... Да, нельзя. Вырастет большая и вас же попрекнет.

— Да уж я и сам думал, Борис Яковлич, и так и этак. Все равно ничего не выходит. Думаю вот, когда у протопопа старшая дочь кончит в гимназии, так чтоб она поучила Устюшу... Оболванит немного.

— Нет, это не годится. Время дорого, Тарас Семеныч... Так я ехал, думал о вас и придумал. И не только придумал, а даже наполовину устроил. Теперь все будет от вас зависеть. Ведь вы хорошо знаете

Болеслава Брониславича Стабровского? У него тоже есть дочь, одних лет с вашей Устенькой. Он без ума ее любит, как и вы, и недавно выписал для ее воспитания англичанку прямо из Англии. Одного жалованья платит ей тысячу рублей. Так вот хотите свою Устеньку учить вместе? На всякий случай я уже переговорил с Стабровским, и он очень рад, чтоб ваша дочь училась вместе с его Дидей.

Это предложение совершенно ошеломило Тараса Семеныча, и он посмотрел на гостя какими-то испуганными глазами. Как же это так вдруг и так просто?..

— Послушайте, Борис Яковлич, я вам очень благодарен, но это такое особенное дело, что нужно подумать и подумать.

— Я и не требую, чтоб вы решили сейчас. Стабровский как-нибудь сам к вам заедет.

— Знаете что, не люблю я вашего Стабровского! Нехорошее он дело затевает, неправильное... Вконец хочет спаивать народ. Бог с ними и с деньгами, если на то пошло!

— Ах, какой вы, Тарас Семеныч! Стабровский делец — одно, а Стабровский семейный человек, отец — совсем другое. Да вот сами увидите, когда поближе познакомитесь. Вы лучше спросите меня: я-то о чем хлопочу и беспокоюсь? А уж такая натура: вижу, девочка растет без присмотру, и меня это мучит. Впрочем, как знаете.

— Да я-то ничего не знаю, Борис Яковлич.

Эта забота об Устеньке постороннего человека растрогала старика до слез, и он только молча пожал руку человеку, которому не верил и которого в чем-то подозревал. Да, не знаешь, где потеряешь, где найдешь.

VIII

Судьба Устеньки быстро устроилась, — так быстро, что все казалось ей каким-то сном. И долго впоследствии она не могла отделаться от этого чувства. А что, если б Стабровский не захотел приехать к ним первым? если бы отец вдруг заупрямился? если бы собор-

ный протопоп начал отговаривать папу? если бы она сама, Устенька, не понравилась с первого раза чопорной английской гувернантке мисс Дудль? Да мало ли что могло быть, а предвидеть все мелочи и случайности невозможно.

Стабровский приехал к Луковникову ровно через два дня. Это было около двенадцати часов. Тарас Семеныч очень встревожился и провел гостей в парадную половину. Ему понравилось, как Дидя хорошо и просто была одета и как грациозно сделала ему реверанс. Девочка была некрасивая, но личико такое умненькое и все, как комнатная собачка, заглядывает на гувернантку, строгую и какую-то всю серую девицу неопределенных лет. Сам Стабровский, несмотря на свои за пятьдесят и коротко остриженные седые волосы, выглядел молодцом. За ним уже установилась репутация миллионера, и Тарас Семеныч, по купеческому уважению ко всякому капиталу, относился к нему при редких встречах с большим вниманием, хотя и не любил его.

— Вот мы приехали знакомиться, — с польскою ласковостью заговорил Стабровский, наблюдая дочь. — Мы, старики, уже прожили свое, а молодым людям придется еще жить. Покажите нам свою славяночку.

Луковникову пришлось по душе и это название: славяночка. Ведь придумает же человек словечко! У меня, мол, дочь, хоть и полька, а тоже славяночка. Одна кровь.

— Я вот ее, козу, сюда приведу, Бронислав...

— Болеслав Брониславич, — поправил Стабровский с улыбкой. — Впрочем, что же вам беспокоить маленькую хозяйку? Лучше мы сами к ней пойдем... Не правда ли, мисс Дудль?

— O, yes... [1]

— Да у нас, знаете, все не прибрано.

— Ничего, ничего, не беспокойтесь. Нам необходимо посмотреть, как живет славяночка, какие у нее привычки. Вы простите наше невинное любопытство.

---

[1] О, да... *(англ.)*

Мягкая настойчивость Стабровского победила смущение хозяина, и он по внутренней узенькой лестнице провел их в нижние жилые горницы. Как ни привык Стабровский к купеческой обстановке, но и он только съежил плечи, оглядывая ветхозаветные горницы. Англичанка сморщила свой утиный нос, нюхая воздух, пропитанный ароматом русских щей, горевшей в углу лампадки и еще чего-то «русского», как она определила про себя. Выведенная напоказ, Устенька страшно переконфузилась и неловко подавала свою руку «дощечкой», как назвала это деревянное движение Дидя про себя. Она была одета в простеньком ситцевом платье, и мисс Дудль точно впилась в ее недостаточно вымытую шейку. В своем детском смущении Устенька рядом с Дидей выглядела почти красавицей. Особенно хорошо было это простое русское лицо, глядевшее такими простыми темными глазами. Стабровский залюбовался «славяночкой», обнял ее и поцеловал.

— Ну, славяночка, будем знакомиться. Это вот моя славяночка. Ее зовут Дидей. Она считает себя очень умной и думает, что мир сотворен специально только для нее, а все остальные девочки существуют на свете только так, между прочим.

Мисс Дудль после шеи Устеньки пришла в ужас от ее имени и по-английски спросила Стабровского:

— Это все равно, что Уильки?

— Да, да, все равно.

— Совершенно неорганизованная девочка.

— И прехорошенькая. Посмотрите, какая у нее умненькая мордашка.

— О, yes...

В дверную щель с ужасом смотрела старая няня. Она оторопела совсем, когда гости пошли в детскую. Тарас-то Семеныч рехнулся, видно, на старости лет. Хозяин растерялся не меньше старухи и только застегивал и расстегивал полу своего старомодного сюртука.

Крошечная детская с одним окном и двумя кроватями привела мисс Дудль еще раз в ужас, а потом она уже перестала удивляться. Гости произвели в детской что-то вроде обыска. Мисс Дудль держала себя, как

опытный сыщик: осмотрела игрушки, книги, детскую кровать, заглянула под кровать, отодвинула все комоды и даже пересчитала белье и платья. Стабровский с большим вниманием следил за ней и тоже рассматривал детские лифчики, рубашки и кофточки.

«Вот бесстыжие-то! — думала няня, делавшая несколько напрасных попыток не пустить любопытных гостей в комод. — Это похуже всяких жидов!»

— Обстановка и гардероб девочки пещерного периода, — резюмировала мисс Дудль впечатление обыска.

— Уж вы нас извините, — оправдывался Тарас Семеныч. — Сиротой растет девочка, вот главная причина, а потом ведь у нас все попросту.

— Что ж, каждый живет по-своему, — ответил Стабровский, что-то соображая про себя.

Тарасу Семенычу было и совестно, что англичанка все распотрошила, а с другой стороны, и понравилось, что миллионер Стабровский с таким вниманием пересмотрел даже белье Устеньки. Очень уж он любит детей, хоть и поляк. Сам Тарас Семеныч редко заглядывал в детскую, а какое белье у Устеньки — и совсем не знал. Что нянька сделает, то и хорошо. Все дело чуть не испортила сама Устенька, потому что под конец обыска она горько расплакалась. Стабровский усадил ее к себе на колени и ласково принялся утешать.

— О чем мы плачем, славяночка? Нехорошо плакать. У славяночки будет новая подруга. Им вместе будет веселее. Они будут учиться, играть, гулять.

Отправив домой Дидю и гувернантку, Стабровский остался для окончательных переговоров с Тарасом Семенычем. Они сидели теперь в маленьком кабинете. Стабровский закурил сигару и заговорил:

— Мы себя держали сегодня немного нахально, Тарас Семеныч, и это не входило совсем в нашу программу. Так уж случилось. Нужно сказать, что я безумно люблю детей и вхожу до последних мелочей в воспитание своей дочери. И я рад, что мисс Дудль — эта святая девушка — произвела надлежащую ревизию детской вашей Устеньки. Знаете, дорогой Тарас

Семеныч, так нельзя. Скажу больше: это дико. Вы человек состоятельный, умный, серьезный, любящий, а о воспитании не имеете даже приблизительного понятия. Это слишком ответственная вещь, и я не взялся бы сам воспитывать собственную дочь. Знаете, в нас есть эта проклятая славянская распущенность, предательская мягкость характера, наконец, азиатская апатия, и с этим нужно бороться. Вот мисс Дудль даст настоящую европейскую закалку нашим девочкам. Когда ваша Устенька будет жить в моем доме, то вы можете точно так же прийти к девочкам в их комнату и сделать точно такую же ревизию всему.

— То есть как это Устенька будет жить в вашем доме, Болеслав Брониславич?

— Иначе не можно... Раньше я думал, что она будет только приезжать учиться вместе с Дидей, но из этого ничего не выйдет. Конечно, мы сделаем это не вдруг: сначала Устенька будет приходить на уроки, потом будет оставаться погостить на несколько дней, а уж потом переедет совсем.

— Надо подумать, Болеслав Брониславич.

— Конечно, конечно... Виноват, у вас является сам собой вопрос, для чего я хлопочу? Очень просто. Мне не хочется, чтобы моя дочь росла в одиночестве. У детей свой маленький мир, свои маленькие интересы, радости и огорчения. По возрасту наши девочки как раз подходят, потом они будут дополнять одна другую, как представительницы племенных разновидностей.

Впоследствии сам Тарас Семеныч удивлялся, как он мог решиться на такой важный шаг и как вообще мог позволить совершенно посторонним людям вмешиваться в свою интимную жизнь. Очень уж он любил свою дочурку и для нее в первый раз поступился старинкой, особенно когда Стабровский в целом ряде серьезных бесед выяснил ему во всех подробностях план того образования, который должны были пройти рука об руку обе славянки. Он умел говорить необыкновенно увлекательно, и Тарас Семеныч отлично понял, что воспитание гораздо сложнее и ответственнее всяких вальцовых мельниц, стеариновых фабрик, винокуренных заводов и прочей премудрости.

Устенька навсегда сохранила в своей памяти этот решительный зимний день, когда отец отправился с ней к Стабровским. Старуха нянька ревела еще с вечера, оплакивая свою воспитанницу, как покойницу. Она только и повторяла, что Тарас Семеныч рехнулся и хочет обасурманить родную дочь. Эти причитания навели на девочку тоску, и она ехала к Стабровским с тяжелым чувством, вперед испытывая предубеждение против долговязой англичанки, рывшейся по комодам.

Стабровский занимал громадную квартиру, которую отделал с настоящею тяжелою роскошью. Это чувствовалось еще в передней, где гостей встречал настоящий швейцар, точно в думе или в клубе. Стабровский выбежал сам навстречу, расцеловал Устеньку и потащил ее представлять своей жене, которая сидела обыкновенно в своей спальне, укутанная пледом. Когда-то она была очень красива, а теперь больное лицо казалось старше своих лет. Она тоже приласкала гостью, понравившуюся ей своею детскою свежестью.

— Не правда ли, какая она милая? — спрашивал Стабровский, точно боялся, что Устенька не понравится жене.

— Какая она здоровая! — с грустью заметила она, любуясь девочкой. — Вся крепкая, как рыба.

«Неорганизованную девочку» больше всего интересовала невиданная никогда обстановка, особенно картины на стенах, статуэтки из бронзы и терракоты, а самое главное — рояль. Ей казалось, что она перенеслась на крыльях в совершенно иной мир. Благодарная детская память сохранила и перенесла это первое впечатление через много лет, когда Устенька уже понимала, как много и красноречиво говорят вот эти гравюры картин Яна Матейки и Семирадского, копии с знаменитых статуй, а особенно та этажерка с нотами, где лежали рыдающие вальсы Шопена, старинные польские «мазуры» и еще много-много других хороших вещей, о существовании которых в Заполье даже и не подозревали.

— Вот здесь я деловой человек, — объяснил Стабровский, показывая Луковникову свой кабинет. —

Именно таким вы меня знали до сих пор. Сюда ко мне приходят люди, которые зависят от меня и которые завидуют мне, а вот я вам покажу другую половину дома, где я самый маленький человек и сам нахожусь в зависимости от всех.

Познакомив с женой, Стабровский провел гостя прежде всего в классную, где рядом с партой Диди стояла уже другая новенькая парта для Устеньки. На стенах висели географические карты и рисунки, два шкафа заняты были книгами, на отдельном столике помещался громадный глобус.

— Вот это главная комната в доме, потому что в ней мы зарабатываем свое будущее, — объяснял Стабровский гостю. — Вот и вашей славяночке уже приготовлена парта. Здесь царство мисс Дудль, и я спрашиваю ее позволения, прежде чем войти.

Затем осмотрена была детская, устроенная мисс Дудль по всем правилам строгой английской школы. Самая простая кровать, мебель, вся обстановка, а роскошь заключалась в какой-то вызывающей чистоте. Детскую показывала сама мисс Дудль, и Тарасу Семенычу показалось, что англичанка сердится на него. Когда он сообщил это хозяину, тот весело расхохотался.

— Нет, вы ошибаетесь... Это добрейшее существо, но уж такую наружность бог дал. Ничего не поделаешь... Идемте завтракать.

Первый завтрак у Стабровских опять послужил предметом ужаса для мисс Дудль. «Неорганизованная девочка» решительно не умела держать себя за столом, клала локти чуть не на тарелку, стучала ложкой, жевала, раскрывая рот, болтала ногами и — о, ужас! — вытащила в заключение из кармана совсем грязный носовой платок. Мисс Дудль чуть не сделалось дурно.

Вечером Стабровский работал в своем кабинете за полночь и все думал о маленькой славяночке, которая войдет в дом. Кто знает, что из этого может произойти? Из маленьких причин очень часто вырастают большие и сложные последствия.

— Ах, Дидя, Дидя! — шептал он, отодвигая бумаги.

Никто не подозревал, ни посторонние, ни свои, как мучился этот магнат, оставаясь вот так один. Никто не знал, как он боялся за свою любимицу. Один знаменитый психиатр предсказал ему, что в период формирования с девочкой может быть плохо. У нее были задатки к острым нервным страданиям и даже к психической ненормальности. Это было тяжелое наследство от пьянствовавших и распутничавших предков по женской линии. И вот он должен ждать и мучиться вперед, готовый каплю по капле перелить собственную кровь в жилы ребенка. Ведь все остальное пустяки, а все главное в ней, в этой умненькой не по летам девочке. Может быть, присутствие и совместная жизнь с настоящею здоровою девочкой произведут такое действие, какого не в состоянии сейчас предвидеть никакая наука. Ведь передается же зараза, чахотка и другие болезни, — отчего же не может точно так же передаться и здоровье? Стабровский давно хотел взять подругу для дочери, но только не из польской семьи, а именно из русской. Ему показалось, что Устенька — именно та здоровая русская девочка, которая принесет в дом с собой целую атмосферу здоровья.

— Ах, Дидя, Дидя! — шептал удрученный предчувствиями отец, хватаясь за голову.

IX

Серафима приехала в Заполье с детьми ночью. Она была в каком-то особенном настроении. По крайней мере Галактион даже не подозревал, что жена может принимать такой воинственный вид. Она не выдержала и четверти часа и обрушилась на мужа целым градом упреков.

— Я знаю, что тебе неприятно, что мы приехали, — говорила Серафима. — Ты обрадовался, что бросил нас в деревне... да.

— Что ты говоришь? — удивлялся Галактион. — Никого я не думал бросать.

— Не отпирайся... Обещал прислать за нами лошадей через две недели, а я прожила целых шесть, пока

не догадалась сама выехать. Надо же куда-нибудь деваться с ребятишками... Хорошо, что еще отец с матерью живы и не выгонят на улицу.

— Сима, мне не хотелось тебя вызывать, пока я не устроюсь. Только и всего.

— Знаю, знаю, что ты тут хорошо устроился. Совсем хорошо... Ну, как поживает любезная сестрица Харитина Харитоновна? А потом, как эту мерзавку зовут? Бубниху?.. Хорошими делами занялся, нечего сказать!

Свидетелями этой сцены были Анфуса Гавриловна, Харитон Артемьич и Агния. Галактион чувствовал только, как вся кровь бросилась ему в голову и он начинает терять самообладание. Очевидно, кто-то постарался и насплетничал про него Серафиме. Во всяком случае, положение было не из красивых, особенно в тестевом доме. Сама Серафима показалась теперь ему такою некрасивой и старой. Ей совсем было не к лицу сердиться. Вот Харитина, так та делалась в минуту гнева еще красивее, она даже плакала красиво.

— Сима, ты бы и потом могла с мужем переговорить, — политично заметила Анфуса Гавриловна. — Мы хоть и родители тебе, а промежду мужем и женой один бог судья.

— Это ты верно, Фуса, — подтвердил Харитон Артемьич, старясь не смотреть на зятя. — В другой раз и помолчать надо бы, Сима.

Этого было достаточно, и Серафима залилась слезами. С ней даже сделалось дурно. Проснувшиеся дети тоже принялись кричать. Одним словом, получилась жестокая семейная сцена, и Галактион не мог заснуть до утра. Он даже не оправдывался, а только затаил ненависть к жене, главным образом потому, что она срамила его в чужом доме, на людях. А он еще так соскучился о ребятишках и так рад был их видеть. И дети тоже обрадовались и так мило льнули к нему, точно цыплята. В первый раз еще охватила его какая-то смутная жалость по отношению вот к этим детским головкам, точно над ними собиралась темная туча. Ему, наконец, было совестно смотреть в эти чистые детские глаза, припоминая сцену, когда он об-

нимал Харитину. Если бы жена не накинулась на него, он, вероятно, сам бы рассказал все, чтоб отрезать всякую возможность повторения чего-нибудь подобного, а теперь жена точно заперла его на замок своими обвинениями. Результат этой сцены был один: во что бы то ни стало выбраться как можно скорее из тестева дома. В своем углу все-таки сам большой, сам маленький, а здесь чувствовалась тяжелая зависимость. Перебирая в уме, кто бы мог наплесть жене разные сплетни, Галактион решил, что это была тихоня Агния, и возненавидел ее. Как бы он удивился, если б узнал, что писала сама Харитина!

Так началась семейная жизнь Галактиона в Заполье. Наружно он помирился с женой, но это плохо скрывало глубокий внутренний разлад. Между ними точно выросла невидимая стена. Самым скверным было то, что Галактион заметно отшатнулся от Анфусы Гавриловны и даже больше — перешел на сторону Харитона Артемьича.

— А ты, зятюшка, не очень-то баб слушай... — тайно советовал этот мудрый тесть. — Они, брат, изведут кого угодно. Вот смотри на меня: уж я, кажется, натерпелся от них достаточно. Даже от родных дочерей приходится терпеть... Ты не поддавайся бабам.

Харитон Артемьич дошел до того, что тайно передавал зятю все домашние разговоры и пересуды по его адресу.

Ссорившиеся муж и жена теперь старались сосредоточить неизрасходованный запас нежных чувств на детях, причем встретили самую отчаянную конкуренцию со стороны бабушки, уцепившейся за внучат с особенною энергией. Ни у одной дочери не было детей, кроме Серафимы. У писарши Анны родились двое, но скоро умерли. Баловнем Анфусы Гавриловны сделалась самая младшая девочка, Катя, напомнившая бабушке умершую дочь Марью. Вот такая же была, как две капли воды. Открылась старая материнская рана, и Анфуса Гавриловна горько плакала, вспоминая мертвого ребенка. Это проснувшееся материнское горе точно было заслонено все время заботами о живых детях, а теперь все уже были на своих ногах, и

она могла отдаться своему чувству. Старушке делалось даже страшно, когда она подолгу и пристально вглядывалась в Катю: вот точь-в-точь такая же была Маня, так же смеялась и так же смотрела. Входя в роль матери, Анфуса Гавриловна искренне удивлялась, что Катя зовет мамой не ее, а дочь Серафиму.

К детям же прильнула рыхлая и по наружному виду апатичная Агния. Девушка сначала долго присматривалась к детям, точно не верила чему-то, такому теплому и хорошему, так тепло и хорошо накипавшему на ее душе. В этой девушке проснулось неудовлетворенное и неиспытанное материнство, которое даже пугало ее. И странно, что дети льнули инстинктивно к ней гораздо больше, чем к бабушке. Огорченная Анфуса Гавриловна серьезно ссорилась с Агнией и употребляла разные дипломатические хитрости, чтоб устранить ее. Несколько раз мать и дочь предъявляли взаимные претензии Серафиме, как матери.

— Да возьмите их хоть совсем, — равнодушно отвечала Серафима. — Вам в охоту с чужими детьми поводиться.

Галактион был другого мнения и стоял за бабушку. Он не мог простить Агнии воображаемой измены и держал себя так, точно ее и на свете никогда не существовало. Девушка чувствовала это пренебрежение, понимала источник его происхождения и огорчалась молча про себя. Она очень любила Галактиона и почему-то думала, что именно она будет ему нужна. Раз она даже сделала робкую попытку объясниться с ним по этому поводу.

— Ты напрасно думаешь, Галактион, что я про тебя писала Симе.

— Хорошо, хорошо. Все вы на одну стать, — грубо ответил Галактион. — И цена вам всем одна. Только бы вырваться мне от вас.

— Грешно тебе, Галактион.

— Молчи лучше, сплетница! Говорить-то с тобой противно!

Агния молча проглотила эту обиду и все-таки не переставала любить Галактиона. В их доме он один являлся настоящим мужчиной, и она любила в нем

именно этого мужчину, который делает дом. Она тянулась к нему с инстинктом здоровой, неиспорченной натуры, как растение тянется к свету. Даже грубая несправедливость Галактиона не оттолкнула ее, а точно еще больше привязала. Даже Анфуса Гавриловна заметила это тяготение и сделала ей строгий выговор.

— Ты у меня смотри, тихоня... Погляди на себя в зеркало-то, на рожу свою. Только мать срамишь, бесстыдница!

Про себя Агния решила давно, что она останется незамужницей и уйдет от грешного мира куда-нибудь в скиты замаливать чужие грехи.

Дела Галактиона шли попрежнему. Бубновский конкурс мог тянуться бесконечно. Но его интересовал больше всех устав нового банка, который писал Штофф. По этому делу Галактион несколько раз был у Стабровского, где велись предварительные обсуждения этого устава, причем Стабровский обязательно вызывал Ечкина. Этот странный человек делал самые ценные замечания, и Стабровский приходил в восторг.

— Ах, Борис Яковлич, вы будете у нас министром финансов! — повторял хитрый пан. — Этакая удивительная голова!

Галактион прежде всего испытывал какое-то ребячье смущение в кабинете Стабровского, где так свободно и просто делались миллионные дела. Он чувствовал себя таким маленьким и ничтожным, потому что в первый раз лицом к лицу встретился с настоящими большими дельцами, рассуждавшими о миллионах с таким же равнодушием, как другие говорят о двугривенном. С уставом, когда он был совсем готов, вышло неожиданное затруднение: из числа учредителей старик Луковников отказался наотрез его подписать. Как старика ни уламывали, из этого ничего не вышло.

— Неподходящее дело, — повторял упрямый старик.

Старик Стабровский был серьезно возмущен, но не выдал себя ни одним движением.

— Может быть, Тарас Семеныч, вы сами впоследствии пожалеете о своем отказе, — говорил он.

— Уж это как бог даст... — упрямо повторял старик.

В числе консультантов большую силу имел Мышников; он был единственным представителем юриспруденции и держал себя с достоинством. Только Ечкин время от времени «подковывал» его каким-нибудь замечанием, а другие скромно соглашались. В последнем совещательном заседании принимали участие татарин Шахма и Евграф Огибенин.

— Гуляй банк! — повторял Шахма. — Одна рука брал, другая рука давал... Обе барыша получал.

Штофф измучился с уставом до смерти, и когда, наконец, все было оформлено и подписано, он проговорил, обращаясь к Галактиону:

— Ну, голубчик, я устал... Надо отдохнуть. Знаешь, что мы сделаем? Ну, да об этом потом поговорим.

Отдых Штоффа скоро объяснился. Он пригласил Галактиона съездить вместе в бубновский винокуренный завод для какой-то внезапной ревизии. Когда выехали вечером из Заполья, Штофф неожиданно заявил кучеру:

— Поворачивай в Кунару.

Кунара была подгородная деревушка, куда купцы ездили кутить. Там теперь шли деревенские посиделки и супрядки.

— Надо будет произвести неожиданную и самую строгую ревизию, — смеялся Штофф, хлопая Галактиона по плечу.

— Карл Карлыч, оно того... Еще узнают дома.

— Э, вздор!.. Никто и ничего не узнает. Да ты в первый раз, что ли, в Кунару едешь? Вот чудак. Уж хуже, брат, того, что про тебя говорят, все равно не скажут. Ты думаешь, что никто не знает, как тебя дома-то золотят? Весь город знает... Ну, да все это пустяки.

Немец попал в самое больное место, и Галактион угрюмо замолчал.

Скоро замелькали желтые огоньки потонувшей в глубоком снегу Кунары. Деревня была небольшая, но богатая, как все раскольничьи деревни. Она пользова-

лась плохою репутацией, как притон бродяг. Искони здесь утвердился своеобразный кустарный промысел приготовления домашним способом ассигнаций. Потом эти «кунарские деньги» уходили в безграмотную орду.

— К Спиридону! — командовал Штофф.

Кошевая остановилась у большой новой избы. В волоковое окно выглянула мужская голова и без опроса скрылась. Распахнулись сами собой шатровые ворота, и кошевая очутилась в темном крытом дворе. Встречать гостей вышел сам хозяин, лысый и седой старик. Это и был Спиридон, известный всему Заполью.

— Карлу Карлычу, сто лет не видались, — певуче говорил Спиридон. — А это кто с тобой будет?

— Да так... Тоже из немцев.

Они прошли в новую заднюю избу, где за столом сидел какой-то низенький, черный, как жук, старик. Спиридон сделал ему головой какой-то знак, и старик вышел. Галактиону показалось, что он где-то его видел, но где — не мог припомнить.

— Милости просим, дорогие гости, — повторял Спиридон, тяжело шмыгая больными ногами; он ужасно напоминал загнанную и опоенную лошадь.

На помощь старику явилась его жена, высокая, худая старуха с злыми глазами.

— Ну, бабушка, сердце повеселить приехали, — говорил Штофф. — Ну, что у вас тут нового?

— Есть и новое, Карла Карлыч... Хороша девушка объявилась у Маркотиных. И ростом взяла, и из себя уж столь бела... Матреной звать. Недавно тут Илья Фирсыч наезжал, тот вот как обихаживал с ней вприсядку. Лебедь белая, а не девка.

«Двоеданы», то есть раскольники, отличались вообще красотой, не в пример православному населению.

Дальше вынесли из кошевой несколько кульков и целую корзину с винами, — у Штоффа все было обдумано и приготовлено. Галактион с каким-то ожесточением принялся за водку, точно хотел кому досадить. Он быстро захмелел, и дальнейшие события происходили точно в каком-то тумане. Какие-то девки

пели песни, Штофф плясал русскую, а знаменитая красавица Матрена сидела рядом с Галактионом и обнимала его точеною белою рукой.

— Откуда ты взялся-то, мил-хороший? — шептала она.

Потом послышался какой-то стук, кто-то кричал в сенях, а в заключение в избу ворвался пьяный Лиодор.

— А, вот вы где, милые зятюшки! — гаркнул он, кидаясь на Штоффа с кулаками.

Произошла свалка. Кто-то кого-то бил, девки бросились из избы, а Штофф спрятался под стол.

X

Встреча с Лиодором в Кунаре окончательно решила дело. Галактион дальше не мог оставаться у тестя. Он нанял себе небольшую квартирку за хлебным рынком и переехал туда с семьей. Благодаря бубновскому конкурсу он мог теперь прожить до открытия банка, когда Штофф обещал ему место члена правления с жалованьем в пять тысяч.

— А что касается нашей встречи с Лиодором, то этому никто не поверит, — успокаивал немец. — Кто не знает, что Лиодор разбойник и что ему ничего не значит оговорить кого угодно? Одним словом, пустяки.

Прищурив один глаз и прищелкнув языком, Штофф прибавил:

— Бабец-то, Матрена эта самая, ничего... хе-хе!..

Галактион ничего не отвечал на эти заигрыванья. Он дал себе слово ничего не пить и не путаться с веселою компанией. Да и характер у него был совсем не такой, а вышло все как-то так, само собой. Поездка в Кунару в малыгинской семье вызвала целую бурю. Анфуса Гавриловна плакала целую неделю и даже не пожелала проститься с зятем, когда он переезжал на новую квартиру. Зато Харитон Артемьич, сам время от времени покучивавший у двоеданов, радовался от чистого сердца. Вот тебе и непьющий

зять... Ловко его немец поддел, да и Лиодорка охулки на руку не положил. Наткнулись зятья на ерша.

Заступницами Галактиона явились Евлампия и Харитина. Первая не хотела верить, чтобы муж был в Кунаре, а вторая старалась оправдать Галактиона при помощи системы разных косвенных доказательств. Ну, если б и съездили в Кунару — велика беда! Кто там из запольских купцов не бывал? Тятеньку Харитона Артемьича привозили прямо замертво.

— Вам-то какая забота припала? — накидывалась Анфуса Гавриловна на непрошенных заступниц. — Лучше бы за собой-то смотрели... Только и знаете, что хвостами вертите. Вот я сдеру шляпки-то, да как примусь обихаживать.

Евлампия обиделась и уехала, не простившись с матерью. А Харитина не унялась. Она прямо от матери отправилась к Галактиону. Ее появление до того изумило Серафиму, что она не могла выговорить слова.

— Ну, квартирку-то могли бы и получше найти, — как ни в чем не бывало, советовала Харитина, оглядывая комнаты. — Ты-то чего смотрела, Сима?

— Ах, мне все равно!

Харитина разделась, полюбовалась хорошенькими ребятишками и потом без всяких подходов проговорила:

— Вот что, Сима, ты на меня сердишься?

— И не думала.

— Ну, перестань. Я знаю, что сердишься. А только напрасно... Я тебе зла не желаю, и мне ничего твоего не нужно. Своего достаточно.

От этого намека некрасивое лицо Серафимы покрылось красными пятнами, губы задрожали, и она крикнула сдавленным голосом:

— Вон, мерзавка! И видеть тебя не желаю... Ты у нас в семье какая-то проклятая уродилась. Вон... вон!.. Я знаю, что ты такое!

Спокойно посмотрев на сестру своими странными глазами, Харитина молча ушла в переднюю, молча оделась и молча вышла на улицу, где ее ждал свой собственный рысак. Она ехала и горько улыбалась.

Вот и дождалась награды за свою жалость. «Что же, на свете всегда так бывает», — философствовала она, пряча нос в новый соболий воротник.

Невесело было новоселье Галактиона. Жена упорно молчала, молчал и он, потому что нечего было говорить. Она его ни в чем не обвиняла, он ни в чем не оправдывался, да и трудно было бы оправдываться. Его охватывало жгучее раскаяние только при виде детей, на которых больше всего сказывался тяжелый семейный разлад. Опять Галактион думал о Харитине, — разве она так бы сделала? Стала бы плакать, ругаться, убежала бы из дому, наконец ударила бы чем ни попадя и все-таки не стала бы опалы тянуть. Да, он был два раза неправ относительно жены, но и другие мужья не лучше, а еще хуже. У него являлось желание помириться с женой, рассказать ей всю чистую правду, но стоило взглянуть на ее убитое лицо, как всякое желание пропадало. Страшная тоска охватывала Галактиона, и он начинал чувствовать себя чужим человеком в собственном доме. Теперь он был рад всякому случаю уйти куда-нибудь из дому и с особенной энергией принялся за бубновский процесс. Галактион начинал побаиваться, как бы не запутаться с этим делом в чужих плутнях. Кураторы все ловкий народ, сухими из воды выйдут, а его как раз утопят.

У Бубновых в доме было попрежнему. Та же Прасковья Ивановна, тот же доктор, тот же умильный братец и тот же пивший мертвую хозяин. В последнее время Прасковья Ивановна как-то особенно ласково заглядывала на Галактиона и каждый раз упрашивала его остаться или как-нибудь посидеть вечерком.

— Мне некогда, — отговаривался Галактион.

— Ну, ну, бука!.. Разве отказывают кавалеры, когда дама просит?

— Какой я кавалер, Прасковья Ивановна? Неподходящее дело.

— Хорошо. Тогда я иначе буду поступать: не отпущу домой, и все тут. Ведь драться не будете?

Несколько раз она удерживала таким образом упрямого гостя, а он догадался только потом, что ей нужно было от него. О чем бы Прасковья Ивановна

ни говорила, а в конце концов речь непременно сводилась на Харитину. Галактиону делалось даже неловко, когда Прасковья Ивановна начинала на него смотреть с пытливым лукавством и чуть-чуть улыбалась...

— Она красавица, — уверяла Прасковья Ивановна.

— Говорят.

— А вы будто уж и не замечали ничего?

— Да ведь она мне свояченица, Прасковья Ивановна, и замечать не приходится. Пусть уж другие замечают.

— Хорошо, хорошо. Какой вы хороший, Галактион Михеич! А вот она так мне все рассказывала. Чуть не отравилась из-за вас. Откуда у мужчин такая жестокость?

— Извините меня, а только от глупости, Прасковья Ивановна. Мало ли что девушки придумывают, а замуж выйдут — все и пройдет.

— А помните, как на мельнице она вас целовала?

— Это ей во сне приснилось.

— Ведь она не говорит, что вы ее целовали. Ах, какой вы скрытный! Ну, уж я вам, так и быть, сама скажу: очень вам нравится Харитина. Конечно, родня, немножко совестно.

Раз Прасковья Ивановна заставила Галактиона проводить ее в клуб. Это было уже на святках. Штофф устроил какой-то семейно-танцевальный вечер с туманными картинами, и Прасковья Ивановна непременно желала быть там. Штофф давно приглашал Галактиона в этот клуб, но он все отказывался под разными предлогами, а тут пришлось ехать поневоле.

Дорогой Прасковья Ивановна ни с того ни с сего расшалилась. Она сама прижалась к Галактиону и шепнула:

— Ах, какой вы!... Держите меня крепче!

Лицо у нее разгорелось от мороза, и она заглядывала ему прямо в глаза, улыбающаяся, молодая, красивая, свежая. Он ее крепко обхватил за талию и тоже почувствовал себя так легко и весело.

— Ведь я хорошенькая, да?

— Ничего.

— У, медведь! Разве так отвечают даме? А кто красивее: я или Харитина? Да держите же меня крепче, мямля!

Первым в клубе встретился Штофф и только развел руками, когда увидал Галактиона с дамой под руку. Вмешавшись в толпу, Галактион почувствовал себя еще свободнее. Теперь уже никто не обращал на них внимания. А Прасковья Ивановна крепко держала его за руку, раскланиваясь направо и налево. В одной зале она остановилась, чтобы поговорить с адвокатом Мышниковым, посмотревшим на Галактиона с удивлением.

— Мы сегодня кутим, — объясняла ему Прасковья Ивановна, играя глазами. — А вам весело?

— Ничего... Так себе, — лениво ответил адвокат, ежа плечи. — Мы еще увидимся, Прасковья Ивановна.

— Почему вы всегда бежите от меня? Неужели уж я такая старая и страшная?

Адвокат ничего не ответил, а только еще раз пожал плечами и с улыбкой посмотрел на Галактиона. Происходило что-то непонятное для последнего, и он начинал испытывать смущение.

Клуб был маленький, и комнаты не были еще отделаны с надлежащей клубною роскошью. Играл плохонький еврейский оркестр. Но невзыскательная запольская публика, наскучавшаяся у себя дома, была рада и этому, особенно дамы.

— Подождите меня здесь, — сказала Прасковья Ивановна, останавливаясь у дамской уборной. — Я сейчас.

Здесь Галактиона нашла Харитина. Она шла, обмахиваясь веером, с развязностью и шиком настоящей клубной дамы. Великолепное шелковое платье тащилось длинным шлейфом, декольтированные плечи, голые руки — все было в порядке. Но красивое лицо было бледно и встревожено. Она сначала прошла мимо, не узнав Галактиона, а потом вернулась и строго спросила:

— Скажи, пожалуйста, ты-то зачем здесь? Впрочем, я видела, как ты разгуливаешь с Пашенькой. Ах

ты, глупенький глупенький!.. Ну, давай, делай руку кренделем!

— А у меня ведь своя дама есть. Кажется, не полагается ее оставлять одну.

— Хорошо, не беспокойся. Она обойдется и без тебя, а мне нужно с тобой серьезно поговорить. Да, да...

Она нахмурила брови и потащила Галактиона в самую дальнюю комнату, где усадила в укромный уголок, и заговорила:

— Вот я здесь только что сидела с Мышниковым... да. И он объяснялся мне в любви... Мне все признаются в любви. Ну, Мышников-то долго ходил около меня, а потом и не выдержал. Понимаешь, я сама виновата... Грешным делом, сильно кокетничала с ним. Ведь умный человек, а того не понимает, что я его не люблю, а просто извожу для собственного удовольствия. Схватил меня за руку, сам весь дрожит, глаза горят... И какой дерзкий... Ну, я сейчас: «Милостивый государь, за кого вы меня принимаете? Кажется, вы ошиблись адресом...» Озлился, побледнел... А потом и говорит: «Мне это хороший урок, а вы меня вспомните, Харитина Харитоновна». Вот ведь какой злюка!.. А разве я обязана всех любить? Ну, теперь он будет мне мстить.

— Что же он может с тобой сделать?

— Не знаю, я только боюсь... Мне даже домой хочется уехать. Ты знаешь, доктор у меня нашел болезнь: нервы.

Харитина действительно волновалась, и в голосе у нее слышались слезы. Галактион сидел с опущенными глазами, кусая губы.

— Что же ты молчишь? — неожиданно накинулась на него Харитина. — Ты мужчина... Наконец, ты не чужой человек. Ну, говори что-нибудь!

— Что же я тебе скажу, когда ты сама кругом виновата. Вперед не кокетничай. Веди себя серьезно.

Этого было достаточно, чтобы Харитина вышла из себя и обрушилась на него целым градом попреков.

— И это ты мне говоришь, Галактион?.. А кто сейчас дурака валял с Бубнихой?.. Ведь она тебя нарочно

затащила в клуб, чтобы показать Мышникову, будто ты ухаживаешь за ней.

Галактион ничего не понимал.

— Да что я с тобой буду делать? — взмолилась Харитина в отчаянии. — Да ты совсем глуп... ах, как ты глуп!.. Пашенька влюблена в Мышникова, как кошка, — понимаешь? А он ухаживает за мной, — понимаешь? Вот она и придумала возбудить в нем ревность: дескать, посмотри, как другие кавалеры ухаживают за мной. Нет, ты глуп, Галактион, а я считала тебя умнее.

— Каков уж есть. Знаю только одно, что мне здесь нечего делать.

— Нет, постой!.. А как ты со мной поступил, а?

— Никак я не поступал.

— Не ври... Ведь ты знаешь, что твоя жена меня выгнала вон из дому и еще намекнула, за кого она меня считает.

— При чем же я тут? Вы будете ссориться, а я отвечай.

— Дурак! Из-за тебя я пострадала... И словечка не сказала, а повернулась и вышла. Она меня, Симка, ловко отзолотила. Откуда прыть взялась у кислятины... Если б ты был настоящий мужчина, так ты приехал бы ко мне в тот же день и прощения попросил. Я целый вечер тебя ждала и даже приготовилась обморок разыграть... Ну, это все пустяки, а вот ты дома себя дурак дураком держишь. Помирись с женой... Слышишь? А когда помиришься, приезжай мне сказать.

Галактион поднялся и хотел уйти. Он разозлился на болтовню Харитины, да и делать ему было нечего. Она опять удержала его, взяла за руку и проговорила усталым голосом:

— Проводи меня домой... Все равно — тебе зараз отвечать: в Кунаре кутил, Бубниху привез в клуб, а из клуба увез Харитину.

Одеваясь в передней, Харитина несколько раз повторяла:

— А *он* мне будет мстить... да.

XI

Каждому человеку присвоена своя психология, и таковая была также и у исправника Полуянова. Он служил давно и, что называется, набил руку. Особенно развернулся он в Запольском уезде, где являлся грозой. Начальство поощряло эту усердную службу, и Полуянов благоденствовал. Получал он жалованья что-то около трех тысяч, а проживал двенадцать. Все это знали и смотрели снисходительно, потому что прямых взяток Полуянов не брал, а только принимал иногда «благодарности». С женитьбой на Харитине расходы возросли, а с открытием клуба в Заполье тем более. Пришлось прибегать к экстраординарным мерам. Изобретательность Полуянова достигла своего апогея. В одной деревне он увидел лежавший в поле громадный валун, тысяч в пять пудов, и объявил, что такую редкость необходимо отправить в Петербург на обывательских подводах. Мужики пришли в ужас и стали откупаться от проклятой редкости гривенником с души. Это была настоящая дань. В другой деревне Полуянов с этою же целью опечатал целое озеро, то есть взял веревку, спустил один конец в воду, а другой припечатал к вбитому на берегу колу. Озеро давало мужикам до десяти тысяч рублей дохода ежегодно, и за распечатание Полуянов стал получать половину. Обложены были данью все деревенские торжки, натуральная повинность по исправлению тракта, винокуренные заводы, мельницы и всякое проявление пытливого промышленного и торгового духа. Но особенно налег Полуянов на мертвые тела. Убитый или скоропостижно умерший являлся настоящим кладом. Исправник морил мужиков в качестве понятых и, приняв мзду, вез тело в следующий пункт, чтобы получить и здесь откуп. Одно такое мертвое тело он возил чуть не по всему уезду и по пути завез на мельницу к Ермилычу, а когда Ермилыч откупился, тело очутилось на погребе попа Макара.

В течение целых пятнадцати лет все художества сходили Полуянову с рук вполне благополучно, а

робкие проявления протеста заканчивались тем, что жалобщики и обиженные должны были выкупать свою строптивость новою данью. Одним словом, все привыкли к художествам Полуянова, считая их неизбежным злом, как градобитие, а сам Полуянов привык к этому оригинальному режиму еще больше. Но с последним казусом вышла большая заминка. Нужно же было сибирскому исправнику наскочить на упрямого сибирского попа.

В одно прекрасное утро была запряжена заслуженная кобыла, и поп Макар покатил в Заполье. Здесь он прежде всего толкнулся к соборному протопопу, с которым вместе учился в семинарии, и по пунктам изложил нанесенную Полуяновым обиду.

— Да, казус, — глубокомысленно согласился протопоп. — Не благопотребно для твоего сана, а, между прочим, того...

— А я, во-первых, буду жаловаться.

— Смотри, отец, чтобы хуже не вышло. Иные нецыи пробовали прати противу рожна и должны были заплатить сугубую мзду за свою излишнюю и неблаговременную строптивость.

— Во-вторых, я никого не боюсь, — смело заявлял суслонский поп. — Я буду обличать нового Ахава...

— А может быть, возможно все кончить по соглашению?

В этих видах поп Макар отправился к старому Луковникову, как к человеку почтенному и облеченному властью. Тарас Семеныч выслушал деревенского попа, покачал головой и заявил:

— Я тут ничего не могу сделать, отец Макар.

— Да вы поговорите с Ахавом, Тарас Семеныч. Может быть, он вас выслушает.

— Попробую.

Эта проба привела только к тому, что Полуянов страшно вспылил.

— Да я этого попишку самого... Да я его в порошок изотру!

— Вам ближе знать, Илья Фирсыч, — политично заметил Луковников. — Я для вашей же пользы говорю... Неровен час, все может быть.

— Ученого учить — только портить, — с гордостью ответил Полуянов, окончательно озлившийся на дерзкого суслонского попа. — Весь уезд могу одним узлом завязать и отвечать не буду.

Как это ни странно, но до известной степени Полуянов был прав. Да, он принимал благодарности, а что было бы, если б он все правонарушения и казусы выводил на свежую воду? Ведь за каждым что-нибудь было, а он все прикрывал и не выносил сору из избы. Взять хоть ту же скоропостижную девку, которая лежит у попа на погребе: она из Кунары, и есть подозрение, что это работа Лиодорки Малыгина и Пашки Булыгина. Всех можно закрутить так, что ни папы, ни мамы не скажут.

Полный сознания своей правоты, Полуянов и в ус себе не дул. Такие ли дела сходили с рук! Он приберегал теперь Малыгиных и Булыгиных, как постоянную доходную статью. Потом голова его была занята неотступною мыслью, как обработать Шахму: татарин богатый и до сих пор отделывался грошами. У Полуянова явилась смелая мысль пристегнуть к делу о скоропостижной девке вот этого миллионера-татарина, который кутил с Штоффом в Кунаре. Оставалось восстановить только факт, что он кутил именно с этой девкой. Требовалась тонкая работа. Кстати, эта скоропостижная девка была та самая красавица Матрена, которая обнимала Галактиона. Убитую хитрые двоеданы увезли в другой конец уезда и подбросили к православной деревне.

«Только бы подтянуть к этому делу Шахму, — мечтал Полуянов, хмуря глаза, — растерзали бы мы его на части».

С этой целью Полуянов несколько раз ездил в Кунару, жестоко кутил и наводил справки под рукой. Его бесило главным образом то, что в этой истории замешался проклятый немец Штофф, который, в случае чего, вывернется, как уж. Вся эта сложная комбинация поглощала теперь все внимание Полуянова, и он плевать хотел на какого-то несчастного попа. А тут еще деньги нужны. Проигравшись как-то в клубе в пух и прах, Полуянов на другой день с похмелья

отправился к Шахме и без предисловий заявил свои подозрения. Богач-татарин струсил сразу.

— Да, жаль, — повторил Полуянов. — Может быть, ты и не виноват, а затаскают по судам, посадят в тюрьму.

Шахма расступился и отвалил исправнику сразу пять тысяч.

— Одна рука давал, другая не знал, — говорил он.

— Хорошо, хорошо. Увидим.

Разлакомившись легкой добычей, Полуянов захотел проделать такую же штуку с Малыгиными и Булыгиными. Но здесь получилась большая ошибка в расчете. Харитон Артемьич даже обрадовался, когда Полуянов заявил подозрение на Лиодора.

— Он, непременно он, Лиодорка, убил... Хоть сейчас присягу приму. В ножки поклонюсь, ежели ты его куда-нибудь в каторгу определишь. Туда ему и дорога.

— Позвольте, как же вы так говорите, Харитон Артемьич? Ведь он вам все-таки родной сын.

— На свои деньги веревку куплю, только пусть повесится!..

Тесть и зять совершенно забыли, что они родные. Когда Полуянов для ускорения переговоров уже назначил сумму благодарности, Харитон Артемьич опомнился.

— Постой, голова... Да ты куда пришел-то? Ведь я тебе родной тесть прихожусь?.. Есть на тебе крест-то?

— По поговорке: хлебцем вместе, а табачком врозь.

Увлеченный своими планами, Полуянов совершенно забыл о своих родственных отношениях к Малыгиным и Булыгиным, почесал в затылке и только плюнул. Как это раньше он не сообразил?.. Да, бывают удивительные случаи, а все проклятое похмелье. Просто какой-то анекдот. Для восстановления сил тесть и зять напились вместе.

— Вот тебе и зять! — удивлялся Харитон Артемьич. — У меня все зятья такие: большая родня — троюродное наплевать. Ты уж лучше к Булыгиным-то не ходи, только себя осрамишь.

— Что поделаешь? Забыл, — каялся Полуянов. — Ну, молите бога за Харитину, а то ободрал бы я вас всех, как липку. Даже вот бы как ободрал, что и кожу бы с себя сняли.

Хотя Харитон Артемьич и предупредил зятя относительно Булыгиных, а сам не утерпел и под пьяную руку все разболтал в клубе. Очень уж ловкий анекдот выходил. Это происшествие облетело целый город, как молния. Очень уж постарался Илья Фирсыч. Купцы хохотали доупаду. А тут еще суслонский поп ходит по гостиному двору и рассказывает, как Полуянов морозит у него на погребе скоропостижное девичье тело.

Странно, что все эти переговоры и пересуды не доходили только до самого Полуянова. Он, заручившись благодарностью Шахмы, вел теперь сильную игру в клубе. На беду, ему везло счастье, как никогда. Игра шла в клубе в двух комнатах старинного мезонина. Полуянов заложил сам банк в три тысячи и метал. Понтировали Стабровский, Ечкин, Огибенин и Шахма. В числе публики находились Мышников и доктор Кочетов. Игра шла крупная, и Полуянов загребал куши один за другим.

— Вам сегодня везет, как висельнику, — заметил разозлившийся Стабровский.

Именно в этот момент Полуянова вызвали.

— А, черт, умереть спокойно не дадут! — ругался он. — Скажи, чтобы подождали!

Лакей ушел и вернулся.

— Ваше высокоблагородие, Илья Фирсыч, приказано.

— Что-о?

— От следователя.

Произошел небывалый в стенах клуба скандал. Полуянов был взят прямо из-за карточного стола и арестован. Ему не позволили даже заехать домой.

Следователь Куковин был очень непредставительный мужчина, обремененный многочисленным семейством и живший отшельником. Он, кажется, ничего не знал, кроме своих дел.

— Я считаю необходимым подвергнуть вас аресту, господин Полуянов, — сонно заявил следователь, потягиваясь в кресле.

— Вы не имеете права.

— Позвольте мне самому знать мои права... А вас я вызову, когда это будет нужно.

И только всего. Полуянов совершенно растерялся и сразу упал духом. Сколько тысяч людей он заключал в скверный запольский острог, а теперь вот приходится самому. Когда он остался один в камере, — ему предоставили льготу занять отдельную камеру, — то не выдержал и заплакал.

— За что? О господи, за что?.. Ах, все это проклятый суслонский поп наделал!.. Только бы мне освободиться отсюда, уж я бы задал перцу проклятому попу!

Когда на другой день приехал к Харитине встревоженный Галактион, она встретила его довольно равнодушно и лениво проговорила:

— Этого нужно было ожидать... Ах, мне решительно все равно!

— Скверная штука может быть... Ссылка на поселение в лучшем случае.

Харитина что-то соображала про себя, а потом оживленно проговорила:

— Ведь я говорила, что Мышников будет мстить. Это он научил суслонского попа... Ах, какой противный человек, а еще уверял, что любит меня!

Легкомыслие Харитины, как к нему Галактион ни привык, все-таки изумило его. Она или ребенок, или безвозвратно погибшая женщина. Его начинало коробить.

— Послушай, Харитина, поговорим серьезно... Ведь надо чем-нибудь жить. Есть у вас что-нибудь про черный день?

— Муж говорил, что, когда умрет, я буду получать пенсию.

— И только? Теперь нечего и думать о пенсии. Ну, значит, тебе придется идти к отцу.

— Благодарю покорно... Никогда! Я лучше на содержание к Мышникову пойду.

— Перестань болтать глупости. Нужно обсудить дело серьезно... Да, серьезно.

— Что тут обсуждать, когда я все равно ничего не понимаю? Такую дуру вырастили тятенька с маменькой... А знаешь что? Я проживу не хуже, чем теперь... да. Будут у меня руки целовать, только бы я жила попрежнему. Это уж не Мышников сделает, нет... А знаешь, кто?

— Ничего я не знаю.

— Ступай и посмотри в зеркало.

Харитина засмеялась и выбежала из комнаты, а Галактион действительно подошел к зеркалу и долго смотрел в него. Его лицо тоже искривилось улыбкой, — он вспомнил про детей.

«Нет, никогда этому не бывать, Харитина Харитоновна!» — сказал он самому себе, повернулся и вышел.

На лестнице он встретил полицию, явившуюся опечатывать имущество Полуянова.

XII

Арест Полуянова и следствие по этому делу заняли все внимание Заполья и всего Запольского уезда. Ничего подобного еще не случалось до сих пор. Выплыла целая серия мелких плутней, подлогов, вымогательств, всяческих правонарушений и побоев без конца. Появилась даже в столичных газетах длинная корреспонденция о деле Полуянова, причем неизвестный корреспондент намекал, что это дело служит только к целому ряду других, которые Полуянов покрывал «из благодарности». Между прочим, был намек и на бубновский конкурс. Эта корреспонденция была ударом грома. Все переполошились окончательно. Главное, кто мог написать все это? Где корреспондент? А несомненно должен быть, и несомненно — свой человек, знавший всю подноготную Заполья.

— Это он только сначала о Полуянове, а потом и до других доберется, — толковали купцы. — Что же

это такое будет-то? Раньше жили себе, и никому дела до нас не было... Ну, там пожар, неурожай, холера, а от корреспондента до сих пор бог миловал. Растерзать его мало, этого самого корреспондента.

Явилось предположение, что писал кто-нибудь «из поляков» или «из жидов», — народ известный. От полуяновского-то дела никому не поздоровится, ежели начнут делать переборку.

Бубновский конкурс встревожил больше всех Галактиона.

— Э, вздор! — успокаивал Штофф. — Черт дернул Илюшку связаться с попом. Вот теперь и расхлебывай... Слышал, Шахма-то как отличился у следователя? Все начистоту ляпнул. Ведь все равно не получит своих пять тысяч, толстый дурак... Ну, и молчал бы, а то только самого себя осрамил.

Галактион понимал только одно, что не сегодня-завтра все конкурсные плутни выплывут на свежую воду и что нужно убираться отсюда подобру-поздорову. Штоффу он начинал не доверять. Очень уж хитер немец. Вот только бы банк поскорее открыли. Хлопоты по утверждению банковского устава вел в Петербурге Ечкин и писал, что все идет отлично.

Несколько раз Галактион хотел отказаться от конкурса, но все откладывал, — и жить чем-нибудь нужно, и другие члены конкурса рассердятся. Вообше, как ни кинь — все клин. У Бубновых теперь Галактион бывал совсем редко, и Прасковья Ивановна сердилась на него.

— Впрочем, вам теперь много хлопот с Харитиной, — язвила она с женскою жестокостью. — У нее только и осталось, что дала ей природа.

— Прасковья Ивановна, вы забываете, что Харитина — моя близкая родственница и что она сейчас в таком положении...

— Да? Скажите, пожалуйста, а я и не подозревала, что она в *таком* положении... Значит, вам предстоят новые хлопоты.

Ей нравилось сердить Галактиона, и эта игра увлекала ее. Очень красиво, когда настоящий мужчина сердится, — так бы, кажется, в мелкие крошки рас-

шиб, а только вот по закону этого не полагается. Раз, увлекшись этою игрой, Прасковья Ивановна даже испугалась.

— Да вы меня и в самом деле ударите, — говорила она, отодвигая свое кресло. — Слава богу, что я не ваша жена.

Галактион был бледен и смотрел на нее остановившимися глазами, тяжело переводя дух. «Ах, какой он милый! — восхищалась Прасковья Ивановна, сама деспот в душе. — Это какой-то тигр, а не мужчина!»

Поведение Прасковьи Ивановны положительно отталкивало Галактиона, тем более что ему решительно было не до любовных утех. Достаточно было одного домашнего ада, а тут еще приходится заботиться о сумасбродной Харитине. Она, например, ни за что не хотела выезжать из своей квартиры, где все было описано, кроме ее приданого.

— Буду здесь жить, и конец! — повторяла она. — Пусть и меня описывают!

Она дошла до того, что принялась тосковать о муже и даже плакала. И добрый-то он, и любил ее, и напрасно за других страдает. Галактиону приходилось теперь частенько ездить с ней в острог на свидания с Полуяновым, и он поневоле делался свидетелем самых нежных супружеских сцен, причем Полуянов плакал, как ребенок.

— Он из-за меня страдает, — повторяла Харитина. — Из-за меня Мышников подвел его.

Полуянов в какой-нибудь месяц страшно изменился, начиная с того, что уже по необходимости не мог ничего пить. С лица спал пьяный опух, и он казался старше на целых десять лет. Но всего удивительнее было его душевное настроение, складывавшееся из двух неравных частей: с одной стороны — какое-то детское отчаяние, сопровождавшееся слезами, а с другой — моменты сумасшедшей ярости.

— Ведь я младенец сравнительно с другими, — уверял он Галактиона, колотя себя в грудь. — Ну, брал... ну, что же из этого? Ведь по грошам брал, и даже стыдно вспоминать, а кругом воровали на сотни тысяч. Ах, если б я только мог рассказать все!.. И все

они правы, а я вот сижу. Да это что... Моя песня спета. Будет, поцарствовал. Одного бы только желал, чтобы меня выпустили на свободу всего на одну неделю: первым делом убил бы попа Макара, а вторым — Мышникова. Рядом бы и положил обоих.

Странно, что первый об утверждении устава нового банка сообщил Галактиону в остроге Полуянов и тут же предупредил:

— Ну, я скажу тебе, голубчик, по секрету, ты далеко пойдешь... Очень далеко. Теперь ваше время... да. Только помни старого сибирского волка, исправника Полуянова: такова бывает превратность судьбы. Был человек — и нет человека.

Эта новость была отпразднована у Стабровского на широкую ногу. Галактион еще в первый раз принимал участие в таком пире и мог только удивляться, откуда берутся у Стабровского деньги. Обед стоил на плохой конец рублей триста, — сумма, по тугой купеческой арифметике, очень солидная. Ели, пили, говорили речи, поздравляли друг друга и в заключение послали благодарственную телеграмму Ечкину. Галактион, как ни старался не пить, но это было невозможно. Хозяин так умел просить, что приходилось только пить.

— Ведь вы только представьте себе, господа, — кричал Штофф, — мы поднимаем целый край. Мертвые капиталы получают движение, возрождается несуществовавшая в крае промышленность, торговля оживляется, земледелие процветает. Одним словом, это... это... это — воскресение из мертвых!

Кто-то даже припомнил, что для полноты торжества недостает только Полуянова, и пьяные дельцы будущего банка выпили даже за его здоровье.

Галактион вышел от Стабровского с каким-то сладким туманом в голове. Он долго стоял на подъезде, слегка пошатываясь и не зная, куда ему идти с таким настроением. Куда угодно, но только не домой. Там уныние, тоска, убитое лицо жены... Он припомнил, что бросает бубновский конкурс, следовательно, должен предупредить Прасковью Ивановну. Давно желанный момент наступил. Да, теперь уж ему не

нужно будет ездить в бубновский дом и принимать за это всяческие неприятности дома, а главное — вечно бояться. Слова Полуянова стали перед ним живьем.

Прасковья Ивановна, по обыкновению, была дома и посмотрела с удивлением на Галактиона, который вошел к ней с необычною развязностью.

— Вы где-то веселились, Галактион Михеич?

— Да, немножко обрадовались, Прасковья Ивановна... да. Вот заехал к вам объявить, что кончено, выхожу из вашего конкурса... да. Свое дело будет, — некогда.

Она смотрела на него и не узнавала. Видимо, что человек много выпил, но что значит выпивка такому цветущему молодому мужчине?

— Вы садитесь вот сюда, рядом со мной, и потолкуем, — предложила она. — Меня удивляет ваша радость. Вы ведь рады именно потому, что, наконец, избавляетесь от меня, да? А только нужно спросить и меня: а может быть, я не согласна?

— То есть как же это так не согласны?

— Да так. Возьму и не отпущу.

Он засмеялся и взял ее за руку.

— Уж это вы кого другого не отпускайте, Прасковья Ивановна, а я-то в таких делах ни при чем.

— Да, я знаю, что вам все равно, — как-то печально ответила она, опуская глаза. — Что же делать, силою милому не быть. А я-то думала... Ну, да это все равно — что я думала!

— Нет, вы скажите, что вы думали?

Он крепко сжал ее руку, так что она вскрикнула от боли. Потом она хотела подняться со своего стула, но он удержал ее и засмеялся.

— Раньше вы со мной шутки шутили... да, — шептал он. — Помните? Ну, да это все равно... Видите, как у нас дело-то сошлось: вам все равно и мне все равно.

Вечером поздно Серафима получила записку мужа, что он по неотложному делу должен уехать из Заполья дня на два. Это еще было в первый раз, что

Галактион не зашел проститься даже с детьми. Женское сердце почуяло какую-то неминуемую беду, и первая мысль у Серафимы была о сестре Харитине. Там Галактион, и негде ему больше быть... Дети спали. Серафима накинула шубку и пешком отправилась к полуяновской квартире. Там еще был свет, и Серафима видела в окно, что сестра сидит у лампы с Агнией. Незачем было и заходить.

Ужасная была эта первая ночь. Серафима больше не верила мужу и переживала теперь жгучую боль. Да, он теперь радуется с другой, а постылая жена убивается одна-одинешенька. Тихо-тихо в квартире. Слышно, как сердце бьется. Ну что же, разлюбил, бросил ее, а как же детей не жаль, как не стыдно будет им-то в глаза смотреть?.. И за что? Да и горе такое, что и рассказать про него трудно кому-нибудь, даже родной матери. Видела Серафима таких постылых жен и вперед рисовала себе то неприглядное будущее, которое ее ожидало. А она-то как его любила!.. Как хорошо они жили там, на мельнице!.. И еще она же сама желала переехать в город, чтобы здесь веселиться и жить, как все другие живут. Хорошо веселье, нечего сказать!.. Серафима проплакала всю ночь, стоя у окна и поджидая, не подъедет ли он, тот, кому она отдала всю душу.

Галактион вернулся домой только вечером на другой день. Серафима бросилась к окну и видела, как от ворот отъезжал извозчик. Для нее теперь было все ясно. Он вошел сердитый, вперед приготовившись к неприятной сцене.

— Ну, что, как Бубниха поживает? — спросила Серафима, не выдержав.

— Тебе кланяется.

— У нее ночевал?

Вместо ответа Галактион размахнулся и ударил жену по лицу. Она вскрикнула и присела. Его охватило внезапное бешенство, и он схватил ее за плечо. Но в этот момент в дверях показался какой-то старик небольшого роста, в раскольничьем полукафтанье. Взглянув на него, Галактион так и обомлел: это был

тот самый старик, черный, как жук, которого он тогда встретил в Кунаре у двоедана Спиридона. Теперь он его узнал, — старик бывал еще у отца на заводах, куда приезжал откуда-то из скитов. Он пользовался громкою популярностью, как человек святой жизни и прозорливец.

— Галактион Михеич, иди-ка сюда... — коротко произнес старец.

Галактиону вдруг захотелось обругать и выгнать старца, но вместо этого он покорно пошел за ним в боковую комнату, заменявшую ему кабинет. За ними ворвалась Серафима и каким-то хриплым голосом крикнула:

— Бей... ну, бей!.. Будет лучше, если убьешь... и вместе с детьми...

Потом она зарыдала, начала причитать, и старик вежливо вывел ее из комнаты. Галактион присел к письменному столу и схватился за голову. У него все ходило ходенем перед глазами, точно шатался весь дом. Старик вернулся, обошел его неслышными шагами и сел напротив...

— Галактион Михеич...

— Ну, что тебе нужно? — отозвался грубо Галактион.

— А ты не сердитуй, миленький.. Сам кругом виноват. На себя сердишься... Нехорошо, вот что я тебе скажу, миленький!.. Затемнил ты образ нескверного брачного жития... да. От скверны пришел и скверну в себе принес. Свое-то гнездо постылишь, подружию слезишь и чад милых не жалеешь... Вот что я тебе скажу, миленький!.. Откуда пришел-то?

— Где был, там ничего не осталось.

— А остуду-то с собой захватил, миленький? Домашний-то грех побольше будет стороннего... Яко червь точит день и ночь.

Старик пересел рядом с Галактионом и заговорил тихим ласковым голосом:

— Свое-то маленькое бросил, Галактион Михеич, а за большим чужим погнался. С бритоусыми и табашниками начал знаться, с жидами и немцами смесился...

Они-то, как волки, пришли к нам, а ты в ихнюю стаю забежал... Ох, нехорошо, Галактион Михеич! Ох, велики наши грехи, и конца им нет!.. Зачем подружию милую обидел? Чадо милое, не лютуй, не злобься, не впадайся в ненужную ярость, ибо великий ответ дадим на великом судилище христове...

Галактион закрыл лицо руками и рыдал.

— Дедушка, сам не знаю, что со мной делается...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Перед Ильиным днем поп Макар устраивал «помочь». На покос выходило до полуторых сот косцов. Мужики любили попа Макара и не отказывались поработать денек. Да и как было не поработать, когда поп Макар крестил почти всех косцов, венчал, а в будущем должен был похоронить? За глаза говорили про попа то и се, а на деле выходило другое. Теперь в особенности популярность попа Макара выросла благодаря свержению ига исправника Полуянова.

— Никто же не смел ему препятствовать, исправнику, — говорили между собой мужики, — а поп Макар устиг и в тюрьму посадил... Это все одно, что медведю зубы лечить.

Недоволен был только сам поп Макар, которому уже досталось на орехи от некоторых властодержцев. Его корили, зачем погубил такого человека, и пугали судом, когда потребуют свидетелем. Даже такие друзья, как писарь Замараев и мельник Ермилыч, заметно косились на попа и прямо высказывали свое неудовольствие.

— Ты бы то подумал, поп, — пенял писарь, — ну, пришлют нового исправника, а он будет еще хуже. К этому-то уж мы все привесились, вызнали всякую его повадку, а к новому-то не будешь знать,

с которой стороны и подойти. Этот нащечился, а новый-то приедет голенький да голодный, пока насосется.

— А ежели он, во-первых, хотел взятку с меня вымогать? — слабо оправдывался поп. — Где это показано, штобы с попов взятки-то брали?

— Ах, ты какой!.. — удивлялся писарь. — Да ведь ежели разобрать правильно, так все мы у батюшки-то царя воры и взяточники. Правду надо говорить... Пчелка, и та взятку берет.

Нашлись доброхоты и заступники, которые припоминали за Полуяновым немало добра. Конечно, все дело по сравнению с другими. Другие-то разве лучше? Дай-ка им такую силу, так и не то бы наделали. Крут был Полуянов, да зато отходчив: расказнит и тут же помилует. А главное то, что был орел орлом. С налету все брал. Складывалась о Полуянове живая легенда, и никто не хотел верить, что его засудят. Судьи-то разве слепые? Судить, так всех суди, а не одного Полуянова. Мало ли греха наберется, а за всех отвечай Полуянов один.

Когда мельник Ермилыч заслышал о поповской помочи, то сейчас же отправился верхом в Суслон. Он в последнее время вообще сильно волновался и начинал не понимать, что делается кругом. Только и радости, что поговорит с писарем. Этот уж все знает и всякое дело может рассудить. Закон-то вот как выучил... У Ермилыча было страстное желание еще раз обругать попа Макара, заварившего такую кашу. Всю округу поп замутил, и никто ничего не знает, что дальше будет.

Писарь Замараев чувствовал тоже себя не совсем хорошо и встретил старого приятеля довольно сумрачно.

— А я к тебе, Флегонт Васильич... — замялся Ермилыч. — Сегодня у попа «помочь».

— Ну?

— Есть у меня словечко ему сказать... Осрамил он нас всех, вот что. Уж я думал, думал и порешил: поеду и обругаю попа.

— Ты дурак, Ермилыч. Вместе с Полуяновым хочешь посидеть?

— Да нет... Я от писания буду попа донимать, чтобы он чувствовал. Невозможно... Поедем на покос.

Писарь сумрачно согласился. Он вообще был не в духе. Они поехали верхами. Поповский покос был сейчас за Шеинскою курьей, где шли заливные луга. Под Суслоном это было одно из самых красивых мест, и суслонские мужики смотрели на поповские луга с завистью. С высокого правого берега, точно браною зеленою скатертью, развертывалась широкая картина. Сейчас она была оживлена сотнями косцов, двигавшихся стройною ратью. Ермилыч невольно залюбовался и со вздохом проговорил:

— Этакое житье этим попам!

— Отберут, — сумрачно заметил писарь. — И у попа... У всех отберут.

— У попа-то отберут? Да кто это посмеет чужое добро трогать?

— И трогать не будут, а сам отдашь... да. Такие нынче мудреные народы проявились.

— А, это ты про запольских немцев да жидов говоришь!.. Гм... Д-да-а, нар-родец!

Прежде Ключевую под курьей нужно было только в лодке переплывать, а теперь переехали в брод, вода едва хватала лошади по брюхо. Писарь опять озлился и, посмотрев вверх по Ключевой к Прорыву, заметил:

— Это проклятый колдун нашу воду копит... Вон как подпер всю реку! Вот навязался тоже чертушка... Настоящий водяной!

Они поехали сначала берегом вверх, а потом свернули на тропу к косцам. Издали уже напахнуло ароматом свежескошенной травы. Косцы шли пробившеюся широкою линией, взмахивая косами враз. Получался замечательный эффект: косы блестели на солнце, и по всей линии точно вспыхивала синеватая молния, врезывавшаяся в зеленую живую стену высокой травы. Работа началась с раннего утра, и несколько десятин уже были покрыты правильными рядами свежей кошенины.

— А вот и поп! — указал Ермилыч на кусты, из-за которых поднималась струйка синего дыма.

Поп Макар скоро показался и сам. Он вышел из-за кустов в одной рубашке и жилете. Черная широкополая поповская шляпа придавала ему вид какого-то гриба или Робинзона из детской книжки. Разница заключалась в тоненькой, как крысиный хвост, косице, вылезавшей из-под шляпы.

— Поздненько на помочь-то выехали, други милые, — попенял старик, здороваясь с приятелями.

— Иже в девятом часу вышли на работу и те получили ту же мзду, — ответил Ермилыч, понахватавшийся от писания.

— То-то вот очень уж много охотников-то до мзды, во-первых, а во-вторых, надо ее умеючи брать, ибо и мзда идет к рукам.

Поповский стан был устроен очень уютно. Стояли три телеги с поднятыми оглоблями, а на них раскинут громадный полог. Получался импровизированный шатер, перед которым курился какой-то сказочный «огонечек малешенек». Под дымом стояла неизменная поповская кобыла, отмахивавшаяся от овода куцым, точно обгрызенным хвостом. В телегах была навезена разная снедь и стояла целая бочка домашнего квасу. Три мужика цедили квас в деревянные ведерки и разносили по косцам. Поп Макар тревожно поглядывал на солнце и думал о том, управится ли дома попадья во-время. Легко ли накормить и напоить такую ораву помочан. Он был совсем не рад приехавшим гостям. Не до них было.

— Не в пору гость — хуже татарина, — заметил Ермилыч, слезая с лошади. — Что делать, поп, потерпи... Мы от тебя и не это терпим. Мы здесь все попросту. Да... Одною семьей...

— А ты опять про Ахава нечистивого?

— Ахав-то Ахавом, а прежде старинные люди так говорили: доносчику первый кнут... Ты это слыхивал?

— Ну, а потом? — спрашивал поп, снимая свою шляпу.

— Потом-то?.. А потом будем говорить так: у апостола Павла что сказано насчет мзды?

— Разное сказано.

— Нет, не разное, а пряменько говорится: *делающему мзда не по благодати, а по долгу,* — значит, бери, а только выручи. Так, Флегонт Васильич?

— Ничего я не знаю от писания, — признался писарь. — Вот насчет закона, извини, могу соответствовать кому угодно.

— Друг, тебя научили этому, во-первых, ваши старые бабы-начетчицы, — заговорил поп Макар, — а во-вторых, други, мне некогда.

Поп надел шляпу и пошел к косцам. Это было почетное бегство, и Ермилыч захохотал.

— Это называется — милости просим через забор шляпой щей хлебать, — объяснил писарь, разваливаясь на траве.

— А угощенье, которым ворота запирают, дома осталось. Ха-ха! Ловко я попа донял... Ну, нечего делать, будем угощаться сами, благо я с собой захватил бутылочку.

Ермилыч добыл из-за пазухи бутылку с водкой, серебряный стаканчик, а потом отправился искать на возу закуски. И закуска нашлась — кочан соленой капусты и пшеничный пирог с зеленым луком. Лучшей закуски не могло и быть.

— Выпьем за здоровье Макара, — предлагал Ермилыч, подавая писарю первый стаканчик. — Ловко он стрекача задал.

Писарь отмалчивался и все хмурился. Они прилегли к огоньку и предались кейфу. Ермилыч время от времени дрыгал ногами и ругал надоедавший овод.

— У! Чтобы вам пусто было, окаянным!

— Да... вообще... — думал писарь вслух... — Вот мы лежим с тобою на травке, Ермилыч... там, значит, помочане орудуют... поп Макар уж вперед все свои барыши высчитал... да... Так еще, значит, отцами и дедами заведено, по старинке, и вдруг — ничего!

— Как ничего?

— Да так... Вот ты теперь ешь пирог с луком, а вдруг протянется невидимая лапа и цап твой пирог. Только и видел... Ты пасть-то раскрыл, а пирога уж

нет. Не понимаешь? А дело-то к тому идет и даже весьма деликатно и просто.

Ермилыч сел и с каким-то ожесточением выпил два стаканчика зараз. Очень уж изводил его писарь своим разговором.

— Ты это все насчет Заполья, Флегонт Васильич, тень наводишь?

— Да насчет всего... Ты вот думаешь: «далеко Заполье», а оно уж тут, у тебя под носом. Одним словом — все слопают.

— Каким же это манером, Флегонт Васильич?

— А даже очень просто... Хлеб за брюхом не ходит. Мы-то тут дураками печатными сидим да мух ловим, а они орудуют. Взять хоть Михея Зотыча... С него вся музыка-то началась. Помнишь, как он объявился в Суслоне в первый раз? Бродяга не бродяга, юродивый не юродивый, а около того... Промежду прочим, оказал себя поумнее всех. Недаром он тогда всех нас дурачками навеличивал и прибаутки свои наговаривал. Оно и вышло, как по-писаному: прямые дурачки. Разе такой Суслон-то был тогда?

— Тебе же лучше, Флегонт Васильич... И народ умножился и рукомесло всякое. По зиме-то народ у вас, как вода в котле кипит.

— Глуп ты, Ермилыч, свыше всякой меры... У тебя вот Михей-то Зотыч сперва-наперво пшеницу отобрал, а потом Стабровский рожь уведет.

— Всем хватит, Флегонт Васильич.

— Опять ты глуп... Раньше-то ты сам цену ставил на хлеб, а теперь будешь покупать по чужой цене. Понял теперь? Да еще сейчас вам, мелкотравчатым мельникам, повадку дают, а после-то всех в один узел завяжут... да... А ты сидишь да моргаешь... «Хорошо», говоришь. Уж на что лучше... да... Ну, да это пустяки, ежели сурьезно разобрать. Дураков учат и плакать не велят... Похожи есть патреты. Вот как нашего брата выучат!

Для Ермилыча было много непонятного в этих странных речах, хотя он и привык подчиняться авторитету суслонского писаря и верил ему просто из веж-

ливости. Разве можно не поверить этакому-то человеку, который всякий закон может рассудить?

— И это еще ничего, Ермилыч, — ну, отобрали у тебя пшеницу, отобрали рожь... Ничего, говорю. А тут они вредную самую штуку удумали... Слышал про банк-то? Это уж настоящая музыка. Теперь у меня, напримерно, три тыщи капиталу. Государственный банк дает пять процентов. Так? А они сейчас: бери девять. Лестно тебе это или нет? Конечно, лестно... А они этот же самый капитал в оборот пустят по двадцать четыре процента... Это как, по-твоему? Силища неочерпаемая. Мне это милые зятья объяснили, Галактион да Карла. Вот какое дело выходит... Всех заберут в лапы, Ермилыч, как пить дадут.

Вместо ответа Ермилыч упал на траву и удушливо захохотал.

— Да ты что ржешь-то, свинья? — озлился писарь.

— Удивил!.. Ха-ха!.. Флегонт Васильич, отец родной, удивил! А я-то всего беру сто на сто процентов... Меньше ни-ни! Дело полюбовное: хочешь — не хочешь. Кто шубу принесет в заклад, кто телегу, кто снасть какую-нибудь... Деньги деньгами, да еще отработай... И еще благодарят. Понял?

Писарь опешил. Он слыхал, что Ермилыч ссужает под заклады, но не знал, что это уже целое дело. И кому в башку придет: какой-то дурак мельник... В конце концов писарь даже обиделся, потому что, очевидно, в дураках оказался один он.

II

Этот разговор с Ермилычем засел у писаря в голове клином. Вот тебе и банк!.. Ай да Ермилыч, ловко! В Заполье свою линию ведут, а Ермилыч свои узоры рисует. Да, штучка тепленькая, коли на то пошло. Писарю даже сделалось смешно, когда он припомнил родственника Карлу, мечтавшего о своем кусочке хлеба с маслом. Тут уж дело пахло не кусочком и не маслом.

Выпивший почти всю водку Ермилыч тут же и заснул, а писарь дождался попа Макара, который пришел с покоса усталый, потный и казавшийся еще меньше, как цыпленок, нечаянно попавший в воду.

— Ну, слава богу, покончили, — проговорил он, припадая запекшимися губами к ведру с квасом. — И по домам пора.

— Что же ты нас-то с Ермилычем не пригласишь в гости? — обиделся писарь, наблюдая попа Макара.

— Чего вас звать? Сами приедете.

— Все-таки в церковь ходят по звону, а в гости по зову.

— Ну, коли так, так милости просим.

— Значит, ходите почаще мимо, без вас веселее?.. Поп, не гордись... В некоторое время и мы с Ермилычем можем пригодиться.

— Послушай, да что ты ко мне-то привязался, сера горючая? — озлился о. Макар.

— Ну, ладно, ладно... И так приедем.

Солнце еще не село, когда помочане веселою гурьбой тронулись с покоса. Это было целое войско, а закинутые на плечи косы блестели, как штыки. Кто-то затянул песню, кто-то подхватил, и она полилась, как река, выступившая в половодье из своих берегов. Суслонцы всегда возвращались с помочей с песнями, — так уж велось исстари.

Поп Макар уехал раньше, чтобы встретить помочан у себя в доме, а писарь с Ермилычем возвращались прежнею дорогой. Писарь еще раз полюбовался поповскими лугами, от которых поднимался тяжелый аромат свежескошенной травы.

— Эх, хорошо! — вслух думал писарь, приглядывая поемный луг из-под руки. — Неужто же *они* и это слопают?

Мысль была обидная и расстраивала писаря, хотя благодаря разговору с Ермилычем у него явилась слабая надежда на что-то лучшее, на возможность какого-то выхода. Да, еще не все пропало. Писарский нос чуял какую-то поживу, хотя форма этой поживы еще и не определилась ясно. Потом ему делалось

обидно, что другие малыгинские зятья все зажили по-новому, кончая Галактионом, и только он один остался точно за штатом. Конечно, обидно, потому что чем он хуже этих других прочих? Почище еще будет, только дай срок развернуться. Тоже родня называется: хоть бы чем-нибудь поманили для начала. Писарство уже надоело Замараеву, да и времена наступали трудные. Неизвестно, кого еще назначат вместо Полуянова, а новая метла всегда чисто начинает мести. Привыкай-ка к новому начальству да подлаживайся.

— Эх, жисть каторжная! — вздыхал Замараев, вспоминая Полуянова. — И дернуло тогда попа... Лучше бы, кажется, своими деньгами тогда откупиться.

Вообще, как ни поверни, — скверно. Придется еще по волости отсчитываться за десять лет, — греха не оберешься. Прежде-то все сходило, как по маслу, а нынче еще неизвестно, на кого попадешь. Вот то ли дело Ермилычу: сам большой, сам маленький, и никого знать не хочет.

Первый, кто встретил писаря и Ермилыча в поповском доме, был Вахрушка.

— Ты, крупа, по какой-такой причине объявился здесь? — сердито спросил его писарь, все еще имевший на старика «зуб».

— А уж так, Флегонт Васильич, — довольно смело ответил Вахрушка, вытягиваясь по-солдатски. — Куды добрые люди, туды и мы.

— Видно, в Прорыве насчет водки плохо? — подсмеивался Ермилыч.

— Какая там водка! И в заведении этого составу нет. В том роде, как монастырское положенье.

— Колдунами живете, — ругался писарь. — Только добрых людей морочите.

— Плохая наша ворóжба, Флегонт Васильич. Михей-то Зотыч того, разнемогся, в лежку лежит. Того гляди, скапутится. А у меня та причина, что ежели он помрет, так жалованье мое все пропадет. Денег-то я еще и не видывал от него, а уж второй год живу.

— Так тебе и надо, старому черту! Зачем службу настоящую бросил? Вот теперь и поглядывай, как лиса в кувшин.

— Уж как господь пошлет, а я только об одном молюсь, как бы я с него лишнего не взял... да. Вот теперь попадье пришел помогать столы ставить.

Вахрушка не сказал главного: Михей Зотыч сам отправил его в Суслон, потому что ждал какого-то раскольничьего старца, а Вахрушка, пожалуй, еще табачище свой запалит. Старику все это казалось обидным, и он с горя отправился к попу Макару, благо помочь подвернулась. В самый раз дело подошло: и попадье подсобить и водочки с помочанами выпить. Конечно, неприятно было встречаться с писарем, но ничего не поделаешь. Все равно от писаря никуда не уйдешь. Уж он на дне морском сыщет.

А в поповском доме с раннего утра шло настоящее столпотворение. Сколько было нужно всего заготовить, чтобы накормить и напоить такую ораву помочан! Рябая и толстая попадья Луковна (сокращенное от Лукинична) сбилась с ног, несмотря на помощь писарихи Анны Харитоновны. Она обливалась потом и бегала на погреб, чтобы перевести дух и хлебнуть холодненького домашнего пивца. Попадья была строга и держала мужа в ежовых рукавицах, а тут распинайся для всех, как каторжная. Кроме писарихи, ей помогала еще одна, совсем новая женщина в Суслоне, не имевшая официального положения: это была Арина Матвеевна, сожительница Емельяна. Она недавно приехала и проживала в Суслоне, не смея показать носу на мельницу. Высокая и красивая, она всем понравилась, и попадья принимала ее, как будущую жену Емельяна.

— Вот помрет старик, тогда Емельян и примет закон, — говорила попадья с уверенностью опытного в таких делах человека. — Что делать, нашей сестре приходится вот как терпеть... И в законе терпеть и без закона.

Арина Матвеевна каждый раз так хорошо смущалась от таких разговоров, и попадья ее жалела. Хо-

рошо уж очень застыдится бабочка. Сейчас Арина Матвеевна старалась услужить попадье, чтобы хоть этим отплатить ей за доброту.

Появление Вахрушки обрадовало попадью больше всего.

— Все-таки мужчинка, хоть и старо место, — откровенно объяснила она. — Бабы-то умаялись без тебя, Вахрушка... Скудельный сосуд.

— Уж постараемся, попадья, — заявил Вахрушка. — Старый конь борозды не портит.

— А ты бы по первоначалу хлебнул пивца холодненького, Вахрушка. Кощей-то заморил тебя.

— Ох, заморил!

Помощь Вахрушки дала сейчас же самые благодетельные результаты. Он кричал на баб, ставивших столы во дворе, чуть не сшиб с ног два раза попадью, придавил лапу поповскому коту, обругал поповскую стряпуху, — одним словом, старался. Писаря и мельника он встречал с внутренним озлоблением, как непрошенных гостей.

— Вот черт принес! — жаловался он попадье. — Не нашли другого время, а еще мы да мы... и всякое обращение понимаем. Лезут не знамо куда.

— Поп и то жалился на них, — по секрету сообщила попадья. — Наехали, говорит, на покос и учали меня ругать за исправника.

Впрочем, незваные гости ушли в огород, где у попа была устроена под черемухами беседка, и там расположились сами по себе. Ермилыч выкрал у зазевавшейся стряпухи самовар и сам поставил его.

— На вольном-то воздухе вот как чайку изопьем, — говорил он, раздувая самовар. — Еще спасибо поп-то скажет. Дамов наших буду отпаивать чаем, а то вон попадья высуня язык бегает.

Писарь улегся на траву и ничего не говорил. Он был поглощен какою-то тайною мыслью и только угнетенно вздыхал.

Поповский дом теперь походил на крепость, занятую неприятелем. Пока ужинали, дело еще шло ничего, а потом началась уже настоящая попойка. Одной водки было выставлено шесть ведер, не считая

домашнего пива. Глухой сдержанный говор во время еды быстро сменялся пьяным галденьем, криком и песнями. Скоро уже ничего нельзя было различить, и каждый орудовал в свою голову. Откуда-то явилась балалайка, и под ее треньканье поднялась ожесточенная пляска. Мужики галдели, бабы визжали, и стонала, кажется, сама земля от этого пьяного веселья. Писарь прислушивался к гомонившей помочи и только покачивал головой. Ну, пусть порадуются на последках, а там уж, что бог даст. Конечно, темный народ и ничего не понимает. Мысль о том, что все отберут, засела клином в крепкую писарскую голову. Ермилыч легкомысленно занят был настоящим и постоянно бегал к помочанам, где и успел порядочно выпить. В последний раз он вернулся в сопровождении писарихи и Арины Матвеевны.

— Испейте чайку, мадамы, а то без задних ног останетесь.

Последним пришел в садик поп Макар, не могший от усталости даже говорить, а попадью Луковну привели под руки.

— Ох, моченьки не стало! — жаловалась старушка. — До смертыньки умаялась. И кто это только придумал помочи!

— А вы наливочки, матушка, — предлагал Ермилыч. — Весь устаток как рукой снимет. Эй, Вахрушка, сорудуй насчет наливки!

— Слушаю-с! — ответил голос Вахрушки неизвестно откуда.

Спускалась уже безмолвная летняя ночь. Помочане разбрелись уже по своим домам. Только издали доносились обрывки пьяных песен, да на Ключевой гоготали сторожившиеся гуси. Поп увел Ермилыча в горницы, а писарь заснул на траве под шумок разговоров в беседке. Когда он проснулся, было уже совершенно темно и только из беседки доносился голос попадьи, рассказывавшей что-то бесконечное. Писарь прислушался. Речь шла о Галактионе и разных запольских делах. Изредка вставляли свое словечко Анна и Арина Матвеевна. Оказалось, что суслонские

дамы отлично знали решительно все, что делалось в Заполье, всю подноготную: и про Бубниху, с которой запутался Галактион, и про адвоката Мышникова, усадившего Полуянова в острог из-за Харитины, и про бубновский конкурс, и про банк и т. д.

— Вот так бабы! — изумлялся писарь, протирая глаза. — Откуда только они все вызнали?

— Серафима-то Харитоновна все глаза проплакала, — рассказывала попадья тягучим речитативом. — Бьет он ее, Галактион-то. Известно, озверел человек. Слышь, Анфуса-то Гавриловна сколько разов наезжала к Галактиону, уговаривала и тоже плакала. Молчит Галактион, как пень, а как теща уехала — он опять за свое.

— Гордилась Серафима мужем, — объясняла Анна. — Вот и плачется. За гордость господь наказал.

— И это бывает, — согласилась Арина Матвеевна с тяжелым вздохом. — А то, может, Бубниха-то чем ни на есть испортила Галактиона. Сперва своего мужа уходила, а теперь принялась за чужого.

— Убить ее мало, подлячку. Прежде таких-то в воду бросали.

Потом женщины начали говорить шепотом. Слышался сдержанный смех. Часто упоминалось имя Харитины.

«Ах, проклятые бабы! — начал сердиться писарь. — Это им поп Макар навозит новостей из Заполья, да пьяный Карла болтает. Этакое зелье эти самые бабы! До всего-то им дело».

Дальше писарь узнал, как богато живет Стабровский и какие порядки заведены у него в доме. Все женщины от души жалели Устеньку Луковникову, отец которой сошел с ума и отдал дочь полякам.

— Изведут девку вконец, — говорила попадья. — Сама полячкой сделается, а полячки — злые-презлые. Так и шипят, как змеи подколодные.

— У Стабровских англичанка всем делом правит, — объяснила Анна, — тоже, говорят, злющая. Уж такие теперь дела пошли в Заполье, что и ума не приложить. Все умнее да мудренее хотят быть.

Закончилась эта интимная беседа своими домашними делами, причем досталось на орехи суслонским мужьям.

— Ну, наши-то совсем еще ничего не понимают, — говорила попадья. — Да оно и лучше.

— Куда им! — смеялась Анна. — В трех соснах заблудятся!

Это уже окончательно взбесило писаря. Бабы и те понимают, что попрежнему жить нельзя. Было время, да отошло... да... У него опять заходил в голове давешний разговор с Ермилычем. Ведь вот человек удумал штуку. И как еще ловко подвел. Сам же и смеется над городским банком. Вдруг писаря осенила мысль. А что, если самому на манер Ермилыча, да не здесь, а в городе? Писарь даже сел, точно его кто ударил, а потом громко засмеялся.

— Ай, батюшка, кто тут крещеный? — всполошилась попадья. — Никак посторонний мужчина... ай!

А писарь все хохотал и, погрозив кому-то кулаком, проговорил:

— Вот я вам пок-кажу, прохвосты!

Когда писарь вошел в поповскую горницу, там сидел у стола, схватившись за голову, Галактион. Против него сидели о. Макар и Ермилыч и молча смотрели на него. Завидев писаря, Ермилыч молча показал глазами на гостя: дескать, человек не в себе.

III

Галактион попал в Суслон совершенно случайно. Он со Штоффом отправился на новый винокуренный завод Стабровского, совсем уже готовый к открытию, и здесь услыхал, что отец болен. Прямо на мельницу в Прорыв он не поехал, а остановился в Суслоне у писаря. Отца он не видал уже около года и боялся встречи с ним. К отцу у Галактиона еще сохранилось какое-то детское чувство страха, хотя сейчас он совершенно не зависел от него.

Из поповского дома писарь и Галактион скоро ушли домой. Оба были расстроены, каждый по-сво-

ему, и молчали. Первым нарушил молчание писарь, заговоривший с каким-то озлоблением:

— Наладили завод Стабровскому? Карла сказывал, что годовой выход на двести тысяч ведер чистого спирта. Вот ахнет такое заведение, так все наскрозь пропьемся. Только кто и вылакает такую прорву винища.

— Прост ты, Флегонт Васильич, и ничего не понимаешь в таких делах.

— Прост, да про себя, Галактион Михеич. Даже весьма понимаем. Ежели Стабровский только по двугривенному получит с каждого ведра чистого барыша, и то составит сумму... да. Сорок тысяч голеньких в год. Завод-то стоит всего тысяч полтораста, — ну, дивиденд настоящий. Мы все, братец, тоже по-своему-то рассчитали и дело вот как понимаем... да. Конечно, у Стабровского капитал, и все для него стараются.

Галактион засмеялся наивности писаря.

— А если, Флегонт Васильич, Стабровский и не будет курить вино на своем заводе, а дивиденд получит такой же?

Писарь только захлопал глазами, пораженный такою неожиданностью, а потом обиделся.

— Ты меня и впрямь за дурака считаешь, Галактион Михеич.

— Нет, верно! Ты слыхал про винокуренные заводы Прохорова и К°? Там дело миллионное, твердое, поставленное. На три губернии работает, и каждый уголок у них обнюхан. Просунься-ка к ним: задавят. Так?

— Уж это что говорить. Силища, известно.

— Маленькие заводишки Прохоров еще терпит: ну, подыши. Да и неловко целую округу сцапать. Для счету и оставляют такие заводишки, как у Бубнова. А Стабровский-то серьезный конкурент, и с ним расчеты другие.

— Резаться будут до зла-горя, пока которого-нибудь не разорвут.

Галактион опять засмеялся и проговорил другим тоном:

— Вот что, Флегонт Васильич, ты мужик умный, не проболтаешься. Этого еще никто не знает, кроме меня. И самому Стабровскому никогда бы не придумать. А есть тут необыкновенного ума жид Ечкин. Его штука. Никто этого не знает, даже Штофф, а я сообразил, когда по делам бубновского конкурса ездил на прохоровские заводы. Ах, умен Ечкин! Ему министром быть. Видишь, какая тут штука: Прохоров забрал силу, а Ечкин и высчитал, что его можно поджать, и даже очень. Расчет в хлебном рынке и в провозной плате. Если поставить завод ближе к хлебу, так у каждого пуда можно натянуть две-три копейки — вот тебе раз, а второе, везти сырой хлеб или спирт — тоже три-четыре копейки барыша... да... Вот уж тебе тысяч пятнадцать — двадцать Стабровский имеет за здорово живешь и может выдержать конкуренцию. Так? Теперь какой расчет у Прохорова затягивать себе петлю на шею? Ечкин и придумал. Я это только один понимаю, и ты молчи до поры. Он устроит так, что Стабровский будет получать с Прохорова отступную побольше сорока-то тысяч. Обоим будет выгодно. А чуть Прохоров на дыбы, Стабровский завод пустит. Понял теперь?

Писарь сел и смотрел на Галактиона восторженными глазами. Господи, какие умные люди бывают на белом свете! Потом писарю сделалось вдруг страшно: господи, как же простецам-то жить? Он чувствовал себя таким маленьким, глупым, несчастным.

— А мы-то! — проговорил он с тяжелым вздохом и только махнул рукой. — Одним словом, родимая мамынька, зачем ты только на свет родила раба божия Флегонта? Как же нам-то жить, Галактион Михеич? Ведь этак и впрямь слопают, со всем потрохом.

— Ничего, поживем. На всякую загадку есть своя отгадка.

Писаря охватила жажда поделиться мучившею его мыслью. Откровенность Галактиона подзадорила его. Он начал разговор издалека, с поповской помочи, когда с Ермилычем пил водку на покосе.

— Как это он мне сказал про свой-то банк, значит, Ермилыч, меня точно осенило. А возьму, напри-

мерно, я, да и открою ссудную кассу в Заполье, как ты полагаешь? Деньжонок у меня скоплено тысяч за десять, вот рухлядишку побоку, — ну, близко к двадцати набежит. Есть другие мелкие народы, которые прячут деньжонки по подпольям... да. Одним словом, оборочусь.

— Грязное дело, Флегонт Васильич. Бедноту да голь обирать.

— Ах, какой ты! Со богатых-то вы все оберете, а нам уж голенькие остались. Только бы на ноги встать, вот главная причина. У тебя вон пароходы в башке плавают, а мы по сухому бережку с молитвой будем ходить. Только бы мало-мало в люди выбраться, чтобы перед другими не стыдно было. Надоело уж под начальством сидеть, а при своем деле сам большой, сам маленький. Так я говорю?

— Нечистое дело, Флегонт Васильич.

— Э, деньги одинаковы! Только бы нажить. Ведь много ли мне нужно, Галактион Михеич? Я да жена — и всё тут. А без дела обидно сидеть, потому как чувствую призвание. А деньги будут, можно и на церковь пожертвовать и слепую богадельню устроить, мало ли что!

— Что же, начинай.

— Одобряешь, значит?

У Галактиона вдруг сделалось скучное лицо, и он нахмурился. Писарь понял, откуда нанесло тучу, и рассказал, что давеча болтала попадья с гостями.

— Откуда только вызнают эти бабы! — удивлялся писарь и, хлопнув Галактиона по плечу, прибавил: — А ты не сумлевайся. Без стыда лица не износишь, как сказывали старинные люди, а перемелется — мука будет.

— Нечего сказать, хороша мука. Удивительное это дело, Флегонт Васильич: пока хорошо с женой жил — все в черном теле состоял, а тут, как ошибочку сделал — точно дверь распахнул. Даром деньги получаю. А жену жаль и ребятишек. Несчастный я человек... себе не рад с деньгами.

— Силòм женили — с них и взыск.

— Ничего я не знаю, а только сердце горит. Вот к отцу пойду, а сам волк волком. Уж до него тоже пали разные слухи, начнет выговаривать. Эх, пропадай все пропадом!

Этот случайный разговор с писарем подействовал на Галактиона успокоивающим образом. Кажется, ничего особенного не было сказано, а как-то легче на душе. Именно в таком настроении он поехал на другой день утром к отцу. По дороге встретился Емельян.

— А, здравствуй, Емельян! Ну, как поживаете?

— Да ничего, — заметил Емельян и замялся. — Ты бы того, Галактион, повременил, а то у родителя этот старец сидит.

— Ну, и пусть сидит... Авось не съедим друг друга.

Галактион как-то чутьем понял, что Емельян едет с мельницы украдом, чтобы повидаться с женой, и ему сделалось жаль брата. Вся у них семья какая-то такая, точно все прячутся друг от друга.

— До свидания, — проговорил Емельян, видимо вырвавшийся на минутку. — Увидимся на мельнице.

— Ладно, приезжай.

Галактион давно собирался к отцу, но все откладывал, а сегодня ехал совершенно спокойно. Чему быть, того не миновать.

Михей Зотыч лежал у себя в горнице на старой деревянной кровати, покрытой войлоком. Он сильно похудел, изменился, а главное — точно весь выцвел. В лице не было ни кровинки. Даже нос заострился, и глаза казались больше.

— А, вспомнил отца! — заговорил он равнодушно, когда Галактион вошел.

— Случайно узнал, папаша, что вы больны. Отчего вы мне ничего не написали? Я сейчас же приехал бы...

— Что писать-то, милый сын? Какой я писатель? Вот смерть приходила... да. Собрался было совсем помирать, да, видно, еще отсрочка вышла. Ох, грехи наши тяжкие!

— Прежде смерти никто не помрет, — ответил из угла старец, которого Галактион сейчас только заме-

тил. — А касаемо грехов, это ты верно, Михей Зотыч. Пора мир-то бросать, а о душе тягчать.

Это был тот самый старец, который был у Галактиона с увещанием. Галактион сделал вид, что не узнал его.

— Ох, пора! — стонал Михей Зотыч, тяжело повертываясь на своем жестком ложе. — Много грехов, старче... Вот как мышь в муку заберется, так и я в грехах.

— Не за себя одного дашь ответ, — отозвался сердито старец. — Говорю: пора... Спохватишься, да как бы не опоздать. Мирское у тебя на уме.

Старец рассердился без всякой причины и вышел, хлопнув дверью. Михей Зотыч закрыл глаза и улыбнулся.

— В скиты меня тащат, — заговорил он, — да... Оно пора бы, ежели бы... Зачем ты сюда-то приехал, Галактион?

— На заводе был у Стабровского, папаша. По пути и сюда завернул.

— Нанялся к Стабровскому в подрушные?

— Нет, я так... У меня свое дело.

— Хорошее дело, сыночек...

— Какое уж есть... Не помирать же с голоду.

— Отцу не хотел служить, а бесу служишь. Ну, да это твое дело... Сам не маленький и правую руку от левой отличишь.

Галактион замер, ожидая, что отец начнет выговаривать ему относительно жены, но Михей Зотыч закрыл глаза и опять улыбнулся.

— Думал: помру, — думал он вслух. — Тяжело душеньке с грешным телом расставаться... Ох, тяжело! Ну, лежу и думаю: только ведь еще жить начал... Раньше-то в египетской работе состоял, а тут на себя... да...

С трудом облокотившись на подушку, старик прибавил другим голосом:

— А я два места под мельницы арендовал, Галактион. Одно-то на Ключевой, пониже Ермилыча, а другое — на притоке.

— Для чего ж тебе еще две мельницы?

— Ну уж это не твое дело.

— Что же, я могу составить тебе планы и сметы, а выстроите и без меня. У меня своего дела по горло.

Старик посмотрел на сына прищуренными глазами, как делал, когда сердился, но сдержал себя и проговорил деловитым тоном:

— Сами управимся, бог даст... а ты только плант наведи. Не следовало бы тебе по-настоящему так с отцом разговаривать, — ну, да уж бог с тобой... Яйца умнее курицы по нынешним временам.

Галактион провел целый день у отца. Все время шел деловой разговор. Михей Зотыч не выдал себя ни одним словом, что знает что-нибудь про сына. Может быть, тут был свой расчет, может быть, нежелание вмешиваться в чужие семейные дела, но Галактиону отец показался немного тронутым человеком. Он помешался на своих мельницах и больше ничего знать не хотел.

Вечером Галактиона поймал Симон.

— Братец, совсем вы забыли нас, — жаловался он. — А мы тут померли от скуки... Емельян-то уезжает по ночам в Суслон, а я все один. Хоть бы вы меня взяли к себе в Заполье, братец... Уж я бы как старался.

— Погоди, вот сам сначала устроюсь... Тебе Харитина кланяется.

— Станет она думать обо мне, братец! На всякий случай скажите поклончик, что, мол, есть такой несчастный молодой человек, который жисть свою готов за вас отдать. Так и скажите, братец.

— Сладко уж очень, а я не умею так говорить, — отшучивался Галактион.

Потом Галактион с неожиданною нежностью обнял брата и проговорил:

— Симон, бойся проклятых баб. Всякое несчастье от них... да. Вот смотри на меня и казнись. У нас уж такая роковая семья... Счастья нет.

С отцом Галактион расстался совсем сухо, как чужой.

Емельян поехал провожать Галактиона и всю дорогу имел вид человека, приготовившегося сообщить какую-то очень важную тайну. Он даже откашливался, кряхтел и поправлял ворот ситцевой рубахи, но так ничего и не сказал. Галактион все думал об отце и приходил к заключению, что старик серьезно повихнулся.

IV

Галактион отъехал уже целых полстанции от Суслона, как у него вдруг явилось страстное желание вернуться в Прорыв. Да, нужно было все сказать отцу.

— Поворачивай! — крикнул он ямщику таким голосом, что тот оглянулся. — Да живее!

Какое-то странное волнение охватило Галактиона, точно он боялся чего-то не довезти и потерять дорогой. А потом эта очищающая жажда высказаться, выложить всю душу... Ему сделалось даже страшно при мысли, что отец мог вдруг умереть, и он остался бы навсегда с тяжестью на душе.

Симон испугался, когда увидел вернувшегося Галактиона, — у него было такое страшное лицо. Он еще не видал брата таким.

— Что случилось, Галактион?

— Ничего... Забыл переговорить с отцом об одном деле.

Михей Зотыч, наоборот, нисколько не удивился возвращению Галактиона. Скитский старец попрежнему сидел в углу, и Галактион обрадовался, что он здесь, как живой посредник между ним и отцом.

— Чего позабыл? — грубо спросил Михей Зотыч улыбаясь.

— Чего забыл? — точно рванул Галактион. — А вот это самое... да. Ведь я домой поехал, а дома-то и нет... жена постылая в дому... родительское благословение, навеки нерушимое... Вот я и вернулся, чтобы сказать... да... сказать... Ведь все знают, — не скроешь. А только никто не знает, что у меня вся душенька выболела.

— А ты всем скажи: отец, мол, родной виноват, — добавил Михей Зотыч с прежнею улыбкой. — Отец насильно женил... Ну, и будешь прав, да еще тебя-то пожалеют, особливо которые бабы ежели с жиру бесятся. Чужие-то люди жалостливее.

— Хорошо тебе наговаривать, родитель, да высмеивать, — как-то застонал Галактион, — да. А я вот и своей-то постылой жизни не рад. Хлопочу, работаю, тороплюсь куда-то, а все это одна видимость... у самого пусто, вот тут пусто.

— Ишь как ты разлакомился там, в Заполье! — засмеялся опять Михей Зотыч. — У вас ведь там все правые, и один лучше другого, потому как ни бога, ни черта не знают. Жиды, да табашники, да потворщики, да жалостливые бабешки.

Галактион вскочил со стула и посмотрел на отца совсем дикими глазами. О, как он сейчас его ненавидел, органически ненавидел вот за эту безжалостность, за смех, за самоуверенность, — ведь это была его собственная несчастная судьба, которая смеялась над ним в глаза. Потом у него все помутилось в голове. Ему так много было нужно сказать отцу, а выходило совсем другое, и язык говорил не то. Галактион вдруг обессилел и беспомощно посмотрел кругом, точно искал поддержки.

— А в Кирилловой книге сказано, — отозвался из угла скитский старец: — «Да не будем к тому младенцы умом, скитающися во всяком ветре учения, во лжи человеческой, в коварстве козней льщения. Блюдем истинствующие в любви».

— Это ежели у кого совесть, — добавил Михей Зотыч смиренным тоном. — А у нас злоба и ярость.

— Смейся, родитель. Да, смейся! — крикнул Галактион. — А над кем смеешься-то?

— Слышишь, старче, как нынче детки с родителями разговоры разговаривают? — обратился Михей Зотыч к своему гостю. — Ну, сынок, скажи еще что-нибудь.

— И скажу! От кого плачется Серафима Харитоновна? От кого дом у меня пустует? Кто засиротил малых детушек при живом отце-матери? От кого мы-

кается по чужим дворам Емельянова жена, как беспастушная скотина? Вся семья врозь пошла.

— А вот помру, так все поправитесь, — ядовито ответил Михей Зотыч, тряхнув головой. — Умнее отца будете жить. А сейчас-то надо бы тебя, милый сынок, отправить в волость, да всыпать горячих штук полтораста, да прохладить потом в холодной недельки с две. Эй, Вахрушка!

На счастье Галактиона, Вахрушки не случилось дома, и он мог убраться из-под гостеприимной родительской кровли цел и невредим.

— Ужо в город приеду к тебе в гости! — крикнул ему вслед Михей Зотыч, напрасно порываясь подняться. — Там-то не уйдешь от меня... Найдем и на тебя управу!

Когда под окнами проехала дорожная повозка Галактиона, скитский старец проговорил:

— А ты напрасно изводишь сына-то, Михей Зотыч. На каком дереве птицы не сиживали, — так и грехи на человеке. А мужнин-то грех за порогом... Подурит, да домой воротится.

— А ежели я его люблю, вот этого самого Галактиона? Оттого я женил за благо время и денег не дал, когда в отдел он пошел... Ведь умница Галактион-то, а когда в силу войдет, так и никого бояться не будет. Теперь-то вон как в нем совесть ходит... А тут еще отец ему спуску не дает. Так-то, отче!

Всю дорогу до Заполья Галактион ехал точно в каком-то тумане. С отцом вышло какое-то дикое объяснение, и он не мог высказать того, что хотел. Свою душевную тяжесть он вез обратно с собой. Теперь у него не выходила из головы жена. Какая-то жгучая жалость охватывала его сердце, а глаза видели заплаканное, прежде времени старившееся лицо. Галактиону делалось совестно за свое поведение. В самом деле, зачем он зорил свой собственный дом? Кстати, и с Прасковьей Ивановной все кончилось так же быстро, как началось... Они не сошлись характерами. Прасковья Ивановна жаждала безусловного повиновения, а Галактион не умел поддаваться, да и не любил ее настолько, чтобы исполнять каждый женский

каприз. Положим, Прасковья Ивановна была и красива, и молода, и пикантна, но это было совсем не то. Из-за нее для Галактиона выдвигалось постоянно другое женское лицо, ласковое и строгое, с такими властными глазами, какою-то глубокою внутреннею полнотой. Под этим взглядом он чувствовал себя как-то и хорошо, и жутко, и спокойно, точно в ясное солнечное летнее утро, когда все кругом радуется. Прасковья Ивановна сама догадалась, что из этой связи ничего не выйдет, и объявила Галактиону без слез и жалоб, деловым тоном:

— Идите вы, Галактион Михеич, к жене... Соскучилась она без вас, а мне с вами скучно. Будет... Как-никак, а все-таки я мужняя жена. Вот муж помрет, так, может, и замуж выйду.

— За Мышникова?

— Уж какая судьба выпадет. Вот вы гонялись за Харитиной, а попали на меня. Значит, была одна судьба, а сейчас вам выходит другая: от ворот поворот.

Так и расстались, и ни которому ни тепло, ни холодно не сделалось.

Именно с такими мыслями возвращался в Заполье Галактион и последнюю станцию особенно торопился. Ему хотелось поскорее увидеть жену и детей. Да, он соскучился о них. На детей в последнее время он обращал совсем мало внимания, и ему делалось совестно. И жены совестно. Подъезжая к городу, Галактион решил, что все расскажет жене, все до последней мелочи, вымолит прощение и заживет по-новому.

— Эй, ямщик, живее!

Но в Заполье его ожидал неожиданный сюрприз. Дома была одна кухарка, которая и объявила, что дома никого нет.

— Как никого?

— Да так. Серафима Харитоновна забрала ребяток и увезла их к тятеньке. Сказала, што сюда не вернется.

Это был настоящий удар. В первый момент Галактион не понял хорошенько всей важности случившегося. Именно этого он никак не ожидал от жены. Но опустевшие комнаты говорили красноречивее живых людей.

Галактиона охватило озлобленное отчаяние. Да, теперь все порвалось и навсегда. Возврата уже не было.

— Что же, сам виноват, — вслух думал Галактион. — Так и должно было быть... Серафиме ничего не оставалось делать, как уйти.

Долго Галактион ходил по опустевшему гнезду, переживая щемящую тоску. Особенно жутко ему сделалось, когда он вошел в детскую. Вот и забытые игрушки, и пустые кроватки, и детские костюмчики на стене... Чем бедные детки виноваты? Галактион присел к столу с игрушками и заплакал. Ему сделалось страшно жаль детей. У других-то все по-другому, а вот эти будут сиротами расти при отце с матерью... Нет, хуже! Ах, несчастные детки, несчастные!

Много передумал Галактион за эти часы, пока не перешел к самому близкому. Да, теперь уж, вероятно, целый город знает, что жена ушла от него. Худые вести не лежат на месте. Как он теперь в люди глаза покажет? Ведь все будут на него пальцами указывать. Чувство жалости к жене сменилось теперь затаенным озлоблением. Да, она хотела устроить ему скандал и устроила в полной форме. Хуже ничего не могла придумать. И опять от этого скандала хуже будет все тем же несчастным детям. Если бы Серафима по-настоящему любила детей, так никогда бы так не сделала.

«Ну, ушла к отцу, что же из этого? — раздумывал Галактион. — Ну, будут дети расти у дедушки, что же тут хорошего? Пьянство, безобразие, постоянные скандалы. Ах, Серафима, Серафима!»

Галактион дождался сумерок и отправился к Малыгиным. Он ужасно боялся, чтобы не встретить когонибудь из знакомых, и нарочно обошел самые людные улицы, как вор, который боится собственной тени.

Его неожиданное появление в малыгинском доме произвело настоящий переполох, точно вошел разбойник. Встретившая его на дворе стряпка Аграфена только ахнула, выронила из рук горшок и убежала в кухню. Сама Анфуса Гавриловна заперлась у себя в спальне. Принял зятя на террасе сам Харитон Артемьич, бывший, по обыкновению, навеселе.

— Ну, милый зятек, как мы будем с тобой разговаривать? — бормотал он, размахивая рукой. — Оно тово... да... Наградил господь меня зятьками, нечего сказать. Один в тюрьме сидит, от другого жена убежала, третий... Настоящий альбом! Истинно благословил господь за родительские молитвы.

— Поговоримте серьезно, Харитон Артемьич.

— Да ты с кем разговариваешь-то, путаная голова? — неожиданно закричал старик. — Вот сперва свою дочь вырасти... да. А у меня с тобой короткий разговор: вон!

Старик даже затопал ногами и выбежал с террасы. Галактион чувствовал, как он весь холодеет, а в глазах стоит какая-то муть. Харитон Артемьич сбегал в столовую, хлопнул рюмку водки сверх абонемента и вернулся уже в другом настроении.

— Вот что, Галактион, неладно... да.

— Я и сам знаю, что хорошего ничего нет. А только вот дети.

— Ах, нехорошо, брат!.. И мы не без греха прожили... всячески бывало. Только оно тово... Вот ты вырасти свою дочь... Да, вырасти!..

Старик опять закричал и затопал ногами, но в этот критический момент явилась на выручку Анфуса Гавриловна. Она вошла с опущенными глазами и старалась не смотреть на зятя.

— Иди-ка ты, отец, к себе лучше, — проговорила старушка с решительным видом, какого Галактион не ожидал. — Я уж сама.

— Что же, я и уйду, — согласился Харитон Артемьич. — Тошно мне глядеть-то на всех вас. Разорвал бы, кажется, всех. Наградил господь. Что я тебе по-настоящему-то должен сказать, Галактион? Какие-такие слова я должóн выговаривать? Да я...

— Ну, иди, иди, Харитон Артемьич.

— И уйду. А ты, Фуса, не верь ему, ни единому слову не верь, потому нынешние-то зятья... тьфу!

Когда Харитон Артемьич вышел с террасы, наступила самая томительная пауза, показавшаяся Галактиону вечностью. Анфуса Гавриловна присела к столу и тихо заплакала. Это было самое худшее, что только

можно было придумать. У Галактиона даже заныло под ложечкой и вылетели из головы все слова, какие он хотел сказать теще.

— Вся надежда у меня только на тебя была, Галактион, — заговорила Анфуса Гавриловна, не вытирая слез, — да. А ты вот что придумал.

— Меж мужем и женой один бог судья, мамаша, а вторая причина... Эх, да что тут говорить! Все равно не поймете. С добром я ехал домой, хотел жене во всем покаяться и зажить по-новому, а она меня на весь город ославила. Кому хуже-то будет?

— Сам же запустошил дом и сам же похваляешься. Нехорошо, Галактион, а за чужие-то слезы бог найдет. Пришел ты, а того не понимаешь, что я и разговаривать-то с тобой по-настоящему не могу. Я-то скажу правду, а ты со зла все на жену переведешь. Мудрено с зятьями-то разговаривать. Вот выдай свою дочь, тогда и узнаешь.

Галактион заходил по террасе, как раненый зверь. Потом он тряхнул волосами и проговорил:

— Вот что, мамаша, кто старое помянет, тому глаз вон. Ничего больше не будет. У Симы я сам выпрошу прощенье, только вы ее не растравляйте. Не ее, а детей жалею. И вы меня простите. Так уж вышло.

V

Жена вернулась к Галактиону, но этим дело не поправилось. Супруги встретились затаенными врагами, прикованными на одну цепь. Серафима понимала одно, именно, что все это хуже того, если б муж бранил ее и даже бил. Побои и брань проходят и забываются, а у них было хуже. Галактион был чужим человеком в своем доме и говорил только при детях. С женой он не сказал двух слов, и это молчание убивало ее больше всего. Она даже боялась думать о том, что будет дальше, и чувствовала себя живым покойником. И раньше муж не любил ее по-настоящему, но жалел, и она чувствовала себя покойно. Сейчас Галактион сидел почти безвыходно дома и все работал

в своей комнате над какими-то бумагами, которые приносил ему Штофф. Изредка он выезжал только по делам, чаще всего к Стабровскому.

Чужие люди не показывались у них в доме, точно избегали зачумленного места. Раз только зашел «сладкий братец» Прасковьи Ивановны и долго о. чем-то беседовал с Галактионом. Разговор происходил приблизительно в такой форме:

— Заехал я к вам, Галактион Михеич, по этой самой опеке, — говорил Голяшкин, сладко жмуря глаза. — Хотя вы и отверглись от нее, а между прочим, и мы не желаем тонуть одни-с. Тонуть, так вместе-с.

— Ах, мне все равно! — соглашался Галактион. — Делайте, как знаете!

— На манер Ильи Фирсыча Полуянова?

— Опять-таки дело ваше.

— Так-то оно так, а все-таки будто и неприятно, ежели, например, в острог. Прасковья Ивановна наказали вам сказать, что большие слухи ходят по городу. Конечно, зря народ болтает, а оно все-таки...

— Послушайте, мне решительно все равно. Понимаете?

У Голяшкина была странная манера во время разговора придвигаться к собеседнику все ближе и ближе, что сейчас как-то особённо волновало Галактиона. Ему просто хотелось выгнать этого сладкого братца, и он с большим трудом удерживался. Они стояли друг против друга и смотрели прямо в глаза.

— Как же я скажу Прасковье Ивановне? — неожиданно спросил Голяшкин?

— А так и скажите, что пропадай все.

— Позвольте-с, как же это так-с? Прасковья Ивановна...

Галактион неожиданно вспылил, затопал ногами и крикнул:

— Да что ты из меня жилы тянешь... Уходи, ежели хочешь быть цел! Так и своей Прасковье Ивановне скажи! Одним словом, убирайся ко всем чертям!

— Так-с. Так вы вот как-с, — бормотал Голяшкин, пятясь к двери. — Да-с. Очень вежливо...

Галактион остановил его и, взяв за борт сюртука, проговорил задыхавшимся голосом:

— Ну, чего ты боишься, сахар? Посмотри на себя в зеркало: рожа прямо на подсудимую скамью просится. Все там будем. Ну, теперь доволен?

— Вы-то как знаете, Галактион Михеич, а я не согласен, что касаемо подсудимой скамьи. Уж вы меня извините, а я не согласен. Так и Прасковье Ивановне скажу. Конечно, вы во-время из дела ушли, и вам все равно... да-с. Что касаемо опять подсудимой скамьи, так от сумы да от тюрьмы не отказывайся. Это вы правильно. А Прасковья Ивановна говорит...

— Вон, дурак!

Этот визит все-таки обеспокоил Галактиона. Дыму без огня не бывает. По городу благодаря полуяновскому делу ходили всевозможные слухи о разных других назревавших делах, а в том числе и о бубновской опеке. Как на беду, и всеведущий Штофф куда-то провалился. Впрочем, он скоро вернулся из какой-то таинственной поездки и приехал к Галактиону ночью, на огонек.

— У тебя был Голяшкин? — спрашивал немец без всяких предисловий.

— Был.

— Он сладкий дурак и больше ничего.

— Знаю. Я ему это сам сказал. Все-таки знаешь...

— Э, вздор!.. Так, зря болтают. Я тебе скажу всего одно слово: Мышников. Понял? У нас есть адвокат Мышников. У него, брат, все предусмотрено... да. Я нарочно заехал к тебе, чтобы предупредить, а то ведь как раз горячку будешь пороть.

Уходя, Штофф пришаркнул своею хромою ногой, подмигнул и проговорил:

— А какая есть девчурка в Кунаре... пхе!..

— Ну, брат, я этими делами не занимаюсь. Отваливай.

— Да ты спятил с ума, братец?

— Около того.

— Ты глуп, несчастный!

— Пусть.

Галактион действительно прервал всякие отношения с пьяной запольской компанией, сидел дома и бывал только по делу у Стабровского. Умный поляк долго приглядывался к молодому мельнику и кончил тем, что поверил в него. Стабровскому больше всего нравились в Галактионе его раскольничья сдержанность и простой, но здоровый русский ум.

— Мне почему-то кажется, что мы будем большими друзьями, — проговорил однажды Стабровский, пытливо глядя на Галактиона. — Одним словом, вы будете *нашим* вполне.

— Благодарю, Болеслав Брониславич, только оно как будто и не подходит: вы — барин, а я — мужик.

Стабровский только улыбнулся, взял Галактиона под руку и проговорил:

— Идемте завтракать.

Это простое приглашение, как Галактион понял только впоследствии, являлось своего рода посвящением в орден *наших*. В официальные дни у Стабровского бывал целый город, а запросто бывали только самые близкие люди.

Завтрак был простой, но Галактиону показалось жуткой царившая здесь чопорность, и он как-то сразу возненавидел белобрысую англичанку, смотревшую на него, как на дикаря. «Этакая выдра!» — думал Галактион, испытывая неловкое смущение, когда англичанка начинала смотреть на него своими рыбьими глазами. Зато Устенька так застенчиво и ласково улыбалась ему.

— Это тоже ваша дочь? — спросил Галактион.

— Нет, это просто славяночка Устенька, дочь Тараса Семеныча. Она учится вместе с моей Дидей.

Маленькая полечка все время наблюдала гостя и, когда он делал что-нибудь против этикета, сдержанно улыбалась и вопросительно смотрела на гувернантку, точно на каланчу, которая могла каждую минуту выкинуть сигнал тревоги. Англичанка на этот немой вопрос поднимала свои сухие плечи и рыжие брови, а потом кивала головой с грацией фарфоровой куклы, что в переводе значило: мужик. Устенька отлично по-

нимала этот немой язык и волновалась за каждую неловкость Галактиона: он гремел чайною ложечкой, не умел намазать масла на хлеб, решительно не знал, что делать с сандвичами. Когда Галактион начал есть рыбу ножом, англичанка величественно поднялась и павой выплыла из столовой. Дидя бросилась за ней, захватив рот рукой. Но отец приказал ей вернуться и сделал строгое лицо. Устенька сидела вся красная, опустив глаза. Она понимала, что Стабровский делается усиленно вежливым с гостем, чтобы тот не заметил устроенной англичанкой демонстрации. Он дошел до того, что даже сам начал есть рыбу с ножа. Это уже окончательно переломило терпение Диди, — девочка расхохоталась неудержимым детским хохотом и убежала в детскую, где англичанка уже укладывала свои чемоданы.

— Я попала куда-то к самоедам... — объясняла мисс Дудль.

В столовой оставались только хозяин, гость и Устенька.

— Славяночка, ты будешь угощать нас кофе, — говорил Стабровский с какою-то особенною польскою ласковостью.

А Галактион сидел и не понимал, в чем дело, хотя смутно и догадывался, что проклятая англичанка уплыла неспроста. Хохот Диди тоже его смущал.

Вывел всех из неловкого положения доктор Кочетов, который явился с известием, что Бубнов умер сегодня ночью.

— Самое лучшее, что он мог сделать, — заметил Стабровский, делая брезгливое движение, — да. Для чего такие люди живут на свете?

— И все-таки жаль, — думал вслух доктор. — Раньше я говорил то же, а когда посмотрел на него мертвого... В последнее время он перестал совсем пить, хотя уж было поздно.

— Тут была какая-то темная история. А впрочем, не наше дело. Разве может быть иначе, когда все удовольствие у этих дикарей только в том, чтоб напиться до свинства? Культурный человек никогда не дойдет до такого положения и не может дойти.

Известие о смерти несчастного Бубнова обрадовало Галактиона: эта смерть развязывала всем руки, и проклятое дело по опеке разрешалось само собой. У него точно гора свалилась с плеч.

— Девочка, принесите мне коньячку, — просил доктор Устеньку.

Он, по обыкновению, был с похмелья, что являлось для него нормальным состоянием. Устенька достала из буфета бутылку финьшампань и поставила ее на стол. Доктор залпом выпил две больших рюмки и сразу осовел.

— Да, был человек, и нет человека, — бормотал он. — А все-таки жаль разумное божье созданье.

Потом он неожиданно обратился к Галактиону и с пьяною улыбкой проговорил:

— А вы, ваше степенство, небось рады, да? Что же, это в порядке вещей: сегодня Бубнов умер от купеческого запоя, а завтра умрем мы с вами. Homo sum, nihil humanum alienum puto... [1]

Доктор в доме Стабровского был своим человеком и желанным гостем, как врач и образованный человек. Даже мисс Дудль благоволила к нему, и Стабровский любил подшутить над нею по этому поводу, когда не было девочек. Доктору прощалось многое, чего не могли позволить никому другому. Так, выпивши, он впадал в обличительное настроение и начинал громить «плутократов». Особенно доставалось Штоффу. Стабровский хохотал до слез, когда доктор бывал в ударе. Сейчас Штоффа не было, и доктор сосредоточил свое внимание на Галактионе.

— Ну что, начинающий плутократ, как дела?

— Ничего, доктор, понемножку.

— Плутовать понемножку невыгодно. Вот учитесь у Болеслава Брониславича, который ловит только крупную рыбу, а мелкие плуты кончают, как Полуянов.

— Послушайте, доктор, прийти в дом и называть хозяина большим плутом... — заговорил Стабровский, стараясь сохранить шутливый тон. — Это... это...

---

[1] Я — человек, и ничто человеческое мне не чуждо... *(лат.)*

— Вы хотите сказать, что это свинство? — поправил доктор. — Может быть, вы хотите к этому прибавить, что я пьяница? И в том и в другом случае вы будете правы, хотя... Я еще выпью плутократского коньячку.

— А потом опять будете нас обличать?

— И буду, всегда буду. Ведь человек, который обличает других, уже тем самым как бы выгораживает себя и садится на отдельную полочку. Я вас обличаю и сам же служу вам. Это напоминает собаку, которая гоняется за собственным хвостом.

Галактион только выжидал случая, чтоб уйти. Завтрак был кончен, а слушать пьяного доктора не представляло удовольствия.

— А, испугался! — провожал его доктор. — Не понравилось... Хха! А вы, ваше степенство, заверните к Прасковье Ивановне. Сия особа очень нуждается в утешении... да. У ней такое серьезное горе... хха!..

В передней Галактиона догнала Устенька и шепнула:

— Вы никогда, никогда не ешьте рыбы ножом. Это не принято. И чайною ложкой не стучите... и хлеб отламывайте маленькими кусочками, а не откусывайте прямо от ломтя.

— Хорошо, я не буду.

Галактион поднял девочку и поцеловал.

— Тоже нельзя, — строго заметила она. — Я уж большая.

Этот первый завтрак служил для Галактиона чем-то вроде вступительного экзамена. Скоро он почувствовал себя у Стабровских если не своим, то и не чужим. Сам старик только иногда конфузил его своею изысканною внимательностью. Галактион все-таки относился к магнату с недоверием. Их окончательно сблизил случайный разговор, когда Галактион высказал свою заветную мечту о пароходстве. Стабровский посмотрел на него прищуренными глазами, похлопал по плечу и проговорил:

— Вот это я понимаю... да! Очень хорошо, молодой человек! Я и сам об этом подумывал, да одному

не разорваться. Мы еще потолкуем об этом серьезно. А вы далеко пойдете, Галактион Михеич. Именно нам, русским, недостает разумной предприимчивости.

VI

Полуяновское дело двигалось вперед, как ком снегу, нарастая от собственного движения. В первую минуту, подавленный неожиданностью всего случившегося, бывший исправник повел свое дело, как и другие в его положении, исходя из принципа, что пропадать, так пропадать не одному, а вместе с другими. Результатом этой психологии явился оговор десятков прикосновенных так или иначе к его делу лиц. Следователь выбивался из сил, вызывая десятки свидетелей. Полуянов торжествовал, что хотя этим путем мог досадить тому обществу, которое выдавало его головой. Но через полгода в нем произошел какой-то таинственный внутренний переворот. Он начал молиться, притих и вообще смирился. Даже самая наружность изменилась: пьяный опух исчез, отросшая борода придала старческое благообразие, даже голос сделался другим. В одно прекрасное утро Полуянов признался следователю, что больше половины привлеченных к делу лиц оговорил по злобе. Следователь был огорошен, потому что хоть начинай дело снова.

— Вы уж как там знаете, а я не могу, — упрямо повторял Полуянов на все увещания следователя. — Судите меня одного, а другие сами про себя знают... да. Моя песенка спета, зачем же лишний грех на душу брать? Относительно себя ничего не утаю.

Странные отношения теперь установились у Полуянова к жене. Он ужасно ее жалел и мучился постоянно мыслью о ее судьбе. Харитина ежедневно ездила в острог и всячески поддерживала новое настроение в муже.

— Молода ты, Харитина, — с подавленною тоской повторял Полуянов, с отеческой нежностью глядя на жену. — Какой я тебе муж был? Так, одно зверство. Если бы тебе настоящего мужа... Ну, да что об этом

говорить! Вот останешься одна, так тогда устраивайся уж по-новому.

— Перестань ты, Илья Фирсыч... Еще неизвестно, кто кого переживет, а раньше смерти не умирают.

Раз Полуянов долго-долго смотрел на жену и проговорил со слезами на глазах:

— За одно благодарю бога, именно, что у нас нет детей... да. Ты только подумай, Харитина, что бы их ждало впереди? Страшно подумать. Добрые люди показывали бы пальцами... Благодарю господа за его великую милость!

— Ты меня не любишь, Илья Фирсыч, — говорила Харитина, краснея и опуская глаза; она, кажется, никогда еще не была такою красивой, как сейчас. — Все желают детей, а ты не хочешь.

— Перестань, дурочка.

На Полуянова теперь часто находило слезливое настроение, что очень трогало Харитину. Ей делалось жаль и себя, и мужа, и что-то такое, что не было изжито. Иногда на нее находила жажда какого-то истерического покаяния — броситься в ноги мужу и каяться, каяться. Но, перебирая свою жизнь, она не находила ничего подходящего, за исключением отношений к Галактиону, да и здесь ничего серьезного не было, кроме самой обыкновенной девичьей глупости. Она знала, что муж ей изменял на каждом шагу, но сама она ни разу ему не изменила. Впрочем, последнее могло быть каждую минуту, если бы подвернулся подходящий случай. Мысль о Галактионе опять начала посещать Харитину, как она ни старалась ее отогнать. Это ее мучило, и при всей жажде покаяния она именно этого никак не могла сказать мужу. Затем ее начинало злить, что он вернулся из поездки и не кажет к ней глаз. О разрыве его с Прасковьей Ивановной она знала и поэтому не могла понять, почему он не хочет ее видеть. Она надеялась, что Галактион обратится к ней за помощью, чтобы помириться с женой, но и тут он обошелся без нее. Он вообще не хотел ее знать, и это ее злило.

Харитине доставляла какое-то жгучее наслаждение именно эта двойственность: она льнула к мужу и

среди самых трогательных сцен думала о Галактионе. Она не могла бы сказать, любит его или нет; а ей просто хотелось думать о нем. Если б он пришел к ней, она его приняла бы очень сухо и ни одним движением не выдала бы своего настроения. О, он никогда не узнает и не должен знать того позора, какой она переживала сейчас! И хорошо и худо — все ее, и никому до этого дела нет.

Даже накануне суда Харитина думала не о муже, которого завтра будут судить, а о Галактионе. Придет он на суд или не придет? Даже когда ехала она на суд, ее мучила все та же мысль о Галактионе, и Харитина презирала себя, как соучастницу какого-то непростительного преступления. И все-таки, войдя в залу суда, она искала глазами не мужа.

Судить Полуянова выехало отделение недавно открытого екатеринбургского окружного суда. Это была новость. И странно, что первым делом для нового суда попало по списку дело старого сибирского исправника Полуянова. Весь город сбежался смотреть на новый суд и старого грешника, так что не хватало места и для десятой доли желающих. Всех больше набралось своей братии — купцов. Полуянов занял скамью подсудимых с достоинством, как человек, который уже вперед пережил самое худшее. Это настроение изменило ему только тогда, когда он узнал в публике лицо жены. Он как-то весь съежился и точно сделался меньше. Он не чувствовал на себе теперь жадного внимания толпы, а видел только ее одну, цветущую, молодую, жизнерадостную, и понял то, что они навеки разлучены, и что все кончено, и что будут уже другие жить. Его охватила жгучая тоска, и он с ненавистью оглядел толпу, для которой еще недавно был своим и желанным человеком.

«А, вы вот как! — сверлило у Полуянова в мозгу, так что он ощущал физическую боль. — Подождите!»

Рядом с Харитиной на первой скамье сидел доктор Кочетов. Она была не рада такому соседству и старалась не дышать, чтобы не слышать перегорелого запаха водки. А доктор старался быть с ней особенно любезным, как бывают любезными на похоронах с да-

мами в трауре: ведь она до некоторой степени являлась тоже героиней настоящего судного дня. После подсудимого публика уделяла ей самое большое внимание и следила за каждым ее движением. Харитина это чувствовала и инстинктивно приняла бесстрастный вид.

— Не вредно, — повторял доктор, ухмыляясь. — Да-а... Suum cuique[1].

Это скрытое торжество волновало и сердило Харитину, и ей опять делалось жаль мужа. Она даже насильно вызывала в памяти те нежные сцены, которые происходили у нее с мужем в остроге. Ей хотелось пожалеть его по-хорошему, пожалеть, как умеют жалеть любящие женщины, а вместо этого она ни к селу ни к городу спросила доктора:

— Доктор, вы не видали Галактиона?

— Какого Галактиона, madame?

— Ах, какой вы! Ну, мой зять, Колобов.

— А!.. Едва ли он будет здесь. У них открытие банка.

В следующий момент Харитине сделалось совестно за свой вопрос. Что ей за дело до Галактиона? Если б его и совсем не было на свете, так для нее решительно все равно. Пусть открывает банк, пусть строит свои пароходы, — она все равно останется одна. Ее еще первый раз охватило это щемящее чувство одиночества. Ведь она такая молодая, ведь она еще совсем не жила, а тут точно затворяется под самым носом какая-то дверь, которая отнимет и небо, и солнце, и свет. А виновник ее одиночества сидел на скамье подсудимых такой несчастный, жалкий, даже не вызывавший в ней прежних добрых чувств, точно он был далеко-далеко и точно он был ее мужем давно-давно. Харитину начало охватывать молчаливое бешенство и к этому жалкому арестанту, который смел называть себя ее мужем, и к этому бессовестному любопытству чужой толпы, и к судьям, и к присяжным. Ей хотелось крикнуть что-то такое обидное для всех, всех выгнать и остаться одной.

---

[1] Всякому свое *(лат.)*.

В течение целого дня происходил допрос свидетелей, которых вызывали без конца. С Полуяновым сделался какой-то новый переворот, когда он увидел лицом к лицу своих обвинителей. Он побледнел, подтянулся и на время сделался прежним Полуяновым. К нему вернулось недавнее чувство действительности.

— Все, что я показывал у господина следователя, неверно, — заявил он спокойно и твердо. — Да, неверно.

В Полуянове вспыхнула прежняя энергия, и он вступил в ожесточенный бой с свидетелями, подавляя их своею находчивостью, опытом и смелостью натиска. Потухшие глаза заблестели, на лице выступили красные пятна, — это был человек, решившийся продать дорого свою жизнь.

Этот поворот оживил всех. Старый волк показал свои зубы. Особенно досталось попу Макару. В публике слышался смех, когда он с поповскою витиеватостью давал свое показание. Председатель принужден был остановить проявление неуместного веселья.

— Как же вы могли позволить, батюшка, чтобы Полуянов привез покойницу к вам на погреб? — допрашивал защищающий Полуянова адвокат. — Ведь в своем селе вы большая сила, первый человек.

— А что же я поделаю с ним? — отвечал вопросом о. Макар. — По-нашему, по-деревенски, так говорят: стогом мыши не задавишь.

Публика опять смеялась, так что председатель пригрозил удалить из залы заседания всех. Харитина точно вся приподнялась и вызывающе оглядывала соседей. Чему они радуются?

В зале делалось душно, особенно когда зажгли лампы. Свидетелям не было конца. Все самые тайные подвиги Полуянова выплывали на свет божий. Свидетельствовали крестьяне, мещане, мелкие и крупные купцы, какие-то бабы-торговки, — всё это были данники Полуянова, привыкшие ему платить из года в год. Страница за страницей развертывалась картина бесконечного сибирского хищения. Многое Полуянов сам забыл и с удивлением говорил:

— Что же, может быть... Все может быть. А я не помню... Да и где все одному человеку упомнить?

Было два-три случая артистического взяточничества, и Полуянов сам поправлял свидетелей, напоминая подробности. Он особенно напирал на то, что брал взятки и производил вымогательства, но председатель его остановил.

— Это к делу не относится... да-с.

Потом был сделан на два часа перерыв. Харитина добилась свидания с мужем.

— Нет, погоди, я им еще покажу! — повторял он, сжимая кулаки. — Будут помнить Полуянова!.. А около тебя кто там сидит?

— Доктор Кочетов.

— Ты у меня смотри!

Отдохнув, Полуянов повел атаку против свидетелей с новым ожесточением. Он требовал очных ставок, дополнительных допросов, вызова новых свидетелей, — одним словом, всеми силами старался затянуть дело и в качестве опытного человека пользовался всякою оплошностью. Больше всего ему хотелось притянуть к делу других, особенно таких важных свидетелей, как о. Макар и запольские купцы.

Доктор опять сидел рядом с Харитиной и слегка раскачивался.

— Это конец древней истории Заполья, — говорил он Харитине, забывая, что она жена подсудимого. — Средней не будет, а прямо будем лупить по новой.

— Вы-то чему радуетесь?

— Я-то? Я — публика.

Потом поднялся какой-то глухой шум и доктор шепнул соседке:

— Вот и новая история привалила.

В залу, несмотря на давку, была впущена услужливым сторожем целая толпа. Это был новый Коммерческий Зауральский банк в полном составе. Харитина сразу узнала и Май-Стабровского, и Драке, и Штоффа, и Шахму, и Галактиона. Ей показалось, что последний точно прятался за другими. Банковская компания приехала в суд прямо с обеда по случаю открытия банка, и все имели празднично-рассеянный

вид, точно приехали на именины. Последним сквозь толпу пробился Харитон Артемьич. Он был пьян и глупо улыбался, обводя публику ничего не видевшими глазами. Кстати, за обедом, в качестве почетного гостя, он чуть не побил Мышникова, который поэтому не явился в суд вместе с другими.

— Вот у меня какие зятья! — хрипел Малыгин, указывая на скамью подсудимых. — Семейная радость, одним словом.

Его с трудом увели. На подъезде неистовый старик все-таки успел подраться с судейским курьером и сейчас же заплатил за обиду.

Харитина вся выпрямилась, когда почувствовала присутствие Галактиона, — она именно чувствовала, а не видела его. Ей сделалось и обидно и стыдно за него, за то, что он ничего не понимает, что он мог обедать с своими банковскими, когда она здесь мучилась одна, что и сейчас он пришел в это страшное место с праздничным хмелем в голове. Другим-то все равно, и ему тоже. Даже Полуянов не сделал бы так. Затем она чувствовала, что он смотрит на нее и жалеет, и ей захотелось вдруг плакать, броситься к нему на шею, убежать. Он действительно подошел к ней, когда доктора зачем-то вызвал судейский курьер, сел рядом и молча пожал ей руку. Потом он наклонился к ней и шепнул:

— Вот нас с тобой так же будут судить, только вместе.

Она со страхом отодвинулась от него, а он смотрел на нее и улыбался такою недоброю улыбкой.

VII

Полуянов был осужден. Его приговорили к ссылке в не столь отдаленные места Сибири, что было равносильно возвращению на родину. Он опять упал духом и вместо последнего слова расплакался самым глупым образом. Его едва успокоили. В момент приговора Харитины в зале суда уже не было. Она перестала интересоваться делом и уехала с доктором утешать Прасковью Ивановну.

— Мы теперь обе овдовели, — говорила она, целуя подругу, — ты по-настоящему, а я по-соломенному. Ах, как у тебя хорошо здесь, Прасковья Ивановна! Все свое, никто тебя не потревожит: сама большая, сама маленькая.

— В чужом рте кусок велик, — уклончиво ответила Прасковья Ивановна.

Окончания дела должен был ждать в суде доктор. Когда дамы остались одни, Харитина покачала головой и проговорила:

— Сопьется вконец паренек-то.

— Близко того дело.

— Знаешь что, Прасковья Ивановна, беспременно его надо женить.

Эта мысль очень понравилась обеим, и они принялись обсуждать ее на все лады. За невестами в Заполье дело не станет. Вот, например, хоть взять Нагибина — куда он квасит дочь? Денег у него тысяч триста, а дочь-то одна. Положим, что она рябовата и немного косит, — ну, да доктору с женина лица не воду пить. Умный человек и сам поймет, что с голою красавицей наплачешься. Жалованьишко-то куда не велико, а тут и одень, и обуй, и дом поставь, и гостей принимай. Трудненько женатому-то с голою женой жить, а у Нагибиной всего много. В самый раз доктору нагибинская дочь, хотя она и в годках. Сказывают, и с ноготком девушка, — попридержит мужа, когда нужно.

В самый разгар этих матримониальных соображений вернулся из суда доктор с известием об осуждении Полуянова. Харитина отнеслась к этой новости почти равнодушно, что удивило даже Прасковью Ивановну.

— Какая-то ты каменная, Харитина. Ведь не чужой человек, а муж.

— Был муж, а теперь арестант... Что же, по-твоему, я пойду за ним с арестантскою партией в ссылку... надену арестантский халат и пойду? Покорно благодарю!

— Все-таки... Ты бы хоть съездила к нему в острог.

— А если я не хочу? Не хочу, и все тут... И домой не хочу и к отцу не пойду... никуда!

— Что же ты будешь делать?

— Не знаю.

Доктор присутствовал при этой сцене немым свидетелем и только мог удивляться. Он никак не мог понять поведения Харитины. Разрешилась эта сцена неожиданными слезами. Харитина села прямо на пол и заплакала. Доктор инстинктивно бросился ее поднимать, как человека, который оступился.

— Не надо... не надо... — шептала Харитина, закрывая лицо руками и защищаясь всем своим молодым телом. — Ах, какой вы глупый, доктор! Ведь я еще не жила... совсем не жила! А я такая молодая, доктор! Оставьте меня, доктор! Какая я гадкая... Понимаете, я ненавижу себя!.. Всех ненавижу... вас...

Прасковья Ивановна сделала доктору глазами знак, чтоб он уходил.

— Муж — арестант и жена тоже, значит, арестантка, — повторяла Харитина, ломая в отчаянии руки. — Я не хочу... не хочу... не хочу!

Прасковья Ивановна долго отваживалась с ней и никак не могла ее успокоить.

— Что я такое? Ни девка, ни баба, ни мужняя жена, — говорила Харитина в каком-то бреду. — А мужа я ненавижу и ни за что не пойду к нему! Я выходила замуж не за арестанта!

— Все-таки нужно съездить к нему в острог, — уговаривала Прасковья Ивановна. — После, как знаешь, а сейчас нехорошо. Все будут пальцами на тебя показывать. А что касается... Ну, да за утешителями дело не станет!

— Никого мне не нужно!

— А Галактион?.. Ведь он был на суде и сидел рядом с тобой. Что он тебе говорил?

Харитина вспомнила предсказание Галактиона и засмеялась. Вот придумал человек!.. А все-таки он пришел в суд, и она уже не чувствовала убивавшего ее одиночества.

Придумывая, чем бы развлечь гостью, Прасковья Ивановна остановилась на блестящей мысли, которая поразила ее своею неожиданностью.

— Харитина, знаешь что: мы ищем богатую невесту доктору, а невеста сама его ждет. Знаешь кто? Будем сватать за него твою сестру Агнию. Самому-то ему по мужскому делу неудобно, а высватаю я.

— Ты?

— Я. Думаешь, испугалась, что говорят про Галактиона?

— Да тебя мамынька на порог не пустит.

— А вот и пустит. И еще спасибо скажет, потому выйдет так, что я-то кругом чиста. Мало ли что про вдову наболтают, только ленивый не скажет. Ну, а тут я сама объявлюсь, — ежели бы была виновата, так не пошла бы к твоей мамыньке. Так я говорю?.. Всем будет хорошо... Да еще что, подошлем к мамыньке сперва Серафиму. Еще того лучше будет... И ей будет лучше: как будто промежду нас ничего и не было... Поняла теперь?

Этот смелый проект совсем захватил Харитину, так что она даже о своем горе позабыла.

— А доктор-то как ?— думала она вслух. — Вдруг он не согласится?.. Агния в годках, да и лицом не дошла.

— Ну, это уж мое дело! Я уговорю доктора, а ты к Серафиме съезди... да.

Харитина настолько успокоилась, что даже согласилась съездить к мужу в острог. Полуянов был мрачен, озлоблен и встретил жену почти враждебно.

— Спасибо, милая, что не забываешь мужа, — говорил он с притворным смирением. — Аще бог соединил, человек да не разлучает... да.

— Не понимаю я, Илья Фирсыч, какие ты загадки загадываешь, — равнодушно ответила Харитина.

— Не понимаешь? Для других я лишенный прав и особенных преимуществ, а для тебя муж... да. Другие-то теперь радуются, что Полуянова лишили всего, а сами-то еще хуже Полуянова... Если бы не этот проклятый поп, так я бы им показал. Да еще погоди, доберусь!.. Конечно, меня сошлют, а я их оттуда добывать буду... хха! Они сейчас радуются, а потом я их всех подберу.

Харитина слушала Полуянова, и ей казалось, что он рехнулся и начинает заговариваться. Свидание кончилось тем, что он поссорился с женой и даже затопал на нее ногами.

— И до тебя доберусь! — как-то зашипел он. — Ты думаешь, я совсем дурак и ничего не вижу? Своими руками задушу.

— Руки коротки, — дерзко ответила Харитина и ушла, не простившись.

На другой день Харитина получила от мужа самое жалкое письмо. Он униженно просил прощения и умолял навестить его. Харитина разорвала письмо и не поехала в острог. Ее теперь больше всего интересовала затея женить доктора на Агнии. Серафима отнеслась к этой комбинации совершенно равнодушно и только заметила:

— Хочется тебе, Харитина, вязаться в такое дело... Да и жених-то ваш горькая пьяница.

— Да ты только мамыньке скажи, Серафима.

— Говори сама.

В сущности этот план задел в Серафиме неистребимую женскую слабость, и, поломавшись, она отправилась к матери для предварительных переговоров. Анфуса Гавриловна даже испугалась, когда было упомянуто имя ненавистной Бубнихи.

— Мамынька, ведь нам с ней не детей крестить, — совершенно резонно объяснила Серафима. — А если бог посылает Агнии судьбу... Не век же ей в девках вековать. Пьяница проспится, а дурак останется дураком.

— Ох, боюсь я, Сима... Как-то всех боюсь. Это тебя Харитина подослала?

— Хоть бы и она, мамынька. Дело-то такое, особенное.

Два дня думала Анфуса Гавриловна, плакала, молилась, а потом послала сказать Серафиме, что согласна.

В малыгинском доме поднялся небывалый переполох в ожидании «смотрин». Тут своего горя не расхлебаешь: Лиодор в остроге, Полуянов пойдет на поселение, а тут новый зять прикачнулся. Главное, что

в это дело впуталась Бубниха, за которую хлопотала Серафима. Старушка Анфуса Гавриловна окончательно ничего не понимала и дала согласие на смотрины в минуту отчаяния. Что же, посмотрят — не съедят.

Как согласился на эту комедию доктор Кочетов, трудно сказать. Он попрежнему бывал у Прасковьи Ивановны по вечерам, как и раньше, пил бубновскую мадеру и слушал разговоры о женитьбе. Сначала эти разговоры поразили его своею нелепостью, а потом начали развлекать. Надо же чем-нибудь развлекаться. Прасковья Ивановна с тактом опытной женщины не называла долго невесты по имени, поджигая любопытство подававшегося жениха. Доктор шутил, пил мадеру и чувствовал, что его охватывает еще неиспытанное волнение, а матримониальные разговоры создавали сближающую обстановку.

Раз, когда доктор был особенно в ударе, Прасковья Ивановна поймала его на слове и повезла.

— Интересно, что это будет за комедия, — посмеивался доктор.

— А вот увидите... Будьте смелее. Ведь девушка еще ничего не понимает, всего стесняется, — понимаете?

— Хорошо, хорошо... Знаете русскую поговорку: свату первая палка.

Доктор был неприятно удивлен, когда Прасковья Ивановна подвезла его к малыгинскому дому. Он хотел даже улизнуть с подъезда, но было уже поздно.

— Глупости! — решительно заявляла Прасковья Ивановна, поддерживая доктора за руку. — Для вас же хлопочу. Женитесь и человеком будете. Жена-то не даст мадеру пить зря.

Малыгинский дом волновался. Харитон Артемьич даже не был пьян и принял гостей с озабоченною солидностью. Потом вышла сама Анфуса Гавриловна, тоже встревоженная и какая-то несчастная. Доктор понимал, как старушке тяжело было видеть в своем доме Прасковью Ивановну, и ему сделалось совестно. Последнее чувство еще усилилось, когда к гостям

вышла Агния, сделавшаяся еще некрасивее от волнения. Она так неловко поклонилась и все время старалась не смотреть на жениха.

— А у меня все поясница к ненастью тоскует, — завел было Харитон Артемьич политичный разговор, стараясь попасть в тон будущему зятю доктору. — И с чего бы, кажется, ей болеть?

Прасковья Ивановна шушукалась с невестой и несколько раз без всякой побудительной причины стремительно начинала ее целовать. Агния еще больше конфузилась, и это делало ее почти миловидной. Доктор, чтобы выдержать свою жениховскую роль до конца, подошел к ней и заговорил о каких-то пустяках. Но тут его поразили дрожавшие руки несчастной девушки. «Нет, уж это слишком», — решил доктор и торопливо начал прощаться.

— Куда же это вы? — каким-то упавшим голосом заговорил хозяин. — Выпили бы мадерцы... Я от поясницы грешным делом мадерцой лечусь.

— Как-нибудь в другой раз, Харитон Артемьич, — бормотал доктор.

— Что, понравилась вам невеста? — спрашивала дорогой Прасковья Ивановна, еще охваченная свадебным волнением.

— Во-первых, вы не должны мне говорить «вы», будущая посаженая мать, — ответил доктор, крепко притягивая к себе сваху за талию, — они ехали в одних санях, — а во-вторых, я хочу мадеры, чтобы вспрыснуть удачное начало.

В передней, помогая раздеваться свахе, доктор обнял ее и поцеловал в затылок, где золотистыми завитками отделялись короткие прядки волос. Прасковья Ивановна кокетливо ударила его по руке и убежала в свою комнату с легкостью и грацией расшалившейся девочки.

«А ведь посаженая маменька того...» — думал доктор, расхаживая в ожидании мадеры по гостиной.

Прасковья Ива́новна заставила себя подождать и вышла по-домашнему, в шелковом пенюаре. Ставя на стол бутылку какой-то заветной мадеры, она с кокетливой строгостью проговорила:

— Вот что, посаженый сынок, от тебя-то я не ожидала, что ты такой повеса... Смотри, я строгая!

— Мамынька, я больше не буду.

По возбужденному лицу Прасковьи Ивановны румянец разошелся горячими пятнами, и она старалась не смотреть на доктора, пока он залпом выпил две рюмки.

— Ну, так что же, как невеста? — спросила она изменившимся голосом, вскидывая на доктора влажные глаза. — Девушка славная.

— Мне главное — сколько приданого... Будемте говорить серьезно, мамынька. Уговор на берегу.

— Вот ты какой, а?.. А раньше что говорил? Теперь, видно, за ум хватился. У Малыгиных для всех зятьев один порядок: после венца десять тысяч, а после смерти родителей по разделу с другими.

— А нельзя до смерти ухватить все, мамынька?

Прасковья Ивановна лукаво посмотрела на дурачившегося доктора и тихо засмеялась.

— Ах, повеса, повеса! — шептала она, оказывая слабое сопротивление, когда доктор обнял ее и начал целовать. — Я сейчас закричу... Как вы смеете, нахал?.. Я... я...

VIII

Коммерческий Зауральский банк был открыт. Помещался он на главной Московской улице в большом двухэтажном доме, отделанном специально для этой цели. Великолепный подъезд, отделанная дубом передняя, широкая лестница, громадный зал с дубовыми конторками для служащих, кассирская с металлической сеткой, комната правления с зеленым столом и солидною мебелью, приемная, — одним словом, все в солидно-деловом, банковском стиле. Когда Галактион вошел сюда в первый раз, его охватило какое-то особенное чувство почти детского страха. Да, здесь будут вершиться миллионные дела, решаться судьба громадного края и сосредоточиваться самые жгучие интересы всех прикосновенных к коммерции людей.

Правление нового банка организовано было раньше. В него вошли членами Стабровский, Штофф, Драке, Галактион, Шахма и Мышников. По настоянию Стабровского, управляющим банка был избран Драке. Галактион отлично понимал политику умного поляка, не хотевшего выставлять себя в первую голову и выдвинувшего на ответственный пост безыменного и для всех безразличного немца. Это было сделано замечательно остроумно, как оказалось впоследствии, потому что все члены правления в затруднительных случаях ссылались на упрямого немца, с которым никак не сладишь. Мышников, кроме своего членства, еще получил звание юрисконсульта. Самый щекотливый вопрос был на первое время относительно членских взносов. Из всех членов только Стабровский и Шахма были людьми богатыми и не стеснялись средствами. Затем немцы где-то раздобылись, и Мышников тоже. Оставался один Галактион, у которого ничего не было.

— Это пустяки, — успокаивал его Стабровский. — Мы это дело устроим.

Стабровский сам предложил Галактиону тридцать тысяч, обеспечив себя, конечно, расписками и домашними векселями.

— Ведь это мне решительно ничего не стоит, — объяснял он смущавшемуся Галактиону. — Деньги все равно будут лежать, как у меня в кармане, а года через три вы их выплатите мне.

Получалось все-таки неловкое положение, и Галактион почувствовал те невидимые путы, которыми связывал его Стабровский. Ведь даром не оказывают такого широкого доверия и не дают таких денег. Но другого исхода не было, и Галактион вынужден был принять эту подачку. Кстати, эта комбинация оставила в его душе затаенное и тяжелое чувство по отношению к благодетелю. А тут еще Мышников, который почему-то невзлюбил Галактиона и позволял себе делать какие-то темные намеки относительно таинственного происхождения членского взноса Галактиона. Определенного никто ничего не знал, даже Штофф, но Галактион чувствовал себя первое время очень

скверно, как человек, попавший не в свою компанию. Мышников только из страха перед Стабровским не смел высказывать про Галактиона всего, что думал о нем про себя. Новый юрисконсульт отлично понимал, что Стабровский «создает» Галактиона в каких-то своих личных интересах и целях. Это его злило, потому что Мышников завидовал всякому успеху, а тут еще являлось глухое соперничество по отношению к Харитине. Одним словом, с первого же раза Мышников и Галактион сделались настоящими врагами и взаимно ненавидели друг друга.

— А знаешь, что я тебе скажу,— заметил однажды Штофф, следивший за накипавшею враждой Мышникова и Галактиона, — ведь вы будете потом закадычными друзьями... да.

— Гусей по осени считают, Карл Карлыч.

— Будем посмотреть, Галактион Михеич.

Кстати, Штофф был избран председателем правления, хотя это и не входило в планы Стабровского — он предпочел бы Галактиона, но тот пока еще не «поспел». Стабровский вообще считал необходимым выдерживать прыткого немца и не давать ему излишнего хода. Он почему-то ему не доверял.

В жизни нового банка на первых же порах возникало крупное недоразумение с Ечкиным, который остался в Петербурге, устраивая акции нового банка на бирже. Это было очень сложное и ответственное дело, которое мог устроить только один Ечкин. Но он чуть не бросил всего в самом начале, когда узнал, что не попал в члены банковского правления, чего, видимо, ожидал. Он даже прислал на имя нового правления формальный отказ, что обеспокоило всех. Но Стабровский только улыбнулся. Ечкин иногда позволял себе бунтовать, но все это была одна комедия, — он был совершенно «в руках» у Стабровского. У них были какие-то многолетние сибирские счеты, которые в таких случаях являлись для Ечкина холодною водой, отрезвлявшею его самое законное негодование, как было и в данном случае. Стабровский ни за что не хотел участия Ечкина в администрации банка.

— Он и без этого получил больше всех нас, — спокойно объяснял Стабровский в правлении банка. — Вы только представьте себе, какая благодарная роль у него сейчас... О, он не будет напрасно терять дорогого времени! Вот посмотрите, что он устроит.

Политика Стабровского по отношению к Галактиону скоро разъяснилась. Он пригласил его к себе вечером и предупредил с обычною своею улыбкой:

— Мы сегодня серьезно займемся, Галактион Михеич, одним делом... да.

Можно было предположить, что Стабровский собирается путешествовать, потому что он подвел гостя к отдельному столику, на котором была разложена большая карта.

— Вы не учились географии? — спросил он.

— Нет.

— Ну, ничего, выучимся... Это карта Урала и прилегающих к нему губерний, с которыми нам и придется иметь дело. У нас своя география. Какие все чудные места!.. Истинно страна, текущая млеком и медом. Здесь могло бы благоденствовать население в пять раз большее... Так, вероятно, и будет когда-нибудь, когда нас не будет на свете.

После этих чувствительных рассуждений Стабровский перешел к делу. Он обозначил булавками все пункты, где были винокуренные заводы, их производительность и район действия.

— Нам приходится серьезно считаться с этими господами, Галактион Михеич. Они очень уж просто привыкли забирать барыши совсем даром. Например, Прохоров и К°. Вы слыхали о нем?

— О да!.. Только вам нечего бояться конкуренции с ним, Болеслав Брониславич. Конечно, у них дело старинное, установившееся, а у вас есть свои преимущества в рынке и в перевозке.

— Да? Тем лучше, что мне не нужно вам объяснять. Мы отлично понимаем друг друга.

Сообразительность Галактиона очень понравилась Стабровскому. Он так ценил людей, умеющих понимать с полуслова, как было в данном случае. Все эти

разговоры имели только подготовительное значение, а к главному Стабровский приступил потом.

— Дело вот в чем, Галактион Михеич... Гм... Видите ли, нам приходится бороться главным образом с Прохоровым... да. И мне хотелось бы, чтобы вы отправились к нему и повели необходимые переговоры. Понимаете, мне самому это сделать неудобно, а вы посторонний человек. Необходимые инструкции я вам дам, и остается только выдержать характер. Все дело в характере.

Это предложение немного смутило Галактиона, и он откровенно проговорил:

— Отчего вы не поручите этого Штоффу? Он опытнее меня.

— Хотите, чтобы я сказал вам все откровенно? Штофф именно для такого дела не годится... Он слишком юрок и не умеет внушать к себе доверия, а затем тут все дело в такте. Наконец, мешает просто его немецкая фамилия... Вы понимаете меня? Для вас это будет хорошим опытом.

Не теряя времени, Стабровский сейчас же разъяснил сущность дела, причем Галактион пришел в ужас. Этот богатый пан знал, кажется, решительно все и вперед сосчитал каждое зерно у мужика и каждую копейку выгоды, какую можно было получить. Говоря о конкуренции с сильной фирмой Прохоров и К°, он вперед определил сумму возможных убытков и все комбинации, при которых могли получиться такие убытки. Это уж совсем не походило на тот авось, с каким русские купцы вели свои дела. Тут все было на счету, и Стабровский мог рассказать чужие дела, как свои.

«Что же это такое? — спрашивал Галактион самого себя, когда возвращался от Стабровского домой. — Как же другие-то будут жить?»

Он понимал, что Стабровский готовился к настоящей и неумолимой войне с другими винокурами и что в конце концов он должен был выиграть благодаря знанию, предусмотрительности и смелости, не останавливающейся ни перед чем. Ничего подобного раньше не бывало, и купеческие дела велись ощупью, по

старинке. Галактион понимал также и то, что винное дело — только ничтожная часть других финансовых операций и что новый банк является здесь страшною силой, как хорошая паровая машина.

Он шел домой пешком, чтоб освежиться. Падал первый снежок. В окнах мелькали желтые огоньки. Где-то звонили ко всенощной. Дневная сутолока кончалась, и только освещены были лавки и магазины. Галактиону вдруг сделалось жаль этого маленького городка, жившего до сих пор тихо и мирно. Что с ним будет через несколько лет? Надвигалась какая-то страшная сила, которая ломала на своем пути все, как прорвавшая плотину вода. И он явился покорным слугой этой силы с первого раза. Для него оставалось много непонятного, начиная с собственного положения. Как это все легко делается: недавно еще у него ничего не было, а сейчас уже он зарабатывал столько, что не мог даже мечтать раньше о подобном благополучии. И притом он являлся нужным человеком, у него было уже свое определенное место. Впереди рисовались радужные картины, и нехорошо было только то, что все это будущее неразрывно было связано со Стабровским и его компанией. Галактиону казалось, что он чему-то изменяет, изменяет такому хорошему и заветному.

С другой стороны, с каждым днем его все сильнее и сильнее охватывала жажда широкой деятельности и больших дел. Он уже понимал, что личное обогащение еще не дает ничего, а запольские коммерсанты дальше этого никуда не шли, потому что дальше своего носа ничего не видели и не желали видеть. Галактиону стоило только подумать о Стабровском или Ечкине, которые ворочали миллионными делами, как он сейчас же видел самого себя таким маленьким и ничтожным. Да, это были настоящие, большие люди, и только они умели жить по-настоящему, по-большому.

Под этим настроением Галактион вернулся домой. В последнее время ему так тяжело было оставаться подолгу дома, хотя, с другой стороны, и деваться было некуда. Сейчас у Галактиона мелькнула было

мысль о том, чтобы зайти к Харитине, но он удержался. Что ему там делать? Да и нехорошо... Муж в остроге, а он будет за женой ухаживать.

Подходя к дому, Галактион удивился, что все комнаты освещены. Гости у них почти не бывали. Кто бы такой мог быть? Оказалось, что приехал суслонский писарь Замараев.

— Ты уж меня извини, что по-деревенски ввалился без спросу, — оправдывался Замараев. — Я было заехал к тестю, да он меня так повернул... Ну, бог с ним. Я и поехал к тебе.

— Что ж, я очень рад... А что касается Харитона Артемьича, так не каждое лыко в строку. Как на него взглянет.

— Обидно оно, Галактион Михеич. Ведь не чужой человек приехал. Анфуса-то Гавриловна была рада, а он чуть в шею не вытолкал. Конечно, я — деревенский человек, а все-таки...

— Пустяки... Потом помиритесь.

Галактион искренне был рад гостю, потому что не так тошно дома. За чаем он наблюдал жену, которая все время молчала, как зарезанная. Тут было все: и ненависть к нему и презрение к деревенской родне.

— А вы тут засудили Илью Фирсыча? — болтал писарь, счастливый, что может поговорить. — Слышали мы еще в Суслоне... да. Жаль, хороший был человек. Тоже вот и про банк ваш наслышались. Что же, в добрый час... По другим городам везде банки заведены. Нельзя отставать от других-то, не те времена.

— Да... — неопределенно отвечал Галактион, не зная, что ему отвечать.

— И Бубнова похоронили, — не унимался Замараев. — Знавал я его в прежние времена... Жаль. А слышали новость: Прасковья Ивановна замуж выходит.

— Как выходит? — спросили в голос муж и жена.

— Выходит, как другие прочие вдовы выходят.

— За кого?

— А за доктора... Значит, сама нашла свою судьбу. И то сказать, баба пробойная, — некогда ей горевать. А я тут встретил ее брата, Голяшкина. Мы с ним

дружки прежде бывали. Ну, он мне все и обсказал. Свадьба после святок... Что же, доктор маху не дал. У Прасковьи Ивановны свой капитал.

Потом оказалось, что Замараев успел побывать и в остроге, у Ильи Фирсыча, — одним словом, обежал целый город.

IX

Замараев поселился у Галактиона, и последний был рад живому человеку. По вечерам они часто и подолгу беседовали между собой, и Галактион мог только удивляться той особенной деревенской жадности, какою был преисполнен суслонский писарь, — это не была даже жажда наживы в собственном смысле, а именно слепая и какая-то неистовая жадность.

— Нет, брат, шабаш, старинка-то приказала долго жить, — повторял Замараев, делая вызывающий жест. — По нонешним временам вон какие народы проявились. Они, брат, выучат жить. Темноту-то как рукой снимут... да. На што бабы, и те вполне это самое чувствуют. Вон Серафима Харитоновна как на меня поглядывает, даром что хлеб-соль еще недавно водили.

— Не от ума она, Флегонт Васильич.

— А вот и нет! И я даже весьма понимаю, потому что мы, деревенские, прямые дураки выходим. Серафима-то Харитоновна и выходит права, потому как темнота-с... А только по женской своей части она, конечно, не понимает, что и темнота тоже проснулась и начала копошиться. Все ищутся, Галактион Михеич... Вы вот тут банки открываете и разные прочие огромадные дела затеваете, а от вас и к нам щепки летят... да-с. Теперь взять Ключевую, — она вся зашевелилась. Мельники-то, которые жили всю жизнь по старинке, и те очухались. Недалеко ходить, взять хоть вашего тятеньку, Михея Зотыча, — зараз две новых мельницы строит. Ведь старичок, а как хлопочет. Ну, и другие народы поднялись на дыбы... Кто во что горазд. И у всех уж на уме: не хватит своего капитала,

в банке прихвачу и оборочусь. Вот какое дело... Уж все пронюхали, где жареным пахнет.

На поверку оказалось, что Замараев действительно знал почти все, что делалось в Заполье, и мучился, что «новые народы» оберут всех и вся, — мучился не из сожаления к тем, которых оберут, а только потому, что сам не мог принять деятельного участия в этом обирании. Он знал даже подробности готовившегося похода Стабровского против других винокуров и по-своему одобрял.

— Так и надо... Валяй их! Не те времена, чтобы, например, лежа на боку... Шабаш! У волка в зубе — Егорий дал. Учить нас надо, а за битого двух небитых дают.

— Ну, а как твоя ссудная касса?

— Большим кораблям большое плавание, а мы около бережку будем ползать... Перед отъездом мы с попом Макаром молебствие отслужили угодникам бессребренникам. Как же, все по порядку. Тоже и мы понимаем, как и што следует: воздадите кесарево кесарю... да. Главная причина, Галактион Михеич, что жаль мелкие народы. Сейчас-то они вон сто процентов платят, а у меня будут платить всего тридцать шесть... Да там еще кланялись сколько, да еще отрабатывали благодарность, а тут на, получай, и только всего.

Эта теория благодеяния бедным рассмешила Галактиона своею наивностью, хотя в основе и была известная доля правды.

— Так благодетелем хочешь быть? — смеялся он, хлопая Замараева по плечу. — С зубов кожу будете драть, из блохи голенища кроить?

— А вы? У вас, Галактион Михеич, учимся... Даже вот как учимся. Вам-то вот смешно, а нам слезы.

— Перестань ты дурака валять, Флегонт Васильич. Сами вы кого угодно проведете и надуете.

Замараев, живя в Заполье, обнаружил необыкновенную пронырливость, и, кажется, не было угла, где бы он не побывал, и такой щели, которую бы он не обнюхал с опытностью настоящего сыщика. Эта

энергия удивляла Галактиона, и он раз, незадолго до отъезда в резиденцию Прохорова и К°, спросил:

— А ты не был у Харитины, Флегонт Васильич?

— Нет, не довелось.

— Почему?

— Все собираюсь, да как-то не могу дойти. А надо бы повидать. Прежде-то не посмел бы, когда Илья Фирсыч царствовали, а теперь-то даже очень просто.

— Вот что, Флегонт Васильич... — замялся немного Галактион. — А если я тебя попрошу зайти к ней? Понимаешь, ты как будто от себя...

— Могу.

— Пожалуйста, не проболтайся.

— Сделай милость. Тоже не левою ногой сморкаемся.

— Видишь ли, в чем дело... да... Она после мужа осталась без гроша. Имущество все описано. Чем она жить будет? Самому мне говорить об этом как-то неудобно. Гордая она, а тут еще... Одним словом, женская глупость. Моя Серафима вздумала ревновать. Понимаешь?

— В лучшем виде. Известно, бабы.

— Так вот я с удовольствием помог бы ей... на первое время, конечно. К отцу она тоже не пойдет.

— Вот это даже совсем напрасно. Одно малодушие.

— Я знаю ее характер: не пойдет... А поголодает, посидит у хлеба без воды и выкинет какую-нибудь глупость. Есть тут один адвокат, Мышников, так он давно за ней ухаживает. Одним словом, долго ли до греха? Так вот я и хотел предложить с своей стороны... Но от меня-то она не примет. Ни-ни! А ты можешь так сказать, что много был обязан Илье Фирсычу по службе и что можешь по-родственному ссудить. Только требуй с нее вексель, а то догадается.

— Весьма понимаю. Горденька Харитина Харитоновна.

— Да, да. Так сделай это для меня. Как-нибудь сочтемся. Рука руку моет, Флегонт Васильич.

— Уж будь спокоен. Так подведем, что и сама не услышит. Тоже и мы не в угол рожей, хоша и деревенские.

— Пожалуйста. Меня она очень беспокоит.

Суслонский писарь отправился к Харитине «на той же ноге» и застал ее дома, почти в совершенно пустой квартире. Она лежала у себя в спальне, на своей роскошной постели, и курила папиросу. Замараева больше всего смутила именно эта папироса, так что он не знал, с чего начать.

— Завернул к вам, Харитина Харитоновна... Жена Анна наказывала. Непременно, грит, проведай любезную сестрицу Харитину и непременно, грит, зови ее к нам в Суслон погостить.

— Это в деревню-то? — удивилась Харитина. — Да вы там с женой оба с ума спятили!

— А вы не сердитесь на нашу деревенскую простоту, Харитина Харитоновна, потому как у нас все по душам... А я-то так кругом обязан Ильей Фирсычем, по гроб жизни. Да и так люди не чужие... Ежели, напримерно, вам насчет денежных средств, так с нашим удовольствием. Конешно, расписочку там на всякий случай выдадите,— это так, для порядку, а только не сумлевайтесь. Весь перед вами, в том роде, как свеча горю.

Против ожидания, Харитина отнеслась к этому предложению с деловым спокойствием и не без гордости ответила:

— Сейчас мне не хочется занимать денег у отца, но я отдам в самом скором времени... У меня будут деньги.

— Само собою разумеется, как же без денег жить? Ведь я хоша и говорю вам о документе, а даю деньги все одно, как кладу к себе в карман. По-родственному, Харитина Харитоновна. Чужим-то все равно, а свое болит... да. Заходил я к Илье Фирсычу. В большое малодушие впадает.

— Не говорите мне про него!

— Я так, к слову.

— Вот вы о родственниках заговорили... Хороши бывают родственнички! Ну, да не стоит об этом говорить!

Харитина разошлась до того, что предложила чаю.

Она продолжала лежать на постели совсем одетая и курила одну папиросу за другой.

— Извините меня, Харитина Харитоновна, — насмелился Замараев. — Конечно, я деревенский мужик и настоящего городского обращения не могу вполне понимать, а все-таки дамскому полу как будто и не того, не подобает цыгарки курить. Уж вы меня извините, а это самое плохое занятие для настоящей дамы.

— Пустяки, это от скуки, — коротко объяснила Харитина улыбаясь. — Что мне больше-то делать? А тут мысли разгоняет.

— Это, конечно-с. А когда прикажете доставить вам деньги? Впрочем, я и сейчас могу-с, а вы только на бумажке-с черкните.

— А сколько вы можете мне дать сейчас? Тысячу?

— Многонько-с. Сотенный билет могу, а когда издержите — другой. Тысячу-то и потерять можно по женскому делу.

Харитина взяла деньги, небрежно сунула их под подушку, и оттуда вынула два мужских портрета.

— Который больше нравится? — спрашивала она улыбаясь.

— Одного-то я знаю... господин Мышников-с?

— А другой — еврей Ечкин.

— Так-с, слышали.

— Вот я и гадаю: на которого счастье выпадет.

Замараев поднялся с видом оскорбленного достоинства и проговорил:

— Непригоже вам, Харитина Харитоновна, отецкой дочери, такие слова выговаривать, а мне непригоже их слушать. И для ради шутки даже не годится.

— Ну, так проваливай! — грубо ответила Харитина. — Тоже сахар нашелся!.. А впрочем, мне все равно. Ты где остановился-то?

— Я-то? Значит, сперва к тятеньке размахнулся, ну, а как они меня обзатылили, так я к Галактиону Михеичу... у них-с.

— А! Скажи Галактиону поклончик.

Вторая половина разговора шла уже на «ты», и Замараев только качал головой, уходя от разжалованной исправницы.

Вернувшись домой, писарь ничего не сказал Галактиону о портретах, а только встряхивал головой и бормотал что-то себе под нос.

— Нда-с, дама-с... можно сказать... и притом огненный карахтер.

— А что? — спрашивал Галактион.

— Да так, вообще... Однако деньги соблаговолили принять и расписку обещали прислать. Значит, своя женская гордость особо, а денежки особо. Нда-с, дама-с!

Галактион только молча пожал руку своему сообщнику и сейчас же уплатил выданные Харитине деньги.

— Не в коня корм, — заметил наставительно писарь. — Конечно, у денег глаз нет, а все-таки, когда есть, напримерно, свои дети...

— Ну, об этом не беспокойся. Деньги будут, сколько угодно. Не в деньгах счастье.

Замараев только угнетенно вздохнул. Очень уж легко нынче в Заполье о деньгах разговаривают. Взять хотя того же Галактиона. Давно ли по красному билету занимал, а тут и сотенной не жаль. Совсем малодушный человек.

По вечерам писарь оставался обыкновенно дома, сохраняя деревенскую привычку, а Галактион уходил в свой банк или к Стабровскому. Писарю делалось иногда скучно, особенно когда дети укладывались спать. Он бесцельно шагал по кабинету, что-то высчитывая и прикладывая в уме, напевал что-нибудь из духовного и терпеливо ждал хозяина, без которого не мог ложиться спать. Это сиденье поневоле сблизило его с хозяйкой, относившейся к нему сначала с холодным пренебрежением. Притом писарь заметил, что вечером Серафима делалась как-то добрее и даже сама вступала в разговор. Расспрашивала его о Суслоне, как живет Емельян с тайною женой, что поделывает Михей Зотыч и т. д. Замараев каждый раз думал, что Серафима утишилась и признала его за равноправного родственника, но каждое утро его разочаровывало в этом, — утром к Серафиме не было приступа, и она не отвечала ему и даже не смотрела на него. Он объяснял это тем, что она не хотела уронить своего досто-

инства при муже. Но в конце концов он понял истинную причину.

Раз за вечерним чаем Серафима была особенно оживлена и проговорила:

— Скучно вам у нас, Флегонт Васильич?

— Зачем скучать? Нет, ничего.

— Ведь я вижу... И мне тоже скучно. Вот что, давайте играть в дурачки.

— Что же, с удовольствием, Серафима Харитоновна. Мы иногда с нашею попадьей Луковной до зла-горя играем... Даже ссоримся.

Они устроились тут же, за чайным столиком. Серафима подсела совсем близко, и Замараев, сдавая карты, должен был наклоняться. Когда он остался в дураках и Серафима расхохоталась, на него вдруг пахнуло вином. Игра повторилась в другой раз, и Замараев заметил то же самое. Серафима выходила по нескольку раз из-за стола и возвращалась из своей комнаты еще веселее. Больше не оставалось сомнения, что она тайком напивалась каждый вечер тою самою мадерой, которую нещадно пило все Заполье. Раз Серафима «перепаратила» настолько, что даже чуть не упала.

Что было делать Замараеву? Предупредить мужа, поговорить откровенно с самой, объяснить все Анфусе Гавриловне, — ни то, ни другое, ни третье не входило в его планы. С какой он стати будет вмешиваться в чужие дела? Да и доказать это трудно, а он может остаться в дураках.

«Э, моя хата с краю! — решил писарь и махнул рукой. — Сказанное слово — серебряное, а несказанное — золотое».

В доме Галактиона пахло уже мертвым.

X

Перед самым отъездом Галактиона была получена новая корреспонденция, взволновавшая все Заполье. Неизвестный корреспондент разделывал новых дельцов, начинавших с организации банка. Досталось тут

и Галактиону, как перебежчику от своей купеческой партии. Писал, видимо, человек свой, знавший в тонкости все запольские дела и всех запольских воротил. К разысканию таинственного писаки приняты были все меры, которые ни к чему решительно не привели. Обозленные банковцы дошли до невероятных предположений. Особенно волновался Штофф.

— Это писала протопопская дочь, — уверял он в отчаянии. — Она кончила гимназию, — ну, и написала.

В розыске принял участие даже Замараев, который под величайшим секретом сообщил Галактиону:

— Некому больше, как вашему адвокату Мышникову. У тебя с ним контры, вот он и написал. Небойсь о себе-то ничего не пишет. Некому другому, кроме него.

Как это иногда случается, от излишнего усердия даже неглупые люди начинали говорить глупости.

На Галактиона корреспонденция произвела сильное впечатление, потому что в ней было много горькой правды. Его поразило больше всего то, что так просто раскрывались самые тайные дела и мысли, о которых, кажется, знали только четыре стены. Этак, пожалуй, и шевельнуться нельзя, — сейчас накроют. Газета в его глазах получила значение какой-то карающей судьбы, которая всякого найдет и всякому воздаст по его заслугам. Это была не та мистическая правда, которой жили старинные люди, а правда новая, называющая всенародно вещи их именами.

Из Заполья Галактион уехал под впечатлением этой корреспонденции. Ведь если разобрать, так в газете сущую правду пропечатали. Дорогой как-то лучше думается, да и впечатления другие. Заводы Прохорова и К° были уже в степи, и ехать до них приходилось целых полтора суток. Кругом расстилались поля. Теперь они были занесены снегом. Изредка попадались степные деревушки. Здесь уже была другая стройка, чем на Ключевой: избенки маленькие, крыши соломенные, надворные постройки налажены кое-как из плетня, глины и соломы. Но народ жил справно благодаря большим наделам, степному черно-

зему и близости орды, с которой шла мена на хлеб. Много было всякого крестьянского добра, а корреспондент уже пишет о разорении края и о будущем обеднении. Галактиону вдруг сделалось совестно, когда он припомнил слова отца. Вот и сейчас он едет в сущности по нечистому делу, чтобы Стабровский за здорово живешь получал отступное в сорок тысяч.

Да, нехорошо. А все оттого, что приходится служить богатым людям. То ли бы дело, если бы завести хоть один пароходик, — всем польза и никто не в обиде.

— Ну, как вы тут живете? — спрашивал Галактион одного рыжебородого ямщика, бойкого и смышленого.

— А ничего, ваше степенство. Слава богу, живем, нога за ногу не задеваем.

Обернувшись, ямщик прибавил:

— У нас вот как, ваше степенство... Теперь страда, когда хлеб убирают, так справные мужики в поле не дожинают хлеб начисто, а оставляют «Николе на бородку». Ежели которые бедные, — ну, те и подберут остатки-то. Ничего, справно народ живет. Богатеи есть, у которых по три года хлеб в скирдах стоит.

Отъехав станций пять, Галактион встретил, к своему удивлению, Ечкина, который мчался на четверке в Заполье. Он остановил лошадей.

— Вы это к Прохорову? — спрашивал Ечкин.

— Да... А вот вы были в Петербурге, а едете из степи.

— Э, батенька, волка ноги кормят! Из Петербурга я проехал через Оренбург в степь, дела есть с проклятым Шахмой, а теперь качу в Заполье. Ну, как у вас там дела?

— Да ничего, помаленьку.

— Вот все вы так: помаленьку да помаленьку, а я этого терпеть не могу. У меня, батенька, целая куча новых проектов. Дела будем делать. Едва уломал дурака Шахму. Стеариновый завод будем строить. Шахма, Малыгин и я. Потом вальцовую мельницу...

да. Потом стеклянный завод, кожевенный, бумагу будем делать. По пути я откупил два соляных озера.

Ечкин не утерпел и выскочил из своего щегольского зимнего экипажа. Он так и сиял здоровьем.

— Ах, сколько дела! — повторял он, не выпуская руки Галактиона из своих рук. — Вы меня, господа, оттерли от банка, ну, да я и не сержусь, — где наше не пропало? У меня по горло других дел. Скажите, Луковников дома?

— Да... Он, кажется, никуда не ездит.

— Отлично. Мне его до зарезу нужно. Полуянова засудили? Бубнов умер? Слышал... Все к лучшему в этом лучшем из миров, Галактион Михеич. А я, как видите, не унываю. Сто неудач — одна удача, и в этом заключается вся высшая математика. Вот только времени не хватит. А вы синдикат устраивать едете?

— Какой синдикат?

— Ну, по-вашему, сделочка. Знаю... До свидания. Лечу.

Неугомонный человек исчез как метеор. Ечкин поражал Галактиона своею необыкновенной энергией, смелостью и уменьем выпутаться из какого угодно положения. Сначала он относился к нему с некоторым предубеждением, как к жиду, но теперь это детское чувство совершенно заслонялось другими соображениями. Вот как нужно жить на белом свете, вот как работать.

Прохоровские винокуренные заводы в степи представляли собой что-то вроде небольшого городка. Издали еще виднелись высокие дымившиеся трубы, каменные корпуса, склады зерна, амбары и десятки других заводских построек. Отдельно стояла контора, дом самого Прохорова, квартиры для служащих и простые избушки для рабочих. Место было глухое, и Прохоров выбрал его по какому-то дикому капризу. Поговаривали, что главный расчет заключался в отдаленности акциозного надсмотра, хотя это и относилось уже к доброму старому времени.

Сам Прохоров был дома. Впрочем, он всегда был дома, потому что никуда и никогда не ездил уже лет

двадцать. Его мучило вечное недоверие ко всему и ко всем: обкрадут, подожгут, зарежут, — вообще изведут. Простой народ называл его «пятачком», — у Прохорова была привычка во что бы то ни стало обсчитать на пятачок. Ведь никто не пойдет судиться из-за пятачка и терять время, а таких пятачков набегало при расчетах тысячи. Даже жалованье служащим он платил на пятачок меньше при каждой выдаче. Это был налог, который несли все, так или иначе попадавшие в Прохоровку.

Галактиона винокуренный степной король принял с особенным недоверием.

— Так-с, так-с, — повторял он. — О Стабровском слышали... да. А только это нас не касается.

По наружности Прохоров напоминал ветхозаветного купца. Он ходил в длиннополом сюртуке, смазных сапогах и ситцевой рубахе. На вид ему можно было дать лет шестьдесят, хотя ни один седой волос не говорил об этом. Крепкий вообще человек. Когда Галактион принялся излагать подробно свою миссию, Прохоров остановил его на полдороге.

— Это нас не касается, милый человек. Господин Стабровский сами по себе, а мы сами по себе... да-с. И я даже удивляюсь, что вам от меня нужно.

— Вы сейчас не хотите понять, а потом будете жалеть.

— Что делать, что делать. Только вы напрасно себя беспокоите.

— Я так и передам.

— Пожалуйста.

На прощанье упрямый старик еще раз осмотрел гостя и проговорил:

— Да вы-то кто будете Стабровскому?

— Никто. Просто, он мне поручил предупредить вас и войти в соглашение.

— Так-с, так-с. Весьма даже напрасно. Ваша фамилия Колобов? Сынок, должно быть, Михею Зотычу? Знавал старичка... Лет с тридцать не видались. Кланяйтесь родителю. Очень жаль, что ничего не могу сделать вам приятного.

Эта неудача для Галактиона имела специальное значение. Прохоров показал ему его полную ничтожность в этом деловом мире. Что он такое в самом деле? Прохоров только из вежливости не наговорил ему дерзостей. Уезжая из этого разбойничьего гнезда, Галактион еще раз вспомнил слова отца.

Стабровский отнесся к неудаче с полным равнодушием.

— Что же, мы со своей стороны сделали все,— объяснил он. — Прохорову обойдется его упрямство тысяч в пятьдесят — и только. Вот всегда так... Хочешь человеку добро сделать, по совести, а он на стену. Будем воевать.

План войны у Стабровского уже был готов, как и вся кабацкая география. Оставалось только пустить всю машину в ход.

— Говоря откровенно, мне жаль этого старого дурака, — еще раз заметил Стабровский, крутя усы. — И ничего не поделаешь. Будем бить его же пятачком, а это самая беспощадная из всех войн.

За завтраком у Стабровского Галактион неожиданно встретил Харитину, которая приехала вместе с Ечкиным. Она была в черном платье, которое еще сильнее вытеняло молочную белизну ее шеи и рук. Галактиону было почему-то неприятно, что она приехала именно с Ечкиным, который сегодня сиял, как вербный херувим.

— Давненько мы не видались, — заговорила она первая, удерживая руку Галактиона в своей. — Ну, как поживаешь? Впрочем, что я тебя спрашиваю? Мне-то какое до тебя дело?

— Зачем ты приехала с Ечкиным? — тихо спросил Галактион, не слушая ее болтовни.

— Да так... Он такой смешной. Все ездит ко мне, болтает разный вздор, а сегодня потащил сюда. Скучно... Поневоле рад каждому живому человеку.

— А муж?

— Он все богу молится. Да и пора грехи замаливать. А что твоя Серафима?

— В самый раз бы отправить ее вместе с Полуяновым.

— Смотри, Галактион, теперь вот ты ломаешься да мудришь над Серафимой, и бог-то и найдет. Это уж всегда так бывает.

— Э, все равно, — один конец! Тошно мне!

Галактион больше не разговаривал с ней и старался даже не смотреть в ее сторону. Но он не мог не видеть Ечкина, который ухаживал за Харитиной с откровенным нахальством. У Галактиона перед глазами начали ходить красные круги, и он после завтрака решительным тоном заявил Харитине:

— Я тебя провожу домой.

— Меня Борис Яковлич провожает.

Галактион посмотрел на нее такими безумными глазами, что она сейчас же с детскою торопливостью начала прощаться с хозяевами. Когда они выходили из столовой, Стабровский поднял брови и сказал, обращаясь к жене:

— Они добром не кончат, эти молодцы.

— Ах, какая она красавица! — говорила с завистью пани Стабровская, любовавшаяся всяким здоровым человеком. — Право, таким здоровым и сильным людям и умереть не страшно, потому что они живут и знают, что значит жить.

— Да, это нужно иметь в виду почтенному Борису Яковлевичу, — шутил Стабровский. — Иногда кипучая жизнь проявляется в не совсем удобных формах.

— Я? Что же я, мне все равно, — смешно оправдывался Ечкин, улыбаясь виноватою улыбкой. — Я действительно немножко ухаживал за Харитиной Харитоновной, но я ведь не виноват, что она такая хорошенькая.

— Прежде всего, мой милый, тебя в этих делах всегда выручало спасительное чувство страха.

Галактион молча усадил Харитину на извозчика и, кажется, готов был промолчать всю дорогу. Чувство страха, охватившее ее у Стабровских, сменилось теперь мучительным желанием освободиться от его присутствия и остаться одной, совершенно одной. Потом ей захотелось сказать ему что-нибудь неприятное.

— На свадьбе у Прасковьи Ивановны ты, конечно, будешь? — спросила она Галактиона с деланым спокойствием, когда уже подъезжали к дому.

— Ечкин будет посаженым отцом, а я шафером.

— Оставь, пожалуйста, Ечкина в покое. Какое тебе дело до него?

— А вот какое.

Галактион схватил ее за руку и пребольно сжал, так что у нее слезы выступили на глазах.

— Ты, кажется, думаешь, что я твоя жена, которую ты можешь бить, как бьешь Серафиму? — проговорила она дрогнувшим голосом.

Он только засмеялся, высадил ее у подъезда и, не простившись, пошел домой.

XI

Харитина вбежала к себе в квартиру по лестнице, как сумасшедшая, и сейчас же затворила двери на ключ, точно Галактион гнался за ней по пятам и мог ворваться каждую минуту.

— Вот нахал! — повторяла она, улыбаясь и размахивая рукой, у которой от пожатия Галактиона слиплись пальцы. — Это какой-то сумасшедший.

Она опять лежала у себя в спальне на кровати и смеялась неизвестно чему. Какой-то внутренний голос говорил ей, что Галактион придет к ней непременно, придет против собственной воли, злой, сумасшедший, жалкий и хороший, как всегда. Как он давеча посмотрел на нее у Стабровских — точно огнем опалил. Харитина захохотала и спрятала голову в подушку. Интересно было бы свести его с Ечкиным. Потом Харитине вдруг пришла в голову мысль, которая заставила ее сесть на кровати. Да ведь это он, Галактион, подослал к ней этого дурака писаря с деньгами, и она их взяла. Ах, какая дура! И как было не догадаться? Харитина озлилась на это непрошенное участие Галактиона и сразу успокоилась. Теперь она была рада, что он придет. Да, пусть придет.

Галактион действительно пришел вечером, когда было уже темно. В первую минуту ей показалось, что он пьян. И глаза красные, и на ногах держится нетвердо.

— Ты зачем это ко мне пьяный приходишь? — проговорила она.

— Я? Пьяный? — повторил машинально Галактион, очевидно не понимая значения этих слов. — Ах, да!.. Действительно, пьян... тобой пьян. Ну, смотри на меня и любуйся, несчастная. Только я не пьян, а схожу с ума. Смейся надо мной, радуйся. Ведь ты знала, что я приду, и вперед радовалась? Да, вот я и пришел.

Галактион присел к столу, закрыл лицо руками, и Харитина видела только, как вздрагивали у него плечи от подавленных рыданий. Именно этого Харитина не ожидала и растерялась.

— Галактион, бог с тобой, — бормотала она упавшим голосом. — Какой ты, право. Мне хуже во сто раз, да ведь я ничего.

— Ничего ты не понимаешь — вот и ничего. Ну, зачем я сюда пришел?

Он поднялся и, не вытирая катившихся по лицу слез, посмотрел на нее давешними безумными глазами.

— Ты думаешь, что я тебя люблю? Нет, я пришел сказать тебе, что ненавижу тебя... всю ненавижу... и себя ненавижу... Ненавижу и жалею... Как-то кругом все пусто... темно... и страшно, страшно. И Симу жаль и детишек. Малюсенькие, а уж начинают понимать по-своему, что в доме неладно. Встретишь знакомого и боишься, что вот он скажет тебе то самое, о чем боишься думать. Как-то я был у старика Луковникова, так ему на меня было стыдно смотреть. Разве я не понимаю? А я бессовестным прикинулся и все притворялся, что ничего не замечаю.

— Тебе уж это кажется все.

— Ничего не кажется, а только ты не понимаешь. Ведь ты вся пустая, Харитина... да. Тебе все равно: вот я сейчас сижу, завтра будет сидеть здесь Ечкин, послезавтра Мышников. У тебя и стыда никакого нет.

Разве девушка со стыдом пошла бы замуж за пьяницу и грабителя Полуянова? А ты его целовала, ты... ты...

У Галактиона перехватило горло от запоздавшей ревности к Полуянову, и он в изнеможении схватился за грудь.

— Говори... ну, говори все, — настаивала Харитина. — Я жена Полуянова, а ты... ты...

— Молчи, ради бога молчи!

— Нет, ты молчи, а я буду говорить. Ты за кого это меня принимаешь, а? С кем деньги-то подослал? Писарь-то своей писарихе все расскажет, а писариха маменьке, и пошла слава, что я у тебя на содержании. Невелика радость! Ну, теперь ты говори.

— Оно действительно глупо вышло, а только я, Харитина...

— Только меня срамишь. Теперь про меня все можно говорить, кому что нравится.

— О тебе же заботился. В самом деле, Харитина, будем дело говорить. К отцу ты не пойдешь, муж ничего не оставил, надо же чем-нибудь жить? А тут еще подвернутся добрые люди вроде Ечкина. Ведь оно всегда так начинается: сегодня смешно, завтра еще смешнее, а послезавтра и поправить нельзя.

— По себе судишь?

Это был намек на Прасковью Ивановну, и Галактион немного смутился.

— Оставь глупости. Я серьезно говорю. Пока что я действительно хотел тебе помочь.

— А потом?

— Потом видно будет, что и как.

— Дешево содержанку хочешь купить, Галактион Михеич.

— Перестань молоть!

Этот деловой разговор утомил Харитину, и она нахмурилась. В самом деле, что это к ней все привязываются, точно сговорились в один голос: чем будешь жить да как будешь жить? Живут же другие вдовы, и никто их не пытает.

— Ну ладно, не будем теперь об этом говорить, — решил Галактион, махнув рукой. — Разве с тобой ктонибудь сговаривал?

Он опять сел к столу и задумался. Харитина ходила по комнате, заложив руки за спину. Его присутствие начинало ее тяготить, и вместе с тем ей было бы неприятно, если бы он взял да ушел. Эта двойственность мыслей и чувств все чаще и чаще мучила ее в последнее время.

— Ведь вот старики-то прожили век, — думал Галактион вслух, отдаваясь внутреннему течению своих мыслей. — Да, целый век прожили. И худо было и хорошо, а все-таки прожили. Дом не пустовал, беспризорные жены не оставались. Эх, неладно!.. Вот я ехал, Харитина, в степи, а ямщик рассказывает, как у них Николе на бородку оставляют, когда страда. И этого не будет... Все отберут, и никуда не уйдешь. Вот посмотри на меня: по видимости как будто и человек, а в середине уж труха. Я-то первый своему брату купцу животы буду подводить. И самому мне деваться некуда. И другие прочие народы тоже соображают, где плохо лежит. Вон Замараев-то кассу ссуд хочет открывать в Заполье.

— Он уж меня в кассирши приглашал.

— Тебя?.. Ха-ха... Это будет у вас театр, а не ссудная касса. Первым делом — ему жена Анна глаза выцарапает из-за тебя, а второе — ты пишешь, как курица лапой.

— Выучусь.

— Другому чему не научись.

— Тебя не спрошу. Послушай, Галактион, мне надоело с тобой ссориться. Понимаешь, и без тебя тошно. А тут ты еще пристаешь... И о чем говорить: нечем будет жить — в прорубь головой. Таких ненужных бабенок и хлебом не стоит кормить.

Харитина не понимала, что Галактион приходил к ней умирать, в нем мучительно умирал тот простой русский купец, который еще мог жалеть и себя и других и говорить о совести. Положим, что он не умел ей высказать вполне ясно своего настроения, а она была еще глупа молодою бабьей глупостью. Она даже рассердилась, когда Галактион вдруг поднялся и начал прощаться:

— Ты это куда?

— Куда-нибудь надо идти. Не все ли равно, куда ни идти? Ну, прощай, Харитина.

Она молча подала ему руку и не шевельнулась с места, чтобы проводить его до передней. В ее душе жило смутное ожидание чего-то, и вот этого именно и не случилось.

Вечером, измучившись от тоски, Харитина отправилась к матери, где, к своему удивлению, застала Замараева, который уже называл ее сестрицей.

— Вот тятеньки нет дома, значит, я — гость, — объяснил он откровенно. — Горденек Харитон Артемьич, а напрасно-с.

Анфуса Гавриловна была рада суслонскому зятю. Положим, не из важных зять, а все-таки живет хорошо и родню уважает. Ей делалось совестно за мужа, который срамил писаря в глаза и за глаза. Каков уж есть, — из своей кожи не вылезешь. В малыгинском доме вообще переживалось тяжелое время: Лиодор сидел в остроге, ожидая суда, Полуянова на днях отправляли в Сибирь. Галактион жил неладно, — все как-то шло врозь. А тут еще Харитина со своею красотой осталась ни на дворе, ни на улице. Последнюю дочь Агнию, и ту запорочила Бубниха своим сватовством. Теперь девушке никуда глаз нельзя показать в люди. Она даже похудела с горя и ходила, как в воду опущенная, и пряталась в своей комнатке от чужих.

— Уж эта Бубниха! — удивлялась Анфуса Гавриловна. — И что ей было изводить девушку? Подвела жениха, а потом сама за него поклалась.

— Это она с горя, маменька, — объясняла Харитина. — Ей до зла-горя нравился Мышников, а Мышников все за мной ухаживал, — ну, она с горя и махнула за доктора. На, мил сердечный друг, полюбуйся!

— И не пойму я вас, нонешних, — жаловалась старушка. — Никакой страсти в нонешних бабах нет. Не к добру это, когда курицы по-петушиному запоют.

В другой раз Анфуса Гавриловна отвела бы душеньку и побранила бы и дочерей и зятьев, да опять и нельзя: Полуянова ругать — битого бить, Галактиона — дочери досадить, Харитину — с непокрытой

головы волосы драть, сына Лиодора — себя изводить. Болело материнское сердце день и ночь, а взять не с кого. Вот и сейчас, налетела Харитина незнамо зачем и сидит, как зачумленная. Только и радости, что суслонский писарь, который все-таки разные слова разговаривает и всем старается угодить.

— Богоданная маменька, как будто вы из лица сегодня не совсем?

— Ох, тоже и скажет! На што мне и лицо это самое? Провалилась бы я, кажется, скрозь землю, а ты: из лица не совсем!

— Не убивайтесь, богоданная маменька, может, все дела помаленьку наладятся. Господь терпел и нам наказал терпеть. Испытания господь посылает любя и любя наказует за нашу гордость. Кто погордится, а ему сейчас усмирение.

— Это ты на Харитона Артемьича?

— Зачем же-с? Так, вообще-с.

Сегодня Замараев имел какой-то особенно таинственный и загадочно-грустный вид. Он воспользовался моментом, когда Анфуса Гавриловна зачем-то вывернулась из комнаты, поманил пальцем Харитину и змеиным сипом сказал:

— Сестрица, и что я вам скажу.

Затем он оглянулся, подошел совсем близко, так, что Харитина могла убедиться, что он за обедом наелся по-деревенски луку, и еще таинственнее спросил:

— Уж как мне быть — ума не приложу... Ах, какое дело, сестрица!

— Да ну тебя, говори толком! — вскипела Харитина.

— Дело следующее-с, то есть, собственно, два дела-с, сестрица. Первое, что сестрица Серафима подверглась прахтикованному запою.

— Сима?..

— Они-с... Я ведь у них проживаю и все вижу, а сказать никому не смею, даже богоданной маменьке. Не поверят-с. И даже меня же могут завинить в напраслине. Жена перед мужем всегда выправится, и я же останусь в дураках. Это я насчет Галактиона, сестрица. А вот ежели бы вы, примерно, вечером

заглянули к ним, так собственноручно увидели бы всю грусть. Весьма жаль.

Это известие ужасно поразило Харитину. У нее точно что оборвалось в груди. Ведь это она, Харитина, кругом виновата, что сестра с горя спилась. Да, она... Ей живо представился весь ужас положения всей семьи Галактиона, иллюстрировавшегося народною поговоркой: муж пьет — крыша горит, жена запила — весь дом. Дальше она уже плохо понимала, что ей говорил Замараев о каком-то стеариновом заводе, об Ечкине, который затягивает богоданного тятеньку в это дело, и т. д.

— А мать ничего не знает? — прервала она поток писарского красноречия.

— Никак нет-с, потому как сестрица Серафима наезжают к ним по утрам, когда еще они в своем виде. А по вечерам они даже не сказываются дома, ежели, напримерно, навернутся гости.

— И давно это с ней? Впрочем, что это я спрашиваю глупости? Надо все матери рассказать.

— Уж это только вы, сестрица, сделайте, а я не смею.

Когда Анфуса Гавриловна вернулась, Харитина даже раскрыла рот, чтобы сообщить роковую новость, но удержалась и только покраснела. У нее не хватило мужества принять на себя первый напор материнского горя. Замараев понял, почему сестрица струсила, сделал благочестивое лицо и только угнетенно вздыхал. Харитина посидела еще из приличия и ушла в комнату к сестре Агнии, чего раньше никогда не делала.

— Что это попритчилось нашей исправнице? — удивлялась Анфуса Гавриловна. — Раньше-то Агнию и за сестру не считала.

— Молодо-зелено, маменька.

XII

Открытый в Заполье банк действительно сразу оживил все, точно хлынула какая-то магическая сила. Запольское купечество заволновалось, придумывая

новые «способа» и «средствия». Все отлично понимали, что жить попрежнему невозможно и что жить по-новому без банка, то есть без кредита, тоже невозможно. Попрежнему среднее купечество могло вести свои обороты с наличным капиталом в двадцать — тридцать тысяч, а сейчас об этом нечего было и думать. Особенно ясно это сделалось всем, когда Стабровский объявил открытую войну Прохорову и К°. Чтобы открыть действие своего завода, он начал производить закупку хлеба в невиданных еще размерах. Штофф забирал весь хлеб в Заполье, а Галактион в Суслоне. В общем, вся эта хлебная операция достигала на первый раз почтенной цифры в четыреста тысяч пудов. Только теперь запольские хлебники, скупавшие десятками тысяч, поняли ту печальную истину, что рынок от них ушел и что цену хлеба даже теперь уже ставят доверенные Стабровского. Они били своих конкурентов по всем боевым хлебным пунктам самым простым способом, набавляя всего четверть копейки на пуд. Что значило Стабровскому выкинуть лишнюю тысячу рублей на эту беспощадную войну, а другим тягаться уже становилось не под силу. Все понимали также, что все эти убытки Стабровский наверстает вдвойне — и на скупленном хлебе и на водке, а потом будет ставить цену, какую захочет. А главное — его выручал банк, дававший те средства, которых недоставало. И везде почувствовалась гнетущая власть навалившейся новой силы.

Результатом этого движения было то, что сразу открылся целый ряд новых предприятий. На первом плане выдвинулась постройка громадного стеаринового завода, устраивавшегося новою компанией, составленною Ечкиным: в нее входили сам Ечкин, Шахма и старик Малыгин. Дело затевалось миллионное, и все только ахали. Пошатнулся и старик Луковников, задумавший громадную вальцовую мельницу в самом Заполье, — он хотел перехватить у других мелкотравчатых мельников пшеницу. Теперь дело сводилось именно на то, кто захватит вперед и предупредит других. Все остальные тоже по мере сил набросились на новые предприятия, главным образом — на

хлеб. По Ключевой строилось до десятка новых мельниц-крупчаток.

Это небывалое оживление всей хлебной торговли отразилось на всех сторонах коммерческой деятельности. Ходко пошел красный товар, скобяной, железный, галантерея, а главным образом — кабак. Мужик продавал хлеб и деньги тратил на ситцы, самовары и водку. Все исходило от этого хлеба, в нем было основание и залог всего остального. Торговля в Заполье оживилась до неузнаваемости, и прежние лавки и лавчонки быстро превратились в магазины с зеркальными стеклами, где торговали без запроса. Возникла страшная конкуренция в погоне за покупателем, и все старались перещеголять друг друга. Недостававшие деньги черпались полною рукой из банка. Удерживались от общего потока только такие заматерелые старики, как миллионер Нагибин, он ничего не хотел знать и только покачивал своею головой.

— Распыхались наши купцы не к добру, — пошептывал миллионер, точно колдун. — Ох, не быть добру!.. Очень уж круто повернулись все, точно с печи упали.

Происходили странные превращения, и, может быть, самым удивительным из них было то, что Харитон Артемьич, увлеченный новым делом, совершенно бросил пить. Сразу бросил, так что Анфуса Гавриловна даже испугалась, потому что видела в этом недобрый признак. Всю жизнь человек пил, а тут точно ножом обрезал.

— Нет, брат, теперь не те времена, — повторял он. — Дикость-то свою надо бросить, а то все мы тут мохом обросли.

Новый стеариновый завод строился на упраздненной салотопенной заимке Малыгина. По плану Ечкина выходило так, что Шахма будет поставлять степное сало, Харитон Артемьевич заведовать всем делом, а он, Ечкин, продавать. Все, одним словом, было предусмотрено вперед, особенно громадные барыши, как законный результат этой компанейской деятельности.

Старик настолько увлекся своею новою постройкой, что больше ничего не желал знать. Дело дошло

до того, что он отнесся как-то совсем равнодушно даже к оправданию родного сына Лиодора.

— Лучше бы уж его в Сибирь сослали, — думал он вслух. — Может, там наладился бы парень... Отец да мать не выучат, так добрые люди выучат. Вместе бы с Полуяновым и отправить.

Эта бесчувственность больше всего огорчила Анфусу Гавриловну, болевшую всеми детьми зараз. Рехнулся старик, ежели родного детища не жалеет. Высидевший в остроге целый год Лиодор заявился домой, прожил дня два тихо и мирно, а потом стащил у матери столовое серебро и бесследно исчез.

— Ох, напрасно его в Сибирь не сослали, — жалел Харитон Артемьич, предчувствуя недоброе. — Еще зарежет с пьяных глаз.

В своем увлечении Малыгин дошел до того, что не мог равнодушно видеть чужих построек, которые ему казались лучше, чем у него. Он потихоньку ездил смотреть на строившуюся новую мельницу Луковникова и старался находить какие-нибудь недостатки — трубу для паровой машины выводили слишком высоко, пятиэтажный громадный корпус самой мельницы даст осадку на левый бок, выходивший к Ключевой, и т. д. Стеариновый завод строился по одну сторону города, а вальцовая мельница — по другую; это были аванпосты грядущих преобразований.

Анфуса Гавриловна теперь относилась к остепенившемуся мужу с уважением и, выбрав удачный момент, сообщила ему печальную новость о болезни Серафимы.

— Ну, это уж дело мужа, а не наше, — ответил старик.

— Да ведь дочь-то наша?

— Много их... На всех и жалости не хватит. Сама не маленькая. Что это Галактиона не видать?

— А он все ездит по делам Стабровского. Хлеб скупают с Карлой в четыре руки. Дома-то хоть трава не расти. Ох, согрешила я, грешная, Харитон Артемьич!

— Кабы хороший, правильный муж у Серафимы, так бы он сразу вышиб из нее эту дурь.

— Не дурь, а болесть. Я уж с доктором советовалась, с Кацманом. Он хоша и из жидов, а правильный человек. Так и говорит: болесть в Серафиме.

— Ну вас совсем! Отстаньте! Не до вас! С пустяками только пристаешь. У меня в башке-то столбы ходят от заботы, а вы разные пустяки придумываете. Симке скажи, промежду прочим, что я ее растерзаю.

Спорить и прекословить мужу Анфуса Гавриловна теперь не смела и даже была рада этому, потому что все-таки в дому был настоящий хозяин, а не прежний пьяница. Хоть на старости лет пожить по-настоящему, как добрые люди живут. Теперь старушка часто ездила навещать Симу, благо мужа не было дома. Там к чему-то околачивалась Харитина. Так и юлит, так и шмыгает глазами, бесстыжая.

В сущности ни Харитина, ни мать не могли уследить за Серафимой, когда она пила, а только к вечеру она напивалась. Где она брала вино и куда его прятала, никто не знал. В своем пороке она ни за что не хотела признаться и клялась всеми святыми, что про нее налгал проклятый писарь.

Галактион действительно целую зиму провел в поездках по трем уездам и являлся в Заполье только для заседаний в правлении своего банка. Он начинал увлекаться грандиозностью предстоявшей борьбы и работал, как вол. Домой он приезжал редким гостем и даже как-то не удивился, когда застал у себя Харитину, которая только что переехала к нему жить.

— Что же, и отлично, — одобрил он эту новую выходку. — Симе одной скучно, а вдвоем вам будет веселее.

— Это уж наше дело, что там будет, — загадочно ответила Харитина, имевшая такой серьезный вид. — А тебя не спросим.

Несмотря на некоторую резкость, Харитина заметно успокоилась и вся ушла в домашние дела. Она ухаживала за ребятишками, вела все хозяйство и зорко следила за сестрой. К Галактиону она отнеслась спокойно и просто, как к близкому родственнику, и не испытывала предававшего ее волнения в его присутствии.

— А я тебя раньше, Галактион, очень боялась, — откровенно признавалась она. — И не то чтобы боялась по-настоящему, а так, разное в голову лезло. Давно бы следовало к тебе переехать — и всему конец.

Он только сумрачно посмотрел на нее, пожал плечами и ничего не ответил. Действительно, безопаснее места, как его собственный дом, она не могла выбрать.

Только раз Галактион поссорился с своею гостьей из-за того, что она не захотела даже проститься с мужем, когда его отправляли в ссылку, и что в виде насмешки послала ему на дорогу банку персидского порошка.

— Провожать ты его могла и не ходить, а смеяться над человеком в таком положении просто бессовестно, — выговаривал Галактион.

— Я и не думала смеяться... По этапам поведут, так порошок там первое дело. Меня же будет благодарить.

Серафима относилась к сестре как-то безразлично и больше не ревновала ее к мужу. По целым дням она ходила вялая и апатичная и оживлялась только вечером, когда непременно усаживала Харитину играть в дурачки. Странно, что Харитина покорно исполняла все ее капризы.

Для Галактиона вся зима вышла боевая, и он теперь только понял, что значит «дохнуть некогда». Он под руководством Стабровского выучился работать по-настоящему, изо дня в день, из часа в час, и эта неустанная работа затягивала его все сильнее и сильнее. Он чувствовал себя и легко и хорошо, когда был занят.

— Бисмарк сказал, что умрет в своих оглоблях, как водовозная кляча, — объяснял ему Стабровский. — А нам и бог велел.

Чем ближе Галактион знакомился со Стабровским, тем большим и большим уважением проникался к нему, как к человеку необыкновенному, начиная с того, что совершенно было неизвестно, когда Стабровский спал и вообще отдыхал. Только Галактион знал, как работает этот миллионер и с какою осторожностью

ведет свои дела. Война с Прохоровым и К° была задумана давно и теперь только осуществлялась шаг за шагом по ранее выработанному плану. Одна закупка хлеба чего стоила, и, не бывав ни в одном хлебном рынке, Стабровский знал дело лучше всякого мучника.

— Самое интересное будет впереди, — объяснял Стабровский. — Мы будем бить Прохорова шаг за шагом его же пятачком, пока не загоним совсем в угол, и тогда уже в качестве завоевателей пропишем ему условия, какие захотим. Раньше я согласен был получить с него отступного сорок тысяч, а сейчас меньше шестидесяти не возьму... да.

Галактион просто ужаснулся, когда Стабровский еще раз обстоятельнейшим образом познакомил его со всеми подробностями кабацкой географии и наступательного плана кабацкой стратегии. Вперед намечены были главные боевые пункты, места для винных складов и целая сеть кабаков, имевших в виду парализовать деятельность Прохорова и К°.

— В сущности очень глупое дело, а интересно добиться своего, — объяснял Стабровский. — В этом и заключается жизнь.

— Отчего бы вам, Болеслав Брониславич, не заняться другим делом? — решился заметить Галактион. — Ведь всякое дело у вас пошло бы колесом.

— Что делать, сейчас вернее водки у нас нет дела.

Впрочем, и сам Галактион начинал уже терять сознание разницы между промышленным добром и промышленным злом. Это делалось постепенно, шаг за шагом. У Галактиона начинала вырабатываться философия крупных капиталистов, именно, что мир создан специально для них, а также для их же пользы существуют и другие людишки.

Только раз Галактион видел Стабровского вышибленным из своей рабочей колеи. Он сидел у себя в кабинете за письменным столом и, закрыв лицо руками, глухо рыдал.

— Болеслав Брониславич, успокойтесь.

— Ах, ничего мне не нужно!.. Все вздор!.. Дидя, Дидя, Дидя!

Галактион понял, что с девочкой припадок, именно случилось то, чего так боялся отец. В доме происходила безмолвная суета. Неслышными шагами пробежал Кацман, потом Кочетов, потом пронеслась вихрем горничная.

— Боже мой, за что ты меня наказываешь? — стонал Стабровский, ломая руки. — Ведь живут же дети бедняков, нищие, подкидыши, и здоровы, а у меня одна дочь... Ах, Дидя, Дидя!

Это громкое горе отозвалось в душе Галактиона горькою ноткой, напоминая смутно о какой-то затаенной несправедливости.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Как быстро идет время, нет — летит. Давно ли, кажется, доктор Кочетов женился на Прасковье Ивановне, а уж прошло больше трех лет.

Почти каждый раз, просыпаясь утром, доктор несколько времени удивлялся и старался сообразить, где он и что с ним. Он жил в бывшем кабинете Бубнова, где все оставалось по-старому. Тот же письменный стол, на котором стояла чернильница без чернил, тот же угловой шкафчик, где хранилась у Бубнова заветная мадера, тот же ковер на полу, кресло, этажерка в углу, какая-то дамская шифоньерка. Женившись, доктор перестал пить и через год принял вид нормального человека. Это радовало всех знакомых, и все приписывали этот переворот благотворному влиянию Прасковьи Ивановны. Сам доктор ни слова не говорил никому о своей семейной жизни, даже Стабровскому, с которым был ближе других. Он молча мучился под давлением мысли, что женился с пьяных глаз, как замотавшийся купчик, и притом женился на богатой, что давало повод сделать предположение о его самом корыстном благоразумии. Доктору казалось, что все именно так и смотрят на него и все его презирают.

Семейная жизнь доктора сложилась как-то странно, и он удивлялся фантазии Прасковьи Ивановны выйти

за него замуж. Она совсем не любила его и, кажется, никого не могла любить. Но у нее была какая-то болезненная потребность, чтобы в доме непременно был мужчина, и притом мужчина непременно законный. В самый день свадьбы доктор сделал приятное открытие, что Прасковья Ивановна — совсем не та женщина, какую он знал, бывая у покойного Бубнова в течение пяти лет его запоя ежедневно, — больше того, он не знал, что за человек его жена и после трехлетнего сожительства. Они оставались на «вы» и были более чужими людьми, чем в то время, когда доктор являлся в этот дом гостем. Затем доктор начал замечать за самим собою довольно странную вещь: он испытывал в присутствии жены с глазу на глаз какое-то гнетуще-неловкое чувство, как человек, которого все туже и туже связывают веревками, и это чувство росло, крепло и захватывало его все сильнее. Между тем Прасковья Ивановна решительно ничего не делала такого, что говорило бы о желании поработить его и, говоря вульгарно, забрать под башмак. Скорее она относилась к нему равнодушно, как к своим приказчикам, и чуть-чуть с оттенком холодного презрения. Да, она третировала его молча и особенно третировала почему-то ненавистную для нее его «ученость». Доктор волновался молча и глухо и как-то всем телом чувствовал, что не имеет никакого авторитета в глазах жены, а когда она была не в духе или капризничала, он начинал обвинять себя в чем-то ужасном, впадал тоже в мрачное настроение и готов был на все, чтобы Прасковья Ивановна не дулась. Какая-то невидимая, более сильная воля давила и глушила его.

Целые часы доктор проводил в том, что разбирал каждый свой шаг и ловил самого себя в самом постыдном малодушии. Например, ему хотелось посидеть вечер у Стабровского, где всегда есть кто-нибудь интересный, а он оставался дома из страха, что это не понравится Прасковье Ивановне, хотя он сознавал в то же время, что ей решительно все равно и что он ей нужен столько же, как прошлогодний снег. Сидя где-нибудь в гостях, доктор вдруг схватывался и уходил домой, несмотря на все уговоры недавних приятелей

посидеть и не лишать компании. Он чувствовал, что вот эти самые приятели начинают презирать его за это малодушие и за глаза смеются над ним, как раньше сам он вышучивал забитых женами мужей.

Это самоедство все разрасталось, и доктор инстинктивно начал сторониться даже людей, которые были расположены к нему вполне искренне, как Стабровский. Доктора вперед коробила мысль, что умный поляк все видит, понимает и про себя жалеет его. Именно вот это сожаление убивало доктора, поднимая в нем остаток мужской гордости.

«За кого они меня принимают, черт их всех побери?» — с ожесточением думал про себя доктор, чувствуя, что всех ненавидит.

Он отдыхал только у себя на службе, где чувствовал себя прежним Кочетовым. Но и тут происходили удивительные вещи: усиленное внимание, с каким он относился к своим больным, казалось ему аффектированным и деланым и что в сущности он только ломает жалкую комедию, напрасно стараясь убежать хоть на несколько часов от самого себя. Ему казалось, что и его пациенты это чувствуют и инстинктивно не доверяют ему, а слушают безграмотного фельдшера, который давил его тупою и самодовольною непосредственностью своей фальдшерской натуры.

Как за последний якорь спасения, доктор хватался за святую науку, где его интересовала больше всего психиатрия, но здесь он буквально приходил в ужас, потому что в самом себе находил яркую картину всех ненормальных психических процессов. Наука являлась для него чем-то вроде обвинительного акта. Он бросил книги и спрятал их как можно дальше, как преступник избывает самых опасных свидетелей своего преступления.

Оставалось еще одно средство, когда Кочетов чувствовал себя живым человеком, это те громовые обличительные корреспонденции, которые он время от времени печатал в столичных газетах, разоблачая подвиги запольских дельцов. Проделывалось это в страшной тайне, и даже Прасковья Ивановна не подозревала, какой опасный человек ее муж. Дома писать доктор

не решался, чтобы не попасться с поличным, он не смел затворить дверей собственного кабинета на ключ, а сочинял корреспонденции в дежурной своей больницы. Но раз он попался самым глупым образом. С истеричною больной сделался припадок, доктор бросился к ней на помощь, позабыв об оставленной на столе рукописи, — этого было достаточно, чтоб имя таинственного корреспондента, давно интриговавшего все Заполье, было раскрыто. Может быть, заглянул в его рукопись фельдшер, может быть, сиделка или Кацман, но это все равно, а только через два дня Прасковья Ивановна явилась к нему в кабинет и с леденящим презрением проговорила:

— Так это вы, Анатолий Петрович, в газетах всех ругаете? Очень превосходно... да. Нечего сказать, хорошая ученость — всех срамить!..

— Прасковья Ивановна, вы...

— Я и разговаривать-то с вами не желаю, несчастный!

Прасковья Ивановна повернулась и вышла.

Результатом этого рокового открытия было то, что, когда доктор уходил из дома, вслед неслось:

— Корреспондент!..

Положение доктора вообще получалось критическое. Все смотрели на него, как на зачумленного. На его имя получались анонимные письма с предупреждением, что купцы нанимают Лиодора Малыгина избить его до полусмерти. Только два самых влиятельных лица оставались с ним в прежних отношениях — Стабровский и Луковников. Они были выше всех этих дрязг и пересудов.

Раньше доктор изредка завертывал в клуб, а теперь бросил и это из страха скандала. Что стоило какому-нибудь пьяному купчине избить его, — личная неприкосновенность в Заполье ценилась еще слишком низко. Впрочем, доктор приобрел благодаря этим злоключениям нового друга в лице учителя греческого языка только что открытой в Заполье классической прогимназии, по фамилии Харченко. Кстати, этот новый человек сейчас же по приезде на место служения женился на

Агнии Малыгиной, дополнив коллекцию малыгинских зятьев.

Господин Харченко явился к Кочетову знакомиться и заявил ему свое полное сочувствие.

— Очень рад, доктор... да. Мы поведем борьбу вместе... да. Нужно держать высоко знамя интеллигенции. Знаете, если бы открыть здесь свою собственную газету, да мы завязали бы в один узел всех этих купчишек, кабатчиков и вообще сибирских человеков.

— Если вы считаете меня богатым человеком, то это грустная ошибка, — предупредил Кочетов. — Газета прекрасная вещь, но она требует денег во-первых, во-вторых и в-третьих.

— О, за деньгами дело не станет! — уверенно говорил Харченко. — Важно, чтоб интеллигенция объединилась и дала отпор капиталу.

По наружности учителя греческого языка трудно было предположить о существовании такой энергии. Это был золотушный малорослый субъект с большою головой рахитика и кривыми ногами. К удивлению доктора, в этом хохлацком выродке действительно билась общественная жилка. Сначала он отнесся к нему с недоверием, а потом был рад, когда учитель завертывал потолковать.

Попрежнему доктор бывал только у Стабровского. Старик всегда был рад ему, хотя и мучил вечными разговорами о своей Диде. Девочке было уже пятнадцать лет, но она плохо формировалась и рядом с краснощекою и здоровою Устенькой походила на какую-то дальнюю бедную родственницу, которую недокармливают и держат в черном теле вообще. Но зато ум Диди работал гораздо быстрее, чем было желательно, и она была развита не по годам. Период формирования девочке стоил очень дорого, и на ее лице часто появлялось пугавшее отца выражение взрослой женщины.

— О, она плохо кончит! — уверял Стабровский в отчаянии и сам начинал смотреть на врачей, как на чудотворцев, от которых зависело здоровье его Диди. — Теперь припадки на время прекратились, но есть двадцать первый год. Что будет тогда?

— Самое лучшее, что вы сделаете, это — бросьте читать медицинские книги, — советовал Кочетов.

Стабровский действительно перерыл всю литературу о нервных болезнях и модной наследственности, и чем больше читал, тем больше приходил в отчаяние. Он в своем отцовском эгоизме дошел до того, что точно был рад, когда Устенька серьезно заболела тифом, будто от этого могло быть легче его Диде. Потом он опомнился, устыдился и старался выкупить свою несправедливость усиленным вниманием к больной.

Устенька лежала в классной. Мисс Дудль ни за что не согласилась отпустить больную домой, в «пещерную обстановку». Эта привязанность замороженной англичанки тронула Тараса Семеныча до слез, и он согласился оставить дочь у Стабровских. Та же мисс Дудль настояла, чтобы лечил Устеньку доктор Кочетов, а не Кацман. Она вообще питала тайные симпатии к Кочетову и каждый раз испытывала неловкое смущение в его присутствии. Теперь она была счастлива, что целых две недели могла проводить с доктором по нескольку часов в день среди самой сближающей обстановки. Больная тоже предпочитала молодого доктора и слабо улыбалась, когда он входил в ее комнату. Дидя, конечно, была изолирована, хотя брюшной тиф и не заразителен.

Кочетов с удовольствием ехал каждый раз к своей больной и проводил здесь больше времени, чем было нужно. Тарас Семеныч встречал его умоляющими глазами, так что доктору делалось даже совестно.

— Я тут ни при чем, — точно оправдывался он. — Все зависит от натуры... А Устенька, слава богу, субъект вполне нормальный.

Были два дня, когда уверенность доктора пошатнулась, но кризис миновал благополучно, и девушка начала быстро поправляться. Отец радовался, как ребенок, и со слезами на глазах целовал доктора. Устенька тоже смотрела на него благодарными глазами. Одним словом, Кочетов чувствовал себя в классной больше дома, чем в собственном кабинете, и его охватывала какая-то еще не испытанная теплота. Теперь Устенька казалась почти родной, и он смотрел на нее с чувством

собственности, как на отвоеванную у болезни жертву.

«Какие они все хорошие, простые и добрые! — думал часто доктор. — И Устенька, и Тарас Семеныч, и Стабровский, и мисс Дудль...»

Больная привязалась к доктору и часто задерживала его своими разговорами. Чем-то таким хорошим, чистым и нетронутым веяло от этого девичьего лица, которому болезнь придала такую милую серьезность. Раньше доктор не замечал, какое лицо у Устеньки, а теперь удивлялся ее типичной красоте. Да, это было настоящее русское лицо, хорошее своим простым выражением и какою-то затаенною ласковою силой.

Раз доктор засиделся у больной особенно долго и чувствовал себя как-то особенно легко.

— Мы скоро встанем на ноги и будем совсем большими, — шутил он. — У нас опять будет румянец на щеках, а потом мы...

Доктор вдруг замолчал, нахмурился и быстро начал прощаться. Мисс Дудль, знавшая его семейную обстановку, пожалела доктора, которого, может быть, ждет дома неприятная семейная сцена за лишние полчаса, проведенные у постели больной. Но доктор не пошел домой, а бесцельно бродил по городу часа три, пока не очутился у новой вальцовой мельницы Луковникова.

— Да... да... — вслух думал он и горько улыбался. — Да, я схожу с ума... Это верно... так и должно быть.

Голова доктора горела, ему делалось душно, а перед глазами стояло лицо Устеньки, — это именно то лицо, которое одно могло сделать его счастливым, чистым, хорошим, и, увы, как поздно он это понял!

II

Против гостиного двора на каменном домике недавно умершего соборного протопопа красовалась желтая вывеска, гласившая красноречиво: «Банкирская контора Замараева и К°». Это учреждение существовало уже два года. С первых же шагов дела пошли

прекрасно. Явились и вкладчики, и клиенты, и закладчики. Потребность в мелком кредите чувствовалась давно, и контора попала «в самую точку», как говорили обыватели. Сам Замараев переоделся на городскую руку и держал себя вообще очень солидно. Жена Анна Харитоновна тоже употребляла самые отчаянные усилия, чтоб отполировать себя на городскую руку, в чем ей усиленно помогала «полуштофова жена», как записная модница.

— Деревенщину-то пора бросать, — говорила она, давая наставления, как устроить по-городски квартиру, как одеваться и как вообще держать себя. — И знакомиться со всеми тоже не следует... Как я буду к вам в гости ездить, ежели вы меня будете сажать за один стол с каким-нибудь деревенским попом Макаром или мельником Ермилычем?

— Уж вы только научите нас, сестрица, а мы по гроб жизни будем вам благодарны.

Замараевы, устраиваясь по-городски, не забывали своей деревенской скупости, которая переходила уже в жадность благодаря легкой наживе. У себя дома они питались редькой и горошницей, выгадывая каждую копейку и мечтая о том блаженном времени, когда, наконец, выдерутся в настоящие люди и наверстают претерпеваемые лишения. Муж и жена шли рука об руку и были совершенно счастливы.

— Да, без копеечки и рублика не бывает, — говорил каждый вечер Замараев, укладываясь спать и подводя в уме дневной баланс.

Благодаря «полуштофовой жене» Замараевы завели приличные знакомства и даже бывали в клубе. За спиной их бранили закладчиками и выжигами, а в лицо улыбались и даже заискивали. Мелкое купечество, не пользовавшееся кредитом в Коммерческом банке, обращалось за ссудами в замараевскую контору, не говоря уже о мелких торговцах, ремесленниках и просто голытьбе. Деньги так и плыли в новую контору, и в каких-нибудь два года Замараев совсем оперился. Ему много помог Голяшкин, знавший весь город, как свои пять пальцев, и являвшийся одним из главных

вкладчиков конторы. Он сделался своим человеком у Замараевых и первым другом.

Чурался Замараевых попрежнему один Харитон Артемьич. Зятя он не пускал к себе на глаза и говорил, что он только его срамит и что ему низко водить хлеб-соль с ростовщиками. Можно представить себе удивление бывшего суслонского писаря, когда через два года старик Малыгин заявился в контору самолично.

— Пришел посмотреть на твою фабрику, — грубо объяснял он. — Любопытно, как вы тут публику обманываете... Признаться сказать, я всегда считал тебя дураком, а вышло так, что ты и нас поучишь... да. По нынешним-то временам не вдруг разберешь, кто дурак, кто умный.

— Все это вы, тятенька, так говорите для морали, а мы вам завсегда рады... Уж так рады... Чайку бы вечерком откушать.

— Ладно, ладно, не заговаривай зубов. В долг поверю... У меня из вашего брата, зятьев, целый иконостас.

Харитон Артемьич давно уже не пил ничего и сильно постарел, — растолстел, обрюзг, поседел и как-то еще сильнее озлобился. В своем доме он являлся настоящею грозою.

Замараев, конечно, понимал, что грозный тятенька неспроста приходил к нему. Действительно, через неделю он явился к нему уже на квартиру, прямо к вечернему чаю.

— Вот и пришел, — говорил он, тяжело дыша. — Да, пришел... И не сам пришел, а неволя привела... да.

Замараевы не знали, как им и принять дорогого гостя, где его посадить и чем угостить. Замараев даже пожалел про себя, что тятенька ничего не пьет, а то он угостил бы его такою деревенскою настойкой по рецепту попа Макара, что с двух рюмок заходили бы в башке столбы.

— Да вы не хлопочите: не за угощеньем я пришел, а по делу. Ты бы, Анна, тово, вышла, а мы тут покалякаем.

— Пойдемте, тятенька, в кабинет.

— В кабинет? Ах ты, подкопенная мышь!.. Х-ха!.. Тоже и слово знает.

Усевшись в кресло в кабинете, Харитон Артемьич вытер лицо бумажным платком и проговорил:

— Подлецы все — вот что я тебе скажу, милый зятюшка. Вот ты меня и чаем угощаешь, и суетишься, наговариваешь: «тятенька! тятенька!» — а черт тебя знает, какие у тебя узоры в башке... да.

— Помилуйте, тятенька, да я... провалиться на этом самом месте.

— Не перешибай. Не люблю... Говорю тебе русским языком: все подлецы. И первые подлецы — мои зятья... Молчи, молчи! Пашка Булыгин десятый год грозится меня удавить, немец Штофф продаст, Полуянов арестант, Галактион сам продался, этот греческий учителишка тоже оборотень какой-то... Никому не верю! Понимаешь?

— В лучшем виде все могу понять-с, тятенька.

— Не перешибай, сказано тебе! — крикнул старик и даже стукнул кулаком по письменному столу. — Забыл, с кем разговариваешь-то? Все подлецы... Мы были хороши, когда обманывали слепую орду кунарскими деньгами, а нашлись почище нас. Вот как обувают — одна нога в сапоге, а на другой уж лапоть. Теперь возьми хоть мою стеариновую фабрику... Ведь это прямо петля на шею! Травим-травим деньжищ, а конца краю нет, точно в яму какую. Прорва... Я больше ста тыщ законопатил в нее, Шахма близко двухсот, Ечкин векселей на столько же выдавал... Понял?

— Агромадное дело-с, тятенька...

— Дурак! Кто тебя спрашивает?

Старик даже вскочил и затрясся от злости, а потом бессильно опустился на кресло и как-то захрипел.

— Спьяну я тогда всунулся в это самое дело... Некрещеный жид обошел. Ну, да уж дело сделано, а снявши голову, по волосам не тужат... Главное, что подлецы все! Шахма уж прижал уши и больше денег не дает, кыргыцкая образина, у Ечкина, окромя векселей, одни перстеньки да жилетки — значит, должон я вывозить... Фабрика-то готова, и стеариновые свечи мы делаем, а тут из Казани нас вот как зачали поджимать

своею казанскою свечой. Дело-то на конкуренцию пошло, а барыши потом. Ежели я не дам денег — конец тому делу. Жаль бросать... Понимаешь, затравка-то какая сделана: сто тысяч не баран начихал... да. То есть, как я увижу сейчас эту самую стеариновую свечу, так меня даже мутить начинает. Дурака я свалял такого, что и не перелезешь. Прямо тебе говорю: дурак, старый дурак... По-настоящему-то как бы следовало сделать: повесить замочек на всю эту музыку — и конец тому делу, да лиха беда, что я не один — компаньоны не дозволят.

Старик показал рукой, как он запер бы на замок проклятую фабрику и как его связали по рукам и по ногам компаньоны.

— Да, так вот какое дело, зятюшка... Нужно мне одну штуку удумать, а посоветоваться не с кем. Думал-думал, нет, никому не верю... Продадут... А ты тоже продашь?

— Тятенька, да вот я сейчас образ со стены сниму.

— Ну, ну, ладно... Притвори-ка дверь-то. Ладно... Так вот какое дело. Приходится везти мне эту стеариновую фабрику на своем горбу... Понимаешь? Деньжонки у меня есть... ну, наскребу тысяч с сотню. Ежели их отдать — у самого ничего не останется. Жаль... Тоже наживал... да. Я и хочу так сделать: переведу весь капитал на жену, а сам тоже буду векселя давать, как Ечкин. Ты ведь знаешь законы, так как это самое дело, по-твоему?

— Даже весьма просто: вы переводите весь капитал на маменьку, а она вам пишет духовную — так и так, отказываю все по своей смерти мужу в вечное и потомственное владение и собственность нерушимо. Дом-то ведь на маменьку, — ну, так заодно и капитал пойдет.

— А ошибки не выйдет?

— Какая же тут ошибка? Жена ваша и капитал, значит, ваш, то есть тот, который вы положите на ее имя. Я могу вам и духовную составить... В лучшем виде все устроим. А там векселей выдавайте, сколько хотите. Это уж известная музыка, тятенька.

— Вот, вот... Люблю умственный разговор. Я то же думал, а только законов-то не знаю и посоветоваться ни с кем нельзя, — продадут. По нынешним временам своих боишься больше чужих... да.

— Уж не сумлевайтесь, тятенька.

— Хорошо, я подумаю. А ты держи язык за зубами и даже жене — ни-ни.

— Помилуйте, как же можно, тятенька? Совсем даже не женское это дело.

Когда старик ушел, Замараев долго не мог успокоиться. Он даже закрывал глаза, высчитывая вперед разные возможности. Что же, деньги сами в руки идут... Горденек тятенька, — ну, за свою гордость и поплатится. Замараеву даже сделалось страшно, — очень уж легко деньги давались.

Через неделю старик опять явился. Проект духовной уже был готов.

— Главное, чтобы никто не знал, — упрашивал Харитон Артемьич.

— Будьте спокойны, комар носу не подточит.

Из предосторожности Харитон Артемьич сначала заставил жену подписать духовную, а потом уже внес сто тысяч на ее имя в Коммерческий Запольский банк.

— Так-то будет вернее, — говорил он, еще раз прочитывая составленную Замараевым духовную. — Вот что, Флегонт, как я теперь буду благодарить тебя?

— Помилуйте, тятенька, да я для вас из собственной кожи завсегда готов выскочить, а не то чтобы подобные сущие пустяки.

— Хорошо, хорошо. Помру, так вам же все достанется. Не для себя хлопочу.

Устроив эту операцию, Харитон Артемьич совершенно успокоился и сразу повеселел. Что же, другие живут, и мы будем жить.

В малыгинском доме было много перемен, начиная с остепенившегося хозяина и кончая принятым в дом последним зятем. Харитон Артемьич больше не ездил в степь и всецело посвятил себя новой фабрике и радостям семейной жизни. Последнему Анфуса Гавриловна, пожалуй, была даже и не рада, потому что очень уж «сам» строжил всех и неистово ругался с утра до

ночи. От него все домашние теперь сторонились, по возможности избегая встреч. Даже бойкая Харитина, и та появлялась только, когда отца не было дома. Исключение представлял новый зять. Сначала Харитон Артемьич относился к нему, как к дурачку, навеличивая «грецкой губой» и выкидывая разные грубые шутки. Харченко сам за словом в карман не лазил и в свою очередь вышучивал тестя с хохлацким юмором. Иногда эти словесные ратоборства принимали опасную форму, и вступалась уже Анфуса Гавриловна.

— Да будет вам, петухи галанские... Еще подеретесь. Поговорили, и довольно.

В течение целого года старушка присматривалась к последнему зятю, подыскивая какой-нибудь недостаток, и решительно ничего не могла найти. Главное — неизвестный совсем человек и потом с хохлацкой стороны. Иногда старушке приходили совсем нелепые мысли: а вдруг он двоеженец? Был один такой случай в Заполье, — простой бондарь и вдруг оказался двоеженцем. Анфуса Гавриловна точно боялась полюбить последнего зятя, как любила раньше других зятьев. Очень уж горько ей доставались они. Старушка вообще заметно опускалась и постепенно впадала в старческое детство. Боевой период, когда она маялась с мужем, детьми и зятьями, миновал, и она начинала чувствовать, что как будто уж и не нужна даже в своем дому, а в том роде, как гостья. Часто, сидя за обедом, когда «самого» не было, Анфуса Гавриловна долго и внимательно рассматривала зятя, качала головой и говорила:

— И отколь ты взялся только, Иван Федорыч?.. Вот уж воистину, что от своей судьбы не уйти. Гляжу я на вас и думаю, точно я гостья... Право!

Старушка любила пожаловаться новому зятю на его предшественников, а он так хорошо умел слушать ее старческую болтовню. Да и вообще аккуратный человек, как его ни поверни. Анфусе Гавриловне иногда делалось смешно над Агнией, как она ухаживала за мужем, — так в глаза и смотрит. Насиделась в девках-то, так оно и любопытно с своим собственным мужем пожить.

Впрочем, у Харченки была одна привычка, которая не нравилась теще: все-то ему нужно было знать, и везде он совал нос, особенно по части городских дел. И то не так и это не так, — всех засудит и научит.

— Больно ты прыток до чужих дел, как я погляжу, Иван Федорыч, — заметила ему старушка. — И все у тебя неладно.

— Нельзя, мамаша. Я человек общественный...

III

Харитина жила попрежнему у Галактиона, нигде не бывала и вела себя очень скромно, как настоящая вдова. Она как-то вся притихла, сделалась серьезной и много занималась хозяйством. За сестрой она ухаживала, как мать, и всячески старалась ее вылечить от запоя. Серафима продолжала упорствовать и ни за что не хотела сознаться в своей болезни. Галактион знал все, но не подавал виду, а только стал вести все хозяйственные дела с Харитиной, — она получала деньги, производила все расчеты и вела весь дом. Она же наблюдала и детей, которые быстро росли и требовали ухода.

Многого, что делается в доме, Галактион, конечно, не знал. Оставшись без денег, Серафима начала закладывать и продавать разные золотые безделушки, потом столовое серебро, платье и даже белье. Уследить за ней было очень трудно. Харитина нарочно покупала сама проклятую мадеру и ставила ее в буфет, но Серафима не прикасалась к ней.

— С чего это ты взяла, что я буду пить мадеру? — удивлялась она. — Вот выдумают!

Уговоры матери тоже не производили никакого действия, как наговоры и нашептывания разных старушек, которых подсылала Анфуса Гавриловна. Был даже выписан из скитов старец Анфим, который отчитывал Серафиму по какой-то старинной книге, но и это не помогло. Болезнь шла своим чередом. Она растолстела, опухла и ходила по дому, как тень. На нее было

страшно смотреть, особенно по утрам, когда ломало тяжелое похмелье.

По утрам Серафима иногда подсаживалась к окну и плакала.

— Ты это о чем плачешь, Сима? — спрашивала Харитина.

— Так.

— У тебя что-нибудь болит?

— Нет... Уйди от меня.

— Ты на меня сердишься?

— Нет, я тебя боюсь... уйди... Скоро я умру, тогда... ах, я ничего не знаю!

О муже она никогда не спрашивала, к детям была равнодушна и ни на что не обращала внимания, до своего костюма включительно. Что ей подадут, то она и наденет.

Харитине иногда казалось, что сестра ее упорно наблюдает, точно хочет в чем-то убедиться. Ей делалось жутко от взгляда этих воспаленных глаз. Виноватой Харитина все-таки себя не чувствовала. Кажется, уж она про все забыла, да и не было ничего такого, в чем бы можно было покаяться.

— Сима, ты меня не любишь? — спрашивала Харитина сестру, когда та изводила ее своим упорным взглядом.

— Нет, люблю.

— Что ты так смотришь на меня?

— Красивая ты, вот я и смотрю... Тебя все любят, и я тоже люблю. Красивым хорошо жить на свете...

Раз ночью Харитина ужасно испугалась. Она только что заснула, как почувствовала, что кто-то сидит у ней на кровати. Это была Серафима. Она пришла в одной рубашке, с распущенными волосами и, кажется, не понимала, что делает. Харитина взяла ее за руку и, как лунатика, увела в ее спальню.

Какие отношения были у Галактиона с Харитиной, никто не знал, но все говорили, что он живет с ней, и удивлялись отчаянной смелости бывшей исправницы грешить на глазах у сестры.

Впрочем, Галактион почти не жил дома, а все разъезжал по делам банка и делам Стабровского.

Прохоров не хотел сдаваться и вел отчаянную борьбу. Стороны зашли уже слишком далеко, чтобы помириться на пустяках. Стабровский с каждым годом развивал свои операции все шире и начинал теснить конкурента уже на его территории. Весь вопрос сводился только на то, которая сторона выдержит дольше. О пощаде не могло быть и речи.

Все Зауралье и громадный степной край были заинтересованы этою отчаянною борьбой. В этих мирных краях еще не бывало ничего подобного. Все следили с возрастающим интересом за исходом этого ратоборства, обставленного небывалыми средствами. Являлось уже вопросом чести, кто выйдет победителем, и стороны не щадили ничего. Главным деятелем со стороны Стабровского являлся Галактион, который настолько увлекся этим делом, что считал его своим. Его затянула горячка борьбы, где уже не было места размышлениям, что худо и что хорошо. Стабровский не ошибся, выбрав такого помощника, и при всяком удобном случае говорил:

— В тот день, когда Прохоров принесет повинную, у вас будет первый пароход... да. Даю вам мое честное слово.

Зная хорошо, что значит даже простое слово Стабровского, Галактион ни на минуту не сомневался в его исполнении. Он теперь пропадал целыми неделями по деревням и глухим волостям, устраивая новые винные склады, заключая условия с крестьянскими обществами на открытие новых кабаков, проверяя сидельцев и т. д. Работы было по горло, и время летело совершенно незаметно. Галактион сам увлекался своею работой и проявлял редкую энергию.

Склады и кабаки открывались в тех же пунктах, где они существовали у Прохорова и К°, и открывалось наступательное действие понижением цены на водку. Получались уже технические названия дешевых водок: «прохоровка» и «стабровка». Мужики входили во вкус этой борьбы и усиленно пропивались на дешевке. Случалось нередко так, что конкуренты торговали уже себе в убыток, чтобы только вытеснить противника.

Характерный случай выдался в Суслоне. Это была отчаянная вылазка со стороны Прохорова, именно напасть на врага в его собственном владении. Трудно сказать, какой тут был расчет, но все произошло настолько неожиданно, что даже Галактион смутился. Одно из двух: или Прохоров получил откуда-нибудь неожиданное подкрепление, или в отчаянии хотел погибнуть в рукопашной свалке. Важно было уже то, что Прохоров и К° появились в самом «горле», как выражались кабатчики.

Галактион полетел в Суслон.

— Ничего не жалейте, чтобы задушить его, — давал Стабровский последние инструкции. — Раненный смертельно, медведь всегда бросается прямо на охотника... да...

Для Галактиона этот ход противника был крупною неприятностью, как непредусмотренное действие. Что тут ни говори, а Прохоров жив, о чем кричала каждая кабацкая вывеска.

Дело было в начале декабря, в самый развал хлебной торговли, когда в Суслон являлись тысячи продавцов и скупщиков. Лучшего момента Прохоров не мог и выбрать, и Галактион не мог не похвалить находчивости умного противника.

В течение десяти лет Суслон совершенно изменил свою физиономию. Из простого зауральского села он превратился в боевой торговый пункт, где начала развиваться уже городская торговля, как лавки с красным товаром, и даже появился галантерейный магазин. Раньше был один кабак, а теперь целых десять. Простые деревенские избы перестраивались на городскую руку, обшивались тесом и раскрашивались. Появились дома с мезонинами и городскими палисадниками. Суслонских мужиков деревенские соседи называли купцами. Крупчатные мельницы, выстроенные на Ключевой, подняли торговлю пшеницей до неслыханных размеров, а винокуренный завод Стабровского скупал ежегодно до миллиона пудов ржи. Поверенные крупных фирм жили в Суслоне безвыездно, что придавало ему вид какого-то ярмарочного городка. Галактион не был здесь больше трех лет, не желая встречаться

с отцом, и был поражен происшедшею переменой. Ему сделалось как-то неловко, точно он давно-давно уехал отсюда и успел состариться.

Появление Галактиона в Суслоне произвело известное волнение в среде разных доверенных, поверенных и приказчиков. Его имя уже пользовалось популярностью. Он остановился в бывшем замараевском доме, в котором квартировал поверенный по закупке хлеба Стабровского молодой человек из приказчиков.

— Ну, как дела? — спрашивал Галактион.

— Да ничего, помаленьку... Очень уж много здесь народу набилось, друг друга начинаем давить. Ходят слухи, что Прохоров тоже хочет строить винокуренный завод на Ключевой. И место выбрал у Бакланихи.

— Немного он поздно догадался, — засмеялся Галактион. — Пороху не хватит... Если бы раньше он это устроил, годика три назад, а теперь трудно с нами тягаться.

Между прочим, поверенный с некоторыми предосторожностями сообщил, что Михей Зотыч достраивает уже третью мельницу: одна пониже Ермилыча на Ключевой уж работает, а другая — в Шабрах, на притоке Ключевой достраивается.

— Знаю, — коротко ответил Галактион. — Напрасно старик затягивается, — тоже пороху не хватит. Мельницы-то выстроит, а на товар, пожалуй, и не хватит.

— И то поговаривают, Галактион Михеич. Зарвался старичок... Да и то сказать, горит у нас работа по Ключевой. Все так и рвут... Вот в Заполье вальцовая мельница Луковникова, а другую уж строят в верховье Ключевой. Задавят они других-то крупчатников... Вот уж здесь околачивается доверенный Луковникова: за нашею пшеницей приехал. Своей-то не хватает... Что только будет, Галактион Михеич. Все точно с ума сошли, так и рвут.

Не теряя времени, Галактион сейчас же открыл наступательное действие против Прохорова, понизив цену на водку из склада и в пяти кабаках. Время было самое удобное, потому что в Суслоне был большой съезд крестьян, привезших на базар хлеб. Слух о дешевке «стабровки» разнесся сейчас же, и народ бросился на-

перебой забирать дешевую водку, благо близился зимний Никола, а там и святки не за горами, — водки всем нужно. К вечеру поверенный Прохорова и К° тоже понизил цену и стал продавать свою «прохоровку» дешевле «стабровки». Покупатели отхлынули к кабакам Прохорова.

Настоящий поход начался на следующий день, когда Галактион сделал сразу понижение на десять процентов. Весть о дешевке разнеслась уже по окрестным деревням, и со всех сторон неслись в Суслон крестьянские сани, точно на пожар, — всякому хотелось попробовать дешевки. Сам Галактион не выходил и сидел на квартире. Он стеснялся показываться на улице. Его разыскал Вахрушка, который прибежал из Прорыва на дешевку пешком.

— Ах, Галактион Михеич, отец родной, и что только делается! — повторял задыхавшийся от волнения старик. — Вот скоро на седьмой десяток перевалит мне, а чтобы этакого, например, подобного... Я перво-наперво бросился в твой кабак, ну, и стаканчик дешевки хлебнул, а потом побежал к Прохорову и тоже стаканчик зарядил. Народ-то последнего ума решился: так и ходит из кабака в кабак. Тоже всякому любопытно... Скоро и посудины не хватит. Ах, боже мой!.. А краснорядцы сидят в пустых лавках и ругательски ругаются... Пропьются мужики напрочь.

— Ты не торопись, Вахрушка. Еще успеешь, — советовал Галактион.

— Н-но-о? Ведь в кои-то веки довелось испить дешевки. Михей-то Зотыч, тятенька, значит, в Шабрах строится, Симон на новой мельнице, а мы, значит, с Емельяном в Прорыве руководствуем... Вот я и вырвался. Ах, братец ты мой, Галактион Михеич, и что вы только придумали! Уж можно сказать, што уважили вполне.

— А ты погоди напиваться-то, еще дешевле будет.

— Н-но-о?!. И что такое только будет... Как бы только Михей Зотыч не выворотился... До него успевать буду уж как-нибудь, а то всю музыку испортит. Ах, Галактион Михеич, отец ты наш!.. Да мы для тебя ничего не пожалеем!

Вахрушка, не внимая предостережению Галактиона, прямо из писарского дома опять ринулся в кабак. Широкая деревенская улица была залита народом. Было уже много пьяных. Народ бежал со стеклянною посудиной, с квасными жбанами и просто с ведерками. Слышалось пьяное галденье, хохот, обрывки песен. Где-то надрывалась гармония.

— Ах, братцы мои... родимые вы мои! — кричал Вахрушка, врезываясь в двигавшуюся толпу. — Привел господь на старости лет... ах, братцы!

Приказчики стояли у магазинов и смотрели на одуревшую толпу. Какие-то пьяные мужики бежали по улице без шапок и орали:

— «Стабровка» три копейки стакан!.. Братцы!.. Три копейки!..

Вахрушка отведал сначала «прохоровки», потом «стабровки», потом опять «прохоровки», — сидельцы всё понижали цену. В кабаке Прохорова один мужик подставлял свою шапку и требовал водки.

— Лей!.. Пусть и шапка пьет!

Вахрушка пробежал село из конца в конец раз десять. Ноги уже плохо его слушались, но жажда оставалась. Ведь другого раза не будет, и Вахрушка пробивался к кабацкой стойке с отчаянною энергией умирающего от жажды. Закончилась эта проба тем, что старик, наконец, свалился мертвецки пьяным у прохоровского кабака.

IV

Вахрушка проснулся с страшной головною болью и долго не мог сообразить, где он и что с ним. Башка трещала неистово, точно готова была расколоться на несколько частей. Вахрушка лежал на полу, на какой-то соломе. С левого бока его давило что-то холодное, чего он не мог даже оттолкнуть, потому что сам лишен был способности двигаться. Только присмотревшись кругом, Вахрушка с ужасом сообразил, в чем дело. Во-первых, он находился в «темной» при волости, куда сам когда-то сажал Михея Зотыча; во-вторых, теперь темная битком была набита мертвецки пьяными,

подобранными вчера «на дешевке», а в-третьих, с левого бока лежал рядом с ним окоченевший труп запившегося насмерть.

Последнее открытие вышибло из старого солдата весь хмель, и он бросился к двери.

— Ради Христа, отпусти живую душу на покаянье! — умолял он сторожа, тоже из отставных солдат.

Хорошо, что еще сторож-то знакомый человек и сейчас выпустил.

— Здорово ты вчера лакнул, — коротко объяснил он. — Хорошо, што мельник Ермилыч подобрал тебя и привез сюда, а то так бы и замерз в снегу.

— Отец родной, отпусти!

Сторож только покачал головой, когда Вахрушка опрометью кинулся из волости, даже позабыл шапку.

— Эй, служба, шапку-то забыл!

Вахрушка только махнул рукой и летел по улице, точно за ним гналась стая волков. У него в мозгу сверлила одна мысль: мертвяк... мертвяк... мертвяк. Вот нагонит Полуянов и сгноит всех в остроге за мертвое тело. Всех изведет.

Старик немного опомнился только в кабаке Стабровского, где происходила давка сильнее вчерашней. Дешевка продолжалась с раннего утра, и народ окончательно сбился с ног. Выпив залпом два стакана «стабровки», Вахрушка очухался и даже отплюнулся. Ведь вот как поблазнит человеку... Полуянова испугался, а Полуянов давным-давно сам на поселении. Тьфу!

— Ах, братец ты мой... ддаа! — мычал Вахрушка. — Ну-ка, лени ищо один стаканчик.

Припоминая «мертвяка», рядом с которым он провел ночь, Вахрушка долго плевался и для успокоения пил опять стаканчик за стаканчиком, пока совсем не отлегло от души. Э, наплевать!.. Пусть другие отвечают, а он ничего не знает. Ну, ночевал действительно, ну, ушел — и только. Вахрушке даже сделалось весело, когда он представил себе картину приятного пробуждения других пьяниц в темной.

Вахрушка оставался в кабаке до тех пор, пока не разнеслось, что в темной при волости нашли трех опившихся. Да, теперь пора было и домой отправляться. Главное, чтобы достигнуть своего законного места до возвращения Михея Зотыча. Впрочем, Вахрушка находился в самом храбром настроении, и его смущало немного только то, что для полной формы недоставало шапки.

— Э, наплевать! — ругался в пространство Вахрушка. — С голого, что со святого — взятки гладки... Врешь, брат!.. Вахрушка знает свою линию!

Он так и отправился к себе на мельницу без шапки, а подходя к Прорыву, затянул солдатскую песню:

Во злосчастный день, во среду...
Злы... злые турки собиралися!..
Да они во хмелюшке похвалялись:
Мы Рассеюшку наскрозь пройдем...
Граф Паскевича во полон возьмем!..

Расхрабрившийся старик уже шел по мельничной плотине, когда его остановил знакомый голос:

— Эй ты, крупа несчастная, куда прешь?

Вахрушка оглянулся и обомлел: перед ним стоял Михей Зотыч.

— Да откуда ты взялся-то? — бормотал Вахрушка, разводя руками. — Вот так оказия!

— Нет, ты скажи, куда ты прешь-то, кислая шерсть? — наступал хозяин.

— Я? А я домой...

— Обознался, миленький. Твой дом остался на дешевке... Вот туда и ступай, откуда пришел.

Михей Зотыч взял старика за плечо, повернул и толкнул в шею.

— Ступай, ступай, кабацкая затычка!.. И скобленого своего рыла не смей показывать!

Вахрушка по инерции сделал несколько шагов, потом обернулся и крикнул:

— А ты думаешь, я тебя боюсь?.. Ах ты, тараканья кость!.. Да я тебя так расчешу!.. Давай расчет, одним словом!.. За все за четыре года.

— Какой это расчет? Это расчет за то, что я тебя держал-то четыре года из милости да хлебом кормил?

На Вахрушку опять накатил храбрый стих, и он пошел на хозяина.

— Так ты не хочешь мне жалованья платить, собачья жила, а?.. Не хочешь?

Михей Зотыч сначала отступил, а потом побежал с криком:

— Ах, батюшки, солдат убил!.. Убил солдат проклятый!

На хозяйский крик выскочили с мельницы рабочие и кинулись на Вахрушку. Произошла горячая свалка. Старика порядочно помяли, а кто-то из усердия так ударил по носу, что у Вахрушки пошла кровь.

— Что, получил расчет? — кричал издали Михей Зотыч.

Вахрушку выпроводили с мельницы в три шеи. Очутившись опять на дороге в Суслон, старик долго чесал затылок, ругался в пространство и, наконец, решил, что так как во всем виноват Галактион благодаря его проклятой дешевке, то он и должен выручать. Вахрушка заявился в писарский дом весь окровавленный и заявил:

— Уж ты как хочешь, Галактион Михеич, а только того... Одним словом, расчет получил от тятеньки.

— Ты ступай сначала на кухню и вымойся.

Галактион кое-как понял, в чем дело. Конечно, Вахрушка напился свыше меры — это так, но, с другой стороны, и отец был неправ, не рассчитав старика. Во всем этом было что-то такое дикое.

— Из-за тебя вся оказия вышла, Галактион Михеич, — с наивностью большого ребенка повторял Вахрушка. — Вчера еще был я человеком, а сегодня ни с чем пирог... да. Значит, на подножный корм.

У Галактиона явилась мысль досадить отцу косвенным образом, и он, подумав, проговорил:

— Вот что, Вахрушка, и ты неправ и отец тоже... Ну, я тебя, так и быть, увезу в город и определю на место. Только смотри, уговор на берегу: водки ни-ни.

— Да я, Галактион Михеич... Ни боже мой!.. Да мне наплевать, хоть вовсе ее не будь... Уж я заслужу!..

Огорченный старый солдат даже прослезился и, глотая слезы, прошептал:

— Да ведь я, Галактион Михеич, блаженныя памяти государю ампиратору Николаю Первому двадцать пять лет верой и правдой послужил... Ведь нет косточки неломаной... Агличанку вышибал под Севастополем... Да я... Ах, боже мой!..

— Ты ступай в кухню, там переночуешь, а завтра вместе уедем.

Вахрушка только ударил себя в грудь и молча вышел.

Вечером этого дня дешевка закончилась. Прохоров был сбит и закрыл кабаки под предлогом, что вся водка вышла. Галактион сидел у себя и подсчитывал, во сколько обошлось это удовольствие. Получалась довольно крупная сумма, причем он не мог не удивляться, что Стабровский в своей смете на конкуренцию предусмотрел почти из копейки в копейку ее стоимость специально для Суслона. Именно за этим занятием накрыл Галактиона отец. Он, по обыкновению, пробрался в дом через кухню.

— Что, сынок, барыши считаешь? Так... Прикинь на счетах еще трех мужиков, опившихся до смерти твоею-то дешевкой.

— Ах, это вы, папаша!..

Старик мало изменился за эти три года, и Галактион в первую минуту немного смутился каким-то детским, привычным к повиновению, чувством. Михей Зотыч так же жевал губами, моргал красными веками и имел такой же загадочный вид.

— Хорошо, сынок... Метлой подметаете три уезда. Скоро голодной мыши нечем будет накормить. Поглядел я сегодня, как народ-то радуется... да.

— Мы-то при чем тут, родитель? Кажется, никого не неволим.

— Так, так, сынок... Это точно, неволи нет. А я-то вот по уезду шатаюсь, так все вижу: которые были запасы, все на базар свезены. Все теперь на деньги пошло, а деньги пошли в кабак, да на самовары, да на ситцы, да на трень-брень... Какая тут неволя? Бога за вас благодарят мужички... Прежде-то все свое домашнее было, а теперь всё с рынка везут. Главное, хлебушко всем мешает... Ох, горе душам нашим!

— Папаша, а сколько ваши крупчатки-мельницы этого хлеба перемелют? Ваш почин...

— Крупчатка пшеничку мелет, — это особь статья, — а вы травите дар божий на проклятое винище... Ох, великий грех!.. Плохо будет, — и мужику плохо, и купцу, и жиду. Ведь все хлебом живем. Не потерпит господь нашего неистовства. Попомни мое слово, Галактион... Может, я и не доживу, а вы-то своими глазами увидите, какую работу затеяли. По делам вашим и воздастся вам... Бесу служите, маммону свою тешите, а господь-то и найдет, найдет и смирит. Ты своим-то жидам скажи это, — вот, мол, какое слово мне родитель сказал. Выжил, мол, старик совсем из ума и свои старые слова болтает.

Галактион ждал этого обличения и принял его с молчаливым смирением, но под конец отцовской речи он почувствовал какую-то фальшь не в содержании этого обличения, а в самой интонации, точно старик говорил только по привычке, но уже сам не верил собственным словам. Это поразило Галактиона, и он вопросительно посмотрел на отца.

— Правда, родитель, — коротко согласился он. — Только ведь мы, молодые, у вас, старичков, учимся.

— Так, так, сынок... Худому учитесь, а доброго не видите. Ну, да это ваше дело... да. Не маленькие и свой разум должны иметь.

Наступила неловкая пауза. Старик присел к письменному столу и беззвучно жевал губами. Его веки закрывались точно у засыпающего человека. Галактион понимал, что все предыдущее было только вступлением к чему-то.

— Завтра в город едешь? — спросил старик, глядя в упор.

— Да, пора. Сегодня мы всё покончили.

— Так, так... гм...

Опять молчание. Михей Зотыч тяжело повернулся на своем стуле, похлопал рукой по столу и проговорил с деланым равнодушием:

— Ну, а что ваш банк?

— Ничего... Дело идет.

— Так, так... Сказывают, что запольские-то купцы сильно начали закладываться в банке. Прежде-то этого было не слыхать... Нынче у тебя десять тысяч, а ты затеваешь дело на пятьдесят. И сам прогоришь, да на пути и других утопишь. Почем у вас берут-то на заклад?

— Смотря по тому, что закладывают, папаша. Процентов двенадцать набежит, а то и побольше.

— А тут еще страховка да поземельные.

— Это уж банк за счет заемщика делает.

— Так, так... Ну, а что бы вы дали, например, за мельницу на Прорыве? Это я к примеру говорю.

Галактион прикинул в уме и заявил:

— Больше десяти тысяч не дадут.

— Что-о?

Старик подскочил на месте.

— Да она мне восемьдесят стоит... Ты сам знаешь. Это грабеж.

— Для вас, папаша, она восемьдесят стоит, а для банка десять. Станьте-ка ее продавать по вольной цене — и десяти напроситесь.

— Да ведь я выкуплю свое добро! Для чего же тогда ваш банк?.. Десять тысяч — не деньги.

— Знаешь что, родитель: это я тебе даю десять тысяч, а так банк не даст.

Старик спохватился и как-то виновато забормотал:

— Ну, мне-то не нужно... Я так, к слову. А про других слыхал, что начинают закладываться. Из наших же мельников есть такие, которые зарвутся свыше меры, а потом в банк.

Галактион понял, в чем дело, и, сделав вид, что поверил отцу, проговорил:

— А на всякий случай, папаша, запомните мою цену. Мало ли что не бывает на свете. Не прежние времена, папаша.

— Да, да... Ох, не прежние!.. И наш брат, купец, и мужик — все пошатнулись.

Отец и сын на этот раз расстались мирно. Галактион даже съездил в Прорыв, чтобы повидаться с Емельяном, который не мог приехать в Суслон, потому что его Арина Матвеевна была больна, — она

в отсутствие грозного тестя перебралась на мельницу. Михей Зотыч делал вид, что ничего не знает о ее присутствии. Этот обман тяготил всех, и Галактион от души пожалел молчавшего, по обыкновению, Емельяна.

V

Вахрушка, отправляясь в город с Галактионом, торжествовал и всю дорогу болтал.

— Ух, надоела мне эта самая деревенская темнота! — повторял он. — Ведь я-то не простой мужик, Галактион Михеич, а свою полировку имею... За битого двух небитых дают. Конешно, Михей Зотыч жалованья мне не заплатили, это точно, а я не сержусь... Что же, ему, может, больше надо. А уж в городе-то я вот как буду стараться. У меня короткий разговор: раз, два — и готово. Ха-ха... Дела не подгадим. Только вот с мертвяком ошибочка вышла.

Галактион дорогой думал об отце. Для него было ясно, что старик начинает запутываться в делах и, может быть, даже сам не знает еще многого. Деньги, как здоровье, начинают чувствоваться, когда их нет. В хлебном деле с поразительною быстротой вырастала самая отчаянная конкуренция главным образом по Ключевой, на которой мельницы-крупчатки росли, как грибы. Предсказания Галактиона отцу, которые он делал перед своим уходом, начинали сбываться. В дело выдвигались громадные капиталы, и обороты шли на миллионы рублей. У старика Колобова, может быть, весь капитал был не больше двухсот тысяч, в чем Галактион сейчас окончательно убедился, а с такими деньгами трудно бороться на оживившемся хлебном рынке. Запольские капиталы двинулись оптом на хлебный рынок, и среднему купцу становилось невозможным существовать без кредита. Михею Зотычу тяжело было признаться в последнем, но, очевидно, он сильно зарвался и начинал испытывать первые приступы безденежья.

«Ведь вот какой упрямый старик! — повторял про себя Галактион и только качал головой. — Ведь за

глаза было бы одной мельницы, так нет, давай строить две новых!»

Впрочем, это общая черта всех людей, выбившихся из полной неизвестности. Успех лишает известного чувства меры и вызывает ничем не оправдываемую предприимчивость.

Понимая вполне всю сложную психологию отца, Галактион параллельно думал о своих пароходах. Заветная мечта уже близилась к осуществлению. Своих денег у него, конечно, было немного, но обещает помочь Стабровский, когда закончится война с Прохоровым и будет получаться отступное, а затем можно будет прихватить часть в банке, а другую часть кое у кого из знакомых. Конечно, дело было рискованное и слишком смелое, но для чего же тогда и жить? Что значили все эти мельницы, стеариновые заводы, винокуренные дела по сравнению с пароходным делом? Это действительно предприятие, которое оживило бы не одно Зауралье, а всю Западную Сибирь. Вот в Тюмени уже есть два парохода, но владельцы не понимают, какое сокровище у них в руках. Если бы двинуть в Сибирь уральское железо, а оттуда дешевый сибирский хлеб, сало, кожи, разное другое сырье... У Галактиона кружилась голова от этих мыслей, и он уже слышал шум своего собственного парохода, его несла вперед живая дорога, и он даже закрывал глаза от душевной истомы. Странно, что именно в такие сны наяву он видел себя вместе с Харитиной. Да, она была тут, рядом с ним, и смотрела к нему прямо в душу своими улыбающимися, светлыми глазами. И это была совсем не та Харитина, которую он видел у себя дома, и сам он был не тот, каким его знали все, — о! он еще не начинал жить, а только готовился к чему-то и ради этого неизвестного работал за четверых и отказывал себе во всем. Теперь другие живут, а тогда будет жить он, то есть они с Харитиной.

Подъезжая к Заполью, Вахрушка вдруг приуныл. Он опять вспомнил про «мертвяка», с которым переночевал в холодной.

— Ах, братец ты мой! — ахал старик, встряхивая головой. — Покойник-то к счастью, а все-таки тово...

не совсем правильно. Ах ты, братец, и угораздило тебя!

Когда показался вдали город, Вахрушка упал духом. В городе-то всё богатые живут, а он с деревенским рылом лезет. Ох, и что только будет!

— Пока поживешь у меня, а там увидим, — коротко объяснил Галактион. — Без места не останешься.

— Да уж я, Галактион Михеич... Ах, боже мой!..

Впрочем, солдат скоро успокоился. Их встретила Харитина и как-то особенно просто отнеслась к нему. Она, видимо, поджидала Галактиона и не могла скрыть своей женской радости, которую и обратила на Вахрушку. Кажется, никто так не умел обойтись с человеком, как Харитина, когда она была в духе. Она потащила солдата в кухню и сама принялась угощать его обедом.

— Ешь, солдат, а утро вечера мудренее. Зачем в город-то притащился?

— Ох, барыня, и не спрашивай!.. Такое случилось, такое, — не слушай теплая хороминка.

Рассказ о дешевке смешил Харитину до слез, и она забывала, что смеяться над опившимися до смерти мужиками нехорошо. Ей было как-то безотчетно весело, весело потому, что Вахрушка все время говорил о Галактионе.

— Уж это такой человек, Харитина Харитоновна, такой... Таких-то и не видывано еще. Ума — палата, вот главное... На што тятенька грозен, а и тот ничего не может супротив. Полная неустойка.

— А ты его любишь, Галактиона?

— Все его любят... Уж такой человек уродился. Значит, особенный человек... да. У него все на отличку супротив других. Вон как он Прохорову-то хвост куфтой подвязал.

В тот же день вечером пришел Замараев. Он имел какой-то особенно торжественный вид и, по обыкновению, начал издалека.

— Каково съездили, Галактион Михеич? Слышали мы, как вы воевали с Прохоровым... да-с. Что же, будет, поцарствовали, то есть Прохоров и К°. Пора и

честь знать. Не те времена, Галактион Михеич, чтобы, например, разиня рот.

После этого вступления Замараев добыл из бокового кармана затасканный номер газеты и передал его Галактиону.

— Вот, почитайте-ка, как вас золотят в газетине, Галактион Михеич. Даже как будто и свыше меры.

Корреспонденция действительно была хлесткая, на тему о водочной войне и дешевках, причем больше всего доставалось Галактиону. Прослежен был каждый его шаг, все подсчитано и разобрано. Галактион прочел два раза, пожал плечами и равнодушно проговорил:

— Доктор писал.

— Вот в том-то и дело, что совсем не доктор... да-с. А некоторый другой человек... Мы сперва-то тоже на доктора подумали, что подкупил его Прохоров, а потом и оказалось...

Замараев огляделся и сообщил шепотом:

— Греческий язык писал... Милый наш родственник, значит, Харченко. Он на почте заказным письмом отправлял статью, — ну, и вызнали, куда и прочее. И что только человеку нужно? А главное, проклятый хохол всю нашу фамилию осрамил... Добрые люди будут пальцами указывать.

— Ничего, Флегонт Васильич: собака лает — ветер носит.

— Я ходил к нему, к хохлу, и говорил с ним. Как, говорю, вам не совестно тому подобными делами заниматься? А он смеется и говорит: «Подождите, вот мы свою газету откроем и прижимать вас будем, толстосумов». Это как, по-вашему? А потом он совсем обошел стариков, взял доверенность от Анфусы Гавриловны и хочет в гласные баллотироваться, значит, в думу. Настоящий яд...

— Что же, дело его. Пусть попробует.

— Нет, как он всех обошел... И даже не скрывается, что в газеты пишет. Другой бы посовестился, а он только смеется. Настоящий змей... А тятенька Харитон Артемьич за него же и на всю улицу кричит: «Катай их, подлецов, в хвост и гриву!» Тятенька весьма

озлоблены. Даже как будто иногда из разума выступают. Всех ругательски ругают.

Замараев был встревожен и, не встретив сочувствия у Галактиона, даже обиделся. Помилуйте, что же это такое? Этак всякий будет писать. Один напишет, а прочитают-то все. Вон купцы в гостином дворе вслух газеты читают. Соберутся кучей и галдят, как черти над кашей.

Корреспонденция Харченки имела другое неожиданное последствие. Кто-то из обозленных ею людей послал доктору Кочетову длинное анонимное письмо, в котором излагалась довольно подробно биография Прасковьи Ивановны. В первый момент доктор не придал письму никакого значения, как безыменной клевете, но потом оно его начало беспокоить с новой точки зрения: лично сам он мог наплевать на все эти сплетни, но ведь о них, вероятно, говорит целый город. По безграмотности можно было предположить только одно, именно, что письмо шло из своей купеческой среды. В виде предисловия разбирались отношения Прасковьи Ивановны к ее сладкому братцу, что будто бы послужило причиной мертвого бубновского запоя, затем подробно излагались ее ухаживания за Мышниковым, роман с Галактионом и делались некоторые предположения относительно будущего. Заканчивалось письмо так: «Вот, г. корреспондент, как бывает: в чужом глазу сучок видим, а в своем бревна не замечаем. Мы это жалеючи вас говорим, потому как вы законный муж и должны соблюдать свой антирес. Промежду прочим, до свидания, г. корреспондент. Главное, у нас-то вы совсем чужой и пожалеть вас некому. Мы вам добром за зло платим».

Конечно, все это было глупо, но уж таковы свойства всякой глупости, что от нее никуда не уйдешь. Доктор старался не думать о проклятом письме — и не мог. Оно его мучило, как смертельный грех. Притом иметь дело с открытым врагом совсем не то, что с тайным, да, кроме того, здесь выступали против него целою шайкой. Оставалось выдерживать характер и ломать самую дурацкую комедию.

В первый момент доктор хотел показать письмо жене и потребовать от нее объяснений. Он делал несколько попыток в этом направлении и даже приходил с письмом в руке в комнату жены. Но достаточно было Прасковье Ивановне взглянуть на него, как докторская храбрость разлеталась дымом. Письмо начинало казаться ему возмутительною нелепостью, которой он не имел права беспокоить жену. Впрочем, Прасковья Ивановна сама вывела его из недоумения. Вернувшись как-то из клуба, она вызывающе проговорила:

— Вы получили письмо?

— Какое письмо?

— Ах, идиот!.. Подавайте его сюда!

Доктор с виноватым видом подал заношенный лист почтовой бумаги. Прасковья Ивановна по-писаному разбирала с грехом пополам только магазинные счета и заставила мужа читать вслух.

— Отлично, — проговорила она, когда чтение кончилось. — Как вы полагаете, Анатолий Петрович, порядочному мужу кто-нибудь посмеет написать подобную гадость?

— Да ведь письмо не подписано? Наконец, моя роль в этом деле самая жалкая... Я не могу даже избить этого мерзавца.

— Да? А я вам скажу, кто этот мерзавец.

— Очень интересно.

— Это вы... Да, вы, вы! Не понимаете? Вам все нужно объяснять? Если бы вы не писали своих дурацких корреспонденций, ничего бы подобного не могло быть. Из-за вас теперь мне глаз никуда нельзя показать.

Получился совершенно неожиданный оборот. Прасковья Ивановна проявила отчаянную решимость сейчас же уехать от мужа куда глаза глядят, и доктор умолял ее, стоя на коленях, остаться, простить его и все забыть. Получилась самая нелепая и жалкая сцена, за которую доктор презирал себя целый месяц. Как это могло случиться? Он опять анализировал свои поступки, каждое душевное движение и чувствовал, что начинает сходить с ума. Мысль о сумасшествии все чаще и чаще приходила ему в голову и наводила на

него ужас. Он чувствовал, как стены кабинета начинали его давить, что какое-то страшное ощущение пустоты душит его, что... В отчаянии он хватался за бутылку с мадерой, и все проходило сейчас же.

Ясно было одно, что он боится и ненавидит жену и не может выбиться из-под ее гнета.

В результате этого состояния получилось то, что доктор принялся выслеживать жену. Он тщательно следил, когда она уходит и приходит, где бывает, с каким лицом встречает своих гостей. Дошло до того, что он начал подслушивать из соседней комнаты. Проделывая все это, доктор все больше и больше презирал самого себя. Раз он сделал сцену сладкому братцу Голяшкину, а потом сейчас же попросил у него извинения и, извиняясь, еще сильнее ненавидел эту сладкую тварь. Ведь письмо говорило прямо об отношениях к нему Прасковьи Ивановны.

Получалось в общем что-то ужасное, глупое и нелепое. В отчаянии доктор бежал к Стабровским, чтобы хоть издали увидеть Устеньку, услышать ее голос, легкую походку, и опять ненавидел себя за эти гимназические выходки. Она — такая чистая, светлая, а он — изношенный, захватанный, как позабытая бутылка с недопитою мадерой.

VI

Деятельность банка все росла. С одной стороны неудержимым потоком приливали вклады, с другой — шел отлив в форме кредита. Скоро определилась во всех подробностях экономическая картина, и каждая торговая фирма была точно взвешена. Известны были все торговые обороты, сумма затраченных капиталов, доходность предприятия и все финансовые возможности, до прогара включительно. В первое время банк допускал кредиты в более широкой форме, а потом начались систематические сокращения. Это была целая система, безжалостная и последовательная. Люди являлись только в роли каких-то живых цифр. Главные банковские операции сосредоточивались на хлебном деле, и оно было известно банковскому правлению

лучше, чем производителям, торговым посредникам и потребителям. Здесь шел в счет и глубокий снег, и весенние дожди, и сухие ветры, и урожай, и недороды в соседних округах, и весь тот круг интересов и злоб, какие сцепились железным кольцом около хлеба. Понижение на копейку в пуде ржи уже отражалось на банковском хозяйстве, как повышение или понижение денежной температуры. В общем банк походил на громадную паутину, в которой безвозвратно запутывались торговые мухи. Конечно, первыми жертвами делались самые маленькие мушки, погибавшие без сопротивления. Охватившая весь край хлебная горячка сказывалась в целом ряде таких жертв, другие стояли уже на очереди, а третьи готовились к неизбежному концу.

По протекции Галактиона Вахрушка занял при банке самый выдающийся пост, пост банковского швейцара. Он теперь стоял в передней, одетый в новенькую синюю ливрею, и с важностью отворял и затворял банковские двери, кланялся, помогал раздеться, ловко принимал пятиалтынные и двугривенные и еще раз кланялся. Он с необыкновенной быстротой освоился с своим новым положением, точно был создан с специальною целью быть банковским швейцаром. Служба была совсем нетрудная, и Вахрушка старался. Он поднимался ранним утром и с ожесточением чистил все медные ручки, заслонки, вытирал пыль, прибирал, приводил все в порядок и в десять часов утра говорил:

— Ну, теперь наша мельница готова!

У Вахрушки была своя комната рядом с передней, первого числа он получал аккуратно десять рублей жалованья, — одним словом, благополучие полное. Ни о чем подобном старик не смел даже мечтать, и ему начинало казаться, что все это — какой-то радужный сон, фантасмагория, бред наяву. Старик всю жизнь прожил в черном теле, а тут, на старости лет, прикачнулось какое-то безумное счастье. Конечно, причиной и единственным источником этого счастья был Галактион, и Вахрушка относился к нему, как к существу высшей породы. Он выбегал встречать его на крыльцо и по первому взгляду знал вперед, в каком настроении

Галактион Михеич. Вахрушка изучал это серьезное лицо с строгими глазами, походку, каждое движение и всем любовался. Разве может быть другой такой человек?

— Бога мне, дураку, не замолить за Галактиона Михеича, — повторял Вахрушка, задыхаясь от рабьего усердия. — Что я такое был?.. Никчемный человек, червь, а теперь... Ведь уродятся же такие человеки, как Галактион Михеич! Глазом глянет — человек и сделался человеком... Ежели бы поп Макар поглядел теперь на меня... Х-ха!.. Ах, какое дело, какое дело!

Вахрушка через прислугу, конечно, знал, что у Галактиона в дому «неладно» и что Серафима Харитоновна пьет запоем, и по-своему жалел его. Этакому-то человеку жить бы да жить надо, а тут дома, как в нетопленой печи... Ах, нехорошо! Вот ежели бы Харитина Харитоновна, так та бы повернула все единым духом. Хороша бабочка, всем взяла, а тоже живет ни к шубе рукав. Дальше Вахрушка угнетенно вздыхал и отмахивался рукой, точно отгонял муху.

В течение двух месяцев старик вызнал всех своих банковских и всех клиентов и рассортировал их посвоему: немец Полуштоф тоже умен, только уж очень увертлив; старик Стабровский, конечно, из поляков и гордо себя содержит; Мышников — ловкий барин, сурьезный, и т. д. Зато киргиз Шахма возмущал Вахрушку, и он навеличивал его про себя татарскою образиной. Наконец, молчаливый Драке, двигавшийся как манекен из папье-маше, наводил на Вахрушку какую-то оторопь. Старик испытывал панический страх, когда молчаливый немец деревянным шагом проходил через его переднюю. Пробовал Вахрушка угождать ему всячески — и опять ничего. Немец молчит, как зарезанный.

«И что только у него, у идола, на уме? — в отчаянии думал Вахрушка, перебирая репертуар собственных мыслей. — Все другие люди как люди, даже Шахма, а этот какой-то омморок... Вот Полуштоф так мимо не пройдет, чтобы словечка не сказать, даром что хромой».

Клиентов банка Вахрушка разделил на несколько категорий: одни — настоящие купцы, оборотистые и важные, другие — пожиже, только вид на себя напущают, а остальные — так, как мякина около зерна. Одна видимость, а начинки-то и нет.

Итак, Вахрушка занимал ответственный пост. Раз утром, когда банковская «мельница» была в полном ходу, в переднюю вошел неизвестный ему человек. Одет он был по-купечеству, но держал себя важно, и Вахрушка сразу понял, что это не из простых чертей, а важная птица. Незнакомец, покряхтывая, поднялся наверх и спросил, где можно видеть Колобова.

— Как прикажете доложить?

— Прохоров.

Этой одной фамилии было достаточно, чтобы весь банк встрепенулся. Приехал сам Прохоров, — это что-нибудь значило. Птица не маленькая и недаром прилетела. Артельщики из кассы, писаря, бухгалтеры — все смотрели на знаменитого винного короля, и все понимали, зачем он явился. Галактион не вышел навстречу, а попросил гостя к себе, в комнату правления.

— Вы, значит, и член правления? — довольно грубо спросил Прохоров, протягивая руку Галактиону.

— Да... Чем могу служить вам? — деловым тоном ответил Галактион, прищуривая глаза. — Не угодно ли вам присесть...

— Что же, в ногах правды нет, — присядем.

Прохоров еще раз осмотрел комнату, повел плечами и проговорил:

— Это вы тогда приезжали ко мне?

— Да.

— Так-с... гм... Значит, вы же и конкуренцию устраивали мне?

— Я вам не обязан давать отчета, господин Прохоров. Здесь я только член правления.

— Так-с... да...

— Нас несколько членов правления: Штофф, Стабровский, Мышников, Шахма, Драке... Может быть, вы с ними желаете переговорить?

— Так-с... Это все единственно-с. Разговоры-то короткие... да.

— Всего лучше, если вы подадите ваше заявление в банк письменно. Правление его рассмотрит и даст ответ.

— Так-с... А в сущности все единственно.

Прохоров сознавал собственное унижение, сознавал, что вот этот, неизвестный в коммерческом мире еще три года назад, Колобов торжествует за его счет, и не мог уйти, не покончив дела. Да, нужно было испить чашу до дна. В свою очередь Галактион смотрел на Прохорова такими глазами, точно это был медведь, поднявшийся из далекой родной берлоги и ввалившийся всею тушей в банк. Кстати, он припомнил, что Стабровский предсказал его появление в банке еще после окончания войны в Суслоне, и Галактион тогда мог только подивиться его смелости высказать такое невероятное предположение. Для него лично «конченный» Прохоров имел специальное значение, потому что победой над ним открывалось осуществление его заветной мечты.

Собралось банковское правление. Предстояло обсудить важный вопрос о том, открыть Прохорову кредит под его винокуренные заводы или нет. Он желал получить сумму в триста тысяч. Обсуждали этот вопрос Штофф, Мышников, Галактион и Драке. Стабровский отказался приехать в заседание под предлогом болезни. Совещавшиеся члены знали вперед, какую они комедию ломают, но вели переговоры с серьезными лицами. В результате получился отказ. Это приятное известие должен был сообщить Драке, как делалось во всех затруднительных случаях.

— Вы хотели получить триста тысяч под ваши заводы? — тянул Драке, глядя на винного короля своими рыбьими глазами.

— Так-с... да.

— Мы этот вопрос обсуждали и нашли, что он неудобоисполним. Вы меня понимаете? Одним словом, мы не можем.

В сущности Прохоров ожидал такого ответа, как человек, бывалый в переделках, и только съежил плечи. Он ничего не ответил немцу, даже не поклонился и вышел.

— Это какая-то разбойничья шайка, — ругался он, когда Вахрушка подавал ему шубу и калоши. — Так-с...

Вечером Галактион поехал к Стабровскому. Старик действительно был не совсем здоров и лежал у себя в кабинете на кушетке, закутав ноги пледом. Около него сидела Устенька и читала вслух какую-то книгу. Стабровский, крепко пожимая Галактиону руку, проговорил всего одно слово:

— Поздравляю... Устенька, вы можете идти к себе.

Девушка поднялась и вышла.

— Да, да, поздравляю, — повторял Стабровский. — У меня был Прохоров, но я его не принял. Ничего, подождет. Его нужно выдержать. Теперь мы будем предписывать условия. Заметьте, что не в наших интересах топить его окончательно, да я и не люблю этого. Зачем? Тем более что я совсем и не желаю заниматься винокуренным делом... Только статья дохода — не больше того. А для него это хороший урок.

Прохоров добился аудиенции у Стабровского только через три дня. К удивлению, он был принят самым любезным образом, так что даже немного смутился. Старый сибирский волк не привык к такому обращению. Результатом этого совещания было состоявшееся, наконец, соглашение: Стабровский закрывал свой завод, а Прохоров ежегодно выплачивал ему отступного семьдесят тысяч.

— Заметьте, что раньше мы могли сойтись на более выгодных для вас условиях, — заметил Стабровский на прощанье. — А затем, я сейчас мог бы предложить вам еще более тяжелые... Но это не в моих правилах, и я никому не желаю зла.

— Так-с... Что уж тут говорить-то. Конечно, темнота наша.

Вечером Стабровский сам приехал к Галактиону.

— Поздравьте: мы всё кончили, — весело проговорил он. — Да, всё... Хорошо то, что хорошо кончается. А затем, я приехал напомнить вам свое обещание... Я вам открываю кредит в пятьдесят тысяч. Хоть в воду их бросьте. Сам я не могу принять участия в вашем пароходном деле, потому что мой принцип — не

разбрасываться. Надеюсь, что мы всегда останемся друзьями.

Заветная мечта Галактиона исполнялась. У него были деньги для начала дела, а там уже все пойдет само собой. Ему ужасно хотелось поделиться с кем-нибудь своею радостью, и такого человека не было. По вечерам жена была пьяна, и он старался уходить из дому. Сейчас он шагал по своему кабинету и молча переживал охватившее его радостное чувство. Да, целых четыре года работы, чтобы получить простой кредит. Но это было все, самый решительный шаг в его жизни.

VII

Харитина совсем собралась уходить от Галактиона, когда случилось одно событие, которое точно пришло к ней на помощь. Это было незадолго до масленицы. Раз ночью к Галактиону прибежала толстая малыгинская стряпка Аграфена и с причитаниями объявила, что Анфуса Гавриловна умерла.

— Ох, бедовушка головушке! — вопила баба. — Еще с вечера она была ничего, только на сердце жалилась... Скушно, говорит. Давно она сердцем скудалась... Ну, а тут осередь ночи ее и прикончило. Харитон-то Артемьич за дохтуром бегал... кровь отворяли... А она, сердешная, как убитая. И что только будет, господи!..

Старушка умерла от разрыва сердца. Малыгинский дом точно весь застонал. Пока была жива старушка, ее почти не замечали, а теперь для всех было ясно как день, что с нею вместе рушился весь дом. И всех лучше понимал это сам Харитон Артемьич, ходивший из комнаты в комнату, как оглушенный.

— Как же это так? — повторял он. — Ведь вчера еще жива была... Наказывала еще осетра пудового купить для солки... икряного... А тут вдруг...

Еще раз в отцовском доме сошлись все сестры. Даже пришла Серафима, не показывавшаяся нигде. Все ходили с опухшими от слез глазами. Сошлись и зятья. Самым деятельным оказался Замараев. Он взял

на себя все хлопоты, суетился, бегал и старался изо всех сил.

— Один ты у меня правильный зять, — говорил Харитон Артемьич, забывая старую семейную рознь. — Золото, а не мужик... Покойница Фуса постоянно это говорила, а я перечил ей. Теперь вот и перечить некому будет. Ох, горюшко!.. Ты уж, писарь, постарайся на последях-то.

— Да уж не беспокойтесь, тятенька... Уж для богоданной маменьки готов надвое расколоться. Что же, предел... все там будем.

Рядом с искренним горем выплыли сейчас же и другие чувства. Первые начали следить друг за другом сестры, мысленно делившие между собой маменькино наследство. Запасливая была старушка, всю жизнь копила да берегла, — мало ли наберется в дому маменькина добра. Сундуки ломятся... Прежде всего сестры заподозрили тихоню Агнию, — ведь она в доме оставалась все время и как раз заграбастает самое лучшее. Много ли нужно, чтобы спрятать столовое серебро? Одних серег сколько было у маменьки, пять собольих воротников, бархату на два платья, три не шитых лисьих меха... Конечно, Агния знала, где все лежит, и не упустит случая. Та же Аграфена поможет... За Аграфеной был устроен правильный надзор, как и за Агнией, и сестры дежурили попеременно. Всех охватила самая отчаянная жадность, и каждая думала, что все другие обманут именно ее. Мужья, конечно, были посвящены во все тайны этой бабьей политики, и, нужно отдать им справедливость, все точно сговорились и ни во что не желали вступаться.

— Делайте, как знаете... Не наше это дело.

Явившийся Лиодор усилил смуту. Он приехал совершенно неожиданно ночью. Дежурившая «полуштофова жена» спала. Лиодор взломал в столовой буфет, забрал все столовое серебро и скрылся. Утром произошел настоящий скандал. Сестры готовы были, кажется, разорвать «полуштофову жену», так что за нее вынужден был вступиться сам Харитон Артемьич.

— Да вы никак сбесились, сороки? — зыкнул он на дочерей. — Разе такое теперь время, оглашенные? Се-

ребро жалеете, а мать не жаль... Никому и ничего не дам! Так и знайте... Пусть Лиодор пропивает, — мне ничего не нужно.

Благоразумнее других оказалась Харитина, удерживавшая сестер от открытого скандала. Другие начали ее подозревать, что она заодно с Агнией, да и прежде была любимою тятенькиной дочерью. Затем явилось предположение, что именно она переедет к отцу и заберет в руки все тятенькино хозяйство, а тогда пиши пропало. От Харитины все сбудется... Да и Харитон Артемьич оказывал ей явное предпочтение. Особенно рвала и метала писариха Анна, соединившаяся на этот случай с «полуштофовой женой».

Из зятьев неотлучно были в доме Харченко и Замараев. Они часто уходили в кабинет учителя, притворяли за собой двери, пили водку и о чем-то подолгу шушукались. Вообще держали себя самым подозрительным образом.

В малыгинском доме перебывал весь город и даже заехал Ечкин. Он повертелся неизвестно зачем, попробовал любезничать с Харитиной и, не встретив сочувствия, исчез.

— Справки наводить приезжал, — сообщил Замараев шепотом Харченке. — Знает, где жареным пахнет. В последнее-то время тятенька на фабрике векселями отдувался, — ну, а тут после богоданной маменьки наследство получит. Это хоть кому любопытно... Всем известно, какой капитал у маменьки в банке лежит. Ох, грехи, грехи!.. Похоронить не дадут честь-честью.

Похороны были устроены самые пышные. Харитон Артемьич ничего не жалел, и ему все казалось, что бедно. Замараев терял голову, как устроить еще пышнее. Кажется, уж всего достаточно... Поминальный стол на полтораста персон, для нищей братии отведен весь низ и людская, потом милостыня развозилась по всему городу возами.

Наконец, все было кончено. Покойница свезена на кладбище, поминки съедены, милостыня роздана, и в малыгинском доме водворилась мучительная пустота, какая бывает только после покойника. Сестры одна за

другой наезжали проведать тятеньку, а Харитон Артемьич затворился у себя в кабинете и никого не желал видеть.

— Это наследство вынюхивают, — объяснял он Замараеву. — Как бы не так!.. Покойница-то все мне оставила по духовной.

— Уж это известно, тятенька. А все-таки оно того... духовную-то надо по закону представить... Закон требует порядка.

— Ты меня учить? Да ты с кем разговариваешь-то, чернильная твоя душа?

— Для вас же говорю, тятенька, чтобы не вышло чего... Духовную-то нужно представить куда следует, а потом опись имущества и всякое прочее.

— Да ты никак с ума спятил?! — закричал старик. — Ведь Анфуса Гавриловна, чай, была моя жена, — ну, значит, все мое... Я же все заводил. Кажется, хозяин в дому, а ты пристаешь... Вон!

Старик рассвирепел и выгнал писаря. Вот бог наградил зятьями! Другие-то хоть молчат, а этот так в ухо и зудит. И чего пристал с духовной? Ведь сам писал.

Приставанья и темные намеки писаря все-таки встревожили Харитона Артемьича, и он вечерком отправился к старичку нотариусу Меридианову, с которым водил дела. Всю дорогу старик сердился и ругал проклятого писаря. Нотариус был дома и принял гостя в своем рабочем кабинете.

— А я к тебе с секретом, — объяснил Харитон Артемьич, доставая из кармана духовную. — Вот посмотри эту самую бумагу и научи, как с ней быть.

Нотариус оседлал нос очками, придвинул бумагу к самой свече и прочел ее до конца с большим вниманием. Потом он через очки посмотрел на клиента, пожевал сухими губами и опять принялся перечитывать с самого начала. Эта деловая медленность начинала злить Харитона Артемьича. Ведь вот как эти приказные ломаются над живым человеком! Кажется, взял бы да и стукнул прямо по башке старую канцелярскую крысу. А нотариус сложил попрежнему духовную

и, возвращая, проговорил каким-то деревянным голосом:

— Завещание недействительно, Харитон Артемьич.

В первую минуту Малыгин хорошенько даже не понял, в чем дело, а только почувствовал, как вся комната завертелась у него перед глазами.

— Как недействительно?! — вскипел он уже после драматической паузы.

— Очень просто... Недостает одного свидетеля.

— Как недостает? Целых двое подписались.

— В том-то и дело, что двое... По закону нужно троих.

— Врешь... Я сам подписывал духовную у старика Попова, и нас было двое: протопоп да я.

— Совершенно верно: когда подписывает духовную в качестве свидетеля священник, то совершенно достаточно двух подписей, а без священника нужно три. И ваше завещание имеет сейчас такую же силу, как пустой лист бумаги.

— Не может этого быть, потому как у меня деньги на жену положены были.

— Дело ваше, а духовная все-таки недействительна.

— Значит, все прахом?.. Нет, не может этого быть... Тогда что же мне-то останется?

— По закону вы получите четвертую часть из движимого и восьмую из недвижимого.

— И это только потому, что нет третьего свидетеля?

— Только поэтому. В законе сказано прямо.

— Да ведь жена была моя, и я свой дом записывал на нее и свои деньги положил на ее имя в банк?

— Это все равно. Вы только наследник после нее.

Харитон Артемьич забегал по кабинету, как бешеный. Лицо побагровело, и нотариус даже испугался.

— Успокойтесь, Харитон Артемьич... Бывает и хуже.

— Да ведь это мне зарез... Сам себя зарезал... Голубчик, нельзя ли поправить как-нибудь? Ну, подпишись третьим ты сам.

— Нельзя.

— На коленки встану... не уйду отсюда.

— Ничего не могу.

— Ну, чего тебе стоит? Будь отцом родным... Ведь никто не узнает.

— Не могу... Я присягу принимал.

— А ежели я сам подпишусь третьим?

— Нельзя.

С Малыгиным сделалось дурно, и нотариусу пришлось отпаивать его холодною водой.

— Это меня проклятый писарь подвел! — хрипел старик, страшно ворочая глазами. — Я его разорву на мелкие части, как дохлую кошку!

— Успокойтесь, Харитон Артемьич. Ведь со своими дело будете иметь, а не с чужими.

— Со своими? Вот в том-то и вся моя беда... Свои! Ха-ха!

От нотариуса Малыгин направился прямо в ссудную кассу Замараева. Он ворвался, как ураган, и сгоряча не узнал даже зятя.

— Где разбойник? где погубитель?

— Тятенька, кого вам нужно? — спрашивал Замараев.

— Ах, это ты!.. Тебя нужно!.. Тебя... Задушу своими руками!

— Какие вы слова, тятенька, выражаете... Вот лучше напьемся чайку и потолкуем.

— Чайку? Вот где мне твой чаек... Твоя работа, разбойник! Ты составлял духовную!

— Все по закону, тятенька, и духовная по всей форме.

— А где третий свидетель?

— Это уж было ваше дело, тятенька... Вы подбирали свидетелей.

— Не говори, душегубец!

Старик страшно бунтовал, разбил графин с водой и кончил слезами. Замараев увел его под руку в свой кабинет, усадил на диван и заговорил самым убедительным тоном:

— Тятенька, напрасно вы на меня мораль пущаете... И даже лучше, что так вышло.

— Что-о?!. Ах, разбойник!

— Нет, вы меня выслушайте... Допустим, что духовная была бы правильно составлена — третий свидетель и прочее... Хорошо... Вы предъявляете духовную, ее утверждают, а деньги получили бы ваши кредиторы. Ведь у вас векселей, слава богу, выдано достаточно.

— Всего-то тысяч на шестьдесят. Значит, мне осталось бы чистых сорок тысяч да дом.

— Ах, какой вы, тятенька! Тогда бы кредиторы получили сполна все свои шестьдесят тысяч, а теперь они получат всего из капитала богоданной маменьки вашу четвертую часть, то есть двадцать пять тысяч, да вашу восьмую часть из дома. Значит, всех-на-всех тридцать тысяч.

— Ну, ну, говори, разбойник!

— Я, тятенька, по закону. Я тут ни при чем. Уж лучше, ежели деньги достанутся родным детям, чем чужим.

— Значит, по закону?

— Точно так-с.

Замараев взял счеты и принялся подводить баланс.

— Вы, тятенька, яко законный супруг своей жены, получите из движимого свою законную четвертую часть, то есть двадцать пять тысяч, да из недвижимого свою восьмую законную супружескую часть. Теперь... У вас шесть дочерей и сын. По закону, дочерям из движимого должна быть выделена законная седьмая часть, и Лиодору достанется тоже седьмая, значит на персону выйдет... выйдет по десяти тысяч семисот четырнадцати рублей двадцати восьми копеек и четыре седьмых-с. Из недвижимого, что останется после вычета вашей восьмой части, дочерям шесть четырнадцатых, значит, близко половины, а три восьмых — Лиодору. Вот и все по закону, тятенька... Я ничего от вас не скрываю. Заметьте, что я ни одной вашей копейки не желаю получать... Анна, как знает, так и пусть делает.

— А ты забыл еще подсчитать, что на всех на вас креста нет... Ах, разбойники!.. Ах, душегубы!.. Ведь я-то, значит, хуже нищего остался?

— А стеариновая фабрика, тятенька? Это капитал-с...

VIII

История с малыгинским наследством сделалась злобой дня для всего Заполья. Пересудам, слухам и комментариям не было конца. Еще ничего подобного в купеческой среде не случалось. Положение Харитона Артемьича получилось трагикомическое в самой обидной форме. Дело в том, что всем было ясно, как он хотел скрыть капитал от своих кредиторов и как глупо поплатился за это. Сложилась целая легенда о малыгинских дочерях, получивших наследство до последней копеечки при живом отце и пустивших этого отца буквально нищим. Малыгинские зятья вошли в пословицу.

В действительности происходило так. Все зятья, за исключением Пашки Булыгина, не принимали в этом деле никакого участия, предоставив все своим женам. Из сестер ни одна не отказалась от своей части ни в пользу других сестер, ни в пользу отца.

— Все равно у тятеньки опишут кредиторы, — объясняла «полуштофова жена» с обычною авторитетностью. — Вольно ему было засаживать весь свой капитал в фабрику, да еще выдавать векселя... Он только нас разорил.

— Конечно, разорил, — поддакивала писариха Анна. — Теперь близко полуторых сот тысяч в фабрике сидит да из мамынькиных денег туда же ушло близко тридцати, — по седьмой части каждой досталось бы. Плакали наши денежки... Моих двадцать пять тысяч сожрала проклятая фабрика.

Сестры ужасно волновались и смело говорили теперь всё прямо в глаза отцу. Сначала Харитон Артемьич отчаянно ругался, кричал, топал ногами, гнал всех, а потом говорил всего одно слово:

— Прокляну!..

Первыми получать наследство явились Лиодор с Пашкой Булыгиным. Последний действовал по доверенности от жены. Харитон Артемьич едва успел скрыться от них через кухню и в одном халате прибежал к Замараеву. Он совершенно упал духом и плакал, как ребенок.

— Тятенька, успокойтесь, — уговаривал Замараев. — Зачем малодушествовать? Слава богу, у вас еще есть целая фабрика... Проживете получше нас всех.

— Не поминай ты мне про фабрику, разбойник! — стонал старик. — И тебя прокляну... всех! По миру меня пустили, родного отца!

Нападение Лиодора и Булыгина не повторилось. Они удовольствовались получением своих денег из банка и пропали в Кунаре. Дом и остальное движимое подлежало публичной продаже для удовлетворения кредиторов. Разорение получалось полное, так что у Харитона Артемьича не оставалось даже своего угла. Тут уж над ним сжалились дочери и в складчину уплатили следовавшую кредиторам восьмую часть. Отказалась уплатить свою часть только одна писариха Анна.

— Просто не понимаю, что сделалось с женой, — удивлялся Замараев, разводя руками. — Уж я как ее уговаривал: не бери мамынькиных денег. Проживем без них... А разве с бабой сговоришь?

Молва приписывала всю механику малыгинского завещания именно Замараеву, и он всячески старался освободить себя от этого обвинения. Вообще положение малыгинских зятьев было довольно щекотливое, и они не любили, когда речь заходила о наследстве. Все дело они сваливали довольно бессовестно на жен, даже Галактион повторял вместе с другими это оправдание.

— Поговорят да перестанут, — успокаивал Штофф других.

— Да о чем говорить-то? — возмущался Замараев. — Да я от себя готов заплатить эти десять тысяч... Жили без них и проживем без них, а тут одна мораль. Да и то сказать, много ли мне с женой нужно? Ох, грехи, грехи!..

Харченко отмалчивался. Десять тысяч для него были заветною мечтой, потому что на них он приобретал, наконец, собственный ценз для городского гласного. Галактион тоже избегал разговоров на эту тему. Сначала он был против этого наследства, а потом мысленно присоединил их к тем пятидесяти тысячам, какие

давал ему Стабровский. Лишних денег вообще не бывает, а тут они как раз подошли к случаю.

Лучше всех держала себя от начала до конца Харитина. Она даже решила сгоряча, что все деньги отдаст отцу, как только получит их из банка. Но потом на нее напало раздумье. В самом деле, дай их отцу, а потом и поминай, как звали. Все равно десятью тысячами его не спасешь. Думала-думала Харитина и придумала. Она пришла в кабинет к Галактиону и передала все деньги ему.

— Это что? — удивился Галактион.

— А на пароходы... И я тоже хочу кусочек хлеба с маслом.

Галактион молча ее обнял.

— Только ты мне расписку выдай, — деловым тоном говорила она, освобождаясь, — да.

— Для чего же тебе расписка, глупая?

— Как для чего? А не хочу дурой быть... Вот Серафима помрет, ты и женишься на другой. Я все обдумала вперед, и меня не проведешь.

— Ах, глупая, глупая!

Эти Харитинины десять тысяч Галактиону были особенно дороги. Они округляли его капитал до семидесяти тысяч, а там можно со временем дополучить тысяч тридцать из банка. Одним словом, все шло как по маслу, и Галактион не испытывал никаких угрызений совести по отношению к обобранному до нитки тестю. Он про себя негодовал на него: вместо того чтобы травить такие страшные деньги на дурацкую фабрику, отдал бы ему на пароходы... Дело-то повернее во сто раз. Поступок Харитины радовал Галактиона и потому, что он не просил у нее денег, а она сама их отдала. Он даже отложил их отдельно, как счастливые.

«Умная эта Харитина, — думал Галактион, пересчитывая ее капитал. — И расписку требует».

Харитина действительно была не глупа. Свое отступление из дома Галактиона она затушевала тем, что сначала переехала к отцу. Предлог был налицо: Агния находилась в интересном положении, отец нуждался в утешении.

— Куда ты деньги дела? — допытывался Харитон Артемьич.

— Полуянову послала... Ведь он мне муж, тятенька, а в Сибири-то где ему взять?

— Врешь, все врешь... Все вы врете.

Полуянов как-то совсем исчез из поля зрения всей родни. О нем не говорили и не вспоминали, как о покойнике, от которого рады были избавиться. Харитина время от времени получала от него письма, сначала отвечала на них, а потом перестала даже распечатывать. В ней росло по отношению к нему какое-то особенно злобное чувство. И находясь в ссылке, он все-таки связывал ее по рукам и по ногам.

Жизнь в родительском доме была уже совсем не красна. Харитон Артемьич по временам впадал в какое-то буйное ожесточение, и с ним приходилось отваживаться, как с сумасшедшим. Он проклинал дочерей и зятьев, а весь остальной мир обещал привлечь к суду. Для последнего у него были свои основания. Стеариновый завод работал в убыток и требовал все новых расходов. Шахма денег больше не давал, а у Ечкина их никогда не было. Давила главным образом конкуренция с «казанскою свечой». Харитон Артемьич, как на службу, отправлялся каждый день утром на фабрику, чтобы всласть поругаться с Ечкиным и хоть этим отвести душу. Ечкин выслушивал все совершенно хладнокровно и говорил постоянно одно и то же:

— Вот вы теперь ругаетесь, а потом благодарить будете.

— Отдай мои деньги, ничего знать не хочу!..

Ечкину оставалось только пожимать плечами, точно его просили снять с неба луну. Собственно, он уже давно вышел из своей роли и сидел на фабрике, что совсем было не его делом. Представлялось два выхода: найти четвертого компаньона или заложить фабрику в банке. Последнее равнялось собственному признанию своей несостоятельности, и Ечкин медлил. В конце зимы он, наконец, подыскал компаньона — это был Евграф Огибенин. Коммерсант последней формации жаждал примазаться к какому-нибудь модному промышленному предприятию и попался на удочку. Ечкин

получил с него деньги и сейчас же уехал в Петербург, где по выданной ему доверенности заложил в одном из столичных банков и стеариновую фабрику. В общем эти операции дали ему около полутораста тысяч, и Ечкин как добросовестный человек ровно на эту сумму выслал компаньонам векселей.

Беда не приходит одна, и Малыгин утешался только тем, какого дурака свалял Ераашка-модник, попавший, как кур во щи. Благодаря коварству Ечкина фабрику пришлось совсем остановить. Кредиторы Ечкина в свою очередь поспешили наложить на нее свое запоздавшее veto. Но Харитон Артемьич не терял надежды и решил судиться, со всеми судиться — и с Ечкиным, и с Шахмой, и с Огибениным, и с дочерьми.

— Всех в бараний рог согну! — кричал он, расхаживая по своему кабинету в халате. — Я им покажу!..

Лучшее утешение в несчастии, как известно,— чужие несчастия. За этим дело не стало. В великом посту приехал в Заполье старик Колобов и завернул навестить Харитона Артемьича.

— А! пришел посмотреть на голого свата! — встретил его Малыгин, впадая в ожесточенный тон. — Вот полюбуйся... Один халат доченьки оставили из милости.

— Все под богом ходим, Харитон Артемьич, — уклончиво ответил Михей Зотыч, моргая и шамкая. — Господь даде, господь отъя... Ох, не возьмем с собой ничего, миленький! Все это суета.

— Нечего сказать, хороша суета!.. А ты-то зачем приехал к нам? Небойсь в банк хочешь закладываться? Ха-ха... У всех теперь одна мода, а ваши мучники готовы кожу с себя заложить.

— Уж как бог даст... да... — шамкал Колобов. — Оно тово, действительно поджимают нас, очень поджимают... У вас в городе-то лес рубят, а к нам щепки летят.

— Так, так, сватушка. У тебя и рука в банке своя... Галактион-то вызволит.

— Уж это што говорить — заступа... Позавидовал плешивый лысому. По-твоему хочу сделать: разделить сыновей. Хорошие ноне детки. Ох-хо-хо!.. А все суета,

Харитон Артемьич... Деток вон мы с тобой судим и рядим, а о своей душе не печалуемся. Только бы мне с своим делом развязаться... В скиты пора уходить. Вот вместе и пойдем.

— Нет, брат, шалишь! Я сперва еще всех на подсудимую скамью запячу! Жив не хочу быть, пока не оборудую этого самого дела!

— Крутенек ты, сватушка, как я погляжу, а на сердитых воду возят.

— Ничего, авось за собакой камень не пропадет! Я теперь на отчаянность пошел... С голого, что со святого, — взять нечего.

Старики разговорились. Все-таки они были свои и думали одинаково, не то что молодежь. Михей Зотыч все качал своею лысою головой и жаловался на худые дела.

— Ох, плохо будет, сватушка, всем плохо!.. Ведь можно было бы жить, и еще как можно, если бы все не набросились строить мельницы. По Ключевой-то теперь стоном стон стоит... Так и рвут, так и рвут. Что только и будет!..

— Зачем две-то новых мельницы выстроил?

— А затем, сватушка, что три сына у меня. Хотел каждому по меленке оставить, чтобы родителя поминали... Ох, нехорошо!.. Мучники наши в банк закладываются, а мужик весь хлеб на базары свез. По деревням везде ситцы да самовары пошли... Ослабел мужик. А тут водкой еще его накачивают... Все за легким хлебом гонятся да за своим лакомством. Что только и будет!..

— Чему быть-то? Ничего не будет.

— А бог-то? Не потерпит батюшко нашего зверства... Божий дар травим да беса тешим.

Михей Зотыч прожил в Заполье недели две и, по обыкновению, обошел весь город и везде побывал. За десять лет город нельзя было узнать, и старик только качал головой. Все-то по-новому, по-модному, на отличку. Старинку как метлой вымело. Побывал Михей Зотыч и на новой вальцовой мельнице Луковникова и уже не знал, дивиться ему или нет. Это была уже не мельница, а целая фабрика. Даже жаль делалось,

как гоняют хлеб по всем пяти этажам, с жернова на жернов, между валами, по ситам, веялкам и самотаскам. Завернул Михей Зотыч и к Замараеву. Тут дело верное — без обрезков и без моды. Закончились эти путешествия новым банком, где встретил Михея Зотыча старый приятель Вахрушка.

— Здравствуй, чиновник, — говорил Колобов, разглядывая Вахрушкину ливрею. — Шут не шут, а около того.

— Вот и вы на нашу мельницу завернули, Михей Зотыч, — отвечал в тон Вахрушка. — У нас чистая работа.

— Пришел в сапогах, а ушел босиком? На что чище... Вон и ты какое себе рыло наел на легком-то хлебе... да. Что же, оно уж завсегда так: лупи яичко — не сказывай, облупил — не показывай. Ну, чиновник, а ты как думаешь, возьмут меня на вашей мельнице в заклад?

— Как же можно, Михей Зотыч, чтобы вам не дали под заклад... Всякие народы закладываются, а вам-то на особицу дадут.

— Так, так, миленький... Верно. Когда волк таскал — никто не видал, а когда волка потащили — все увидели.

IX

Заручившись кредитом, Галактион полетел в Тюмень, где у него уже был на примете продававшийся пароход. Правда, что пароход был старой конструкции, вообще дрянной, но пока и он мог служить. Главное, чтобы не откладывать дела в долгий ящик. По пути Галактион прихватил и две небольшие баржи. Зимы оставалось немного, и нужно было поспевать. Из Тюмени он проехал на Городище, которое уже давно арендовал у крестьян. План пристани, контор и амбаров был заготовлен раньше, и теперь приходилось только его выполнять. Работа на мысу закипела, как по щучьему веленью. Камень и лес были заготовлены Галактионом еще раньше. Одним словом, все было предусмотрено до последних мелочей.

Ровно через две недели на Городище уже стояла новая пятистенная изба, в которой Галактион и поселился. Тут была и контора, и его квартира, и склад. Никогда еще Галактион не торопился в такой степени и никогда не чувствовал себя так хорошо. Каждый удар топора, раздававшийся на Городище, осуществлял его заветную мечту. Утром он вставал в пять часов, а ложился спать позже всех. С одной стороны, было неудобно, что река Ключевая была судоходна до Заполья только в полую воду, а с другой стороны, это неудобство представляло для Галактиона большие выгоды. Он вот здесь, на Городище, только чувствовал себя дома и был рад, что город далеко. Заполье ему давно надоело, да и не любил он его никогда. А здесь так хорошо. Под рукой были только те люди, которые были нужны, и больше никого. Галактион блаженствовал и смотрел на Тобол с чувством собственности, как на лошадь-новокупку.

В Заполье Галактион приезжал только на несколько часов, когда бывали заседания банковского правления. Здесь он, между прочим, встретился и с отцом.

— Здравствуй, сынок, — остановил его Михей Зотыч. — Аль не узнал родителя?

— Виноват, папаша... Как это вы сюда попали?

— По делу, сынок, по делу... Хочу отведать, как деньги из банка берут.

— Что же вы мне не писали раньше? Я устроил бы все вперед.

— Спасибо, сынок... Не привык я чужими руками жар загребать. Да и тебе-то некогда... Сказывают, пароходы заводишь?

— Завожу, родитель.

— Так, так... А денег где взял?

— Добрые люди дали.

— Люди-то добрые, а чужие денежки зубасты, милый сын... Не по себе дерево гнешь.

— Уж как бог даст, папаша... Я еще молод, в охотку и поработать. Приезжайте, папаша, посмотреть как-нибудь.

— И то приеду, сынок. Место на Городище привольное... Вот только как плавать-то будешь? Мы вон по сухому-то берегу еле бродим.

Галактиона неприятно поразило то, что отец попросил его похлопотать за него в правлении относительно ссуды.

— Папаша, знаете, неудобно просить за своих... Этого у нас не водится. В банке все равны и нет родственников.

— Спасибо и на этом, сынок.

— Если хотите, я могу поставить свой бланк на ваш вексель — это мне удобнее.

— Нет, спасибо, сынок... Пока бог миловал от векселей.

Встреча с отцом вышла самая неудобная, и Галактион потом пожалел, что ничего не сделал для отца. Он говорил со стариком не как сын, а как член банковского правления, и старик этого не хотел понять. Да и можно бы все устроить, если бы не Мышников, — у Галактиона с последним оставались попрежнему натянутые отношения. Для очищения совести Галактион отправился к Стабровскому, чтобы переговорить с ним на дому. Как на грех, Стабровский куда-то уехал. Галактиона приняла Устенька.

— Вы подождите, Галактион Михеич, — говорила девушка деловым тоном.

Она вообще старалась занимать его, как хозяйка. Пани Стабровская, по обыкновению, не выходила из своей комнаты, Диде что-то нездоровилось, и Устенька заменяла их. Галактион посидел в столовой, выпил стакан чаю и начал прощаться.

— В другой раз как-нибудь заверну, Устенька... Некогда.

Девушка вышла провожать его в переднюю и, оглянувшись, проговорила тем же тоном, как раньше, когда учила его, как держать себя за чайным столом:

— Галактион Михеич, неужели это правда, что рассказывают про старика Малыгина?

— Я, право, в его дела не вмешиваюсь, Устенька.

— Значит, это неправда, что вы взяли деньги у Харитины?

Галактион почувствовал, что вдруг покраснел, как попавшийся школьник.

— А вам для чего это знать, Устенька?

— Да я так... Ах, не делайте этого, Галактион Михеич! Она нехорошая...

Эта сцена не выходила из головы Галактиона всю дорогу, пока он ехал к себе на Городище. Он опять краснел, припоминая умоляющее выражение лица Устеньки. Какая она славная девушка, хотя и говорит о вещах, которых не понимает. Да, значит, уже целый город знает о деньгах Харитины... И откуда только такие вести берутся? Он сам никому не говорил ни одного слова и был уверен, что Харитина тоже никому не проговорилась. Она не болтушка. Вероятно, добрые люди сообразили, что Харитине некуда было девать своего наследства.

«Э, не все ли равно?» — решил Галактион.

Ему было обидно только то, что Устенька назвала Харитину нехорошей. За что? Ведь Харитина никому не сделала зла, кроме самой себя.

Именно под этим впечатлением Галактион подъезжал к своему Городищу. Начинало уже темниться, а в его комнате светился огонь. У крыльца стоял чей-то дорожный экипаж. Галактион быстро взбежал по лестнице на крылечко, прошел темные сени, отворил дверь и остановился на пороге, — в его комнате сидели Михей Зотыч и Харитина за самоваром.

— Ну, принимай дорогих гостей, — проговорил Михей Зотыч. — Незваные-то гости подороже будут званых.

— Я рад, папаша...

— Я и Харитину захватил, — шамкал старик. — Одному-то скучно ехать, а она все равно без дела у тятеньки сидит. Вот и поехали.

Харитина была смущена и смотрела на Галактиона виноватыми глазами. Она чувствовала, что он недоволен ее выходкой, и молчала. Галактион тоже поздоровался с ней молча.

Старик Колобов был как-то необыкновенно весел и все время шутил с Харитиной.

— Ну, что же ты молчишь-то, а еще хозяин? — спрашивал он Галактиона. — Разве гости плохи? Вместе-то нам как раз сто лет, Харитинушка. В самый раз пара.

Вечером старик улегся, по обыкновению, спать рано. Галактион и Харитина сидели в конторе одни.

— Что ты и в самом-то деле надулся, как мышь на крупу? — говорила она. — Этак я и домой завтра уеду. Соскучилась без тебя, а ты...

— Послушай, я не пойму, как это тебя угораздило вместе с отцом приехать сюда?

— А так... Он приехал прямо за мной, а я села и поехала. Тошнехонько мне, особенно по вечерам. Ты небойсь и не вспомнишь обо мне.

— Вот немного устроюсь, тогда...

— Что тогда? А знаешь, что я тебе скажу? Вот ты строишь себе дом в Городище, а какой же дом без бабы? И Михей Зотыч то же самое давеча говорил. Ведь у него все загадками да выкомурами, как хочешь понимай. Жалеет тебя...

— Он?

— Да, он... А ты как бы думал? Старик без ума тебя любит. Ты его совсем не знаешь... да. А мне показалось...

Харитина так и не досказала, что ей показалось.

На другое утро Михей Зотыч поднялся чем свет и обошел все работы. Он все осмотрел, что-то прикидывал в уме, шептал и качал головой, а потом, прищурившись, долго смотрел на реку и угнетенно вздыхал.

— Ну что, папаша, как вы нашли мою пристань? — спрашивал Галактион.

— Купец в лавке хвалит товар, сынок, а покупатель дома... Ничего, хорошо... Воду я люблю, а у тебя сразу две реки... По весне-то вот какой разлив будет... да.

— В половодье-то я из Заполья вашу крупчатку повезу в Сибирь, папаша, а осенью сибирскую пшеницу сюда буду поставлять. Работы не оберешься.

— Да, да... Ох, повезешь, сынок!.. А поговорка такая: не мой воз — не моя и песенка. Все хлеб-батюшко, везде хлеб... Все им держатся, а остальное-то так.

Только хлеб-то от бога родится, сынок... Дар божий... Как бы ошибки не вышло. Ты вот на машину надеешься, а вдруг нечего будет не только возить, а и есть.

— Вот тогда-то и будет хорошо: где много уродится хлеба, откуда его и повезем. Всем будет хорошо.

— Так, так... То-то нынче добрый народ пошел: всё о других заботятся, а себя забывают. Что же, дай бог... Посмотрел я в Заполье на добрых людей... Хорошо. Дома понастроили новые, магазины с зеркальными окнами и всё перезаложили в банк. Одни строят, другие деньги на постройку дают — чего лучше? А тут еще: на, испей дешевой водочки... Только вот как с закуской будет? И ты тоже вот добрый у меня уродился: чужого не жалеешь.

— Это уже дело мое, папаша, у вас я, кажется, еще не просил ничего.

— Не дам, ничего не дам, сынок... Жалеючи тебя, не дам. Ох, грехи от денег-то, и от своих и от чужих! Будешь богатый, так и себя-то забудешь, Галактион. Видал я всяких человеков.... ох, много видал! Пожалуй, и смотреть больше ничего не осталось.

Больше всего старик поразил Галактиона своим отношением к Харитине. Она проспала чуть не до десяти часов, и Галактион несколько раз хотел ее разбудить.

— Оставь... Не надо, — удерживал его Михей Зотыч. — Пусть выспится молодым делом. Побранить-то есть кому бабочку, а пожалеть некому. Трудненько молодой жить без призору... Не сладко ей живется. Ох, грехи!..

Харитина поднялась не в духе; она плохо спала ночь.

— Ну, Харитинушка, испей чайку да складывайся в обратный путь, — торопил ее Михей Зотыч. — Загостились мы тут.

Ухаживанья старика привели Харитину в капризное настроение. Она уже больше не смущалась и смотрела на Галактиона вызывающим взглядом.

— Возьми меня, Галактион, в кухарки, — говорила она, усаживаясь в экипаж. — Я умею отличные щи варить.

— И то возьми, Галактион, — поддакивал Михей Зотыч. — Я буду наезжать ваши щи есть. Так, Харитинушка? Щи — первое дело. Пароходы-то пароходами, а без щей тоже не проживешь.

Галактион стоял все время на крыльце, пока экипаж не скрылся из глаз. Харитина не оглянулась ни разу. Ему сделалось как-то и жутко, и тяжело, и жаль себя. Вся эта поездка с Харитиной у отца была только злою выходкой, как все, что он делал. Старик в глаза смеялся над ним и в глаза дразнил Харитиной. Да, «без щей тоже не проживешь». Это была какая-то бессмысленная и обидная правда.

Целый день Галактион ходил грустный, а вечером, когда зажгли огонь, ему сделалось уж совсем тошно. Вот здесь сидела Харитина, вот на этом диване она спала, — все напоминало ее, до позабытой на окне черепаховой шпильки включительно. Галактион долго пил чай, шагал по комнате и не мог дождаться, когда можно будет лечь спать. Бывают такие проклятые дни.

Когда Галактион, наконец, был уже в постели, послышался запоздалый колокольчик. Галактион никак не мог сообразить, кто бы мог приехать в такую пору. На всякий случай он оделся и вышел на крыльцо. Это была Харитина, она вошла, пошатываясь, как пьяная, молча остановилась и смотрела на Галактиона какими-то безумными глазами.

— Что с тобой? — удивился Галактион. — Идем в комнату.

Харитина долго ничего не могла выговорить и только плакала, закрыв лицо руками.

— Я его бранила всю дорогу... да, — шептала она, глотая слезы. — Я только дорогой догадалась, как он смеялся и надо мной и над тобой. Что ж, пусть смеются, — мне все равно. Мне некуда идти, Галактион. У меня вся душа выболела. Я буду твоей кухаркой, твоей любовницей, только не гони меня.

— Милая, перестань... Поговорим завтра.

Успокоить Харитину было делом нелегким, и Галактион провозился с ней до самого утра, пока она не заснула тут же на диване, не раздеваясь, как приехала.

X

В доме Стабровских переживалось трудное время.

Диде было уже шестнадцать лет, и наступало то, чего так боялся отец. Врачи просмотрели тот момент, от которого зависело все, и только отцовский взгляд инстинктивно предчувствовал его. Раньше у Диди было два припадка — один в раннем детстве, другой, когда ей было тринадцать лет, но они еще ничего не доказывали. У детей сплошь и рядом бывают «родимчики». Дидю исследовали все знаменитости в Москве, в Петербурге и за границей, и все дали уклончивый ответ: все может быть и ничего может не быть. Такой приговор убивал Стабровского, и он изверился в знаменитостях, прикрывавших своею славой самое скромное незнание. Да и наука по части нервных болезней делала только свои первые шаги. В конце концов Стабровский обратился к своим провинциальным врачам, у которых было и времени больше, и усердия, и свежей наблюдательности. Сам он изобрел только одно средство — поселить в своем доме Устеньку, которая могла заразить здоровьем Дидю. В четыре года действительно Устенька сформировалась в настоящую здоровую девушку, а Дидя только вытянулась и захирела. Для Стабровского «славяночка» являлась живою меркой, и он делал ежедневные параллельные наблюдения. Сначала Дидя шла в умственном развитии далеко впереди, а потом точно начала уставать, и Устенька ее понемногу догнала. Дидя делалась с каждым годом все скрытнее, несообщительнее и имела такой вид, когда человек мучительно хочет что-то припомнить и не может. Она вся точно свертывалась в клубочек, когда чувствовала на себе наблюдавший ее отцовский взгляд.

В последнее время Стабровский начал замечать какие-то странные вспышки, неожиданные и болезненные, какие бывают только у беременных женщин. Он посоветовался с докторами, и те решили, что «девочка формируется». Мисс Дудль разделяла это мнение и с самоуверенностью заявила, что она «выдержит» девочку и больше ничего. Однако случилось нечто неожиданное.

В один из таких моментов тренировки в духе доброй английской школы Дидя вспылила до того, что назвала мисс Дудль старой английской лошадью. Это неслыханное оскорбление привело к тому, что мисс Дудль принялась собирать свои чемоданы. Может быть, этот прием употреблялся слишком часто и потерял свое психологическое значение; может быть, строгая англичанка была сама не права, но Дидя ни за что не хотела извиняться, так что вынужден был вмешаться отец. Он долго и убедительно объяснял дочери значение ее поступка и единственный выход из него — извиниться перед мисс Дудль, но Дидя отрицательно качала головой и только плакала злыми, чисто женскими слезами. Стабровский почуял что-то неладное во всей этой глупой истории и обратился к Кочетову.

— По-моему, девочка ненормальна, Анатолий Петрович.

— Мы все ненормальны. Главное — не нужно к ней приставать, а дать полный покой.

Стабровский кое-как уговорил мисс Дудль остаться, и это послужило только к тому, что Дидя окончательно ее возненавидела и начала преследовать с ловкостью обезьяны. Изобретательность маленького инквизитора, казалось, не имела границ, и только английское терпение мисс Дудль могло переносить эту домашнюю войну. Дидя травила англичанку на каждом шагу и, наконец, заявила ей в глаза:

— У вас не только нет ума, а даже самого простого самолюбия, мисс Дудль. Я вас презираю. Вы — ничтожное существо, кукла, манекен из папье-маше, гороховое чучело. Я вас ненавижу.

Эта сцена и закончилась припадком, уже настоящим припадком настоящей эпилепсии. Теперь уже не было места ни сомнениям, ни надеждам. Стабровский не плакал, не приходил в отчаяние, как это бывало с ним раньше, а точно весь замер. Прежде всего он пригласил к себе в кабинет Устеньку и объяснил ей все.

— Устенька, вы уже большая девушка и поймете все, что я вам скажу... да. Вы знаете, как я всегда любил вас, — я не отделял вас от своей дочери, но сейчас нам, кажется, придется расстаться. Дело в том, что бо-

лезнь Диди до известной степени заразительна, то есть она может передаться предрасположенному к подобным страданиям субъекту. Я не желаю и не имею права рисковать вашим здоровьем. Скажу откровенно, мне очень тяжело расставаться, но заставляют обстоятельства.

— Вы меня гоните, Болеслав Брониславич, — ответила Устенька. — То есть я не так выразилась. Одним словом, я не желаю сама уходить из дома, где чувствую себя своей. По-моему, я именно сейчас могу быть полезной для Диди, как никто. Она только со мной одной не раздражается, а это самое главное, как говорит доктор. Я хочу хоть чем-нибудь отплатить вам за ваше постоянное внимание ко мне. Ведь я всем обязана вам.

Стабровский обнял ее, со слезами поцеловал ее в лоб и проговорил:

— Вполне ценю ваше благородство, славяночка... да, ценю, но не могу согласиться, пока не поговорю с вашим отцом.

— Позвольте мне самой это сделать?

— Как знаете.

В качестве большой, Устенька могла теперь уходить из дому одна и бывала у отца ежедневно. Когда она объяснила ему, в чем дело, старик задумался.

— Мне кажется, папа, что тут и думать нечего. Как же я оставлю Дидю в таком положении одну? Она так привыкла ко мне, любит меня. Я останусь у Стабровских.

— Вот что скажет доктор, Устенька. Конечно, Стабровские — люди хорошие, но... Одним словом, ты у меня одна — помни это.

Даже старая нянька Матрена, примирившаяся в конце концов с тем, чтобы Устенька жила в ученье у поляков, и та была сейчас за нее. Что же, известно, что барышня Дидя порченая, ну, а только это самые пустяки. Всего-то дела свозить в Кунару, там один старичок юродивый всякую болезнь заговаривает.

Тарас Семеныч скрепя сердце согласился. Ему в первый раз пришло в голову, что ведь Устенька уже большая и до известной степени может иметь свое

мнение. Затем у него своих дел было по горло: и с думскою службой и с своею мельницей.

— Как знаешь, Устенька. Ты уж сама не маленькая.

Стабровский очень был обрадован, когда «славяночка» явилась обратно, счастливая своим молодым самопожертвованием. Даже Дидя, и та была рада, что Устенька опять будет с ней. Одним словом, все устроилось как нельзя лучше, и «славяночка» еще никогда не чувствовала себя такою счастливой. Да, она уже была нужна, и эта мысль приводила ее в восторг. Затем она так любила всю семью Стабровских, мисс Дудль, всех. В этом именно доме она нашла то, чего ей не могла дать даже отцовская любовь.

В течение четырех лет перед глазами «славяночки» развернулся целый мир, громадный и яркий, перед которым запольская действительность казалась такою ничтожной. Устенька могла уже читать по-французски и по-немецки, понимала по-английски и говорила по-польски. Эти первые шаги ввели ее в сокровищницу мировой литературы, начиная с классиков. Затем она училась музыке, которую страстно любила. Пани Стабровская заставляла ее читать по вечерам на трех языках и объясняла все непонятное. Дидя не любила читать, и ее не принуждали, так что всею обстановкой дорогого воспитания пользовалась собственно одна Устенька. В ее уме все лучшее теперь неразрывно связывалось с теми людьми, с которыми она жила, — в этом доме она родилась вторично. Часто, глядя из окна на улицу, Устенька приходила в ужас от одной мысли, что, не будь Стабровского, она так и осталась бы глупою купеческою дочерью, все интересы которой сосредоточиваются на нарядах и глупых провинциальных удовольствиях. Разве можно так жить, когда на свете так много хорошего? Заполье представлялось ей какою-то ямой. И какие ужасные люди кругом! Через прислугу и разговоры больших Устенька уже знала биографию Прасковьи Ивановны, роман Галактиона с Харитиной и т. д. Городские новости врывались в дом Стабровского, минуя самый строгий контроль мисс Дудль.

Больше всего смущал Устеньку доктор Кочетов, который теперь бывал у Стабровских каждый день; он должен был изо дня в день незаметно следить за Дидей и вести самое подробное curriculum vitae[1]. Доктор обыкновенно приезжал к завтраку, а потом еще вечером. Его визиты имели характер простого знакомства, и Дидя не должна была подозревать их настоящей цели.

Доктор ежедневно проводил с девочками по нескольку часов, причем, конечно, присутствовала мисс Дудль в качестве аргуса. Доктор пользовался моментом, когда Дидя почему-нибудь не выходила из своей комнаты, и говорил Устеньке ужасные вещи.

— Вы никогда не думали, славяночка, что все окружающее вас есть замаскированная ложь? Да... Чтобы вот вы с Дидей сидели в такой комнате, пользовались тюремным надзором мисс Дудль, наконец моими медицинскими советами, завтраками, пользовались свежим бельем, — одним словом, всем комфортом и удобством так называемого культурного существования, — да, для всего этого нужно было пустить по миру тысячи людей. Чтобы Дидя и вы вели настоящий образ жизни, нужно было сделать тысячи детей нищими.

— Все это неправда. Мы никому не делали зла.

— А как вы полагаете, откуда деньги у Болеслава Брониславича? Сначала он был подрядчиком и морил рабочих, как мух, потом он начал спаивать мужиков, а сейчас разоряет целый край в обществе всех этих банковских воров. Честных денег нет, славяночка. Я не обвиняю Стабровского: он не лучше и не хуже других. Но не нужно закрывать себе глаза на окружающее нас зло. Хороша и литература, и наука, и музыка, — все это отлично, но мы этим никогда не закроем печальной действительности.

— А вы сами что делаете, доктор?

— И я не лучше других. Это еще не значит, что если я плох, то другие хороши. По крайней мере я сознаю все и мучусь, и даже вот за вас мучусь, когда вы

---

[1] жизнеописание *(лат.)*.

поймете все и поймете, какая ответственная и тяжелая вещь — жизнь.

Эти разговоры доктора и пугали Устеньку и неудержимо тянули к себе, создавая роковую двойственность. Доктор был такой умный и так ясно раскрывал перед ней шаг за шагом изнанку той жизни, которой она жила до сих пор безотчетно. Он не щадил никого — ни себя, ни других. Устеньке было больно все это слышать, и она не могла не слушать.

— С одной стороны хозяйничает шайка купцов, наживших капиталы всякими неправдами, а с другой стороны будет зорить этих толстосумов шайка хищных дельцов. Все это в порядке вещей и по-ученому называется борьбой за существование... Конечно, есть такие купцы, как молодой Колобов, — эти создадут свое благосостояние на развалинах чужого разорения. О, он далеко пойдет!

— Что же тогда делать? — спрашивала Устенька в отчаянии.

Доктор только горько улыбался.

— Знаете что, славяночка, не вам это спрашивать у меня и не мне разрешать вам такой всеобъемлющий вопрос. Полагаю, что для каждого должно существовать свое собственное решение этого вопроса. Все дело в совести, в нравственной чистоплотности... Ведь мы всю жизнь заботимся только о том, чтобы вот именно нам было хорошо, а от этого, по-моему, все несчастия. Да, именно от этого... Представьте себе простую картину: вам хочется есть, перед вами хороший завтрак, — разве вы можете его есть с покойною совестью, когда вас окружают десятки голодных девушек, голодных детей? Ведь кусок в горло не пойдет. Если вы и я едим спокойно свой вкусный завтрак, то только потому, что не видим этих голодных, — они где-то там, далеко, неизвестно где. И мы всё делаем, чтобы не видеть их и чтобы, боже сохрани, наши дети не видели их... И каждый наш день — неправда и ложь, а отсюда и наше счастье и наше несчастье — тоже неправда и ложь. Ведь есть еще умственный голод, нравственный голод, душевная нищета, а отсюда дрянные, нехорошие несчастья... Чужое горе по психологическому контрасту

обыкновенно вызывает наши симпатии, но есть такое горе, которое вызывает только отвращение. Ах, вы не подозреваете даже, как иногда человек может ненавидеть самого себя!

— Вот вы говорите о завтраке, доктор. Но если я отдам свой завтрак, то, во-первых, сама останусь голодна, а во-вторых, все равно всех не накормлю.

— Это правда, если вы будете одна. А если будут и другие думать о других, тогда получится совсем иное.

Устенька не могла не согласиться с большею половиной того, что говорил доктор, и самым тяжелым для нее было то, что в ней как-то пошатнулась вера в любимых людей. Получился самый мучительный разлад, заставлявший думать без конца. Зачем доктор говорит одно, а сам делает другое? Зачем Болеслав Брониславич, такой умный, добрый и любящий, кого-то разоряет и помогает другим делать то же? А там, впереди, поднимается что-то такое большое, неизвестное, страшное и неумолимое.

XI

Деятельность Зауральского коммерческого банка отзывалась не только на экономической стороне жизни Заполья, а давала тон всему общественному строю. У нас вообще принято как-то легко смотреть на роль банков, вернее — никак не смотреть. Между тем в действительности это страшная сила, которая кладет свою тяжелую руку на всех. Нарастающий капитализм является своего рода громадным маховым колесом, приводящим в движение миллионы валов, шестерен и приводов. Да, деньги давали власть, в чем Заполье начало убеждаться все больше и больше, именно деньги в организованном виде, как своего рода армия. Прежде были просто толстосумы, влияние которых не переходило границ тесного кружка своих однокашников, приказчиков и покупателей, а теперь капитал, пройдя через банковское горнило, складывался уже в какую-то стихийную силу, давившую все на своем пути.

Живым показателем этой новой силы для Заполья явился банковский юрисконсульт Мышников. Он

быстро вошел в свою роль и начал забирать силу. Клиенты без слов почувствовали свою мертвую зависимость от этого нового человека, которому стоило сказать одно слово — и банк закрывал кредит. Мышников уже показал свою власть над протестовавшими элементами и одним почерком пера разорил двух мельников с Ключевой, не оказавших ему должного уважения. Все понимали, что это только проба, цветочки, а ягодки впереди. Остальных клиентов Мышников выучил терпению. Они по целым часам ждали его в банке, теряя дорогое время, выслушивали его грубости и должны были заискивающе улыбаться, когда на душе скребли кошки и накипала самая лютая злоба.

Главное, скверно было то, что Мышников, происходя из купеческого рода, знал все тонкости купеческой складки, и его невозможно было провести, как иногда проводили широкого барина Стабровского или тягучего и мелочного немца Драке. Прежде всего в Мышникове сидел свой брат мужик, у которого была одна политика — давить все и всех, давить из любви к искусству.

Но сфера специально банковской деятельности Мышникова не удовлетворяла. Он хотел бо̀льшего, а главное — общего почета и заискивающего трепета. Червь тщеславия сосал его неустанно, и ему все было мало. Оперившись благодаря банку, Мышников попал в думу и принялся хозяйничать здесь. Состав думы был купеческий. Доморощенные ораторы говорили плохо, и Мышников сразу сделался светилом. Он во всех мелочах брал перевес, и гласные проходили мудрую школу подлаживанья и спасительного молчания. Всякая самостоятельность давилась в зародыше. Из думских ораторов пробовал бороться с Мышниковым полированный купчик Евграф Огибенин, но сейчас же погиб самым позорным образом: ему был закрыт кредит в банке. Это было хорошим уроком для других смельчаков.

Старик Луковников отлично понимал разыгравшуюся комедию и сознавал полное свое бессилие. Дума быстро превращалась в переднюю Зауральского коммерческого банка. Гласные-купцы тоже сообразили, что нужно только соглашаться с Павлом Степанычем, и заглядывали ему в рот, ожидая решения. Мышников

скоро завладел всем городским самоуправлением и делал все, чего желал.

— Что же это такое будет, господа? — в отчаянии говорил Луковников гласным, которым доверял. — Мы делаемся какими-то пешками... Мышников всех нас заберет. Вон он и Драке, и Штоффа, и Галактиона Колобова в гласные проводит... Дохнуть не дадут.

— А что же мы поделаем, Тарас Семеныч? — угнетенно отвечали купцы. — Подневольные мы люди, и больше ничего. Скажи-ко поперечное слово Павлу Степанычу, а он в бараний рог согнет, как Евграфа Огибенина. Жив человек смерти боится.

Луковников понимал, что по-своему купцы правы, и не находил выхода. Пока лично его Мышников не трогал и оказывал ему всякое почтение, но старик ему не верил. «Из молодых да ранний, — думал он про себя. — А все проклятый банк».

Протестом против мышниковской гегемонии явились разрозненные голоса запольской интеллигенции, причем в голове стал учитель греческого языка Харченко, попавший в число гласных еще по доверенности покойной Анфусы Гавриловны. Купцы могли только удивляться, как такой ничтожный учителишко осмеливался перечить самому Павлу Степанычу и даже вот на волос его не боялся. В составе купцов-гласных Харченко являлся чем-то вроде тех проклятых исключений, которыми так богат греческий язык. Свое думское одиночество Харченко выкупал тем, что упорно выводил в целом ряде корреспонденций деятельность банка и несчастной купеческой думы. Как Мышников ни презирал живое слово прессы, но она лишала его известного престижа и время от времени наносила довольно чувствительные удары его самолюбию. Он затаил ненависть против плюгавого учителишки и дал себе клятву стереть его с лица земли, чтобы другим впредь было неповадно чинить разные противности. Это была неравная борьба, и все смотрели на «греческий язык» с сожалением, как на жертву, которую Мышников в свое время пожрет. Но Харченко уже имел своих союзников, как доктор Кочетов, Огибенин и озлобившийся на всех Харитон Артемьич.

— Катай их всех в хвост и гриву! — кричал Малыгин. — Этаких подлецов надо задавить... Дураки наши купчишки, всякого пня боятся, а тебя ведь грамоте учили. Валяй, «греческий язык»!

Харченко был странный человек и для Заполья совсем непонятный. Из-за чего человек набивался на неприятности? Этого уже решительно никто не мог понять, а сам Харченко никому не говорил. Например, он написал громовую обличительную статью против Мышникова, когда тот в качестве попечителя над городскими школами уволил одну учительницу за непочтительность. Последняя заключалась в том, что учительница недостаточно быстро вскочила, когда в школу приехал Мышников, и не проводила его до передней. Скажите, пожалуйста, стоило поднимать пыль из-за какой-то учительницы, когда сам Павел Степаныч так просто говорит в думе о необходимости народного образования, о пользе грамотности и вообще просвещения. В корреспонденции между тем говорилось прямо, что принципиально высшее образование, конечно, вещь хорошая и крайне желательная, но банковский кулак с высшим образованием — самое печальное знамение времени. «До сих пор мы имели дело просто с кулаками, — сообщал корреспондент, — а кулак интеллигентный — явление, с которым придется считаться».

Мышников с своей стороны не терял времени даром и повел атаку против задорного учителишки. Город давал прогимназии известную субсидию, и на этом основании Мышников попал в попечители прогимназии от города. Это был прямой ход уже на неприятельскую территорию. Забравшись в гимназическое правление, Мышников с опытностью присяжного юриста начал делать целый ряд прижимок Харченке, принимавшему какое-то участие в хозяйственной части. Повелась травля по всем правилам искусства. В качестве забравшего силу, Мышников обратился к попечителю учебного округа с систематическим рядом замаскированных доносов и добился своего. Именно этой политики Харченко и не выдержал. Он ответил на запрос из округа в «возбужденном тоне» и получил пригла-

шение оставить запольскую прогимназию, с переводом в какое-то отчаянное захолустье.

Мышников торжествовал, сбив врага с позиции. Но это послужило не к его пользе. Харченко быстро оправился от понесенного поражения и даже нашел, что ему выгоднее окончательно бросить зависимую педагогическую деятельность.

— Ну, что же ты будешь делать-то, петух? — язвил его Харитон Артемьич, хлопая по плечу. — Летать умеешь, а где сядешь? Поступай ко мне в помощники... Я тебя сейчас в чин произведу: будешь отставной козы барабанщиком.

— Ничего, папаша, за нами и не это пропадало... Свет не клином сошелся. Все к лучшему.

— Уж на что лучше, зятюшка, когда, напримерно, выставку по затылку сделают.

— Пустяки, мы еще только начинаем... Вот посмотрите, какой мы фортель устроим... Подтянем всех.

— А ты не пугай!

— Был доктор Панглосс, тестюшка, который сказал, что на свете все устраивается к лучшему.

— Так, так... Правильный, значит, доктор.

Харченко действительно быстро устроился по-новому. В нем сказался очень деятельный и практический человек. Во-первых, он открыл внизу малыгинского дома типографию; во-вторых, выхлопотал себе право на издание ежедневной газеты «Запольский курьер» и, в-третьих, основал библиотеку. Редакция газеты и библиотека помещались во втором этаже.

— Да разве я для этого дом-то строил? — возмущался Харитон Артемьич. — Всякую пакость натащил в дом-то... Ох, горе душам нашим!.. За чьи только грехи господь батюшка наказывает... Осрамили меня зятья на старости лет.

Особенный успех имела библиотека, показавшая, что в глухом провинциальном городке уже чувствовалась настоятельная потребность в чтении. Книга уже являлась необходимостью, и Харченко мечтал открыть книжный магазин. Около типографии и библиотеки сразу сплотился маленький кружок интеллигентных разночинцев. Тут были и учителя, и учительницы, и

фельдшера, и мелкие служащие из управы и банка. Библиотека являлась сборным пунктом, куда приходили потолковать и поделиться разными новостями. В общем все эти маленькие люди являлись протестующим элементом против новых дельцов.

Особым выдающимся торжеством явилось открытие первой газеты в Заполье. Главными представителями этого органа явились Харченко и доктор Кочетов. Последний даже не был пьян и поэтому чувствовал себя в грустном настроении. Говорили речи, предлагали тосты и составляли планы похода против плутократов. Харченко расчувствовался и даже прослезился. На торжестве присутствовал Харитон Артемьич и мог только удивляться, чему люди обрадовались.

— Всех ругать будете в газетине? — спрашивал он.

— Как придется... Смотря по заслугам.

— Нет, вы жарьте их, подлецов, а главное — моих зятьев накаливайте... Ежели бы я был грамотный, так я бы им сам показал, как лягушки скачут. От своей темноты и погибаем.

К огорчению Харитона Артемьича, первый номер «Запольского курьера» вышел без всяких ругательств, а в программе были напечатаны какие-то непонятные слова: о народном хозяйстве, об образовании, о насущных нуждах края, о будущем земстве и т. д. Первый номер все-таки произвел некоторую сенсацию: обругать никого не обругали, но это еще не значило, что не обругают потом. В банке новая газета имела свои последствия. Штофф сунул номер Мышникову и проговорил с укоризной:

— Это твоя работа, Павел Степаныч... Охота тебе была связываться с проклятым учителишкой. Растравил человека, а теперь расхлебывай кашу.

— Ничего, не беспокойся, — уверял Мышников. — Коли на то пошло, так мы свою газету откроем... Одним словом, вздор, и не стоит говорить.

В малыгинском доме закипела самая оживленная деятельность. По вечерам собиралась молодежь, поднимался шум, споры и смех. Именно в один из таких моментов попала Устенька в новую библиотеку. Она выбрала книги и хотела уходить, когда из соседней ком-

наты, где шумели и галдели молодые голоса, показался доктор Кочетов.

— Ах, это вы, Устенька!.. Здравствуйте.

— Здравствуйте, Анатолий Петрович.

— Как это мисс Дудль пустила вас одну?

— Я была у папы.

— Так... хотите, я вас познакомлю с нашею компанией? У нас очень весело!

Устенька смутилась, когда попала в накуренную комнату, где около стола сидели неизвестные ей девушки и молодые люди. Доктор отрекомендовал ее и перезнакомил с присутствующими.

— Это наше молодое Заполье, и вы будете нашей, Устенька, — говорил он, усаживая ее на диван.

Полчаса, проведенные в накуренной комнате, явились для Устеньки роковою гранью, навсегда отделившею ее от той среды, к которой она принадлежала по рождению и по воспитанию. Возвращаясь домой, она чувствовала себя какою-то изменницей и живо представляла себе негодующую и возмущенную мисс Дудль... Ей хотелось и плакать, и смеяться, и куда-то идти, все вперед, далеко.

XII

Наступила весна. Близившееся тепло уже висело в воздухе. Зима была снежная, и все ждали сильного половодья. Река Ключевая, как все сибирские реки, вскрывалась сначала верховьем. В горах было особенно много снега, и ключевские мельники со страхом ждали полой воды, которая рвала и разносила по веснам их плотины. Но никто так не ждал навигации, как Галактион. Он с половины марта уехал вместе с Харитиной в Тюмень, чтобы принять там пароход и уже на пароходе вернуться в свое Городище. Это был самый решительный момент в его жизни, и Галактион считал минуты.

В «коренной» России благодаря громадной сети железных дорог давно уже исчезла мертвая зависимость от времен года, а в Сибири эта зависимость сохраня-

лась еще в полной силе. Весной это особенно чувствовалось, когда замирал сибирский тракт, а летнее движение сосредоточивалось на водных путях. Все грузы стягивались за зиму к речным пристаням и здесь ждали открытия навигации. Но последняя выражалась в самых примитивных формах, как дело велось еще при Ермаке, — на барках, дощаниках, плотах. По Оби и Иртышу пароходы делали рейсы раз в неделю. Результаты получались самые жалкие. Сидя в Тюмени, где сосредоточивалась вся навигационная деятельность, Галактион мог только удивляться мертвой сибирской косности. Сибирские капиталы уходили главным образом на винокуренные заводы, золотопромышленность и разное сибирское сырье, обменивавшееся на московские фабрикаты. Получалась самая жалкая картина, причем главною причиной являлось полное отсутствие правильных путей сообщения, о чем сибиряки заботились меньше всего.

В Тюмени Галактион встретил Ечкина, который хлопотал здесь по каким-то своим делам, — не было, кажется, в России города, где у Ечкина не было бы дел. Он разыскал Галактиона на пристани, где ремонтировался пароход.

— Отлично, отлично, — повторял он, опытным глазом осматривая пароход. — Собственно говоря, ваша посудина ни к черту не годится, но важен почин... да. Я сам когда-то мечтал открыть пароходство по всем сибирским рекам, но разве у нас найдешь капиталы на разумное дело? Могу только позавидовать вашему успеху.

Галактион был рад Ечкину, как своему человеку. Притом Ечкин знал все на свете и дал сразу несколько полезных советов. Он осмотрел пароход во всех подробностях и только качал головой.

— Ах, уж эта мне сибирская работа! — возмущался он, разглядывая каждую щель. — Не умеют сделать заклепку как следует... Разве это машина? Она у вас будет хрипеть, как удавленник, стучать, ломаться... Тьфу! Посадка велика, ход тяжелый, на поворотах будет сваливать на один бок, против речной струи поползет черепахой, — одним словом, горе луковое.

— Я новый пароход строю, Борис Яковлич. Только раньше осени не поспеет. Машину делают в Перми, а остальные части собирают на заводах.

— Главное, помните, что здесь должен быть особый тип парохода, принимая бо̀льшую быстроту, чем на Волге и Каме. Корпус должен быть длинный и узкий... Понимаете, что он должен идти щукой... да. К сожалению, наши инженеры ничего не понимают и держатся старинки.

По вечерам Ечкин приходил на квартиру к Галактиону и без конца говорил о своих предприятиях. Харитина сначала к нему не выходила, а потом привыкла. Она за два месяца сильно изменилась, притихла и сделалась такою серьезной, что Ечкин просто ее не узнавал. Куда только делась прежняя дерзость.

— Да, теперь все будет зависеть от железной уральской дороги, когда ее проведут от Перми до Тюмени, — ораторствовал Ечкин. — Вся картина изменится сразу... Вот случай заодно провести ветвь на Заполье.

— Далеконько будет, — соображал вслух Галактион.

— Э, все пустяки!.. Была бы охота. Я говорил запольским купцам, и слушать не хотят. А я все равно выхлопочу себе концессию на эту ветвь. Тогда посмотрим...

— А где деньги?

— Деньги найдутся. Главное — идея... Понимаете?

Галактиона заражала эта неугомонная энергия Ечкина, и он с удовольствием слушал его целые часы. Для него Ечкин являлся неразрешимою загадкой. Чем человек живет, а всегда весел, доволен и полон новых замыслов. Он сам рассказал историю со стеариновым заводом в Заполье.

— Представьте себе, что мои компаньоны распространяют про меня... Я и разорил их и погубил дело, а все заключается только в том, что они не выдержали характера и струсили раньше времени.

— Однако деньги-то за заложенную фабрику вы оставили себе?

— Что же, разве я их не возвращу? Опять недоразумение... И какие деньги, — каких-то несчастных сто тысяч... Меня это в конце концов начинает возмущать серьезно.

Когда Ечкин уходил, Харитина искренне удивлялась.

— Ах, как он врет, как врет!.. До того врет, что даже хочется верить. А потом... какой он бессовестный.

— До того бессовестный, что даже сердиться нельзя? — смеялся Галактион. — А вот я его люблю... В нем есть что-то такое.

Наступила уже вторая половина апреля, а реки всё еще не прошли. Наступавшая ростепель была задержана холодным северным ветром. Галактиону казалось, что лед никогда не пройдет, и он с немым отчаянием глядел в окно на скованную реку.

Раз, когда он стоял так у окна, к нему подошла Харитина, обняла его молча и вся точно замерла. Он с удивлением посмотрел на нее.

— Ты забыл про меня, — тихо прошептала она.

Он понял все и рассмеялся. Она ревновала его к пароходу. Да, она хотела владеть им безраздельно, деспотически, без мысли о прошедшем и будущем. Она растворялась в одном дне и не хотела думать больше ни о чем. Иногда на нее находило дикое веселье, и Харитина дурачилась, как сумасшедшая. Иногда она молчала по нескольку дней, придиралась ко всем, капризничала и устраивала Галактиону самые невозможные сцены.

— Послушай, да ты... кто ты такая? — кричал на нее взбешенный Галактион. — Даже не жена.

— Хуже, чем жена... Мне часто хочется просто убить тебя. Мертвый-то будешь всегда мой, а живой еще неизвестно.

— Перестань городить глупости.

— А Бубниха?.. Ты думаешь, я ничего не знаю?.. Нет, все, все знаю!.. Впрочем, что же я тебе говорю, и какое мне дело до тебя?

Полосы тихости и покорности сменялись у Харитины, как всегда, самым буйным настроением, и Галак-

тион в эти минуты старался уйти куда-нибудь из дому или не обращать на нее никакого внимания. Ревновала Харитина ко всем и ко всему: к жене, к Ечкину, к пароходу, к Бубнихе, к будущей первой поездке на пароходе прямо в Заполье. Этот первый рейс засел у нее клином в голове, как личное оскорбление. Ей тоже хотелось ехать туда, и вместе с тем она не решалась, чтобы не компрометировать своим присутствием нового пароходчика... Теперь ведь уж все знали, что она такое, и в Заполье глаз нельзя показать.

Река тронулась ночью, и Харитина проснулась первой. Она в одной ночной кофточке высунулась в форточку и долго всматривалась в весеннюю ночную муть, — слышалось шипенье, мягкий треск и такой звук, точно по сухой траве ползла какая-то громадная змея. Харитине сделалось страшно до слез, и она не разбудила Галактиона. Ей целую ночь казалось, что что-то ползет вот тут, сейчас за стеной, громадное и холодное. Харитина с головой зарылась в подушки и едва заснула только на заре, когда занялось сырое апрельское утро.

Пароход мог отправиться только в конце апреля. Кстати, Харитина назвала его «Первинкой» и любовалась этим именем, как ребенок, придумавший своей новой игрушке название. Отвал был назначен ранним утром, когда на пристанях собственно публики не было. Так хотел Галактион. Когда пароход уже отвалил и сделал поворот, чтобы идти вверх по реке, к пристани прискакал какой-то господин и отчаянно замахал руками. Это был Ечкин.

— Как вам не стыдно, Галактион Михеич, — пенял он, когда переехал на лодке к пароходу, — уехать и не сказаться?

— Я думал, что вам сейчас не по пути ехать со мной в Заполье, —не без ядовитости заметил Галактион.

— А вот назло вам поеду, и вы должны мной гордиться, как своим первым пассажиром. Кроме того, у меня рука легкая... Хотите, я заплачу вам за проезд? — это будет началом кассы.

— Нет, зачем же?.. Говоря откровенно... я очень вам рад.

Надулась, к удивлению, Харитина и спряталась в каюте. Она живо представила себе самую обидную картину торжественного появления «Первинки» в Заполье, причем с Галактионом будет не она, а Ечкин. Это ее возмущало до слез, и она решила про себя, что сама поедет в Заполье, а там будь что будет: семь бед — один ответ. Но до поры до времени она сдержалась и ничего не сказала Галактиону. Он-то думает, что она останется в Городище, а она вдруг на «Первинке» вместе с ним приедет в Заполье. Ничего, пусть позлится.

Берега были пустынны и голы. По оврагам еще лежал снег. Игравшие речки несли мутную воду. Попадались время от времени льдины. Галактион почти не сходил с капитанского мостика и молча торжествовал. Он уже любил этот дрянной пароходишко, и подавленный гул работавшей машины, и реку, и пустынные берега, и ненужную суету не обтерпевшейся у нового дела пароходной прислуги. В Тюмени он кстати захватил первый груз, который застрял там из-за распутицы и пролежал бы долго, пока просохнут дороги. Это было доказательство его права на существование.

В Городище действительно разыгралась маленькая семейная сцена. Харитина не захотела даже выйти на берег и на все уговоры только отрицательно качала головой. Галактион махнул рукой.

— Делай, как знаешь, Харитина, но только я этого не желал.

— А что ты такое мне? Ни муж, ни любовник... Оставь!

Плавание по Ключевой было уже другого характера. Приходилось идти с большою осторожностью, чтобы не сесть на мель. Положим, вода была выше межени на целых четыре аршина, но все-таки могли быть разные неожиданности. Галактион нарочно отвалил ранним утром, чтобы быть в Заполье засветло. Да, все должны были видеть его торжество. Его огорчало

только поведение Харитины, которая продолжала дуться и, чтобы досадить ему, оказывала Ечкину преувеличенные любезности. Галактион боялся, что она выкинет какую-нибудь штуку, когда они приедут в Заполье, и следил за ней. Ечкин понял его тревогу и старался успокоить свою даму. Он рассказывал ей самые смешные анекдоты, удивлялся красотам пустынных берегов Ключевой и даже дошел до того, что начал декламировать стихи. Это развеселило Харитину.

— Будет вам, Борис Яковлич. Вы-то из-за чего хлопочете? Ведь я и стихов не понимаю.

А пароход быстро подвигался вперед, оставляя за собой пенившийся широкий след. На берегу попадались мужички, которые долго провожали глазами удивительную машину. В одном месте из маленькой прибрежной деревушки выскочил весь народ, и мальчишки бежали по берегу, напрасно стараясь обогнать пароход. Чувствовалась уже близость города.

Не доезжая верст пяти, «Первинка» чуть не села на мель, речная галька уже шуршала по дну, но опасность благополучно миновала. Вдали виднелись трубы вальцовой мельницы и стеаринового завода, зеленая соборная колокольня и новое здание прогимназии. Галактион сам командовал на капитанском мостике и сильно волновался. Вон из-за мыса выглянуло и предместье. Город отделялся от реки болотом, так что приставать приходилось у пустого берега.

— Ведь вот выбрали место под город, — возмущался Ечкин, глядя на город в кулак. — Неудобнее трудно было придумать.

Несмотря на удаленность города, на берегу уже двигались черные точки, и Галактион рассмотрел несколько экипажей. Очевидно, Ечкин успел послать из Тюмени телеграмму.

У Галактиона сильно билось сердце, когда «Первинка» начала подходить к пристани, и он скомандовал: «Стоп, машина!» На пристани уже собралась кучка любопытных. Впереди других стоял Стабровский с Устенькой. Они первые вошли на пароход, и

Устенька, заалевшись, подала Галактиону букет из живых цветов!

— Это должна была сделать Дидя, — объяснил Стабровский, целуя Галактиона, — но девочка больна.

Харитина видела эту сцену и, не здороваясь ни с кем, вышла на берег и уехала с Ечкиным. Ее душили слезы ревности. Было ясно как день, что Стабровский, когда умрет Серафима, женит Галактиона на этой Устеньке.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I

По пыльному проселку шел совершенно легендарный путник, один из тех, каких описывали с такою охотой наши русские романтики. И рваная шляпенка, и котомка за плечами, и длинная палка в руках, и длинная седая борода, и заветрелое лицо, изборожденное глубокими морщинами, и какая-то подозрительная таинственность во всей фигуре и даже в каждой складке страннического рубища, — все эти признаки настоящего таинственного странника как-то не вязались с веселым выражением его лица. Очевидно, ему было весело, несмотря на страннический посох, котомку, морщины и седую бороду. Даже, вероятно, нашлись бы завистники, которым казалось бы это веселое настроение обидным. Ведь нынче всему завидуют. Этот таинственный странник был не кто иной, как возвращавшийся из ссылки «по милостивому манифесту» знаменитый в летописях Зауралья исправник Илья Фирсыч Полуянов.

Итак, странник шел, испытывая прилив самой преступной радости. Он возвращался на родину... Недавний изгнанник снова чувствовал себя человеком и в качестве такового замышлял целый ряд предприятий. О, они радовались тогда, когда его судили! Они отреклись от него, они смеялись и торжествовали, а вот он

возьмет да и придет. Вот я, милостивые государи и государыни! Вам это не нравится, черт возьми? Да? Вы заживо похоронили Илью Фирсыча Полуянова, а он вот взял да и воскрес. Ха-ха... И он еще вам покажет и всех на свежую воду выведет, — он, Илья Фирсыч Полуянов!

Из «мест не столь отдаленных» Полуянов шел целый месяц, обносился, устал, изнемог и все-таки был счастлив. Дорогой ему приходилось питаться чуть не подаянием. Хорошо, что Сибирь — золотое дно, и «странного» человека везде накормят жальливые сибирские бабы. Впрочем, Полуянов не оставался без работы: писал по кабакам прошения, солдаткам письма и вообще представлял своею особой походную канцелярию.

— Будет день — будет хлеб, — повторял Полуянов, пряча заработанные гроши. — А на Руси с голоду не умирают.

Сидя где-нибудь в кабаке, Полуянов часто удивлялся: что было бы, если б эти мужланы узнали, кто он такой... д-да. Раз под пьяную руку он даже проболтался, но ему никто не поверил, — это уже было недалеко от Запольского уезда, где полуяновская слава еще жила. Кабацкие мужики хохотали в лицо Полуянову, настоящему Полуянову, который осмелился назвать себя своим собственным именем. Получалась настоящая трагикомедия, и настоящий Полуянов точно раскололся надвое: один Полуянов в прошлом, другой в настоящем, и ничего, ровно ничего, что связывало бы этих двух людей. От первого Полуянова ко второму не было никакого перехода, а так взял да точно оборвался в какую-то пропасть. Роскошный Полуянов превратился в скитальца и нищего, в «подозрительную личность» полицейских протоколов.

Но, несмотря на всю глубину падения, у Полуянова все-таки оставалось имя, известное имя, черт возьми. Конечно, в местах не столь отдаленных его не знали, но, когда он по пути завернул на винокуренный завод Прохорова и К°, получилось совсем другое. Даже «пятачок», как называли Прохорова, расчувствовался:

— Илья Фирсыч, голубчик, да ты ли это?.. Ах, боже мой! Давай, сейчас же переоденься, а то муторно на тебя глядеть.

— Нет, этого не будет, — с гордостью заявил Полуянов. — Прежде у меня был один мундир, а теперь другой... Вот в таком виде и заявлюсь в Заполье... да. Пусть все смотрят и любуются. Еще вопрос, кому стыдно-то будет... Был роскошен, а теперь сир, наг и странен.

Прохоров подумал и согласился, что в этом «мундире», пожалуй, и лучше явиться в Заполье. Конечно, Полуянов был медвежья лапа и драл с живого и мертвого, но и другие-то хороши... Те же, нынешние, еще почище будут, только ни следу, ни дороги после них, — очень уж ловкий народ.

— Ведь отчего погиб? — удивлялся Полуянов, подавленный воспоминаниями своего роскошества. — А? От простого деревенского попа... И из-за чего?.. Уж ежели бы на то пошло и я захотел бы рассказать всю матку-правду, да разве тут попом Макаром пахнет?

— Да, было дело, Илья Фирсыч... Светленько пожил, нечего сказать.

— Ничего, умел пожить... Пусть-ка другие-то попробуют. И во сне не увидят... да. Размаху не хватит.

— Куда же им, нынешним-то, Илья Фирсыч? Телята залижут.

— У меня, брат, было строго. Еду по уезду, как грозовая туча идет. Трепет!.. страх!.. землетрясенье!.. Приеду куда-нибудь, взгляну, да что тут говорить! Вот ты и миллионер, а не поймешь, что такое был исправник Полуянов. А попа Макара я все-таки в бараний рог согну.

Полуянов пил одну рюмку водки за другой с жадностью наголодавшегося человека и быстро захмелел. Воспоминания прошлого величия были так живы, что он совсем забыл о скромном настоящем и страшно рассердился, когда Прохоров заметил, что поп Макар, хотя и виноват кругом, но согнуть его в бараний рог все-таки трудно.

— Мне трудно? — орал пьяный Полуянов. — Ха-ха... Нет, я их всех в бараний рог согну!.. Они узнают,

что за человек Илья Фирсыч Полуянов! Я... я... я... А впрочем, ежели серьезно разобрать, так и не стоит связываться. Наплевать.

— Вот это ты уж напрасно, Илья Фирсыч. Поп-то Макар сам по себе, а тогда тебя устиг адвокат Мышников. В нем вся причина. Вот ежели бы и его тоже устигнуть, — очень уж большую силу забрал. Можно сказать, весь город в одном суставе держит.

— Что же, можно и Мышникова подтянуть, — великодушно согласился Полуянов. — Даже в лучшем виде.

— Уж так бы это было хорошо, Илья Фирсыч! Другого такого змея и не найти, кажется. Он да еще Галактион Колобов — два сапога пара. Немцы там, жиды да поляки — наплевать, — сегодня здесь насосались и отстали, а эти-то свои и никуда не уйдут. Всю округу корчат, как черти мокрою веревкой. Что дальше, то хуже. Вопль от них идет. Так и режут по живому мясу. Что у нас только делается, Илья Фирсыч! И что обидно: всё по закону, — комар носу не подточит.

Полуянов говорил все время о прошлом, а Прохоров о настоящем. Оба слушали только себя, хотя под конец Прохоров и взял перевес. Очень уж мудреные вещи творились в Заполье.

— Ты теперь и не узнаешь города, — с сокрушением сообщил Прохоров. — От старинки-то как есть ничего не осталось. Да и люди совсем другие пошли. Разе где старички еще держатся. А главная причина — все себя богатыми показывают. Из банка так деньги и черпают. Ничего не разберешь: возьмет деньги в банке под вексель, выстроит на них дом и заложит его опять в банке же. И всё так. Теперь вот мельники сильно начали захудать. Сперва действительно дело было выгодное, ну, все и накинулись, а теперь друг дружку поедом едят. Помнишь старика Колобова, — так он какую штуку уколол. Выстроил три мельницы, а как начал получать со всех трех убыток, — взял две новые заложил в банке да застраховал, а потом и поджег. Вот какую моду старичонко придумал. А сам Галактион еще почище родителя будет, хотя и по другой части пошел.

Речь о Галактионе заходила уже несколько раз, но

Прохоров сейчас же заминался и сводил на другое. Из неловкого положения его вывел сам Полуянов.

— Знаю, знаю все... Харитина-то у него живет, у Галактиона.

— Разное болтают, Илья Фирсыч... Не всякое лыко в строку.

— Перестань зубы заговаривать... Знаю. Рано немножко обрадовалась Харитина Харитоновна. Я не позволю себя срамить... я... я...

На Полуянова напало бешенство. Он страшно ругался, стучал кулаками по столу, а потом неожиданно расплакался.

— В сущности я Харитину и не виню, — плаксиво повторял он, — да. Дело ее молодое, кругом соблазн. Нет, не виню, хотя по-настоящему и следовало бы ее зарезать. Вот до попа Макара я доберусь.

Много новостей узнал Полуянов с первого же раза: о разорении Харитона Артемьича, о ссудной кассе писаря Замараева, о плохих делах старика Луковникова, о новых людях в Заполье, а главное — о банке. В конце концов все сводилось к банку. Какую силу забрал Мышников — страшно выговорить. Всем городом так и поворачивает. В думе никто пикнуть против него не смеет. Про Стабровского и говорить нечего. Прохоров только вздыхал и чесал в затылке при одном имени Стабровского. Кстати, он рассказал всю историю отчаянной кабацкой войны.

— Теперь плачу дань ему, — признался он. — Что ни год, то семьдесят тысяч выкладывай. Не пито, не едено — дерут... да. Как тебя тогда, Илья Фирсыч, засудили, так все точно вверх ногами перевернулось.

— Ага, вспомнили Полуянова?

— Еще как вспомнили-то. Прежде-то как все у нас было просто. И начальство было простое. Не в укор будь тебе сказано: брал ты, и много брал, а только за дело. А теперь не знаешь, как и подступиться к исправнику: водки не пьет, взяток не берет, в карты не играет. Обморок какой-то.

Полуянов прожил на винокуренном заводе два дня, передохнул и отправился дальше пешком, как пришел.

— Будет, поездил, — говорил он, прощаясь с Прохоровым. — Нахожу, что пехтура весьма полезна для здоровья.

— Конечно, — соглашался Прохоров. — Уж ежели для здоровья, так на что лучше.

Отойдя с версту, Полуянов оглянулся на завод, плюнул и проговорил всего одно слово:

— Подлец!

Он даже погрозил кулаком всему винокуренному заводу.

Философское настроение оставило Полуянова только в момент, когда он перешел границу «своего» уезда. Даже сердце дрогнуло у отставного исправника при виде знакомых мест, где он царил в течение пятнадцати лет. Да, всё это были его владения. Он не мог освободиться от привычного чувства собственности и смотрел кругом глазами хозяина, вернувшегося домой из далекого путешествия. Свой уезд он знал, как свои пять пальцев, и видел все перемены, какие произошли за время его отсутствия. Прежде всего его поразило полное отсутствие запасных скирд, когда-то окружавших деревни. Куда девалось это мужицкое богатство?

В одной деревне Полуянов напустился на мужиков, собравшихся около кабака.

— Где у вас хлеб-то, а?.. Прежде-то с запасом жили, а теперь хоть метлой подмети.

— Да уж оно, видно, так вышло.

— Недород, что ли, был?

— Нет, пока господь миловал от недороду, а так воопче.

— Что «воопче»-то? На винокуренный завод свезли хлеб, канальи, а потом будете ждать недорода? Деньги на вине пропили, да на чаях, да на ситцах?

— А тебе какое дело? Чего ты ругаешься-то, оголтелый?

— А вот такое и дело. Чего старики-то смотрят?

Полуянов принялся так неистово ругаться, что разозлившиеся мужики чуть его не поколотили.

Чем дальше подвигался Полуянов, тем больше находил недостатков и прорух в крестьянском хозяйстве. И земля вспахана кое-как, и посевы плохи, и земля

пустует, и скотина затощала. Особенно печальную картину представляли истощенные поля, требовавшие удобрения и не получавшие его, — в этом благодатном краю и знать ничего не хотели о каком-нибудь удобрении. До сих пор спасал аршинный сибирский чернозем. Но ведь всему бывает конец.

— Ах, мерзавцы! — ругался Полуянов, палкой измеряя толщину пропаханного слоя чернозема. — На двух вершках пашут. Что же это такое? Это мазать, а не пахать.

Попадались совсем выродившиеся поля с чахлыми, золотушными всходами, — хлеб точно был подбит молью. Полуянов, наконец, пришел в полное отчаяние и крикнул:

— Голод будет! Настоящий голод!

Он стоял посреди поля один и походил на сумасшедшего. Ему хотелось кого-то обругать, подтянуть, согнуть в бараний рог и вообще «показать».

II

Появление Полуянова произвело в Заполье известную сенсацию. Он нарочно пришел среди бела дня и медленно шагал по Московской улице, останавливаясь перед новыми домами. Такая остановка была сделана, между прочим, перед зданием Зауральского коммерческого банка.

— Эй, ваше превосходительство, здравствуй, — крикнул Полуянов появившемуся в дверях подъезда швейцару Вахрушке. — У вас здесь деньги дают?

— Дают.

— Богатым дают, а бедные пусть сами добывают?

— Около того, господин.

— А как это, по-твоему, называется?

— Даже очень просто: ходите почаще мимо.

— Ах вы, прохвосты!.. Постой-ка, мне как будто твое рыло знакомо. Про Илью Фирсыча Полуянова слыхал?

Вахрушка посмотрел на странника и оторопел. Он узнал бывшую грозу и малодушно бежал в свою швейцарскую.

— Ага, не понравилось? — торжествовал Полуянов. — Погодите, вот я доберусь до вас!.. Я вам покажу!

Дальше следовал целый ряд открытий. Женская прогимназия, классическая мужская прогимназия, только что выстроенное здание запольской уездной земской управы, целый ряд новых магазинов с саженными зеркальными окнами и т. д. Полуянов везде останавливался, что-то бормотал и размахивал своею палкой. Окончательно он взбесился, когда увидел вывеску ссудной кассы Замараева.

— Замараев? Фамилия знакомая. Тэ-тэ-тэ!.. Это уж не суслонский ли писарь воссиял? Да, ведь Прохоров рассказывал.

Полуянов отправился в кассу и сразу узнал Замараева, который с важностью читал за своею конторкой свежий номер местной газеты. Он равнодушно посмотрел через газету на странника и грубо спросил:

— Что тебе нужно?

— А ты посмотри на меня хорошенько.

— Много тут вас таких-то, шляющих!

— А ежели я палку свою пришел закладывать? Дорогого стоит палочка. Может, и кожу прикажете с себя снять?

— Ступай, ступай, откуда пришел.

Замараев сделал величественный жест и указал глазами на странника «услужающему». К Полуянову подскочил какой-то взъерошенный субъект и хотел ухватить его за локти сзади.

— Как ты смеешь, рракалия? — грянул Полуянов.

Газета у Замараева вывалилась из рук сама собой, точно дунуло вихрем. Знакомый голос сразу привел его в сознание. Он выскочил из-за своей конторки и бросился отнимать странника из рук услужающего.

— Илья Фирсыч, голубчик... ах, боже мой!..

— Ага, узнал?.. То-то!

Замараев потащил дорогого гостя наверх, в свои горницы, и растерянно бормотал:

— Не прикажете ли водочки, Илья Фирсыч? Закусочку соорудим. А то чайку можно сообразить. Ах,

боже мой! Вот, можно сказать: сурприз. Отец родной... благодетель!

Угощая дорогого гостя, Замараев даже прослезился.

— Господи, что прежде-то было, Илья Фирсыч? — повторял он, качая головой. — Разве это самое кто-нибудь может понять?.. Таких-то и людей больше не осталось. Нынче какой народ пошел: троюродное наплевать — вот и вся музыка. Настоящего-то и нет. Страху никакого, а каждый норовит только себя выше протчих народов оказать. Даже невероятно смотреть.

— Что же, всякому овощу свое время. Прежде-то и мы бывали нужны, а теперь на вашей улице праздник. Ваш воз, ваша и песенка.

— У волка одна песенка, Илья Фирсыч.

От Замараева Полуянов услышал только повторение того, что уже знал от Прохорова, с небольшими дополнениями и поправками.

— Так, так, — повторял он, качая в такт рассказа головой. — Всё по-новому у вас... да. Только ведь палка о двух концах и по закону бывает... дда-а.

— Ох, забыли и про палку и про протчее, Илья Фирсыч!

Выпив две рюмки водки, Полуянов таинственно спросил:

— Ну, а как поживает суслонский поп Макар?

— Ничего, слава богу.

— Что-о? — грянул Полуянов, вскакивая. — Слава богу? Да я... я...

— Ох, обмолвился! Простите на глупом слове, Илья Фирсыч. Еще деревенская-то наша глупость осталась. Не сообразил я. Я сам, признаться сказать, терпеть ненавижу этого самого попа Макара. Самый вредный человек.

— То-то!

— Недавно приезжал он деньги вкладывать, а я не принял. Ей-богу, не принял... Одним словом, вредный поп.

От Замараева Полуянов отправился прямо в малыгинский дом, и здесь его удивление достигло последних границ. На доме висела вывеска: «Редакция и контора ежедневной газеты Запольский курьер».

— Что-о-о? — зарычал Полуянов, не веря собственным глазам. — Газета? в моем участке? Да кто это смел, а? Газета? Ха-ха!

На этот крик в окне показалась голова Харитона Артемьича. Он, очевидно, не узнал зятя и смотрел на него с удивлением, как на сумасшедшего.

— Газета?.. Это ты придумал газету? — крикнул ему Полуянов, размахивая палкой.

— А тебе какое дело, рвань коричневая?

— Мне?.. В моем участке газеты разводить? Да вы тут все сбесились без меня?

— А ты вот покричи, так я тебе и шею накостыляю,— спокойно ответил Харитон Артемьич и для большей убедительности засучил рукава ситцевой рубашки. — Ну-ка, иди сюды. Распатроню в лучшем виде.

— Да ты с кем говоришь-то, седая борода? — орал Полуянов.

— Нет, ты с кем говоришь? — орал Харитон Артемьич, входя в азарт.

— Газетчик проклятый!.. Прохвост!

Это было уже слишком. Харитон Артемьич ринулся во двор, а со двора на улицу, на ходу подбирая полы развевавшегося халата. Ему ужасно хотелось вздуть ругавшегося бродягу. На крик в окнах нижнего этажа показались улыбавшиеся лица наборщиков, а из верхнего смотрели доктор Кочетов, Устенька и сам «греческий язык».

— Здравствуй, тестюшка, — проговорил Полуянов, протягивая руку. — Попа и в рогоже узнают, а ты родного зятя не узнал...

— Тьфу!.. Да ты откудова взялся-то?

— Где был, там ничего не осталось.

Старики расцеловались тут же на улице, и дальше все пошло уже честь честью. Гость был проведен в комнату Харитона Артемьича, стряпка Аграфена бросилась ставить самовар, поднялась радостная суета, как при покойной Анфусе Гавриловне.

— Ох, горюшко наше объявилось! — причитала Аграфена, раздувая самовар. — Вот чему не потеряться-то! Кабы голубушка Анфуса-то Гавриловна была жива!

Все мысли и чувства Аграфены сосредоточивались теперь в прошлом, на том блаженном времени, когда была жива «сама» и дом стоял полною чашей. Не стало «самой» — и все пошло прахом. Вон какой зять-то выворотился с поселенья. А все-таки зять, из своего роду-племени тоже не выкинешь. Аграфена являлась живою летописью малыгинской семьи и свято блюла все, что до нее касалось. Появление Полуянова с особенною яркостью подняло все воспоминания, и Аграфена успела, ставя самовар, всплакнуть раз пять.

Весь дом волновался. Наборщики в типографии, служащие в конторе и библиотеке, — все только и говорили о Полуянове. Зачем он пришел оборванцем в Заполье? Что он замышляет? Как к нему отнесутся бывшие закадычные приятели? Что будет делать Харитина Харитоновна? Одним словом, целый ряд самых жгучих вопросов.

А Полуянов сидел в комнате Харитона Артемьича и как ни в чем не бывало пил чай стакан за стаканом.

— Ну, брат, удивил! — говорил Харитон Артемьич, хлопая его по плечу. — Придумать, так не придумать такого патрета... да-а!.. И угораздило тебя, Илья Фирсыч!

— Чему же ты удивляешься? Сам не лучше меня.

— Ох, не лучше! И не говори, зятюшка. Ах, что со мной сделали зятья!.. Разорвать их всех мало!

— А вот погодите, тятенька, мы их всех подтянем.

— Подтянем?

— Еще как!

— Ты законы-то не забыл, Илья Фирсыч?.. Без тебя-то много новых законов объявилось... земство... библиотека... газета...

— Ну, закон-то один, а это так... Одним словом, подтянем.

— Мне бы, главное, зятьев всех в бараний рог согнуть, а в первую голову проклятого писаря. Он меня подвел с духовной... и ведь как подвел, пес! Вот так же, как ты, все наговаривал: «тятенька... тятенька»... Вот тебе и тятенька!.. И как они меня ловко на обе

ноги обули!.. Чисто обделали — все равно, как яичко облупили.

— Ничего, мы доберемся... Скажем, что духовная была подложная.

— Н-но-о?

— Только и всего.

— А в Сибирь нельзя сослать всех зятьев зараз?

— Ну, Сибирь, это другое. Подтянуть можно, а относительно Сибири совсем другой разговор.

Эта беседа с Полуяновым сразу подняла всю энергию Харитона Артемьича. Он бегал по комнате, размахивал руками и дико хохотал. Несколько раз Полуянову приходилось защищаться от его объятий.

— Подтянем, Илья Фирсыч? Ха-ха! Отцом родным будешь. Озолочу... Истинно господь прислал тебя ко мне. Ведь вконец я захудал. Зятья-то на мои денежки живут да радуются, а я в забвенном виде. Они радуются, а мы их по шапке... Ха-ха!.. Есть и на зятьев закон?.

— Для всего есть свой закон.

— Отец!.. В ножки поклонюсь!.. А жида Ечкина тоже подтянем? и Шахму?

— Этих-то уж совсем просто, Харитон Артемьич. Все дело как на ладони.

— Главное, чтобы все по закону... Катай их законом... И жида, и писаря, и немца Полуштофа, и Галактиона — всех валяй!.. Ты живи у меня, — ну, вместе и будем орудовать.

— Конечно, вместе. Я-то проклятого попа буду добывать... В порошок его изотру!

Старики заперлись в своей комнате и проговорили долго за полночь. В типографии было слышно, как хохотал Харитон Артемьич, и стряпка Аграфена со страхом крестилась.

— Никак рехнулся наш Харитон Артемьич от радости... Ох, владычица скорбящая, помилуй нас!

Все жаждали еще раз посмотреть на Полуянова, но он так и не показался.

На другой день Полуянов проснулся очень рано и отправился к заутрене. Харитон Артемьич едва дождался его, сидя за самоваром.

— Уж я думал, что ты совсем ушел, Илья Фирсыч... Даже испугался.

— Не беспокойся, никуда не уйду... Помолиться богу сходил, с попом поговорил, потом старика Нагибина встретил.

— Кощей проклятый!

— Потом, иду это по улице, как шарахнется мимо рысак... Чуть-чуть не задавил. Смотрю, Мышников катит.

— Вот, вот... Он у нас раздулся, как клещ в собачьем ухе. Всех зорит.

— Потом встретил Луковникова с дочерью. Старик-то что-то на одну ногу припадает... А дочь совсем большая.

— Тоже плох и Тарас Семеныч. Того гляди, и совсем скапутится. Завяз он с своею вальцовою мельницей.

Харитон Артемьич страшно боялся, чтобы Полуянов не передумал за ночь, — мало ли что говорится под пьяную руку. Но Полуянов понял его тайную мысль и успокоил одним словом:

— Подтянем!

III

Устенька Луковникова жила сейчас у отца. Она простилась с гостеприимным домом Стабровских еще в прошлом году. Ей очень тяжело было расставаться с этою семьей, но отец быстро старился и скучал без нее. Сцена прощания вышла самая трогательная, а мисс Дудль убежала к себе в комнату, заперлась на ключ и ни за что не хотела выйти.

— Мы все так сжились с тобой, — говорил Стабровский, обнимая Устеньку. — Я по крайней мере смотрю на тебя и думаю о тебе, как о родной дочери. Даже как-то странно представить, что вдруг тебя не будет у нас.

— Ведь я попрежнему буду бывать у вас каждый день, Болеслав Брониславич, — точно оправдывалась Устенька. — И потом я столько обязана всем вам... Сейчас, право, даже не сумею всего высказать.

Они просидели целый вечер в кабинете Стабровского. Старик сильно волновался и несколько раз отвертывался к окну, чтобы скрыть слезы.

— Вот уж вы совсем большие, взрослые девушки, — говорил он с грустною нотой в голосе. — Я часто думаю о вас, и мне делается страшно.

— Чего же бояться, папа? — удивлялась Дидя. — Под старость ты делаешься сентиментальным.

— Чего я боюсь? Всего боюсь, детки... Трудно прожить жизнь, особенно русской женщине. Вот я и думаю о вас... что вас будет интересовать в жизни, с какими людьми вы встретитесь... Сейчас мы еще не поймем друг друга.

Стабровский действительно любил Устеньку по-отцовски и сейчас невольно сравнивал ее с Дидей, сухой, выдержанной и насмешливой. У Диди не было сердца, как уверяла мисс Дудль, и Стабровский раньше смеялся над этою институтскою фразой, а теперь невольно должен был с ней согласиться. Взять хоть настоящий случай. Устенька прожила у них в доме почти восемь лет, сроднилась со всеми, и на прощанье у Диди не нашлось ничего ей сказать, кроме насмешки.

— Папа, будем смотреть на вещи прямо, — объясняла она отцу при Устеньке. — Я даже завидую Устеньке... Будет она жить пока у отца, потом приедет с ярмарки купец и возьмет ее замуж. Одна свадьба чего стоит: все будут веселиться, пить, а молодых заставят целоваться.

Устенька густо покраснела и ничего не ответила, а Стабровский вспылил, — это был, кажется, еще первый случай, что он рассердился на свою Дидю.

— Да, она идет к *своим,* — заговорил он, делая широкий жест. — Это законное стремление. Птенчик оперился, вырос и прибивается к своей стае... А вот ты этого не понимаешь, Дидя, что есть *свои* и что есть мертвая тяга к общему делу. О, как я это ценю!.. Мы во многом не согласимся с Устенькой, за многое она отнесется ко мне критически, может быть, даже строго осудит, но я понимаю ее теперешнее настроение, хорошее, светлое, доброе... Устенька, я понимаю больше, чем ты думаешь, хотя многого и не могу сейчас выска-

зать. Иди, славяночка, к своим и ничего не бойся... Великая будущность перед русскою женщиной и великая, счастливая работа. Дай я тебя благословлю.

Диде сделалось стыдно за последовавшую после этого разговора сцену. Она не вышла из кабинета только из страха, чтоб окончательно не рассердить расчувствовавшегося старика. Стабровский положил свою руку на голову Устеньки и заговорил сдавленным голосом:

— Славяночка, ты уходишь из этого дома навсегда... Впечатления детства остаются в памяти на всю жизнь, и ты запомни, что отсюда ты вынесла. Здесь тебе говорили: нет ни немцев, ни жидов, ни славян, а есть просто люди, люди хорошие и дурные... Счастье заключается в труде на пользу других. Пока мы можем быть, в лучшем случае, справедливыми и хорошими только у себя в семье, но нельзя любить свою семью, если не любишь других. Мы, старики, прошли тяжелую школу, с нами были несправедливы, и мы были несправедливы, и это нас мучило, делало несчастными и отравляло даже то маленькое счастье, на какое имеет право каждая козявка. Иди, славяночка, к своим, там уже есть много хороших людей. Добрым и честным принадлежит мир. Есть богатые и бедные люди, красивые и некрасивые, старые и молодые, образованные и необразованные, но одно великое равняет всех, это — совесть. Без совести нельзя жить, как без солнечного света... Ведь и любовь тоже совесть, высшая совесть, когда человек делается и лучше, и чище, и справедливее.

«Господи, отец, кажется, сошел с ума! — с ужасом думала Дидя, стараясь смотреть в угол. — Говорит, точно ксендз... Расчувствовался старикашка».

Да, Устенька много хорошего вынесла из этого дома и навсегда сохранила о Стабровском самую хорошую память, хотя представление об этом умном и добром человеке постоянно в ней двоилось.

Вернувшись к отцу, Устенька в течение целого полугода никак не могла привыкнуть к мысли, что она дома. Ей даже казалось, что она больше любит Стабровского, чем родного отца, потому что с первым у нее

больше общих интересов, мыслей и стремлений. Старая нянька Матрена страшно обрадовалась, когда Устенька вернулась домой, но сейчас же заметила, что девушка вконец обасурманилась и тоскует о своих поляках.

— Испортили они тебя, Устинья Тарасовна, — повторяла старуха при каждом удобном случае. — Погляжу я на тебя, как тебе скушно дома-то.

Замечал это и сам Тарас Семеныч, хотя и не высказывался прямо. Ничего, помаленьку привыкнет... Самое главное, что больше всего тяготило Устеньку, это сознание собственной ненужности у себя дома. Она чувствовала себя какою-то гостьей.

— Это скучно, папа, сидеть без дела, — объясняла она отцу.

— Что же я-то могу придумать? Ежели в учительницы идти, так будешь хлеб отбивать у других бедных девушек... Это нехорошо. Уроки давать — то же самое. Поживи, отдохни.

— Ах, какой ты, папа! От чего отдыхать? Это, наконец, смешно!

— Читай книжки.

Устенька много читала, но это еще не было настоящим делом. Впрочем, ее скоро выручили полученные в доме Стабровского знания. Раз она пришла в библиотеку, и доктор Кочетов сразу предложил ей занятия при газете.

— Мы все тут очень слабы по части языков, а ведь вы знаете... Одним словом, вы нам поможете, Устенька. Кажется, вы даже по-английски переводите?

— Я училась, но, право, не знаю, справлюсь ли. Вам что нужно переводить?

— Ах, да!.. Главного-то я и не сказал: нам нужна переводчица для газеты. Понимаете, это известный даже шик — пользоваться материалами из первоисточника, а не из третьих рук.

Благодаря своему знанию языков Устенька попала прямо в центр провинциального оппозиционного издания. С составом редакции благодаря доктору Кочетову она была знакома еще раньше, а теперь сделалась невольною участницей уже самого дела. Это и были те

свои, о которых говорил ей на прощанье Стабровский. Да, это действительно были свои, — те свои, которым она принадлежала по инстинкту. Работа в редакции «Запольского курьера» для Устеньки была своего рода воскресением. Сюда стекались «протестующие элементы» с громадной территории, и, как ни была стеснена деятельность маленького провинциального издания, она все-таки сказывалась в общем строе. Конечно, ничего систематического здесь не могло быть, и все дело сводилось на то, чтобы с большею или меньшею ловкостью «воспользоваться моментом», как говорил Харченко. Хитрый хохлик сосредоточил все свои боевые силы на преследовании банковских воротил, а главным образом, конечно, Мышникова. Его уже раз пять судили в окружном суде за диффамацию и клевету, и он с торжеством выходил сух из воды.

— А мы опять воспользуемся моментом, — говорил он, возвращаясь из суда в редакцию. — Подождите, господа, смеется последний, а мы еще посмотрим.

В редакции по вечерам собирались разные «протестанты» и обсуждали нараставшие злобы дня. Собственно редакцию составляли Харченко и Кочетов, а остальные только помогали. Здесь Устенька прошла целый курс знаний, которых нельзя получить было нигде больше. Она отлично познакомилась с вопросами городского хозяйства, с задачами земского самоуправления, с экономическою картиной целого края, а главное — с тем разрушающим влиянием, которое вносили с собой банковские дельцы, и в том числе старик Стабровский. Ей часто делалось больно, когда упоминалось это дорогое для нее имя с очень злыми комментариями, — и больно и досадно, а нельзя было не согласиться. Получалась самая мучительная раздвоенность.

— Ну, что у вас нового? — спрашивал Тарас Семеныч, когда Устенька возвращалась домой с кипой газет. — Все за мухой с обухом гоняетесь?

Втайне старик очень сочувствовал этой местной газете, хотя открыто этого и не высказывал. Для такой политики было достаточно причин. За дочь Тарас Семеныч искренне радовался, потому что она, наконец,

нашла себе занятие и больше не скучала. Теперь и он мог с ней поговорить о разных делах.

— Ты у меня теперь в том роде, как секретарь, — шутил старик, любуясь умною дочерью. — Право... Другие-то бабы ведь ровнешенько ничего не понимают, а тебе до всего дело. Еще вот погоди, с Харченкой на подсудимую скамью попадешь.

— Если б это было нужно, папа, то отчего же не пойти за правое дело?

— Оно, конечно, так, а мы вот все боимся правды-то.

Приглядываясь к новым людям, Устенька долго не могла разобраться в своих впечатлениях и многого не могла понять. Жизнь давала себя знать, разбивая на каждом шагу молодые иллюзии и счастливые верования. По временам Устеньке делалось просто страшно. Боже мой, кругом столько самого бессмысленного и обидного зла! Большинство точно сознательно старалось делать зло даже самим себе. Тут даже не спасало образование. Живым примером являлся доктор Кочетов, который все чаще и чаще приходил в редакцию в ненормальном виде. Первое время он стеснялся Устеньки, а потом махнул рукой.

— Доктор, неужели вы не можете удержаться? — спрашивала его Устенька. — Ведь есть же сила воли.

— Вам жаль меня?

— Да.

— Не стоит!.. Я сам сначала тоже жалел себя, а потом... Одним словом, не стоит говорить.

Устеньке делалось жутко, когда она чувствовала на себе пристальный взгляд доктора. В этих воспаленных глазах было что-то страшное. Девушка в такие минуты старалась его избегать.

— Барышня, а вы не находите меня сумасшедшим? — спросил ее раз доктор с больною улыбкой. — Будемте откровенны... Я самое худшее уже пережил и смотрю на себя, как на пациента.

— Не знаю, доктор... Вы просто нездоровы.

— Да, да... Нездоров. Ах, если бы вы только видели, какие ужасные ночи я провожу! Засыпаю я только часов в шесть утра и все хожу... Вдруг сде-

лается страшно-страшно, до слез страшно... Хочется куда-то убежать, спрятаться.

В маленьких провинциальных городках тайны не могут существовать. Устенька, несмотря на свое девичье положение, знала многое, чего знать девице и не полагалось. Источником этих закулисных сведений являлась главным образом старая нянька Матрена. Семейное положение доктора Кочетова давно сделалось притчей во языцех. Все знали, как он женился и как Прасковья Ивановна забрала его под башмак. Последнею новостью в докторской биографии было то, что адвокат Мышников сильно ухаживал за Прасковьей Ивановной и ежедневно бывал в бубновском доме.

— Раньше-то сама Прасковья Ивановна припадала к нему, — объяснила Матрена с старческою наивностью. — Даже совсем без стыда гонялась... А нынче уж, видно, Мышников погнался за ней. Змей лютый, одним словом... Ох, грехи!

— Няня, не смейте мне ничего говорить о докторе.

— Да ведь весь город говорит. Только в колокола не звонят.

Разгадка мрачного настроения доктора была налицо.

IV

Доктор Кочетов переживал ужасное время. Он дошел до того состояния, когда люди стараются не думать о себе. В нем точно жили несколько человек: один, который существовал для других, когда доктор выходил из дому, другой, когда он бывал в редакции «Запольского курьера», третий, когда он возвращался домой, четвертый, когда он оставался один, пятый, когда наступала ночь, — этот пятый просто мучил его. Мысль о сумасшествии появлялась у доктора уже раньше; он начинал следить за каждою своею мыслью, за каждым словом, за каждым движением, но потом все проходило. Эти припадки мнительности начали повторяться все чаще и принимали все более мучительную форму. Успокоение давала только мадера.

В бубновском доме царил какой-то дух мадеры. Доктор пил потихоньку, как это делал покойный Бубнов и как сейчас это делала Прасковья Ивановна.

Окончательным поворотным пунктом в психологии доктора послужило открытие, что Прасковья Ивановна устроилась по-новому. Сначала доктор получил анонимное письмо, раскрывавшее ему глаза на отношения жены к Мышникову, получил и не поверил, приписав его проявлению тайной злобы. Потом получено было второе письмо, третье, четвертое, — тайный враг не дремал и заботился о нем, как самый лучший друг. Невольно доктор начал следить за женой и убедился в том, что тайный корреспондент был прав. Он знал, когда жена уходила на свидание, знал, когда она ждала Мышникова, знал, когда она рассчитывала, что он уйдет из дому, — знал и скрывался. Теперь роли переменились: раньше Прасковья Ивановна ухаживала за Мышниковым, а сейчас наоборот. Дело дошло до того, что всесильный Мышников даже ухаживал за ним. Доктору делалось стыдно за любовников, за себя, за тот позор, который густым облаком покрывал всех. Ведь и сам он не лучше других.

Больше всего пугало доктора то, что его ничто не интересовало. Не все ли равно? Сегодня жена обманывает его, завтра будет он ее обманывать, — только небольшая перемена ролей. Он давно перестал бывать у Стабровских, раззнакомился почти со всеми и никого не желал видеть. Для чего? Оставалась, правда, газета, но и тут дело сводилось на простую инерцию и на отдел привычных движений. Сначала доктор стеснялся приходить в редакцию в ненормальном виде, а потом и это чувство простого физического приличия исчезло. Не все ли равно? Он приходил теперь в редакцию с красными глазами, опухшим лицом и запойным туманом в голове. Что же, пусть все видят, удивляются, презирают, жалеют. В глубине души доктор все-таки не считал себя безнадежным алкоголиком, а пил так, пока, чтобы на время забыться. Иногда у него являлась спасительная мысль бежать из проклятого Заполья куда глаза глядят, но ведь это последнее средство было всегда в его распоряжении. Его все-таки

что-то удерживало, какое-то смутное чувство собственного угла, какого-то неисполненного дела. Что-то такое еще оставалось впереди, неопределенное и смутное.

Одной ночи доктор не мог вспомнить без ужаса. Он выпил вечером целых две бутылки мадеры. Долго ходил он по кабинету, думал вслух, ложился на диван и снова вставал, чтобы шагать по кабинету. Он знал, что не уснет до самого утра. Вдруг, лежа на диване, он почувствовал, как в нем стынет вся кровь и сердце перестает биться. Его охватила ужасная мысль, вернее — ощущение, точно он раздваивался и переставал уже быть самим собой. Да, он это чувствовал всем своим телом, опухшими от пьяной водянки ногами, раздутою печенью. Он больше не был он, доктор Кочетов, а тот, другой, Бубнов, который вот так же лежал на диване, опухший от пьянства и боявшийся каждого шороха. Доктор боялся пошевелиться, открыть глаза, точно его что придавило. Да, он превратился в Бубнова.

Галлюцинация продолжалась до самого утра, пока в кабинет не вошла горничная. Целый день потом доктор просидел у себя и все время трепетал: вот-вот войдет Прасковья Ивановна. Теперь ему начинало казаться, что в нем уже два Бубнова: один мертвый, а другой умирающий, пьяный, гнилой до корня волос. Он забылся, только приняв усиленную дозу хлоралгидрата. Проснувшись ночью, он услышал, как кто-то хриплым шепотом спросил его:

— Ты здесь?

Это был бубновский голос, и доктор в ужасе спрятал голову под подушку, которая казалась ему Бубновым, мягким, холодным, бесформенным. Вся комната была наполнена этим Бубновым, и он даже принужден был им дышать.

Целых три дня продолжались эти галлюцинации, и доктор освобождался от них, только уходя из дому. Но роковая мысль и тут не оставляла его. Сидя в редакции «Запольского курьера», доктор чувствовал, что *он* стоит сейчас за дверью и что маленькие частицы *его* постепенно насыщают воздух. Конечно, другие этого не замечали, потому что были лишены внутреннего зрения и потому что не были Бубновыми. Холодный ужас

охватывал доктора, он весь трясся, бледнел и делался страшным.

— Вам дурно, доктор? — спрашивала Устенька, сидевшая за своим столиком с корректурами. — Я принесу воды.

— Ради бога, не двигайтесь, — умолял доктор шепотом.

Ему казалось, что стоило Устеньке подняться, как все мириады частиц Бубнова бросятся на него и он растворится в них, как крупинка соли, брошенная в стакан воды. Эта сцена закончилась глубоким обмороком. Очнувшись, доктор ничего не помнил. И это мучило его еще больше. Он тер себе лоб, умоляюще смотрел на ухаживавшую за ним Устеньку и мучился, как приговоренный к смерти.

Память вернулась только ночью, когда доктор лежал у себя в кабинете и мучился бессонницей.

Так продолжалось изо дня в день, и доктор никому не мог открыть своей тайны, потому что это равнялось смерти. Муки достигали высшей степени, когда он слышал приближавшиеся шаги Прасковьи Ивановны. О, он так же притворялся спящим, как это делал Бубнов, так же затаивал от страха дыхание и немного успокаивался только тогда, когда шаги удалялись и он подкрадывался к заветному шкафику с мадерой и глотал новую дозу отравы с жадностью отчаянного пьяницы.

Когда пришел навестить его старик Кацман, произошла совсем дикая сцена.

— Ну, что, collega, как вы себя чувствуете? — спрашивал Кацман, нюхая пропитанный мадерой воздух.

— Ничего, отлично.

— А дайте-ка ваш пульс.

Эта фраза привела Кочетова в бешенство. Кто смеет трогать его за руку? Он страшно кричал, топал ногами и грозил убить проклятого жида. Старик доктор покачал головой и вышел из комнаты.

Однажды ночью, когда Кочетов шагал по своему кабинету, прибежала какая-то запыхавшаяся женщина и Христом богом молила его ехать к больной.

— Ох, у смерти конец, родненький, — причитала она. — Зашлась наша-то барыня... Лежит, глазки закатила... Ох, смертынька!

— Да какая барыня, говори толком?

— А Серафима Харитоновна!

— Какая Серафима Харитоновна?

— Ах ты, господи!.. Ну, которая за Колобовым, за Галактионом Михеичем. Еще пароходы у него.

Доктор давно не практиковал, но тут, по какой-то инерции, согласился и поехал.

В маленьком домике Колобова, где жила Серафима с детьми, шел страшный переполох. Доктора встретила в передней Харитина, бледная, но спокойная.

— Простите, что мы потревожили вас, Анатолий Петрович. С сестрой плохо, а Кацман сам болен.

Проходя мимо двери в столовую, Кочетов увидел Галактиона, который сидел у стола, схватившись за голову.

Больная лежала в спальне на своей кровати, со стиснутыми зубами и закатившимися глазами. Около нее стояла девочка-подросток и с умоляющим отчаянием посмотрела на доктора.

— Мама умерла... — прошептала она, точно боялась кого разбудить.

Доктор приложил ухо к груди больной. Сердце еще билось, но очень слабо, точно его сжимала какая-то рука. Это была полная картина алкоголизма. Жертва запольской мадеры умирала.

Пущены были в ход холодные компрессы, лед, нашатырный спирт и обтиранья, пока больная не вздохнула и не открыла глаз.

— Принесите сюда мадеры, — шепнул доктор Харитине.

Через минуту в спальню вошел с только что откупоренною бутылкой вина Галактион, налил рюмку и подал больной. Она взглянула на него, отрицательно покачала головой и проговорила слабым голосом:

— Вы, кажется, считаете меня за пьяницу, а я совсем не пью...

Как доктор ни уговаривал ее, больная осталась при своем. Галактион понял, что она стесняется его, и

вышел. Харитина приподняла больную на подушки, но у нее голова свалилась на сторону.

— Посылайте скорее за священником, — шепнул доктор.

— Да ведь мы староверы... Никого из наших стариков сейчас нет в городе, — с ужасом ответила Харитина, глядя на доктора широко раскрытыми глазами. — Ужели она умрет?.. Спасите ее, доктор... ради всего святого... доктор...

— От паралича сердца спасенья нет.

— Доктор... доктор!..

Но доктор уже шел в столовую с бутылкой в одной руке и с рюмкой в другой. Галактион сидел у стола.

— Идите, проститесь с женой, — сказал доктор, усаживаясь к столу и ставя перед собой бутылку. — Все кончено.

Галактион взглянул на него, раскрыл рот, чтобы сказать что-то, и выбежал из столовой. Доктор проводил его глазами, улыбнулся и спокойно налил себе рюмку мадеры.

Больная полулежала в подушках и смотрела на всех осмысленным взглядом. Очевидно, она пришла в себя и успокоилась. Галактион подошел к ней, заглянул в лицо и понял, что все кончено. У него задрожали колени, а перед глазами пошли круги.

— Серафима, благослови детей! — проговорил он сдавленным голосом.

Больная наморщила лоб и тревожно посмотрела кругом, кого-то отыскивая. Галактион понял этот взгляд и подвел дочь Милочку.

— Сережи нет... он уехал в гимназию; благослови Милочку.

Девушка зарыдала, опустилась на колени и припала головой к слабо искавшей ее материнской руке. Губы больной что-то шептали, и она снова закрыла глаза от сделанного усилия. В это время Харитина привела только что поднятую с постели двенадцатилетнюю Катю. Девочка была в одной ночной кофточке и ничего не понимала, что делается. Увидев плакавшую сестру, она тоже зарыдала.

Больная благословила девочку и сделала глазами Харитине знак, чтоб увели детей. Когда Харитина вернулась, она посмотрела на нее, потом на Галактиона и проговорила с удивительною твердостью:

— Пожалейте детей... я... я не буду никому больше мешать.

Харитина всхлипывала и, припав головой к изголовью умиравшей, шептала:

— Сима, прости... Сима... Сима...

Галактион стоял и не чувствовал, как у него катились по лицу слезы. Харитина подвела его к постели и заставила стать на колени.

— Сима... я... меня... — бормотал Галактион, точно каждое слово приросло к горлу и он должен был его отдирать. — Нет нам прощенья, Сима... я... меня...

Умирающая уже закрыла глаза. Грудь тяжело поднималась. Послышались мертвые хрипы. В горле что-то клокотало и переливалось.

— Матушка ты наша... касатушка, — причитала около кровати точно из-под земли выросшая Аграфена. — Голубушка барышня...

В дверях стоял Харитон Артемьич. Он прибежал из дому в одном халате. Седые волосы были всклокочены, и старик имел страшный вид. Он подошел к кровати и молча начал крестить «отходившую». Хрипы делались меньше, клокотанье остановилось. В дверях показались перепуганные детские лица. Аграфена продолжала причитать, обхватив холодевшие ноги покойницы.

— Матушка ты наша, барышня... на кого ты нас, сироток, оставляешь?

Доктор продолжал сидеть в столовой, пил мадеру рюмку за рюмкой и совсем забыл, что ему здесь больше нечего делать и что пора уходить домой. Его удивляло, что столовая делалась то меньше, то больше, что буфет делал напрасные попытки твердо стоять на месте, что потолок то уходил кверху, то спускался к самой его голове. Он очнулся, только когда к нему на плечо легла чья-то тяжелая рука и сердитый женский голос проговорил:

— Ты это што за моду придумал лакать винище в этакой-то час, бесстыжие твои глаза? Ступай домой, горький...

Это была Аграфена. Она в следующий момент взяла доктора под руку и повела из столовой. Он попробовал сопротивляться, но, посмотрев на бутылку, увидел, что она пуста, и только махнул рукой.

— Finita la commedia... Да, горький... именно... Галактион обманывал свою жену, а она умерла.. и Прасковью Ивановну тоже обманывал, а она жива... Не правда ли, как это странно?

V

Смерть жены для Галактиона являлась только продолжением разных других неудач. Ему вообще не везло в последнее время. На Иртыше затонула баржа с незастрахованным чужим товаром, пароход «Первинка» напоролся на подводный камень и целое лето простоял без работы, было несколько запоздавших грузов, за которые пришлось платить неустойку, — одним словом, одна неудача за другой. В банке положение Галактиона тоже пошатнулось. Забравший силу Мышников пробовал на нем свое влияние. Даже старик Стабровский, покровительствовавший Галактиону до сих пор, заметно охладел к нему без всякой видимой причины. Последнее особенно беспокоило Галактиона, хотя он крепился и никому ничего не высказывал. Все складывалось против него как раз с того момента, когда он сошелся с Харитиной. В этом было что-то роковое... Впрочем, сама Харитина давно это заметила и тоже мучилась.

— Это я тебе принесла несчастье, — повторяла она, глядя на Галактиона виноватыми глазами.

Последнее его бесило каждый раз. Да и прежней Харитины, веселой, сумасбродной, красивой русалочьею красотой, уже не было, — может быть, она изменилась, может быть, постарела, а может быть, просто он привык к ней. О ее красоте он мог теперь судить только по тому впечатлению, какое она производила на дру-

гих. Но его злило и это, когда эти другие любовались Харитиной, точно и в этом был какой-то скрытый обман. Особенно не шло к Харитине, когда она делалась печальной, начинала жаловаться и вообще хныкала. Галактион возмущался, говорил ей дерзости, доводил до слез, а потом начинал жалеть молча, не имея сил проявить свою жалость активно.

Теперь все служило поводом к домашним сценам, недоразумениям и настоящим ссорам. Обыкновенно начинал Галактион, которого одинаково возмущало, если Харитина раздражалась или оставалась хладнокровной. Он успокаивался только тогда, когда Харитина выходила из себя и начинала рвать и метать. Несколько раз она бросалась на него прямо с ножом. Галактион не сомневался, что она в таком состоянии может зарезать кого угодно. Но именно такое бешенство его удовлетворяло, снимая с души какую-то тяжесть. Как ни был несправедлив Галактион к Харитине, но одного достоинства он не мог не признать за ней: ни один посторонний глаз не видел ее слез, никто не слыхал ее жалоб. Она для других была только в хорошем или дурном настроении, что еще не давало повода делать какие-нибудь предположения об ее интимной жизни.

В сущности Харитина была глубоко несчастна, потому что продолжала любить Галактиона, и любила его тем сильнее, чем больше он охладевал к ней. Есть такие натуры, чувства которых требуют препятствий, особенно такое чувство, как любовь. Если бы Галактион любил ее попрежнему, Харитина, наверное, не отвечала бы ему тою же монетой, а теперь она боялась даже проявить свою любовь в полной мере и точно прятала ее, как прячут от солнца нежное растение. В то же время она отлично понимала, что такое Галактион и что любить его не стоит. Ведь он всю жизнь думал только о себе и своих планах, а женщины для него являлись только печальною необходимостью. В сущности он никого и не в состоянии любить, как все эгоисты. И все-таки, зная все это, Харитина радостно вся вздрагивала, когда он входил в комнату. О, она так ждала его каждый раз, точно он приходил к ней прощаться

навсегда! Да, ждала и ненавидела себя именно за это, как ненавидит каторжник свои цепи.

Последнею каплей в этой чаше испытаний для Харитины было появление в Заполье мужа. Галактион приехал из города в Городище и заявил с злорадством:

— Твой Илья Фирсыч приехал, то есть пришел пешком... В полной форме: и котомка и палочка. Только недостает кошеля...

— Какой же он мой? — тихо ответила Харитина, боясь обидеться.

— А чей же? Конечно, твой... Вот он придет к нам в гости и попросит хлебца, как бродяжка.

Харитина молчала. Ее возмущал до глубины самый тон, каким говорил с ней Галактион. Точно это она желала, чтобы Полуянов вернулся из ссылки.

— Да, твой, твой, твой! — уже кричал Галактион, впадая в бешенство. — Ведь ты сама его выбрала в мужья, никто тебя не неволил, и выходит, что твой... Ты его целовала, ты... ты... ты...

Он задыхался от ярости, сжимал кулаки и, кажется, готов был броситься на Харитину и убить ее одним ударом. О, как он ревновал ее к ее прошлому, как ненавидел ее и с радостью растоптал бы ее, как топчут змею!

— Зачем же он придет к нам? — заметила Харитина.

— Зачем? Придет за своею законною женой. Он в своем полном праве. Ты забыла, чья ты жена.

Харитина молчала, что уже окончательно взбесило Галактиона. Он схватил ее за руку и крикнул задыхавшимся голосом:

— Ведь ты... ты любила его... да! Ты его целовала, и он...

Закончилась эта дикая сцена тем, что Галактион избил Харитину, зверски избил, как бьют своих жен только пьяные мужики, а потом взял и запер в комнате, точно боялся, что она убежит и будет жаловаться на него. Это был ужасный момент. Харитина целый день просидела в темном углу, как затравленный зверь, и вся дрожала, когда слышались чьи-нибудь шаги. Ей казалось, что Галактион вернется и убьет ее. О, как

она была бы рада умереть, заснуть, найти вечный покой, когда ничто не будет тревожить, волновать и мучить! Это была смертная жажда покоя. Харитина не плакала, а сидела молча, уничтоженная, жалкая, несчастная.

— За что? — повторяла она про себя, закрывая глаза. — Господи, за что?

Из всех чувств оставалось только физическое чувство страха, то чувство, которое заставляет собаку лизать только что наказавшую ее руку.

Галактион бил ее уже не в первый раз, но тогда было другое. Опомнившись, Харитина пришла к тому заключению, что ей даже некуда деваться. Ни близких знакомых, ни друзей, ни родных — никого. С сестрами она совсем не виделась, да и не любила никого. Значит, оставалось опять жить с Галактионом и терпеть новые побои, — она сознавала, что нынешний день только начало еще худших дней. Что же делать? Броситься в воду? А он будет радоваться, что избавился от обузы... да. Потом женится... В сердце Харитины закипела дикая ненависть именно к этой другой, а в воображении пронеслась страшная картина убитого Галактиона, любя убитого, вперед оплаканного и еще более дорогого. Одна земля будет разлучницей. Харитина старалась не думать об этом, даже принималась со страха молиться, а в голове стояла одна мысль, эта же мысль наполняла всю комнату и, как ночная птица, билась с трепетом в окно.

Теперь из-за Полуянова начали повторяться постоянные истории. Галактион не только не чувствовал угрызений совести, но выискивал всевозможные случаи, чтобы придраться к Харитине. Смерть жены на время прекратила это ожесточенное настроение, и Галактион точно отмяк. На первый план выступили теперь сироты-дети. Нужно было их куда-нибудь пристроить. Со смертью матери-пьяницы рушился последний призрак своего дома. Харитина боялась предложить взять их к себе в Городище. Она потихоньку от Галактиона написала Агнии, умоляя ее всеми святыми не оставлять сирот. Агния очень ловко повела дело и уговорила Галактиона. У нее было уже двое своих детей.

— Мне ведь все равно с ребятами-то сидеть, — убеждала она. — Заодно уж хлопотать... Да и твои большие совсем.

Галактион долго не соглашался, хотя и не знал, что делать с детьми. Агния убедила его тем, что дети будут жить у дедушки, а не в чужом доме. Это доказательство хоть на что-нибудь походило, и он согласился. С Харченком он держал себя, как посторонний человек, и делал вид, что ничего не знает об его обличительных корреспонденциях.

Все-таки, когда Галактион перевез детей к дедушке, его охватило мучительное чувство пустоты. Что-то такое порвалось, чего уж нельзя было соединить никакими силами. И обидно и грустно. Сколько раз Галактион раньше думал о том, как было бы хорошо, если бы Серафима умерла. И сама не мучилась бы и ему развязала бы руки. Вот теперь ее нет, и нет свободы. Мысль о детях стала являться все чаще и чаще, заставляя проверять себя. Конечно, Галактион давал на их содержание много денег, но это было еще не все. Именно дети вставали теперь перед его глазами живым упреком, напоминая все несправедливости прошлого. Под давлением этой мысли он даже к Харитине сделался добрее, то есть не притеснял ее и держал себя так, точно ее совсем не было и на свете.

В грустный день помещения детей у деда Галактион остался в Заполье и решительно не знал, что ему делать. Ехать в Городище тоже не хотелось. Именно в этот критический момент он вспомнил про старика Луковникова. Строгий был человек, правильной жизни. Галактиону мучительно захотелось, чтобы кто-нибудь его бранил, попрекал, говорил строгие слова. Он вечером отправился к Луковникову именно под этим настроением. Старик встретил его довольно неприветливо и смотрел такими глазами, что зачем-де пожаловал незваный гость.

— Давненько не видались, Галактион Михеич.

— Да, давненько, Тарас Семеныч. Все собирался как-нибудь завернуть.

— Уж и собирался? Перестань пустые-то слова говорить... На что вам меня, старика?

— Сами не молодые, Тарас Семеныч.

Сначала старик подумал, что не приехал ли Галактион занимать у него денег, — ведь слава богатого человека еще оставалась за ним, — а потом догадался по выражению лица Галактиона и по тону разговора, что дело совсем не в этом. В последнее время он сильно недолюбливал Галактиона и теперь не мог побороть в себе этого чувства. Так бы вот, кажется, все и отпечатал... На, слушай, Галактион пробовал что-то говорить, но разговор не вязался. И гость и хозяин молчали. Луковников поднялся, прошелся по комнате, разгладил седую бороду и проговорил как-то в упор:

— Что, Галактион Михеич, худо?.. То-то вот и есть. И сказал себе человек: наполню житницы, накоплю сокровища. Пей, душа, веселись!.. Так я говорю? Эх, Галактион Михеич! Ведь вот умные люди, до всего, кажется, дошли, а этого не понимают.

— А разве виноват человек, если он не понимает, Тарас Семеныч?

— Кругом виноват... На то ему дан разум, — не ум, а разум. Богатство — это нож... Им можно много хорошего сделать, а делают больше зла... да.

— Опять-таки, Тарас Семеныч, и злой человек себе худа не желает... Все лучше думает сделать.

— Да, для себя... По пословице, и вор богу молится, только какая это молитва? Будем говорить пряменько, Галактион Михеич: нехорошо. Ведь я знаю, зачем ты ко мне-то пришел... Сначала я, грешным делом, подумал, что за деньгами, а потом и вижу, что совсем другое.

— Да, другое, — откликнулся Галактион, точно эхо. — Сегодня вот детей к тетке Агнии свез.

— И будешь возить по чужим дворам, когда дома угарно. Небойсь стыдно перед детьми свое зверство показывать... Вот так-то, Галактион Михеич! А ведь они, дети-то, и совсем большие вырастут. Вырасти-то вырастут, а к отцу путь-дорога заказана. Ах, нехорошо!.. Жену не жалел, так хоть детей бы пожалел. Я тебе по-стариковски говорю... И обидно мне на тебя и жаль. А как жалеть, когда сам человек себя не жалеет?

— А как вы думаете, Тарас Семеныч, бывают на свете проклятые люди? Так, от рождения?..

Луковников хотел что-то ответить, но в этот момент вошла Устенька сказать, что чай готов. Она очень удивилась, когда увидала Галактиона, и раскланялась с ним издали.

— Чай готов, папа.

— Что же, дело хорошее. Пойдем, Галактион Михеич.

Галактион тоже смутился. Он давно не видал Устеньки. Теперь это была совсем взрослая девушка, цветущая и с таким смелым лицом. В столовой несколько времени тянулась самая неловкая пауза.

— Галактион Михеич, я сегодня видела ваших детей, — заговорила первой Устенька. — Девочка такая милая и мальчик...

— Да? — спросил Галактион, не понимая. — Ах, да, дети!..

Наступила опять пауза. Устенька упорно отмалчивалась и старалась не смотреть на гостя, а потом торопливо выпила свою чашку и вышла.

— Ты вот что, Галактион Михеич, — заговорил Луковников совсем другим тоном, точно старался сгладить молодую суровость дочери. — Я знаю, что дела у тебя не совсем... Да и у кого они сейчас хороши? Все на волоске висим... Знаю, что Мышников тебя давит. А ты вот как сделай... да... Ступай к нему прямо на дом, объясни все начистоту и... одним словом, он тебе все и устроит.

— Мышников?

— Да, Мышников. Уж я-то его вот как хорошо знаю.

VI

Когда Галактион ушел, Устенька напала на отца с необыкновенным азартом.

— Папа, я решительно не понимаю, как ты можешь принимать таких ужасных людей, как этот Колобов. Он заколотил в гроб жену, бросил собственных детей, потом эта Харитина, которую он бьет... Ужасный, ужас-

ный человек!.. У Стабровских его теперь не принимают... Это какой-то дикарь.

— И я его тоже не хвалю... да. А мне его жаль. Ведь умница и характер — железо. Только как-то вся жизнь у него вверх дном. Одним словом, несчастный человек.

— Он? Несчастный?

— Совсем несчастный! Чуть-чуть бы по-другому судьба сложилась, и он бы другой был. Такие люди не умеют гнуться, а прямо ломаются. Тогда много греха на душу взял старик Михей Зотыч, когда насильно женил его на Серафиме. Прежде-то всегда так делали, а по нынешним временам говорят, что свои глаза есть. Михей-то Зотыч думал лучше сделать, чтобы Галактион не сделал так, как брат Емельян, а оно вон что вышло.

— И Михей Зотыч тоже дрянной. Ведь это он мельницы свои сжег?

— Ну, это еще неизвестно, Устенька. Могли и сами сгореть. Мало ли что зря болтают.

— Ты, папа, всегда и всех защищаешь, а так нельзя.

— Поживешь с мое, так и сама будешь то же говорить. Мудрено ведь живого человека судить... Взять хоть твоего Стабровского: он ли не умен, он ли не хорош у себя дома, — такого человека и не сыщешь, а вышел на улицу — разбойник... Без ножа зарежет. Вот тут и суди.

Для такой философии у Луковникова было достаточно материала. Особенно в последнее время пошатнулся народ, и совсем не разберешь, где кончается хороший человек и где начинается дурной. Да и вообще кругом делалось бог знает что. Не заметишь, как и сам попадешь в негодяи. Раздумывая о самом себе, Луковников приходил именно к такому заключению. Его дела с вальцовой мельницей затягивались в какой-то проклятый узел. Все операции давно вышли из всяких предварительных смет и намеченных бюджетов. Сама по себе мельница стоила около трехсот тысяч, затем около семисот тысяч требовалось ежегодно на покупку зерна, а самое скверное было то, что готовый товар приходилось реализовать в рассрочку, что составляло

еще около полумиллиона рублей. Около дела таким образом сосредоточивался в общей сложности капитал в полтора миллиона рублей. Таких денег налицо у Луковникова не было, и добрую половину приходилось добывать в кредит. Обороты этих трех капиталов, которые представляла собой мельница, зерно и готовый товар, шли с неравномерной скоростью, и трудно было подводить общий торговый баланс. Иногда каких-нибудь две недели стоили десятков тысяч, потому что все хлебное дело постепенно перешло в какую-то азартную игру. Рвал куши тот, кто умел поймать момент. Кроме того, в верховьях Ключевой выстроены были две новых вальцовых мельницы, представлявших очень опасную конкуренцию как при закупке зерна, так и при сбыте крупчатки. На рынок выдвигались страшные капиталы, которые беспощадно давили хлебную мелюзгу, как крупные хищники давят хлебных мышей. Сплетались тысячи условий, которые трудно было предугадать, и выдвигались с каждым годом всё новые.

Особенно характерен был для хлебного дела прошлый год, когда в полосе Зауралья, прилегавшей к горам, случился недород благодаря дождливому лету. Произошла крупная игра на хлеб степной полосы. Скупались миллионные партии, и мелкотравчатые мельники, как старик Колобов, остались совсем без зерна. Нечего было молоть. Шла именно игра, спекуляция с миллионным риском, а не обыкновенное промышленное дело. Тут выяснился в первый раз роковой вопрос, что золотое дно, каким до сих пор считалось Зауралье, не может обеспечивать равномерно хлебом работу всех мельниц. До сих пор рынок пополнялся из старых крестьянских запасов, а сейчас их уже не было, и приходилось жить одним годом. Производитель зерна жил от одной осени до другой и весь находился в полной зависимости от одного урожая. Этого раньше не было.

Окончательно достукала зауральского мужика только что открытая Уральская железная дорога. Это открытие совпало с неурожаем в Поволжье, и зауральский хлеб полился широкою волной в далекую Россию. От этой операции нажились главным образом верховые мельники, стоявшие в самом горле, то есть у железной

дороги. Они сбыли миллионные партии и нажили целые состояния. Мельница Луковникова тоже работала отлично, хотя и в менее выгодных условиях, проигрывая на летней перевозке гужом, — верховые мельники подвезли зерно по дешевой зимней дороге. Особенно один случай остался в памяти Луковникова как зловещий признак. Он еще с осени законтрактовал партию в тридцать тысяч мешков дешевого сибирского хлеба, которую Галактион обязался доставить на своих пароходах в Тюмень. Весна вышла неопределенная, и по официальным бюллетеням об урожае трудно было судить, что еще будет. В общем ожидался средний урожай, и цены на муку не поднимались. Луковников задержал партию на всякий случай, выжидая цену. Наступил июнь, а цены не поднимались. Тогда Луковников послал в Рыбинск своего доверенного и запродал всю партию чуть не за свою цену. Но не прошло двух недель, как цена сразу поднялась на два рубля с мешка, — другими словами, подожди он две недели, и это дало бы шестьдесят тысяч чистого барыша. Одним словом, шла самая отчаянная игра, и крупные мельники резались не на живот, а на смерть. Две-три неудачных операции разоряли в лоск, и миллионные состояния лопались, как мыльные пузыри. А тут еще помогал банк, закрывая кредит пошатнувшимся фирмам и увеличивая ссуды тем, которые и без этой помощи шли в гору.

Естественным результатом такого обострившегося порядка вещей было то, что по Ключевой началось сплошное разорение средней величины мельников, как старик Колобов. Это были жертвы даже не конкуренции, а биржевой игры на хлеб. У них был отнят и зерновой рынок, и кредит, и заперт семью печатями оптовый сбыт. Кое-кто еще держался, торгуя по мелочам, но в общем дело было конченное. Вопрос теперь заключался в том, что будет с полсотней крупчаточных мельниц, построенных на Ключевой. Первую мельницу-крупчатку поставил старик Колобов, и он же показал выход, когда застраховал две новых мельницы и сжег их. Это точно послужило сигналом. Мельничные пожары начали из года в год повторяться с

математическою точностью, так что знатоки дела вперед предсказывали, чьи теперь мельницы должны были гореть. И обреченные мельницы в указанный срок загорались.

Разъезжая по своим делам по Ключевой, Луковников по пути завернул в Прорыв к Михею Зотычу. Но старика не было, а на мельнице оставались только сыновья, Емельян и Симон. По первому взгляду на мельницу Луковников определил, что дела идут плохо, и мельница быстро принимала тот захудалый вид, который говорит красноречивее всяких слов о внутреннем разрушении.

— Ну, как вы тут поживаете, Емельян Михеич? — спрашивал гость.

— А ничего... Помаленьку.

— Чего тут помаленьку! — вступился не утерпевший Симон. — Совсем конец приходит, Тарас Семеныч... Тятенька-то забрал все деньги за сгоревшие мельницы и ушел с ними в скиты, а мы вот тут и выворачивайся, как знаешь.

— Слышал, слышал, — уклончиво ответил Луковников. — Что же, надо терпеть, пока молоды. Под старость будет зато легче.

— А я уйду, как сделал Галактион... Вот и весь разговор. Наймусь куда-нибудь в приказчики, Тарас Семеныч, а то буду арендовать самую простую раструсочную мельницу, как у нашего Ермилыча. У него всегда работа... Свое зерно мужички привезут, смелют, а ты только получай денежки. Барыши невелики, а зато и убытков нет. Самое верное дело...

— Правильно, Симон Михеич. Это точно... да. Вот и нашим вальцовым мельницам туго приходится... А Ермилыча я знаю. Ничего, оборотистый мужичонко и не любит, где плохо лежит. Только все равно он добром не кончит.

— Все мы плохо кончим... На людях и смерть красна.

Луковникову нравился этот молодой задор Симона. Вот так же Устенька любит спорить... Да, малому трудненько было жить на разоренной мельнице ни у чего. И жаль, и помочь нечем.

— И Галактиону не сладко приходится, — сказал Луковников, чтобы утешить чем-нибудь Симона. — Даже и совсем не сладко.

— Все-таки Галактион у своего дела, Тарас Семеныч. Сам большой, сам маленький... А мы с Емельяном, как говорится, ни к шубе рукав.

— А тятеньку-то забыл? Он теперь за всех в скитах своих вот как молится... Не ропщи, молодец.

Проезжая мимо Суслона, Луковников завернул к старому благоприятелю попу Макару. Уже в больших годах был поп Макар, а все оставался такой же. Такой же худенький, и хоть бы один седой волос. Только с каждым годом старик делался все ниже, точно его гнула рука времени. Поп Макар ужасно обрадовался дорогому гостю и под руку повел его в горницы.

— Вот уж угодил, можно сказать... — бормотал он. — Редкий гость, во-первых, а во-вторых...

Поповский язык точно замерз. Поп Макар придержал гостя и шепотом сообщил:

— А ведь там у меня того... значит, в горнице-то, нечестивый Ахав сидит.

— Какой Ахав?

— А Полуянов? Вместе с мельником Ермилычем приехал, потребовал сейчас водки и хвалится, что засудит меня, то есть за мое показание тогда на суде. Мне, говорит, нечего терять... Попадья со страхов убежала в суседи, а я вот сижу с ними да слушаю. Конечно, во-первых, я нисколько его не боюсь, нечестивого Ахава, а во-вторых, все-таки страшно...

«Нечестивый Ахав» действительно сидел в поповской горнице, весь красный от выпитой водки. Дорожная котомка и палка лежали рядом на стуле. Полуянов не расставался с своим ссыльным рубищем, щеголяя своим убожеством. Ермилыч тоже пил водку и тоже краснел. Неожиданное появление Луковникова немного всполошило гостей, а Ермилыч сделал движение спрятать бутылку с водкой.

— Не тронь... — остановил Полуянов. — Сие посох страннический.

По Зауралью Луковников слыл за миллионера, а затем он был уже четвертое трехлетие городским головой. Вообще именитый человек, и Ермилыч трепетал.

— Здравствуйте, господа, — просто поздоровался Луковников. — Как это ты сюда попал, Илья Фирсыч?

— Я-то? А даже очень просто... Пешком пришел сказать вот попу Макару и Ермилычу, что скручу их в бараний рог... да. Я не люблю исподтишка, а прямо действую.

— Не прежние времена, Илья Фирсыч, чтобы рога-то показывать, — ответил поп Макар, на всякий случай отступая к стенке. — Во-первых...

— Что-о? — зарычал Полуянов. — Да я... я... я вот сейчас выпью рюмку водки... а. Всех предупреждаю... Я среди вас, как убогий Лазарь, хуже, — у того хоть свое собственное гноище было, а у меня и этого нет.

— Богатство тоже к рукам, Илья Фирсыч, — заметил Луковников, подсаживаясь к столу. — И голова к месту, и деньги к рукам... Да и считать в чужих карманах легче, чем в своем.

— Х-ха! — замялся Полуянов. — А вот я в свое время отлично знал, какие у кого и в каких карманах деньги были. Знал-с... и все меня трепетали. Страх, трепет и землетрясенье...

— Да будет тебе... — останавливал его Ермилыч.

— Что-о?

— В самом деле, довольно, — заговорил Луковников. — В самом деле, никому не страшно. Да как-то оно и нехорошо: вон и борода седая, а говоришь разные пустые слова. Прошлого не воротишь.

— Нет, постойте... Вот ты, поп Макар, предал меня, и ты, Ермилыч, и ты, Тарас Семеныч, тоже... да. И я свою чашу испил до самого дна и понял, что есть такое суета сует, а вы этого не понимаете. Взгляните на мое рубище и поймете: оно молча вопиет... У вас будет своя чаша... да. Может быть, похуже моей... Я-то уж смирился, перегорел душой, а вы еще преисполнены гордыни... И первого я попа Макара низведу в полное ничтожество. Слышишь, поп?

— Ох, слышу!.. Пил бы уж ты лучше свою водку, Илья Фирсыч, да прилег отдохнуть.

— Не понравилось? Х-ха!.. Не любите? Х-ха!.. Не согласны? Х-ха!..

Запас энергии Полуянова вдруг исчез, он уже машинально выпил залпом две рюмки и заснул тут же на диване.

VII

Из своей «поездки по уезду» Полуянов вернулся в Заполье самым эффектным образом. Он подкатил к малыгинскому дому в щегольском дорожном экипаже Ечкина, на самой лихой почтовой тройке. Ечкин отнесся к бывшему исправнику решительно лучше всех и держал себя так, точно вез прежнего Полуянова.

— Вот не ожидал... да... — откровенно удивлялся Полуянов. — Прежние-то дружки смотреть не хотят, два пальца подают, а то и прямо отвертываются... да. Только в несчастии узнаешь людей.

— И все по-своему правы, Илья Фирсыч, — объяснял Ечкин. — Ведь все люди, если разобрать, одинаковы, потому что все — мерзавцы.

— Именно!

— Поэтому истинный философ никогда не огорчается... Вот посмотрите на меня: чего я не перенес? Каких гадостей про меня не говорили? А я все терплю и переношу.

— Именно!.. И я тоже много испытал, Борис Яковлич... Царствовал, можно сказать, а сейчас яко Иов многострадальный... Претерпел, можно сказать, до конца. И не ропщу... Только вот проклятого попа извести, и конец всему делу.

Харитон Артемьич, ждавший возвращения Полуянова с детским нетерпением, так и ахнул, когда увидел, как он приехал в одном экипаже с Ечкиным. Что же это такое? Обещал засудить Ечкина, а сам с ним по уезду катается...

— Ты это что, Илья Фирсыч? Никак совсем сбесился? — накинулся старик на Полуянова. — Обещал судиться с Ечкиным, а сам...

— Погоди, старче, гусей по осени считают.

— Да ты мне не заговаривай зубов! Мне ведь на свои глаза свидетелей не надо... Ежели ты в других зятьев пойдешь, так ведь я и на тебя управу найду. Я, брат, теперь все равно, как медведь, которого из берлоги подняли.

— А ты не сказывай никому... Сказанное слово серебряное, а не сказанное — золотое. Так я говорю? А потом, как ты полагаешь, ежели, например, этот самый Ечкин мне место предлагает? Да-с.

— Место? О-хо-хо!.. На подсудимую скамью вместо себя али в острог? О нем давно острог-то плачет.

— Да ты слушай: настоящее место. Он будет в Заполье железную дорогу строить, а я смотрителем.

— Друг на дружку будете смотреть да любоваться? Ох, прокураты!

— Ну, ладно... Смеется последний, как говорят французы. Понимаешь, ведь это настоящий пост: смотритель Запольской железной дороги. Чуть-чуть поменьше министра... Ты вот поедешь по железной дороге, а я тебя за шиворот: стой! куда?

— Ох, уморил!.. Ох, смертынька!.. Вам надо с Ечкиным тиятр открывать да представление представлять. Ох, животики надорвали!

Полуянов даже обиделся. Ечкин действительно предложил ему место на будущей железной дороге, и он с удовольствием согласился послужить. Что же, он еще в силах и может быть полезным, особенно где требуется порядок. Его, брат, не проведут... Х-ха! Полуянова провести, — нет, еще такой шельмы не родилось на белый свет. С другой стороны, Полуянов и не нуждался даже в этом месте, а принимал его просто по дружбе. У него и других мест достаточно. Сделайте милость, дела всякого сколько угодно. Во-первых, Замараев предлагает в своей кассе место бухгалтера, потом Харченко предлагает в газете работать.

Харченко действительно имел виды на Полуянова, — он теперь на всех людей смотрел с точки зрения завзятого газетчика. Мир делился на две половины: людей, нужных для газеты, и — людей бесполезных.

— Голубчик, ведь вы для нас настоящий клад, — уверял он Полуянова. — Ведь никто не знает так края, как вы.

— Да, немножко знаю... С завязанными глазами пройду пять уездов.

— И по истории у вас много есть интересных фактов.

— Чего лучше: сам история с географией.

Выбор между этими предложениями было сделать довольно трудно, а тут еще тяжба Харитона Артемьича да свои собственные дела с попом Макаром и женой. Полуянов достал у Замараева «законы» и теперь усердно зубрил разные статьи. Харитон Артемьич ходил за ним по пятам и с напряжением следил за каждым его шагом. Старика охватила сутяжническая горячка, и он наяву бредил будущими подвигами.

— Мне бы только начать, — мечтал он, — а там уж я и сам как-нибудь изловчился бы.

— Ну, это, брат, дудки! — огорошивал Полуянов. — Какие тебе законы, когда ты фамилию свою с грехом подписываешь?

— А я словесно.

— Нет, твоей словесности не требуется, а надо все по форме.

— Ох, уж эта мне форма!.. Зарез. Все по форме меня надували, а зятья лучше всех... Где же правда-то? Ведь есть же она, матушка? Меня грабят по форме, а я должен молчать... Нет, шалишь!

Полуянов мог только улыбаться, слушая этот бред, подводимый им под рубрику «покушений с негодными средствами». Он вообще усвоил себе постепенно покровительственный тон, разговаривая с Харитоном Артемьичем, как говорят с капризничающими детьми. Чтоб утешить старика, Полуянов при самой торжественной обстановке составлял проекты будущих прошений, жалоб и разных докладных записок.

— Ты у меня, как волчий зуб, — льстил Харитон Артемьич, благоговея перед искусством зятя, — да... Ох, ежели бы да меня учить, — сколько во мне этой самой злости!.. Прямо бери и сади на цепь.

— Тут злостью ничего не возьмешь. Пусти тебя в суд, ты первым бы делом всех обругал.

— Ох, обругал бы!.. А там хоть расколи на части... Только бы сердце сорвать.

— Вот то-то и есть. Какой же ты адвокат? Тебе оглоблю надо дать в руки, а не закон.

Никогда еще у Полуянова не было столько работы, как теперь. Даже в самое горячее время исправничества он не был так занят. И главное — везде нужен. Хоть на части разрывайся. Это сознание собственной нужности приводило Полуянова в горделивое настроение, и он в откровенную минуту говорил Харитону Артемьичу:

— Без меня, брат, как без поганого ведра, тоже не обойдешься... И тут нужен, и там нужен, и здесь нужен. Вот тебе и лишенный особенных прав и преимуществ... Х-ха!.. Вот только не знаю, куда окончательно пристроиться.

— А ты не разбегайся, — советовал Харитон Артемьич. — Ломи в одну точку, и шабаш. Значит, накаливай по одному месту.

— Не беспокойся, охулки на руку не положим.

— То-то... Первое дело, будем добывать проклятого писаря, а там закорчим и других.

Полуянов долго не решался сделать окончательный выбор деятельности, пока дело не решилось само собой. Раз он делал моцион перед обедом, — он приобретал благородные привычки, — и увидел новую вывеску на новом доме: «Главное управление Запольской железной дороги». Полуянов остановился, протер глаза, еще раз перечитал вывеску и сказал всего одно слово:

— Эге!

На другой день он, одетый с иголочки во все новое, уже сидел в особой комнате нового управления за громадным письменным столом, заваленным гроссбухами. Ему нравилась и солидность обстановки и какая-то особенная деловая таинственность, а больше всего сам Ечкин, всегда веселый, вечно занятый, энергичный и неутомимый. Одна квартира чего стоила, министерская обстановка, служащие, и все явилось, как в сказке, по

щучьему веленью. В первый момент Полуянов даже смутился, отозвал Ечкина в сторону и проговорил:

— А я думаю, Борис Яковлич, очки себе купить... дымчатые, в золотой оправе... да.

— Разве у вас глаза слабы?

— Нет... Но в очках как-то солиднее. Стабровский носит очки, Мышников, — одним словом, все серьезные люди.

— Отчего ж, можно и очки, — милостиво согласился Ечкин, думавший совсем о другом. — Да, конечно, очки...

— Купцы, и те нынче в очках ходят. Вон Евграф Огибенин... да.

На следующий день Полуянов явился в золотых очках и даже подстриг бороду à la граф Шамбор. Нельзя, дело было слишком серьезное, и каждая мелочь имела свое значение.

Все, знавшие Ечкина, смеялись в глаза и за глаза над его новой затеей, и для всех оставалось загадкой, откуда он мог брать денег на свою контору. Кроме долгов, у него ничего не было, а из векселей можно было составить приличную библиотеку. Вообще Ечкин представлял собой какой-то непостижимый фокус. Его новая контора служила несколько дней темой для самых веселых разговоров в правлении Запольского банка, где собирались Стабровский, Мышников, Штофф и Драке.

— Это какое-то безумие, — говорил Мышников. — Я на месте Ечкина давно бы повесился, а он железную дорогу строить придумал.

— Будет стеариновые свечи возить с закрытого завода, — вышучивал Штофф. — Даже можно так и назвать: стеариновая дорога...

— Что-нибудь тут кроется, господа, — уверял Стабровский. — Я давно знаю Бориса Яковлича. Это то, что называют гением без портфеля. Ему недостает только денег, чтобы быть вполне порядочным человеком. Я часто завидую его уму... Ведь это удивительная голова, в которой фейерверком сыплются самые удивительные комбинации. Ведь нужно было придумать дорогу...

— Да, гений... — соглашался Мышников. — Совсем нового типа гений: вексельный. Ему все равно — терять нечего... Недостает только, чтоб он объявил какую-нибудь войну.

— Какую войну? — не понимал, по обыкновению, Драке.

— Мало ли какую... Была же какая-то война за испанское наследство. Вот бы Ечкину примазаться в самый раз.

Вообще банковские воротилы имели достаточно времени для подобных разговоров. Дела банка шли отлично, и банковские акции уже поднялись в цене в два с половиной раза.

Пока банковские заправилы шутили, Ечкин неутомимо хлопотал. Он то пропадал из Заполья, то снова появлялся, точно метеор. И только один Полуянов, сохранивший чутье старого сыщика, понял, наконец, в чем дело. Ечкин, потихоньку от всех, «разрабатывал» неприступного миллионера Нагибина. Какими путями он пробрался к нему, чем заслужил доверие этого никому не верившего скряги, — оставалось неизвестно. Но Полуянов отлично знал, что по вечерам, когда стемнеет, Ечкин ездил к Нагибину, жившему на краю города, и проводил там по нескольку часов. Конечно, даром Ечкин не стал бы терять золотое время. Он, впрочем, не один раз возвращался в изнеможенном отчаянии, брал Полуянова за пуговицу его сюртука и говорил:

— Ведь я — святой человек, Илья Фирсыч, святой по терпению... Господи, чего только я не терплю? Нет, кажется, такой глупости, которую не приходилось бы проделывать. И, ей-богу, не для себя хлопочу, а для других...

— Глупый народ, Борис Яковлич... Ничего не понимают. Я тоже натерпелся вполне достаточно...

— Да, да... Например, деньги — что такое деньги, когда они лежат без всякой пользы? Это все равно — если хорошенькую женщину завязать в мешок... да. Хуже: это разврат.

— Совершенный разврат, Борис Яковлич.

— Нужно быть сумасшедшим, чтобы не понимать такой простой вещи. Деньги — то же, что солнечный свет, воздух, вода, первые поцелуи влюбленных, — в них скрыта животворящая сила, и никто не имеет права скрывать эту силу. Деньги должны работать, как всякая сила, и давать жизнь, проливать эту жизнь, испускать ее лучами.

— Я то же самое всегда думал, Борис Яковлич.

Таинственные визиты Ечкина к Нагибину закончились совершенно неожиданно. Даже видавший всякие виды на своем веку Полуянов ахнул, когда Ечкин однажды утром заявил ему:

— Илья Фирсыч, вы мне сегодня нужны... Ведь вы умеете быть шафером?

— Случалось. Только я-то сейчас не гожусь. Шафером бывают молодые, неженатые люди, а я... гм...

— Э, пустяки!.. Там где-то нужно что-то такое расписаться, — одним словом, глупая формальность.

— Свидетелем могу быть.

— Дело в следующем... да. Ведь вы знаете, что у этого миллионера Нагибина есть девица-дочь. Ей уже за тридцать... да. А ведь женщина — тоже капитал, который необходимо реализировать. Хорошо. Вы помните, что есть молодой человек Колобов, Симон? Он сидит на отцовской мельнице совсем без дела и ловит мух. Я и поехал к нему на мельницу и все объяснил. Если он женится на Нагибиной, у него будет все. Понимаете?.. Ну, конечно, молодой человек сначала ничего не понимал... Мне же пришлось ему объяснять, что ранняя молодость и женская красота в семейной жизни еще не составляют счастья, а нужно искать душу... Понимаете?.. Ломался-ломался, а я все-таки его привез и прямо к Нагибиным. Пришлось быть сватом. Без меня у них ничего бы не вышло. Так вот, будет свадьба, такая — без шуму, и вы будете свидетелем.

Полуянов смотрел на Ечкина с раскрытым ртом, потом схватил его за руку и восторженно проговорил:

— Борис Яковлевич... Ведь это что же такое, а? Это... это... Вам бы по-настоящему сибирским исправником быть!

VIII

Мы уже сказали выше, что за время отсутствия Полуянова в Заполье было открыто земство. В соседних губерниях земские учреждения действовали уже давно и успели пережить первую горячую пору увлечений, так что запольские земцы уже не увлекались ничем. Да и контингент гласных был почти тот же, что и в думе, с прибавкой нескольких мужиков, писарей и деревенских попов, как о. Макар из Суслона. В Запольском уезде не было ни одного помещика, поэтому земство получило отчасти купеческий характер. Из новых людей выдались сразу Замараев, двоюродный брат Прасковьи Ивановны Голяшкин, повторявший, как эхо, чужие слова, Евграф Огибенин и уже известные дельцы, как Мышников, Штофф и компания. К числу новых людей можно было отнести Стабровского. Его даже выбаллотировали в председатели земской управы, но он великодушно отказался в пользу кандидата, которым был Огибенин. И здесь, как в думе, подавлял всех Мышников, но его влияние в земских делах уже не имело той силы, как в купеческой думе. В земстве составился совершенно самостоятельный кружок гласных, не зависевших от Запольского банка, и Мышников получал отпор при каждой попытке проявить свой деспотизм. Он свои неудачи теперь вымещал на Огибенине, которого преследовал по пятам. В земских делах особенную силу получила гласность. Харченко попал в число гласных и работал по земским вопросам с каким-то ожесточением. Его прочили уже в члены управы. Недостаток людей чувствовался в земстве еще больше, чем в думе, и работала небольшая кучка. Вообще деятельность земства проявила себя с очень хорошей стороны, а главное — дело шло совершенно независимо от всяких посторонних влияний.

Деятельность этого нового земства главным образом выразилась в развитии народного образования. В уезде школы открывались десятками, а в больших селах, как Суслон, были открыты по две школы. Пропагандировал школьное дело Харченко, и ему даже

предлагали быть инспектором этих школ, но он отказался. Газета, типография и библиотека отнимали почти все время, а новых помощников было мало, да и те были преимущественно женщины, как Устенька.

— Было бы дело, а люди будут, — уверенно повторял Харченко.

По земским делам Харченко особенно близко сошелся со стариком Стабровским. Этому сближению много способствовала Устенька. Она знала, что Стабровский увлекается земством и в качестве влиятельного человека может быть очень полезен. Вышла довольно комичная сцена первого знакомства.

— Мы с вами враги по части банковских и винокуренных дел, — откровенно объяснил Стабровский, — но думаю, что будем друзьями в земстве.

— Это будет видно.

— Я почти уверен... Здесь наши интересы вполне совпадают.

Стабровский никогда и ничего не делал даром, и Устенька понимала, что, сближаясь с Харченкой, он, с одной стороны, проявлял свою полную независимость по отношению к Мышникову, с другой — удовлетворял собственному тяготению к общественной деятельности, и с третьей — организовал для своей Диди общество содержательных людей. В логике Стабровского все в конце концов сводилось к этой Диде, которая была уже взрослою барышней.

— Сморчок какой-то, — резюмировала Дидя свое впечатление, познакомившись с Харченкой. — Я удивляюсь пристрастию папы к разным монстрам.

Устенька бывала у Стабровских довольно часто, хотя и с перерывами. Но стоило ей не быть с неделю, как старик встречал ее ворчаньем и выговорами. Он вообще заметно старился, делался требовательнее и брюзжал, как настоящий старик. Устеньку забавляло, как он ревновал ее ко всем и требовал самого подробного отчета в поведении, точно отец. С другой стороны, это упорное внимание трогало и подкупало ее. Она так любила Стабровского, когда он был у себя дома. В нем было столько какой-то неудовлетворенной жажды деятельности, особенной теплоты и еще более

особенной польской культурности. Никто так не умел взвесить и оценить во всех мельчайших подробностях всякое новое явление, как Стабровский. В земской деятельности он хотел точно искупить самого себя и отдавался ей с жаром молодого человека.

— Ах, как я завидую вам, молодым людям! — повторял он с какою-то тоской. — Ведь перед вами целая жизнь впереди. Жаль подумать, в какое время нам пришлось прожить свою молодость. Я тебе как-нибудь расскажу, Устенька. Да, тяжелое было время. Когда говорят о недостатках и недочетах настоящего, я всегда вспоминаю это далекое прошлое, бесправное, несправедливое и темное. Ведь теперь каждая земская школа является уже светлым лучом, знамением времени, залогом будущего... Впереди — грамотная Россия, свободный труд, нарастающая культура!

Насколько сам Стабровский всем интересовался и всем увлекался, настолько Дидя оставалась безучастной и равнодушной ко всему. Отец утешал себя тем, что все это результат ее болезненного состояния, и не хотел и не мог видеть действительности. Дидя была представителем вырождавшейся семьи и не понимала отца. Она могла по целым месяцам ничего не делать, и ее интересы не выходили за черту собственного дома.

Когда приходила Устенька, Стабровский непременно заводил речь о земстве, о школах и разных общественных делах, и Устенька понимала, что он старается втянуть Дидю в круг этих интересов. Дидя слушала из вежливости некоторое время, а потом старалась улизнуть из комнаты под первым предлогом. Старик провожал ее печальными глазами и грустно качал головой.

Раз, среди самого серьезного разговора, Устенька неожиданно спросила старика:

— Скажите, Болеслав Брониславич, вы очень не любите Галактиона Михеича?

— Да, не люблю.

— Не будет с моей стороны нескромным вопросом, если спрошу: за что?

— Причин достаточно, а главная — та, что из него вышло совсем не то, что я предполагал. Впрочем, это

часто случается, что мы в людях не любим именно свои собственные ошибки. А почему тебя это интересует?

— Да так... Он нынче бывает у отца, и я возмущалась, что отец его принимает.

— Ах, это совсем другое дело! Мы, старики, в силу вещей, относимся к людям снисходительнее, хотя и ворчим. Молодость нетерпима, а за старостью стоит громадный опыт, который говорит, что на земле совершенства нет и что все относительно. У стариков, если хочешь, своя логика.

Устенька не без ловкости перевела разговор на другую тему, потому что Стабровскому, видимо, было неприятно говорить о Галактионе. Ему показалось в свою очередь, что девушка чего-то не договаривает. Это еще был первый случай недомолвки. Стабровский продумал всю сцену и пришел к заключению, что Устенька пришла специально для этого вопроса. Что же, это ее дело. Когда девушка уходила, Стабровский с особенной нежностью простился с ней и два раз поцеловал ее в голову.

— Умница ты моя... — повторял он взволнованно.

Раз, когда Устенька была одна, неожиданно заявился Галактион. Она встретила его довольно сурово, но он, кажется, совсем был нерасположен что-нибудь замечать.

— Папы нет дома.

— Нет? А я его подожду.

— Как хотите.

Он говорил таким тоном, каким говорят с прислугой. Устенька обиделась и вышла из комнаты. Пусть сидит один, невежа! Галактион действительно сидел у стола и ничего не хотел замечать. Устенька два раза посмотрела на него в щель двери и совсем рассердилась. В самом деле, это нахальство — явиться в дом, сесть и не обращать ни на кого внимания. Устенька волновалась. Ее раздражение достигло высшей степени, когда она услышала, что Галактион сидит и смеется. Нет, это уж слишком... Она вышла к Галактиону и увидела, что он сидит с последним номером «Запольского курьера» и хохочет.

— Может быть, вам что-нибудь нужно передать папе?

— Ах, это вы, барышня! — удивился Галактион, продолжая смеяться.

— Чему вы смеетесь?

— Да очень уж смешно в газете пишут.

— Ничего смешного нет.

— Да вы не читали... Вот посмотрите — целая статья: «Наши партии». Начинается так: «В нашем Заполье городское общество делится на две партии: старонавозная и новонавозная». Ведь это смешно? Пишет доктор Кочетов, потому что дума не согласилась с его докладом о необходимых санитарных мерах. Очень смешные слова доктор придумал.

— А по-моему, так это просто неприличные слова... Вероятно, и доктор придумал их в ненормальном состоянии.

— Ничего вы не понимаете, барышня, — довольно резко ответил Галактион уже серьезным тоном. — Да, не понимаете... Писал-то доктор действительно пьяный, и барышне такие слова, может быть, совсем не подходят, а только все это правда. Уж вы меня извините, а действительно мы так и живем... по-навозному. Зарылись в своей грязи и знать ничего не хотим... да. И еще нам же смешно, вот как мне сейчас.

— Кто же вам велит так жить?

— Кто велит?.. Вот видите, барышня, как я с вами буду разговаривать... Если вам сказать все прямо, так вы, пожалуй, и обидитесь.

— Можно все говорить, если серьезно.

— Да? Так... Хорошо. Прежде всего все мы звери. Вы скажете: «Ах, это мужчины звери, а женщины бедные» и прочее. Так? Хорошо? Отчего же теперь постоянно такая вещь выходит: вот я вдовец, у меня дети, я женюсь на хорошей девушке, а эта хорошая девушка и начинает изживать со свету моих детей?.. Одним словом, мачеха. Ведь таких случаев сколько угодно-с... да. Значит, у мужчины одно зверство, а у женщины другое, а вместе нам одно название: звери. Конечно, есть такие особенные хорошие люди, да лиха беда, что

их очень уж мало... Вот переберите-ка свои поступки и обдумайте... да. Так-то вот я часто про себя думаю... Думаешь-думаешь — и даже страшно сделается. Да разве это я? да разве я такой?.. Если бы про другого рассказали это, так не поверил бы... да.

— И я не верю.

— Кому?

— Вам... Да, не верю. Вы — нехороший человек... Вам этого никто не смеет сказать, а я скажу, чтобы вы и сами знали. Ведь каждый человек умеет очень хорошо оправдывать только самого себя.

Девушка раскраснелась и откровенно высказала все, что сама знала про Галактиона, кончая несчастным положением Харитины. Это был целый обвинительный акт, и Галактион совсем смутился. Что другие говорили про него — это он знал давно, а тут говорит девушка, которую он знал ребенком и которая не должна была даже понимать многого.

— Да, да, да... — азартно повторяла Устенька, точно Галактион с ней спорил. — И я удивляюсь, как вы решаетесь приходить к нам в дом. Папа такой добрый, такой доверчивый... да. Я ему говорила то же самое, что сейчас говорю вам в глаза.

Галактион поднялся бледный, страшный, что-то хотел ответить, но только махнул рукой и, не простившись, пошел к двери. Устенька стояла посреди комнаты. Она задыхалась от волнения и боялась расплакаться. В этот момент в гостиную вошел Тарас Семеныч. Он посмотрел на сконфуженного гостя и на дочь и не знал, что подумать.

— Галактион Михеич, куда же ты бежишь?

Галактион обернулся и, показывая на Устеньку, проговорил всего одно слово:

— Она права.

У Луковникова произошло довольно неприятное объяснение с дочерью:

— Устенька, так нельзя. Наконец, какое ты имела право оскорблять человека в своем доме?

— А если я не могу, папа?.. Ведь вы все молчите, а я взяла и сказала. Я ему все сказала.

— И он тоже все сказал... Ведь хороший бы человек из него мог быть, если бы такая голова к месту пришлась.

По своему характеру Луковников не мог никого обидеть, и поведение Устеньки его серьезно огорчило. В кого она такая уродилась? Права-то она права, да только все-таки не следовало свою правоту показывать этаким манером. И притом девушка — она и понимать-то не должна Харитининых дел. Старик почти не спал всю ночь и за утренним чаем еще раз заметил:

— А я все-таки не согласен с тобой, Устенька. И правде бывает не место. Какие мы с тобой судьи? Ты думаешь, он сам хуже нашего понимает, где хорошо и где нехорошо?

Устенька выслушала все и ничего не ответила. Тарас Семеныч только пожал плечами и по пути в свою думу заехал к Стабровскому. Он очень волновался, рассказывая все подробности дела.

— Ах, милая, милая! — восхищался Стабровский.— Господи, если б у меня была такая дочь! Ведь это молодое, чистое золото, Тарас Семеныч... Да я сейчас же поеду к ней и расцелую ее. Бедняжка, наверное, теперь волнуется.

— Нет, этого вы, пожалуйста, не делайте, Болеслав Брониславич. Пусть уж лучше она одна про себя раздумается.

IX

Галактион приходил к Луковникову с специальною целью поблагодарить старика за хороший совет относительно Мышникова. Все устроилось в какой-нибудь один час наилучшим образом, и многолетняя затаенная вражда закончилась дружбой. Галактион шел к Мышникову с тяжелым сердцем и не ожидал от этого похода ничего хорошего, а вышло все наоборот. Сначала Мышников отнесся к нему недоверчиво и с обычною грубоватостью, а потом, когда Галактион откровенно объяснил свое критическое положение, как-то сразу отмяк.

— Что же вы мне раньше ничего не сказали? — заметил Мышников с укором делового человека. — Без Стабровского можно обойтись, и даже очень.

— Да ведь вы, Павел Степаныч, знали положение дела. Что тут было говорить? Потом мне казалось, что вы относитесь ко мне...

— Вздор!.. Никак я не относился... У меня уж такой характер, что всем кажется, что я отношусь как-то нехорошо. Ваше дело хорошее, верное, и я даже с удовольствием могу вам помочь.

Собственно деловой разговор занял очень немного времени.

— Вы понимаете, что если я даю средства, то имею в виду воспользоваться известными правами, — предупреждал Мышников. — Просто под проценты я денег не даю и не желаю быть ростовщиком. Другое дело, если вы мне выделите известный пай в предприятии. Повторяю: я верю в это дело, хотя оно сейчас и дает только одни убытки.

Это был самый лучший исход, и деньги Мышникова не ложились на пароходство займом, а входили живым капиталом. Главное — не было никаких нравственных обязательств и ответственности. Подсчитав актив и пассив, Мышников решил так:

— Скажу вам откровенно, Галактион Михеич, что всех своих денег я не могу вложить в пароходство, а то, что могу вложить, все-таки мало. Ведь все дело в расширении дела, и только тогда оно сделается выгодным. Так? Отчего вы не обратились к Штоффу, тем более что он не чужой вам человек?

— Вот именно последнее и служит препятствием, Павел Степаныч. С посторонним человеком всегда как-то легче вести дело и даже получить отказ не обидно.

— В таком случае позвольте мне с ним переговорить. Я думаю, что наша компания всего лучше устроится на таких основаниях: у вас два пая, а у меня со Штоффом по одному.

Галактиону приходилось только соглашаться. Да как и было не согласиться, когда все дело висело на волоске? Конечно, было жаль выпускать из своих рук целую половину предприятия, но зато можно было

расширить дело. А главное заключалось в том, что компаньоны-пароходчики составляли большинство в банковском правлении и могли, в случае нужды, черпать из банка, сколько желали.

Одним словом, все дело устроилось наилучшим образом, и Галактион не смел даже мечтать о таком успехе. Оставалось только оформить договор и приступить к делу уже «сильною рукой», как говорил Павел Степаныч. Именно под этим впечатлением Галактион и отправился к Луковникову, чтобы поделиться со стариком своею радостью, а вместо этого получился такой разгром, какого он еще не испытывал. Кто угодно выскажи ему то же самое, что говорила Устенька, не было бы так обидно, а тут удар был нанесен такою чистою и хорошею рукой.

Выйдя от Луковникова, Галактион решительно не знал, куда ему идти. Раньше он предполагал завернуть к тестю, чтобы повидать детей, но сейчас он не мог этого сделать. В нем все точно повернулось. Наконец, ему просто было совестно. Идти на квартиру ему тоже не хотелось. Он без цели шел из улицы в улицу, пока не остановился перед ссудною кассой Замараева. Начинало уже темнеть, и кое-где в окнах мелькали огни. Галактион позвонил, но ему отворили не сразу. За дверью слышалось какое-то предупреждающее шушуканье.

— Дома Флегонт Васильевич? — спросил Галактион горничную.

Горничная посмотрела на него какими-то оторопелыми глазами и потом убежала. Галактион снял пальто и вошел в гостиную. Где-то захлопали двери и послышался сердитый шепот.

«Они, кажется, здесь с ума сошли?» — невольно подумал Галактион.

В этот момент открылась дверь хозяйского кабинета, и в дверях показался Голяшкин, одетый во фрак, белый галстук и белые перчатки. Он поманил гостя пальцем к себе.

— Ну, Галактион Михеич, ты нам всю обедню испортил, — шепотом заявил Голяшкин, запирая за собой дверь. — Ни раньше, ни после тебя принесло. Горнич-

ной-то прямо было наказано никого не принимать, а она увидала тебя и сбежала. Известно, дура.

— Куда это ты вырядился-то петухом галанским?

— Я-то? А мы на свадьбу.

Голяшкин зажал себе рот и изобразил ужас.

— Ох, продал проклятый язык! — виновато забормотал он, озираясь на запертую дверь. — Ведь сегодня твоего брата Симона женим... да.

— Симона?

— Его самого... В том роде выходит, что не невеста убегом выходит замуж, а жених. Совсем особенное дельце.

— Ничего не понимаю.

— И я тоже... Спроси Ечкина: он все оборудовал.

Теперь Галактион уже решительно ничего не понимал. Его выручил появившийся Замараев. Он еще в первый раз в жизни надел фрак и чувствовал себя, как молодая лошадь в хомуте.

— Накрыл ты нас, Галактион Михеич, — заговорил он, стараясь придать голосу шутливый тон. — Именно, как снег на голову. Мы-то таимся, а ты тут как тут.

После некоторого ломанья Замараев рассказал все подробности предстоящей свадьбы. Галактион выслушал и спросил только одно:

— А отец ничего не знает?

— Никто и ничего не знает. Ечкин обернул дело уж очень скоро. Симон-то на отчаянность пошел. Всего и свидетелей трое: мы с Голяшкиным да Полуянов. В том роде, как бывают свадьбы-самокрутки.

— Отчего же Симон мне ничего не сказал? Ведь не чужие.

— А уж об этом ты его спроси сам.

— Хорошо, я спрошу. Вместе с вами поеду на свадьбу. Вперед не обманывайте добрых людей.

— Чего же тут обманывать? Слава богу, Симон-то Михеич не двух лет по третьему. В своем уме паренек.

— Оно и похоже, что в своем.

— Да ведь и ты, Галактион Михеич, женился не по своей воле. Не все ли одно, ежели разобрать? А я так полагаю, что от своей судьбы человек не уйдет.

Значит, уж Симону Михеичу выпала такая часть, а суженой конем не объедешь.

На этот разговор вышла Анна Харитоновна и начала уговаривать Колобова не ездить на свадьбу. Но эта политика суслонской писарихи имела как раз обратное действие. Галактион заявил решительно, что поедет.

— Ну, как знаете, Галактион Михеич, — обиделась Анна, — я, значит, вам же добра желаю. Прежде-то соседями живали, так оно тово...

Замараев едва успел придумать предупредительную меру, — он потихоньку послал Голяшкина вперед, а сам поехал вместе с Галактионом.

— Я вас на своей лошадке подвезу, Галактион Михеич.

— А Голяшкина загонщиком послал? Не бойся, будут рады.

— Мне-то что же? Не к чужому человеку едете, а я только так... вообще...

Предупрежденный Симон встретил брата спокойно, хотя и с затаенной готовностью дать отпор. Свадьба устраивалась в нагибинском доме, и все переполошились, когда узнали, что едет Галактион, особенно сама невеста, уже одевавшаяся к венцу. Это была типичная старая девица с землистым цветом лица и кислым выражением рта.

— Где Ечкин? — спрашивала она, бросая свои наряды.

Как на грех, Ечкин, вертевшийся все время на глазах, куда-то пропал. Старик Нагибин совершенно растерялся и спрятался со страха.

— Позовите сюда Галактиона Михеича, — решила невеста. — Я сама с ним поговорю. А главное — чтоб он не оставался с глазу на глаз с Симоном.

Посредником явился все тот же Голяшкин, точно он готов был вылезть из собственной кожи.

— Галактион Михеич, вас невеста зовет. Пожалуйте к ним в комнату. Они вам хотят словечко сказать... очень просили.

Так братья и не успели переговорить. Впрочем, взглянув на Симона, Галактион понял, что тут всякие

разговоры излишни. Он опоздал. По дороге в комнату невесты он встретил скитского старца Анфима, — время проходило, минуя этого человека, и он оставался таким же черным, как в то время, когда венчал Галактиона. За ним в скит был послан нарочный гонец, и старик только что приехал.

Когда Галактион вошел в комнату, его встретила невеста и подала первая сухую и костлявую руку.

— Милости просим, Галактион Михеич, — заговорила она, подавляя невольное волнение. — Вы это очень хорошо сделали, что приехали к нам на свадьбу. Я даже не знала, что вы в городе.

— И я тоже случайно узнал про вашу свадьбу. Извините, я даже не знаю, как вас зовут.

— Натальей, а отца Осипом, — значит, вышла Наталья Осиповна.

Невеста говорила теперь уже совсем смело, овладев собой. Она сделала Голяшкину знак глазами, чтоб он убирался.

— Садитесь, — предложила она. — У нас все так скоро случилось, что даже не успели оповестить родных. Уж вы извините. Ведь и ваша свадьба тоже скороспелкой вышла. Это прежде тянули по полугоду, да и Симон Михеич очень уж торопил.

— Что же, я ничего не говорю. Вам жить с Симоном, вам и знать, как и что.

— О нас не беспокойтесь, — с улыбкой ответила невеста. — Проживем не хуже других. Счастье не от людей, а от бога. Может быть, вы против меня, так скажите вперед. Время еще не ушло.

— Я? Нет, я ничего не могу сказать. Конечно, оно как-то неловко, что Симон женится тайком, а впрочем, все равно.

— Он стыдится, что берет жену старше себя, — объяснила невеста без заминки.

Невеста понравилась Галактиону своим решительным характером. Именно такую жену и нужно бесхарактерному и податливому Симону. Эта будет держать его в руках.

Когда жених, а потом невеста уехали в моленную, явился Ечкин, весь сиявший румянцем и бриллиантами.

Увидев шагавшего по пустой гостиной Галактиона, он радостно крикнул:

— Кого я вижу! Вот удружил, что сам догадался приехать! А я нарочно разыскивал тебя по всему городу.

— Не ври ты, пожалуйста, — оборвал его Галактион. — Ты это все устроил потихоньку. Не беспокойся, понимаю, что тебе нужно. Обрабатываешь этого старого дурня?

— Тсс... Ради бога, тише!.. Просто, не могу видеть мертвый капитал, а каждая девушка и молодой человек — именно мертвый капитал.

— Перестань морочить. Одно скажу: ловко. Да, очень ловко.

Пока происходило длинное раскольничье венчание, старик Нагибин заперся в своей собственной моленной и все время молился, откладывая земные поклоны. Он даже прослезился и все шептал: «Слава тебе, господи!»

Из свидетелей запоздал к обряду один Полуянов, но зато он вернулся из моленной первым. Его встретил на крыльце Нагибин, расцеловал и все повторял:

— Слава тебе, господи!

— Что же, дело правильное, Осип Григорьич. И в писании сказано: не хорошо жити единому.

Против общего ожидания скороспелый свадебный стол прошел очень оживленно. Невесту провожали совершенно неизвестные Галактиону раскольничьи девушки, вырядившиеся в старинные парчовые сарафаны, а одна даже была в кокошнике. Старец Анфим за столом попал между Полуяновым и Ечкиным и под столом несколько раз перекрестил «жида». Молодая держала себя очень свободно, просто и смотрела на мужа уже с чувством собственности. Приехавшая к свадебному столу Анна Харитоновна не могла надивиться: давно ли вот эта самая Наташа была такая тихая да застенчивая, а тут откуда прыть взялась. Мужчины скоро подвыпили, и поднялось свадебное галденье. Выпил и сам старик Нагибин. Пошатываясь, он обходил всех гостей, всех целовал и всем повторял одно и то же:

— Слава тебе, господи! Родимые мои, слава тебе, господи!

Ечкин сидел рядом с Галактионом и несколько раз толкал его локтем.

— Посмотри на Замараева и Голяшкина: эти два плута далеко пойдут, — шептал он.

— Не дальше тебя, Борис Яковлич.

Галактион все время молчал, находясь под впечатлением давешней сцены с Устенькой. Если б она увидала этот пир благочестивых разбойников! — ведь все разбойники, как одна масть, и невеста разбойница.

X

Свадьба Симона, как и свадьба Галактиона, закончилась крупным скандалом, хотя и в другом роде. Еще за свадебным столом Замараев несколько раз подталкивал Симона и шептал:

— Ты, смотри, не дай маху. Сейчас же требуй денег с тестя.

— Да неловко как-то, Флегонт Васильич. Как-нибудь потом.

— А ты не будь дураком. Эх, голова — малина! У добрых людей так делается: как ехать к венцу — пожалуйте, миленький тятенька, денежки из рук в руки, а то не поеду. Вот как по-настоящему-то. Сколько по уговору следовает получить?

— Никакого уговора не было. Ведь одна дочь.

Замараев вскипел и обругал молодого:

— Убил ты бобра, Симон... да. Ну, не дурак ли ты после этого, а? Да ведь тебя как бить надо, а?

Симон обиделся и обругал Замараева.

— Да ведь я тебе добра желаю, пень ты березовый! Вот ужо помянешь меня добрым словом.

Молодые должны были ехать на мельницу в Прорыв через два дня. Замараева мучило глупое поведение Симона, и он забегал к нему несколько раз за справками. Эти приставанья начали тревожить Симона. Он потихоньку выпил для храбрости коньяку и решил объясниться со стариком начистоту.

— Тятенька, как, значит, я с женой уезжаю завтра на мельницу, так нам надо, значит... Вообще насчет капиталов.

У Нагибина сейчас же сделалось испуганное лицо, и он, по обыкновению, прикинулся непонимающим и даже глухим.

— Каких капиталов? — переспросил он.

— Ведь у вас, тятенька, одна дочь, и, значит, должны вы ее наградить.

— За что это награждать-то, милый зять?

— Да уж так ведется.

— А, ты вот про что! Ну, это ты даже совсем напрасно. Приданое за дочерью я дал в полной форме, а что касаемо капиталов, так у меня их и у самого-то нет.

Симон опешил и не знал, что ему говорить.

— Нет у меня ничего, — уверял старик. — Вот хоть сейчас образ со стены сниму. Зря про меня болтают. Я-то женился сам на босоножке, только что на себе было, а ты вон капиталов требуешь.

Этим все разговоры и кончились. Симон отправился к Замараеву и передал свой разговор с тестем.

— Врет, все врет! — клялся Замараев всеми святыми. — А ты прямо на горло ему наступи. Эх, горе ты лыковое. Ты его, старого черта, припугни хорошенько. Да нет, у тебя ничего не выйдет. Тоже свадьба называется! Вот что: ведь вы едете в Суслон, и старик туда же притащится? Ну, и я поеду. У нас с Голяшкиным зуб разыгрался. Мы уж на мельнице выправим настоящую-то свадьбу. И старика прижмем. Скажи прямо: так и так, богоданный тятенька, очень я задолжал Замараеву, и грозит он меня в острог засадить. Вот погляди, как жена-то за тебя уцепится.

Симон чуть не плакал. Он надеялся через женитьбу вырваться с мельницы, а тут выходило так, что нужно было возвращаться туда же со старою «молодой». Получился один срам. Оставалась последняя надежда на Замараева.

Принял участие в деле и Голяшкин, считавший себя до известной степени прикосновенным к делу лицом,

как участник. Даже был вызван Полуянов для необходимого совещания.

— Это ведь мы подвели парня, — говорил Голяшкин. — Надо его выручать.

— Трудненько выручать-то, — соображал Полуянов. — Вот ежели бы была устроена рядная запись, или ежели бы я был исправником. Тогда бы я ему показал! Я бы его выворотил на левую сторону!

На этот конгресс попал даже Харитон Артемьич, разыскивавший Полуянова по всему городу. Старик одолевал своего поверенного и успел ему надоесть.

— А, свидетели! — сообразил Харитон Артемьич. — Чужое наследство делите? Ловко вас обзатылил Осип-то Григорьич. Эх вы, горькие!

— Вот видите? — огорчился Голяшкин. — Теперь над нами все будут смеяться.

— Летать любите, а садиться не умеете, — не унимался старик. — То-то. А знаете пословицу: свату первая палка. Наступите на жида: его рук дело.

— И то, братцы! — спохватился Замараев. — Что же это мы дураков валяем?

Полуянов скромно отмахивался, как лицо заинтересованное. Выходило настоящее похмелье в чужом пиру. Да и так он не посоветовал бы посылать Ечкина для переговоров. Как раз он получит деньги, да себе в карман и положит, как было с стеариновой фабрикой. Хороший человек, а деньги показывать нельзя.

— Давайте я схожу к старику, — предлагал Харитон Артемьич.

— Нет, тятенька, вам никак невозможно, — протестовал Замараев. — Известно, какой у вас неукротимый характер. Еще обругаете, а то и врукопашную пойдете.

Пока шли эти конференции, дело разрешилось само собой. Молодая узнала об этих недоразумениях слишком поздно и принялась стыдить мужа.

— Ты это что придумал-то? Ведь я одна дочь у отца, и все мне достанется. Зачем грешить прежде времени? Папаша уж старичок и, того гляди, помрет. Одним словом, пустяки.

Она скрыла от мужа свой разговор с отцом. Дело было довольно крупное.

— Вы, папаша, в самом деле дайте денег, — заявила она отцу. — Не мужу, а мне. Ведь я у вас одна дочь.

— Не дам ни гроша... Помру, тогда все твое. Да и нет у меня денег.

— Да ведь я-то знаю, сколько у вас их везде напрятано. Пожалуйста, не запирайтесь.

— Ну, хорошо. Поезжайте теперь на мельницу с богом, а потом я сам привезу. В банке у меня деньги.

— А не обманете?

— Наташка, прокляну!

— Вы лучше деньги-то дайте, а проклясть всегда успеете.

— Ей-богу, привезу, только поезжайте.

Молодой и самой хотелось до смерти поскорее вырваться из Заполья, и она согласилась. Провожая молодых, Нагибин прослезился и все повторял:

— Слава тебе, господи! Родимые мои, слава тебе, господи!

Когда экипаж скрылся из виду, старик хихикнул и даже закрыл рот горстью, точно самые стены могли подслушать его родительскую радость.

Вечером в каморке Нагибина, — старик занимал самую скверную комнату во всем доме, — сидел Ечкин. Миллионер, чтобы отблагодарить благодетеля, вытащил полбутылки мадеры, оставшейся от свадьбы...

— Ведь я не пью, Осип Григорьич.

— Ох, отлично делаешь! — стонал Нагибин. — Ведь за мадеру деньги плачены. И что только мне стоила эта самая Наташка!.. Теперь возьми, — ведь одеть ее надо? Потом один-то я и старых штец похлебаю или редечкой закушу, а ей подавай котлетку... так? Да тут еще свадьбу справляй... Одно разорение. А теперь пусть кормит и одевает муж... Так я говорю?

— Конечно, Осип Григорьич.

— Слава тебе, господи!.. А уж тебя не знаю, чем и благодарить. По гроб жизни не забуду... И в поминанье даже запишу, хоть ты и некрещеный.

— Мне ничего не нужно, Осип Григорьич.

— Вот, вот... Еще первого такого-то человека вижу... да. А я теперь вольный казак. По рукам и по ногам вязала дочь. Ну, много ли мне одному нужно? Слава тебе, господи!

По городу ходила молва, что Ечкин обрабатывает выжившего из ума миллионера, и все с нетерпением ожидали, чем вся эта история разыграется. Уверяли, что Ечкин уже втянул Нагибина в свою концессию и черпает деньги, как из своего кармана. Другие клялись, что крепок Нагибин и ничего из этого не выйдет. Все соглашались только в одном, что очень уж ловко Ечкин поддел старика, высватав дочери молодого жениха. Уж лучше этой штуки и не придумаешь. А приданое, конечно, Ечкин получит за свои труды. В этом тоже никто не сомневался. Из-за чего же он хлопотал да беспокоил себя?

Избавившись от дочери, Нагибин повел жизнь совершенно отшельническую. Из дому он выходил только ранним утром, чтобы сходить за провизией. Его скупость росла, кажется, по часам. Дело дошло до того, что он перестал покупать провизию в лавках, а заходил в обжорный ряд и там на несколько копеек выторговывал себе печенки, вареную баранью голову или самую дешевую соленую рыбу. Даже торговки из обжорного ряда удивлялись отчаянной скупости Нагибина и прозвали его кощеем.

К себе Нагибин не принимал и жил в обществе какой-то глухой старухи кухарки. Соседи видели, как к нему приезжал несколько раз Ечкин, потом приходил Полуянов, и, наконец, видели раз, как рано утром от Нагибина выходил Лиодор. Дальнейшие известия о Нагибине прекратились окончательно. Он перестал показываться даже на улице.

Прошло после свадьбы не больше месяца, как по городу разнеслась страшная весть. Нагибин скоропостижно умер. Было это вскоре после обеда. Он поел какой-то ухи из соленой рыбы и умер. Когда кухарка вошла в комнату, он лежал на полу уже похолодевший. Догадкам и предположениям не было конца. Всего удивительнее было то, что после миллионера не нашли никаких денег. Имущество было в полной

сохранности, замки все целы, а кухарка показывала только одно, что хозяин ел за час до смерти уху.

Судебное следствие ничего не могло выяснить. Осмотр трупа ничего не дал, насильственных знаков на теле не оказалось. Сгоряча врачи решили, что старик отравился рыбным ядом. Но это было опровергнуто доктором Кочетовым, который в «Запольском курьере» напечатал целую статью о том, что рыбный яд заключают в себе только голопокровные рыбы, а Нагибин ел уху из соленой головы максуна, то есть рыбы чешуйчатой. Пришлось сделать вскрытие тела, и анализ внутренностей показал присутствие стрихнина. Этого было достаточно, чтобы сейчас же были арестованы по подозрению Ечкин и Полуянов, а потом Лиодор.

Город ужасно волновался. Ходили упорные слухи, что отравил старика не кто другой, как Ечкин. Весь вопрос заключался только в том, через кого он отравил — видели Полуянова и видели Лиодора. Во всяком случае, все трое были одинаково подозрительны, особенно Ечкин. Ведь он нарочно устроил эту свадьбу, чтоб удалить из дому дочь, потом, что значили его таинственные визиты к Нагибину, наконец, какую роль играл ссыльный Полуянов? Дело запутывалось. Общественное мнение было против Ечкина, отнесшегося к своему аресту совершенно спокойно, как человек, уже подготовившийся к всяким случайностям.

Еще больше смуты внесла приехавшая «молодая». Она рвала и метала, обвиняя настойчиво во всем Ечкина.

— Как же вы можете говорить так уверенно? — удивлялся следователь. — Во всяком случае, дело совершенно темное.

— Некому больше, — с женскою логикой отвечала свидетельница. — Он и меня просватал, чтобы лучше было отравить папашу... Это вам всякий скажет.

Следователя сбивало многое. Во-первых, Ечкин держал себя слишком уж спокойно и слишком с достоинством, как настоящий крупный преступник. Ясно было, что все было устроено через Лиодора, который путался в показаниях и завирался на глазах. Но опять странно, что такой умный и дальновидный человек, как

Ечкин, доверит исполнение беспутному и спившемуся Лиодору.

— Я действительно заходил к Нагибину, — показывал Лиодор. — Не было опохмелиться... Ну, а он меня прогнал.

Это было слишком наивно. Загадку представлял собой и Полуянов, как слишком опытный человек, в свое время сам производивший тысячи дознаний и прошедший большую школу. Но он был тоже спокоен, как Ечкин, и следователь приходил в отчаяние. Получалась какая-то сплошная нелепость. В качестве свидетелей были вызваны даже Замараев и Голяшкин, которые испугались больше подсудимых и несли невозможную околесную, так что следователь махнул на них рукой.

— Это мой зятек Замараев стравил Нагибина! — кричал Харитон Артемьич прямо на улице. — Прямо в острог его, подлеца!.. Да и других зятьев тоже! Весь альбом в острог.

XI

Мышников бывал в бубновском доме почти каждый день, что его тяготило, возмущало и заставляло молча негодовать. Мышников, всесильный и заставлявший всех чувствовать свою тяжелую руку, ничего здесь не мог поделать. Так хотела Прасковья Ивановна. Стоило ей прислать безграмотно нацарапанную записку, и он беспрекословно исполнял каждую букву, кажется, даже неистовые грамматические ошибки. Прасковья Ивановна писала: «соводни», «намедни», «делашь», «куфня», «леменация» и т. д. Мышников дошел до того, что был в восторге от такого правописания. Ведь это писала Прасковья Ивановна, а все, что она делала, конечно, хорошо. Одним словом, получалась картина полного рабства. Прасковья Ивановна через Мышникова имела большое влияние в самом банке и открывала и закрывала кредит по своему усмотрению. Мышникова поражало, что она могла предвидеть события. Последним случаем в этом отношении было обращение Галактиона за помощью к своему врагу, каким был

Мышников. У нее было что-то вроде спорта ставить людей в неловкие положения, причем Мышникову доставалось больше всех. Так было и тут.

— Галактион придет к тебе, вот посмотри, — уверяла она.

— Нет, не придет... Не такой человек.

— А я тебе говорю: придет. Ты его ревнуешь ко мне?

— Я?.. Нисколько.

— Ведь Галактион умница, и ему можно доверить какой угодно капитал. Ты ему дашь денег?

— Не знаю... гм... как тебе сказать.

— Вот и вышло, что ревнуешь... да. Разве я не знаю, как ты его все время жмешь?.. Одним словом, он придет, и ты дашь ему денег.

И Галактион пришел. Только когда все было кончено, Мышникову пришла проклятая мысль, что не подослала ли его сама же Прасковья Ивановна. От нее всего можно было ожидать.

С одним только не мог Мышников помириться: это с визитами в бубновский дом. Каждый раз, когда он ехал туда, его разбирала самая тупая злость. Ведь все пальцами указывают: вон Мышников покатил к своей сударушке. Затем его коробила мысль о соперничестве с пьяницей доктором. Это было что-то уже окончательно невозможное. Мышников каждый раз испытывал такое чувство, точно он что-то ворует, и притом дрянно ворует. Есть крупные воры и мелкие воришки, — он причислял себя к последней категории. Сколько раз Мышников предлагал Прасковье Ивановне разойтись с мужем и жить с ним по-настоящему.

— Да ты никак с ума сошел? — удивлялась Прасковья Ивановна. — Теперь-то я мужняя жена, а тогда пришей хвост кобыле... Прикащики засмеют.

— Все равно и теперь все знают про наши отношения.

— Болтать болтают, а знать никто ничего не знает... Ведь не про нас одних судачат, а про всех. Сегодня вот ты приехал ко мне, а завтра я могу тебя и не принять... С мужнею-то женой трудно разговаривать, не то что

с своею полюбовницей. Так-то, Павел Степаныч... Хоть и плохой, а все-таки муж.

Последнею штукой Прасковьи Ивановны было то, что она задумала ехать гостить к Харитине, которая жила в Городище и в Заполье не показывала глаз.

— Что-то я стосковалась по ней, — коротко объяснила она Мышникову. — И ты поедешь... Ну, будто пристань посмотреть, — теперь свое дело наполовину. Вот тебе и заделье, а не зря поедешь.

Злейший враг не придумал бы для Мышникова более неприятного положения. С одной стороны, он давно старался не встречаться с Харитиной, на которую сердился за свое неудачное ухаживанье, затем он подозревал Галактиона в некоторых успехах у Прасковьи Ивановны, — одним словом, как ни поверни, а выходило неудобно и так и этак. И все-таки Мышников поехал, презирая собственное подчинение Прасковье Ивановне. Он придумал только одно — предупредить Штоффа о поездке. Хитрый немец должен был служить в качестве какого-то изолирующего элемента.

Когда Мышников с Прасковьей Ивановной приехали в Городище, Штофф был уже там. Он сделал вид, что приехал случайно. Хозяева встретили гостей очень радушно, а особенно был весел Галактион. Таким уже давно его не видали. Харитина была бледна и молчалива, но Прасковья Ивановна, несмотря на самое точное исследование, не нашла и следов тех синяков, о которых рассказывали в Заполье. Это даже огорчило гостью, которой хотелось видеть Харитину именно в синяках. Очень бы уж это было хорошо. Прасковья Ивановна не могла забыть, как Харитина отбила у нее Галактиона. Кто знает, может быть, овдовевший Галактион и женился бы на ней, на Прасковье Ивановне?

Харитина в свою очередь отнеслась к гостье с большим подозрением. Неспроста эта мудреная птица прилетела. Но она сделала вид, что ничего не подозревает, и несколько раз принималась обнимать и целовать гостью, а раз подвела гостью к зеркалу и проговорила:

— Посмотри, Паша, какие мы с тобой старые да некрасивые стали... Вот у тебя морщины около глаз, и волос скоро седеть будет. Совсем состарились.

— Ты можешь стариться, а я не согласна, — обиделась гостья.

Мужчины были заняты осмотром пристани, складов, баржей и нового парохода «Компания». Галактион увлекся и не замечал, что компаньоны уже порядочно утомились и несколько раз посматривали на часы. Наконец, Штофф не вытерпел:

— Вот что, Галактион... И пристань, и пароход, и амбары — все это отлично, а хорошо и рюмочку водки выпить.

— И закусить кусочком хлеба с маслом, — прибавил Мышников, пародируя любимое выражение Штоффа.

— Да вот что, мы будем обедать прямо на пароходе, — предлагал Галактион. — Через час пары будут готовы.

Все общество отнеслось к этому предложению с большим сочувствием. День был прелестный. Можно проехать вверх по Ключевой верст на сорок, почти до самого Заполья.

Дамы приняли эту затею, хотя и без особенного восторга, но с удовольствием. В самом деле, хорошо прокатиться по реке. «Компания» была выстроена по-новому — наполовину буксирный и наполовину пассажирский, так что была общая каюта, рубка и кухня.

— Хоть один раз пообедаем за свои денежки, — шепнул Штофф на ухо Мышникову. — Бывают такие обеды.

— Не каркай, немецкая душа! — тоже шепотом ответил Мышников.

Харитина как-то сразу оживилась и бойко принялась собирать все необходимое. Она когда-то умела так мило хлопотать, когда была и молода, и красива, и счастлива. Прасковья Ивановна следила за ней улыбающимися глазами и думала: вот отчаянная эта Харитина, как увидела посторонних мужчин, так и запрыгала брынскою козой.

Мышников тоже наблюдал хозяйку и про себя жалел ее. И похудела она, и подурнела, и какая-то запуганная, и глаза смотрят, как у наказанной только что собаки. Порядочная скотина этот Галактион, если разобрать. Давешнее беспокойство Мышникова относительно неловкости этого визита совершенно улеглось благодаря ловкости Штоффа, умевшего занять какое угодно общество. Сделалось даже совсем весело, когда в ожидании парохода мужчины выпили и закусили. Прасковья Ивановна пила вместе с другими рюмку за рюмкой, а Харитина наотрез отказалась.

— Галактиона боишься? — травила ее гостья.

— Никого я не боюсь, а так, не хочется.

— Прежде-то вместе пивали? — не отставала Прасковья Ивановна.

— Мало ли что было прежде.

Харитина даже покраснела и опустила глаза. Она начинала ненавидеть торжествовавшую за ее счет Прасковью Ивановну. В довершение всего выпивший Галактион, — он пил редко и поэтому хмелел быстро, — начал ухаживать за гостьей довольно откровенно.

— А вы все еще молодцом, Прасковья Ивановна, — говорил он немного прилипавшим языком. — А моя Харитина на ободранную кошку скоро будет походить.

— Значит, вы плохо ее бережете, Галактион Михеич.

— Ну, уж это пусть она сама себя бережет.

— Женщина — деликатное существо и требует самого нежного ухода.

— Что-то как будто не видал таких.

— Уж будто и не видали?

Прасковья Ивановна загадочно улыбнулась.

Штофф в свою очередь наблюдал всех остальных, улыбался и думал: «Нечего сказать, хорошенькие две семейки!» Его больше всего смешило то, как Мышников ревнует свою Прасковью Ивановну. Тоже нашел занятие... Да, видно, правда, что каждый дурак посвоему с ума сходит.

— Ты это чему смеешься? — привязался к нему Мышников.

— Я? А я думаю, что нам недостает только Ечкина и Полуянова.

— Ты глуп, немец.

— Я? Я человек вежливый и давно уступил совершенство другим. По-моему, даже обидно быть совершенным в обществе людей с недостатками... А впрочем, каждый глуп как раз настолько, насколько это нужно.

— Прилично глуп?

— Нужно соблюдать приличия и в уме.

Интересная беседа была прервана появившимся штурманом, который пришел сказать, что пароход готов. Все обрадовались, потому что начинало уже накопляться какое-то скрытое недовольство.

— Ах, как я люблю воду! — повторяла Прасковья Ивановна, с восторгом хлопая ладонями. — Плыть, плыть без конца!

— А еще коньяку желаете выкушать? Я заметил, что вы вообще неравнодушны к жидкостям, — приставал Штофф.

— Отстаньте, невежа!

Прасковья Ивановна находилась в кокетливом настроении и с намерением старалась побесить Мышникова, начинавшего ревновать ее даже к Штоффу. Да, этих мужчин всегда следует немного выдерживать, а то они привыкают к женщинам, как ребенок к своей кукле, которую можно колотить головой о пол и по целым дням забывать где-нибудь под диваном. Живой пример — Харитина.

Поездка на пароходе удалась на редкость. Особенно развеселился Галактион. Он редко пил, а тут разрешил. Обедали на открытой палубе и перебирали текущие новости, среди которых первое место занимала таинственная смерть Нагибина, связанная самым глупым образом с глупою женитьбой Симона.

— Нет, скажите мне, куда девались деньги? — приставал ко всем подвыпивший Штофф. — Ведь они были... да. И всем это известно... И какая публика подобралась: Ечкин, Полуянов, Лиодор... Ха-ха!.. Лиодор всех путает.

— Я уверен, что Ечкин тут решительно ни при чем, — уверял Мышников. — А Полуянов трус... Лио-

дор глуп. По-моему, все это устроил кто-нибудь четвертый.

— Ясно одно, что все дело сделано своим человеком, который знал все, а главное — знал, куда старик прятал деньги. Да, нечего сказать, дельце интересное!

Когда все подвыпили, Штофф делал несколько попыток к тостам, но его останавливал Мышников.

— Перестань, Карла... Все равно никто тебе не поверит.

— Ах, да! — соглашался Штофф.

— Ведь все свои, и смешно будет самому слушать свои собственные глупости.

. Штофф соглашался, а потом забывал и делал новую попытку разразиться спичем. Это смешило всех. Время вообще летело незаметно, и все удивились, когда штурман пришел сказать, что дальше подниматься вверх по Ключевой опасно. До Заполья оставалось всего верст пятнадцать.

— Э, пустяки! — заявил Галактион. — Я сам поведу пароход.

Его едва уговорили не браться за руль, а предоставить дело штурману, как более знающему и опытному. Этим моментом и воспользовался Штофф.

— Господа, всего два слова на отвлеченную тему... Я хочу сказать о том, что такое герой... да. Вы не смейтесь.

— Герой — это пьяный немец, — вышучивал Мышников.

— Нельзя ли без остроумия, от которого столько же вреда, сколько от жеваной бумаги? Итак, mesdames и messieurs, что такое герой? Герой — не тот завоеватель, который с вооруженным полчищем разоряет беззащитную страну, не тот, кто, по выражению Шекспира, за парами славы готов залезть в жерло орудия, не хитрый дипломат, не модный поэт, не артист, не ученый со своим последним словом науки, не благодетель человечества на бумаге, — нет, герои этого разбора покончили свое существование. Другое время, другие птицы и другие песни... Нынешний, настоящий герой не имеет даже имени, история не занесет его в свои скрижали, благодарное потомство не будет чтить его

памяти... Сам по себе он даже не интересен и даже лучше его совсем не знать, ибо он весь растворяется в своем деле, он фермент, бродильное начало, та закваска, о которой говорится в писании... да. Одним словом, я говорю о Галактионе.

— Вот так фунт! — ахнул Мышников. — Карла, если бы ты меня возвел в такие герои, я на тебя подал бы жалобу мировому... Галактион, хочешь, я вчиню иск об оскорблении? Свидетели налицо... Все дело поведу на свой риск. Ха-ха!.. Герой оптом... Раньше герои имели значение в розницу, а теперь оптовый герой, беспаспортный.

— Говорите, говорите! — поощряла Прасковья Ивановна. — Это интересно!

— Позвольте мне кончить, господа... Дело не в названии, а в сущности дела. Так я говорю? Поднимаю бокал за того, кто открывает новые пути, кто срывает завесу с народных богатств, кто ведет нас вперед... Я сравнил бы наш банк с громадною паровою машиной, причем роль пара заменяет капитал, а вот этот пароход, на котором мы сейчас плывем, — это только один из приводов, который подчиняется главному двигателю... Гений заключается только в том, чтобы воспользоваться уже готовою силой, а поэтому я предлагаю тост за...

Штоффу сегодня было суждено не кончить. В самый интересный момент, когда уже стаканы были подняты, с капитанского мостика раздался голос штурмана:

— Галактион Михеич, пожар!

Все поднялись разом. Где пожар? Что случилось? Всех больше перепугался Штофф, — перепугался до того, что готов был броситься в воду. Скоро дело разъяснилось: пожар был впереди, в той стороне, где чуть брезжило Заполье.

— Заполье горит! — вырвалось у всех.

Галактион сам стал у штурвала, чтобы проехать как можно дальше. Ненагруженный пароход сидел всего на четырех четвертях, а воды в Ключевой благодаря ненастью в горах было достаточно. Но не прошло и четверти часа, как на одном повороте «Компания» врезалась в мель.

— Ну, теперь кончено! — ахнул Штофф. — Господи, всего-то оставалось верст двенадцать!.. Батюшки, что же мы будем делать?.. Посмотрите, господа, ведь это наша Московская улица горит!

По прямой линии до Заполья было всего верст шесть. С капитанской рубки картина пожарища развертывалась с каждою минутой все шире. Громадные клубы дыма поднимались уже в четырех местах, заволакивая даль грозною багровою пеленой.

— Если бы лошадь... Боже мой, дайте мне лошадь! — орал Штофф, в бессильной ярости бегая по палубе. — Ведь у меня все там осталось.

— Господа, идемте пешком, — предлагал Галактион. — Это будет вдвое скорее, если мы станем подниматься на лодке вверх по течению.

— И я с вами, — заявляла Прасковья Ивановна.

— Нет, уж извините, мадам, — резко ответил Штофф. — Куда вы с своими юбками? Вас же придется нести на руках.

Галактион и Мышников были того же мнения.

— Свиньи! — обругала всех Прасковья Ивановна.

Когда мужчины переехали на спасательной лодке на берег и трусцой побежали прямо полями, она еще раз обругала их.

А пожар разливался с каждой минутой все сильнее, и через какой-нибудь час Заполье представляло из себя один сплошной костер

XII

Пожар начался в городском предместье Теребиловке, где засела мещанская голь перекатная. Загорелась какая-то несчастная баня. С бани огонь перекинулся на соседнюю стройку, а потом уже охватил разом целый порядок. Пожарная команда оказалась в неисправности, как и следует быть пожарной команде, — прогресс еще не дошел до нее. Бочки рассохлись, рукава полопались, помпы не желали выкидывать воды, — одним словом, все как и должно быть. Стоявшая засуха делала из деревянных мещанских построек

какую-то подтопку, и огонь захватывал одну улицу за другой. Самое главное неудобство заключалось в том, что нельзя было проехать за водой к Ключевой. Река была на виду, а добраться до нее нельзя. Сделавшие отчаянную попытку бочки пожарного обоза застряли в трясине, да еще на беду сломался ветхий мостик через болото. Получалась картина полной беспомощности.

Когда из Теребиловки перекинуло на главную Московскую улицу, всех охватила настоящая паника. Спасенья не было. Не прошло часа, как город уже был охвачен пламенем. Теперь сразу горело в нескольких местах. В виде отчаянной меры были выпущены даже арестанты из острога. А пожар все разливался. Носились тучи искр, огонь перебрасывало через несколько кварталов, а тут еще поднялся настоящий вихрь, точно ополчилось на беззащитный город само небо. Горел хлебный рынок, горел Гостиный дом, новые магазины, земская управа, женская гимназия, здание Запольского банка. Картина получалась страшная. Большинство домов были деревянные, и притом по амбарам везде хранилась пенька, лен, льняное семя и т. д. Везде по улицам грудами валялось вытащенное из домов добро, и не было свободного проезда. Одуревшая скотина лезла в огонь. У ворот стояли старики и старухи с образами в руках.

Отдельные сцены производили потрясающее впечатление. Горело десятками лет нажитое добро, горело благосостояние нескольких тысяч семей. И тут же рядом происходили те комедии, когда люди теряют от паники голову. Так, Харитон Артемьич бегал около своего горевшего дома с кипой газетной бумаги в руках — единственное, что он успел захватить.

— Ведь говорил Михей-то Зотыч! — кричал он, накидываясь на встречных. — Он все говорил!.. Чего наша дума смотрела? Где пожарные? Где подъезд к реке?.. Бить надо... всех надо бить!..

Дом, в котором жил Стабровский, тоже занялся. У подъезда стояла коляска, потом вышли Стабровский с женой и Дидей, но отъезд не состоялся благодаря мисс Дудль. Англичанка схватила горшок с олеандром

и опрометью бросилась вдоль по улице. Ее остановил какой-то оборванец, выдернул олеандр и принялся им хлестать несчастную англичанку.

— Разе такое теперь время, штобы цветы таскать?

Стабровский не хотел уезжать без мисс Дудль, и это все расстроило. Около экипажа уже образовалась целая толпа, и слышались угрожающие голоса:

— Поляки подожгли город!.. Видишь, как ловко наклались уезжать! Ребята, не пущай!

Произошло замешательство.

— Папа! стреляй! — крикнула обезумевшая от страха Дидя.

Трудно было предвидеть, чем бы закончилась эта дикая сцена. В такие моменты не рассуждают, и самые выдержанные люди теряют голову. Стабровский по опыту знал, что такое возбужденная толпа. Его чуть не разорвали в клочья, когда он занимался подрядами в Сибири. А тут еще Дидя с своею сумасшедшею фразой... Всех спасла мисс Дудль, которую привели под руки. Она так смешно сопротивлялась, кричала и вообще произвела впечатление. Толпа расступилась, и Стабровский воспользовался этим моментом. Он увел всех во двор, велел затворить сейчас же ворота и огородами вывел всех уже на другую улицу.

— В огонь их надо было бросить! — жалели в оставшейся у ворот толпе. — Видишь, подожгли город, а сами бежать!

Магнату пришлось выбраться из города пешком. Извозчиков не было, и за лошадь с экипажем сейчас не взяли бы горы золота. Важно было уже выбраться из линии огня, а куда — все равно. Когда Стабровские уже были за чертой города, произошла встреча с бежавшими в город Галактионом, Мышниковым и Штоффом. Произошел горячий обмен новостей. Пани Стабровская, истощившая последний запас сил, заявила, что дальше не может идти.

— Спасайтесь вы на пароход, а я умру здесь, — спокойно советовала она. — Мне все равно не дойти.

— Я сейчас достану лошадь, — вызвался Галактион. — Подождите меня.

Мышников и Штофф задыхались от усталости.

— Тебе я не советую идти в город, — говорил Стабровский едва бежавшему Штоффу. — Народ потерял голову... Как раз и в огонь бросят.

Галактион сдержал слово и через полчаса вернулся в простой крестьянской телеге. Это было уже величайшее счастье. Пани Стабровскую, Дидю и мисс Дудль усадили кое-как, а Стабровский поместился на облучке кучером. Галактион указал, по какому направлению им ехать к пароходу. Через час телега подъезжала уже к Ключевой, с парохода подавали лодку.

— Хорошо то, что хорошо кончается, — заметил Стабровский, соображая все обстоятельства дела.

Пароходные дамы встретили гостей с распростертыми объятиями: они сгорали от нетерпения узнать последние новости.

Когда банковские дельцы вошли в город, все уже было кончено. О каком-нибудь спасении не могло быть и речи. В центральных улицах сосредоточивалось теперь главное пекло. Горели каменные дома.

— Вот это так кусочек хлеба с маслом! — ворчал Мышников, задыхаясь от далекой ходьбы. — Положим, у меня все имущество застраховано.

— И у меня тоже, — отозвался Штофф. — Интересно, выдержат ли наши патентованные несгораемые шкафы в банке... Меня это всего больше занимает. Ведь все равно когда-нибудь мы должны были сгореть.

Это хладнокровие возмутило даже Мышникова. Кстати, патентованные несгораемые шкафы не выдержали опыта, и в них все сгорело. Зато Вахрушка спас свои капиталы и какую-то дрянь, спрятав все в печке. Это, кажется, был единственный поучительный результат всего запольского пожара, и находчивость банковского швейцара долго служила темой для разговоров.

Единственный человек, который не тревожился, ничего не спасал и ничего не боялся, это был доктор Кочетов. Когда к нему в кабинет вбежала горничная с известием о пожаре, он даже не шевельнулся на своем диване, а только махнул рукой. Пожар? Что такое пожар? Он, Кочетов, уже давно сжигал самого себя на

медленном огне... За последние дни галлюцинации приняли обостренную форму, и он все время страшно мучился, переживая свои превращения в Бубнова. Боже, как это было и тяжело, и страшно, и безвыходно!.. Пожар? Что такое пожар? У него уже давно разливался этот пожар в крови и в мозгу: это действительно страшно, потому что от такого пожара никуда не убежишь. И потом, как мог убежать Кочетов, когда на дороге мог превратиться в Бубнова?

— Доктор, уходите! — умоляли его прибежавшие из магазина приказчики.

— Хорошо, хорошо. Не беспокойтесь.

И горничная и приказчики не заметили, что с ними говорил не доктор Кочетов, а пьяница Бубнов. Доктор Кочетов мог только смеяться над этою мистификацией. Впрочем, о нем скоро забыли. Он стоял у открытого окна и любовался пожаром. Ведь это очень красиво, когда такая масса огня... Огонь — очищающее начало. Вон уже загораются соседние дома... Тоже очень не дурно. Становилось жарко. В окна врывалась струя едкого дыма, а доктор все стоял, любовался и дико хохотал, когда пламя охватило его собственный дом. Он хохотал потому, что теперь для него сделалось все совершенно ясно. Да, именно ясно, ясно как день... Стоя у окна, он несколько раз превращался в Бубнова, и этот Бубнов ужасно трусил, трусил до смешного, — Бубнову со страху хотелось бежать, выпрыгнуть в окно, молить о помощи.

— Ага, наконец-то ты мне попался, голубчик! — злорадствовал доктор, потирая руки. — Я тебя живого сожгу... Ха-ха!

Бубнов струсил еще больше. Чтобы он не убежал, доктор запер все двери в комнате и опять стал у окна, — из окна-то он его уже не выпустит. А там, на улице, сбежались какие-то странные люди и кричали ему, чтоб он уходил, то есть Бубнов. Это уже было совсем смешно. Глупцы они, только теперь увидели его! Доктор стоял у окна и раскланивался с публикой, прижимая руку к сердцу, как оперный певец.

— Извините, господа, а я не могу *его* выпустить.

Потом ему пришла уже совсем смешная мысль. Он расхохотался до слез. Эти люди, которые бегают под окном по улице и стучат во все двери, чтобы выпустить Бубнова, не знают, что стоило им крикнуть всего одну фразу: «Прасковья Ивановна требует!» — и Бубнов бы вылетел. О, она все может!.. да!

— Ага, голубчик, попался! — хохотал доктор, продолжая раскланиваться с публикой. — Я очень рад с тобой покончить... Ты ведь мне, говоря правду, порядочно надоел.

Сумасшедший сгорел живым.

ЭПИЛОГ

I

Скитские старцы ехали уже второй день. Сани были устроены для езды в лес, некованные, без отводов, узкие и на высоких копыльях. Когда выехали на настоящую твердую дорогу, по которой заводские углепоставщики возили из куреней на заводы уголь, эти лесные сани начали катиться, как по маслу, и несколько раз перевертывались. Сконфуженная лошадь останавливалась и точно с укором смотрела на валявшихся по дороге седоков.

— Эх, Анфим, не умеешь ты править!

— А ты сам попробуй, Михей Зотыч, родимый мой.

— И попробую... Ты, значит, садись в самый зад, а я на облучок. Ну, вот так...

— Стой!.. Вывалишь!.. Держи правее!..

Сани раскатывались, и крушение повторялось. Скитские старцы даже повздорили из-за этого обстоятельства и напрасно менялись местами, показывая свое искусство.

Дело дошло чуть не до драки, когда в одном ложке при спуске с горы сани перевернулись на всем раскате вверх полозьями, так что сидевший назади Михей Зотыч редькой улетел прямо в снег, а правивший лошадью Анфим протащился, запутавшись в вожжах, сажен пять на собственном чреве.

— Ведь я тебе говорил: держи право! — кричал озлобившийся Михей Зотыч, с трудом вылезая из снега.

— Ну, говорил?.. Я и держу, а сани влево и отнесло...

— Держу, держу! — передразнил его Михей Зотыч. — Худая ты баба, вот что... Тебе кануны по упокойникам говорить, а не на конях ездить.

— И ты хорош, заводский варнак! — вскипел Анфим. — Сколько разов-то вывалил сам? Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала... Сам ты баба!..

— Нет, ты... Я говорю: держи право! А ты...

Скитники стояли посреди дороги, размахивая руками, старались перекричать друг друга и совсем не заметили, как с горки спустились пустые угольные коробья, из которых выглядывали черные от угольной пыли лица углевозов.

— Запали его в уху, дедко! — крикнула одна черная рожа.

— Ну, вали, другой, дедко!.. Эк, орут, точно черти над кашей!

Первым опомнился Анфим и даже испугался, когда, наконец, заметил черные рожи углевозов, — настоящий чертов поезд. Он сердито отплюнулся, а потом перекрестился.

— Ох, наваждение, Михей Зотыч! — виновато бормотал он. — Прости, родимый, на скором слове...

— Бог тебя простит... А только ты все-таки вправо должен был держать... да.

Старики уселись и поехали. Михей Зотыч продолжал ворчать, а старец Анфим только встряхивал головой и вздыхал. Когда поезд углевозов скрылся из виду, он остановил лошадь, слез с облучка, подошел к Михею Зотычу, наклонился к его уху и шепотом заговорил:

— И что я тебе скажу, родимый мой...

— Ну, что? — тоже шепотом спрашивал Михей Зотыч, озираясь по сторонам.

— А ты не заметил ничего, родимый мой? Мы-то тут споримся, да перекоряемся, да худые слова выговариваем, а *он* нас толкает да толкает... Я-то это давно

примечаю, а как *он* швырнул тебя в снег... А тут и сам объявился в прескверном образе... Ты думаешь, это углевозы ехали? Это *он* ехал с своим сонмом, да еще посмеялся над нами... Любо *ему,* как скитники вздорят.

Для Михея Зотыча все сделалось ясно. Он тоже вылез из саней и бухнул в ноги Анфиму.

— Прости, отче, на скором слове...

— Бог тебя простит, Михей Зотыч...

Оглядевшись, Анфим подмигнул и проговорил опять шепотом:

— Пусть *он* теперь поликует, всескверный льстец... То-то давеча я замечаю, что держу вправо, а сани относит влево. А это *он* своей мерзкой лапой уцепит и тащит...

— А я слышал, как *он* когтем царапал, — шепотом же сообщал Михей Зотыч, — в том роде, как пес в двери скребется...

— Вот, вот... Посмеялся *он* над нами, потому *его* время настало. Ох, горе душам нашим!.. Покуда лесом ехали, по снегу, так *он* не смел коснуться, а как выехали на дорогу, и начал приставать... *Он* теперь везде по дорогам шляется, — самое любезное для него дело.

Дальше скитники ехали молча и только переглядывались и шептали молитвы, когда на раскатах разносило некованные сани. Они еще вывалились раз пять, но ничего не говорили, а только опасливо озирались по сторонам. В одном месте Анфим больно зашиб руку и только улыбнулся. Ох, не любит антихрист, когда обличают его лестные кознования. Вон как ударил, и прямо по руке, которая творит крестное знамение. На, чувствуй, старец Анфим!

В Кукарский завод скитники приехали только вечером, когда начало стемняться. Время было рассчитано раньше. Они остановились у некоторого доброхота Василия, у которого изба стояла на самом краю завода. Старец Анфим внимательно осмотрел дымившуюся паром лошадь и только покачал головой. Ведь, кажется, скотина, тварь бессловесная, а и ту не пожалел *он,* — вон как упарил, точно с возом, милая, шла.

— Знамения въявь творятся, — шепотом сообщил Анфим своему спутнику, когда вошел в избу. — Я

лошадь-то рогожкой прикрываю, а она, милая, вся трясется со страху... Тоже чувствует, хоша объяснить и не может по своей бессловесности. Ох, искушение, Михей Зотыч!..

— А ты не малодушествуй... Не то еще увидим. Власть первого зверя царит, имя же ему шестьсот и шестьдесят и шесть... Не одною лошадью *он* теперь трясет, а всеми потряхивает, как вениками. Стенания и вопль мног в боголюбивых народах, ибо и земля затворилась за наши грехи.

Доброхот Василий поместил гостей в заднюю избу, чтобы никто не видел скитников. Неровен час, и чужой человек навернется, да и бабешки тоже разнести могут.

— Ну что, Васильюшка, как дела? — спрашивал Анфим.

— И не говори, отец честной... Глаза бы не глядели. Скотинку теперь распродаем... Не то что скотине, а самим жевать нечего. Пудик ржаной мучки за целковый перешел еще об рождестве, а обещают в два вогнать.

— Ну, вам-то с полугоря: фабрика прокормит.

— Работы сокращают везде по заводам... Везде худо. Уж как только народ дотянет до осени... Бедуют везде, а башкир мрет целыми деревнями. Страсти рассказывают.

— Слышали мы про беду... Не первый год она копилась. Главное — народ ослабел.

Михей Зотыч только слушал и молчал, моргая своими красными веками. За двадцать лет он мало изменился, только сделался ниже. И все такой же бодрый, хотя уж ему было под девяносто. Он попрежнему сосал ржаные корочки и запивал водой. Старец Анфим оставался все таким же черным жуком. Время для скитников точно не существовало.

Разговоры с доброхотом Василием шли далеко за полночь, особенно когда зашла речь о дешевом сибирском хлебе.

— Вся надежда у нас теперь на него, на сибирский хлебушко, — повторил убежденно Василий. — Только бы весны дождаться, когда реки пройдут... Там, сказывают, пудик-то мучки стоит всего-навсе семнадцать копеечек. Вот какое дело, честные отцы!

Скитники на брезгу уже ехали дальше. Свои лесные сани они оставили у доброхота Василия, а у него взамен взяли обыкновенные пошевни, с отводами и подкованными полозьями. Теперь уж на раскатах экипаж не валился набок, и старики переглядывались. Надо полагать, *он* отстал. Побился-побился и бросил. Впрочем, теперь другие интересы и картины захватывали их. По дороге то и дело попадались пешеходы, истомленные, худые, оборванные, с отупевшим от истомы взглядом. Это брели из голодавших деревень в Кукарский завод.

— Ох, сердяги! — вздыхал Анфим. — Кукарским-то самим есть нечего...

Голодные, очевидно, плохо рассуждали и плелись на заводы в надежде найти какой-нибудь заработок. Большинство — мужики, за которыми по деревням оставались голодавшие семьи. По пословице, голод в мир гнал.

Самое сильное впечатление произвели первые встречи, и скитники роздали все свои скитские подорожники. Дальше и помогать было нечем... Скитские старцы не представляли себе по чужим рассказам бедствие в таких размерах. Из деревень брела настоящая рабочая сила. Сердце поворачивалось смотреть на этих мужиков, которые не ели по два, по три дня. Молчаливые муки написаны были на лицах, светились лихорадочным светом в глазах, и каждое движение точно было связано этою голодною мукой. В одном месте прямо на снегу лежал пластом молодой мужик, выбившийся из сил. Скитники ехали и не могли ничем помочь.

В другом месте скитники встретили еще более ужасную картину. На дороге сидели двое башкир и прямо выли от голодных колик. Страшно было смотреть на их искаженные лица, на дикие глаза. Один погнался за проезжавшими мимо пошевнями на четвереньках, как дикий зверь, — не было сил подняться на ноги. Старец Анфим струсил и погнал лошадь. Михей Зотыч закрыл глаза и молился вслух.

— Что же это такое? — спрашивал Анфим. — Последние времена настали, Михей Зотыч...

— И давно настали... Хлебушко извели на винище, а *он* отрыгнул железом, ситцами, самоварами да блондами.

— А как ты полагаешь насчет орды? Ведь тоже живая душа...

— Голод-то всех сравнял... *Он* всех донимает, и все равны перед *его* лицом.

Самую ужасную картину представляла башкирская деревня, — первая станция по заводскому тракту. Башкирия прилегала к горам, а русские поселения уже шли дальше. Башкиры голодали и вымирали каждую зиму, так сказать, нормальным образом, а теперь получалось нечто ужасное. Половина башкирских изб пустовала, — хозяева или вымерли, или разбрелись куда глаза глядят. Нужно было покормить лошадь на постоялом, и скитники отправились посмотреть. Они в первой же жилой избе натолкнулись на ужасающую картину: на нарах сидела старуха и выла, схватившись за живот; в углу лежала башкирка помоложе, спрятав голову в какое-то тряпье, — несчастная не хотела слышать воя, стонов и плача ползавших по избе голодных ребятишек.

Михей Зотыч побежал на постоялый двор, купил ковригу хлеба и притащил ее в башкирскую избу. Нужно было видеть, как все кинулись на эту ковригу, вырывая куски друг у друга. Люди обезумели от голода и бросались друг на друга, как дикие звери. Михей Зотыч стоял, смотрел и плакал... Слаб человек, немощен, а велика его гордыня.

Возвращаясь на постоялый двор, скитники встретили сельского старосту и пристали к нему с расспросами, чего смотрит начальство.

— Как не смотреть, смотрит начальство, — спокойно ответил башкир. — Больно хорошо смотрит.

— А где у вас обчественный магазин?

— Мало-мало посмотри...

Староста привел стариков к общественному магазину, растворил двери, и скитники отступили в ужасе: в амбаре вместо хлеба сложены были закоченевшие трупы замерзших башкир.

— Это урядник на дороге собирал, — объяснил невозмутимо башкир. — Урядник все смотрит.

Вернувшись на постоялый двор, старец Анфим заявил:

— Ну, Михей Зотыч, поедем-ка мы назад в скиты... Помирать, так помирать честно, у себя дома.

— Как знаешь, честной отец. А я поеду дальше... Мне нельзя.

Анфим только вздохнул и отринул накативший малодушный стих.

II

Самые ужасные картины голода были именно в «орде». И без того башкиры вымирают во время зимних голодовок, а тут вымирали вдвойне. Помощи уже ниоткуда не могло быть. Обыкновенно орда по зимам кормилась около русских деревень, а теперь и там ничего не было. Михей Зотыч захватил с собой все свои капиталы и потихоньку творил тайную милостыню. С ним было до пятидесяти тысяч, которые он вез на раздачу своим староверам, но кругом стояла такая отчаянная нужда, что не было уже своих и чужих, а просто умиравшие с голоду. Денег старик не любил давать, а закупал, где только мог, хлеб и помогал натурой. Да и что значили в такое время какие-нибудь пятьдесят тысяч — капля в море. Море народной беды выступало из берегов.

Скитники по краю Башкирии, прилегавшему к горам, проехали в земли казачьего Оренбургского войска, где своих было достаточно. Михею Зотычу давно хотелось пробраться в этот заветный край, о котором ходила красная молва. Главное — земли было вдоволь, по тридцати десятин на душу, и какой земли — чернозем, как овчина. Особенно на слуху были крепкие степные травы, росшие на солончаках. Всякая скотина отгуливалась здесь, как на ковре. Но первые же станицы поразили скитников своим убожеством, напоминавшим убогую башкирскую городьбу. Казачья лень так и лезла в глаза.

— Ох, ленивы казаченьки! — повторял Михей Зотыч, опытным хозяйским глазом оглядывая всякую мелочь. — Пожалуй, не далеко отстали от башкыр-то.

— Есть ленца, — соглашался Анфим. — Неулежно живут. Нога за ногу задевают.

В одном месте Михей Зотыч возмутился до глубины души.

— Погляди-ка, Анфим, на казачью работу!

Анфим смотрел кругом на снежную поляну и ничего не понимал.

— Не видишь? — злился Михей Зотыч, останавливая лошадь.

Он вылез из саней, пошел в сторону и принес несколько сухих дудок, торчавших из-под снега.

— Это как называется?

— У нас дудкой медвежьей зовут.

— А что это обозначает? Ах, Анфим, Анфим! Ничего-то ты не понимаешь, честной отец! Где такая дудка будет расти? На некошенном месте... Значит, трава прошлогодняя осталась — вот тебе и дудка. Кругом скотина от бескормицы дохнет, а казачки некошенную траву оставляют... Ох, бить их некому!

Все станицы походили одна на другую, и везде были одни и те же порядки. Не хватало рук, чтобы управиться с землей, и некому ее было сдавать, — арендная плата была от двадцати до пятидесяти копеек за десятину. Прямо смешная цена... Далеко ли податься до башкир, и те вон сдают поблизости от заводов по три рубля десятина. Казачки-то, пожалуй, похуже башкир оказали себя.

Станичники тоже голодали, а главным образом нечем было кормить скотину, которую и продавали за бесценок.

— Ох, вы бы лень-то вашу куда-нибудь продали, — корил Михей Зотыч. — Живете только одним годом, от урожая до урожая. Хоть бы солому-то оставляли скотине... Ведь год на год не приходится, миленькие.

Огорчили станичники Михея Зотыча. Очень уж ленивы и прямо от себя голодают. К вину тоже очень припадошны, — башкиры хоть ленивы, да вина не пьют.

— Ну, тут и смотреть нечего, — решил Михей Зо-

тыч. — Хлеб-то тоже к рукам. Владают городом, а помирают голодом.

Причина казачьей голодовки была налицо: беспросыпная казачья лень, кабаки и какая-то детская беззаботность о завтрашнем дне. Если крестьянин голодает от своих четырех десятин надела, так его и бог простит, а голодать да морить мором скотину от тридцати — прямо грешно. Конечно, жаль малых ребят да скотину, а ничем не поможешь, — под лежач камень и вода не течет.

Из станиц Михей Зотыч повернул прямо на Ключевую, где уже не был три года. Хорошего и тут мало было. Народ совсем выбился из всякой силы. Около десяти лет уже выпадали недороды, но покрывались то степным хлебом, то сибирским. Своих запасов уже давно не было, и хозяйственное равновесие нарушилось в корне. И тут пшеничники плохо пахали, не хотели удобрять землю и везли на рынок последнее. Всякий рассчитывал перекрыться урожаем, а земля точно затворилась.

— Ручки любит земелька-то матушка! — вздыхал Михей Зотыч. — Черная земелька родит беленький-то хлебец и черных ручек требует... А пшеничники позазнались малым делом. И черному бы хлебцу рады, да и его не родил господь... Ох, миленькие, от себя страждете!.. Лакомство-то свое, видно, подороже всего, а вот господь и нашел.

Эти строгие теоретические рассуждения разлетались прахом при ближайшем знакомстве с делом. Конечно, и пшеничники виноваты, а с другой стороны, выдвигалась масса таких причин, которые уже не зависели от пшеничников. Первое дело, своя собственная темнота одолевала, тот душевный глад, о котором говорит писание. Пришли волки в овечьей шкуре и воспользовались мглой... По закону разорили целый край. И как все просто: комар носу не подточит.

В Суслон приехали ночью. Только в одном поповском доме светился огонек. Где-то ревела голодная скотина. Во многих местах солома с крыш была уже снята и ушла на корм. Вот до чего дошло! Веяло от всего зловещею голодною тишиной. Навстречу вышла

голодная собака, равнодушно посмотрела на приезжих, понюхала воздух и с голодною зевотой отправилась в свою конуру.

«И пес перед хлебом смиряется», — подумал Михей Зотыч, припоминая старинную поговорку.

Емельян уехал с женой в Заполье, а на мельнице оставался один Симон. В первую минуту старик не узнал сына, — так он изменился за этот короткий срок.

— Ну, здравствуй, сынок.

— Здравствуй, тятенька.

— Вот приехал посмотреть, как вы тут поживаете.

— А ничего... Везде одно и то же.

— Видел, милый, что ничего... Хоть шаром покати... да. Чисто живете, одним словом. Давно мельница-то стоит?

— А с осени... Нечего молоть. Вот ждем сибирского хлеба.

— Ждите, миленькие... Только как бы он мимо рта не проехал. Очень уж вы любите дешевку-то.

Отца Симон принял довольно сухо. Прежнего страха точно и не бывало. Михей Зотыч только жевал губами и не спрашивал, где невестка. Наталья Осиповна видела в окно, как подъехал старик, и нарочно не выходила. Не велико кушанье, — подождет. Михей Зотыч сейчас же сообразил, что Симон находится в полном рабстве у старой жены, и захотел ее проучить.

— Ну, спасибо, сынок, за хлеб-соль, — заявил он, поднимаясь.

— Папаша, куда вы? — спросил Симон. — Наташа сейчас выйдет.

— Какая Наташа?

— Жена Наташа.

— Ну, и пусть выходит, когда проспится. Прежде-то снохи свекров за ворота выскакивали встречать, а нынче свекоры должны их ждать, как барынь... Нет, это уж не модель, Симон Михеич. Я вот тебе загадку загну: сноху привели и трубу на крышу поставили. Прощай, миленький!

Старик Анфим, распрягавший лошадь, нисколько не удивился, когда пришел Михей Зотыч и велел снова

запрягать. Он привык к выходкам ндравного старика. Что же, ехать так ехать.

— Вот как нынче в гости к деткам приезжают, — объяснял Михей Зотыч, выезжая с мельницы. — Пожалуйте почаще мимо-то.

Наталья Осиповна выглядывала на гостей из-за косяка и говорила:

— С богом... Губа толще — брюхо тоньше.

Симон чувствовал себя постоянно виноватым перед женой, а теперь еще больше. Но Наташа не взъелась на него, а только прибавила:

— Будет ломаться-то старым чертям... В чужой век живут. Нет, видно, не прежние времена.

Скитники переночевали у какого-то знакомого Михею Зотычу мужичка. Голод чувствовался и в Суслоне, хотя и в меньшей степени, чем в окрестных деревнях. Зато суслонцев одолевали соседи. Каждое утро под окнами проходили вереницы голодающих. Михей Зотыч сидел все утро у окна, подавал купленный хлеб и считал голодных.

— Ох, боговы работнички, нехорошо! — шамкал он. — Привел господь с ручкой идти под чужими окнами... Вот до чего лакомство-то доводит! Видно, который и богат мужик, да без хлеба — не крестьянин. Так-то, миленькие!.. Ох, нужда-то выучит, как калачи едят!

Старец Анфим молчал всю дорогу, не желая поддаваться бесовскому смущению, а тут накинулся на Михея Зотыча:

— Што это ты дребезжишь, как худой горшок? Чужую беду руками разведу... А того не подумаешь, что кого осудил, тот грех на тебе и взыщется. Умен больно!

— А ежели правда?

— Правда-то ко времю... Тоже вон хлеб не растет по снегу. Так и твоя правда... Видно, мужик-то умен, да мир дурак. Не величайся чужой бедой... Божье тут дело.

Михей Зотыч смущенно умолк. Терпелив был Анфим, а как прорвет — удержу нет.

— Ну, прости на скором слове, честной отец, — покорно проговорил Михей Зотыч.

— Мне-то чего тебя прощать, скрипуна, а вот ты ложкой кормишь, а стеблем глаза колешь.

— Ох, согрешил, честной отец!

Смирения у Михея Зотыча, однако, хватило ненадолго. Он узнал, что в доме попа Макара устраивается «голодная столовая», и отправился туда. Ему все нужно было видеть. Поп Макар сильно постарел и был весь седой. Он два года назад похоронил свою попадью Луковну и точно весь засох с горя. В первую минуту он даже не узнал старого благоприятеля.

— Вы насчет земства? — спрашивал старик Михея Зотыча. — Ах, да что же это я!.. Во-первых, здравствуй, Михей Зотыч, а во-вторых, будь гостем.

— Спасибо, спасибо, батя... Вот зашел проведать тебя. Как вы тут поживаете?

— А плохо, Михей Зотыч. Как попадья померла, так и пошло все вверх дном. Теперь вон голод... При попадье-то о голоде и не слыхивали, а как она померла...

— Сказывают, казна будет кормить?

— Наехали земские... Как же!.. У меня сняли на дворе избу под столовую. Земская барышня приехала, а потом Ермилыч орудует... Он ведь нынче тоже по земству.

«Земской барышней» оказалась Устенька, которая приехала с какими-то молодыми людьми устраивать в Суслоне столовую для голодающих. Мельник Ермилыч в качестве земского гласного помогал. Он уже целое трехлетие «служил» в земстве и лез из кожи, чтобы чем-нибудь выдвинуться. Конечно, он поступал во всем, руководствуясь советами Замараева.

Появление скитского старца в голодной столовой произвело известную сенсацию. Молодые люди приняли Михея Зотыча за голодающего, пока его не узнала Устенька.

— Михей Зотыч, как вы-то сюда попали? — удивлялась она, здороваясь со стариком.

— А мимо ехал, красавица. Ехал, да и заехал. Эти молодцы-то поповичи будут?

— Нет, студенты. Сами приехали. Вот двое фельдшерами будут, а другие так, помогать.

— Так, так... Дай бог. А я думал, поповичи, потому бойки больно.

Как раз в этот момент подвернулся Ермилыч, одетый уже по-городскому — в «спинжак», в крахмальную сорочку и штаны навыпуск.

— А, Михею Зотычу, сорок одно с кисточкой! — бойко поздоровался он.

— Здравствуй, здравствуй, миленький.

— Завернул поглядеть, как мы будем народ кормить? Все, брат, земство орудует... От казны пособие выхлопотали, от партикулярных лиц имеем тоже. Как же!.. Теперь вот здесь будем кормить, а там деньгами.

— Так, так... От денег-то народ и в раззор пошел, а вы ему еще денег суете. От ваших денег и голод.

— Как же это так, Михей Зотыч? — смутился Ермилыч.

— А вот так... Ты подумай-ка своим-то умом. Жили раньше без денег и не голодали, а как узнали мужички, какие-такие деньги бывают, — ну, и вышел голод. Ну, теперь-то понял?

Ермилыч только чесал в затылке, а Михей Зотыч хлопнул его по плечу и вышел.

III

Вернувшись домой, Михей Зотыч опять должен был каяться в «скором слове», а честной отец Анфим опять началил его.

— Это *он* тебя подтыкает на скорые-то слова, Михей Зотыч... Мирское у тебя на уме. А ты думай про себя, что хуже ты всех, — вот *ему* и нечего будет с тобой делать. А как ты погордился, *он* и проскочит.

— Не могу я умирить себя. Даве это меня Ермилыч ушиб... Все у них деньги на уме.

— Расширился, сказывают, Ермилыч-то... В рост деньги дает мужикам, а сам все за бесценок скупает. Ему несут со всех сторон, а он берет... Тоже ремесло незавидное. Да еще хвалится: я, грит, всех вас кормлю.

— Не к добру распыхался.

Из Суслона скитники поехали вниз по Ключевой. Михей Зотыч хотел посмотреть, что делается в богатых селах. Везде было то же уныние, как и в Суслоне. Народ потерял голову. Из-под Заполья вверх по Ключевой быстро шел голодный тиф. По дороге попадались бесцельно бродившие по уезду мужики, — все равно работы нигде не было, а дома сидеть не у чего. Более малодушные уходили из дому, куда глаза глядят, чтобы только не видеть голодавшие семьи.

За Суслоном рассажались по Ключевой такие села, как Роньжа, Заево, Бакланиха. Некоторые избы уже пустовали, — семьи разбрелись, как после пожара. Михей Зотыч купил муки у попа Макара и раздавал фунтами и просто пригоршнями. Бабы так и рвали с причитаньем и плачем.

Когда старцы уже подъезжали к Жулановскому плесу, их нагнал Ермилыч, кативший на паре своих собственных лошадей. Дорожная кошевка и вся упряжка были сделаны на купеческую руку, а сам Ермилыч сидел в енотовой шубе и бобровой шапке. Он что-то крикнул старикам и махнул рукой, обгоняя их.

— Ко мне заезжайте, старички! — донеслось уже издали.

— Ловко катается, — заметил Анфим. — В Суслоне сказывали, что он ездит на своих, а с земства получает прогоны. Чиновник тоже. Теперь с попом Макаром дружит... Тот тоже хорош: хлеба большие тысячи лежат, а он цену выжидает. Злобятся мужички-то на попа-то... И куда, подумаешь, копит, — один, как перст.

— Вот и ты осудил, — поймал его Михей Зотыч. — Хоша он и не наш поп, а все-таки на нем сан... Взыск-то с тебя вдвое.

— И то согрешил, Михей Зотыч... Согрешил, родимый. Народ-то болтает, — ну, и я за другими.

— А ты подержи язык-то за зубами. Заедем, што ли, к Ермилычу на мельницу? Надо на него поглядеть дома-то.

— И то завернем. Коня хоть покормим.

Мельница Ермилыча была уже в виду, когда навстречу скитникам попал скакавший без шапки мужик.

— Ох, не ладно, родимые! — крикнул он на скаку. — В Суслон... в волость... Ох, не ладно!

Подъезжая уже к самой мельнице, скитники заметили медленно расходившуюся толпу. У крыльца дома стояла взмыленная пара, а сам Ермилыч лежал на снегу, раскинув руки. Снег был утоптан и покрыт кровяными пятнами.

— Ох, не ладно! — повторил Анфим слова скакавшего мужика.

Остановив сани, скитники подошли к убитому, который еще хрипел. Вся голова у него была залита кровью, а один глаз выскочил из орбиты. Картина была ужасная. На крыльце дома показался кучер и начал делать скитникам какие-то таинственные знаки. Начинавшая расходиться толпа опять повернула к месту убийства.

— Уезжайте подобру-поздорову! — уже крикнул кучер. — Расстервенился народ.

— Ну, нас-то это не касаемо, — спокойно ответил Михей Зотыч. — Кто сделал, тот и ответ даст.

Толпа все надвигалась. Послышался чей-то одинокий голос:

— Ребята, да ведь это старичонко с Прорыва!

— Он!.. Братцы, это Колобов!.. Он первую крупчатку поставил и всех нас разорил. Его работа.

— Он наколдовал, старичонко, голод-то!.. Ишь как ловко присунулся!

Толпа загалдела вся разом и двинулась к мельникову дому. Задние подталкивали передних. Анфим забрался в сани и умолял Михея Зотыча уезжать.

— Не боюсь я дурачков! — спокойно ответил упрямый старик.

Толпа продолжала наступать, и когда передние окружили Михея Зотыча, Анфим не вытерпел и понукнул лошадь. Кто-то хотел загородить ему дорогу, кто-то хватался за поводья, но лошадь была ученая и грудью пробила живую стену. Мелькнули только искаженные злобой лица, сжатые кулаки. Кто-то сдернул с Анфима шапку. Полетела вдогонку толстая палка. Все это случилось так быстро, что Анфим опомнился только за околицей.

Оглянувшись, Анфим так и обомлел. По дороге бежал Михей Зотыч, а за ним с ревом и гиком гналась толпа мужиков. Анфим видел, как Михей Зотыч сбросил на ходу шубу и прибавил шагу, но старость сказывалась, и он начал уставать. Вот уже совсем близко разъяренная, обезумевшая толпа. Анфим даже раскрыл глаза, когда из толпы вылетела пара лошадей Ермилыча, и какой-то мужик, стоя в кошевой на ногах, размахивая вожжами, налетел на Михея Зотыча.

— Господи, прости раба твоего Михея! — взмолился Анфим, погоняя лошадь.

К своему ужасу он слышал, что пара уже гонится за ним. Лошадь устала и плохо прибавляла ходу. Где же одной уйти от пары? Анфим уже слышал приближавшийся топот и, оглянувшись, увидел двух мужиков в кошевке. Они были уже совсем близко и что-то кричали ему. Анфим начал хлестать лошадь вожжами.

— Эй, не гони! Лошадь изведешь! — кричал кто-то сзади.

А топот был все ближе. Вот уже совсем наседают. Даже слышно, как тяжело храпит закормленный коренник.

— Стой!

Анфим продолжал отчаянно хлестать лошадь вожжами, когда кошевка поровнялась с ним.

— Стой, отчаянный! Лошадь изведешь!

Анфим только сейчас узнал голос Михея Зотыча. Да, это был он, цел и невредим. Другой мужик лежал ничком в кошевке и жалобно стонал.

— Вот так погостили! — добродушно смеялся Михей Зотыч, останавливая взмыленных лошадей. — Нечего сказать, ловко!

Лежавший в кошевке кучер продолжал стонать.

— Ох, убили!.. Смертынька моя!

— Ну-ка, покажи, какой тебе гостинец достался? — спокойно говорил Михей Зотыч.

— А плечо у меня... как саданет Гришка Уметов оглоблей.

Михей Зотыч осмотрел ушиб, затекавший багровым пузырем, ощупал, цела ли кость, и решил:

— Ничего, заживет... Твое счастье, что по шубе пришлось, а то остался бы без руки.

Молодой парень кучер сел в кошевке и зарыдал истерически.

— Расстервенились, варнаки!.. Дядя-то Егор с поленом за мной гнался... Это, кричит, змей, а не племянник!.. А тут подвернулся Гришка Уметов... Ка-ак саданет...

Парень долго не мог успокоиться и время от времени начинал причитать как-то по-бабьи. Собственно, своим спасеньем Михей Зотыч обязан был ему. Когда били Ермилыча, кучер убежал и спрятался, а когда толпа погналась за Михеем Зотычем, он окончательно струсил: убьют старика и за него примутся. В отчаянии он погнал на лошадях за толпой, как-то пробился и, обогнав Михея Зотыча, на всем скаку подхватил его в свою кошевку.

— Кабы не твоя догадка, так лежать бы мне рядышком с Ермилычем, — спокойно соображал Михей Зотыч. — Спасибо, выручил.

Расщедрившись, старик добыл два медных пятака и сунул их за пазуху рыдавшему спасителю.

— На, пригодятся, миленький.

Когда кучер немного успокоился, скитники узнали, как было все дело с Ермилычем.

— Злобились раньше на него наши мужички, — рассказывал кучер, охая и ощупывая ушибленное место. — Давно злобились, потому как он всю округу забрал в лапы, не тем будь помянут покойник... Все у него были в долгу, как рыба в сети. За его-то денежки, окромя процента, еще отрабатывать приходилось. Даст под заклад два рубля, вычтет вперед проценту в сорок восемь копеек да еще отрабатывай ему в страду. А тут, в голод-то, он и совсем лютовать начал... Что хошь бери, а только не дай с голоду помереть. Напоследях он и удумал штуку... Суслонскому-то попу Макару зазорно самому хлеб в четыредорога продавать, — ну, он через Ермилыча, а Ермилычу опять свой процент с поповского хлеба идет. Мужички-то тошнее того озлобились... Ну, как мы приехали сегодня из Суслона-то, мужички и окружили... «Опять, грят, за

поповским хлебом ездил, кровопивец?» Оно бы ничего, ежели бы Ермилыч не выпимши был... Учал он мужичков ругать, а потом выхватил левольверт и учал левольвертом грозить... Тут уж дядя Егор как саданет его стягом... Потом все бросились и давай рвать, как волки. Дыхануть одинова не успел... А дядя Егор расстервенился и на меня. «Одной свиньи, кричит, мясо!» Ну, я и убег в сени. А тут вы, как на грех, подъехали... Я-то обозначал вам, штоб уехали, а вы толчетесь около Ермилыча... Ох, смертынька моя!.. Зря человека порешили. Потом опомнятся, как начальство наедет. Не свой брат... Ох, ущемило у меня в плече, Михей Зотыч!

Опасность налетела так быстро и так быстро пронеслась, что скитники опомнились и пришли в себя только вечером, когда приехали в свою раскольничью деревню и остановились у своих. Анфим всю дорогу оглядывался, ожидая погони, но на их счастье в деревне не нашлось ни одной сытой лошади, чтобы догонять скитников. Михей Зотыч угнетенно молчал и заговорил только, когда улеглись спать.

— Анфим... ты спишь?

— Нет.

— А ведь даве-то был у смерти конец

— Совсем конец приходил, Михей Зотыч.

Колобов только тут припомнил, как предательски поступил с ним честной отец — бросил на растерзание, а сам угнал.

— Анфим, разе это порядок, чтоб угонять?

— А ежели ты уперся, как пень?

— Трусу ты спраздновал, честной отец... Ах, нехорошо! Кабы не догадливый кучер... Ох, горе душам нашим!

— Борзость свою хотел показать, Михей Зотыч.

Припомнив все обстоятельства, Михей Зотыч только теперь испугался. Старик сел и начал креститься, чувствуя, как его всего трясет. Без покаяния бы помер, как Ермилыч... Видно, за родительские молитвы господь помиловал. И то сказать, от своей смерти не посторонишься.

— Анфим, а ворота заперты?

— Заперты.

— Точно как будто на улице шум?

— Блазнит тебе, Михей Зотыч. Перекрестись да спи.

Михей Зотыч не мог заснуть всю ночь. Ему все слышался шум на улице, топот ног, угрожающие крики, и он опять трясся, как в лихорадке. Раз десять он подкрадывался к окну, припадал ухом и вслушивался. Все было тихо, он крестился и опять напрасно старался заснуть. Еще в первый раз в жизни смерть была так близко, совсем на носу, и он трепетал, несмотря на свои девяносто лет.

— Анфим, ты спишь?

Анфим притворился спящим и ничего не отвечал.

Потом Михею Зотычу сделалось страшно уже не за себя, а за других, за потемневший разум, за страшное зверство, которое дремлет в каждом человеке. Убитому лучше — раз потерпеть, а убивцы будут всю жизнь казниться и муку мученическую принимать. Хуже всякого зверя человек, когда господь лишит разума.

— Господи, помяни ненавидящие нас!.. Анфим, ты спишь?.. Господи, умири раба твоего Анфима!

IV

В доме Стабровского царило какое-то гнетуще-грустное настроение, хотя по логике вещей и должно было бы быть наоборот. На святках вышла замуж Дидя, и с этим моментом кончились отцовские заботы Стабровского. Жених явился из Польши, откуда его направили бесконечные польские тети. Он даже приходился каким-то отдаленным родственником Стабровскому и приехал, как свой человек. Молодой, красивый инженер ехал в далекую Сибирь с широкими планами обновить мертвую страну разными предприятиями. Тети предупредили Стабровского, что пан Казимир Ярецкий может составить отличную партию для Диди. Старик громко расхохотался над этим предположением. Конечно, Дидя — женщина и в свое время

должна пройти свой женский круг, но примириться на каком-то Ярецком... Дидя хотя и не совершенство, но она еще так мало видела людей и легко может сделать ошибку в своем выборе. Вообще эта комбинация не входила в планы Стабровского. Он мечтал завершить образование Диди поездкой за границу, чтобы показать дочери настоящую жизнь и настоящих людей. В сущности Дидя все-таки провинциалка и ничего не знает, а там раскроются новые горизонты и наберется для сравнения новый материал. Но эта предполагаемая поездка все не устраивалась. С одной стороны, свои дела не пускали, а с другой — как-то неловко было оставить больную жену. Тащить ее за границу тоже не приходилось, потому что домашних удобств и привычек ничто не могло ей заменить, никакая заграница, она уже была в таком возрасте, когда тяжелы всякие перемены. Так дело и тянулось из года в год, тем более что и Дидя была слишком молода.

К молодому пану Казимиру Стабровский отнесся довольно холодно, как относятся к дальним родственникам, а Дидя с первого раза взяла над ним верх и без стеснения вышучивала каждый его шаг. Стабровский успокоился, потому что из такой комбинации, конечно, ничего не могло выйти. Сам по себе пан Казимир был неглуп, держал себя с тактом, хотя в нем и не было того блестящего ума, который выдвигает людей из толпы. Стабровскому казалось, что в молодом пане те же черты вырождения, какие он со страхом замечал в Диде. Впрочем, в данном случае старик уже не доверял самому себе, — в известном возрасте начинает казаться, что прежде было все лучше, а особенно лучше были прежние люди. Это — дань возрасту, результат собственного истощения.

По всей вероятности, пан Казимир уехал бы в Сибирь со своими широкими планами, если б его не выручила маленькая случайность. Еще после пожара, когда было уничтожено почти все Заполье, Стабровский начал испытывать какое-то смутное недомоганье. Какая-то тяжесть в голове, бродячая боль в конечностях, ревматизм в левой руке. Все это перед рождеством разрешилось первым ударом паралича, даже не

ударом, а ударцем, как вежливо выразился доктор Кацман.

— Это первое предостережение, доктор, — спокойно заметил Стабровский, когда пришел в себя. — Зачем себя обманывать?.. Я понимаю, что с таким ударцем можно протянуть еще лет десять — пятнадцать, но все-таки скверно. Песенка спета.

Стабровского приятно поразило то внимание, с каким ухаживала за ним Дидя. Она ходила за ним, как настоящая сиделка. Стабровский не ожидал такой нежности от холодной по натуре дочери и был растроган до глубины души. И потом Дидя делала все так спокойно, уверенно, как совсем взрослая опытная женщина.

Организм у Стабровского был замечательно крепкий, и он быстро оправился. Всякое выздоровление, хотя и относительное, обновляет человека, и Стабровский чувствовал себя необыкновенно хорошо. Именно этим моментом и воспользовалась Дидя. Она как-то вечером читала ему, а потом положила книгу на колени и проговорила своим спокойным тоном, иногда возмущавшим его:

— Папа, ты не любишь Казимира, я это знаю.

— Не то чтобы совсем не люблю, Дидя, а так, вообще... Есть люди особенные, выдающиеся, сильные, которые делают свое время, дают имя целой эпохе, и есть люди средние, почти бесформенные.

— Вот именно к таким средним людям и принадлежит Казимир, папа. Я это понимаю. Ведь эта безличная масса необходима, папа, потому что без нее не было бы и выдающихся людей, в которых, говоря правду, я как-то плохо верю. Как мне кажется, время таинственных принцев и еще более таинственных принцесс прошло.

— Дидя, а иллюзии? Ведь в жизни иллюзия — все... Отними ее — и ничего не останется. Жизнь в том и заключается, что постепенно падает эта способность к иллюзии, падает светлая молодая вера в принцев и принцесс, понижается вообще самый appetitus vitae... Это — печальное достояние нас, стариков, и мне прямо

больно слышать это от тебя. Ты начинаешь с того, чем обыкновенно кончают.

Девушка посмотрела на отца почти с улыбкой сожаления, от которой у него защемило на душе. У него в голове мелькнула первая тень подозрения. Начало не обещало ничего хорошего. Прежде всего его обезоруживало насмешливое спокойствие дочери.

— Ты что-то хочешь сказать мне, Дидя?

— Да.

— Предыдущее служило подготовлением?

— Да.

Наступила неловкая пауза, и Стабровский со страхом посмотрел на дочь. Вот когда началось то, чего он боялся! До сих пор она принадлежала ему, а теперь...

— Дидя, ты влюблена? — тихо спросил он, чувствуя, как весь начинает холодеть.

— Нет.

Она засмеялась. Он облегченно вздохнул. Она наклонилась к нему, поцеловала и проговорила:

— Папа, я неспособна к этому чувству... да. Я знаю, что это бывает и что все девушки мечтают об этом, но, к сожалению, я решительно не способна к такому чувству. Назови это уродством, но ведь бывают люди глухие, хромые, слепые, вообще калеки. Значит, по аналогии, должны быть и нравственные калеки, у которых недостает самых законных чувств. Как видишь, я совсем не желаю обманывать себя. Ведь я тоже *средний* человек, папа... У меня ум перевешивает все, и я вперед отравлю всякое чувство.

— А ты не ошибаешься?

— Опять спасительная логика среднего человека, папа... Вместо иллюзии здесь является довольно грустный житейский расчет.

— Дитя, ты меня пугаешь...

— Поговорим, папа, серьезно... Я смотрю на брак как на дело довольно скучное, а для мужчины и совсем тошное. Ведь брак для мужчины — это лишение всех особенных прав, и твои принцы постоянно бунтуют, отравляют жизнь и себе и жене. Для чего мне муж-герой? Мне нужен тот нормальный средний человек, который терпеливо понесет свое семейное иго. У себя

дома ведь нет ни героев, ни гениев, ни особенных людей, и в этом, по-моему, секрет того крошечного, угловатого эгоизма, который мы называем семейным счастьем.

Рассудительность Диди тяжело подействовала на Стабровского, — ведь это своего рода холодный и беспринципный разврат. С другой стороны, она совершенно застрахована от обыкновенных женских слабостей, хотя такие сдержанные натуры иногда и кончают очень плохо.

Долго раздумывал Стабровский и так и этак, а главное — о том, что не сегодня-завтра он может умереть и Дидя останется совершенно на произвол судьбы. Конечно, пан Казимир заставляет желать многого, чтобы сделаться приличным совершенством, но все равно другого выбора нет. Старик плохо помнил, как дал свое согласие на этот брак, а через неделю после свадьбы уже проклинал себя. Где у него были глаза? Ведь пан Казимир прежде всего глуп, да еще самонадеянно глуп, а потом он получил взамен ума порядочную дозу самой нехорошей мелкой хитрости, и, наконец, он зол, как маленькое бессильное животное. Стабровский возненавидел зятя и просто не мог выносить его присутствия. В довершение всего Дидя, умненькая, рассудительная и холодная, как маленькая змейка, ничего этого не видела и, кажется, была счастлива, что связала свою жизнь с этим вырождающимся ничтожеством.

Раз у Стабровского с зятем разыгралась довольно крупная сцена. Старика больше всего поразило то, что присутствовавшая при этом Дидя упорно молчала, она была согласна с мужем и только из вежливости не противоречила отцу. Ясно, что произошла перемена подданства. Результатом этой сцены был второй, уже настоящий удар, уложивший Стабровского на три месяца в постель. У него отнялась вся правая половина, скосило лицо и долго не действовал язык. Именно в таком беспомощном состоянии его и застала голодная зима. И было достаточно трех месяцев, чтобы все, что подготовлялось целою жизнью, разом нарушилось. Произошло нечто вроде отложения подданных. Прежде

всего распалось соглашение винокуров, и Стабровский перестал получать отступное; потом в банке, видимо, на Стабровском поставили крест и не считали нужным даже отвечать на его письма; наконец, отдельные лица, обязанные ему всем, проявили самую черную неблагодарность. Особенно типичным примером таких отношений был тот, когда Галактион отказался не только платить взятые у Стабровского пятьдесят тысяч, но даже отказался приехать для личных объяснений.

— Зачем я поеду к нему? — удивлялся Галактион с прямолинейностью настоящего мошенника. — Пусть господин Стабровский лучше посчитает, сколько я ему доставил барышей, когда трепался по кабакам...

И другие были не лучше: Штофф, Мышников, свои собственные служащие, и лучше всех, конечно, был зять, ждавший его смерти, как воскресения. О, как теперь всех понимал Стабровский и как понимал то, что вся его жизнь была одною сплошною ошибкой!

Сознание вернулось, но говорить правильно Стабровский не мог. Он подыскивал или забывал слова и говорил совсем не то, что желал. Это доводило его до слез. Все понимать и не иметь возможности все объяснить — что может быть хуже? Болезнь развила в нем страшную подозрительность, — он теперь не верил даже родной дочери. Из всех окружающих он отдавал предпочтение деревянной мисс Дудль, которая была всегда одинакова, да еще Устеньке, которая приходила навещать его почти каждый день. Девушка приносила с собой неистощимый запас печальных новостей.

— Если бы вы только могли видеть, Болеслав Брониславич! — говорила Устенька со слезами на глазах. — Голодающие дети, голодающие матери, старики, отцы семейств... Развивается голодный тиф.

— Да? — равнодушно удивлялся Стабровский. — И я тоже голоден... А что значит: есть?.. Меня доктора заставляют есть.

В другой раз Стабровский сказал Устеньке:

— Они голодны? Какое счастье!.. Если б я мог быть голодным!

Он даже приподнялся на подушке и со слезами на глазах объяснил свою мысль:

— Я постоянно голоден, но не могу есть... И это даже не голод в собственном смысле, а это... это... это... Ах, я все готов был бы отдать за то, чтобы быть таким голодным, как ваши голодные!.. Я им завидую.

Это был какой-то сумасшедший бред, и Стабровский только по сдержанно-грустному выражению лица Устеньки догадывался, что он говорит что-то невозможное, старался поправиться и окончательно запутывался в собственных словах.

Устенька в отчаянии уходила в комнату мисс Дудль, чтоб отвести душу. Она только теперь в полную меру оценила эту простую, но твердую женщину, которая в каждый данный момент знала, как она должна поступить. Мисс Дудль совсем сжилась с семьей Стабровских и рассчитывала, что, в случае смерти старика, перейдет к Диде, у которой могли быть свои дети. Но получилось другое: деревянную англичанку без всякой причины возненавидел пан Казимир, а Дидя, по своей привычке, и не думала ее защищать.

— Они выгонят меня из дому, как старую водовозную клячу, — спокойно предусматривала события мисс Дудль. — И я не довела бы себя до этого, если бы мне не было жаль мистера Стабровского... Без меня о нем все забудут. Мистер Казимир ждет только его смерти, чтобы получить все деньги... Дидя будет еще много плакать и тогда вспомнит обо мне.

— Мисс Дудль, если вы почему-нибудь вздумаете — переезжайте прямо ко мне, — предлагала несколько раз Устенька. — Право, мы проживем вместе недурно.

Мисс Дудль каждый раз удивлялась и даже целовала Устеньку. Эти поцелуи походили на прикладывание мраморной плиты. И все-таки мисс Дудль была чудная девушка, и Устенька училась, наблюдая эту выдержанную английскую мисс.

V

После пожара прошло пять лет, и Заполье выстроилось заново. От старого города осталось очень немного. Показались пустыри, на которых некому было

строиться. В общем город получил новенький вид и, пожалуй, был красивее старого. Этот пожар докончил разорение того среднего купечества, которое составляло силу старого города. Повидимому, была и торговля и промышленность, но все это являлось какимто призраком. Теперь вся жизнь строилась на кредите: дома строили в кредит, промысла в кредит, торговля в кредит. Свободных капиталов не было, как раньше. Пожар разорил даже таких капиталистов, как Евграф Огибенин и старик Луковников. Это были последыши запольского разорения. На их месте возникали новые состояния буквально из ничего, как на растительном перегное растут грибы: во главе стояли банковские воротилы — Мышников, Штофф и Галактион, а из-за их широких спин выдвигались совсем уже темные люди, как бывший писарь Замараев, сладкий братец Прасковьи Ивановны Голяшкин.

Разорение ушло далеко в степь. Киргиз Шахма держался только банком, Сашка Горохов разорился и спился, винокур Прохоров, хотя и держался, но тоже был в худых душах. У банка была какая-то задача систематически разорять всех.

Вскоре после пожара старик Луковников привел в порядок свои дела и пришел к печальному открытию, что он разорен бесповоротно. Все капиталы съела мельница, дававшая в последние годы дефицит около тридцати тысяч рублей, да еще к этому следовало прибавить мертвый капитал, затраченный на нее и не дававший процента, платежи по банковским ссудам и т. д. Доходные годы не могли покрыть этих дефицитов, а только на время отдаляли неминучую беду. Все дело заключалось только в том, чтобы выиграть время и дождаться, когда какой-нибудь один год даст сотни тысяч дивиденда. Но для этого нужны были новые средства, а кредит уже кончался. Луковникова удивляло больше всего то, что все другие знали его дела, пожалуй, лучше, чем он сам. Это выяснилось особенно точно, когда ему пришлось закладывать мельницу в Запольском банке.

— Мы, собственно, такими операциями не занимаемся, — заявил Штофф, к которому обратился Лу-

ковников. — Вам всего лучше обратиться куда-нибудь в другой банк.

— Время дорого, Карл Карлыч.

Тяжело было Луковникову обращаться именно в Запольский банк, где воротил всеми делами Мышников, но делать нечего — нужда загнала. Банковское правление долго тянуло это дело, собирало какие-то справки, и, наконец, состоялось решение выдать под мельницу ссуду в тридцать тысяч рублей.

— Господа, да ведь она мне стоит больше трехсот тысяч! — взмолился Луковников. — Ведь вы все хорошо это знаете.

— Отчего вы не обратились в другой банк, Тарас Семеныч? — объяснил Драке, по своему обыкновению, вопросом. — Разве мы кому-нибудь даем больше? Вообще вы, значит, недовольны?..

Пришлось помириться на этой сумме, чтобы заткнуть кое-какие кредитные дыры. Кредиторы точно сговорились и наступали на Луковникова все теснее.

Заклад мельницы оттянул окончательное разорение на очень небольшое время. Явился первый протестованный вексель, когда-то выданный еще покойному Нагибину, а это вызвало закрытие банковского кредита и объявление несостоятельности. Назначен был конкурс, и все имущество поступило уже в его ведение. Тяжелее всего Луковникову было то, что ему не пришлось дослужить последнего трехлетия городским головой и выйти даже из состава гласных. Все рушилось как-то разом. Старик в каких-нибудь полгода совершенно поседел, как-то опустился и принял тот недоумевающий вид, как и все другие «конкурсные». У него теперь явились какие-то необычайные планы, детские расчеты и еще более детские надежды. Главное, что его мучило, это — Устенька, которая из богатой невесты превратилась в нищую. Эта последняя мысль ела старика день и ночь.

— Перестань, пожалуйста, папа, — уговаривала его Устенька. — Не стоит даже и говорить о таких пустяках... Будет день — будет и хлеб.

— Ах, Устенька, Устенька, ничего ты не понимаешь!

— Нет, папа, отлично понимаю. Ну, скажи, пожалуйста, для чего нам много денег: ведь ты два обеда не съешь, а я не надену два платья?.. Потом, много ли богатых людей на свете, да и вопрос, счастливее ли они от своего богатства?

Когда дом и все имущество были описаны, Устенька наняла небольшую квартиру в три комнаты и переехала в нее с отцом и старой нянькой Матреной. Девушка была совершенно счастлива, что может на свои средства содержать отца, — она зарабатывала уже около пятидесяти рублей в месяц, потому что, кроме переводов в «Запольском курьере», занимала еще место секретаря этой газеты. К Луковниковым же переселился в качестве квартиранта и Ечкин, выпущенный из острога «по недостатку улик». Устенька сама предложила ему квартиру, отплачивая ему за то добро, которое он сделал ей, когда определил к Стабровским. Тюремное почти годовое заключение подействовало на Ечкина самым разрушающим образом. Из цветущего и жизнерадостного мужчины он сразу превратился в подержанного джентльмена, точно весь вылинял. Главное, что его погубило, это — невозможность выехать из Заполья. И все из-за дурацкого дела об отравлении Нагибина. Кредиторы заперли его в Заполье, как охотники обкладывают в берлоге дикого зверя, обязав подпиской о невыезде. А что мог сделать Ечкин в этом разоренном городе?

У Ечкина попрежнему роились тысячи планов, он ждал каких-то спасительных сроков, писал без конца кому-то и куда-то бесконечные деловые письма и не думал сдаваться.

— У тебя, как у лисы, тысячи думушек, — добродушно шутил над ним Луковников. — Оба, брат, мы с тобой, как в сказке лиса, попали банковской бабе на воротник... У банка-то одна думушка!

Устенька очень рада была Ечкину, который развлекал отца и не давал ему задумываться. Они как-то особенно близко сошлись между собой и по вечерам делились своими планами...

— Мне всего две недели подождать, — по секрету сообщал Ечкин, подмигивая, — а там...

— И мне тоже, Борис Яковлич... Всего две недели тоже!

И они ждали свои две недели, как дети. Устенька должна была выслушивать этот бред и соглашаться.

Нагибинское дело остановилось в неопределенном положении. За недостатком улик был выпущен и Полуянов. Выпущенный раньше Лиодор несколько раз являлся к следователю с новыми показаниями, и его опять сажали в острог, пока не оказывалось, что все это ложь. Все внимание следователя сосредоточивалось теперь именно на Лиодоре, который казался ему то психически ненормальным человеком, то отчаянным разбойником, смеявшимся над ним в глаза. В последний раз Лиодора к следователю отправил сам Харитон Артемьич.

— Явите божескую милость, ваше высокоблагородие, господин следователь второго участка, — заявлял старик. — Сам привел к вам разбойника... Он стравил Нагибина. Уж поверьте родному отцу.

— Действительно я, — равнодушно соглашался Лиодор.

Он даже рассказал целую историю этого отравления, пока следователь не догадался отправить его на испытание в больницу душевнобольных. Отец тоже был ненормален и радовался, как ребенок, что еще раз избавился от сына.

— Туда ему и дорога, разбойнику! — повторял он, крестясь. — Он и меня стравит.

Вообще в Заполье появился целый ряд тронувшихся людей, как Малыгин с сыном, бывший исправник Полуянов и Луковников с Ечкиным. У каждого был свой пунктик.

Разорению Луковникова предшествовала романическая история Устеньки с Галактионом. Это было что-то нелепое, почти невозможное, если б оно не было на самом деле. Устенька относилась к Галактиону с гадливым презрением и в глаза высказывала, за что его принимает. Но Галактиона это не остановило. Его так и тянуло в дом к Луковникову. Он являлся под всевозможными предлогами, чтобы хоть издали увидеть своего красивого молодого врага. Галактиона охватила

самая тяжелая страсть, страсть пожилого человека, терявшего голову. Тут уже не было ни молодых расчетов, ни сдержанности, ни самолюбия. Одно желание охватывало всего человека: видеть ее. Галактион еще до пожара заявил Харитине, что любит Устеньку и женится на ней во что бы то ни стало. Харитина к этому откровенному признанию отнеслась совершенно равнодушно. Она слишком устала жить... Что же, пусть женится, если нравится.

Сама Устенька страшно перепугалась, когда открыла истинную причину частых визитов Галактиона. Он показался ей просто сумасшедшим человеком, и она всячески старалась избегать его. Каждый звонок заставлял ее вздрагивать. В свою редакцию она бежала так скоро, точно кто за ней гнался. И все-таки она часто встречала Галактиона. Он, как мальчишка, по целым часам поджидал ее на улице, бродил по вечерам, как тень, под окнами редакции «Запольского курьера», где она занималась, и был счастлив, когда мог раскланяться с ней хоть издали. Устенька боялась какой-нибудь грубой выходки, открытого нападения, но все дело ограничивалось молчаливым преследованием. Последнее ее успокоивало, и она даже набралась столько храбрости, что раз остановилась на улице, дождалась провожавшего ее издали Галактиона и очень резко заявила ему:

— Вы меня компрометируете, Галактион Михеич... У вас свои взрослые дочери, и, кажется, уж вам-то должно быть стыдно. Я вас презираю.

Галактион только смотрел на нее и молчал. Он весь был в этом взгляде, и его молчание было красноречивее всяких слов. Устенька повернулась и почти бегом бросилась домой. Она не стала пить чай, хотя отец и Ечкин каждый вечер ждали ее возвращения, как было и сегодня, а прошла прямо в свою комнату, заперлась на крючок и бросилась на кровать. Ее душили бессильные слезы. Галактион казался ей каким-то проклятым человеком, который тенью бродил по городским улицам. Ведь он довел до мертвого запоя нелюбимую жену, он разыграл роман с Прасковьей Ивановной, он теперь мучил несчастную Харитину... И все эти жен-

щины за что-то любили этого проклятого человека, ждали его ласкового взгляда, улыбались ему счастливыми улыбками и потом проклинали.

Ночное раздумье привело Устеньку к решению. Она должна была, как это ни тяжело, объясниться с Галактионом. Вообще получалась самая глупая и нелепая история.

Объяснение произошло в квартире Харченки, куда Галактион пришел навестить детей.

— Что вам от меня нужно? — резко спросила девушка.

— Ничего, — виновато ответил Галактион.

— В таком случае, вы понимаете, что ваше преследование меня по пятам — мерзость... За меня даже заступиться некому, и вы пользуетесь моею беззащитностью. Ко всем хорошим качествам, о которых я вам уже говорила, вы присоединяете новое.

— А если мне тошно, Устинья Тарасовна? Может быть, впору руки на себя наложить.

— Скажите, пожалуйста, вы, должно быть, повторяете это всем женщинам, имевшим неосторожность увлекаться вами? Я не из таких.

Галактион вообще имел такой несчастный вид, что приготовившаяся его разнести девушка немного растерялась. Некого было даже бранить.

— Меня удивляет ваша бессовестность, — говорила она, напрасно стараясь рассердиться. — Да, полная бессовестность.

— Если бы вы меня не ненавидели, Устинья Тарасовна, я давно сделал бы вам предложение.

— Не смейте этого говорить, несчастный!.. Вы годитесь мне в отцы!

— Устинья Тарасовна, когда с вами случится *это,* тогда вы меня вспомните. Есть такие роковые люди.

После этого откровенного объяснения, происходившего вскоре после пожара, Галактион на время оставил девушку в покое. Но затем он неожиданно явился прямо в дом к Луковникову, когда Устенька была одна.

— Я сейчас уйду, Устинья Тарасовна... Пожалуйста, не бойтесь меня. Я пришел предложить помощь Тарасу Семенычу.

— Я скажу папе, чтоб он просто не принимал вас.

— Но ведь он разорится?

— Это вас не касается.

Галактион молча поклонился и вышел. Это была последняя встреча. И только когда он вышел, Устенька поняла, за что так любили его женщины. В нем была эта покрывающая, широкая мужская ласка, та скрытая сила, которая неудержимо влекла к себе, — таким людям женщины умеют прощать все, потому что только около них чувствуют себя женщинами. Именно такою женщиной и почувствовала себя Устенька.

VI

Первые приступы голода начались еще с осени, когда был съеден первый хлеб. Урожай был настолько скуден, что в большинстве случаев не собрали семян. Тяжелая крестьянская беда обложила все. Остановилась прежде всего всякая торговля. Купцы сидели в пустых лавках. Промыслы тоже стали. Нигде никакой работы, а впереди целая голодная зима. Продовольственных капиталов совсем не оказалось, считавшиеся на бумаге хлебные магазины стояли пустыми. Положение вообще было вполне безвыходное. Уже с осени, по первым заморозкам, Заполье очутилось в каком-то малом осадном положении. В город со всех сторон брели толпы голодающих, — это был авангард страшной голодной армии. Городское управление решительно не знало, что делать. В городе тоже начинался свой собственный голод, а тут толпы нищих из уезда. Никаких специальных сумм на удовлетворение страшно разгоравшейся беды не было, на частную благотворительность совсем нельзя было рассчитывать, а оставалось одно земство, которое должно было заботиться о своем уезде. «Ступайте в земскую управу», — предлагали голодным. После Луковникова городским головой был избран Мышников, изображавший собой «маленького губернатора», как вышучивал «Запольский курьер». Новый городской голова принимал всевозможные

меры, чтоб оградить свои владения от вторжения голодающих, и ничего не мог поделать.

Запольское земство еще после уборки хлеба раннею осенью представило губернскому земскому собранию подробный доклад о положении дела. Доклад писал Харченко толково и обстоятельно. Требовалась настоятельная правительственная помощь. Экстренное земское собрание решило хлопотать о миллионной ссуде, но это ходатайство было опротестовано губернатором, приславшим своего чиновника особых поручений для расследования дела на месте. Чиновник приехал в Заполье и узнал от Мышникова, что голод придуман «Запольским курьером», а в действительности есть только недород. В этом смысле губернатором и было решено, и ссуда была понижена на семьдесят процентов, а «Запольскому курьеру» сделано соответствующее внушение. Мышников острил, называя эту газету «голодной». Наступившая зима показала, что дело обстоит совсем не смешно и что необходимы энергические меры. Так как нужно было что-нибудь говорить, все толковали о дешевом сибирском хлебе. Только бы дождаться весны, когда вскроются реки. Доверенные крупных уральских хлеботорговцев еще с осени уехали в Сибирь и закупали там громадные партии. Много толковали о тюменских и екатеринбургских купцах, сосредоточивавших все свои силы на сибирском хлебе. В Заполье оставался один крупный мучник, старик Луковников, да и тот как раз уже разорился, и вальцовая мельница, стоившая до четырехсот тысяч, ушла с торгов всего за тридцать. Ее купила компания Замараева, Голяшкина и Ермилыча. Это были дельцы уже новой формации, сменившие старое степенное купечество. Они спекулировали на чужом разорении и быстро шли в гору.

— Не все банку денежки-то огребать, — говорил Замараев. — Надо и протчим народам что-нибудь оставить на зубок.

Со смертью Ермилыча компания осталась из двух, и Замараев высчитал, что наживет на этом тысяч двадцать. Конечно, жаль Ермилыча, хороший был человек, а опять и деньги тридцать тысяч не лишние.

Собственно, хлебом Замараев начал заниматься «из-за руки», благодаря Ермилычу, устроившему в Заполье разные хлебные «комиссии». Особенных барышей от этих поручений не было, но и себе не в убыток. Когда начались недороды, Замараев воспользовался случаем и несколько раз надул Ермилыча, утаив львиную долю прибыли. Впрочем, и сам Ермилыч несколько раз обувал Замараева на обе ноги и только глупо хихикал, когда тот начинал ругаться. Эти маленькие недоразумения не мешали большой дружбе, и Замараев искренне жалел безвременно погибшего друга.

— От своей доброты погиб, — говорил Замараев со вздохом. — Конечно, жалел бедноту, — ну, и одолжал, а доброта вон как отрыгнулась.

Свое дело Замараеву окончательно надоело. С грошами приходится возиться и при этом как будто низко. Вон банк обдирает начистоту, и все благородные, потому что много берут, а он, Замараев, точно какой искариот. Все даже пальцами указывают.

— Тоже вот от доброты началось, — вздыхал он. — Небойсь мужички в банк не идут, а у меня точно к явленной иконе народ прет.

Действительно, замараевская касса осаждалась каждое утро целою толпой крестьян. Закладывался настоящий деревенский мужик, тащивший в город самовары, конскую сбрую, полушубки, бабьи сарафаны и вообще свое мужицкое «барахло», как называл Замараев этот отдел закладов. Нужно отдать справедливость, он принимал эти вещи из участия к захватившей деревню бедности, а настоящего коммерческого расчета с барахлом не могло быть. Бывший волостной писарь отлично понимал ту отчаянную деревенскую нужду, которая закладывалась у него последними потрохами. Купеческие и господские денежки легкие, как и пожитки, а тут выбрасывалось мужицкое добро, точно поднималась тяжелая почвенная вода. Особенно негодовала жена Замараева, потому что от этого мужицкого добра «очень уж тяжелый дух по всему дому идет».

— Ничего ты не понимаешь, Анна, — усовещивал ее Замараев. — Конечно, я им благодетель и себе в убыток баланс делаю: за тридцать-то шесть процен-

тов в год мне и самому никто не даст двугривенного. А только ведь и на мне крест есть... Понимаешь?

Выпущенный из тюрьмы Полуянов теперь занимался у Замараева в кассе. С ним опять что-то делалось — скучный такой, строгий и ни с кем ни слова. Единственным удовольствием для Полуянова было хождение по церквам. Он и с собой приносил какую-то церковную книгу в старинном кожаном переплете, которую и читал потихоньку от свободности. О судах и законах больше не было и помину, несмотря на отчаянное приставанье Харитона Артемьича, приходившего в кассу почти каждый день, чтобы поругаться с зятем.

— Пора о душе тебе позаботиться, — советовал Полуянов.

— Ну, это уж попы знают... Ихнее дело. А ты, Илья Фирсыч, как переметная сума: сперва продал меня Ечкину, а теперь продаешь Замараеву. За Ечкина в остроге насиделся, а за любезного зятя в самую отдаленную каторгу уйдешь на вечное поселенье... Верно тебе говорю.

Замараев не обращал внимания на ругань богоданного тятеньки и только время от времени повторял:

— Тятенька любезный, все мы под богом ходим и дадим ответ на страшном пришествии, а вам действительно пора бы насчет души соображать. Другие-то старички вон каждодневно, например, в церковь, а вы, прямо сказать, только сквернословите.

Банковские воротилы были в страшной тревоге, то есть Мышников и Штофф. Они совещались ежедневно, но не могли прийти ни к какому результату. Дело в том, что их компаньон по пароходству Галактион держал себя самым странным образом, и каждую минуту можно было ждать, что он подведет. Сначала Штофф его защищал, а потом, когда Галактион отказался платить Стабровскому, он принужден был молчать и слушать. Даже Мышников, разоривший столько людей и всегда готовый на новые подвиги, — даже Мышников трусил.

— Утопит он нас, вот посмотри! — уверял он Штоффа. — Ведь теперь какой момент — он сразу вылезет в миллион, а тогда его уж не достанешь.

— Д-да... вообще... Одним словом, черт его знает, что у него на уме. Главное, как-то прячется ото всех.

Недоразумение выходило все из-за того же дешевого сибирского хлеба. Компаньоны рассчитывали сообща закупить партию, перевести ее по вешней воде прямо в Заполье и поставить свою цену. Теперь благодаря пароходству хлебный рынок окончательно был в их руках. Положим, что наличных средств для такой громадной операции у них не было, но ведь можно было покредитоваться в своем банке. Дело было вернее смерти и обещало страшные барыши.

— Тюменские купцы вон уже зафрахтовали пароходы на всю навигацию, — сообщил Штофф. — Хлеб закупили от семнадцати до двадцати трех копеек за пуд, а продавать хотят по два рубля. Это уж бессовестно.

— Конечно, бессовестно... Мы будем продавать по полтора рубля.

— Другими словами, от каждого пуда возьмем полтину убытка. Ну, да уж как быть, надо послужить миру.

Да, все было рассчитано вперед и даже процент благодеяния на народную нужду, и вдруг прошел слух, что Галактион самостоятельно закупил где-то в Семипалатинской области миллионную партию хлеба, закупил в свою голову и даже не подумал о компаньонах. Новость была ошеломляющая, которая валила с ног все расчеты. Штофф полетел в Городище, чтоб объясниться с Галактионом.

— Это правда? — спрашивал он после некоторых предисловий.

— Да, — коротко ответил Галактион.

— А как же мы-то?

— Вы получите, что причтется на вашу долю за фрахт.

— Ну, это, брат, стара штука!.. Дудки!..

— А контракт? Ведь контракт-то сам Мышников писал: там только и говорится о фрахте, а о совместных закупках товара ничего не сказано, да и капиталов таких нет.

— Капитал мы достанем.

— Об этом раньше надо было подумать, а теперь поздно. Я взял весь фрахт на себя.

— Галактион, есть у тебя совесть? То есть, тьфу... Какая там совесть! Ведь ты тогда пропал бы, если бы мы тебя не выручили, а теперь что делаешь?

— Вы свой кусок хлеба с маслом и получите. Достаточно вы поломались надо мной, а забыли только одно: пароходы-то все-таки мои... да.

— Послушай, да тебя расстрелять мало!.. На свои деньги веревку куплю, чтобы повесить тебя. Вот так кусочек хлеба с маслом! Проклятый ты человек, вот что. Где деньги взял?

— Это уж мое дело. Ведь я не спрашиваю, где вы деньги берете. Одним словом, нам нечего разговаривать.

Вернувшись в Заполье, Штофф резюмировал Мышникову свое мнение:

— Это... это гениальный мерзавец! Все так предусмотреть... Нет, это, наконец, свинство!

Мышникова больше всего занимал вопрос о том, откуда Галактион мог достать денег. Ведь на худой конец нужно двести — триста тысяч.

— Нет, ты считай! — кричал Штофф, начиная рвать редевшие волосы. — Положим, что ему обойдется по двадцать пять копеек пуд — миллион пудов, значит, двести пятьдесят тысяч. Хорошо. Фрахт — пятнадцать копеек с пуда, ну, накладных расходов клади десять копеек — итого пятьсот тысяч. Так? Положим, что он даст за двести пятьдесят тысяч процентов из двадцати пяти — итого шестьдесят две с половиной тысячи. Всего, следовательно, он затрачивает сумму в пятьсот шестьдесят тысяч. Так? А выручил полтора миллиона, если пустит хлеб по нашей цене, значит, голенький миллион в кармане. Нет, это черт знает что такое!

Дальше сделалось известным, что Галактион арендовал мельницу отца в Прорыве, потом ведет

переговоры относительно вальцовой мельницы Замараева и Голяшкина и что, наконец, предлагал земству доставить хлеб по одному рублю семидесяти копеек. Все Заполье теперь только и говорило о Галактионе. Он сделался героем дня, которого ждали столько лет. Еще ничего подобного не видали в Заполье, и самый банк с его операциями являлся какою-то детскою игрушкой. Слава Галактиона выросла в несколько дней, как снеговой ком. Поднялись все аппетиты и тайные вожделения ухватить свою долю. Но дорог был момент: других пароходов не было, и Галактион железною рукой захватил весь хлебный рынок.

Самое скверное было то, что Мышников и Штофф очутились в смешном положении, и все на них указывали пальцами. Ведь они спасли Галактиона, когда он погибал со своими пароходами, а теперь должны были смотреть и ожигаться.

Мышников теперь даже старался не показываться на публике и с горя проводил все время у Прасковьи Ивановны. Он за последние годы сильно растолстел и тянул вместе с ней мадеру. За бутылкой вина он каждый день обсуждал вопрос, откуда Галактион мог взять деньги. Все богатые люди наперечет. Стабровский выучен и не даст, а больше не у кого. Не припрятал ли старик Луковников? Да нет, — не такой человек.

— Решительно негде взять такой суммы! — повторял Мышников, изнывая от желания раскрыть тайну Галактиона. — Ведь уж, кажется, мы-то знаем, у кого и сколько денег... да.

— Умный человек — вот главная причина, — язвила Прасковья Ивановна. — Я всегда это говорила.

— Да ты же и меня тогда подвела дать денег Галактиону на его проклятые пароходы.

— А зачем дурацкий контракт написал?

В довершение всего в «Запольском курьере» появилась анонимная статья «о трех благодетелях». В ней подробно рассказывалась история пароходной компании, а роль Мышникова и Штоффа выставлялась в самом комическом виде. Это была месть Харченки.

VII

Начиная с осени Устенька была завалена работой, особенно когда начали открываться столовые для голодающих и новые врачебные пункты. Немного было местной интеллигенции, но она горячо откликнулась на народное бедствие, особенно молодежь. Рабочие руки были страшно дороги, да и было их немного. Первые опыты с кормлением голодающих производились в Заполье, и скоро выработался определенный тип таких столовых, а по ним уже открывались столовые в уезде. Нужда была так велика, а средства так ничтожны, да и те с величайшим трудом добывались главным образом из России. В Заполье благотворителем оказался только Стабровский, на средства которого было открыто до двадцати столовых, а остальные богачи очень туго поддавались на просьбы о помощи. Устенька теперь часто бывала у Стабровского, который давал ей средства, не говоря, откуда они.

Чем больше шло время к весне, тем сильнее росла нужда, точно пожар. Раз, когда Устенька вернулась домой из одной поездки по уезду, ее ждала записка Стабровского, кое-как нацарапанная карандашом: «Дорогой друг, заверните сегодня вечером ко мне. Может быть, это вам будет неприятно, но вас непременно желает видеть Харитина. Ей что-то нужно сказать вам, и она нашла самым удобным, чтоб объяснение происходило в моем присутствии. Я советую вам повидаться с ней».

«Что ей нужно от меня? — подумала девушка, испытывая неприятное чувство, — она никогда не любила Харитину. — Какая-нибудь глупость».

Она сама не пошла бы на это объяснение, если бы не настойчивый совет Стабровского. Старик не будет даром советовать.

Неприятное чувство усиливалось по мере того, как Устенька подходила к дому Стабровского. Что ей за дело до Харитины, и какое могло быть между ними объяснение? У девушки явилась даже малодушная мысль вернуться домой и написать Стабровскому отказ, но она преодолела себя и решительно позвонила.

Харитина сидела в кабинете Стабровского, одетая вся в черное, точно носила по ком-то траур. Исхудавшее бледное лицо все еще носило следы недавней красоты, хотя Устенька в первый момент решительно не узнала прежней Харитины, цветущей, какой-то задорно красивой и вечно веселой. Дамы раскланялись издали. Сам Стабровский был сильно взволнован.

— Вы хорошо сделали, что пришли, — обрадовался он, крепко пожимая руку Устеньке. — Да, хорошо. Ах, что они делают, что делают! Ведь это же ужасно, это бесчеловечно.

Устенька чувствовала на себе упорный и тяжелый взгляд Харитины и плохо понимала, что говорил Стабровский.

— Представьте себе, Устенька, — продолжал старик. — Ведь Галактион получил везде подряды на доставку *дешевого* сибирского хлеба. Другими словами, он получит сам около четырехсот процентов на затраченный капитал. И еще благодетелем будет считать себя. О, если бы не моя болезнь, — сейчас же полетел бы в Сибирь и привез бы хлеб на плотах!

Харитина молчала, опустив глаза.

— А другие еще хотят больше получить, — как-то стонал Стабровский, тяжело ворочаясь в своем кресле. — Это называется снимать рубашку с нищего... да!

Когда Стабровский немного успокоился, Устенька проговорила, обращаясь к гостье:

— Болеслав Брониславич писал мне, что вы желаете меня видеть.

Харитина вздрогнула и ответила не сразу. Голос у нее был такой слабый, с какою-то странною хрипотой.

— Да. Видите ли, я... то есть я хочу сказать...

Она умоляюще посмотрела кругом своими широко раскрытыми серыми глазами, точно искала какой-то невидимой помощи.

— Я знаю, что вы меня не любите... да, — выговорила она, наконец, делая над собой усилие, — и не пошли бы, если б я сама вас пригласила. А мне так нужно вас видеть.

Стабровский, нахмурившись, рассматривал свои ногти.

— Вы слышали, что сейчас говорили про Галактиона Михеича, а он совсем не такой, то есть не злой.

— Мне это решительно все равно, какой он, — отозвалась Устенька с удивившею ее самое резкостью.

— Может быть, я ошибаюсь, — еще мягче заговорила Харитина, глядя прямо в глаза Устеньке. — Но я совсем ушла оттуда, из Городища... то есть он меня прогнал... да.

— Пожалуйста, увольте меня от этих подробностей. Я решительно не понимаю, к чему вы все это говорите.

— Дело в том... да... в том, что Галактион Михеич... одним словом, мне его жаль. Пропадет он окончательно. Все его теперь бранят, другие завидуют, а он не такой. Вот хоть и это дело, о котором сейчас говорил Болеслав Брониславич. Право, я только не умею всего сказать, как следует.

Наступила неловкая пауза. Стабровский закрыл глаза, стараясь не смотреть на сумасшедшую гостью. Ему казалось, что она ненормальна.

— Я жду, — проговорила Устенька.

Харитина посмотрела на нее и проговорила сдавленным голосом:

— Отчего вы не хотите идти за него замуж? Он был бы другой, поверьте мне... Ведь он сходит с ума вот уже три года.

— Немного странный вопрос, Харитина Харитоновна, — с улыбкой ответила Устенька. — И, право, мне трудно отвечать на него. Мы, кажется, не понимаем друг друга. Просто не желаю. Он мне не нравится.

— Он? Галактион Михеич? — в каком-то ужасе прошептала Харитина.

— Да, Галактион Михеич. Даже больше, чем не нравится. Говоря откровенно, я его презираю... Он по натуре нехороший человек.

— Неправда! — резко проговорила Харитина и даже вся выпрямилась.

— Потом мне странно, что спрашиваете меня именно вы.

— Да ведь я ушла совсем и никогда больше не увижу его.

— И я тоже постараюсь никогда с ним не встречаться.

Устеньке показалось, что Харитина чуть-чуть улыбнулась и посмотрела на нее злыми глазами. Она не верила ей.

— Думаю, что мы достаточно все выяснили, и поэтому кончимте, пожалуйста, — заговорила Устенька, наблюдая Стабровского. — Кажется, довольно сказано.

Харитина поднялась, протянула руку Стабровскому и, простившись с Устенькой поклоном, вышла из кабинета. Благодаря худобе она казалась выше, чем была раньше.

— Это приходило само несчастие, — проговорил Стабровский, глядя на дверь. — А знаете, Устенька, она была дивно хороша вот сейчас, здесь, хороша своим женским героизмом.

— Я таких женщин не понимаю. Кажется, такой бесцельный героизм относится к области эстетики, а в действительной жизни он просто неудобен.

— Не говорите. Кстати, я вызвал вас на это свидание вот почему: все равно — она разыскала бы вас, и бог знает, чем все могло кончиться. Я просто боялся за вас. Такие женщины, как Харитина, в таком приподнятом настроении способны на все.

— Что же она могла сделать со мной?

— Мало ли что: облить кислотой, выстрелить из револьвера. Она ревнует вас к этому Галактиону. Заметьте, что она продолжает его любить без ума и дошла до того, что наслаждается собственным унижением. Кстати, она опять сходится с своим мужем.

— С Полуяновым? Это тоже из области дивного героизма?

— Пожалуй, если хотите. Она хочет хоть этим путем подогреть в Галактионе ревнивое чувство. На всякий случай мой совет: вы поберегайтесь этой особы. Чем она ласковее и скромнее, тем могут быть опаснее вспышки.

Стабровский в последнее время часто менял с Устенькой тон. Он то говорил ей *ты,* как прежде, когда она была ребенком, то переходил на деловое *вы*. Когда Устенька уходила, Стабровский пошутил:

— Устенька, смотрите, в самом деле не влюбитесь в Галактиона. В нем действительно есть что-то такое, что нравится женщинам, а сейчас он уже окончательно на геройском положении. Для меня лично, впрочем, он теперь совсем определившийся негодяй.

От Стабровского Устенька вышла в каком-то тумане. Ее сразу оставила эта выдержка. Она шла и краснела, припоминая то, что говорил Стабровский. О, только он один понимал ее и с какою вежливостью старался не дать этого заметить! Но она уже давно научилась читать между строк и понимала больше, чем он думал. В сущности сегодняшнее свидание с Харитиной было ее экзаменом. Стабровский, наконец, убедился в том, чего боялся и за что жалел сейчас ее. Да, только он один будет знать ее девичью тайну.

Вернувшись домой, Устенька заперлась в свою комнату, бросилась на постель и долго плакала. Ум говорил одно, а сердце другое. Получался ошеломлявший ее разлад. Плакала слабая женщина, платившая дань своей слабости. Устенька не умела даже сказать, любит она Галактиона или ненавидит. Но она много думала о нем, особенно в последнее время, и жалела себя. Именно только с таким мужем она могла быть счастливой, если б он не имел за собой тяжелого прошлого и этого ужасного настоящего. Да, это была сила, и сила недюжинная. Для сравнения у Устеньки было сейчас достаточно материала. Хороших людей много, но все они такие бессильные. Все только на языке, в теории, в области никогда не осуществимых хороших чувств. Может быть, и хороши они только потому, что ничего не стоили своим владельцам. Устенька перебирала все свои хлопоты по голодному делу и не могла не прийти к заключению, что все так мало и неумело сделано, ничего не подготовлено, как-то вяло и пассивно. А если бы за это же дело взялся Галактион... о, он один сумел бы прокормить целый уезд, создать работу, найти приложение даром пропадавшим силам и вдохнуть мужскую энергию!

Именно это и понимал Стабровский, понимал в ней ту энергичную сибирскую женщину, которая не удовлетворится одними словами, которая для дела пожерт-

вует всем и будет своему мужу настоящим другом и помощником. Тут была своя поэзия, — поэзия силы, широкого размаха энергии и неудержимого стремления вперед.

Стоило Устеньке закрыть глаза, как она сейчас видела себя женой Галактиона. Да, именно жена, то, из чего складывается нераздельный организм. О, как хорошо она умела бы любить эту упрямую голову, заполненную такими смелыми планами! Сильная мужская воля направлялась бы любящею женскою рукой, и все делалось бы, как прекрасно говорили старинные русские люди, *по душе*. Все по душе, по глубоким внутренним тяготениям к правде, к общенародной совести.

Именно ведь тем и хорош русский человек, что в нем еще живет эта общая совесть и что он не потерял способности стыдиться. Вот с победным шумом грузно работает пароходная машина, впереди движущеюся дорогой развертывается громадная река, точно бесконечная лента к какому-то приводу, зеленеет строгий хвойный лес по берегам, мелькают редкие селения, затерявшиеся на широком сибирском приволье. Хорошо. Бодро. Светло. Жизнь полна. Это счастье.

И вдруг ничего нет!.. Нет прежде всего любимого человека. И другого полюбить нет сил. Все кончено. Радужный туман светлого утра сгустился в темную грозовую тучу. А любимый человек несет с собой позор и разорение. О, он никогда не узнает ничего и не должен знать, потому что недостоин этого! Есть святые чувства, которых не должна касаться чужая рука.

Харитина не успокоилась и несколько раз приходила к Луковниковым, пока не поймала Устеньку.

— Что вам, наконец, нужно от меня? — рассердилась девушка.

Но с Харитиной трудно было говорить. Она рыдала, ломала руки и вообще сумасшествовала.

— Ради бога, скажите: любите вы его? — приставала Харитина. — Ну, немножечко, чуть-чуть!.. Разве можно его не любить?

— Я не желаю с вами говорить.

— А я вас ненавижу, всю ненавижу! Вы все меня обманываете!

Потом Харитина опять начинала плакать, целовала руки Устеньки и еще больше неистовствовала. Девушка, наконец, собралась с силами и смотрела на нее, как на сумасшедшую.

Разъезжая по уезду, Устенька познакомилась в раскольничьих семьях с совершенно новым для нее типом женщины, — это были так называемые чернички. Они добровольно отказывались от замужества и посвящали свою жизнь обучению детей и разным душеспасительным подвигам. Причин для такого черничества в тяжелом складе народной жизни было достаточно, а на первом плане, конечно, стояло неудовлетворенное личное чувство. Устенька сначала рассматривала этих черничек с любопытством, потом жалела их и, наконец, пришла к убеждению, что ведь и она, Устенька, тоже в своем роде черничка, интеллигентная черничка.

Этим все разрешалось и все делалось ясно. Устенька совершенно определилась, как определился, по словам Стабровского, Галактион.

VIII

Вахрушка с раннего утра принимался «за чистоту», то есть все обметал, тер щеткой, наводил лоск суконкой, обдувал и даже в критических случаях облизывал языком. Это было целое священнодействие. Но события последнего времени совершенно лишили его необходимого душевного равновесия, и он уже не испытывал прежнего наслаждения от наведения чистоты. Дело в том, что поместил его в банк на службу Галактион, на которого он молился, а теперь у Галактиона вышли «контры» с Штоффом и самим Мышниковым. Конечно, Вахрушка — маленький человек и ни в чем не был виноват, а все-таки страшно. Вдруг Павел Степаныч скажет: «Ну-ка, ты, такой-сякой, Галактионов ставленник!» У Вахрушки вперед уходила душа в пятки, и он трепетал за свой пост, вероятно, больше, чем какой-нибудь министр или президент. В самом деле, извольте-ка: сделался человеком вполне, и вдруг опять пожалуйте в прежнее ничтожество. Мысленно Вахрушка переби-

рал все подходящие места и находил одно, что другого места, как банковский швейцар, даже и не бывает.

«Ну что же, поцарствовал, надо и честь знать, — уныло резонировал Вахрушка, чувствуя, как у него даже «чистота» не выходит и орудия наведения этой чистоты сами собой из рук валятся. — Спасибо голубчику Галактиону Михеичу, превознес он меня за родительские молитвы, а вперед уж, что господь пошлет».

Главным образом Вахрушку съедала затаенная алчба: он копил деньги, и чем больше копил, тем жаднее делался.

Именно в одно из таких утр, когда Вахрушка с мрачным видом сидел у себя в швейцарской, к нему заявился Михей Зотыч, одетый странником, каким он его видел в первый раз, когда в Суслоне засадил, по приказанию Замараева, в темную.

— Ну, здравствуй, служба! Каково прыгаешь?

— Ух, как ты меня испугал, Михей Зотыч!

— Видно, грехов накопил, вот и пугаешься всего. Ну что же, денежный грех на богатого. Вот я и зашел тебя проведать, Вахрушка.

— Куда опять наклался-то, Михей Зотыч?

— А дельце есть, милый. Иду на свадьбу: женится медведь на корове. Ну-ка, угадай?

— Ох, не выкомуривай ты со своими загадками, Михей Зотыч! Как это ты учнешь свои загадки загадывать, так меня даже в пот кинет.

— Не любишь, миленький? Забрался, как мышь под копну с сеном, и шире тебя нет, а того не знаешь, что нет мошны — есть спина. Ну-ка, отгадай другую загадку: стоит голубятня, летят голуби со всех сторон, клюют зерно, а сами худёют.

— Будет тебе, Михей Зотыч. Не хочешь ли чайку?

— Чайку, да табачку, да зелена винца? В самый это мне раз. Уважил, одним словом. Ох, все мы выхлебали в чаю Ваньку голого.

Михей Зотыч любил помудрить над простоватым Вахрушкой и, натешившись вдоволь, заговорил уже по-обыкновенному. Вахрушка знал, что он неспроста пришел, и вперед боялся, как бы не сболтнуть чего лишнего. Очень уж хитер Михей Зотыч, продаст и вы-

купит на одном слове. Ему бы по-настоящему в банке сидеть да с купцами-банкротами разговаривать.

— Ты, сказывают, нынче по скитам душу спасаешь? — политично завел Вахрушка разговор.

— Около того. Душу-то спасал, а тут вдруг захотел сибирского дешевого хлебца отведать... да. Сынок Галактион Михеич всех, сказывают, удоволил.

— Пригнал первый караван из Сибири и по рублю семи гривен все продал. Большие тысячи наживает.

— Умный он у меня, Галактион-то. Сердце радуется.

— И точно умный, Михей Зотыч.

Вахрушка припер двери, огляделся и заговорил шепотом:

— Другие-то рвут и мечут, Михей Зотыч, потому как Галактион Михеич свою линию вперед всех вывел. Уж на что умен Мышников, а и у того неустойка вышла супротив Галактиона Михеича. Истинно сказать, министром быть. Деньги теперь прямо лопатой будет огребать, а другие-то поглядывай на него да ожигайся. Можно прямо сказать, что на настоящую точку Галактион Михеич вышли.

— Вот, вот. Все завидуют... да.

Михей Зотыч пожевал губами, поморгал и прибавил:

— Дурачки вы все, Вахрушка.

— Это по какой-такой причине, Михей Зотыч?

— А по такой. Все деньги, везде деньги; все так и прячутся за деньги, а того не понимают, что богача-то с его деньгами убогий своим хлебом кормит.

— Ничего я не понимаю в этих делах, Михей Зотыч. Мы-то на двугривенные считаем.

— Вот и насчитали целый голод.

Михей Зотыч поворчал, поглумился, а потом начал рассказывать про свою поездку из скитов. Вахрушка в такт рассказа только вздыхал и качал головой. Ох, пришла беда всем крещеным, — такая беда, что и не выговоришь!

— Посмотрел я достаточно, — продолжал Михей Зотыч. — Самого чуть не убили на мельнице у Ермилыча. «Ты, — кричат мужики, — разорил нас!» Вот

какое дело-то выходит. Озверел народ. Ох, худо, Вахрушка!.. А помочь нечем. Вот вы гордитесь деньгами, а пришла беда, вас и нет. Так-то.

Потом Михей Зотыч принялся ругать мужиков — пшеничников, оренбургских казаков и башкир, — все пропились на самоварах и гибнут от прикачнувшейся легкой копеечки. А главное — работать по-настоящему разучились: помажут сохой — вот и вся пахота. Не удобряют земли, не блюдут скотинку, и все так-то. С одной стороны — легкие деньги, а с другой — своя лень подпирает. Как же тут голоду не быть?

— Ну, это уж ты врешь, Михей Зотыч! — азартно вступился Вахрушка. — И даже понимать по-настоящему не можешь.

— Нно-о?

— Я тебе говорю. Ты вот свой интерес понимаешь в лучшем виде, а мужика не знаешь.

— А вот и знаю!.. Почему, скажи-ка, по ту сторону гор, где и зéмли хуже, и народ бедный, и аренды большие, — там народ не голодует, а здесь все есть, всего бог надавал, и мужик-пшеничник голодует?.. У вас там Строгановы берут за десятину по восемь рублей аренды, а в казачьих землях десятина стоит всего двадцать копеек.

Старики жестоко расспорились. В Вахрушке проснулся дремавший пахарь, ненавидевший в лице Михея Зотыча эксплуататора-купца. Оба кричали, размахивали руками и говорили друг другу дерзости.

— Ты вот умен, рассчитывал всю крестьянскую беду на грошики, — орал Вахрушка. — Зубы у себя во рту сперва сосчитай... Может, господь милость свою посылает: на, очувствуйся, сообразись, — а ты на счетах хочешь сосчитать эту самую беду. Тут все дело в душе... Понял теперь? Отчего богатая земля перестала родить? Отчего или засуха, или ненастье? Ну-ка, прикинь... Все от души идет. А ты поешь дорогого-то сибирского хлебца, поголодуй, поплачь, повытряси дурь-то, которая накопилась в тебе, и сойдет все, как короста в бане. И тот виноват у тебя и этот виноват, а взять не с кого. Все виноваты, а всё от души.

— И орда мрет от души, по-твоему?

— И у орды своя душа и свой ответ... А только настоящего правильного крестьянина ты все-таки не понимаешь. Тебе этого не дано.

Сбитый с позиции Михей Зотыч повернул на излюбленную скитскую тему о царствующем антихристе, который уловляет прельщенные души любезных своих слуг гладом, но Вахрушка и тут нашелся.

— Это вам про антихриста-то старухи скитницы на печке наврали. Кто его видел?

— Я его видел... то есть не видел, а бежал он за мной, когда я ехал сюда из скитов. За сани хватался.

— Ну, плохой антихрист, который будет по дорогам бегать! К настоящему-то сами все придут и сами поклонятся. На, радуйся, все мы твои, как рыба в неводу... Глад-то будет душевный, а не телесный. Понял?

Увлекшись этим богословским спором, Вахрушка, кажется, еще в первый раз за все время своей службы не видал, как приехал Мышников и прошел в банк. Он опомнился только, когда к банку сломя голову прискакал на извозчике Штофф и, не раздеваясь, полетел наверх.

— Здесь Павел Степаныч?

— Никак нет-с, Карл Карлыч.

— Врешь ты, старое чучело! Негде ему быть.

Через минуту он уже выходил вместе с Мышниковым. Банковские дельцы были ужасно встревожены. Еще через минуту весь банк уже знал, что Стабровский скоропостижно умер от удара. Рассердился на мисс Дудль, которая неловко подала ему какое-то лекарство, раскрыл рот, чтобы сделать ей выговор, и только захрипел.

— Господи, помилуй нас, грешных! — повторял Вахрушка, откладывая широкие кресты. — Хоть и латынского закону был человек, а все-таки крещеная душа.

— Главное, что без покаяния свой конец принял, — задумчиво отвечал Михей Зотыч. — Ох, горе душам нашим!

— Не до тебя, Михей Зотыч, — грубо остановил его Вахрушка. — Шел бы ты своей дорогой, куда наклался.

— И то пора, миленький... Прости на скором слове, ежели што.

— Ну, бог тебя простит, только уходи.

Михей Зотыч вышел на улицу, остановился на тротуаре, посмотрел на новенькое здание банка, покачал головой и проговорил:

— Ничего, крепкая голубятня налажена... Много следов входящих, а мало исходящих.

Штофф и Мышников боялись не смерти Стабровского, которая не являлась неожиданностью, а его зятя, который мог захватить папки с банковскими делами и бумагами. Больной Стабровский не оставлял банковских дел и занимался ими у себя на дому.

В доме Стабровского происходил ужасный переполох. Банковских дельцов встретила Устенька, заплаканная, жалкая, растерявшаяся. Девушка никак не могла помириться с мыслью, что теперь лежал только холодевший труп Стабровского, не имевший возможности проявить себя ни одним движением. Еще утром человек был жив, что-то рассчитывал, на что-то надеялся, мог радоваться и негодовать, а теперь уже ничего было не нужно. Для Устеньки это была еще первая смерть близкого человека, и она в первый раз переживала все ощущения, которые вызываются такими событиями. Поднялось разом что-то такое огромное, беспощадное, перед которым все были равны по своему ничтожеству. В сущности ведь никто не думает о собственной смерти, великодушно предоставляя умирать другим. В смерти есть неумолимая правда.

В кабинете были только трое: доктор Кацман, напрасно старавшийся привести покойного в чувство, и Дидя с мужем. Устенька вошла за банковскими дельцами и с ужасом услышала, как говорил Штофф Мышникову:

— Необходимо все опечатать... Папки с банковскими бумагами у него всегда лежали в левом ящике письменного стола, а часть в несгораемом шкафу. Необходимо принять все предосторожности.

Мышников ничего не ответил. Он боялся смерти и теперь находился под впечатлением того, что она была вот здесь. Он даже чувствовал, как у него мурашки идут по спине. Да, *она* пронеслась здесь, дохнув своим леденящим дыханием.

— Я боюсь, — признался он Штоффу, останавливаясь у дверей кабинета. — Ступай ты один.

Устенька слышала эту фразу и поняла: ведь все чувствовали себя как-то неловко, точно были все виноваты в чем-то.

Пан Казимир отнесся к банковским дельцам с высокомерным презрением, сразу изменив прежний тон безличной покорности. Он уже чувствовал себя хозяином. Дидя только повторяла настроение мужа, как живое зеркало. Между прочим, встретив мисс Дудль, она дерзко сказала ей при Устеньке:

— Это вы уморили отца... да. Можете считать с этого дня себя вполне свободной.

Англичанка ничего не ответила, а только чопорно поклонилась. Устеньку возмутила эта сцена до глубины души, но, когда Дидя величественно вышла из комнаты, мисс Дудль объяснила Устеньке с счастливою улыбкой:

— Не нужно обращать внимания на ее выходки... да. Она в таком положении.

— В каком? — не понимала Устенька.

— Она беременна.

Смерть сменялась новою жизнью.

В передней на стуле сидел Ечкин и глухо рыдал, закрыв лицо руками. Около него стояла горничная и тоже плакала, вытирая слезы концом передника.

IX

Стоял уже конец весны. Выпадали совсем жаркие дни, какие бывают только летом. По дороге из Заполья к Городищу шли три путника, которых издали можно было принять за богомолов. Впереди шла в коротком ситцевом платье Харитина, повязанная по-крестьянски простым бумажным платком. За ней шагали Полуянов и Михей Зотыч. Старик шел бодро, помахивая длинною черемуховою палкой, с какою гонят стада пастухи.

— Слава богу, тепло стоит, — повторял Полуянов, просматривая по сторонам зеленевшие посевы. — И травка и хлебушко растут. Скотина по крайней мере отдохнет.

— Много ли ее осталось, этой скотины? — спрашивал Михей Зотыч. — Которую прикололи и сами съели, а другую пораспродали.

Странники внимательно осматривали каждое поле и оценивали его. Редко где попадалась хорошая пахота, и зерно посеяно кое-какое и кое-как. Не хватало лошадей на настоящую пахоту, да и пахали голодные руки. В большинстве случаев всходы были неровные, островами и плешинами, точно волосы на голове у человека, только что перенесшего жестокий тиф. И трава росла так же, точно не могла собраться с силами. Впрочем, ближе к реке Ключевой, где разлеглись заливные луга, травы были совсем хорошие. Любо было смотреть на эту зеленую силу; река катилась, точно в зеленой шелковой раме. Дорога была пыльная, и Харитина уже давно устала, но шла через силу, чтобы не задерживать других. Она даже сама не знала, куда они идут. Просто Илья Фирсыч велел идти, и она повиновалась с какою-то ожесточенною покорностью. Ей доставляло теперь какое-то мучительное наслаждение презирать самое себя. Одно слово «муж» чего стоит... И она шла, как овца, которую тащили на бойню. Полуянов изредка презрительно смотрел на нее и сразу подтягивался, точно припоминая что-то. Он ненавидел даже тень, которая колеблющимся и расплывающимся пятном двигалась по дорожной пыли за Харитиной.

— Скоро уж Горохов мыс, — проговорил Михей Зотыч, когда они сделали полпути и Харитина чуть не падала от усталости. — Надо передохнуть малость.

— Важные господа всегда отдыхают, — сурово ответил Полуянов.

Горохов мыс выдавался в Ключевую зеленым языком. Приятно было свернуть с пыльной дороги и брести прямо по зеленой сочной траве, так и обдававшей застоявшимся тяжелым ароматом. Вышли на самый берег и сделали привал. Напротив, через реку, высились обсыпавшиеся красные отвесы крутого берега, под которым проходила старица, то есть главное русло реки.

Харитина упала в траву и лежала без движения, наслаждаясь блаженным покоем. Ей хотелось вечно так лежать, чтобы ничего не знать, не видеть и не слышать.

Тяжело было даже думать, — мысли точно сверлили мозг.

— Уж лучше нашей Ключевой, кажется, на всем свете другой реки не сыщешь, — восторгался Михей Зотыч, просматривая плесо из-под руки. — Божья дорожка — сама везет...

Полуянов ничего не ответил, продолжая хмуриться. Видимо, он был не в духе, и присутствие Харитины его раздражало, хотя он сам же потащил ее. Он точно сердился даже на реку, на которую смотрел из-под руки с каким-то озлоблением. Под солнечными лучами гладкое плесо точно горело в огне.

Харитина думала, что старики отдохнут, закусят и двинутся дальше, но они, повидимому, и не думали уходить. Очевидно, они сошлись здесь по уговору и чего-то ждали. Скоро она поняла все, когда Полуянов сказал всего одно слово, глядя вниз по реке:

— Идет...

Лежавший на траве Михей Зотыч встрепенулся. Харитина взглянула вниз по реке и увидела поднимавшийся кудрявый дымок, который таял в воздухе длинным султаном. Это был пароход... Значит, старики ждали Галактиона. Первым движением Харитины было убежать и куда-нибудь скрыться, но потом она передумала и осталась. Не все ли равно?

Пароход двигался вверх по реке очень медленно, потому что тащил за собой на буксире несколько барок с хлебом. Полуянов сидел неподвижно в прежней позе, скрестив руки на согнутых коленях, а Михей Зотыч нетерпеливо ходил по берегу, размахивал палкой и что-то разговаривал с самим собой.

Пароход приближался. Можно уже было рассмотреть и черную трубу, выкидывавшую черную струю дыма, и разгребавшие воду красные колеса, и три барки, тащившиеся на буксире. Сибирский хлеб на громадных баржах доходил только до Городища, а здесь его перегружали на небольшие барки. Михея Зотыча беспокоила мысль о том, едет ли на пароходе сам Галактион, что было всего важнее. Он снял даже сапоги, засучил штаны и забрел по колена в воду.

Пароход подходил уже совсем близко. Пароходная прислуга столпилась у борта и глазела на стоявшего в воде старика.

— Эй, стой! — крикнул Михей Зотыч.

— Мы не бере-ем пассажиров! — ответил в рупор кто-то с капитанской рубки.

— Лодку подавай!

У колеса показался сам Галактион, посмотрел в бинокль, узнал отца и застопорил машину. Колеса перестали буравить воду, из трубы вылетел клуб белого пара, от парохода быстро отделилась лодка с матросами.

— Давно бы так-то, — заметил Михей Зотыч, когда лодка ткнулась носом в берег. — Илья Фирсыч, садись...

Матросы узнали Харитину и не знали, что делать,— брать ее или не брать.

— Забирай всех, — приказывал Михей Зотыч. — Слава богу, не чужие люди.

Садясь в лодку, Полуянов оглянулся на берег, где оставалась и зеленая трава и вольная волюшка. Он тряхнул головой, перекрестился и больше ни на что не обращал внимания.

— Вот мы, слава богу, и домой приехали, — говорил Михей Зотыч, карабкаясь по лесенке на пароход. — Хороший домок: сегодня здесь, завтра там.

Галактион протянул руку, чтобы помочь отцу подняться, но старик оттолкнул ее.

— Оставь... Уж я как-нибудь сам взберусь.

Старик, наконец, взобрался и помог подняться Полуянову и Харитине, а потом уже обратился к Галактиону:

— Ну, теперь здравствуй, сынок... Принимай дорогих гостей.

Галактион уже предчувствовал недоброе, но сдержал себя и спокойно проговорил:

— Пожалуйте, папаша, в мою каюту. Там будет прохладнее.

— Нет, уж мы здесь, — протестовал Полуянов, выдвигаясь вперед.

— Ну, говори, — подталкивал его Михей Зотыч.

— Уж так и быть скажу.

— А я вас не желаю здесь слушать, — заявил Галактион.

Все гурьбой пошли в капитанскую каюту, помещавшуюся у правого колеса. Матросы переглядывались. И Михей Зотыч, и Полуянов, и Харитина были известные люди. Каюта была крошечная, так что гости едва разместились.

— Судить тебя пришли, сынок, — заявил Михей Зотыч. — Ну, Илья Фирсыч, ты попервоначалу.

Галактион стоял у двери бледный, как полотно, и старался не смотреть на Харитину.

— И скажу... — громко начал Полуянов, делая жест рукой. — Когда я жил в ссылке, вы, Галактион Михеич, увели к себе мою жену... Потом я вернулся из ссылки, а она продолжала жить. Потом вы ее прогнали... Куда ей деваться? Она и пришла ко мне... Как вы полагаете, приятно это мне было все переносить? Бедный я человек, но месть я затаил-с... Сколько лет питался одною злобой и, можно сказать, жил ею одной. И бедный человек желает мстить.

Полуянов тяжело перевел дух. Галактион продолжал молчать. У него даже губы побелели.

— Но ведь бедному человеку трудно мстить, — продолжал Полуянов. — Это могут позволить себе только люди со средствами... И опять, бедному человеку трудно разбогатеть. И я все думал и даже просил бога.... Помните вы, Галактион Михеич, старика Нагибина? Что же я говорю, — вместе тогда на свадьбе у Симона были... да-с... Так вот тогда мне на этой свадьбе и пришла мысль-с... да-с... И я оную мысль воспитал и взлелеял... вот как детей воспитывают: все одно думаю, все одно думаю. Помните, что тогда старик отказал Наталье Осиповне в приданом?.. Она тоже затаила злобу на родителя. Хорошо-с... А старик живучий... Одним словом, мы и отравили его по взаимному соглашению с Натальей Осиповной, то есть отравил-то я, а деньги забрала она и мне вручила за чистую работу некоторую часть. И ловко я все устроил, так ловко, что, кажется, никакие бы следователи в мире не нашли концов. Сам производил дознания и знаю порядок, что и к чему. Тут еще Лиодор много помог, потому

что вконец запутал следователя. Впрочем, что же я вам рассказываю, — ведь вы это и без меня отлично знаете.

— Ничего я не знаю! — резко ответил Галактион. — А вы с ума сошли!

— Нет, не сошел и имею документ, что вы знали все и знали, какие деньги брали от Натальи Осиповны, чтобы сделать закупку дешевого сибирского хлеба. Ведь знали... У меня есть ваше письмо к Наталье Осиповне. И теперь, представьте себе, являюсь я, например, к прокурору, и все как на ладони. Вместе и в остроге будем сидеть, а Харитина будет по два калачика приносить, — один мужу, другой любовнику.

— Ну что, сынок, доволен? — спрашивал Михей Зотыч.

Галактион посмотрел на него и ответил с улыбкой:

— Никогда этого не будет, папаша...

Старик вскочил, посмотрел на сына безумными глазами и, подняв руку с раскольничьим крестом, хрипло крикнул:

— Если ты не боишься суда земного, так есть суд божий... Ты кровь христианскую пьешь... Люди мрут голодом, а ты с ихнего голода миллионы хочешь наживать... Для того я тебя зародил, вспоил и вскормил?.. Будь же ты от меня навсегда проклят!

Харитина тихо вскрикнула и закрыла лицо руками. Галактион вздрогнул именно от этого слабого женского крика и сделал движение выйти, а потом повернулся и сказал:

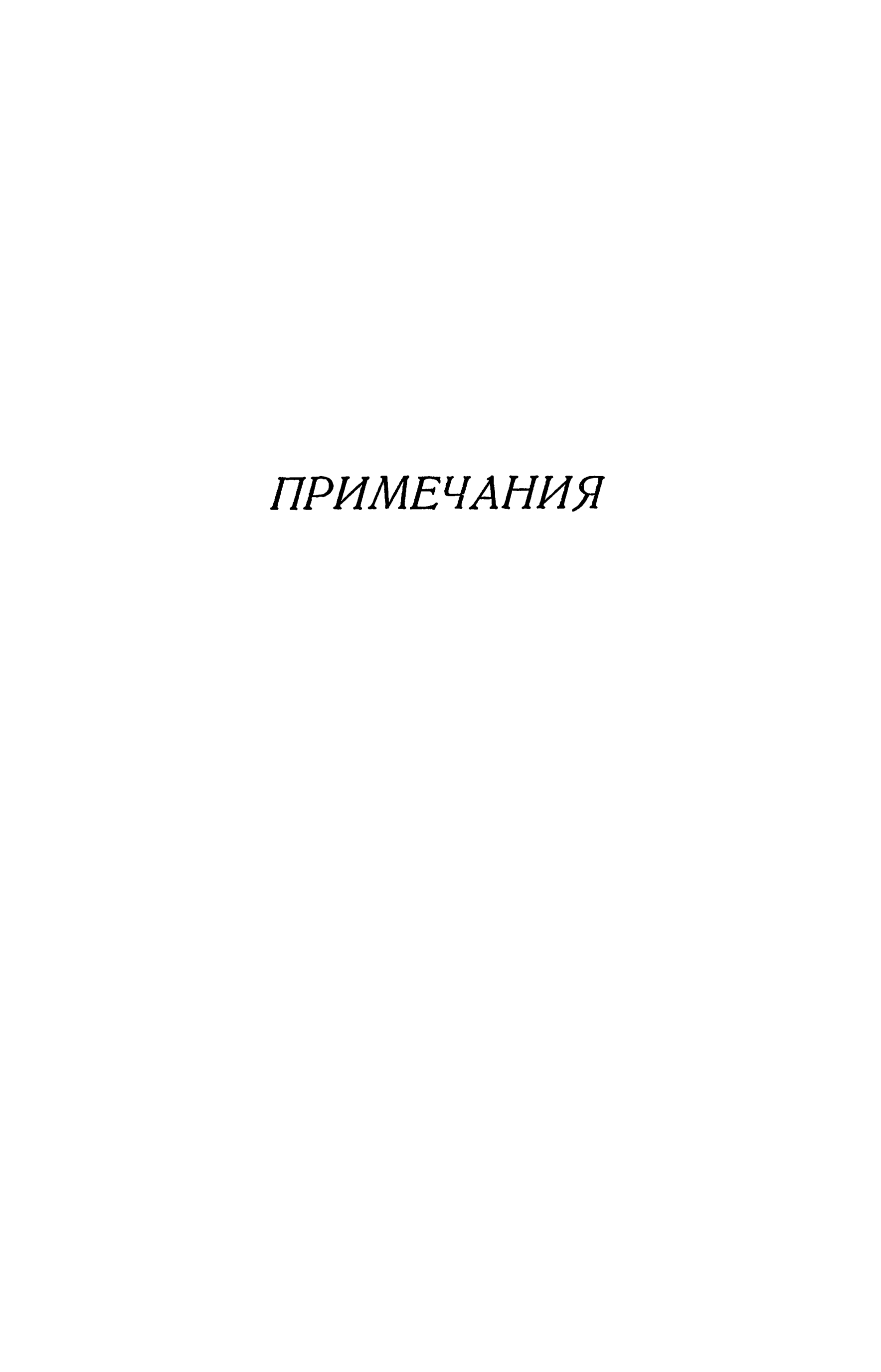
— Харитина Харитоновна, мне нужно сказать вам два слова... Выйдите на минутку.

Когда Харитина подошла к нему, он наклонился к ее уху и прошептал:

— Кланяйся той... Устеньке...

Когда Полуянов выходил из каюты, он видел, как Галактион шел по палубе, а Харитина о чем-то умоляла его и крепко держала за руку. Потом Галактион рванулся от нее и бросился в воду. Отчаянный женский крик покрыл все.

Через час на Гороховом мысу лежал холодный труп Галактиона.



ПРИМЕЧАНИЯ

ЧЕРТЫ ИЗ ЖИЗНИ ПЕПКО

Роман

Впервые «Черты из жизни Пепко» были напечатаны в журнале «Русское богатство», 1894, №№ 1—10, с подзаголовком: «Очерки», за подписью: «Д. Мамин-Сибиряк».

В журнальной публикации главы имели заголовки: I — IV — «Веревочка», V—VIII — «Федосьины покровы», IX—XII — «Дела и дни», XIII — XIV — «Мы делаем сезон», XV — XVII — «Дела и дни», XVIII — XXV — «Мы делаем сезон», XXVI — XXXI — «Первый блин», XXXII — XXXVI — «Обман», XXXVII — XL — «Конец».

Из писем Мамина-Сибиряка к Н. К. Михайловскому от 19 апреля и 29 июня 1894 года (хранятся в Институте русской литературы АН СССР) видно, что очерки писались «к каждой очередной книжке» журнала.

Как видно из черновых записей, первоначальное название очерков было «Завоевание Петербурга», подзаголовок предполагался следующий: «Гротески. Посвящается молодым авторам» (Центральный государственный архив литературы и искусства — ЦГАЛИ).

В первом отдельном издании (1895) писатель опустил названия глав и изменил подзаголовок, — произведение названо романом, хотя в самый текст были внесены лишь незначительные исправления стилистического характера.

Роман «Черты из жизни Пепко» автобиографичен, на что писатель сам неоднократно указывал (см. сб. «Урал», 1913, стр. 59). В повествовании о Василии Ивановиче Попове Мамин-Сибиряк воспроизводит свою студенческую жизнь в Петербурге. Так,

например, в эпизоде обращения Попова в «знаменитую редакцию самого влиятельнейшего журнала» с одной из первых своих повестей воспроизведен факт биографии писателя, имевший место во второй половине 70-х годов (см. наст. собр. соч., т. I, стр. 607). Останавливаясь подробно на творческих исканиях Василия Попова, писатель излагает в романе свои взгляды на литературу и искусство, важные для понимания всего его творчества. Истинный художник, по мнению Мамина-Сибиряка, должен стремиться к воспроизведению правды жизни. «Придумывать жизнь нельзя, как нельзя довольствоваться фотографиями. За внешними абрисами, линиями и красками должны стоять живые люди». Органическая связь писателя со своим народом, национальный характер художественных произведений являются, по убеждению Мамина-Сибиряка, важнейшими условиями истинного творчества. Творения великих русских художников тем и ценны, что в них «разливалась специально наша русская поэзия, оригинальная, мощная, безграничная и без конца родная». Замыкающийся в своем «я» писатель не может создать ничего истинно ценного. Писатель должен служить высоким общественным идеалам, он не может ограничиваться изображением несовершенства жизни, а обязан искать и положительные идеалы: «Несовершенство» нашей русской жизни... это только отрицательная сторона, а должна быть и положительная... Где эта жизнь? Где эти таинственные родники, из которых сочилась многострадальная русская история?» «Жить тысячью жизней, страдать и радоваться тысячью сердец — вот где настоящая жизнь и настоящее счастье!»

Эстетические взгляды Мамина-Сибиряка складывались под несомненным влиянием Чернышевского и Добролюбова, Некрасова и Салтыкова-Щедрина, о которых он всегда отзывался с большим уважением.

Отрицательное отношение к капиталистическому городу, нашедшее свое выражение в романе, сложилось у писателя еще в 70-е годы. В письме к отцу от 21 августа 1875 года он писал, что в Петербурге «единственный двигатель... деньги, деньги и деньги, и неприхотливое сероватое лоно родной провинции, пожалуй, в десять раз лучше».

Писателя глубоко волнуют социальные контрасты буржуазного города — богатство и роскошь господ, с одной стороны, крайняя нищета людей труда — с другой.

В 90-е годы, после переезда Мамина-Сибиряка на постоянное жительство в Петербург, в его творчестве видное место начинает

занимать изображение тяжелой жизни трудящихся больших капиталистических городов (цикл рассказов «Детские тени», «Черты из жизни Пепко» и др.); письма этого периода содержат резкую критику буржуазных нравов Петербурга (например, к М. В. Эртель от 9 ноября и 12 декабря 1894 г. — Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина — ЛБ).

Появление в печати романа «Черты из жизни Пепко» вызвало много откликов. В целом положительно оценивая роман, рецензенты, однако, по-разному трактовали его идейное и художественное значение. Так, например, видный представитель либерального народничества Н. К. Михайловский еще во время печатания романа выступил с отзывом («Русское богатство», 1894, № 3), в котором он рассматривал роман в плане «характеристики нравов и отношений, существующих в литературной среде».

Критик журнала «Русская мысль» (1895, № 11) видел достоинство романа в том, что, по его словам, писатель заставляет современного автору читателя «подумать: нет ли в нас самих и еще более в окружающих нас условиях жизни элементов, которые при своем развитии могут поставить нас в такое ужасное положение», в котором оказались Пепко, Попов и многие другие герои романа.

Рецензент либеральной газеты «Русские ведомости» (1894, № 351) хотя и признавал, что в романе нет «выдержанности и законченности», все же отмечал, что «Черты из жизни Пепко» «написаны с тем же талантом, остроумием и наблюдательностью, которые отличают большинство произведений этого автора... Ни кричащих тонов, ни деланности, ни желания уверить читателя в необходимости тех чувств, которых недостает самому автору, как это мы замечаем у очень многих современных авторов, здесь нет и следа... Как истинный художник автор не сгущает красок и выставляет пред нами в высшей степени реальные и говорящие фигуры». Вместе с тем трагическую судьбу героев романа либеральный критик объяснял личными, а не общественными причинами, «бесшабашностью неуспевших в жизни... мечтателей о славе и личном счастье».

Из позднейших отзывов о романе заслуживает внимания статья Б. Глинского в журнале «Исторический вестник» (1912, № 12). Высоко оценивая это произведение, он справедливо отмечал, что читателю с особой ясностью видно из романа, «как бережно, благоговейно наш писатель готовился к своему служению

печатному слову... Благоговение к писательству, как к целомудренному долгу перед родиной, Мамин сохранил до конца своих дней».

При жизни писателя отдельное издание романа, каждый раз с незначительными стилистическими исправлениями, выходило три раза: в 1895 и в 1901 годах — в издании И. Д. Сытина, и в 1909 году — в издании автора (типография М. М. Стасюлевича).

В настоящем собрании сочинений текст романа печатается по изданию 1909 года, с исправлением опечаток по предшествующим публикациям.

Стр. 12. *«Я — раб, я — царь, я — червь, я — бог»* — у Г. Р. Державина (1743—1816): «Я царь, — я раб, — я червь, — я бог!» (Ода «Бог», 1784).

Стр. 16. *Гафиз* (Хафиз) (1320—1389) — поэт, классик таджикской и иранской литературы.

«Надо мной певала матушка...» — из стихотворения Н. А. Некрасова «Калистрат» (1863).

Стр. 26. *Лука Жидята* — новгородский епископ (первая половина XI века), автор «Поучения к братиям», одного из самых ранних произведений русской духовной литературы.

Стр. 30. *«Угрюмый пасынок природы»* — у А. С. Пушкина в «Медном всаднике» (1833): «Печальный пасынок природы».

Стр. 39. *Боа-констриктор* — змея из семейства удавов.

Стр. 54. *«...подозрение да не коснется жены цезаря»* — фраза, приписываемая римскому императору Юлию Цезарю (100—44 гг. до н. э.).

Стр. 72. *Патти* Аделина (1843—1919) — знаменитая итальянская оперная певица, в 60-х годах прошлого века пела в итальянской опере в Петербурге.

«Динора» — комическая опера французского композитора Джакомо Мейербера (1791—1864).

Николини — оперный певец, француз по происхождению, муж Аделины Патти.

Стр. 76. *«Царь Кандавл»* — балет Ц. Пуни.

Стр. 91. *Вы на чем изволили повихнуться? Ах да, вы испанский король Фердинанд.* — У Гоголя в «Записках сумасшедшего» Поприщин воображал себя испанским королем Фердинандом.

Стр. 164. *«...От ликующих, праздно болтающих...»* — из стихотворения Н. А. Некрасова «Рыцарь на час» (1860).

Стр. 184. *Фирдуси* (Фирдоуси) (935—1021) — поэт, классик таджикской и иранской литературы.

Луишка Каторз — так в шутку Пепко называет французского короля Людовика XIV (от Louis Quatorze).

Цинциннат Луций Квинкций (V в. до н. э.) — римский консул, крупный землевладелец.

Стр. 186. *Голконда* — древний город в Индии, славившийся своими богатствами.

Стр. 194. *Гумбольдт* Александр-Фридрих-Вильгельм (1769—1859) — выдающийся немецкий естествоиспытатель и путешественник.

Стр. 219. *Мария Антуанетта* (1755—1793) — французская королева, жена Людовика XVI.

Луишка Сез — так Пепко в шутку называет французского короля Людовика XVI (от Loui Seize).

Стр. 238. *«Не говори, что молодость сгубила...»* — из стихотворения Н. А. Некрасова «Тяжелый крест достался ей на долю» (1855).

Стр. 253. *Саади* (ок. 1184 — ок. 1292) — поэт, классик таджикской и иранской литературы.

ХЛЕБ

Роман

Впервые роман был напечатан в журнале «Русская мысль», 1895, №№ 1—8, за подписью: «Д. Мамин-Сибиряк».

«Хлеб» — последний роман Мамина-Сибиряка в ряду крупных его произведений («Приваловские миллионы», «Горное гнездо», «Дикое счастье», «Три конца», «Золото»), отображающих в жизни Урала эпоху «шествия капитала, хищного, алчного, не знавшего удержу ни в чем» («Дооктябрьская «Правда» об искусстве и литературе». 1937, стр. 166). В нем с большой художественной силой нарисована правдивая картина пореформенного обнищания и разорения трудящихся одного из сельскохозяйственных районов Зауралья вследствие развития капитализма, с его крупной хлебной торговлей, винокурением и банковскими операциями.

Материал для романа писатель начал собирать примерно с 1879 года (см. письмо к А. Н. Пыпину от 21 октября 1891 года, хранится в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина). Еще во время работы над «Приваловскими миллионами» (1872—1883) писателя интересовала проблема «рациональной организации» хлебной торговли (этот вопрос составляет существенную часть «положительной» программы Сергея Привалова).

С целью глубокого изучения жизни населения сельскохозяйственных районов Урала и Зауралья Мамин-Сибиряк совершил в эти места ряд длительных поездок в 1884, 1886, 1887, 1888 и в 1890 годах. Он посетил, в частности, один из самых крупных по тому времени центров хлебной торговли на Среднем Урале — Шадринск, который затем изобразил в романе «Хлеб» под названием — Заполье.

Кроме того, писатель тщательно изучал литературу о состоянии сельского хозяйства на Урале и в Зауралье в пореформенный период; в его бумагах сохранились многочисленные выписки из книг и газет: Красноперов, «25-летие Пермского края со времени отмены крепостного права», изд. 1887 г., Смышляев, «Источники и пособия для изучения Пермского края», изд. 1876 г., Ремизов, «Очерки из жизни дикой Башкирии», изд. 1887 г., корреспонденции из газеты «Екатеринбургская неделя» и др.

По мере накопления материала Мамин-Сибиряк использует его в отдельных своих произведениях, создававшихся еще до написания романа «Хлеб». Так, в очерках «С Урала» (1884), как и в романе «Хлеб», описывается голод в Зауралье, как «совершенно органическое явление, развивавшееся неуклонным поступательным движением в течение последних пятнадцати лет», ввиду проникновения в этот край крупного капитала, развития хлебной торговли, появления банков и купцов новой, капиталистической формации. В рассказе «Дешевка» (1885) изображается ожесточенная конкуренция виноторговцев в голодающем крестьянском районе, продающих водку по «бросовым» ценам, подобно тому как это делают герои романа «Хлеб» Май-Стабровский и Прохоров.

Мамин-Сибиряк понимал, что капитализм несет голод и разорение крестьянству. Ленин писал, что «только усиливающийся гнет капитала в связи с грабительской политикой правительства и помещиков довел его (русского крестьянина. — *Ред.*) до такого разорения» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 252).

В рассказе «Попросту» («Саратовский дневник», 1887, № 230 и след.) Мамин-Сибиряк рисует картину обнищания и разорения населения уездного города Пропадинска (крупного центра хлебной торговли), вследствие проникновения туда миллионных капиталов, организации банков, развития ростовщичества. Писатель выводит в рассказе ряд персонажей, которые впоследствии под теми же именами, но с значительно расширенными характеристиками войдут в «Хлеб» (Кочетов, Кацман, Бубнов, Голяшкин и др.).

В 1891 году во многих районах России, в том числе и на Урале, разразился голод. Страшное народное бедствие глубоко взволновало писателя. Узнав, что губернатор не включил Пермскую губернию в число голодающих губерний, он с возмущением писал матери: «Мерзавец губернатор о своей шкуре заботится больше всего, чтобы в его губернии было все благополучно» (письмо от 22 сентября 1891 г. — ЛБ).

Тема будущего романа представлялась писателю в это время настолько актуальной, что он 25 мая 1891 года вступает в переговоры с редакцией журнала «Наблюдатель», обязуясь доставить первые части романа к концу октября. Редактору-издателю этого журнала А. П. Пятковскому он пишет:

«...Я хотел предложить вам роман на 1892 год. Роман будет о хлебе, действующие лица — крестьянин и купец-хлебник. Хлеб — все, а в России у нас в особенности. Цена «строит цены» на все остальное, и от нее зависит вся промышленность и торговля. Собственно, в России тот процесс, каким хлеб доходит от производителя до потребителя, трудно проследить, потому что он совершается на громадном расстоянии и давно утратил типичные переходные формы от первобытного хозяйства к капиталистическим операциям. Я беру темой Зауралье, где на расстоянии 10—15 лет все эти процессы проходят воочию. Собственно, главным действующим лицом является река Исеть, перерезывающая благословенное Зауралье. Это единственная в России река по своей населенности и работе; на протяжении трехсот верст своего течения она заселена почти сплошь, на ней восемьдесят больших мельниц, два города, несколько фабрик, винокуренных заводов и разных сибирских «заимок». Бассейн Исети снабжал своей пшеницей весь Урал и слыл золотым дном. Центр хлебной торговли — уездный город Шадринск — процветал, мужики благоденствовали. Все это существовало до того момента, когда открылось громадное винокуренное дело, а затем Уральская железная дорога

увезла зауральскую пшеницу в Россию. На сцене появились громадные капиталы — мелкое хлебное купечество сразу захудало. Хлебные запасы крестьян были скуплены, а деньги ушли на ситцы, самовары и кабаки. Теперь это недавнее золотое хлебное дно является ареной периодических голодовок, и главными виновниками их являются винокурение и вторжение крупных капиталов» («Русская старина», 1916, декабрь).

Сохранилась записная книжка Мамина-Сибиряка (собрание Б. Д. Удинцева), относящаяся к началу 1891 года. В ней имеются записи, содержащие перечень действующих лиц, название упоминаемых в романе населенных пунктов, заводов, мельниц. Намечены также некоторые эпизоды и определены взаимоотношения действующих лиц. Здесь же начерчен план окрестностей города Шадринска. Стремясь полнее отобразить быт, нравы, язык зауральского населения, писатель заносил в записную книжку пословицы, поговорки, присказки, отдельные меткие народные словечки и выражения, которые использует затем в романе.

23 июня 1891 года Мамин-Сибиряк сообщил матери, что он пишет «роман о хлебе для «Наблюдателя» (ЛБ). Но, видимо, достигнуть договоренности с А. П. Пятковским ему не удалось, так как писатель 20 октября того же года обратился с предложением о публикации романа к одному из редакторов журнала «Вестник Европы» А. Н. Пыпину, который 23 октября 1891 года ответил, что редакция «Вестника Европы» может судить о романе только после прочтения рукописи (ЛБ). Мамин-Сибиряк предлагал свой роман и журналу «Русская мысль», что видно из его письма к М. Н. Ремизову от 7 сентября 1892 года (ЦГАЛИ). Острая социальная направленность романа, видимо, пугала либеральных редакторов.

Мамин-Сибиряк продолжал упорно работать над романом, одновременно заканчивая другие произведения («Золото», «Охонины брови»). Наиболее интенсивно работа протекала с осени 1894 до середины 1895 года, когда роман был закончен (письма к матери от 4 декабря 1894 и от 25 июня 1895 годов. — ЛБ).

Мамин-Сибиряк работал над романом в общей сложности около шестнадцати лет. Сложность темы и замысла потребовала от писателя большого труда. В основу важнейших событий романа легли подлинные факты. Так один из важнейших эпизодов романа — конкурентная борьба между Прохоровым и Май-Стабровским — основан на действительно имевших место мошеннических

проделках известного в то время на Урале монополиста-виноторговца Альфонса Фомича Козелло-Поклевского, который организовал своеобразный «синдикат» винокуренных заводчиков. Образ Михея Зотыча Колобова также создавался на основе тщательно изученной автором биографии талантливого самородка Климента Ушкова.

Роман был опубликован в период идейной борьбы В. И. Ленина с либеральным народничеством и имел большое общественное значение. Мамин-Сибиряк показывал в своем романе, что со времени реформы 1861 года капитализм глубоко проник в деревенскую жизнь и что он беспощадно ломает ее патриархальные устои.

С подлинным художественным мастерством он изобразил моральное уродство людей, вступивших на путь капиталистического стяжательства. Май-Стабровского, Ечкина, Штоффа, Мышникова, Драке и других, людей, различных по характеру, происхождению и положению, объединяет одна общая черта — беспощадное хищничество, хотя на словах они и ратуют за цивилизацию и культурное развитие страны. Выходцы из народа — Михей Колобов и его сын Галактион, по мере вовлечения в буржуазное предпринимательство, тоже превращаются, каждый по-своему, в бесчестных дельцов. Бывший волостной писарь Замараев, открыв «банкирскую контору», становится ростовщиком, разоряющим голодных крестьян.

Отношение Мамина-Сибиряка к представителям либеральной интеллигенции (Кочетов, Харченко) выражено словами Устеньки: «Хороших людей много, но все они такие бессильные. Все только на языке, в теории, в области никогда не осуществимых хороших чувств».

Выдающиеся художественные достоинства романа, его острая социальная направленность привлекли к себе внимание читателей сразу же, как только роман начал печататься в журнале. Так, обмениваясь с А. С. Сувориным последними литературными новостями, А. П. Чехов писал 23 марта 1895 года: «Мамин-Сибиряк... прекрасный писатель. Хвалят его последний роман «Хлеб» (в «Русской мысли»); особенно в восторге был Лесков. У него есть положительно прекрасные вещи, а народ в его наиболее удачных рассказах изображается нисколько не хуже, чем в «Хозяине и работнике» (А. П. Чехов, Полное собрание сочинений, т. 16, стр. 229).

Н. С. Лесков сообщал корреспонденту газеты «Новости и

биржевая газета»: «Вот я сейчас читаю в «Русской мысли» роман Мамина-Сибиряка под заглавием «Хлеб». Что это за прелесть!» («Русские писатели о литературе», т. II, 1939, стр. 305—306).

В письме от 27 мая 1895 года редактор журнала «Русская мысль» В. А. Гольцев писал Мамину-Сибиряку: «Я объедаюсь твоим «Хлебом». Умно и талантливо выпечен!.. Беседовал о «Хлебе» с Скабичевским... Мои почти восторженные рассуждения возражений не встретили» (ЛБ).

В печати о романе появилось также много положительных отзывов («Русские ведомости», 1895, №№ 30, 88, 153, 246, «Литературное обозрение», 1895, №№ 16, 20, 37, 38, «Мир божий», 1895, декабрь и др.). Рецензенты реакционных газет и журналов, в большинстве своем не отрицавшие отдельных достоинств романа, подвергали критике именно те сцены, в которых автор раскрывал эксплуататорскую сущность капитализма. Так, П. А. Ачкасов в статье «Письма о литературе» («Русский вестник», 1896, январь) утверждал, что у Мамина-Сибиряка «шаткие понятия о природе и душе человека».

Из более поздних выступлений о романе следует отметить критический разбор его в статье В. Альбова «Капиталистический процесс в изображении Мамина-Сибиряка» («Мир божий», 1900, №№ 1—2). Критик правильно писал, что в «Хлебе» автор показывает, как «на развалинах двух ветхозаветных миров» — крестьянства и купечества периода крепостного права, — «так тесно связанных друг с другом, выросла крупная и мелкая буржуазия и ее необходимое дополнение — земледельческий пролетариат». Особенно удачным критик признавал образ Галактиона Колобова, в котором, по его мнению, писатель талантливо изобразил, как «мучительно умирал простой русский купец с его несложной психологией и складывался новый человек», тип крупного капиталиста, окончательно терявший «сознание разницы между промышленным добром и промышленным злом», считавший, что «мир создан специально для них, а также для их же пользы существуют и другие людишки».

Первое отдельное издание романа, с незначительными стилистическими исправлениями, вышло в 1896 году в издании «Русской мысли». В 1901 году роман, с новыми поправками, был переиздан М. В. Клюкиным.

В настоящем собрании сочинений текст романа печатается по изданию 1901 года, с исправлением опечаток по предшествующим публикациям.

Стр. 397. *Ян Матейко* (1838—1893) — выдающийся польский живописец.

Семирадский Генрих Ипполитович (1843—1902) — русский живописец.

Стр. 405. *«Двоеданы»* — в очерках «Бойцы» Мамин-Сибиряк дает такое объяснение данного термина: «Это название, по всей вероятности, обязано своим происхождением тому времени, когда раскольники, согласно указам Петра Великого, должны были платить *двойную подать»* (см. наст. собр. соч., т. I, стр. 550).

Стр. 448. *Кириллова книга* — изданный в 1644 году в Москве сборник статей, направленных против католической церкви; название получил по первой статье сборника, связанной с именем Кирилла Иерусалимского.

Стр. 528. *Паскевич* Иван Федорович (1782—1856) — русский генерал-фельдмаршал, в 1828—1829 годах руководил военными действиями против турок в Малой Азии.

Стр. 575. *Доктор Панглос* — персонаж повести Вольтера (1694—1778) «Кандид» (1759).

СОДЕРЖАНИЕ

Редактор *Е. Жезлова*

Оформление художника *Б. Никифорова.*

Худож. редактор *К. Буров*

Техн. редактор *Г. Архангельская*

Корректоры *В. Брагина* и *Л. Бунчукова*

Сдано в набор 21/I 1955 г. Подписано к печати 17/V 1955 г. А-02748. Бумага 84×108 1/32—45,75 печ. л. 37,52 усл. печ. л. 35,41 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1839. Цена 12 руб.

Гослитиздат. Москва, Ново-Басманная, 19.

Министерство культуры СССР. Главное управление полиграфической промышленности. 2-я типография «Печатный Двор» имени А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.


ГОСЛИТИЗДАТ
1955